Джон Голсуорси

Перевод с английского
под редакцией
М. Лорие.

823
G139
I1962:R
v.3

STDS

Современная комедия

Digitized by the Internet Archive
in 2025 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

https://archive.org/details/sobraniesochinen03gals

Белая обезьяна

Все вперед, все вперед.
Отступления нет,
Победа иль смерть.

Гэй

Перевод
Р. Райт.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ПРОГУЛКА

В этот памятный день середины октября 1922 года сэр Лоренс Монт, девятый баронет, вышел из «Клуба шутников», как прозвал его Джордж Форсайт в конце восьмидесятых годов, спустился по ступеням, стертым ногами приверженцев существующего порядка вещей, повел своим острым носом по ветру и быстро засеменил тонкими ногами. Занимаясь политикой скорей по долгу высокого рождения, чем по призванию, он смотрел на переворот, вернувший к власти его партию, с беспристрастностью, не лишенной юмора. Проходя мимо клуба «Смена», он подумал: «Да, им теперь придется попотеть! Пусть посидят без сладкого для разнообразия!»

Командоры и короли удалились из «Клуба шутников» еще до вступления туда сэра Лоренса; он-то не принадлежит к этим крохоборам, которым теперь дали отставку, нет, сэр! Он не из тех людей, что отмахнулись от земельной проблемы, как только кончилась война,— брр! Однако целый час он слушал отклики на последние события, и его живой и гибкий ум, насквозь пропитанный культурой прошлого и полный скептицизма по отношению к настоящему и ко всем политическим платформам и декларациям, с насмешкой отмечал путаницу патриотических мотивов и забот о личной выгоде, кото-

рая осталась после этого знаменательного собрания. Как большинство землевладельцев, он не доверял никаким доктринам. Его единственным политическим убеждением был налог на пшеницу, и, насколько он мог судить, единомышленников у него не осталось; впрочем, он и не думал выставлять свою кандидатуру на выборах,— другими словами, на его принцип не могли покуситься избиратели, которым приходилось платить за хлеб. «Принципы! — думал он.— Ведь au fond [1] — это карман!» И, черт побери, когда же люди перестанут притворяться, что это не так! Карман, разумеется, в широком смысле слова,— так сказать, эгоистические интересы каждого как члена определенного общества. А как, черт возьми, это определенное общество —английская нация — сможет существовать, если все его поля останутся необработанными, а вражеские аэропланы будут грозить разрушением английским кораблям и докам? В клубе он весь этот час ждал, чтобы хоть раз упомянули о земле. И никто — ни слова! Это, видите ли, не политика! Вот проклятье! Им бы только протирать брюки, чтобы удержаться на своем месте или добиться нового. Какая связь между их брюками и заботой о будущем страны? Никакой, ей-богу! При мысли о будущем страны ему неожиданно пришло в голову, что жена его сына до сих пор, по-видимому, никак этим будущим не озабочена. Два года! Пора им подумать о детях. Опасная привычка — не заводить детей, когда от этого зависят и титул и поместье. Улыбка тронула его губы и лохматые брови, похожие на путаные черные закорючки. Очень мила, удивительно привлекательна! И знает это сама! С кем только она не знакома! Львы и тигры, обезьяны и кошки — ее дом стал просто зверинцем для всяких больших и маленьких знаменитостей. Есть в этом что-то неестественное. И, глядя на одного из бронзовых британских львов на Трафальгар-сквер, сэр Лоренс подумал: «Скоро она и этого затащит к себе в дом! У нее страсть к коллекционированию. Майклу надо быть начеку — в доме коллекционеров всегда есть чулан для старого хлама, и мужьям легко попасть туда. Да, кстати: я обещал ей китайского посланника. При-

[1] В сущности *(франц.)*.

дется ей, пожалуй, подождать до окончания выборов».

В конце Уайтхолла, под сереющим на востоке небом, на миг появились башни Вестминстера. «Что-то нереальное даже в них,— подумал он.— А Майкл со своими причудами! Впрочем, это модно — социалистические убеждения и богатая жена. Самопожертвование и безопасность! Мир и процветание. Шарлатанское снадобье от всех болезней — десять пилюль на пенни!»

Миновав газетную сутолоку Чэринг-Кросса, обезумевшего от политического кризиса, сэр Лоренс повернул налево, к издательству Дэнби и Уинтера, где его сын состоял младшим компаньоном. Новая тема для книги только что зародилась в мозгу, уже подарившему миру «Жизнь Монтроза», «Далекий Китай» — книгу о путешествиях на Восток, и фантастический диалог между тенями Гладстона и Дизраэли, озаглавленный «Дуэт». С каждым шагом, уводившим сэра Лоренса от «Шутников» на восток, его прямая тонкая фигура в пальто с каракулевым воротником и худое лицо с седыми усами и черепаховым моноклем под темной подвижной бровью казались все более редким явлением. Но он стал почти феноменом в этом унылом переулке, где тележки застревали, словно зимние мухи, и люди проходили с книгами под мышкой, будто шли учиться.

Он почти дошел до дверей издательства, когда навстречу ему показались двое молодых людей. Один из них, конечно, его сын; он после женитьбы стал одеваться много лучше и, слава богу, курит сигару вместо этих вечных папиросок. А вот другой — ах да, поэт, любимец Майкла, был у него шафером — идет, закинув голову, велюровая шляпа, и лицо какое тонкое!

— А, Майкл!

— Алло, Барт. Ты знаком с моим родителем, Уилфрид? Это — Уилфрид Дезерт, автор «Медяков». Настоящий поэт, Барт, верно говорю! Непременно прочтите! Мы идем домой. Пойдемте с нами.

Сэр Лоренс повернул.

— Что нового у «Шутников»?

«Le roi est mort!»[1] Лейбористы уже могут начинать свое вранье, Майкл,— выборы назначены на следующий месяц.

— Барт вырос в те дни, Уилфрид, когда люди еще не имели понятия о Демосе.

— Скажите, мистер Дезерт, а вы-то находите что-нибудь реальное в нынешней политике?

— А разве для вас на свете есть что-нибудь реальное, сэр?

— Да, подоходный налог.

Майкл засмеялся.

— Кроме дворянского звания, нет ничего лучше простодушной веры.

— Предположим, твои друзья придут к власти, Майкл; отчасти это неплохо, они бы выросли немного, а? Но что они смогли бы сделать? Могут ли они воспитать вкус народа? Уничтожить кино? Научить англичан хорошо готовить? Предотвратить угрозу войны со стороны других стран? Заставить нас самих растить свой хлеб? Остановить рост городов? Разве они перевешают изобретателей ядовитых газов? Разве они могут запретить самолетам летать во время войны? Разве они могут ослабить собственнические инстинкты где бы то ни было? Разве они вообще могут что-нибудь сделать, кроме как переменить немного распределение собственности? Политика всякой партии — это только глазурь на торте. Нами управляют изобретатели и человеческая природа; и мы сейчас в тупике, мистер Дезерт.

— Вполне согласен, сэр.

Майкл пыхнул сигарой.

— Оба вы — старые ворчуны!

И, сняв шляпы, они прошли мимо Гробницы[2].

— Удивительно симптоматично — эта вот вещь,— заметил сэр Лоренс,— памятник страху... страху перед всем показным. А боязнь показного...

— Говорите, Барт, говорите,— сказал Майкл.

— Все прекрасное, все великое, все пышное — все ис-

---

[1] «Король умер!» *(франц.)* — формула, принятая для объявления о смерти французских королей и о воцарении наследника: «Король умер, да здравствует король!»

[2] Памятник жертвам войны 1914—1918 гг.

чезло! Ни широкого кругозора, ни великих планов, ни больших убеждений, ни большой религии, ни большого искусства — эстетство в кружках и закоулках, мелкие людишки, мелкие мыслишки.

— А сердце жаждет Байронов, Уилберфорсов, памятника Нельсону. Бедный мой старый Барт! Что ты скажешь, Уилфрид?

— Да, мистер Дезерт, что вы скажете?

Хмурое лицо Дезерта дрогнуло.

— Наш век — век парадоксов,— проговорил он.— Мы все рвемся на свободу, а единственные крепнущие силы — это социализм и римско-католическая церковь. Мы воображаем, что невероятно многого достигли в искусстве, а единственное достижение в искусстве — это кино. Мы помешаны на мире — и ради него только и делаем, что совершенствуем ядовитые газы.

Сэр Лоренс поглядел сбоку на молодого человека, говорившего с такой горечью.

— А как дела в издательстве, Майкл?

— Что ж, «Медяки» раскупаются, как горячие пирожки, и ваш «Дуэт» тоже пошел. Как вы находите такой новый текст для рекламы: «Дуэт», сочинение сэра Лоренса Монта, баронета. Изысканнейшая беседа двух покойников». Должно подействовать на психологию читателя! Уилфрид предлагал: «Старик и Диззи [1] — по радио из ада». Что вам больше нравится?

Но тут они оказались рядом с полисменом, поднявшим руку перед мордой ломовой лошади, так что все движение разом остановилось. Моторы автомобилей жужжали впустую, взгляды шоферов вперились в запретное для них пространство, девушка на велосипеде рассеянно оглядывалась, держась за край фургона, на котором боком сидел юноша, свесив ноги в ее сторону. Сэр Лоренс снова поглядел на Дезерта. Тонкое, бледное и смуглое лицо — красивое лицо, но какая-то в нем судорожность, как будто нарушен внутренний ритм; в одежде, в манерах— никакой утрировки, но все же чувствуется некоторая вольность; в нем меньше живости, чем в этом веселом повесе, собственном сыне сэра Лоренса, но такая же неустойчивость и, пожалуй, больше

[1] Гладстон и Дизраэли.

скептицизма — впрочем, он, наверно, способен на глубокие переживания! Полисмен опустил руку.

— Вы были на войне, мистер Дезерт?

— О да!

— В авиации?

— И в пехоте — всего понемногу.

— Трудновато для поэта!

— О нет! Поэзией только и можно заниматься, когда тебя в любую минуту может разорвать в клочки или если живешь в Пэтни [1].

Бровь сэра Лоренса приподнялась.

— Разве?

— Теннисон, Браунинг, Вордсворт, Суинберн— вот кому было раздолье писать: ils vivaient, mais si peu [2].

— А разве нет третьего благоприятного условия?

— Какого же, сэр?

— Как бы это выразиться... ну, известное умственное возбуждение, связанное с женщиной?

Лицо Дезерта передернулось и словно потемнело.

Майкл открыл французским ключом парадную дверь своего дома.

II

ДОМА

Дом на Саут-сквер, в Вестминстере, где поселились молодые Монты два года назад, после медового месяца, проведенного в Испании, можно было назвать «эмансипированным». Его строил архитектор, который мечтал создать новый дом — абсолютно старинный, и старый дом — абсолютно современный. Поэтому дом не был выдержан в определенном стиле, не отвечал традициям и был свободен от архитектурных предрассудков. Но он с такой необычайной быстротой впитывал копоть столицы, что его стены уже приобрели почтенное сходство со старинными особняками, построенными еще Рэном. Окна и двери были сверху слегка закруглены. Острая крыша мягкого пепельно-розового цвета была почти что дат-

[1] Правобережный глухой район Лондона.

[2] Они жили, но как мало они участвовали в жизни (*франц.*).

ской, и два «премиленьких окошечка» глядели сверху, создавая впечатление, будто там, наверху, живут очень рослые слуги. Комнаты были расположены по обе стороны парадной двери — широкой, обрамленной лавровыми деревьями в черных с золотом кадках. Дом был очень глубок, и лестница, широкая и целомудренно-простая, начиналась в дальнем конце холла, в котором было достаточно места для целой массы шляп, пальто и визитных карточек. В доме было четыре ванных — и никакого подвального помещения, даже погреба. Приобретению этого дома помогло форсайтское чутье на недвижимое имущество. Сомс нашел его для дочери в тот психологический момент, когда пузырь инфляции был проколот и воздух выходил из воздушного шара мировой торговли. Однако Флер немедленно вошла в контакт с архитектором—сам Сомс так и не примирился с этой категорией людей — и решила, что в доме будут только три стиля: китайский, испанский и ее собственный. Комната налево от парадной двери, проходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висели четыре картины, все китайские — единственная школа, которой еще не занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Сомса, и не дешево. Рояля не было, отчасти потому, что рояль — вещь неоспоримо западная, отчасти потому, что он занял бы слишком много места. Флер нужен был простор — ведь она коллекционировала скорее людей, чем мебель и безделушки. Свет, падавший через окна с двух противоположных сторон, не был, к сожалению, китайским. Флер часто стояла посреди комнаты, обдумывая, как «подобрать» гостей, как сделать эту комнату еще более китайской, не жертвуя уютом; как казаться знатоком литературы и политики, как принимать подарки отца, не давая ему почувствовать, что его вкусы устарели; как удержать Сибли Суона, новую литературную звезду, и заполучить Гэрдона Минхо — старую знаменитость. Она думала о том, что Уилфрид Дезерт слишком серьезно увлекся ею; о том, в каком стиле ей, собственно, надо оде-

ваться, о том, почему у Майкла такие смешные уши; а иногда она стояла, просто ни о чем не думая, а так, чуть-чуть тоскуя.

Когда трое мужчин вошли, она сидела у красного лакированного чайного стола, допивая чай со всякими вкусными вещами. Она обычно просила подавать себе чай пораньше, чтобы можно было как следует «угоститься» на свободе: ведь ей еще не было двадцати одного года, и в этот час она вспоминала о своей молодости. Рядом с ней, на задних лапах, стоял Тинг-а-Линг, поставив рыжие передние лапки на китайскую скамеечку и подняв курносую черно-рыжую мордочку к объектам своего философического созерцания.

— Хватит, Тинг-а-Линг! Довольно, душенька! *Довольно!*

Выражение мордочки Тинг-а-Линга говорило: «Ну, тогда и сама не ешь! Не мучай меня!»

Ему был год и три месяца, и купил его Майкл с витрины магазина на Бонд-стрит к двадцатому дню рождения Флер, одиннадцать месяцев тому назад.

Два года замужества не сделали ее короткие каштановые волосы длиннее, но придали немного больше решимости ее подвижным губам, больше обаяния ее карим глазам под белыми веками с темными ресницами, больше уверенности и грации походке; несколько увеличился объем груди и бедер; талия и щиколотки стали тоньше, чуть побледнел румянец на щеках, слегка утерявших округлость, да в голосе, ставшем чуть вкрадчивее, исчезла былая мягкость.

Она встала из-за стола и молча протянула белую круглую руку. Она избегала излишних приветствий и прощаний. Ей так часто пришлось бы повторять одинаковые слова — лучше было обойтись взглядом, пожатием руки, легким наклоном головы.

Пожав протянутые руки, она проговорила:

— Садитесь. Вам сливок, сэр? С сахаром, Уилфрид? Тинг и так объелся, не кормите его. Майкл, угощай! Я уже слышала о собрании у «Шутников». Ведь ты не собираешься агитировать за лейбористов, Майкл? Агитация — такая глупость! Если бы меня кто-нибудь вздумал агитировать, я бы сразу стала голосовать наоборот.

— Конечно, дорогая; но ведь ты не рядовой избиратель.

Флер взглянула на него. Очень мило сказано! Видя, что Уилфрид кусает губы, что сэр Лоренс это замечает, не забывая, что ее обтянутая шелком нога всем видна, что на столе — черные с желтым чайные чашки, она сразу сумела все наладить. Взмах темных ресниц—и Дезерт перестал кусать губы; движение шелковой ноги — и сэр Лоренс перестал смотреть на него. И, передавая чашки, Флер сказала:

— Что же, я недостаточно современна?

Не поднимая глаз и мешая блестящей ложечкой в крохотной чашке, Дезерт проговорил:

— Вы настолько же современнее всех современных людей, насколько вы древнее их.

— Упаси нас, боже, от поэзии! — сказал Майкл.

Но когда он увел отца посмотреть новые карикатуры Обри Грина, она сказала:

— Будьте добры объяснить мне, что вы хотели этим сказать, Уилфрид?

Голос Дезерта потерял всякую сдержанность.

— Не все ли равно? Мне не хочется терять времени на разъяснения.

— Но я хочу знать. Это звучало насмешкой.

— Насмешка? С моей стороны? Флер!

— Тогда объясните.

— Я хотел сказать, что вам присуща вся неугомонность, вся практическая хватка современников, но у вас есть то, чего лишены они, Флер,— способность сводить людей с ума. И я схожу с ума. Вы знаете это.

— Как бы отнесся к этому Майкл? Вы его друг!

Дезерт быстро отошел к окну.

Флер взяла Тинг-а-Линга на колени. Ей и раньше говорили такие вещи, но со стороны Уилфрида это было серьезно. Приятно, конечно, сознавать, что она владеет его сердцем. Только куда же ей спрятать это сердце, чтобы никто его не видел? Нельзя предугадать, что сделает Дезерт, он способен на странные поступки. Она побаивалась— не его, нет, а этой его черты. Он вернулся к камину и сказал:

— Некрасиво, не правда ли? Да спустите вы эту проклятую собачонку, Флер, я не вижу вашего лица. Если

бы вы по-настоящему любили Майкла — клянусь, я бы молчал; но вы знаете, что это не так.

Флер холодно ответила:

— Вы очень мало знаете. Я в самом деле люблю Майкла.

Дезерт отрывисто засмеялся.

— Да, конечно; но такая любовь не идет в счет.

Флер поглядела на него.

— Нет, идет: с ней я в безопасности.

— Цветок, который мне не сорвать?

Флер кивнула головой.

— Наверное, Флер? Совсем, совсем наверное?

Флер пристально глядела перед собой; ее взгляд слегка смягчился, ее веки, такой восковой белизны, опустились; она кивнула.

Дезерт медленно произнес:

— Как только я этому поверю, я немедленно уеду на Восток.

— На Восток?

— Не так избито, как «уехать на Запад» [1]. Но в общем одно и то же: возврата нет.

Флер подумала: «На Восток? Как бы мне хотелось увидеть Восток! Жаль, что этого нельзя устроить, очень жаль!»

— Меня не удержать в вашем зверинце, дорогая, я не стану попрошайничать и питаться крохами. Вы знаете, что я испытываю,—настоящее потрясение.

— Но ведь это не моя вина, не так ли?

— Нет, ваша: вы меня включили в свою коллекцию, как включаете всякого, кто приближается к вам!

— Не понимаю, что вы хотите сказать!

Дезерт наклонился и поднес ее руку к губам.

— Не будьте злюкой, я слишком несчастлив.

Флер не отнимала руки от его горячих губ.

— Мне очень жаль, Уилфрид.

— Ничего, дорогая. Я пойду.

— Но вы ведь придете завтра к обеду?

Дезерт обозлился.

— Завтра? О боги — конечно, нет! Из чего я, по-вашему, сделан?

---

[1] «Уехать на Запад» — погибнуть *(военный сленг)*.

Он отшвырнул ее руку.

— Я не люблю грубости, Уилфрид.

— Ну, прощайте! Мне лучше уйти!

На ее губах трепетали слова: «И лучше больше не приходить», но она промолчала. Расстаться с Уилфридом? Жизнь утратит частицу тепла. Она махнула рукой. Он ушел. Слышно было, как закрылась дверь. Бедный Уилфрид! Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки. Приятно — и немного жутко. И вдруг, спустив Тинг-а-Линга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра! Вторая годовщина ее свадьбы! Все еще больно ей думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда — и она не останавливалась на этой мысли. К чему думать? Живешь только раз, вокруг — люди, масса дел, многого нужно добиться, взять от жизни, Не хватает, правда, одного — ну, да впрочем, если у людей это есть, так тоже ненадолго! Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не скатившись. Сентиментальность! Нет! Самое тяжелое в мире —нестерпимая обида! А кого с кем посадить завтра? Кого бы позвать вместо Уилфрида, если Уилфрид не придет — вот глупый мальчик! Один день, один вечер — не все ли равно? Кто будет сидеть справа от нее, а кто слева? Кто изысканнее: Обри Грин или Сибли Суон? Может быть, они оба не так изысканны, как Уолтер Нэйзинг или Чарлз Эпшир? Обед на двенадцать человек — все из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Элисон Черрел. Ах, не может ли Элисон привести к ней Гэрдона Минхо — пусть будет один из старых писателей, как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Дэнби и Уинтера, но Элисон вполне его приручила. Флер быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был телефон.

— Можно попросить леди Элисон?.. Миссис Майкл Монт... да, да. Это вы, Элисон? Говорит Флер. На завтрашний вечер Уилфрид отпадает... Скажите, не сможете ли вы привести мистера Гэрдона Минхо?.. Я с ним, конечно, не знакома, но, может быть, ему будет интересно... Попробуете? Ну, это будет просто восхитительно!.. Вы не находите, что собрание в «Клубе шутников» было страшно интересное?.. Барт говорит, что теперь, пос-

ле раскола, они все там перегрызутся... Да, как же быть с мистером Минхо? Не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? Спасибо, большое спасибо... До свидания!

А если Минхо не придет — кого тогда? Она задумалась над своей записной книжкой. В последнюю минуту удобно пригласить только человека без светских предрассудков; кроме Элисон, никто из родных Майкла не избежал бы едких насмешек Несты Горз или Сибли Суона. О Форсайтах и речи быть не может. Правда, они обладают своим особым кисло-сладким юмором (по крайней мере некоторые из них), но они несовременны, не вполне современны. Кроме того, она старалась встречаться с ними как можно реже. Они устарели, были слишком связаны с грустными воспоминаниями, они не умели воспринимать жизнь без начала и конца. Нет, если Гэрдон Минхо пролетит, придется пригласить какого-нибудь композитора, только чтобы его произведения были сплошной загадкой и напоминали хирургическую операцию; или еще лучше, пожалуй, позвать психоаналитика. Флер перелистала всю книжку, пока не дошла до этих двух профессий. Гуго Солстис? Пожалуй; но вдруг он захочет сыграть что-нибудь из своих последних вещей? В доме было только старое пианино Майкла, значит, пришлось бы перейти в его кабинет. Лучше Джералд Хэнкс: они с Нестой Горз погрузятся в толкование снов, но от этого общее оживление не пострадает. Значит, если не Гэрдон Минхо — пригласить Джералда Хэнкса, он, наверное, свободен, и посадить его между Элисон и Нестой. Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Тинг-а-Линга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее. Черные, блестящие, очень старые глаза. Флер подумала: «Я не хочу, чтобы Уилфрид ушел». Из всей толпы людей, снующих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях с жизнью вообще. Все это ужасно занятно, ужасно необходимо! Только, только... что?

Голоса! Майкл и Барт идут сюда. Барт приметил насчет Уилфрида. Ужасно наблюдательный «Старый

Барт». Ей всегда бывало не по себе в его обществе — он такой живой, непоседливый, но что-то в нем есть установившееся, старинное, что-то общее с Тинг-а-Лингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетна, слишком современна. Он как на привязи: может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи; но он невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ею — да, да!

Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать, и давать ли подписи или не надо? Не правда ли, этот кубистический набросок «Натюрморт» — карикатура на правительство — немыслимо смешной? Особенно старикан, изображающий премьер-министра! В ответ затрещала быстрая, скачущая речь: сэр Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранной его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце: он был до того знатный и, наверно, ужасно скучный,— в особенности когда отдавал визиты верхом, в панталонах со штрипками! Он, и лорд Чарлз Кэрибу, и маркиз Форфар были последними «визитерами» в таком духе. Если бы не это, их забыли бы совершенно. Ей надо еще примерить новое платье и сделать двадцать дел, а в восемь пятнадцать начинается концерт Гуго. Почему у людей прошлого поколения всегда было столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Тинг-а-Линг лизал медный пол. Она подняла его: «Нельзя, миленький, фу, гадость!» Ну вот, чары нарушены. Барт уходит, все еще полный воспоминаний. Она подождала внизу у лестницы, пока Майкл закрыл за Бартом дверь, и полетела наверх. В своей комнате она зажгла все лампы. Тут царил ее собственный стиль—кровать, непохожая на кровать, и всюду зеркала. Ложе Тинг-а-Линга помещалось в углу, откуда он мог видеть целых три своих отражения. Она посадила его, сказав: «Ну, теперь сиди тихо!» Он давно уже относился ко всем остальным собакам в комнате совершенно равнодушно; хотя они были одной с ним породы и в точности той же масти, но у них не было запаха, их языки не умели лизать,— нечего было делать с ними,— поддельные существа, совершенно бесчувственные.

Сняв платье, Флер прикинула новое, придерживая его подбородком.

— Можно тебя поцеловать? — послышался голос, и двойник Майкла вырос за ее собственным изображением в зеркале.

— Некогда, милый мой мальчик! Помоги мне лучше.— Она натянула платье через голову.— Застегни три верхние крючка. Тебе нравится? Ах да, Майкл! Может быть, завтра к обеду придет Гэрдон Минхо — Уилфрид занят. Ты его читал? Садись, расскажи мне о его вещах. Романы, правда? Какого рода?

— Ну, ему всегда есть что сказать. Хорошо описывает кошек. Конечно, он немного романтик.

— О-о! Неужели я промахнулась?

— Ничуть. Наоборот, очень удачно. Беда нашей публики в том, что говорят они очень неплохо, но сказать им нечего. Они не останутся в литературе.

— А по-моему, они именно потому и останутся. Они не устареют.

— Не устареют? Как бы не так!

— Уилфрид останется.

— Уилфрид? О, у него есть чувства: ненависть, жалость, желания, во всяком случае, иногда появляются; а когда это бывает, он пишет прекрасно. Но обычно он просто пишет ни о чем — как и все остальные.

Флер поправила платье у выреза.

— Но, Майкл, если это так, то у себя мы... я встречаюсь совсем не с теми людьми, с которыми стоит.

Майкл широко улыбнулся.

— Милое мое дитя! С теми, кто в моде, всегда стоит встречаться, только надо хорошенько следить и менять их побыстрее.

— Но, Майкл, ведь ты не считаешь, что Сибли не переживет себя?

— Сиб? Конечно, нет.

— Но он так уверен, что все остальные уже отжили свой век или отживают. Ведь у него настоящий критический талант.

— Если бы я понимал в искусстве не больше Сибли, я бы завтра же ушел из издательства.

— Ты понимаешь больше, чем Сибли Суон?

— Ну, конечно, я больше понимаю. Вся критика Сиба сводится к высокому мнению о Сибе — и самой обыкновенной нетерпимости ко всем остальным. Он их даже не читает. Прочтет одну книгу каждого автора и говорит: «Ах, этот? Он скучноват», или «он— моралист», или «он сентиментален», «устарел», «плетет чушь»,— я сто раз это слышал. Конечно, так он говорит только о живых. С мертвыми авторами он обходится иначе. Он вечно выкапывает и канонизирует какого-нибудь покойника — этим он и прославился. В литературе всегда были такие Сибы. Он яркий пример того, как человек может внушить о себе какое угодно мнение. Но, конечно, в литературе он не останется: он никогда ничего не создал своего — даже по ошибке.

Флер упустила нить разговора. Да, платье ей очень к лицу — прелестная линия. Можно снять — надо еще написать три письма, прежде чем одеваться.

Майкл снова заговорил:

— Ты послушай меня, Флер. Истинно великие люди не болтают и не толкаются в толпе — они плывут одни в своих лодочках по тихим протокам. Но из протоков выходят потоки! Ого, как я сказал! Прямо — mot! Или не совсем mot?

— Майкл, ты на моем месте сказал бы Фредерику Уилмеру, что он встретит Губерта Марсленда у меня за завтраком на будущей неделе? Будет это для него приманкой или отпугнет его?

— Марсленд — милая старая утка, а Уилмер — противный старый гусь; право, не знаю!

— Ну, будь же серьезен, Майкл,— никогда ты мне не поможешь ничего устроить. Не щекочи мне, пожалуйста, плечи!

— Дорогая, ей-богу, не знаю. У меня нет, как у тебя, таланта на такие дела. Марсленд пишет ветряные мельницы, скалы и всякое такое — я сомневаюсь, слышал ли он что-нибудь об искусстве будущего. Он просто уникум в смысле умения держаться далеко от современности. Если ты думаешь, что ему будет приятно встретиться с вертижинистом...[1]

---

[1] Название декадентского течения в искусстве (от французского слова «vertige» — головокружение).

— Я не спрашиваю тебя, захочется ли ему встретиться с Уилмером; я спросила тебя, захочет ли Уилмер встретиться с ним.

— Ну, Уилмер только скажет: «Люблю маленькую миссис Монт, уж очень здорово она кормит», и ты действительно хорошо кормишь, детка. А вертижинисту нужно хорошо питаться, иначе у него голова не закружится.

Перо Флер снова быстро забегало по бумаге — строчки стали чуть неразборчивее. Она пробормотала:

— По-моему, Уилфрид выручит — ведь тебя не будет. Один, два, три. Каких женщин звать?

— Для художников? Хорошеньких и толстеньких; ума не требуется.

Флер рассердилась:

— Где же мне взять толстых? Их теперь и не бывает.— Ее перо бегло застрочило:

«Милый Уилфрид, в пятницу завтрак: Уилмер, Губерт Марсленд и две женщины. Выручайте!

Всегда Ваша *Флер*».

— Майкл, у тебя подбородок — как сапожная щетка!

— Прости, маленькая; у тебя слишком нежные плечи. Барт сегодня дал Уилфриду замечательный совет, когда мы шли сюда.

Флер перестала писать.

— Да?

— Напомнил ему, что состояние влюбленности здорово вдохновляет поэтов.

— По какому же это поводу?

— Уилфрид жаловался, что у него стихи что-то не выходят.

— Какая чепуха! Его последние вещи лучше всего.

— Да, я тоже так считаю. А может быть, он уже предвосхитил совет? Ты не знаешь, а?

Флер взглянула через плечо ему в лицо. Нет, такое же, как всегда,—открытое, добродушное, слегка похожее на лицо фавна: чуть торчащие уши, подвижные губы и ноздри.

Она медленно проговорила:

— Если ты ничего не знаешь, то никто не знает.

Какое-то сопение помешало Майклу ответить. Тинг-а-Линг, длинный, низенький, немного приподнятый с обоих концов, стоял между ними, задрав свою черную мордочку. «Родословная у меня длинная,— казалось, говорил он,— да вот ноги короткие; как же быть?»

III

МУЗЫКА

Следуя великому руководящему правилу, Флер и Майкл пошли на концерт Гуго Солстиса не для того, чтобы испытать удовольствие, а потому, что были знакомы с композитором. Кроме того, они чувствовали, что Солстис, англичанин русско-голландского происхождения,— один из тех, кто возрождает английскую музыку, великодушно освобождая ее от мелодии и ритма и щедро наделяя литературными и математическими достоинствами. Побывав на концерте музыкантов этой школы, невозможно было не сказать, уходя: «Очень занятно!» И спать под такую обновленную английскую музыку было невозможно. Флер, любившая поспать, даже и не пыталась. Майкл попробовал и потом жаловался, что это все равно, что спать на Льежском вокзале. В этот вечер они занимали у прохода в первом ряду амфитеатра те места, на которые у Флер была своего рода естественная монополия. Видя ее здесь, Гуго и прочие могли убедиться, что и она принимает участие в английском возрождении. И отсюда легко было ускользнуть в фойе и обменяться словом «занятно!» с какими-нибудь знатоками, украшенными бачками; или, вытянув папироску из маленького золотого портсигара — свадебный подарок кузины Имоджин Кардиган,— отдохнуть за двумя-тремя затяжками. Говоря совершенно честно, Флер обладала врожденным чувством ритма, и ей было очень не по себе во время этих бесконечных «занятных» пассажей, явно изобличавших все перипетии тернистого пути композитора. Она втайне любила мелодию, и невозможность сознаться в этом, не выпустив из рук Сол-

стиса, Баффа, Бэрдигэла, Мак-Льюиса, Клорейна и других обновителей английской музыки, иногда требовала предельного напряжения всех спартанских сторон ее натуры. Даже Майклу она не решалась «исповедаться», и ей становилось труднее, когда он, с присущим ему непочтением к авторитету, еще усилившимся от жизни в окопах и работы в издательстве, бормотал вполголоса: «Боже, ну и заверчено!» или: «Эк его разбирает!» А ведь она знала, что Майкл гораздо лучше ее переносит эту музыку, потому что у него больше склонности к литературе и меньше танцевального зуда в пальцах ног.

Первая тема нового произведения Солстиса «Пьемонтская фантасмагория» — ради него они, собственно, и пришли — началась рядом громких арпеджий.

— Вот это да! — прошептал Майкл ей на ухо.— Мебель двигают, штуки три разом, по паркетному полу!

Невольная улыбка Флер выдала тайну, почему брак не стал для нее невыносимым. В конце концов Майкл все-таки прелесть! Обожание и живость, остроумие и преданность — такое сочетание трогало и задевало даже сердце, которое принадлежало другому, прежде чем было отдано ему. «Трогательность» без «задевания» была бы скучной; «задевание» без «трогательности» раздражало бы. В эту минуту он был особенно привлекателен. Положив руки на колени, с остекленелыми от сочувствия к Гуго глазами, навострив уши и втайне подсмеиваясь, он слушал вступление с таким видом, что Флер просто восхищалась им. Музыка, очевидно, будет «занятной», и Флер погрузилась в состояние поверхностной наблюдательности и внутренней сосредоточенности, ставшее столь обычным для нее в последнее время. Вон сидит Л. С. Д.— знаменитый драматург; она с ним не знакома — пока еще. Вид у него довольно страшный, уж очень торчат кверху волосы. Флер представила себе, как он стоит на медном полу перед одной из ее китайских картин. А вот — да, конечно! — Гэрдон Минхо! Только подумать, что он пришел слушать эту новую музыку! Профиль у него совершенно римский — аврелианского периода! Она оторвалась от созерцания этой древности с приятным чувством, что завтра он, быть может, попадет в ее коллекцию, и стала рассматривать по очере-

ди всех присутствующих — ей не хотелось пропустить кого-нибудь нужного.

«Мебель» внезапно остановилась.

— Занятно! — произнес голос у плеча Флер.

Обри Грин! Весь нереальный, словно пронизанный лунным светом,— шелковистые светлые волосы, гладко зачесанные назад, и зеленоватые глаза; когда он улыбался, ей всегда казалось, что он ее «разыгрывает». Но ведь он в конце концов карикатурист!

— Да, занятно!

Он ускользнул. Мог бы остаться еще минутку — все равно никто не успеет подойти до исполнения песен Бэрдигэла. Вот уже выходит певец — Чарлз Паулз. Какой он толстый и решительный и как тащит маленького Бэрдигэла к роялю!

Прелестный аккомпанемент — журчащий, мелодичный!

Толстый решительный мужчина запел. Как не похоже на аккомпанемент! Мелодия, казалось, состояла из одних фальшивых нот и с математической точностью отнимала у Флер всякую возможность испытывать удовольствие. Бэрдигэл, очевидно, писал, больше всего на свете боясь, что его вещь кто-нибудь назовет «певучей». Певучей! Флер понимала, насколько это слово заразительно. Оно обойдет всех, как корь, и Бэрдигэл будет изничтожен. Бедный Бэрдигэл! Конечно, песни вышли занятные. Только, как говорит Майкл: «Господи, что же это?»

Три песни! Паулз изумителен — честно работает. Ни единой ноты не взял так, чтобы было похоже на музыку! Мысли Флер вернулись к Уилфриду. Только за ним, из всех молодых поэтов, признавалось право о чем-то говорить всерьез. Это создавало ему особое положение—он как бы исходил от жизни, а не от литературы. Кроме того, он выдвинулся на войне, был сыном лорда Мэллиона, вероятно, получит Мерсеровскую премию за «Медяки». Если Уилфрид бросит ее, то упадет звезда с сияющего над ее медным полом неба. Он не имеет права так уходить от нее. Он должен научиться сдерживаться—не думать так физиологически. Нет! Нельзя упускать Уилфрида; но и нельзя опять вводить в свою жизнь слезы, душераздирающие страсти, безвы-

ходное положение, раскаяние. Она уже раз испытала все это: заглушенная тоска до сих пор служила предостережением.

Бэрдигэл раскланивался. Майкл сказал: «Выйдем покурить. Дальше — скучища!» А, Бетховен! Бедный старик Бетховен! Так устарел — даже приятно его послушать!

В коридорах и буфете только и было разговоров, что о возрождении. Юноши и молодые дамы с живыми лицами и растрепанными волосами обменивались словом «занятно!». Более солидные мужчины, похожие на отставных матадоров, загораживали все проходы. Флер и Майкл прошли подальше и, став у стены, закурили. Флер очень осторожно курила свою крохотную папироску в малюсеньком янтарном мундштуке. Она как будто больше любовалась синеватым дымком, чем действительно курила; приходилось считаться не только с этой толпой: никогда не знаешь, с кем встретишься! Например, круг, где вращалась Элисон Черрел,— политико-литературный, все люди с широкими взглядами, но, как всегда говорит Майкл, «уверенные, что они единственные люди в мире; посмотри только, как они пишут мемуары друг о друге». Флер чувствовала, что этим людям может не понравиться, если женщины курят в общественных местах. Осторожно присоединяясь к иконоборцам, Флер никогда не забывала, что принадлежит по крайней мере двум мирам. Наблюдая все, что происходило вокруг нее, она вдруг заметила у стены человека, спрятавшего лицо за программой. «Уилфрид,— подумала она,— и притворяется, что не видит меня!» Обиженная, как ребенок, у которого отняли игрушку, она сказала:

— Вон Уилфрид, приведи его сюда, Майкл!

Майкл подошел и коснулся рукава своего друга. Показалось нахмуренное лицо Дезерта. Флер видела, как он пожал плечами, повернулся и смешался с толпой. Майкл вернулся к ней.

— Уилфрид здорово не в духе, говорит, что сегодня не годен для человеческого общества. Чудак!

До чего мужчины тупы! Оттого, что Уилфрид —его приятель, Майкл ничего не замечает; и счастье, что это так. Значит, Уилфрид действительно решил ее избегать. Ладно, посмотрим! И она сказала:

— Я устала, Майкл, поедем домой.

Он взял ее под руку.

— Бедняжка моя! Ну, пошли!

На минуту они задержались у двери, которую забыли закрыть, и смотрели, как Вуман, дирижер, изогнулся перед оркестром.

— Посмотри на него — настоящее чучело, вывешенное из окна: руки и ноги болтаются, точно набитые опилками. А погляди на Фрапку с ее роялем — мрачный союз!

Послышался странный звук.

— Ей-богу, мелодия! — сказал Майкл.

Капельдинер прошептал ему на ухо: «Позвольте, сэр, я закрываю двери». Флер мельком заметила знаменитого драматурга Л. С. Д., сидевшего с закрытыми глазами, так же прямо, как торчали его волосы. Дверь закрылась —они остались в фойе.

— Подожди здесь, дорогая, я раздобуду рикшу.

Флер спрятала подбородок в мех. С востока дул холодный ветер.

За спиной раздался голос:

— Ну, Флер, ехать мне на Восток?

Уилфрид! Воротник поднят до ушей, папироска во рту, руки в карманах, пожирает ее глазами.

— Вы глупый мальчик, Уилфрид!

— Думайте, что хотите. Ехать мне на Восток?

— Нет. В воскресенье утром — в одиннадцать часов, в галерее Тэйт. Мы поговорим.

— Convenu! [1]

И ушел.

Оставшись внезапно одна, Флер вдруг словно впервые посмотрела в лицо действительности. Неужели ей не справиться с Уилфридом? Подъехал автомобиль. Майкл кивнул ей, Флер села в машину.

Проезжая мимо заманчиво освещенного оазиса, где молодые дамы демонстрировали любопытным лондонцам последнее слово парижских дезабилье, Флер почувствовала, что Майкл наклонился к ней. Если она намерена сохранить Уилфрида, надо быть поласковей с Майклом. Но только...

---

[1] Решено! *(франц.)*

— Не надо целовать меня посреди Пикадилли, Майкл.

— Прости, маленькая. Конечно, это преждевременно: я собирался тебя поцеловать только у Партенеума!

Флер вспомнила, как он спал на диване в испанской гостинице в первые две недели их медового месяца; как он всегда настаивал, чтобы она не тратила на него ни пенни, а сам дарил ей все, что хотел, хотя у нее было три тысячи годового дохода, а у него только тысяча двести фунтов; как он беспокоился, когда у нее бывал насморк, и как он всегда приходил вовремя к чаю. Да, Майкл — прелесть. Но разобьется ли ее сердце, если он завтра уедет на Восток или на Запад?

Прижимаясь к нему, она сама удивлялась своему цинизму.

В передней она нашла телефонограмму: «Пожалуйста, передайте миссис Монт, что я заполучила мистера Гэрдина Миннер. Леди Элисон».

Как приятно! Подлинная древность! Флер зажгла свет и на минуту остановилась, любуясь своей комнатой. Действительно мило! Негромкое сопение послышалось из угла. Тинг-а-Линг, рыжий на черной подушке, лежал, словно китайский лев в миниатюре, чистый, далекий от всего, только что вернувшийся с вечерней прогулки вдоль ограды сквера.

— Я тебя вижу,— сказала Флер.

Тинг-а-Линг не пошевельнулся. Его круглые черные глаза следили, как раздевалась хозяйка. Когда она вернулась из ванной, он лежал, свернувшись клубком. «Странно,— подумала Флер,— откуда он знает, что Майкл не придет?» И, скользнув в теплую постель, она тоже свернулась клубком и заснула.

Но среди ночи она почему-то проснулась. Зов — долгий, странный, протяжный — откуда-то с реки, из трущоб позади сквера,— и воспоминание — острое, болезненное — медовый месяц, Гренада — крыши внизу,— чернь, слоновая кость, золото,— оклик сторожа под окном,— строки в письме Джона:

Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском
Городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд.
Что говорит голос — долгий, звонко-тоскливый?

Просто ли сторож кличет, верный покой суля?
Просто ли путника песня к лунным лучам летит?
Нет! Влюбленное сердце плачет, лишенное счастья,
Просто зовет: «Когда?»

Голос — а может быть, ей приснилось? Джон, Уилфрид, Майкл! Стоит ли иметь сердце!

IV

ОБЕД

Леди Элисон Черрел, урожденная Хитфилд, дочь первого графа Кемдена и жена королевского адвоката Лайонеля Черрела, еще не старого человека, приходившегося Майклу дядей, была очаровательной женщиной, воспитанной в той среде, которую принято считать центром общества. Это была группа людей неглупых, энергичных, с большим вкусом и большими деньгами. «Голубая кровь» их предков определяла их политические связи, но они держались в стороне от «Шутников» и прочих скучных мест, посещаемых представителями привилегированной касты. Эти люди — веселые, обаятельные, непринужденные — были, по мнению Майкла, «снобы, дружочек, и в эстетическом и в умственном отношении, только они никогда этого не замечают. Они считают себя гвоздем мироздания, всегда оживлены, здоровы, современны, хорошо воспитаны, умны. Они просто не могут вообразить равных себе. Но, понимаешь, воображение у них не такое уж богатое. Вся их творческая энергия уместится в пинтовой кружке. Взять хотя бы их книги — всегда они пишут *о чем-то:* о философии, спиритизме, поэзии, рыбной ловле, о себе самих; даже писать сонеты они перестают еще в юности, до двадцати пяти лет. Они знают все — кроме людей, не принадлежащих к их кругу. Да, они, конечно, работают, они хозяева, и как же иначе: ведь таких умных, таких энергичных и культурных людей нигде не найти. Но эта работа сводится к топтанию на одном месте в своем несчастном замкнутом кругу. Для них он весь мир; могло быть и хуже! Они создали свой собственный золотой век, только война его малость подпортила».

Элисон Черрел, всецело связанная с этим миром, таким остроумно-задушевным, веселым, непринужденным и уютным, жила в двух шагах от Флер, в особняке, который был по архитектуре приятнее многих лондонских особняков. В сорок лет, имея троих детей, она сохранила свою незаурядную красоту, слегка поблекшую от усиленной умственной и физической деятельности. Как человек увлекающийся, она любила Майкла, несмотря на его чудаческие выпады, так что его матримониальная авантюра сразу заинтересовала ее. Флер была изящна, обладала живым природным умом — новой племянницей безусловно стоило заняться. Но несмотря на то, что Флер была податлива и умела приспособляться к людям, она мало поддалась обработке; она продолжала задевать любопытство леди Элисон, которая привыкла к тесному кружку избранных и испытывала какое-то острое чувство, сталкиваясь с новым поколением на медном полу в гостиной Флер. Там она встречала полную непочтительность ко всему на свете, которая, если не принимать ее всерьез, очень будоражила ее мысли. В этой гостиной она чувствовала себя почти что отсталой. Это было даже пикантно.

Приняв от Флер по телефону заказ на Гэрдона Минхо, леди Элисон сразу позвонила писателю. Она была с ним знакома — правда, не очень близко. Никто не был с ним близко знаком. Он был всегда любезен, вежлив, молчалив, немного скучноват и серьезен. Но он обладал обезоруживающей улыбкой — иногда иронической, иногда дружелюбной. Его книги были то едкими, то сентиментальными. Считалось хорошим тоном бранить его и за то и за другое — и все-таки он продолжал существовать.

Леди Элисон позвонила ему: не придет ли он завтра на обед к ее племяннику, Майклу Монту, познакомиться с молодым поколением?

В его ответе прозвучал неожиданный энтузиазм:

— С удовольствием! Фрак или смокинг?

— Как мило с вашей стороны! Вам будут страшно рады. Я думаю, лучше во фраке,— завтра вторая годовщина их свадьбы.— Она повесила трубку, подумав: «Должно быть, он пишет о них книгу».

Сознание ответственности заставило ее приехать рано.

Она приехала с таким чувством, что ее ждут занятные приключения: в кругах ее мужа решались большие дела, и ей было приятно переменить обстановку после целого дня суеты по поводу событий в «Клубе шутников». Ее принял один Тинг-а-Линг, сидевший спиной к камину, и удостоил ее только взглядом. Усевшись на изумрудно-зеленый диван, она сказала:

— Ну ты, смешной зверек, неужели не узнаешь меня после такого долгого знакомства?

Блестящие черные глаза Тинга словно говорили: «Знаю, что вы тут часто бываете; все на свете повторяется. И будущее не сулит ничего нового».

Леди Элисон задумалась. Новое поколение! Хочется ли ей, чтобы ее дочери принадлежали к нему? Ей было бы интересно поговорить об этом с мистером Минхо — перед войной они так чудесно беседовали с ним в Бичгрове. Девять лет назад! Сибил было шесть лет, Джоун — всего четыре года! Время идет, все меняется. Новое поколение! А в чем разница? «У нас было больше традиций»,— тихо проговорила она.

Легкий шум заставил ее поднять глаза, устремленные на носок туфли. Тинг-а-Линг хлопал хвостом по ковру, словно аплодируя. Голос Флер раздался у нее за спиной:

— Дорогая, я страшно опоздала. До чего мило с вашей стороны, что вы раздобыли мне мистера Минхо! Надеюсь, наши будут хорошо себя вести. Во всяком случае, сидеть он будет между вами и мной. Я его посажу у верхнего конца стола, а Майкла — напротив, между Полиной Эпшир и Эмебел Нэйзинг. Слева от вас — Сибли, справа от меня — Обри, потом Неста Горз и Уолтер Нэйзинг, а напротив них Линда Фру и Чарлз Эпшир. Всего двенадцать человек. Вы со всеми знакомы. Да, не обращайте внимания, если Нэйзинги и Неста будут курить в антрактах между блюдами. Эмебел обязательно будет курить. Она из Виргинии — и у нее это реакция. Надеюсь, на ней будет хоть что-нибудь надето. Майкл, впрочем, уверяет, что это ошибка, когда она слишком одета. Но когда ждешь мистера Минхо, как-то нервничаешь. Вы читали последнюю пародию Несты в

«Букете»? Ужасно смешно! Совершенно ясный намек на Л. С. Д.! Тинг, мой милый Тинг, ты хочешь остаться и посмотреть гостей? Ну, тогда забирайся повыше, не то тебе отдавят лапки. Не правда ли, он совсем китайчонок! Он придает такую законченность комнате.

Тинг-а-Линг положил нос на лапы, улегшись на изумрудную подушку.

— Мистер Гэрдин Миннер!

Вошел знаменитый романист, бледный и сдержанный. Пожав обе протянутые руки, он взглянул на Тинга-а-Линга.

— Какой милый! — проговорил он.— Как же ты поживаешь, дружок?

Тинг-а-Линг даже не пошевелился.

«Вы, кажется, принимаете меня за обыкновенную английскую собаку, сэр?» — как будто говорило его молчание.

— Мистер и миссис Уолтер Незон, мисс Линда Фру.

Эмебел Нэйзинг вошла первая. На шесть дюймов выше талии до светлых волос — чистый алебастр ослепительной спины, на четыре дюйма ниже колен до ослепительных туфелек — чуть прикрытый алебастр ног; знаменитый романист машинально прервал беседу с Тинга-а-Лингом.

Уолтер Нэйзинг, следовавший за женой, был намного выше ее ростом и весь в черном, выступала только узенькая белая полоска воротничка; его лицо, словно выточенное сто лет назад, слегка напоминало лицо Шелли. И литературные его произведения иногда походили на стихи этого поэта, а иногда — на прозу Марселя Пруста. «Здорово заверчено!» — как говорил Майкл.

Линда Фру, которую Флер сразу познакомила с Гэрдоном Минхо, принадлежала к числу тех, о чьем творчестве никогда нельзя было услышать двух одинаковых суждений. Ее книги «Пустяки» и «Неистовый дон» вызвали полный раскол во мнениях. Гениальные, по мнению одних, бездарные, по мнению других, эти книги всегда вызывали интересный спор о том, поднимает ли легкий налет безумия ценность искусства или снижает? Сама писательница мало обращала внимания на критику — она творила.

— Тот самый мистер Минхо! Как интересно! Я не читала ни одного вашего романа.

Флер ахнула.

— Как, ты не знаешь кошек мистера Минхо? Но ведь они изумительны. Мистер Минхо, я очень хочу познакомить вас с женой Уолтера Нэйзинга. Эмебел, это— мистер Гэрдон Минхо.

— О! Мистер Минхо! Как замечательно! Я чуть ли не с колыбели мечтаю с вами познакомиться.

Флер услышала спокойный ответ писателя: «Ну, это еще не такой долгий срок», и пошла навстречу Несте Горз и Сибли Суону, которые явились вдвоем, как будто жили вместе, ссорясь из-за Л. С. Д. Неста оправдывала его «задиристый» тон, Сибли уверял, что остроумие умерло вместе с эпохой Реставрации; этот человек был верен себе!

Вошел Майкл с Эпширами и Обри Грином, которых он встретил в холле. Все были в сборе.

Флер обожала безукоризненность во всем, а этот вечер был похож на бред. Удачен ли он? Минхо явно был наименее блестящим собеседником; даже Элисон говорила лучше. А все-таки у него великолепная голова. Флер втайне надеялась, что он не уйдет слишком рано, а то кто-нибудь обязательно скажет: «Вот ископаемое!» или «Толст и лыс!» — прежде чем за гостем закроется дверь. Он трогательно мил, старается понравиться или, во всяком случае, не вызвать слишком сильного презрения. И, конечно, в нем есть что-то большее, чем можно услышать в разговоре. После суфле из крабов он как будто увлекся беседой с Элисон, и все насчет молодежи. Флер слушала краем уха:

— Молодежь чувствует... великий поток жизни... не дает им того, что им нужно... Прошлое и будущее окружены ореолом... О да! Современная жизнь обесценена сейчас... Нет... Единственное утешение для нас —мы станем когда-нибудь такой же стариной, как Конгрив, Стерн, Дефо... и снова будем иметь успех... Почему? Что отвлекает их от общего хода жизни? Просто пресыщение... газеты... фотографии. Жизни они не видят — только читают о ней... Одни репродукции; все кажется поддельным, унылым, продажным... и молодежь говорит: «Долой эту жизнь! Дайте нам прошлое или будущее!»

Он взял несколько соленых миндалинок, и Флер увидела, что его глаза остановились на плечах Эмебел Нэйзинг. В том конце стола разговор был похож на игру в футбол — никто не держал мяч дольше, чем на один удар. Он перелетал от одного к другому. И после ряда удачных пассировок кто-нибудь протягивал руку за папироской и пускал голубое облако дыма над не покрытым скатертью обеденным столом. Флер наслаждалась великолепием своей испанской столовой — мозаичным полом, яркими фруктами из фарфора, тисненой кожей, медной отделкой и Сомсовым Гойей над мавританским диваном. Она быстро принимала мяч, когда он к ней залетал, но не брала на себя инициативы. Ее талант заключался в умении замечать все сразу. «Миссис Майкл Монт подавала» — блестящие нелепости Линды Фру, задор и поддразнивание Несты Горз, туманные намеки Обри Грина, размашистые удары Сибли Суона, маленькие хладнокровные американские вольности Эмебел Нэйзинг, забавные выражения Чарлза Эпшира, рискованные парадоксы Уолтера Нэйзинга, критические замечания Полины Эпшир, легкомысленные шутки и шпильки Майкла, даже искреннюю оживленность Элисон и молчание Гэрдона Минхо — все это она подавала, выставляла напоказ, все время настороженно следя, чтобы мяч разговора не коснулся земли и не замер. Да, блестящий вечер, но — успех ли это?

Когда простились последние гости и Майкл пошел провожать Элисон домой, Флер села на зеленый диван и стала думать о словах Минхо: «Молодежь не получает того, что ей нужно». Нет! Что-то не ладится.— Не ладится, правда, Тинг? — Но Тинг-а-Линг устал, и только кончик одного уха дрогнул. Флер откинулась на спинку дивана и вздохнула. Тинг-а-Линг выпрямился и, положив передние лапы к ней на колени, посмотрел ей в лицо. «Смотри на меня,— как будто говорил он.— У меня все благополучно. Я получаю то, чего хочу, и хочу того, что получаю. Сейчас я хочу спать».

— А я — нет,— сказала Флер, не двигаясь.

— Возьми меня на руки,— попросил Тинг-а-Линг.

— Да,— сказала Флер,— мне кажется... Он милый человек, но это не тот человек, Тинг.

Тинг-а-Линг устроился поудобнее на ее обнаженных руках.

«Все в порядке,— как будто говорил он,— тут у вас слишком много всяких чувств и тому подобное — в Китае их нет. Идем!»

V

ЕВА

Квартира Уилфрида Дезерта была как раз напротив картинной галереи на Корк-стрит. Являясь единственным представителем мужской половины аристократии, пишущим достойные печати стихи, он выбрал эту квартиру не за удобство, а за уединенность. Однако его «берлога» была обставлена со вкусом, с изысканностью, которая свойственна аристократическим английским семействам. Два грузовика со «всяким хламом» из Хэмширского имения старого лорда Мэллиона прибыли сюда, когда Уилфрид устраивался. Впрочем, его редко можно было застать в его гнезде, да и вообще его считали редкой птицей, и он занимал совершенно обособленное положение среди молодых литераторов, отчасти благодаря своей репутации постоянного бродяги. Он сам едва ли знал, где проводит время, где работает,— у него было что-то вроде умственной клаустрофобии [1], страх быть стиснутым людьми. Когда началась война, он только что окончил Итон; когда война кончилась, ему было двадцать три года — и не было на свете молодого поэта старее, чем он. Его дружба с Майклом, начавшись в госпитале, совсем было замерла и внезапно возобновилась, когда Майкл в 1920 году вступил в издательство Дэнби и Уинтера, на Блэйк-стрит, Ковент-Гарден. Стихи Уилфрида вызвали в новоиспеченном издателе буйный восторг. После задушевных бесед над стихами поэта, ищущего литературного пристанища, была одержана победа над издательством, уступившим настояниям Майкла. Общая радость от первой книги, написанной Уилфридом и ставшей первым изданием Майкла, увен-

[1] Боязнь замкнутого пространства.

чалась свадьбой Майкла. Лучший друг и шафер! С тех пор Дезерт, насколько умел, привязался к этой паре; и надо отдать ему справедливость — только месяц назад ему стало ясно, что притягивает его не Майкл, а Флер. Дезерт никогда не говорил о войне, и от него нельзя было услышать о том впечатлении, которое сложилось у него и которое он мог бы выразить так: «Я столько времени жил среди ужасов и смертей, я видел людей в таком неприкрашенном виде, я так нещадно изгонял из своих мыслей всякую надежду, что у меня теперь никогда не может быть ни малейшего уважения к теориям, обещаниям, условностям, морали и принципам. Я слишком возненавидел людей, которые копались во всех этих умствованиях, пока я копался в грязи и крови. Иллюзии кончились. Никакая религия, никакая философия меня не удовлетворяют — слова, и только слова. Я все еще сохранил здравый ум — и не особенно этому рад. Я все еще, оказывается, способен испытывать страсть; еще могу скрипеть зубами, могу улыбаться. Во мне еще сильна какая-то окопная честность, но искренна ли она, или это только привычный след былого — не знаю. Я опасен, но не так опасен, как те, кто торгует словами, принципами, теориями, всякими фанатическими бреднями за счет крови и пота других людей. Война сделала для меня только одно — научила смотреть на жизнь как на комедию. Смеяться над ней — только это и остается!»

Уйдя с концерта в пятницу вечером, он прямо прошел к себе домой. И, вытянувшись во весь рост на монашеском ложе пятнадцатого века, скрашенном мягкими подушками и шелками двадцатого, он закинул руки за голову и погрузился в размышления: «Так дальше жить я не хочу. Она меня околдовала. Для нее это пустое. Но для меня это ад. В воскресенье покончу со всем. Персия — хорошее место. Аравия — хорошее место, много крови и песка! Флер не способна просто отказаться от чего-нибудь. Но как она запутала меня! Обаянием глаз, волос, походки, звуками голоса — обаянием теплоты, аромата, блеска. Перейти границы — нет, это не для нее. А если так — что же тогда? Неужели я буду пресмыкаться перед ее китайским камином и китайской собачонкой и томиться такой тоской, такой лихо-

радочной жаждой из-за того, что я не могу целовать ее? Нет, лучше снова летать над немецкими батареями. В воскресенье! До чего женщины любят затягивать агонию. И ведь повторится то же самое, что было сегодня днем. «Как нехорошо с вашей стороны уходить теперь, когда ваша дружба мне так нужна! Оставайтесь, будьте моим ручным котенком, Уилфрид!» Нет, дорогая, раз навсегда надо покончить с этим. И я покончу — клянусь богом!..»

Когда в этой галерее, где дан приют всему британскому искусству, так случайно, в воскресное утро, встретились двое перед Евой, вдыхающей аромат райских цветов, там, кроме них обоих, было еще шестеро подвыпивших юнцов, забредших сюда явно по ошибке, служитель музея и парочка из провинции; все они, по-видимому, были лишены способности замечать что бы то ни было. Кстати, встреча эта действительно казалась совершенно невыразительной. Просто двое молодых людей из разочарованного круга общества обмениваются уничтожающими замечаниями по адресу прошлого. Дезерт своим уверенным тоном, улыбкой, светской непринужденностью никак не выдавал сердечной боли. Флер была бледнее его и интереснее. Дезерт твердил про себя: «Никакой мелодрамы— только не это!» А Флер думала: «Если я смогу заставить его всегда быть вот таким обыкновенным, я его не потеряю, потому что он не уйдет без настоящей вспышки».

Только когда они во второй раз оказались перед Евой, Уилфрид проговорил:

— Не знаю, зачем вы просили меня прийти, Флер. Я делаю глупость, что даю себя на растерзание. Я вполне понимаю ваши чувства. Я для вас вроде экземпляра эпохи Мин, с которым вам жалко расстаться. Но я вряд ли гожусь для этого; вот и все, что остается сказать.

— Какие ужасные вещи вы говорите, Уилфрид!

— Ну вот! Итак, мы расстаемся. Дайте лапку!

Его глаза — красивые, потемневшие глаза — трагически противоречили улыбающимся губам, и Флер, запинаясь, сказала:

— Уилфрид... я... я не знаю. Дайте мне подумать. Мне слишком тяжело, когда вы несчастны. Не уезжайте.

Может быть, я... я тоже буду несчастна. Я... я сама не знаю.

Горькая мысль мелькнула у Дезерта: «Она не может меня отпустить — не умеет». Но он проговорил очень мягко:

— Не грустите, дитя мое. Вы забудете все это через две недели. Я вам что-нибудь пришлю в утешение. Почему бы мне не выбрать Китай — не все ли равно, куда ехать? Я вам пришлю настоящий экземпляр для китайской коллекции — более ценный, чем вот этот.

— Вы меня оскорбляете! Не надо! — страстно сказала Флер.

— Простите. Я не хочу сердить вас на прощание.

— Чего же вы от меня хотите?

— Ну послушайте! Зачем повторять все сначала! А кроме того, я все время с пятницы думаю об этом. Мне ничего не надо, Флер,— только благословите меня и дайте мне руку. Ну?

Флер спрятала руку за спину. Это слишком оскорбительно! Он принимает ее за хладнокровную кокетку, за жадную кошку — терзает, играя, мышей, которых и не собирается есть!

— Вы думаете, я сделана изо льда? — спросила она и прикусила верхнюю губу.— Так нет же!

Дезерт посмотрел на нее: его глаза стали совсем несчастными.

— Я не хотел задеть ваше самолюбие,— сказал он.— Оставим это, Флер. Не стоит.

Флер отвернулась и устремила взгляд на Еву — такая здоровая женщина, беззаботная, жадно вдыхающая полной грудью аромат цветов! Почему бы не быть такой вот беззаботной, не срывать все по пути? Не так уж много в мире любви, чтобы проходить мимо, не сорвав, не вдохнув ее. Убежать! Уехать с ним на Восток! Нет, конечно, она не способна на такую безумную выходку. Но, может быть... не все ли равно? — тот ли, другой ли, если ни одного из них не любишь по-настоящему!

Из-под опущенных белых век, сквозь темные ресницы Флер видела выражение его лица, видела, что он стоит неподвижнее статуи. И вдруг она сказала:

— Вы сделаете глупость, если уедете! Подождите!— И, не прибавив ни слова, не взглянув, она быстро ушла, а Дезерт стоял, как оглушенный, перед Евой, жадно рвущей цветы.

VI

«СТАРЫЙ ФОРСАЙТ» И «СТАРЫЙ МОНТ»

Флер была в таком смятении, что второпях чуть не наступила на ногу одному весьма знакомому человеку, стоявшему перед картиной Альма-Тадемы в какой-то унылой тревоге, как будто задумавшись над изменчивостью рыночных цен.

— Папа! Ты разве в городе? Пойдем к нам завтракать, я страшно спешу домой.

Взяв его под руку и стараясь загородить от него Еву, она увела его, думая: «Видел он нас? Мог он нас заметить?»

— Ты тепло одета?— пробурчал Сомс.

— Очень!

— Верь вам, женщинам! Ветер с востока — а ты посмотри на свою шею! Право, не понимаю.

— Зато я понимаю, милый.

Серые глаза Сомса одобрительно осмотрели ее с ног до головы.

— Что ты здесь делала? — спросил он.

И Флер подумала: «Слава богу, не видел! Иначе он ни за что бы не спросил». И она ответила:

— Я просто интересуюсь искусством, так же как и ты, милый.

— А я остановился у твоей тетки на Грин-стрит. Этот восточный ветер отражается на моей печени. А как твой... как Майкл?

— О, прекрасно—изредка хандрит. У нас вчера был званый обед.

Годовщина свадьбы! Реализм Форсайтов заставил его пристально заглянуть в глаза Флер.

Опуская руку в карман пальто, он сказал:

— Я нес тебе подарок.

Флер увидела что-то плоское, завернутое в розовую папиросную бумагу.

— Дорогой мой, а что это?

Сомс снова спрятал пакетик в карман.

— После посмотрим. Кто-нибудь у тебя завтракает?

— Только Барт.

— «Старый Монт»? О господи!

— Разве тебе не нравится Барт, милый?

— Нравится? У меня с ним нет ничего общего.

— Я думала, что вы как будто сходитесь в политических вопросах.

— Он реакционер,— сказал Сомс.

— А ты кто, дорогой?

— Я? А зачем мне быть кем-нибудь?—И в этих словах сказалась вся его политическая программа — не вмешиваться ни во что; чем старше он становился, тем больше считал, что это единственно правильная позиция для каждого здравомыслящего человека.

— А как мама?

— Прекрасно выглядит. Я ее совершенно не вижу — у нее гостит ее мамаша, она целыми днями в бегах.

Сомс никогда не называл мадам Ламот бабушкой Флер — чем меньше его дочь будет иметь дела со своей французской родней, тем лучше.

— Ах! — воскликнула Флер.— Вот Тинг и кошка!

Тинг-а-Линг, вышедший на прогулку, рвался на поводке из рук горничной и отчаянно фыркал, пытаясь влезть на решетку, где сидела черная кошка, вся ощерившись, сверкая глазами.

— Дайте мне его, Элен. Иди к маме, милый.

И Тинг-а-Линг пошел: вырваться все равно было нельзя; но он все время оборачивался, фыркая и скаля зубы.

— Люблю, когда он такой естественный,— сказала Флер.

— Выброшенные деньги — такая собака,— заметил Сомс.— Тебе надо было купить бульдога — пусть бы спал в холле. Нет конца грабежам. У тети украли дверной молоток.

— Я бы не рассталась с Тингом и за сто молотков.

— В один прекрасный день у тебя и его украдут — эта порода в моде!

Флер открыла дверь.

— Ой,— сказала она,— Барт уже пришел!

Блестящий цилиндр красовался на мраморном ларе, подаренном Сомсом и предназначенном для хранения верхнего платья, на страх моли.

Поставив свой цилиндр рядом с тем, Сомс поглядел на них. Они были до смешного одинаковые — высокие, блестящие, с той же маркой внутри. Сомс опять стал носить цилиндр после провала всеобщей стачки и забастовки горняков 1921 года, инстинктивно почувствовав, что революция на довольно значительное время отсрочена.

— Так вот,—сказал он, вынимая розовый пакетик из кармана,— не знаю, понравится ли тебе, посмотри!

Это был причудливо выточенный, причудливо переливающийся кусочек опала в оправе из крохотных бриллиантов.

— О, какая прелесть! — обрадовалась Флер.

— Венера, выходящая из морской пены, или что-то в этом духе,— проворчал Сомс.— Редкость. Нужно ее смотреть при сильном освещении.

— Но она очаровательна. Я сейчас же ее надену. Венера! Если бы папа только знал! Она обвила его шею руками, чтобы скрыть смущение. Сомс с обычной сдержанностью позволил ей потереться щекой о его гладко выбритое лицо. Зачем излишние проявления любви, когда они оба и так знают, что его чувство вдвое сильнее чувства Флер?

— Ну, надень,— сказал он,— посмотрим.

Флер приколола опал у ворота, глядя на себя в старинное, в лакированной раме зеркало.

— Изумительно! Спасибо тебе, дорогой. Да, твой галстук в порядке. Мне нравятся эти белые полосочки. Ты всегда носи его к черному. Ну, пойдем!—и она потянула его за собой в китайскую комнату. Там никого не было.

— Барт, наверно, наверху у Майкла — обсуждает свою новую книгу.

— В его годы — писать! — сказал Сомс.

— Миленький, да он на год моложе тебя!

— Но я-то не пишу. Не так глуп. Ну, а у тебя завелись еще какие-нибудь эдакие новомодные знакомые?

— Только один. Гэрдон Минхо, писатель.

— Тоже из новых?

— Что ты, милый! Неужели ты не слышал о Гэрдоне Минхо? Он стар как мир.

— Все они для меня одинаковы,— проворчал Сомс.— Он на хорошем счету?

— Да, я думаю, что его годовой доход побольше твоего. Он почти классик — ему для этого остается только умереть.

— Надо будет достать какую-нибудь из его книг и почитать. Как ты его назвала?

— Ты достань «Рыбы и рыбки» Гэрдона Минхо. Запомнишь, правда? А-а, вот и они! Майкл, посмотри, что папа мне подарил.

Взяв его руку, она приложила ее к опалу на своей шее. «Пусть они оба видят, в каких мы хороших отношениях»,—подумала она. Хотя отец и не видел ее с Уилфридом в галерее, но совесть ей подсказывала: «Укрепляй свою репутацию — неизвестно, какая поддержка понадобится тебе в будущем».

Украдкой она наблюдала за стариками. Встречи «Старого Монта» со «Старым Форсайтом», как называл ее отца Барт, говоря о нем с Майклом, вызывали у нее желание смеяться — совершенно неизвестно почему. Барт знал все — но все его знания были словно прекрасно переплетенные и аккуратно изданные в духе восемнадцатого века томики. Ее отец знал только то, что ему было выгодно знать, но его знания не были систематизированы и не входили ни в какие рамки. Если он и принадлежал к концу викторианской эпохи, то все же умел, когда было нужно, пользоваться достижениями позднейших периодов. «Старый Монт» верил в традиции, «Старый Форсайт» — ничуть. Зоркая Флер давно подметила разницу в пользу своего отца. Однако разговоры «Старого Монта» были много современнее, живее, поверхностнее, язвительнее, менее связаны с точной информацией, а речь Сомса всегда была сжата, деловита. Просто невозможно сказать, который из них — лучший музейный экспонат. И оба так хорошо сохранились!

Они, собственно, даже не поздоровались, только Сомс пробурчал что-то о погоде. И почти сразу все принялись за воскресный завтрак — Флер, после длительных стараний, удалось совершенно лишить его обычного британ-

ского характера. И действительно, им был подан салат из омаров, ризотто из цыплячьих печенок, омлет с ромом и десерт настолько испанского вида, как только было возможно.

— Я сегодня была у Тэйта,— проговорила Флер.— Право, по-моему, это трогательное зрелище.

— Трогательное? — фыркнул Сомс.

— Флер хочет сказать, сэр, что видеть сразу так много старых английских картин — это все равно, что смотреть на выставку младенцев.

— Не понимаю,— сухо возразил Сомс.— Там есть прекрасные работы.

— Но не «взрослые»!

— А вы, молодежь, принимаете всякое сумасшедшее умничанье за зрелость.

— Нет, папа, Майкл не то хочет сказать. Ведь правда, у английской живописи еще не прорезались зубы мудрости. Сразу видишь разницу между английской и любой континентальной живописью.

— И благодарение богу за это! — перебил сэр Лоренс.— Искусство нашей страны прекрасно своей невинностью. Мы самая старая страна в политическом отношении и самая юная — в эстетическом. Что вы скажете на это, Форсайт?

— Тернер для меня достаточно стар и умен,— коротко бросил Сомс.— Вы придете на заседание правления ОГС во вторник?

— Во вторник? Как будто мы собирались поохотиться, Майкл?

Сомс проворчал:

— Придется с этим подождать. Мы утверждаем отчет.

Благодаря влиянию «Старого Монта» Сомс попал в правление одного из богатейших страховых предприятий — Общества Гарантийного Страхования — и, по правде говоря, чувствовал себя там не совсем уверенно. Несмотря на то, что закон о страховании был одним из надежнейших в мире, появились обстоятельства, которые причиняли ему беспокойство. Сомс покосился через стол. Весьма легковесен этот узколобый, мохнатобровый баронетишка — вроде своего сына! И Сомс внезапно добавил:

— Я не вполне спокоен. Если бы я знал раньше, как этот Элдерсон ведет дела,— сомневаюсь, что я вошел бы в правление.

Лицо «Старого Монта» расплылось так, что, казалось, обе половинки разойдутся.

— Элдерсон! Его дед был у моего деда агентом по выборам во время билля о парламентской реформе; он провел его через самые коррупти́рованные выборы, какие когда-либо имели место, купил все голоса, перецеловал всех фермерских жен. Великие времена, Форсайт, великие времена!

— И они прошли,— сказал Сомс.— Вообще, я считаю, что нельзя так доверять одному человеку, как мы доверяем Элдерсону. Не нравятся мне эти иностранные страховки.

— Что вы, дорогой мой Форсайт! Этот Элдерсон — первоклассный ум. Я знаю его с детства, мы вместе учились в Уинчестере.

Сомс глухо заворчал. В этом ответе «Старого Монта» крылась главная причина его беспокойства. Члены правления все словно учились вместе в Уинчестере. Тут-то и зарыта собака! Они все до того почтенны, что не решаются взять под сомнение не только друг друга, но даже свои собственные коллективные действия. Пуще ошибок, пуще обмана они боятся выказать недоверие друг к другу. И это естественно: недоверие друг к другу есть зло непосредственное. А, как известно, непосредственных неприятностей и стараются избегать. И в самом деле, только привычка, унаследованная Сомсом от своего отца Джемса,—привычка лежать без сна между двумя и четырьмя часами ночи, когда из кокона смутного опасения так легко вылетает бабочка страха,— заставляла его беспокоиться. Конечно, ОГС было столь внушительным предприятием и сам Сомс был так недавно с ним связан, что явно преждевременно было чуять недоброе,— тем более, что ему пришлось бы уйти из правления и потерять тысячу в год, которую он получал там, если бы он поднял тревогу без всякой причины. А что, если причина все же есть? Вот в чем беда! А тут еще этот «Старый Монт» сидит и болтает об охоте и своем дедушке. Слишком узкий лоб у этого человека! И невесело подумав: «Никто из них, даже моя род-

ная дочь, не способны ничего принимать всерьез»,— он окончательно умолк. Возня у его локтя заставила его очнуться — это собачонка вскочила на стул между ним и Флер! Кажется, ждет, чтоб он дал ей что-нибудь? У нее скоро глаза выскочат. И Сомс сказал:

— Ну, а тебе что нужно? — Как это животное смотрит на него своими пуговицами для башмаков! — На,— сказал он, протягивая собаке соленую миндалину,— не ешь их, верно?

Но Тинг-а-Линг съел.

— Он просто обожает миндаль, папочка. Правда, мой миленький?

Тинг-а-Линг поднял глаза на Сомса, и у того появилось странное ощущение. «По-моему, этот звереныш меня любит,— подумал он,— всегда на меня смотрит». Он дотронулся до носа Тинга концом пальца. Тинг-а-Линг слегка лизнул палец своим загнутым черноватым язычком.

— Бедняга! — непроизвольно сорвалось у Сомса, и он обернулся к «Старому Монту».— Забудьте, что я говорил.

— Дорогой мой Форсайт, а что, собственно, вы сказали?

Господи помилуй! И он сидит в правлении рядом с таким человеком! Что заставило его принять этот пост — один бог знает,— ни деньги, ни лишние заботы ему не были нужны. Как только он стал одним из директоров, вся его родня — Уинифрид и другие — стала покупать акции, чтобы заработать на подоходный налог: семь процентов с привилегированных акций, девять процентов с обычных вместо тех верных пяти процентов, которыми им следовало бы довольствоваться. Вот так всегда: он не может сделать ни шагу, чтобы за ним не увязались люди. Ведь он был всегда таким верным, таким прекрасным советником в путаных денежных делах. И теперь, в его годы, такое беспокойство! В поисках утешения его глаза остановились на опале у шеи Флер— красивая вещь, красивая шея! Да! У нее совсем счастливый вид — забыла свое несчастное увлечение,— как-никак, два года прошло. За одно это стоит благодарить судьбу. Теперь ей нужен ребенок, чтобы сделать ее устойчивее во всей этой модной суете, среди грошовых

писак, художников и музыкантов. Распущенная публика. Впрочем, у Флер умная головка. Если у нее будет ребенок, надо будет положить на ее имя еще двадцать тысяч. У ее матери одно достоинство: в денежных делах очень аккуратна,— хорошая французская черта. И Флер, насколько ему известно, тоже знает цену деньгам. Что такое? До его слуха долетело слово «Гойя». Выходит новая его биография? Гм... Это подтвердило медленно крепнущее в нем убеждение, что Гойя снова на вершине славы.

— Пожалуй, расстанусь с этой вещью,— сказал он, указывая на картину.— Тут сейчас есть один аргентинец.

— Продать вашего Гойю, сэр? — удивился Майкл.— Вы только подумайте, как все сейчас завидуют вам.

— За всем не угнаться,— сказал Сомс.

— Репродукция, которую мы сделали для новой биографии, вышла изумительно. «Собственность Сомса Форсайта, эсквайра». Дайте нам сначала хоть выпустить книгу, сэр.

— Тень или сущность, а? Форсайт?

Узколобый баронетишка— насмехается он, что ли?

— У *меня* нет родового поместья,— сказал он.

— Зато у нас есть, сэр,— ввернул Майкл.— Вы могли бы завещать картину Флер.

— Посмотрим, заслужит ли она,— сказал Сомс. И посмотрел на дочь.

Флер редко краснела: она просто взяла Тинг-а-Линга на руки и встала из-за испанского стола. Майкл пошел за ней.

— Кофе в комнате рядом,— сказал он.

«Старый Форсайт» и «Старый Монт» встали, вытирая усы.

VII

«СТАРЫЙ МОНТ» И «СТАРЫЙ ФОРСАЙТ»

Контора ОГС находилась недалеко от Геральдического управления. Сомс, знавший, что «три червленые пряжки на черном поле вправо» и «натурального цвета фазан» за немалую мзду были получены его дядей Суизином в шестидесятых годах прошлого века, всегда пре-

зрительно отзывался об этом учреждении, пока, примерно с год назад, его не поразила фамилия Голдинг, попавшаяся ему в книге, которую он рассеянно просматривал в «Клубе знатоков». Автор пытался доказать, что Шекспир в действительности был Эдуард де Вир, граф Оксфорд. Мать графа была урожденная Голдинг, и мать Сомса — тоже! Совпадение поразило его; и он стал читать дальше. Он отложил книгу, не уверенный в правильности ее основных выводов, но у него определенно зародилось любопытство: не приходится ли он родственником Шекспиру? Даже если считать, что граф не был поэтом, все же Сомс чувствовал, что такое родство только почетно, хотя, насколько ему удалось выяснить, граф Оксфорд был темной личностью. Когда Сомс попал в правление ОГС и раз в две недели, по вторникам, стал проходить мимо этого учреждения, он думал: «Денег я на это тратить не стану, но как-нибудь загляну сюда». А когда заглянул, сам удивился, насколько это его захватило. Проследить родословную матери оказалось чем-то вроде уголовного расследования: почти так же запутано и совершенно так же дорого. С форсайтским упорством он не мог уже остановиться в своих поисках матери Шекспира де Вир, даже если бы она оказалась только дальней родней. К несчастью, он никак не мог проникнуть дальше некоего Уильяма Гоулдинга, времен Оливера Кромвеля, по роду занятий «ингерера», Сомс даже боялся разузнать, какая это, в сущности, была профессия. Надо было раскопать еще четыре поколения — и он тратил все больше денег и все больше терял надежду что-нибудь получить за них. Вот почему во вторник, после завтрака у Флер, он по дороге в правление так косо смотрел на старое здание. Еще две бессонные ночи до того взвинтили его, что он решил больше не скрывать своих подозрений и выяснить, как обстоят дела в ОГС. И неожиданное напоминание о том, что он тратит деньги как попало, когда в будущем, пусть отдаленном, придется, чего доброго, выполнять финансовые обязательства, совершенно натянуло его и без того напряженные нервы. Отказавшись от лифта и медленно подымаясь на второй этаж, он снова перебирал всех членов правления. Старого лорда Фонтеноя держали там, конечно, только ради имени; он редко посещал

заседания и был, как теперь говорили... мм-м... «пустым местом». Председатель сэр Льюк Шерман, казалось, всегда старался только о том, чтобы его не приняли за еврея. Нос у него был прямой, но веки внушали подозрение. Его фамилия была безукоризненна, зато имя — сомнительно; голосу он придавал нарочитую грубоватость, зато его платье имело подозрительную склонность к блеску. А в общем это был человек, о котором, как чувствовал Сомс, нельзя было сказать, несмотря на весь его ум, что он относится к делу вполне серьезно. Что касается «Старого Монта» — ну, какая польза правлению от девятого баронета? Хью Мэйрик, королевский адвокат — последний из троицы, которая «вместе училась»,— был безусловно на месте в суде, но заниматься делами не имел ни времени, ни склонности. Оставался этот обращенный квакер, старый Кэтберт Мозергилл, чья фамилия в течение прошлого столетия стала нарицательной для обозначения честности и успеха в делах, так что до сих пор Мозергиллов выбирали почти автоматически во все правления. Это был глуховатый, приятный, чистенький старичок, необычайно кроткий — и ничего больше. Абсолютно честная публика, несомненно, но совершенно поверхностная. Никто из них по-настоящему не интересуется делом. И все они в руках у Элдерсона; кроме Шермана, пожалуй, да и тот ненадежен! А сам Элдерсон — умница, артист в своем роде; с самого начала был директором-распорядителем и знает дело до мельчайших подробностей. Да! В этом все горе! Он завоевал себе престиж своими знаниями, годами успеха; все заискивают перед ним — и не удивительно! Плохо то, что такой человек никогда не признается в своей ошибке, потому что это разрушило бы представление о его непогрешимости. Сомс считал себя достаточно непогрешимым, чтобы знать, как неприятно в чем бы то ни было признаваться. Десять месяцев назад, когда он вступал в правление, все, казалось, шло полным ходом: на бирже падение цен достигло предела — по крайней мере все так считали,— и поэтому гарантийное страхование заграничных контрактов, предложенное Элдерсоном с год назад, представлялось всем, при некотором подъеме на бирже, самой блестящей из всех возможностей. И теперь, через год, Сомс смутно подозревал, что

никто не знает в точности, как обстоят дела,— а до общего собрания осталось только шесть недель! Пожалуй, даже Элдерсон ничего не знает, а если и знает, то упорно держит про себя те сведения, которые по праву принадлежат всему директорату.

Сомс вошел в кабинет правления без улыбки. Все налицо, даже лорд Фонтеной и «Старый Монт»,— ага, отказался от своей охоты! Сомс сел поодаль, в кресло у камина. Глядя на Элдерсона, он внезапно совершенно отчетливо понял всю прочность положения Элдерсона и всю непрочность ОГС. При неустойчивости валюты они никак не могут точно установить свои обязательства — они просто играют вслепую. Слушая протокол предыдущего заседания и очередные дела, подперев подбородок рукой, Сомс переводил глаза с одного на другого — старый Мозергилл, Элдерсон, Монт напротив, Шерман на месте председателя, Фонтеной, спиной к нему Мэйрик — решающее заседание правления в этом году. Он не может, не должен ставить себя в ложное положение. Он не имеет права впервые встретиться с держателями акций, не запасшись точными сведениями о положении дел. Он снова взглянул на Элдерсона — приторная физиономия, лысая голова, как у Юлия Цезаря; ничего такого, что внушало бы излишний оптимизм или излишнее недоверие,— пожалуй, даже слегка похож на старого дядю Николаса Форсайта, чьи дела всегда служили примером позапрошлому поколению. Когда директор-распорядитель окончил свой доклад, Сомс уставился на розовое лицо сонного старого Мозергилла и сказал:

— Я считаю, что этот отчет неточно освещает наше положение. Я считаю нужным собрать правление через неделю, господин председатель, и в течение этой недели каждого члена правления необходимо снабдить точными сведениями об иностранных контрактах, которые не истекают в текущем финансовом году. Я заметил, что все они попали под общую рубрику обязательств. Меня это не удовлетворяет. Они должны быть выделены совершенно особо.— И, переведя взгляд мимо Элдерсона прямо на лицо «Старого Монта», он продолжал: —Если в будущем году положение на континенте не изменится к лучшему — в чем я сильно сомневаюсь,— я вполне готов ожидать, что эти сделки заведут нас в тупик.

Шарканье подошв, движение ног, откашливания, какими обычно выражается смутное чувство обиды, встретили слова «в тупик», и Сомс почувствовал что-то вроде удовлетворения. Он встряхнул их сонное благодушие, заставил их испытать те опасения, от которых сам так страдал в последнее время.

— Мы всегда все наши обязательства рассматриваем под общей рубрикой, мистер Форсайт.

Какой наивный тип!

— И, по-моему, напрасно. Страхование иностранных контрактов — дело новое. И если я верно понимаю вас, то нам, вместо того, чтобы выплачивать дивиденды, надо отложить прибыли этого года на случай убытков в будущем году.

Снова движение и шарканье.

— Дорогой сэр, это абсурдно!

Бульдог, сидевший в Сомсе, зарычал.

— Вы так думаете!— сказал он.— Получу я эти сведения или нет?

— Разумеется, правление может получить все сведения, какие пожелает. Но разрешите мне заметить по общему вопросу, что тут может идти речь только об оценке обязательств. А мы всегда были весьма осторожны в наших оценках.

— Тут возможны разные мнения,— сказал Сомс,— и мне кажется, важнее всего узнать мнение директоров, после того как они тщательно обсудят цифровые данные.

Заговорил «Старый Монт»:

— Дорогой мой Форсайт, подробный разбор каждого контракта отнял бы у нас целую неделю и ничего бы не дал; мы можем только обсудить итоги.

— Из этих отчетов,— сказал Сомс,— нам не видно соотношение — в какой именно степени мы рискуем при страховании заграничных и отечественных контрактов; а при нынешнем положении вещей это очень важно.

Заговорил председатель:

— Вероятно, это не встретит препятствий, Элдерсон? Но во всяком случае, мистер Форсайт, нельзя же в этом году лишать людей дивидендов в предвидении неудач, которых, как мы надеемся, не будет.

— Не знаю,— сказал Сомс.— Мы собрались здесь, чтобы выработать план действий согласно здравому

смыслу, и мы должны иметь полнейшую возможность это сделать. Это мой главный довод. Мы недостаточно информированы.

«Наивный тип» заговорил снова:

— Мистер Форсайт как будто высказывает недостаток доверия по отношению к руководству?

Ага, как будто берет быка за рога!

— Получу я эти сведения?

Голос старенького Мозергилла уютно заворковал в тишине:

— Заседание, конечно, можно бы отложить, господин председатель. Я сам мог бы приехать в крайнем случае. Может быть, мы все могли бы присутствовать. Конечно, времена нынче очень необычные — мы не должны рисковать без особой необходимости. Практика иностранных контрактов — вещь для нас, без сомнения, несколько новая. Пока что у нас нет оснований жаловаться на результаты. И право же, мы все с величайшим доверием относимся к нашему директору-распорядителю. И все-таки, раз мистер Форсайт требует этой информации, надо бы нам, по моему мнению, получить ее. Как вы полагаете, милорд?

— Я не могу прийти на следующей неделе. Согласен с председателем, что совершенно излишне отказываться от дивидендов в этом году. Зачем подымать тревогу, пока нет оснований? Когда будет опубликован отчет, Элдерсон?

— Если все пойдет нормально, то в конце недели.

— Сейчас не нормальное время,— сказал Сомс.— Короче говоря, если я не получу точной информации, я буду вынужден подать в отставку.

Он прекрасно видел, что они думают: «Новичок — и подымает такой шум!» Они охотно приняли бы его отставку — хотя это было бы не совсем удобно перед общим собранием, если только они не смогут сослаться на «болезнь его жены» или на другую уважительную причину; а уж он постарается не дать им такой возможности!

Председатель холодно сказал:

— Хорошо, отложим заседание правления до следующего вторника; вы сможете представить нам эти данные, Элдерсон?

— Конечно!

В голове у Сомса мелькнуло: «Надо бы потребовать ревизии». Но он поглядел кругом. Пожалуй, не стоит заходить слишком далеко, раз он собирается остаться в правлении; а желания уйти у него нет — в конце концов это прекрасное место — и тысяча в год! Да. Не надо перегибать палку!

Уходя, Сомс чувствовал, что его триумф сомнителен; он был даже не совсем уверен — принес ли он какую-нибудь пользу. Его выступление только сплотило всех, кто «вместе учился», вокруг Элдерсона. Шаткость его позиции заключалась в том, что ему не на что было сослаться, кроме какого-то внутреннего беспокойства, которое при ближайшем рассмотрении просто оказывалось желанием активнее участвовать в деле, а между тем двух директоров-распорядителей быть не может — и своему директору надо верить.

Голос за его спиной застрекотал:

— Ну, Форсайт, вы нас прямо поразили вашим ультиматумом. Первый раз на моей памяти в правлении случается такая вещь.

— Сонное царство,— сказал Сомс.

— Да, я там обычно дремлю. Там всегда к концу такая духота. Лучше бы я поехал на охоту. Даже в такое время года это приятное занятие.

Неисправимо легкомыслен этот болтун баронет!

— Кстати, Форсайт, я давно хотел вам сказать. Это современное нежелание иметь детей и всякие эти штуки начинают внушать беспокойство. Мы— не королевская фамилия, но не согласны ли вы, что пора позаботиться о наследнике?

Сомс был согласен, но не желал говорить на такую щекотливую тему в связи со своей дочерью.

— Времени еще много,— пробормотал он.

— Не нравится мне эта собачка, Форсайт.

Сомс удивленно посмотрел на него.

— Собака? — сказал он.— А какое она имеет отношение?

— Я считаю, что сначала нужен ребенок, а потом уже собака. Собаки и поэты отвлекают внимание молодых женщин. У моей бабушки к двадцати семи годам было пятеро детей. Она была урожденная Монтжой.

Удивительно плодовитая семья! Вы их помните? Семь сестер Монтжой, все красавицы. У старика Монтжоя было сорок семь внуков. Теперь этого не бывает, Форсайт!

— Страна и так перенаселена,— угрюмо сказал Сомс.

— Не той породой, какой нужно. Надо бы их поменьше, а наших — побольше. Это стоило бы ввести законодательным путем.

— Поговорите с вашим сыном!

— О, да ведь они, знаете ли, считают нас ископаемыми. Если бы мы могли хоть указать им смысл жизни. Но это трудно, Форсайт, очень трудно!

— У них есть все, что им нужно,— сказал Сомс.

— Недостаточно, дорогой мой Форсайт, недостаточно. Мировая конъюнктура действует на нервы молодежи. Англии — крышка, говорят они, и Европе — крышка. Раю тоже крышка, и аду — тоже. Нет будущего ни в чем, кроме воздуха. А размножаться в воздухе нельзя... во всяком случае, я сомневаюсь в этом — трудности возникают немалые!

Сомс фыркнул.

— Если бы только журналистам заткнуть глотки,— сказал он. В последнее время, когда в газетах перестали писать каждый день про всякие страхи, Сомс снова испытывал здоровое форсайтское чувство безопасности.— Надо нам только держаться подальше от Европы,— добавил он.

— Держаться подальше и не дать вышибить себя с ринга! Форсайт, мне кажется, вы нашли правильный путь! Быть в хороших отношениях со Скандинавией, Голландией, Испанией, Италией, Турцией — со всеми окраинными странами, куда мы можем пройти морем. А остальные пускай несут свой жребий. Это — мысль!..

Как этот человек трещит!

— Я не политик,— сказал Сомс.

— Держаться на ринге! Новая формула! Мы к этому бессознательно и шли. А что касается торговли — говорить, что мы не можем жить, не торгуя с той или другой страной,— это чепуха, дорогой мой Форсайт. Мир велик— отлично можем!

— Ничего в этом не понимаю,— сказал Сомс. — Я

только знаю, что нам надо прекратить страхование этих иностранных контрактов.

— А почему не ограничить его странами, которые тоже борются на ринге? Вместо «равновесия сил» — «держаться на ринге»! Право же, это гениальная мысль!

Сомс, обвиненный в гениальности, поспешно перебил:

— Я вас тут покину — я иду к дочери!

— А-а! Я иду к сыну. Посмотрите на этих несчастных!

По набережной у Блэкфрайерского моста уныло плелась группа безработных с кружками для пожертвований.

— Революция в зачатке! Вот о чем, к сожалению, всегда забывают, Форсайт!

— О чем именно? — мрачно спросил Сомс.

Неужели этот тип будет трещать всю дорогу до дома Флер?

— Вымойте рабочий класс, оденьте его в чистое, красивое платье, научите их говорить, как мы с вами,— и классовое сознание у них исчезнет. Все дело в ощущениях. Разве вы не предпочли бы жить в одной комнате с чистым, аккуратно одетым слесарем, чем с разбогатевшим выскочкой, который говорит с вульгарным акцентом и распространяет аромат опопанакса. Конечно, предпочли бы!

— Не пробовал, не знаю,— сказал Сомс.

— Вы прагматик! Но поверьте мне, Форсайт, если бы рабочий класс больше думал о мытье и хорошем английском выговоре вместо всякой там политической и экономической ерунды, равенство установилось бы в два счета!

— Мне не нужно равенство,— сказал Сомс, беря билет до Вестминстера.

«Трескотня» преследовала его, даже когда он спускался к поезду подземки.

— Эстетическое равенство, Форсайт, если бы оно у нас было, устранило бы потребность во всяком другом равенстве. Вы видели когда-нибудь нуждающегося профессора, который хотел бы стать королем?

— Нет,— сказал Сомс, разворачивая газету.

VIII

БИКЕТ

Веселая беззаботность Майкла Монта, словно блестящая полировка, скрывала, насколько углубился его характер за два года оседлости и постоянства. Ему приходилось думать о других. И его время было занято. Зная с самого начала, что Флер только снизошла к нему, целиком принимая полуправильную поговорку: «Il y a toujours un qui baise, et l'autre qui tend la joue» [1], он проявил необычайные качества в налаживании семейных отношений. Однако в своей общественной и издательской работе он никак не мог установить равновесия. Человеческие отношения он всегда считал выше денежных. Все же у Дэнби и Уинтера с ним вполне ладили, и фирма даже не проявляла признаков банкротства, которое ей предсказал Сомс, когда услышал от зятя, по какому принципу тот собирается вести дело. Но и в издательском деле, как и на всех прочих жизненных путях, Майкл не находил возможным строго следовать определенным принципам. Слишком много факторов попадало в поле его деятельности — факторов из мира людей, растений, минералов.

В тот самый вторник, днем, после долгой возни с ценностями растительного мира — с расценками бумаги и полотна,— Майкл, насторожив свои заостренные уши, слушал жалобы упаковщика, пойманного с пятью экземплярами «Медяков» в кармане пальто, положенных им туда с явным намерением реализовать их в свою пользу.

Мистер Дэнби велел ему «выкатываться». Он и не отрицает, что собирался продать книги,— а что бы сделал мистер Монт на его месте? За квартиру он задолжал, а жена нуждается в питании после воспаления легких, очень нуждается!

«Ах, черт!—подумал Майкл.— Да я бы стащил целый тираж, если б Флер нужно было питаться после воспаления легких!»

— Не могу же я прожить на одно жалованье при теперешних ценах, не могу, мистер Монт, честное слово.

Майкл повернулся к нему:

---

[1] Всегда один целует, а другой подставляет щеку *(франц.)*.

— Но послушайте, Бикет, если мы вам позволим таскать книжки, все упаковщики начнуть таскать. А что тогда станется с Дэнби и Уинтером? Вылетят в трубу. А если они вылетят в трубу, куда вы все вылетите? На улицу. Так лучше пусть один из вас вылетит на улицу, чем все, не так ли?

— Да, сэр, я понимаю вас, все это истинная правда. Но правдой не проживешь, всякая мелочь выбьет из колеи, когда сидишь без хлеба. Попросите мистера Дэнби еще раз испытать меня.

— Мистер Дэнби всегда говорит, что работа упаковщика требует особого доверия, потому что почти невозможно за вами углядеть.

— Да, сэр, уж я это запомню на будущее; но при нынешней безработице, да еще без рекомендаций, мне нипочем не найти другого места. А что будет с моей женой?

Для Майкла это прозвучало, как будто его спросили: «А что будет с Флер?» Он зашагал по комнате; а Бикет, еще совсем молодой парень, смотрел на него большими тоскливыми глазами. Вдруг Майкл остановился, засунув руки в карманы и приподняв плечи.

— Я его попрошу,— сказал он,—но вряд ли он согласится; скажет, что это нечестно по отношению к другим. Вы взяли пять экземпляров, это уж чересчур, знаете ли! Верно, вы и раньше брали, правда, а?

— Эх, мистер Монт, признаюсь по совести, если это поможет: я раньше тоже стащил несколько штук, только этим и спас жену от смерти. Вы не представляете, что значит для бедного человека воспаление легких.

Майкл взъерошил волосы.

— Сколько лет вашей жене?

— Совсем еще девочка — двадцать лет.

Только двадцать — одних лет с Флер!

— Я вам скажу, что я сделаю, Бикет: я объясню все дело мистеру Дезерту; если он заступится за вас, может, на мистера Дэнби это подействует.

— Спасибо вам, мистер Монт,— вы настоящий джентльмен, мы все это говорим.

— А, ерунда! Но вот что, Бикет,— вы ведь рассчитывали на эти пять книжек. Вот возьмите, купите жене, что нужно. Только, бога ради, не говорите мистеру Дэнби.

— Мистер Монт, да я вас ни за что на свете не выдам — ни слова не пророню, сэр. А моя жена... да она...

Всхлип, шарканье — и Майкл, оставшись один, еще глубже засунул руки в карманы, еще выше поднял плечи. И вдруг он рассмеялся. Жалость! Жалость — чушь! Все вышло адски глупо! Он только что заплатил Бикету за кражу «Медяков». Ему вдруг захотелось пойти за маленьким упаковщиком, посмотреть, что он сделает с этими двумя фунтами,— посмотреть, правда ли «воспаление легких» существует, или этот бедняк с тоскливыми глазами все выдумал! Невозможно проверить, увы! Вместо этого надо позвонить Уилфриду и попросить замолвить слово перед старым Дэнби. Его собственное слово уже потеряло всякий вес. Слишком часто он заступался. Бикет! Ничего ни о ком не знаешь! Темная штука жизнь, все перевернуто. Что такое честность? Жизнь нажимает — человек сопротивляется, и если побеждает сопротивление, это и зовется честностью. А к чему сопротивляться? Люби ближнего, как самого себя,— но не больше! И разве не во сто раз труднее Бикету при двух фунтах в неделю любить его, чем ему, при двадцати четырех фунтах в неделю, любить Бикета?

— Алло... Ты, Уилфрид?.. Говорит Майкл... Слушай, один из наших упаковщиков таскал «Медяки». Его выставили, беднягу. Я и подумал — не заступишься ли ты за него,— старый Дэн меня и слушать не станет... да, у него жена ровесница Флер... говорит — воспаление легких. Больше таскать не станет —твои-то наверняка! Страховка благодарностью—а?.. Спасибо, старина, очень тебе благодарен. Так ты заглянешь сейчас? Домой можем пойти вместе... Ага! Ну ладно, во всяком случае ты сейчас заглянешь! Пока!

Хороший малый этот Уилфрид! Действительно, чудесный малый, несмотря на... несмотря на что?

Майкл положил трубку, и вдруг ему вспомнились облака дыма, и газы, и грохот — все то, о чем его издательство принципиально отказывалось что-либо печатать, так что он привык немедленно отклонять всякую рукопись на эту тему. Война, может быть, и кончилась, но в нем и в Уилфриде она все еще жила.

Он взял трубку.

— Мистер Дэнби у себя? Ладно! При первой попытке к бегству дайте мне знать...

Между Майклом и его старшим компаньоном лежала пропасть не менее глубокая, чем между двумя поколениями, хотя отчасти ее заполнял мистер Уинтер — добродушный и покладистый человек средних лет.

Майкл, собственно, ничего не имел против мистера Дэнби — разве только то, что он был всегда прав, этот Филип Норман Дэнби, из Скай-Хауса, на Кемден-Хилл. Это был человек лет шестидесяти, отец семейства, высоколобый, с грузным туловищем на коротких ногах, с выражением лица и непоколебимым и задумчивым. Его глаза были, пожалуй, слишком близко поставлены, нос — слишком тонок, но все же в своем большом кабинете он выглядел весьма внушительно. Дэнби отвел глаза от пробного оттиска объявлений, когда вошел Уилфрид Дезерт.

— А, мистер Дезерт! Чем могу служить? Садитесь!

Дезерт не сел, посмотрел на рисунки, на свои пальцы, на мистера Дэнби и проговорил:

— Дело в том, что я прошу вас простить этого упаковщика, мистер Дэнби.

— Упаковщика? Ах да! Бикета! Это вам, наверно, сказал Монт?

— Да. У него молоденькая жена больна воспалением легких.

— Все они приходят к нашему милому Монту со всякими россказнями, мистер Дезерт,— он очень мягкосердечен. Но, к сожалению, я не могу держать этого упаковщика. Это совершенно безобразная история. Мы давно стараемся выследить причину наших пропаж.

Дезерт прислонился к камину и уставился на огонь.

— Вот, мистер Дэнби,— сказал он,— ваше поколение любит мягкость в литературе, но в жизни вы очень жестоки. Наше — не выносит никакого сентиментальничанья, но мы во сто раз менее жестоки в жизни.

— Я не считаю это жестокостью,— ответил мистер Дэнби,— это просто справедливость.

— А вы знаете, что значит справедливость?

— Надеюсь, да.

— Попробуйте четыре года посидеть в аду — тогда и говорите!

— Я, право, не вижу никакой связи. То, что вы испытали, мистер Дезерт, конечно, очень тяжело.

Уилфрид повернулся и посмотрел на него в упор.

— Простите, что я так говорю, но сидеть тут и проявлять справедливость — еще тяжелее. Жизнь — настоящее чистилище для всех, кроме тридцати процентов взрослых людей.

Мистер Дэнби улыбнулся.

— Мы просто не могли бы вести наше дело, мой юный друг, если бы перестали от каждого требовать исключительной честности. Не делать разницы между честностью и нечестностью было бы весьма несправедливо. Вы это прекрасно знаете.

— Ничего я «прекрасно» не знаю, мистер Дэнби, и не верю тем, кто говорит, что все знает прекрасно.

— Ну, давайте скажем, что есть просто правила, которых нужно придерживаться, чтобы общество могло каким-то образом существовать.

Дезерт тоже улыбнулся.

— А, к черту правила! Сделайте это как личное одолжение мне. Ведь эту проклятую книгу написал я!

Никаких признаков борьбы на лице мистера Дэнби не отразилось, но его глубоко посаженные, близко поставленные глаза слегка заблестели.

— Я был бы очень рад, но тут дело... гм-м... ну, совести, если хотите. Я не преследую этого человека. Я только его увольняю, вот и все.

Дезерт пожал плечами.

— Что ж, прощайте! — и вышел.

У дверей Майкл изнывал от неизвестности.

— Ну, как?

— Ничего не вышло. Старый хрыч чересчур справедлив.

Майкл взъерошил волосы.

— Подожди в моей комнате пять минут, пока я скажу этому бедняге, а потом я пойду с тобой.

— Нет,— сказал Дезерт,— мне в другую сторону.

Не то, что Дезерт «шел в другую сторону»— это часто с ним бывало,— нет, что-то в звуке его голоса, выражении его лица не давало Майклу покоя, пока он спускался вниз, к Бикету. Уилфрид был страшный чудак — вдруг совершенно неожиданно замыкался в себе.

Спустившись в «преисподнюю», Майкл спросил:

— Бикет ушел?

— Нет, сэр, вот он.

Действительно, вот он —его потертое пальто, бледное, изможденное лицо с несоразмерно большими глазами, узкие плечи.

— Очень жаль, Бикет, мистер Дезерт был там, но ничего не вышло.

— Не вышло, сэр?

— Держитесь молодцом, где-нибудь устроитесь.

— Боюсь, что нет, сэр. Ну спасибо вам большое, и мистера Дезерта поблагодарите. Спокойной ночи, сэр, счастливо оставаться!

Майкл посмотрел ему вслед — он прошел по коридору и исчез в уличной мгле.

— Весело!— сказал Майкл и рассмеялся...

Естественные подозрения Майкла и его старшего компаньона, что Бикет сочиняет, были неосновательны: и про жену и про воспаление легких он сказал правду. И, шагая по направлению к Блэкфрайерскому мосту, он думал не о своей подлости и не о справедливости мистера Дэнби, а о том, что же он скажет жене. Конечно, он ей не признается, что его уличили в краже; придется сказать, что его выгнали за то, что он «нагрубил заведующему»; но что она теперь о нем подумает, когда все зависит именно от того, чтобы не грубить заведующему? Странная вещь — его чувство к ней: изо дня в день он приходил на работу в таком состоянии, словно «половина его нутра» оставалась в комнате, где лежала жена, а когда наконец доктор сказал ему: «Теперь она поправится, но она сильно истощена, надо ее подкормить»,— страх за нее привел его к твердому решению. В следующие три недели он «спер» восемнадцать экземпляров «Медяков», включая и те пять, которые нашли в его кармане. Он таскал книгу мистера Дезерта только потому, что она «здорово шла», и теперь он жалел, что не схватил еще чью-нибудь книжку. Мистер Дезерт оказался очень порядочным человеком. Бикет остановился на углу Стрэнда и пересчитал деньги. Вместе с двумя фунтами, полученными от Майкла, и жалованьем у него было всего-навсего семьдесят пять шиллингов. Зайдя в магазин, он купил мясной студень и банку сгущенного супа, ко-

торый можно было развести кипятком. С набитыми карманами он сел в автобус и сошел на углу маленькой улички на южном берегу Темзы. Он с женой занимал две комнатки в нижнем этаже за восемь шиллингов в неделю и задолжал за три недели. «Лучше уплатить,— подумал он,— хоть крыша над головой будет, пока жена не поправится». Ему легче будет сообщить ей о потере работы, показав квитанцию и вкусную еду. Какое счастье, что они поостереглись заводить ребенка! Он спустился в подвал. Хозяйка стирала белье. Она остановилась в искреннем изумлении перед такой полной и добровольной расплатой и справилась о здоровье жены.

— Поправляется, спасибо.

— Ну, я рада за вас! Наверно, у вас на душе полегчало.

— Еще бы! — сказал Бикет.

Хозяйка подумала: «Худ, как щепка, похож на невареную креветку, а глазищи-то какие!»

— Вот квитанция, очень вам благодарна. Простите, что я вас беспокоила, но времена нынче тяжелые.

— Это верно,— сказал Бикет,— всего хорошего!

Держа квитанцию и студень в левой руке, он открыл свою дверь.

Его жена сидела перед чуть тлеющим огнем. Подстриженные черные волосы, вьющиеся на концах, отросли за время болезни; она встряхнула головой, обернувшись к нему, и улыбнулась. Бикету — и не впервые — эта улыбка показалась странной, «ужасно трогательной», загадочной — словно жена его понимает то, чего ему не понять.

— Ну, Вик, студень я принес знаменитый и за квартиру заплатил.

Он сел на валик кресла, и она положила пальцы ему на колено—тонкая, синевато-бледная ручка выглядывала из рукава темного халатика.

— Ну как, Тони?

Лицо худое, бледное, с огромными темными глазами и красивым изгибом бровей, казалось, глядит на тебя словно издалека, а как взглянет — так и защемит сердце. Вот и теперь у него защемило сердце, и он сказал:

— А как ты себя чувствуешь сегодня?

— Хорошо, много легче. Теперь я скоро выйду.

Бикет наклонился и припал к ее губам. Поцелуй длился долго — все чувства, которые он не умел выразить в течение последних трех недель, вылились в этом поцелуе. Он снова выпрямился, «словно оглушенный», уставился на огонь и сказал:

— Новости невеселые, я остался без места, Вик.

— О Тони! Почему же?

Бикет глотнул воздуху.

— Да, видишь, дела идут неважно, и штаты сокращаются.

Он совершенно определенно решил, что лучше подставит голову под газ, чем расскажет ей правду.

— О господи! Что же мы будем делать?

Голос Бикета стал тверже:

— Ты не тревожься — я уж устроюсь! — И он даже засвистал.

— Но ведь тебе так нравилась эта работа!

— Разве? Просто мне нравился кое-кто из ребят, но сама работа — что же в ней хорошего? Целый день без конца заворачивать книжки в подвале. Ну, давай поедим и пораньше ляжем спать,— мне кажется, что теперь, на свободе, я мог бы проспать целую неделю подряд.

Готовя с ее помощью ужин, он старался не глядеть ей в глаза — из страха, что у него опять «защемит сердце». Они были женаты всего год, познакомились в трамвае, и Бикет часто удивлялся, что привязало ее к нему,— он был на восемь лет старше, в армию не взят по состоянию здоровья. И все-таки она, наверно, любит его — иначе она не стала бы смотреть на него такими глазами.

— Сядь и попробуй студня.

Сам он ел хлеб с маргарином и пил какао — у него вообще был неважный аппетит.

— Сказать тебе, чего бы мне хотелось? — проговорил он.—Мне бы хотелось уехать в Центральную Австралию! Там у нас была про это книжка. Говорят, туда большая тяга. Хорошо бы на солнышко! Я уверен, что попади мы на солнышко, мы с тобой стали бы вдвое толще, чем сейчас. Хотелось бы увидеть румянец на твоих щечках, Вик!

— А сколько стоит туда проехать?

— Много больше, чем мы с тобой можем достать, в том-то и беда. Но я все думаю. С Англией пора покончить. Тут слишком много таких, как я.

— Нет, — сказала Викторина,— таких, как ты, мало!

Бикет взглянул на нее и быстро опустил глаза в тарелку.

— За что ты полюбила меня?

— За то, что ты не думаешь в первую очередь о себе, вот за что.

— Думал сперва, пока с тобой не познакомился, но для тебя, Вик, я на все пойду!

— Ну, тогда съешь кусочек студня, он страшно вкусный.

Бикет покачал головой.

— Если б можно было проснуться в Центральной Австралии,—сказал он.—Но верно одно—мы проснемся опять в этой паршивой комнатенке. Ну, не беда, достану работу и заработаю!

— А мы не могли бы выиграть на скачках?

— Да ведь у меня ровным счетом сорок семь шиллингов, и если мы их проиграем, что с тобой будет? А тебе надо хорошо питаться, сама знаешь. Нет, я должен найти работу.

— Наверно, тебе дадут хорошую рекомендацию, правда?

Бикет встал и отодвинул тарелку и чашку.

— Они бы дали, но такой работы не найти — всюду переполнено.

Сказать ей правду? Ни за что на свете!

В кровати, слишком широкой для одного и слишком узкой для двоих, он лежал с нею рядом, так что ее волосы почти касались его губ, и думал, что сказать в союзе и как получить работу. И мысленно, пока тянулись часы, он сжигал свои корабли. Чтобы получить пособие по безработице, ему придется рассказать в своем профсоюзе, что случилось. К черту союз! Не станет он перед ними отчитываться! Он-то знает, почему он стащил эти книги, но никому больше дела нет, никто не поймет его переживаний, когда он видел, как она лежала обессиленная, бледная, исхудавшая. Надо самому пробиваться! А ведь безработных полтора миллиона! Ладно, у него хватит денег на две недели, а там что-нибудь подвернется— может, он рискнет монеткой-другой — и выиграет, почем знать! Вик зашевелилась во сне. «Да, — подумал он, — я бы опять это сделал...»

На следующий день, пробегав много часов, он стоял под серым облачным небом, на серой улице, перед зеркальной витриной, за которой лежала груда фруктов, снопы колосьев, самородки золота и сверкающие синие бабочки под искусственным золотым солнцем австралийской рекламы. Бикету, никогда не выезжавшему из Англии и даже редко из Лондона, казалось, что он стоит в преддверии рая. В конторе атмосфера была не такая уж лучезарная, и деньги на проезд требовались значительные, но рай стал ближе, когда ему дали проспекты, которые почти что жгли ему руки — до того они казались горячими.

Усевшись в одно кресло—иногда лучше быть худым!— они вместе просматривали эти заколдованные страницы и впивали их жар.

— По-твоему, это все правда, Тони?

— Если тут хоть на тридцать процентов правды — с меня хватит. Нам непременно надо туда попасть, во что бы то ни стало! Поцелуй меня!

И под уличный грохот трамваев и фургонов, под дребезжание оконной рамы на сухом, пронизывающем восточном ветру они укрылись в свой спасительный, освещенный газом рай.

IX

СМЯТЕНИЕ

Часа через два после ухода Бикета Майкл медленно шел домой. Старик Дэнби прав, как всегда: если нельзя доверять упаковщикам—лучше закрыть лавочку. Не видя страдальческих глаз Бикета, Майкл сомневался. А может быть, у этого парня никакой жены и нет? Затем поведение Уилфрида вытеснило мысль о правдивости Бикета. Уилфрид так отрывисто, так странно говорил с ним последние три раза. Быть может, он поглощен стихами?

Майкл застал Тинг-а-Линга в холле у лестницы, где он упрямо ждал, не двигаясь. «Не пойду сам,— как будто говорил он, — пока кто-нибудь меня не отнесет. Пора бы, уже поздно!»

— А где твоя хозяйка, геральдическое существо?

Тинг-а-Линг фыркнул: «Я бы, пожалуй, согласился, — намекнул он, — чтобы вы понесли меня, —эти ступеньки очень утомительны!»

Майкл взял его на руки.

— Пойдем, поищем ее.

Прижатый твердой рукой, не похожей на ручку его хозяйки, Тинг смотрел на него черными стекляшками-главами, и султан его пушистого хвоста колыхался.

В спальне Майкл так рассеянно бросил его на пол, что он отошел, повесив хвост, и возмущенно улегся в своем углу.

Скоро пора обедать, а Флер нет дома. Майкл стал бегло перебирать в уме все ее планы. Сегодня у нее завтракал Губерт Марслэнд и этот вертижинист — как его там? После них, конечно, надо проветриться: от вертижинистов в легких безусловно образуется углекислота. И все-таки! Половина восьмого! Что им надо было делать сегодня? Идти на премьеру Л. С. Д.? Нет, это завтра. Или на сегодня ничего не было? Тогда, конечно, она постаралась сократить свое пребывание дома. Он смиренно подумал об этом. Майкл не обольщался — он знал, что ничем не выделяется, разве только своей веселостью и, конечно, своей любовью к ней. Он даже признавал, что его чувство — слабость, что оно толкает его на докучливую заботливость, которую он сознательно сдерживал. Например, спросить у Кокера или Филпс—лакея или горничной,— когда Флер вышла, в корне противоречило бы его принципу. В мире делалось такое, что Майкл всегда думал, стоит ли обращать внимание на свои личные дела; а с другой стороны, в мире такое делалось, что казалось, будто единственное, на что стоит обращать внимание, это свои личные дела. А его личные дела, в сущности, были — Флер; и он боялся, что если станет слишком обращать на них внимание, это ее будет раздражать.

Он прошел к себе и стал расстегивать жилет.

«Впрочем, нет,— подумал он.— Если она застанет меня уже одетым к обеду, это будет слишком подчеркнуто». И он снова застегнул жилет и сошел вниз. В холле стоял Кокер.

— Мистер Форсайт и сэр Лоренс заходили часов в шесть, сэр. Миссис Монт не было дома. Когда прикажете подать обед?

— Ну, около четверти девятого. Мы как будто никуда не идем.

Он вошел в гостиную и, пройдясь по ее китайской пустоте, раздвинул гардины. Площадь казалась холодной и темной на сквозном ветру; и он подумал: «Бикет— воспаление легких — надеюсь, она надела меховое пальто». Он вынул папироску и снова отложил ее. Если она увидит его у окна, она подумает, что он волнуется; и он снова пошел наверх — посмотреть, надела ли она шубку!

Тинг-а-Линг, все еще лежавший в своем углу, приветствовал его веселым вилянием хвоста и сразу разочарованно остановился. Майкл открыл шкаф. Надела! Прекрасно! Он посмотрел на ее вещи и вдруг услышал, как Тинг-а-Линг протрусил мимо него и ее голос проговорил: «Здравствуй, мой миленький!» Майклу захотелось, чтобы это относилось к нему, — и он выглянул из-за гардероба.

Бог мой! До чего она была прелестна, разрумяненная ветром! Он печально стоял и молчал.

— Здравствуй, Майкл! Я очень опоздала? Была в клубе, шла домой пешком.

У Майкла явилось безотчетное чувство, что в этих словах есть какая-то недоговоренность. Он тоже умолчал о своем и сказал:

— Я как раз смотрел, надела ли ты шубку, зверски холодно. Твой отец и Барт заходили и ушли голодные.

Флер сбросила шубку и опустилась в кресло.

— Устала! У тебя так мило торчат сегодня уши, Майкл.

Майкл опустился на колени и обвил руками ее талию. Она посмотрела на него каким-то странным, пытливым взглядом; он даже почувствовал себя неловко и смущенно.

— Если бы ты схватила воспаление легких, — сказал он, — я бы, наверно, рехнулся.

— Да с чего же мне болеть!

— Ты не понимаешь связи — в общем, все равно, тебе будет неинтересно. Мы ведь никуда не идем, правда?

— Нет, конечно идем. У Элисон — приемный день.

— О боже! Если ты устала, можно отставить.

— Что ты, милый! Никак! У нее будет масса народу.

Подавив непочтительное замечание, он вздохнул:

— Ну ладно. Полный парад?

— Да, белый жилет. Очень люблю, когда ты в белом жилете.

Вот хитрое существо! Он сжал ее талию и встал. Флер легонько погладила его руку, и он ушел одеваться успокоенный...

Но Флер еще минут пять сидела неподвижно — не то чтобы «во власти противоречивых чувств», но все же порядком растерянная. *Двое* за последний час вели себя одинаково, становились на колени и обвивали руками ее талию. Несомненно, опрометчиво было идти к Уилфриду на квартиру. Как только она туда вошла, она поняла, насколько абсолютно не подготовлена к тому, чтобы физически подчиниться. Правда, он позволил себе не больше, чем Майкл сейчас. Но боже мой! Она увидела, с каким огнем играет, поняла, какую пытку переживает он. Она строго запретила ему говорить хоть одно слово Майклу, но чувствовала, что на него нельзя положиться — настолько он метался между своим отношением к ней и к Майклу. Смущенная, испуганная, растроганная, она все-таки не могла не ощущать приятной теплоты от того, что ее так сильно любят сразу двое, не могла не испытывать любопытства: чем же это кончится? И она вздохнула. Еще одно переживание прибавилось к ее коллекции, но как увеличивать эту коллекцию, не загубив и ее и, может быть, самое владелицу, она не знала.

После слов, сказанных ею Уилфриду перед Евой: «Вы сделаете глупость, если уедете,— подождите!» — она знала, что он будет ждать чего-нибудь в ближайшее время. Часто он просил ее прийти и посмотреть его «хлам». Еще месяц, даже неделю тому назад она пошла бы, не колеблясь ни минутки, и потом обсуждала бы этот «хлам» с Майклом. Но сейчас она долго обдумывала — пойти ли ей? И если бы не возбуждение после завтрака в обществе вертижиниста, Эмебел Нэйзинг и Линды Фру и не разговоры о том, что всякие угрызения совести — просто «старомодные» чувства, а всякие переживания — «самое интересное в жизни»,— она, наверное, и по сей час бы колебалась и обдумывала. Когда все ушли, она глубоко вздохнула и вынула из китайского шкафчика телефонную трубку.

Если Уилфрид в половине шестого будет дома, она

зайдет посмотреть его «хлам». Его ответ: «Правда? Бог мой, неужели?» чуть не остановил ее. Но отбросив сомнения, с мыслью: «Я буду парижанкой — как у Пруста!» она пошла в свой клуб. Проведя там три четверти часа без всякого развлечения, кроме трех чашек чаю, трех старых номеров «Зеркала мод» и созерцания трех членов клуба, крепко уснувших в креслах, она сумела опоздать на добрую четверть часа.

Уилфрид стоял на верхней площадке, в открытой двери, бледный, как грешник в чистилище. Он нежно взял ее за руку и повел в комнату.

Флер с легким трепетом подумала: «Так вот как это бывает? «Du côté de chez Swan» [1]. Высвободив руку, она тут же стала разглядывать «хлам», порхая от вещи к вещи.

Старинные английские вещи, очень барские; две-три восточные редкости или образчики раннего ампира, собранные кем-нибудь из прежних Дезертов, любивших бродяжить или связанных с французским двором. Она боялась сесть из страха, что он начнет вести себя, как в книгах; еще меньше она хотела возобновлять напряженный разговор, как в галерее Тэйта. Разглядывать «хлам» — безопасное занятие, и она смотрела на Уилфрида только в те короткие промежутки, когда он не глядел на нее. Она знала, что ведет себя не так, как «La garçonne» [2] или Эмебел Нэйзинг, что ей даже угрожает опасность уйти, ничего не прибавив к своим «переживаниям». И она не могла удержаться от жалости к Уилфриду: его глаза тосковали по ней, на его губы больно было смотреть. Когда, совершенно устав от осмотра «хлама», она села, он бросился к ее ногам. Полузагипнотизированная, касаясь коленями его груди, ощущая себя в относительной безопасности, она по-настоящему поняла весь трагизм положения — его ужас перед самим собою, его страсть к ней. Это была мучительная, глубокая страсть; она не соответствовала ее ожиданиям, она была несовременна! И как, как же ей уйти, не причинив больше боли ни ему, ни себе? Когда она наконец ушла, не ответив на его единственный поцелуй, она поняла, что прожила четверть часа

---

[1] «В сторону Свана», роман Марселя Пруста.
[2] «Холостячка» В. Маргерита.

настоящей жизнью, но не была вполне уверена, понравилось ли ей это... А теперь, в безопасности своей спальни, переодеваясь к вечеру у Элисон, она испытывала любопытство при мысли о том, что бы она чувствовала, если бы события зашли так далеко, как это полагалось, по утверждению авторитетов. Конечно, она не испытала и десятой доли тех ощущений или мыслей, какие ей приписали бы в любом новом романе. Это было разочарование — или она для этого не годилась,— а Флер терпеть не могла чувствовать себя несовершенной. И, слегка пудря плечи, она стала думать о вечере у Элисон.

Хотя леди Элисон и любила встречаться с молодым поколением, но люди типа Обри Грина или Линды Фру редко бывали на ее вечерах. Правда, Неста Горз раз попала к Элисон, но один юрист и два литератора-политика, которые с ней там познакомились, впоследствии на нее жаловались. Выяснилось, что она исколола мелкими злыми дырочками одежды их самоуважения. Сибли Суон был бы желанным гостем благодаря своей дружбе с прошлым, но пока он только задирал нос и смотрел на все свысока. Когда Флер и Майкл вошли, все были уже в сборе — не то что интеллигенция, а просто интеллектуальное общество, чьи беседы обладали всем блеском и всем «savoir faire» [1], с каким обычно говорят о литературе и искусстве те, которым, как говорил Майкл, «к счастью нечего faire».

— И все-таки эти типы создают известность художникам и писателям. Какой сегодня гвоздь вечера? — спросил он на ухо у Флер.

Гвоздем, как оказалось, было первое выступление в Лондоне певицы, исполнявшей балканские народные песни. Но в сторонке справа стояли четыре карточных столика для бриджа. За ними уже составились партии. Среди тех, кто еще слушал пение, были и Гэрдон Минхо, и светский художник с женой, и скульптор, ищущий заказов. Флер, затертая между леди Фэйн—женой художника, и самим Гэрдоном Минхо, изыскивала способ удрать. Там... да, там стоял мистер Челфонт! В

[1] Умение; буквально «умение делать» *(франц.)*.

гостях у леди Элисон Флер, прекрасно разбиравшаяся в людях, никогда не тратила времени на художников и писателей: их она могла встретить где угодно. Здесь же она интуитивно выбирала самого большого политико-литературного «жука» и ждала случая наколоть его на булавку. И, поглощенная мыслью, как поймать Челфонта, она не заметила происходившей на лестнице драматической сцены.

Майкл остался на площадке лестницы — он был не в настроении болтать и острить, и, прислонившись к балюстраде, тонкий как оса, в своем длинном белом жилете, глубоко засунув руки в карманы, он следил за изгибами и поворотами белой шеи Флер и слушал балканские песни с полнейшим безразличием. Оклик «Монт!» заставил его встрепенуться. Внизу стоял Уилфрид. Монт? Два года Уилфрид не называл его Монтом!

— Сойди сюда!

На средней площадке стоял бюст Лайонеля Черрела— королевского адвоката, работы Бориса Струмоловского, в том жанре, который цинически избрал художник с тех пор, как Джун Форсайт отказалась поддерживать его самобытный, но непризнанный талант. Бюст был почти неотличим от любого бюста на академической выставке этого года, и юные Черрелы любили пририсовывать ему углем усы.

За этим бюстом стоял Дезерт, прислонившись к стене, закрыв глаза. Его лицо поразило Майкла.

— Что случилось, Уилфрид?!

Дезерт не шевелился.

—Ты должен знать — я люблю Флер!

— Что?

— Я не желаю быть предателем. Ты— мой соперник. Жаль, но это так. Можешь меня изругать...

Его лицо было мертвенно бледно, и мускулы подрагивали. У Майкла дрогнуло сердце. Какая дикая, какая странная, нелепая история! Его лучший друг, его шафер! Машинально он полез за портсигаром, машинально протянул его Дезерту. Машинально оба взяли папиросы и дали друг другу закурить. Потом Майкл спросил:

— Флер знает?

Дезерт кивнул.

— Она не знает, что я тебе сказал, она бы мне не по-

зволила. Тебе ее не в чем упрекнуть... пока. — И, все еще не открывая глаз, он добавил:— Я ничего не мог поделать.

Та же мысль подсознательно мелькнула у Майкла. Естественно! Вполне естественно! Глупо не понимать, насколько это естественно! И вдруг как будто что-то в нем оборвалось, и он сказал:

— Очень честно с твоей стороны предупредить меня, но не собираешься ли ты удалиться?

Плечи Дезерта крепче прижались к стене.

— Я сам так думал сначала, но, кажется, не уйду.

— Кажется? Я не понимаю.

— Если бы я наверно знал, что мне не на что надеяться... но я не уверен.— И внезапно он взглянул на Майкла:— Слушай, нечего притворяться. Я пойду на все, и я отниму ее у тебя, если смогу!

— Господи боже! — сказал Майкл. — Дальше уж ехать некуда!

— Да! Можешь попрекать меня! Но вот что я тебе скажу: как я подумаю, что ты идешь с ней домой, а я...— Он рассмеялся отрывистым, неприятным смехом.— Нет, знаешь, лучше ты меня не трогай.

— Что ж,— сказал Майкл,— раз мы не в романе Достоевского, то, я полагаю, больше говорить не о чем.

Дезерт отошел от стены и положил руку на бюст Лайонеля Черрела.

— Ты пойми хотя бы, что я себе напортил — может, угробил себя тем, что сказал тебе. Я не начал бомбардировки без объявления войны.

— Нет,— глухо отозвался Майкл.

— Можешь мои книжки сбыть другому издательству.

Майкл пожал плечами.

— Ну, спокойной ночи,— сказал Дезерт.— И прости за примитивность.

Майкл прямо посмотрел в лицо своему другу. Нет, это не ошибка: горькое отчаяние было в этих глазах. Майкл протянул было руку, нерешительно позвал: «Уилфрид!» — но тот уже сходил вниз, и Майкл поднялся наверх.

Вернувшись на свое место у балюстрады, он попытался уверить себя, что жизнь — смешная штука, и не мог. В его положении нужна была хитрость змеи, отва-

га льва, кротость голубя; он не ощущал в себе этих стандартных добродетелей. Если бы Флер любила его так, как он любит ее, он по-настоящему пожалел бы Уилфрида. Ведь так естественно полюбить Флер! Но она не любит его так — о нет! У Майкла было одно достоинство, если считать это достоинством: он не переоценивал себя и всегда высоко ценил своих друзей. Он высоко ценил Дезерта и, как это ни странно, даже сейчас не думал о нем плохо. Вот его друг собирается нанести ему смертельную обиду, отнять у него любовь, нет, честнее сказать — просто привязанность его жены, и все же Майкл не считает его негодяем. Такая терпимость — он это знал — безнадежная штука: но понятия о свободе воли, о свободном выборе для него были не только литературными понятиями,—нет, они были заложены в его характере. Применить насилие, как бы желательно это ни казалось, значило бы идти против самого себя. И что-то похожее на отчаяние проникло в его сердце, когда он смотрел на нехитрые заигрывания Флер с великим Джералдом Челфонтом. Что, если она бросит его ради Уилфрида? Нет, конечно, нет! Ее отец, ее дом, ее собака, ее друзья, ее... ее «коллекция» всяких...— нет, ведь она не откажется, не сможет расстаться со всем этим. Но что, если она захочет сохранить все, включая и Уилфрида? Нет, нет! Никогда! Только на секунду такое подозрение осквернило прирожденную честность Майкла.

Но что же делать? Сказать ей? Выяснить все? Или ждать и наблюдать? Зачем? Ведь это значило бы шпионить, а не наблюдать. Ведь Дезерт больше к ним в дом не придет. Нет! Или полная откровенность—или полное невмешательство. Но это значит— жить под дамокловым мечом. Нет! Полная откровенность! И не ставить никаких ловушек. Он провел рукой по мокрому лбу. Если бы только они были дома, подальше от этого визга, от этих лощеных кривляк. Как бы вытащить Флер? Без предлога — невозможно! А единственный предлог — что у него голова идет кругом. Нет, надо сдержаться! Пение кончилось. Флер оглянулась. Сейчас подзовет его! Нет, она сама шла к нему. Майкл не мог удержаться от иронической мысли: «Подцепила старого Челфонта!» Он любил ее, но знал ее маленькие слабости. Она подошла и взяла его под руку.

— Мне надоело, Майкл, давай удерем, хорошо?

— Живо! Пока нас не поймали!

На холодном ветру он подумал: «Сейчас — или у нее в комнате?»

— По-моему,—проговорила Флер,—мистера Челфонта переоценивают — он просто какой-то сплошной зевок. На той неделе он у нас завтракает.

Нет, не сейчас, у нее в комнате!

— Как ты думаешь, кого бы пригласить для него, кроме Элисон?

— Не надо никого чересчур крикливого.

— Конечно, нет, но надо кого-нибудь позанятнее. Ах, Майкл, знаешь, иногда мне кажется, что не стоит и стараться.

У Майкла замерло сердце. Не было ли это зловещим признаком— признаком того, что «примитивное» начинает проступать и в ней, всегда так увлеченной светской жизнью?

Час тому назад он бы сказал: «Ты права, дорогая; вот уж действительно не стоит». Но сейчас каждый признак перемены казался зловещим! Он взял Флер под руку.

— Не беспокойся, уж мы как-нибудь изловим самых подходящих птиц.

— Пригласить бы китайского посланника — вот было бы превосходно! — проговорила Флер задумчиво.— Минхо, Барт—четверо мужчин, две дамы—уютно! Я поговорю с Бартом!

Майкл уже открыл входную дверь. Он пропустил Флер и остановился поглядеть на звезды, на платаны, на неподвижную мужскую фигуру — воротник поднят до самых глаз, и шляпа нахлобучена до бровей. «Уилфрид,— подумал он.— Испания! Почему Испания? И все несчастные, все отчаявшиеся... чье сердце... Эх! К черту сердце!» — И он захлопнул дверь.

Но вскоре ему пришлось открыть другую дверь— и никогда он ее не открывал с меньшим энтузиазмом! Флер сидела на ручке кресла в светло-лиловой пижаме, которую она надевала иногда, чтобы не отставать от моды, и глядела в огонь. Майкл остановился, смотря на нее и на свое собственное отражение в одном из пяти зеркал,—

белое с черным, как костюм Пьеро, пижама, которую она ему купила. «Марионетки в пьесе,—подумал он.— Марионетки в пьесе! Разве это настоящее?» Он подошел и сел на другую ручку кресла.

— О черт!—пробормотал он.—Хотел бы я быть Антиноем! — И он соскользнул с ручки кресла на сиденье, чтобы она смогла, если захочет, спрятать от него лицо.

— Уилфрид все мне рассказал,— произнес он спокойно.

Сказано! Что дальше? Он увидел, как кровь заливает ее шею и щеку.

— О-о! Чего ради... что значит: «рассказал»?

— Рассказал, что влюблен в тебя, больше ничего — ведь больше и нечего рассказывать, правда? — И, подтянув ноги в кресло, он плотно охватил колени обеими руками.

Один вопрос уже вырвался! Держись! Держись! И он закрыл глаза.

— Конечно,— очень медленно проговорила Флер.— Ничего больше и нет. Если Уилфриду угодно быть таким глупым...

«Если угодно»! Какими несправедливыми показались эти слова Майклу: ведь его собственная «глупость» была такой продолжительной, такой прочной! И — странно! — его сердце даже не дрогнуло! А ведь он должен был обрадоваться ее словам!

— Значит, с Уилфридом покончено?

— Покончено? Не знаю.

Да и что можно знать, когда речь идет о страсти?

— Так, —сказал он, делая над собой усилие,— ты только не забывай, что я люблю тебя ужасно!

Он видел, как задрожали ее ресницы, как она пожала плечами.

— А разве я забываю?

Горечь, ласка, простая дружба — как понять?

Вдруг она потянулась к нему и схватила его за уши. Крепко держа его голову, она посмотрела на него и засмеялась. И все-таки его сердце не дрогнуло. Если только она не водит его за нос... Но он притянул ее к себе в кресло. Лиловое, черное и белое смешалось — она ответила на его поцелуй. Но от всего ли сердца? Кто мог знать? Только не Майкл!

X

КОНЕЦ СПОРТСМЕНА

Не застав дочери дома, Сомс сказал: «Я подожду»,— и уселся на зеленый диван, не замечая Тинг-а-Линга, отсыпавшегося перед камином от проявлений внимания со стороны Эмебел Нэйзинг,— она нашла, что он «чудо до чего забавный!» Седой и степенный, Сомс сидел, с глубокой складкой на лбу, положив ногу на ногу, и думал об Элдерсоне и о том, куда идет мир и как вечно что-нибудь случается. И чем больше он думал, тем меньше понимал, как угораздило его войти в правление общества, которое имело дело с иностранными контрактами. Вся старинная мудрость, укрепившая в девятнадцатом веке богатство Англии, вся форсайтская философия, утверждавшая, что не надо вмешиваться в чужие дела и рисковать, весь закоренелый национальный индивидуализм, который не мог позволить стране гоняться то за одной синей птицей, то за другой,— все это подымало молчаливый протест в его душе. Англия идет по неверному политическому пути, пытаясь оказать влияние на континентальную политику, и ОГС идет по неверному финансовому пути, беря на себя страховку иностранных контрактов. Особый родовой инстинкт тянул Сомса назад, на его собственную, прямую дорогу. Никогда не впутываться в дела, которые не можешь проверить! «Старый Монт» говорил: «держаться на ринге». Ничего подобного! Не вмешивайся не в свое дело — вот правильная «формула». Он почувствовал что-то около ноги: Тинг-а-Линг обнюхивал его брюки.

— А,— сказал Сомс,— это ты!

Поставив передние лапы на диван, Тинг-а-Линг облизнулся.

— Подсадить тебя? — сказал Сомс.— Уж очень ты длинный! — И снова он почувствовал какое-то еле уловимое тепло от сознания, что собака его любит.

«Что-то во мне есть, что ему нравится»,— подумал он и, взяв Тинг-а-Линга за ошейник, втащил его на подушку. «Ты и я — нас двое таких»,— как будто говорила собачонка пристальным своим взглядом. Китайская штуч-

ка! Китайцы знают, чего им надо; они уже пять тысяч лет как не вмешиваются в чужие дела!

«Подам в отставку»,— подумал Сомс. Но как быть с Уинифрид, с Имоджин, с сыновьями Роджера и Николаса, которые вложили деньги в это дело, потому что он был там директором? И что они ходят за ним, как стадо баранов! Он встал. Не стоит ждать — лучше пойти на Грин-стрит и теперь же поговорить с Уинифрид. Ей придется опять продавать акции, хотя они слегка упали. И, не прощаясь с Тинг-а-Лингом, он ушел.

Весь этот год жизнь почти доставляла ему удовольствие. То, что он мог хоть раз в неделю куда-то прийти, посидеть, встретить какую-то симпатию, как в прежние годы в доме Тимоти,— все это удивительно подымало его настроение. Уйдя из дому, Флер унесла с собой его сердце; но Сомс, пожалуй, предпочитал навещать свое сердце раз в неделю, чем носить его всегда с собой. И еще по другим причинам жизнь стала легче. Этот мефистофельского вида иностранец Проспер Профон давно уехал неизвестно куда, и с тех пор жена стала гораздо спокойнее и ее сарказм значительно слабее. Она занималась какой-то штукой, которая называлась «система Куэ» [1], и пополнела. Она постоянно пользовалась автомобилем. Вообще привыкла к дому, поутихла. Кроме того, Сомс примирился с Гогеном,— некоторое понижение спроса на этого художника убедило его в том, что Гоген стоил внимания, и он купил еще три картины. Гоген снова пойдет в гору. Сомс даже немного жалел об этом, потому что он успел полюбить этого художника. Если привыкнуть к его краскам — они начинают даже нравиться. Одна картина — в сущности, без всякого содержания — как-то особенно привлекала глаз. Сомсу становилось даже неприятно, когда он думал, что с картиной придется расстаться, если цена очень поднимется. Но и помимо всего этого, Сомс чувствовал себя вполне хорошо; он переживал рецидив молодости по отношению к Аннет, получал больше удовольствия от еды и совершенно спокойно думал о денежных делах. Фунт подымался в цене; рабочие успокоились; и теперь, когда страна избавилась от этого фигля-

[1] Эмиль Куэ (1857—1926), француз, проповедовал самовнушение как лекарство от всех болезней.

ра[1], можно было надеяться на несколько лет прочного правления консерваторов. И только подумать, размышлял он, проходя через Сент-Джемс-парк по направлению к Грин-стрит,— только подумать, что он сам взял и влез в общество, которое он не мог контролировать! Право, он чувствовал себя так, как будто сам черт его попутал!

На Пикадилли он медленно пошел по стороне, примыкавшей к парку, привычно поглядывая на окна «Айсиум-клуба». Гардины были спущены, и длинные полосы света пробивались мягко и приветливо. И ему вспомнилось, что кто-то говорил, будто Джордж Форсайт болен. Действительно, Сомс уже много месяцев не видел его в фонаре окна. Н-да, Джордж всегда слишком много ел и пил. Сомс перешел улицу и прошел мимо клуба; какое-то внезапное чувство,— он сам не знал, какое — тоска по своему прошлому, словно тоска по родине,— заставило его повернуть и подняться в подъезд.

— Мистер Джордж Форсайт в клубе?

Швейцар уставился на него. Этого длиннолицего седого человека Сомс знал еще с восьмидесятых годов.

— Мистер Форсайт, сэр,—сказал он,—опасно болен. Говорят, не поправится, сэр.

— Что? — спросил Сомс.— Никто мне не говорил.

— Он очень плох, совсем плох. Что-то с сердцем.

— С сердцем? А где он?

— У себя на квартире, сэр, тут за углом. Говорят, доктора считают, что он безнадежен. А жаль его, сэр! Сорок лет я его помню. Старого закала человек и замечательно знал толк в винах и лошадях. Никто из нас, как говорится, не вечен, но никогда я не думал, что придется его провожать. Он малость полнокровен, сэр, вот в чем дело.

Сомс с несколько неприятным чувством обнаружил, что никогда не знал, где живет Джордж, так прочно он казался связанным с фонарем клубного окна.

— Скажите мне его адрес,— проговорил он.

— Бельвиль-Роу, номер одиннадцать, сэр. Надеюсь, вы его найдете в лучшем состоянии. Мне будет очень не хватать его шуток, право!

---

[1] Ллойд Джордж, либерал, возглавлявший английское правительство до 1922 года.

Повернув за угол, на Бельвиль-Роу, Сомс сделал быстрый подсчет. Джорджу шестьдесят шесть лет — только на год моложе его самого! Если Джордж действительно «при последнем издыхании», это странно! «Все оттого, что вел неправильный образ жизни,— подумал Сомс.— Сплошное легкомыслие — этот Джордж! Когда это я составлял его завещание?» Насколько он помнил, Джордж завещал свое состояние братьям и сестрам. Больше у него никого не было. Какое-то родственное чувство зашевелилось в Сомсе — инстинкт сохранения семейного благополучия. Они с Джорджем никогда не ладили — полные противоположности по темпераменту; и все же его надо будет хоронить,— а кому заботиться об этом, как не Сомсу, схоронившему уже многих Форсайтов. Он вспомнил, как Джордж когда-то прозвал его «гробовщиком». Гм! Вот оно — возмездие! Бельвиль-Роу. Ага, номер одиннадцать. Настоящее жилище холостяка. И, собираясь позвонить, Сомс подумал: «Женщины! Какую роль играли в жизни Джорджа женщины?»

На его звонок вышел человек в черном костюме, молчаливый и сдержанный.

— Здесь живет мой кузен, Джордж Форсайт? Как его здоровье?

Слуга сжал губы.

— Вряд ли переживет эту ночь, сэр.

Сомс почувствовал, как под его шерстяной фуфайкой что-то дрогнуло.

— В сознании?

— Да, сэр.

— Можете отнести ему мою карточку? Вероятно, он захочет меня повидать.

— Будьте добры подождать здесь, сэр.

Сомс прошел в низкую комнату с деревянной панелью почти в рост человека, над которой висели картины. Джордж — коллекционер! Сомс никогда этого за ним не знал. На стенах, куда ни взгляни, висели картины — старые и новые, изображавшие скачки и бокс. Красных обоев почти не было видно. И только Сомс приготовился рассмотреть картины с точки зрения их стоимости, как заметил, что он не один. Женщина — возраст не определишь в сумерках — сидела у камина в кресле с очень высокой спинкой, облокотившись на ручку кресла и при-

ложив к лицу платок. Сомс посмотрел на нее и украдкой понюхал воздух. «Не нашего круга,— решил он,— держу десять против одного, что выйдут осложнения». Приглушенный голос лакея сказал:

— Вас просят зайти, сэр!

Сомс провел рукой по лицу и последовал за ним.

Спальня, куда он вошел, была странно не похожа на первую комнату. Одна стена была сплошь занята огромным шкафом с массой ящиков и полочек. И больше в комнате ничего не было, кроме туалетного стола с серебряным прибором, электрического радиатора, горевшего в камине, и кровати напротив. Над камином висела одна-единственная картина. Сомс машинально взглянул на нее. Как! Китайская картина! Большая белая обезьяна, повернувшись боком, держала в протянутой лапе кожуру выжатого апельсина. С ее мохнатой мордочки на Сомса смотрели карие, почти человеческие глаза. Какая фантазия заставила чуждого искусству Джорджа купить такую вещь, да еще повесить ее против своей кровати? Сомс обернулся и поглядел на кровать. Там лежал «единственный приличный человек в этой семейке», как называл его когда-то Монтегью Дарти; его отечное тело вырисовывалось под тонким стеганым одеялом. Сомса даже передернуло, когда он увидел это знакомое багрово-румяное лицо бледным и одутловатым, как луна, с темными морщинистыми кругами под глазами, еще сохранившими свое насмешливое выражение. Голос хриплый, сдавленный, но звучащий еще по-старому, по-форсайтски, произнес:

— Здорово, Сомс! Пришел снять с меня мерку для гроба?

Сомс движением руки отклонил это предположение; ему странно было видеть такую пародию на Джорджа. Они никогда не ладили, но все-таки...

Сдержанным, спокойным голосом он сказал:

— Ну, Джордж, ты еще поправишься. Ты еще не в таком возрасте. Могу ли я быть тебе чем-нибудь полезен?

Усмешка тронула бескровные губы Джорджа.

— Составь мне дополнение к завещанию. Бумага— в ящике туалетного стола.

Сомс вынул листок со штампом «Айсиум-Клуба».

Стоя у стола, он написал своим вечным пером вводную фразу и выжидательно взглянул на Джорджа. Голос продиктовал хрипло и медленно:

— Моих трех кляч—молодому Вэлу Дарти, потому что он единственный Форсайт, который умеет отличить лошадь от осла.— Сдавленный смешок жутко отозвался в ушах Сомса.—Ну, как ты написал?

Сомс прочел:

— «Завещаю трех моих скаковых лошадей родственнику моему Валериусу Дарти из Уонсдона, Сэссекс, ибо он обладает специальным знанием лошадей».

Снова этот хриплый смешок:

— Ты, Сомс, сухой педант. Продолжай: Милли Мойл — Клермонт-Гров, дом двенадцать — завещаю двенадцать тысяч фунтов, свободных от налога на наследство.

Сомс чуть не свистнул.

Женщина в соседней комнате!

Насмешливые глаза Джорджа стали грустными и задумчивыми.

— Это огромные деньги,— не удержался Сомс.

Джордж хрипло и раздраженно проворчал:

— Пиши, не то откажу ей все состояние!

Сомс написал.

— Это все?

— Да. Прочти!

Сомс прочел. Снова он услышал сдавленный смех.

— Недурная пилюля! Этого вы в газетах не напечатаете. Позови лакея, ты и он можете засвидетельствовать.

Но Сомс еще не успел дойти до двери, как она открылась, и лакей вошел сам.

— Тут... м-м... зашел священник, сэр,— сказал он виноватым голосом.— Он спрашивает, не угодно ли вам принять его.

Джордж повернулся к нему; его заплывшие серые глаза сердито расширились.

— Передайте ему привет,— сказал он,— и скажите, что мы увидимся на моих похоронах.

Лакей поклонился и вышел; наступило молчание.

— Теперь,— сказал Джордж,— зови его опять. Я не знаю, когда флаг будет спущен.

Сомс позвал лакея. Когда завещание было подписано и лакей ушел, Джордж заговорил:

— Возьми его и последи, чтобы она свое получила. Тебе можно доверять — это твое основное достоинство, Сомс.

Сомс с каким-то странным чувством положил завещание в карман.

— Может быть, хочешь ее повидать? — сказал он.

Джордж посмотрел на него долгим, пристальным взглядом.

— Нет. Какой смысл? Дай мне сигару из того ящика.

Сомс открыл ящик.

— А можно тебе? — спросил он.

Джордж усмехнулся:

— Никогда в жизни не делал того, что можно, и теперь не собираюсь. Обрежь мне сигару.

Сомс остриг кончик сигары. «Спичек я ему не дам,— подумал он,— не могу взять на себя ответственность». Но Джордж и не просил спичек. Он лежал совершенно спокойно с незажженной сигарой в бледных губах, опустив распухшие веки.

— Прощай,— сказал он,— я вздремну.

— Прощай,— сказал Сомс.— Я надеюсь, что ты... ты скоро...

Джордж снова открыл глаза,— их пристальный, грустный, насмешливый взгляд как будто уничтожал притворные надежды и утешения. Сомс быстро повернулся и вышел. Он чувствовал себя скверно и почти бессознательно опять зашел в гостиную. Женщина сидела в той же позе; тот же назойливый аромат стоял в воздухе. Сомс взял зонтик, забытый там, и вышел.

— Вот мой номер телефона,— сказал он слуге, ожидавшему в коридоре.— Дайте мне знать.

Тот поклонился.

Сомс свернул с Бельвиль-Роу. Всегда, расставаясь с Джорджем, он чувствовал, что над ним смеются. Не посмеялись ли над ним и в этот раз? Не было ли завещание Джорджа его последней шуткой? Может быть, если бы Сомс не зашел к нему, Джордж никогда бы не сделал этой приписки, не обошел бы семью, оставив треть своего состояния надушенной женщине в кресле? Сомса смущала эта загадка. Но как можно шутить у порога

смерти? В этом было своего рода геройство. Где его надо хоронить?.. Кто-нибудь, наверно, знает — Фрэнси или Юстас. Но что они скажут, когда узнают об этой женщине в кресле? Ведь двенадцать тысяч фунтов! «Если смогу получить эту белую обезьяну, обязательно возьму ее,— подумал он внезапно,— хорошая вещь!» Глаза обезьяны, выжатый апельсин... может быть, и жизнь — только горькая шутка, и Джордж все понимает лучше его самого? Сомс позвонил у дверей дома на Грин-стрит.

Миссис Дарти просила извинить ее: миссис Кардиган пригласила ее обедать и составить партию в карты.

Сомс пошел в столовую один. У полированного стола, под который в былые времена иногда соскальзывал, а то и замертво сваливался Монтегью Дарти, Сомс обедал, глубоко задумавшись. «Тебе можно доверять — это твое основное достоинство, Сомс!» Эти слова были ему и лестны и обидны. Какая глубоко ироническая шутка! Так оскорбить семью — и доверить Сомсу осуществить это оскорбительное дело! Не мог же Джордж из привязанности отдать двенадцать тысяч женщине, надушенной пачули. Нет! Это была последняя издевка над семьей, над всеми Форсайтами, над ним — Сомсом! Что же! Все те, кто издевался над ним, получили по заслугам — Ирэн, Босини, старый и молодой Джолионы, а теперь вот — Джордж. Кто умер, кто умирает, кто — в Британской Колумбии! Он снова видел перед собой глаза своего кузена над незакуренной сигарой — пристальные, грустные, насмешливые. Бедняга! Сомс встал из-за стола и рывком раздвинул портьеры. Ночь стояла ясная, холодная. Что становится с человеком после? Джордж любил говорить, что в прошлом своем существовании он был поваром у Карла Второго. Но перевоплощение — чепуха, идиотская теория! И все же хотелось бы как-то существовать после смерти. Существовать и быть возле Флер! Что это за шум? Граммофон завели на кухне. Когда кошки дома нет, мыши пляшут! Люди все одинаковы — берут, что могут, а дают как можно меньше. Что ж, закурить папиросу? Закурив от свечи — Уинифрид обедала при свечах, они снова вошли в моду,— Сомс подумал: «Интересно, держит он еще сигару в зубах?» Чудак этот Джордж! Всю жизнь был чудаком! Он следил за кольцом дыма, которое случайно выпустил,— очень си-

нее кольцо; он никогда не затягивался. Да! Джордж жил слишком легкомысленно, иначе он не умер бы на двадцать лет раньше срока — слишком легкомысленно! Да, вот какие дела! И некому слова сказать — ни одной собаки нет.

Сомс снял с камина какого-то уродца, которого разыскал где-то на восточном базаре его племянник Бенедикт года два спустя после войны. У него были зеленые глаза. «Нет, не изумруды,— подумал Сомс,— какие-то дешевые камни».

— Вас к телефону, сэр.

Сомс вышел в холл и взял трубку.

— Да?

— Мистер Форсайт скончался, сэр, доктор сказал — во сне.

— О! — произнес Сомс...— А была у него сига..? Ну, благодарю! — Он повесил трубку.

Скончался! И нервным движением Сомс нащупал завещание во внутреннем кармане.

XI

РИСКОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Целую неделю Бикет гонялся за работой, ускользавшей, как угорь, мелькавшей, как ласточка, совершенно неуловимой. Фунт отдал за квартиру, три шиллинга поставил на лошадь — и остался с двадцатью четырьмя шиллингами. Погода потеплела — ветер с юго-запада,— и Викторина первый раз вышла. От этого стало немного легче, но судорожный страх перед безработицей, отчаянная погоня за средствами к существованию, щемящая, напряженная тоска глубоко вгрызались в его душу. Если через неделю-другую он не получит работы, им останется только работный дом или — газ! «Лучше газ,— думал Бикет.— Если только она согласится, то и я готов. Осточертело мне все. И в конце концов, что тут такого? Обнять ее — и ничего не страшно!» Но инстинкт подсказывал, что не так-то легко подставить голову под газ, и в понедельник вечером его вдруг осенила мысль: воздушные шары! Как у того вот парня, на Оксфорд-стрит. А

почему бы и нет! У него еще хватило бы денег для начала, а никакого разрешения не надо. Его мысли, словно белка в колесе, вертелись в бессонные часы вокруг того огромного неоспоримого преимущества, какое имеют воздушные шары перед всеми прочими предметами торговли. Такого продавца не пропустишь — стоит, и каждый его замечает, все видят яркие шарики, летающие над ним! Правда, насколько он разузнал, прибыль невелика — всего пенни с большого шестипенсового шара и пенни с трех маленьких двухпенсовых шариков. И все-таки живет же тот продавец! Может, он просто прибеднялся перед ним, из страха, что его профессия покажется слишком заманчивой? Стало быть, за мостом; как раз там, где такое движение. Нет, лучше у собора св. Павла! Он приметил там проход, где можно стоять шагах в трех от тротуара— как тот парень на Оксфорд-стрит. Он ничего не скажет малютке, что спит рядом с ним, ни слова, пока не сделает эту ставку. Правда, это значит — рисковать последним шиллингом. Ведь только на прожитие ему надо продать... Ну да, три дюжины больших и четыре дюжины маленьких шаров в день дадут прибыли всего-навсего двадцать шесть шиллингов в неделю, если только тот продавец не наврал ему. Не очень-то поедешь на это в Австралию! И разве это настоящее дело? Викторина здорово огорчится. Но тут уж нечего рассуждать! Надо попробовать, а в свободные часы поискать работы.

И на следующий день в два часа наш тощий капиталист, с четырьмя дюжинами больших и семью дюжинами маленьких шаров, свернутых на лотке, с двумя шиллингами в кармане и пустым желудком, стал у собора св. Павла. Он медленно надул и перевязал два больших и три маленьких шарика — розовый, зеленый и голубой, и они заколыхались над ним. Ощущая запах резины в носу, выпучив от напряжения глаза, он стал на углу, пропуская поток прохожих. Он радовался, что почти все оборачивались и глядели на него. Но первый, кто с ним заговорил, был полисмен.

— Тут стоять не полагается,— сказал он.

Бикет не отвечал, у него пересохло в горле. Он знал, что значит полиция. Может, он не так взялся за дело? Вдруг он всхлипнул и сказал:

— Дайте попытать счастья, констэбль,— дошел до крайности! Если я мешаю, я стану, куда прикажете. Дело для меня новое, а у меня только и есть на свете, что два шиллинга да еще жена.

Констэбль, здоровый дядя, оглядел его с ног до головы.

— Ну, ладно, посмотрим! Я вас не трону, если никто не станет возражать.

Во взгляде Бикета была глубокая благодарность.

— Премного вам обязан,—проговорил он.—Возьмите шарик для дочки, доставьте мне удовольствие.

— Один я куплю, сделаю вам почин,— сказал полисмен.— Через час я сменяюсь с дежурства, вы приготовьте мне большой, розовый.

И он отошел. Бикет видел, как он следил за ним. Отодвинувшись к самому краю тротуара, он стоял совершенно неподвижно; его большие глаза заглядывали в лицо каждому прохожему; худые пальцы то и дело перебирали товар. Если бы Викторина его видела! Все в нем взбунтовалось: ей-богу, он вырвется из этой канители, вырвется на солнце, к лучшей жизни, которую стоит назвать жизнью.

Он уже стоял почти два часа, с непривычки переступая с ноги на ногу, и продал два больших и пять маленьких шаров — шесть пенсов прибыли! — когда Сомс, изменивший дорогу назло этим людям, которые не могли проникнуть дальше Уильяма Гоулдинга, ингерера, прошел мимо него, направляясь на заседание ОГС. Услышав робкое бормотанье: «Шарики, сэр, высший сорт!» — он обернулся, прервав созерцание собора (многолетняя привычка!), и остановился в совершенном недоумении.

— Шары? — сказал он.— А на что мне шары?

Бикет улыбнулся. Между этими зелеными, голубыми и оранжевыми шарами и серой сдержанностью Сомса было такое несоответствие, что даже он его почувствовал.

— Детишки любят их — никакого весу, сэр, карманный пакетик.

— Допускаю,— сказал Сомс,— но у меня нет детей.

— Внуки, сэр!

— И внуков нет.

— Простите, сэр.

Сомс окинул его тем быстрым взглядом, каким обычно определял социальное положение людей. «Жалкая безобидная крыса»,— подумал он.

— Ну-ка, дайте мне две штуки. Сколько с меня?

— Шиллинг, сэр, и очень вам благодарен.

— Сдачи не надо,— торопливо бросил Сомс и пошел дальше, сам себе удивляясь. Зачем он купил эти штуки, да еще переплатил вдвое, он и сам не понимал. Он не помнил, чтоб раньше с ним случались такие вещи. Удивительно странно! И вдруг он понял, в чем дело. Этот малый такой смиренный, кроткий, такого надо поддержать в наши дни, когда так вызывающе ведут себя коммунисты. И ведь в конце концов этот бедняга тоже стоит... ну, на стороне капитала, тоже вложил сбережения в эти шарики! Торговля! И снова устремив глаза на собор, Сомс сунул в карман пальто противный на ощупь пакетик. Наверно, кто-нибудь их вынет и будет удивляться: что это на него нашло! Впрочем, у него есть другие заботы!..

А Бикет смотрел ему вслед в восхищении. Двести пятьдесят процентов прибыли на двух шарах — это дело! Сожаление, что мимо проходит мало женщин, значительно ослабело — в конце концов женщины знают цену деньгам, из них лишнего шиллинга не вытянешь! Вот если бы еще прошел такой вот старый миллионер в блестящем цилиндре!

В шесть часов, заработав три шиллинга восемь пенсов, из которых ровно половину дал Сомс, Бикет стал присоединять к собственным своим вздохам еще вздохи шаров, из которых он выпускал воздух; развязывая их с трогательной заботой, он смотрел, как его радужные надежды сморщиваются одна за другой, и убирал их в ящичек лотка. Взяв лоток под мышку, он устало поплелся к Блэкфрайерскому мосту. За целый день он может заработать четыре-пять шиллингов. Что же, это как раз не даст им умереть с голоду, а тут, глядишь, что-нибудь и подвернется! Во всяком случае, он сам себе хозяин — ни перед нанимателем, ни перед союзом отчитываться не надо. От этого сознания и оттого, что он с утра ничего не ел, он ощущал какую-то странную легкость внутри.

«Может, это был какой-нибудь олдермен[1],— подумал он,— говорят, эти олдермены чуть ли не каждый день едят черепаховый суп».

Около дома он забеспокоился: что ему делать с лотком? Как скрыть от Викторины, что он вступил в ряды «капиталистов» и провел весь день на улице? Вот не повезло: стоит у окна! Придется сделать веселое лицо. И он вошел, посвистывая.

— Что это, Тони? — Она сразу увидела лоток.

— Ага! Это? О, это замечательная штука! Ты только погляди!

И, вынув оболочку шара из ящичка, он стал его надувать. Он дул с такой отчаянной силой, с какой никогда еще не дул. Говорят, что эту штуковину можно раздуть до пяти футов в обхвате. Ему почему-то казалось, что если он сумеет это сделать, все уладится. От его усилий шар раздулся так, что заслонил Викторину, заполнил всю комнатку — огромный цветной пузырь. Зажав отверстие двумя пальцами, он поднял его.

— Гляди, как здорово! Неплохая вещь, и всего шесть пенсов, моя старушка! — И он выглянул из-за шара.

Господи, да она плачет! Он выпустил из рук проклятую «штуковину»; шар поплыл вниз и стал медленно выпускать воздух, пока маленькой сморщенной тряпочкой не лег на потертый ковер. Бикет обхватил вздрагивающие плечи Викторины, заговорил с отчаянием:

— Ну, перестань, моя хорошая, ведь это же, как-никак, наш хлеб. Я найду работу — нам бы пока перебиться. Я для тебя и не на такое готов. Ну, успокойся, дай мне лучше чаю — я до того проголодался, пока надувал эти штуки...

Она перестала плакать и молча смотрела на него — загадочные огромные глаза! О чем-то, видно, думает. Но о чем именно, Бикет не знал. Он ожил от чая и даже стал хвастать своей новой профессией. Теперь он сам себе хозяин! Выходи, когда хочешь, возвращайся, когда хочешь, а то полеживай на кровати рядом с Вик, если неохота вставать. Разве это плохо? И Бикет ощутил в себе что-то настоящее, чисто английское,— почуял ту любовь к свободе, беспечность, неприязнь к регулярной работе,

[1] Член городского управления.

ту склонность к неожиданным приливам энергии и к сонной лени и жажду независимости — словом, то, в чем коренится жизнь всей нации, что породило маленькие лавчонки, мелкую буржуазию, поденных рабочих, бродяг, которые сами себе владыки, сами распределяют свое время и плюют на последствия; что-то, что коренилось в стране, в народе, когда еще не пришли саксы и не принесли свою добросовестность и свое трудолюбие; что-то такое, от чего рождалась вера в разноцветные пузыри, что требовало острых приправ и пряностей, без основного питания. Да, все эти чувства росли в Бикете, пока он уничтожал копченую рыбу, запивая ее крепким горячим чаем. Конечно, он лучше будет продавать шары, чем упаковывать книги,— пусть Вик так и запомнит! А когда она сможет взять работу, они совсем замечательно заживут и, наверно, скоро смогут накопить денег и уехать туда, где водятся синие бабочки. И он рассказал ей о Сомсе. Еще несколько таких бездетных олдерменов—ну, скажем, хоть два в день,—вот тебе и пятнадцать монет в неделю, кроме законной прибыли. Да ведь тогда они через год скопят всю сумму! А стоит им уехать отсюда, и Вик станет круглеть, как этот шар; наверно, станет вдвое толще, а щеки у нее будут такие розовые, такие яркие— куда там этим красным и оранжевым шарам! Бикет вдохновлялся все больше и больше. А маленькая его жена смотрела на него своими огромными глазами и молчала. Но плакать она перестала: ни слезами, ни упреками она не стала охлаждать пыл бедного продавца воздушных шаров.

XII

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Кроме старого лорда Фонтеноя, блиставшего своим отсутствием, как блистал, бывало, своим присутствием, правление собралось в полном составе. Заметив, что «этот тип», Элдерсон, как-то особенно лебезит, Сомс приготовился к неприятностям. Цифры лежали перед ним — довольно бесцветные данные о состоянии дел, которые были бы приемлемы только в том случае, если бы в бли-

жайшие полгода положение с валютой не изменилось. Отношение иностранных контрактов к отечественным определялось как 2 :7. Германия, контракты которой составляли главную массу иностранных дел, попала, как заметил Сомс, в категорию лишь наполовину разоренных стран. Итоги были выведены достаточно осторожно.

Пока члены правления в полном молчании переваривали цифры, Сомс яснее, чем когда-либо, видел, в какой он попал переплет. Конечно, эти цифры вряд ли могут оправдать задержку дивидендов, полученных от операций прошлого года. Но предположим, что на континенте опять произойдет катастрофа и им придется отвечать по всем их иностранным контрактам. Ведь это поглотит все прибыли дел отечественных, а может, и больше. И потом еще эта неприязнь по отношению к самому Элдерсону— неизвестно, на чем она основана: то ли интуиция, то ли просто блажь.

— Ну, вот и цифры, мистер Форсайт,— заговорил председатель.— Вы удовлетворены?

Сомс взглянул на него; он принял твердое решение.

— Я соглашусь на выплату дивидендов этого года с условием, что мы на будущее время решительно и категорически откажемся от этих иностранных дел.

Взгляд директора-распорядителя, пронзительный и холодный, остановился на нем и потом обратился на председателя.

— Это пахнет паникой,— проговорил он,— иностранные дела дали нам добрую треть доходов этого года.

Прежде чем ответить, председатель посмотрел на выражение лица каждого из членов правления.

— В настоящий момент положение за границей не дает никаких оснований бить тревогу, мистер Форсайт. Я согласен, что нам надо внимательно следить за ним...

— Вы не имеете возможности это делать,— прервал Сомс.— Прошло четыре года со дня заключения мира, и мы знаем не больше, чем тогда. Если бы я знал, что Общество имеет отношение к этим делам, я никогда не вошел бы в правление. Надо это прекратить.

— Довольно резкое мнение. И, пожалуй, трудно будет сейчас что-нибудь решить.

Ропот одобрения, чуть ироническая улыбка на губах «этого типа» еще больше укрепили упорство Сомса.

— Отлично! Если вы не согласны объявить пайщикам, что мы прекращаем всякие дела с заграницей, я выхожу из правления. Я должен иметь полную возможность поднять этот вопрос на общем собрании.

Он заметил беспокойный косой взгляд директора-распорядителя. Ага, попал не в бровь, а в глаз!

Председатель заговорил:

— Вы приставили нам револьвер к виску.

— Я отвечаю перед пайщиками,— ответил Сомс,— и я выполню свой долг по отношению к ним.

— Мы все ответственны, мистер Форсайт, и я надеюсь, что все мы исполним свой долг.

— Отчего бы не ограничить иностранные контракты малыми странами? Их валюта достаточно устойчива.

«Старый Монт» со своим драгоценным «рингом»!

— Нет,— отрезал Сомс,— надо вернуться к надежным делам.

— Гордое одиночество, Форсайт, а?

— Вмешиваться можно было во время войны, а в мирное время, будь то в политике или в делах, это полувмешательство ни к чему не ведет. Мы не можем контролировать положение дел за границей.

Он посмотрел на окружающих и сразу увидел, что этими словами он задел какую-то струну. «Кажется, пройдет!» — подумал он.

— Я буду очень рад, господин председатель,— заговорил директор-распорядитель,— если вы мне разрешите сказать несколько слов. Дело было начато по моей инициативе, и я могу утверждать, как я полагаю, что до сих пор оно принесло Обществу значительную выгоду. Но если один из членов правления столь резко возражает против этих дел, я, разумеется, не буду настаивать, чтобы правление продолжало вести их. Время сейчас действительно ненадежное, и, конечно, мы несколько рискуем, даже при столь осторожных оценках, как у нас.

«Что такое? — подумал Сомс.— Куда он гнет?»

— Это очень благородно с вашей стороны, Элдерсон. Господин председатель, я полагаю, что мы можем отметить, как это благородно со стороны нашего директора-распорядителя.

Ага, эта старая мямля! «Благородно»! Старая баба!

Резкий голос председателя нарушил молчание:

— Речь идет об очень серьезном вопросе, о всей нашей политике. Я считал бы необходимым присутствие лорда Фонтеноя.

— Если вы хотите, чтобы я подписал отчет,— резко сказал Сомс,— то решение надо принять сегодня. Я остаюсь при своем убеждении. А вы поступайте, как вам будет угодно.

Он бросил последнюю фразу из сочувствия к остальным — все-таки неприятно, когда вас к чему-то принуждают! Наступило минутное молчание, и тотчас все стали обсуждать вопрос с тем намеренным многословием, которым пытаются смягчить уже навязанное решение.

Прошло четверть часа, прежде чем председатель объявил:

— Итак, мы постановили, господа, объявить в отчете, что ввиду неустойчивого положения на континенте мы пока прекращаем страхование иностранных контрактов.

Сомс победил. Он вышел из зала успокоенный, но растерянный.

Да, он выдержал характер; их уважение к нему явно возросло; их приязнь — если она вообще существовала — явно уменьшилась. Но почему Элдерсон так изворачивался? Сомс вспомнил беспокойный косой взгляд стальных глаз директора при намеке на то, что вопрос будет поднят на общем собрании.

Это его задело! Но почему? Неужели он подделал цифры? Не может быть! Слишком трудно было бы обмануть бухгалтеров. Если Сомс кому-нибудь верил, так это бухгалтерам. Сэндис и Дживон—неподкупные люди. Нет, не то! Он поднял глаза. Купол св. Павла уже призрачно затуманился на вечереющем небе — и ничего ему не посоветовал. Сомсу мучительно хотелось с кем-нибудь поговорить, но никого не было; и он пошел быстрее среди торопливой толпы. Засунув руку глубоко в карман, он вдруг нащупал что-то постороннее, липкое. «Боже! — подумал он,— эта ерунда! Бросить их в водосток? Вот будь у них ребенок, было бы кому отнести шары. Надо заставить Аннет поговорить с Флер». Он знал по собственному давнишнему опыту, к чему приводят скверные привычки. А почему бы ему самому не поговорить с ней? Сегодня он там ночует. Но тут его охватило какое-то беспомощное сознание своего неведения. Эта

нынешняя молодежь! О чем они, в сущности, думают, что чувствуют? Неужели «Старый Монт» прав? Неужели они не интересуются ничем, кроме настоящего момента, неужели они не верят в прогресс, в продолжение рода? Правда, Европа в тупике. Но разве не то же было после наполеоновских войн? Он не мог помнить своего деда, «Гордого Доссета»: старик умер за пять лет до его рождения. Но он отлично помнил, как тетя Энн, родившаяся в 1799 году, часто рассказывала об «этом ужасном Бонапарте — мы звали его Бонапартишкой, мой милый», о том, как ее отец получал от восьми до десяти процентов дохода; и какое впечатление «эти чартисты» произвели на теток Джулию и Эстер,— а ведь это было много позднее. И все же, несмотря на это, вспомните эпоху Виктории! Золотой век, когда стоило собирать вещи, заводить детей. А почему бы не начать снова? Консоли поднимаются непрестанно с тех пор, как умер Тимоти. Даже если и рай и ад отменены, нет оснований не жить, как прежде. Ведь ни один из его дядей не верил ни в рай, ни в ад, однако они разбогатели, все имели семьи, кроме Тимоти и Суизина. Нет! Рай и ад ни при чем! В чем же тогда перемена, если только она действительно существует? И вдруг Сомсу стало ясно, в чем дело. Эти, нынешние, все слишком много говорят; слишком много и слишком быстро! У них от этого скоро пропадет интерес ко всему на свете. Они высасывают жизнь и бросают кожуру, и... кстати, надо непременно купить эту картину Джорджа!.. Неужели молодежь умнее его поколения? А если так, то чем это объяснить? Может быть, их питанием? Этот салат из омаров, которым Флер накормила его в воскресенье! Он съел его — ужасная гадость! Но от этого не стал разговорчивее. Нет! Наверно, дело не в питании. И потом вообще — ум! Да где же теперь такие умы, которые могут сравниться с викторианцами — с Дарвином, Гексли, Диккенсом, Дизраэли, даже со стариком Гладстоном? Да он сам еще помнил судей и адвокатов, которые казались гигантами по сравнению с нынешними; так же как он помнил, что его отцу Джемсу судьи, которых он знал в молодости, казались гигантами по сравнению с современниками Сомса. Если судить по этому, ум постепенно вырождается. Нет, здесь что-то другое. Сейчас в моде такая штука, называемая психо-

анализом, по которой выходит, что поступки людей зависят не от того, что они ели за завтраком или с какой ноги встали с постели, как считалось в доброе старое время, а от какого-то потрясения, испытанного в далеком прошлом и абсолютно забытого. Подсознание? Выдумки! Выдумки— и микробы! Просто у этого поколения пищеварение скверное. Его отец и его дядя вечно жаловались на печень, но никогда с ними ничего не случалось и никогда им не были нужны все эти витамины, искусственные зубы, психотерапия, газеты, психоанализ, спиритизм, ограничение рождаемости, остеопатия, радиовещание и прочее. «Машины! — подумал Сомс.— Вот в чем, вероятно, дело!» Как можно во что-нибудь верить, когда все так вертится? Да тут и цыплят не пересчитать — так они бегут! Но у Флер умная головка! «Да,— подумал он,— и французские зубы — все может разгрызть. Два года! Надо поговорить с ней, пока эта привычка не укоренилась. Ее мать так не медлила!» И, увидев перед собой подъезд «Клуба знатоков», он вошел.

Швейцар вышел ему навстречу. Какой-то джентльмен ждет Сомса.

— Какой джентльмен? —покосился Сомс.

— Кажется, ваш племянник, сэр, мистер Вэл Дарти.

— Вэл Дарти? Гм! Где он?

— В маленькой гостиной, сэр.

Маленькая гостиная — единственная комната клуба, в которую допускались те, кто не состоял в нем членом,— была расположена в конце коридора и обставлена довольно убого, как будто клуб говорил: «Видите, что значит не принадлежать к числу моих членов». Сомс зашел туда. Вэл Дарти курил папиросу и, видимо, был поглощен созерцанием единственного интересного предмета в комнате—своего собственного отражения в зеркале над камином.

Встречаясь с племянником, Сомс всегда ожидал, что тот скажет: «Знаете, дядя Сомс, я разорен в пух и прах». Разводит скаковых лошадей! Это к добру не приведет.

— Ну, как поживаешь? — сказал Сомс.

Лицо в зеркале повернулось — и там отразился рыжеватый стриженый затылок.

— Ничего, живем, спасибо! А вы отлично выгляди-

те, дядя Сомс. Я пришел спросить: неужели мне надо принять этих кляч старого Джорджа Форсайта? Они ни к черту не годятся.

— Дареному коню в зубы смотреть? — сказал Сомс.

— Конечно,— проговорил Вэл,— но они до того плохи! Пока я заплачу налог, пошлю их на продажу и продам, они не будут стоить и шести пенсов. Одна из них падает, только поглядишь на нее. А две другие — с запалом. Несчастный старикан держал их просто потому, что никак не мог с ними развязаться. Им по пятьсот лет.

— А я думал, ты любишь лошадей,— сказал Сомс.— Разве ты не можешь их пустить на выпас?

— Н-да,— сухо сказал Вэл,— но мне ведь надо зарабатывать себе на жизнь. Я даже жене ничего не сказал: побоялся, что она посоветует принять. Я боюсь, что если я их продам, они мне будут сниться. Они годятся только на живодерню. Нельзя ли мне написать душеприказчикам и сказать, что я не настолько богат, чтобы взять их?

— Можно,— сказал Сомс, и слова: «Как поживает твоя жена?» — так и не сошли с его губ. Она была дочерью его врага, молодого Джолиона. Этот человек умер, но факт оставался фактом.

— Ладно, так и сделаю,— сказал Вэл.— Как сошли похороны?

— Очень просто: я не вмешивался.

Дни парадных похорон прошли. Ни цветов, ни лошадей, ни султанов из перьев — моторный катафалк, несколько автомобилей — вот и весь почет, какой ныне оказывают покойникам. Тоже знамение времени!

— Я сегодня ночую на Грин-стрит,— сказал Вэл.— Кажется, вы не там остановились, правда?

— Нет,— сказал Сомс и не мог не заметить, как на лице племянника отразилось облегчение.

— Да, кстати, дядя Сомс, вы мне советуете купить акции ОГС?

— Наоборот. Я собираюсь посоветовать твоей матери продать их. Скажи ей, что я завтра зайду.

— Почему? А я думал...

— Есть причины,— отрезал Сомс.

— Ну ладно, пока!

Сомс холодно пожал племяннику руку, посмотрел ему вслед.

«Пока!»— выражение, укоренившееся после бурской войны; Сомс никак не мог к нему привыкнуть, совершенно бессмысленное слово! Он пошел в читальню. «Знатоки» стояли и сидели за столами, но Сомс — самый необщительный человек на свете — предпочел одиночество в глубокой нише окна. Он сидел там, потирая ноготь указательного пальца другим пальцем, и разжевывал смысл жизни. В конце концов, в чем же ее сущность? Вот был Джордж. Ему легко жилось: он никогда не работал! А вот он сам работает всю жизнь. И все равно рано или поздно его похоронят, да еще, чего доброго, на моторном катафалке. Взять его зятя —молодого Монта: вечно болтает бог знает о чем; и взять этого тощего парня, который продал ему шары нынче днем. И старый Фонтеной, и лакей, вон там у стола, все — и работающие и безработные, члены парламента и священники на кафедрах — к чему все это? В Мейплдерхеме был старый садовник, который изо дня в день подстригал лужайки; если бы он бросил работать — во что превратились бы лужайки? Так и жизнь — садовник, подравнивающий лужайки. Другая жизнь — нет, он в нее не верил, но если даже принять эту возможность — наверно, там то же самое. Стричь лужайки, чтобы все шло гладко! А какой смысл? И, поймав себя на таких пессимистических мыслях, он встал. Лучше пойти к Флер — там ведь надо переодеваться к обеду. Он признавал, что в переодевании к обеду есть какой-то смысл, но в общем — это все вроде стрижки лужаек; снова зарастет, снова надо переодеваться. И так без конца! Вечно делать одно и то же, чтобы держаться на каком-то уровне. А к чему?

Подходя к Саут-сквер, он налетел на какого-то молодого человека: повернув голову, тот как будто смотрел кому-то вслед. Сомс остановился, не зная, извиниться ли ему или ждать извинений.

Молодой человек отрывисто бросил: «Виноват, сэр» — и прошел дальше — смуглый, стройный человек; и какой голодный взгляд — только, видно, голод не тот, что связан с желудком. Буркнув: «Ничего»,— Сомс тоже прошел дальше и позвонил у двери дочери. Она сама ему открыла. На ней была шапочка и меховая шубка: значит, она только что пришла. Сомс вспомнил молодого человека. Может быть, он провожал Флер? Какое у нее пре-

лестное лицо! Обязательно надо с ней поговорить. Если только она начнет бегать...

Однако он отложил разговор до вечера, когда собирался уже проститься с ней на ночь. Майкл ушел на собрание, где выступал кандидат лейбористской партии,— как будто не мог придумать ничего лучшего!

— Ты уже два года замужем, дитя мое, и, я полагаю, тебе пора подумать о будущем. О детях говорят много всякой ерунды. Дело обстоит гораздо проще. Надеюсь, ты понимаешь это?

Флер сидела, откинувшись на диванные подушки, покачивая ногой. Ее глаза стали чуть беспокойнее, но щеки даже не порозовели.

— Конечно,—проговорила она,— но зачем спешить, папа?

— Ну, не знаю,— проворчал Сомс.— У французов и у нашей королевской фамилии есть хорошее обыкновение отделываться от этого пораньше. Мало ли что может случиться — лучше обезопасить себя. Ты очень привлекательна, дитя мое, и мне бы не хотелось, чтобы ты так разбрасывалась. У тебя столько всяких друзей!

— Да, — сказала Флер.

— Ведь ты ладишь с Майклом, правда?

— О, конечно!

— Ну так чего же ждать? Помни, что твой сын будет этим, как его там...

В этих словах, несомненно, была уступка: он инстинктивно не любил всякие титулы и звания.

— А может быть, будет не сын? — сказала Флер.

— В твои годы это легко поправимо.

— Ну, папа, я совсем не хочу много детей, одного, может быть, двух.

— Да,— сказал Сомс,— но я-то, пожалуй, предпочел бы дочку вроде... ну, вроде тебя, например.

Ее глаза смягчились, она перевела взгляд с его лица на кончик своей ноги, на собаку, обвела глазами комнату.

— Не знаю... страшно связывает... как будто сама себе роешь могилу.

— Ну, я бы не сказал, что это так страшно,— попытался возразить Сомс.

— И ни один мужчина не скажет, папочка.

— Твоя мать без тебя не могла бы жить,— сказал он,

но тут же вспомнил, как ее мать чуть не погибла из-за нее и как все могло бы сорваться, если бы не он; и Сомс молча погрузился в созерцание беспокойной туфли Флер.

— Что же,— сказал он наконец,— я считал, что нужно поговорить об этом. Я... я хочу, чтобы ты была совершенно счастлива.

Флер встала и поцеловала его в лоб.

— Я знаю, папочка,— сказала она.— Я эгоистка и свинья. Я подумаю об этом. Я... я даже уже думала, по правде сказать.

— Вот это правильно,— сказал Сомс.— Это правильно! У тебя светлая головка — для меня это большое утешение. Спокойной ночи, милая.

И он пошел спать. Если был в чем-нибудь смысл, то только в продолжении своего рода, хотя и это стояло под вопросом. «Не знаю,— подумал он,— может быть, стоило ее спросить, не был ли этот молодой человек... но лучше оставить молодежь в покое!» По правде говоря, он их не понимал. Его глаза остановились на бумажном пакетике с этими... этими штуками, которые он купил. Он вынул их из кармана пальто, чтоб от них отвязаться,— но как? В огонь — нельзя, будет скверно пахнуть. Он остановился у туалетного столика, взял одну из пленок и посмотрел на нее. Господи помилуй! И вдруг, вытерев мундштучок носовым платком, стал надувать шар. Он дул, пока не устали щеки, и потом, зажав отверстие, взял кусочек нитки и завязал шар. Поддал его рукой, тот полетел —красный, нелепый — и сел на его постель. Гм! Он взял второй шар и тоже надул. Красный и зеленый! Фу ты! Если кто-нибудь войдет и увидит! Он открыл окно, выгнал оба шара в ночную темень и захлопнул окно. Пусть летают там, в темноте! Нервная усмешка искривила его губы. Утром люди их увидят. Ну что ж! Куда же еще девать такие штуки?

XIII
ПЛЕН

Майкл пошел на собрание лейбористской партии отчасти потому, что ему так хотелось, отчасти из сочувствия к «Старому Форсайту»; ему всегда казалось, что он огра-

бил Сомса. Старик так замечательно относился к Флер, и Майкл оставлял их вдвоем, когда только мог.

Поскольку избиратели по большей части неорганизованные рабочие, а не члены союза, это, вероятно, будет одно из тех собраний, которые лейбористская интеллигенция проводит, лишь бы «отвязаться». Всяческие чувства — «ерунда», руководство людьми превращено просто в снисхождение к ним,— значит, можно ожидать, что будут говорить на чисто деловые, экономические темы, не касаясь таких презренных факторов, как живой человек. Майкл привык слышать, как позорят людей, если они не одобряют перемен, ссылаясь на то, что человек по своей природе постоянен; он привык, что людей презирают за выражение сочувствия; он знал, что надо исходить исключительно из экономики. Да и, кроме того, эти выступления были много приятнее крикливых речей в северных районах или в Хайд-парке, которые невольно вызывали в нем самом противное, подсознательное классовое чувство.

Когда Майкл приехал, митинг был в полном разгаре и кандидат лейбористской партии безжалостно изобличал все язвы капитализма, который, по его мнению, привел к войне. И для того, чтобы снова не началась война, говорил оратор, надо установить такой строй, при котором народы всех стран не испытывали бы слишком больших лишений. Личность, по словам оратора, стоит выше нации, часть которой она составляет; и перед партией стоит задача: создать такие экономические условия, в которых личность могла бы свободно совершенствовать свои природные данные. Только таким путем, говорил он, прекратятся эти массовые движения и волнения, которые угрожают спокойствию всего мира. Говорил он хорошо. Майкл слушал и одобрительно хмыкал почти вслух и вдруг поймал себя на том, что думает о себе, о Уилфриде и Флер. Сможет ли он когда-нибудь «свободно усовершенствовать свои природные данные» настолько, чтобы так не тянуться к Флер? Стремится ли он к этому? Нет, конечно. И в слова оратора он вложил какие-то человеческие чувства. Не слишком ли сильно все чего-нибудь хотят? И разве это не естественно? А если так, то разве не будут всегда накапливаться у целой массы людей какие-то стремления— целые разли-

вы примитивных желаний, вроде желания удержаться над водой, когда тонешь? Ему вдруг показалось, что в своих доводах кандидат забывает об элементарных законах трения и теплоты, что это сухие разглагольствования кабинетного человека после скудного завтрака. Майкл внимательно посмотрел на сухое, умное, скептическое лицо оратора. «Нет настоящей закваски!» — подумал он. И когда тот сел, он встал и вышел.

История с Уилфридом расстроила его невероятно. Как он ни старался забыть об этом, как ни пытался иронией уничтожить сомнение, оно продолжало разъедать его спокойную и счастливую уверенность. Жена — и лучший друг! Сто раз на дню он уверял себя, что верит Флер. Но Уилфрид настолько привлекательнее его самого, а Флер достойна лучшего из лучших. Кроме того, Уилфрид мучается — тоже не очень приятно думать об этом. Как покончить с этой историей, как вернуть спокойствие себе, ему, ей? Флер ничего ему не говорит, а спрашивать просто невозможно. Даже нельзя показать, как ему тяжело! Да, темная история; и, насколько он понимает, исхода нет. Ничего не остается, как крепче замкнуться в себе, быть с Флер как можно ласковее и стараться не чувствовать горечи по отношению к Уилфриду. Какой ад!

Он пошел по набережной Челси. В небе, широком и темном, переливались звезды. На реке, темной и широкой, лежали маслянистые полосы от уличных фонарей. Простор неба и реки успокоил Майкла. К черту меланхолию! Какая путаная, странная, милая, подчас горькая штука — жизнь! И всегда увлекательная игра на счастье — как бы ни легли карты сейчас! В окопах он думал: «Только бы выбраться отсюда, и я никогда в жизни не буду ни на что жаловаться». Как редко он вспоминал сейчас об этом! Говорят, человеческое тело обновляется каждые семь лет. Через три года его тело уже не будет таким, как в окопах,— оно станет телом «мирного времени» с угашенными воспоминаниями. Если бы только Флер откровенно сказала ему, что она чувствует по отношению к Уилфриду, как она решила поступить,— ведь она, наверно, что-то решила. А стихи Уилфрида? Может быть, его проклятая страсть претворится в стихи, как говорил Барт? Но кто же тогда станет их печатать? Сквер-

нейшая история! Впрочем, ночь прекрасна, и самое главное — не быть скотиной. Красота — и сознание, что ты не скотина! Вот и все, да еще, пожалуй, смех — комическая сторона событий! Надо сохранить чувство юмора во что бы то ни стало! И Майкл, замедлив шаги под полуосыпавшимися ветвями платанов, похожими в темноте на перья, пытался найти комическую сторону своего положения. Но ничего не выходило. Очевидно, в любви абсолютно ничего смешного нет. Может быть, он научится не любить ее? Но нет, она держит его в плену. Может быть, она это делает нарочно? Никогда! Флер просто не способна делать то, что делают другие женщины,— держать мужей впроголодь и кормить их, когда им бывают нужны платья, меха, драгоценности! Гнусно!

Он подошел к Вестминстеру. Только половина одиннадцатого! Не поехать ли сейчас к Уилфриду и выяснить отношения? Это все равно, что пытаться заставить стрелки часов идти в обратную сторону. Что пользы говорить: «Ты любишь Флер, не надо ее любить». Что пользы, если Уилфрид скажет ему то же самое? «Ведь в конце концов я был первым у Флер»,— подумал он. Чистая случайность, но факт! Может, в этом и кроется опасность? Он для нее уже потерял новизну, ничего неожиданного она в нем не находит. А ведь сколько раз они оба соглашались, что в новизне — вся соль жизни, весь интерес, вся действенность. И новизна теперь в Уилфриде. Да, да! Очевидно, не все сказано тем, что «юридически и фактически» Флер принадлежит ему. Он повернул с набережной домой — чудесная часть Лондона, чудесная площадь; все чудесно, кроме вот этого проклятого осложнения. Что-то мягкое, словно большой лист, дважды коснулось его уха. Он удивленно обернулся: кругом пусто, ни одного дерева. Что-то летает в темноте, что-то круглое; он протянул руку — оно отскочило. Что это? Детский шарик? Он схватил его обеими руками и поднес к фонарю: как будто зеленый. Странно! Он посмотрел наверх. Два окна освещены — одно из них в комнате Флер. Неужели это его собственное счастье воздушным шаром вылетело из дому? Болезненная игра воображения! Вот осел! Просто порыв ветра — детская игрушка отвязалась и улетела! Он осторожно нес шарик. Надо показать Флер. Он открыл дверь. В холле темно — она наверху.

Он поднялся, раскачивая шарик на пальце. Флер стояла перед зеркалом.

— Это еще что у тебя? — удивилась она.

Кровь снова прилила к сердцу Майкла. Смешно, до чего он боялся, что шар имеет какое-нибудь отношение к ней.

— Не знаю, детка; упал мне на шляпу — наверно, свалился с неба.— И он подбросил шарик. Тот взлетел, упал, подпрыгнул два раза, закружился и затих.

— Какой ты ребенок, Майкл! Я уверена, что ты купил его.

Майкл подошел ближе и остановился.

— Честное слово! Что за несчастье быть влюбленным!

— Ты так думаешь?

— Всегда один целует, а другой не подставляет щеку.

— Но я-то ведь подставляю.

— Флер!

Она улыбнулась.

— Ну, целуй же!

Обнимая ее, Майкл подумал: «Она держит меня, делает со мной все, что хочет, и я ничего не знаю о ней».

А в углу послышалась тихая возня— это Тинг-а-Линг обнюхивал шарик.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

МАРКА ПАДАЕТ

Положение дел все более и более раздражало Сомса, особенно после общего собрания пайщиков ОГС. Оно прошло по тому же старому образцу, как проходят все такие собрания: пустая и гладкая — не придерешься! — речь председателя, подмасленная двумя надежными пайщиками и подкисленная выступлением двух менее надежных пайщиков, и, наконец, обычная болтовня по поводу дивидендов. Он пошел на собрание мрачный, вернулся еще мрачнее. Если Сомс что-нибудь себе вбивал в голову, то ему труднее было отделаться от этого, чем сыру отделаться от своего запаха. Почти треть контрактов иностранные, и притом почти все — германские! А марка падает! Марка стала падать с той минуты, как он согласился на выплату дивидендов. А почему? Откуда подул ветер? Против обыкновения Сомс стал вчитываться в политический отдел своей газеты. Эти французы — он никогда им не доверял, особенно со времени своей второй женитьбы,— эти французы, как видно, собираются валять дурака! Он заметил, что их газеты никогда не упустят случая поддеть политику Англии; кажется, они думают, что Англия будет плясать под их дудку! А марка и франк и всякая прочая валюта

продолжает падать! И хотя Сомсу и свойственно было радоваться, что на бумажки его страны можно накупить большое количество бумажек других стран, он понимал, что все это глупо и нереально и что ОГС в будущем году дивидендов не выплатит. ОГС — солидное предприятие; невыплата дивидендов будет явным признаком плохого руководства. Страхование — одно из тех немногих дел на нашей земле, которые можно и нужно вести без всякого риска. Если бы не это, он никогда не вошел бы в правление. И вдруг обнаружить, что страхование велось не так и что он тоже в этом виноват! Как бы то ни было, он заставил Уинифрид продать акции, хотя они уже слегка упали.

— Я думала, что это такая верная вещь, Сомс,— жаловалась она,— ведь так неприятно терять на акциях!

Он отрезал беспощадно:

— Если не продашь, потеряешь больше.

И она послушалась. Если семьи Роджера и Николаса, которые по его совету тоже накупили акций, не продали их— пусть пеняют на себя! Он просил Уинифрид предупредить их. У него самого были только его вступительные акции, и потеря была бы незначительная, так как его директорский оклад вполне компенсировал ее. Личная заинтересованность роли не играла — его просто мучило сознание, что тут замешаны иностранцы и что его непогрешимость поставлена под вопрос.

Рождество он провел спокойно в Мейплдерхеме. Он ненавидел рождество и праздновал его только потому, что жена его была француженка и ее национальным праздником был Новый год. Нечего потакать всяким иностранным обычаям. Но праздновать рождество без детей! Ему вспомнились зеленая хвоя и хлопушки в доме на Парк-Лейн, его детство, семейные вечера. Как он злился, когда получал что-нибудь символическое — кольцо или наперсток — вместо шиллинга! Санта-Клауса [1] на Парк-Лейн не признавали отчасти потому, что дети давно «раскусили» старика, отчасти потому, что это было слишком несовременно. Эмили, его мать, не допустила

[1] Санта-Клаус — сказочный «дед-мороз», приносящий детям подарки.

бы этого. Да, кстати: этот Уильям Гоулдинг, *ингерер*, до того запутал этих людей в Геральдическом управлении, что Сомс прекратил дальнейшие расследования: нечего давать им тратить его деньги на сентиментальную прихоть, которая никаких материальных выгод не сулит. Этот узколобый «Старый Монт» хвастает своими предками — тем больше оснований не заводить себе предков, чтобы нечем было хвастать. И Форсайты и Гоулдинги — хорошие коренные английские семьи, а больше ничего не требуется. А если во Флер и в ее ребенке, если только у нее будет ребенок, есть примесь французской крови — что ж, теперь делу не поможешь.

В отношении внука Сомс был осведомлен не больше, чем в октябре. Флер провела рождество у Монтов, но обещала скоро приехать к нему. Надо будет заставить мать расспросить ее.

Погода стояла удивительно мягкая. Сомс даже выехал как-то на лодке поудить рыбу. В теплом пальто он стоял с удочкой, ожидая окуней или плотвы покрупнее, но выудил только пескаря — никому не нужен, даже прислуга их нынче не ест. Его серые глаза задумчиво смотрели на серую воду под серым небом, и он мысленно следил за падением марки. Она упала катастрофически одиннадцатого января, когда французы заняли Рур. За завтраком он сказал Аннет:

— Что выделывают твои соотечественники! Посмотри, как упала марка!

— Какое мне дело до марки?— возразила она, наливая себе кофе.— Мне нужно, чтобы они не смели больше нападать на мою родину. Я надеюсь, что они испытают хоть часть тех страданий, которые испытали мы.

— Ты,— сказал Сомс,— ты-то никаких страданий не испытала.

Аннет поднесла руку к тому месту, где должно было находиться ее сердце, в чем Сомс иногда сомневался.

— Я испытывала страдания тут,— проговорила она.

— Что-то не замечал. Никогда ты не сидела без масла. Что же, по-твоему, будет с Европой в ближайшие тридцать лет? Что будет с британской торговлей?

— Мы, французы, смотрим дальше своего носа,— горячо возразила Аннет.— Мы знаем, что побежденных

нужно действительно подчинить себе, иначе они начнут мстить. Вы, англичане, такие тряпки!

— Тряпки? — повторил Сомс.—Говоришь, как ребенок. Разве мы могли бы занять такое положение в мире, если бы были тряпками?

— Это — от вашего себялюбия. Вы холодны и себялюбивы.

— Холодны, себялюбивы — и тряпки! Нет, это не подходит. Поищи другое определение.

— Ваша тряпичность — в вашем образе мыслей, в ваших разговорах; но ваш инстинкт обеспечивает вам успех, а вы, англичане, инстинктивно холодны и эгоистичны, Сомс. Вы все — помесь лицемерия, глупости и эгоизма.

Сомс взял немного варенья.

— Так,— сказал он,— ну, а французы? Циничны, скупы, мстительны. А немцы сентиментальны, упрямы и грубы. Обругать другого всякий может. Лучше держаться друг от друга подальше. А вы, французы, никогда этого не делаете.

Статная фигура Аннет надменно выпрямилась.

— Когда связан с человеком так, как я связана с тобой, Сомс, или как мы, французы, связаны с немцами, надо быть или хозяином, или подчиненным.

Сомс перестал мазать хлеб.

— А ты себя считаешь хозяином в этом доме?

— Да, Сомс.

— Ах так! Можешь завтра же уезжать во Францию.

Брови Аннет иронически поднялись.

— Нет, друг мой, я, пожалуй, подожду, ты все еще слишком молод.

Но Сомс уже пожалел о своем замечании — в свои годы он совсем не хотел таких передряг — и сказал более спокойно:

— Компромисс — это сущность всяких разумных отношений и между отдельными людьми и между странами. Нельзя чуть ли не каждый год заново портить себе жизнь.

— Это так по-английски! — пробормотала Аннет.— Мы ведь никогда не знаем, что вы, англичане, будете делать. Вы всегда ждете, откуда подует ветер.

Сомс, как ни глубоко он сочувствовал такой характе-

ристике, во всякое другое время обязательно стал бы возражать: неудобно признаться в собственном непостоянстве. Но марка падала, как кирпичи с воза, и он был раздражен до последнего предела.

— А почему бы нам и не выжидать? Зачем бросаться в авантюры, из которых потом не выберешься? Я не желаю спорить. Французы и англичане никогда не ладили между собой и никогда не поладят.

Аннет встала.

— Ты прав, мой друг. Entente, mais pas cordiale[1]. Что ты сегодня делаешь?

— Еду в город,— хмуро ответил Сомс.— Ваше драгоценное правительство напортило во всех делах так, что дальше идти некуда.

— Ты будешь там ночевать?

— Не знаю.

— Ну прощай! Всего доброго! — И она вышла из-за стола.

Сомс угрюмо задумался над хлебом с вареньем — падение марки не шло у него из ума — и был рад, когда изящная фигура Аннет скрылась с глаз: сейчас ему было не до французских фокусов. Ему страшно хотелось сказать кому-нибудь: «Я же вам говорил!» Но надо подождать, пока найдется, кому сказать.

Прекрасный день, совсем теплый. И, захватив зонтик, чтобы предотвратить дождь, Сомс отправился на станцию.

В вагоне все говорили о Руре. Сомс терпеть не мог разговаривать с незнакомыми и слушал, прикрывшись газетой. Настроение в публике было до странности похоже на его собственное. Поскольку события причиняли неприятности «гуннам» — их одобряли; поскольку они причиняли неприятности английской торговле—их осуждали; а так как в данный момент любовь к английской торговле была сильнее ненависти к гуннам, события получили совсем отрицательную оценку. Замечание какого-то франкофила насчет того, что французы правы, ограждая себя любой ценой, было принято весьма холодно. В Мейденхеде в вагон вошел новый пассажир, и Сомс

---

[1] Согласие, но не сердечное (*франц.*).— «Сердечное согласие» — союз Англии и Франции, заключенный в 1904 году.

сразу понял, что сейчас начнется беспокойство. У пассажира были седые волосы, румяное лицо, живые глаза и подвижные брови, и через пять минут он уже спрашивал всех бодрым голосом, слышали ли они о Лиге наций? Первое впечатление Сомса подтвердилось; он выглянул из-за газеты. Ну ясно, сейчас этот тип оседлает своего конька! Вот, пошел! Суть не в том, объявил новый пассажир, получит ли Германия тумака, Англия— монету, а французы— утешение, а в том, получит ли весь мир спокойную и мирную жизнь. Сомс опустил газету. Если действительно хочешь мира, продолжал пассажир, надо забыть свои личные интересы и думать об интересах всего людского коллектива. Благо всех есть благо каждого. Сомс сразу почуял ошибку. Может быть, и так, но благо одного не всегда будет благом для всех. Он почувствовал, что если не сдержится, он возразит этому человеку. Человек этот чужой, из споров вообще ничего хорошего не выходит. Но, к несчастью, его молчание среди общих споров о том, что от Лиги наций «толку не дождешься», показалось оратору сочувственным, и этот тип непрестанно подмигивал ему. Спрятаться за газетой было бы слишком подчеркнуто, и положение Сомса становилось все более ложным, пока поезд не остановился у Пэддингтонского вокзала. Он поспешил к такси. Голос за его спиной проговорил:

— Безнадежная публика, сэр, правда? Рад, что хоть вы со мной согласились.

— Конечно,— буркнул Сомс.— Такси!

— Если только Лига наций не будет функционировать, мы все провалимся в преисподнюю.

Сомс повернул ручку дверцы.

— Конечно,— повторил он.— Полтри,— бросил он шоферу, садясь. Его не поймаешь — этот человек определенно смутьян.

В такси он понял, насколько он расстроен. Он сказал шоферу: «Полтри!» — адрес, который контора «Форсайт, Бастард и Форсайт» переменила двадцать два года назад, когда, слившись с конторой «Кэткот, Холидей и Кингсон», стала называться «Кэткот, Кингсон и Форсайт». Исправив ошибку, он опустил голову в мрачном раздумье. Падение марки! Теперь все понимают, в чем дело, но если ОГС перестанет выплачивать дивиденды —

можно ли тогда надеяться, что пайщики будут считать виновниками французов, а не директоров? Сомнительно! Директора должны были все предвидеть. Впрочем, в этом можно обвинять всех директоров, кроме него: он лично никогда бы не взялся за иностранные дела. Если бы он только мог с кем-нибудь поговорить обо всем! Но старый Грэдмен не поймет его соображений. И, приехав в контору, он с некоторым раздражением посмотрел на старика, неизменно сидящего на своем стуле-вертушке.

— А, мистер Сомс, я ждал вас сегодня все утро. Тут вас спрашивал какой-то молодой человек из ОГС. Не хотел сказать, в чем дело, говорит, что хочет видеть вас лично. Он оставил свой номер телефона.

— О! — сказал Сомс.

— Совсем юнец, из канцелярии.

— Как он выглядит?

— Очень аккуратный, приятный молодой человек. Произвел на меня вполне хорошее впечатление. Фамилия его Баттерфилд.

— Ну, позвоните ему, скажите, что я здесь,— и, подойдя к окну, Сомс уставился на совершенно глухую стену напротив.

Так как он не принимал активного участия в делах конторы, кабинет его был расположен далеко, чтоб никто не мешал. Молодой человек! Странное посещение! И он бросил через плечо:

— Не уходите, когда он явится, Грэдмен, я о нем ничего не знаю.

Мир меняется, люди умирают, марка падает, но Грэдмен всегда тут — седой, верный; воплощенная преданность и надежная опора, настоящий якорь.

Послышался скрипучий, вкрадчивый голос Грэдмена:

— Эти французские дела — нехорошо, сэр. Горячая публика. Я помню, как ваш батюшка, мистер Джемс, пришел в тот день, как была объявлена франко-прусская война,— он совсем еще был молодым, лет шестьдесят, не больше. Я точно помню его слова. «Ну вот,— сказал он,— я так и знал». И до сей поры ничего не изменилось. Ведь немцы и французы — что собака с кошкой.

Сомс, который повернулся было к Грэдмену, снова уставился в глухую стену. Бедный старик Грэдмен со-

всем устарел! Что бы он сказал, если бы узнал, что Сомс принимает участие в страховании иностранных контрактов?

Оттого, что перед ним сидел старый, верный Грэдмен, ему как-то легче стало думать о будущем. Сам он, возможно, проживет еще лет двадцать. Что он увидит за это время? Какой станет старая Англия к концу этого срока? «Что бы ни говорили газеты, мы не так глупы, как кажется,—подумал он.—Только бы нам суметь удержаться от всякой наносной чуши и идти своим путем».

— Мистер Баттерфилд, сэр!

Гм! Юноша, видно, поторопился. Под прикрытием добродушно-вкрадчивых приветствий Грэдмена Сомс «произвел разведку», как выражался его дядя Роджер. Аккуратно одет, отложной воротничок, шляпу держит в руке — совсем обыкновенный, скромный малый. Сомс слегка кивнул ему.

— Вы хотели меня видеть?

— Наедине, сэр, если разрешите.

— Мистер Грэдмен — моя правая рука.

Голос Грэдмена ласково заскрипел:

— Можете излагать ваше дело. За эти стены ничего не выносится, молодой человек.

— Я служу в конторе ОГС, сэр. Дело в том, что я случайно получил некоторые сведения, и теперь у меня неспокойно на душе. Зная, что вы адвокат, сэр, я предпочел обратиться к вам, а не к председателю. Скажите мне как юрист: должен ли я, как служащий Общества, всегда в первую очередь считаться с его интересами?

— Разумеется,— сказал Сомс.

— Мне неприятно это дело, сэр, и вы, надеюсь, поверите, что я пришел не по личным причинам, а просто из чувства долга.

Сомс пристально посмотрел на него. Большие влажные глаза юноши казались ему похожими на глаза преданной собаки.

— А в чем дело? — спросил он.

Баттерфилд облизнул сухие губы.

— Дело в страховании наших германских контрактов, сэр.

Сомс насторожил уши, и без того слегка торчащие кверху.

— Дело очень серьезное,— продолжал молодой человек,— и я не знаю, как это отразится на мне, но должен сказать, что я сегодня утром подслушал частный разговор.

— О-о,— протянул Сомс.

— Да, сэр. Вполне понимаю вас, но после первых же слов я должен был слушать. Я просто не мог выдать себя после того, как услышал их. Я думаю, что вы согласитесь, сэр.

— А кто говорил?

— Наш директор-распорядитель и некий Смит—судя по акценту, его фамилия, наверно, звучит несколько иначе. Он один из главных агентов по нашим германским делам.

— Что же они говорили? — спросил Сомс.

— Видите ли, сэр, директор что-то говорил, а потом этот Смит сказал: «Все это так, мистер Элдерсон, но мы не зря платили вам комиссионные; если марка окончательно лопнет, вам уж придется постараться, чтобы ваше Общество нас выручило».

Сомсом овладело острое желание свистнуть, но его остановило лицо Грэдмена: у старика отвисла нижняя челюсть, заросшая короткой седой бородой, и он растерянно протянул:

— О-о!

— Да,— сказал молодой человек,— это был номер!

— Где вы были? — резко спросил Сомс.

— В коридоре, между кабинетом директора и конторой. Я только что разобрал бумаги в конторе и шел с ними, а дверь кабинета была приоткрыта пальца на два. Конечно, я сразу узнал голоса.

— Дальше...

— Я услышал, как мистер Элдерсон сказал: «Тс-с, не говорите об этом»,— и я поскорей юркнул обратно в контору. С меня было достаточно, уверяю вас, сэр!

Подозрения и догадки совершенно сбили Сомса с толку. Правду ли говорит этот юнец? Такой человек, как Элдерсон... чудовищный риск! А если это правда—в какой мере ответственны директора? Но доказательства, доказательства?! Он посмотрел на клерка: тот был бледен и расстроен, но стойко выдержал его взгляд. Встряхнуть бы его хорошенько! И он строго сказал:

— Вы понимаете, что говорите? Дело в высшей степени серьезное!

— Я знаю, сэр. Если бы я думал о себе, я бы ни за что к вам не пришел. Я не доносчик.

Как будто говорит правду! Но осторожность не покидала Сомса.

— У вас были когда-нибудь неприятности по службе?

— Никогда, сэр, можете справиться. Я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня.

Сомс внезапно подумал: «О черт, теперь он все это свалил на меня! Да еще при свидетеле! И я сам оставил этого свидетеля!»

— Имеете ли вы основания предполагать, что они заметили ваше присутствие? — спросил он.

— Не думаю, сэр, они не могли заметить.

Запутанность положения с каждой секундой росла, как будто рок, с которым Сомс умело фехтовал всю свою жизнь, внезапно нанес ему удар исподтишка. Однако нечего терять голову, надо все спокойно обдумать.

— Вы готовы, если нужно, повторить это перед правлением?

Молодой человек стиснул руки.

— Право, сэр, лучше бы я молчал, но раз вы считаете, что надо, что ж делать — придется. А может, лучше, если вы решите оставить это дело в покое; может быть, все это вообще неправда... Но тогда почему мистер Элдерсон не сказал ему: «Это наглая ложь!»

Вот именно! Почему он смолчал? Сомс недовольно проворчал что-то невнятное.

— Что еще скажете?— спросил он.

— Ничего, сэр.

— Отлично. Кому-нибудь говорили об этом?

— Никому, сэр.

— И не надо, предоставьте это мне.

— Очень охотно, сэр, конечно. Всего хорошего!

— Всего хорошего!

Нет, хорошего мало! И ни малейшего удовлетворения от того, что его пророчество относительно Элдерсона сбылось. Ни малейшего!

— Что скажете об этом юнце, Грэдмен? Лжет он или нет?

Грэдмен, выведенный этими словами из оцепенения, задумчиво потер свой толстый лоснящийся нос.

— Как сказать, мистер Сомс, надо бы получить больше доказательств. Но я не знаю, какой смысл этому человеку лгать?

— И я не знаю. Впрочем, все возможно. Самое трудное — достать еще доказательства. Разве можно действовать без доказательств?

— Да, дело щекотливое,— сказал Грэдмен. И Сомс понял, что он предоставлен самому себе. Когда Грэдмен говорил, что «дело щекотливое»,— это значило обычно, что он просто будет ждать распоряжений и считает даже вне своей компетенции иметь какое-либо мнение. Да и есть ли у него свое мнение? Ведь из него ничего не вытянуть. Будет тут сидеть и тереть нос до второго пришествия.

— Я торопиться не стану,— сердито проговорил Сомс.— Мало ли что еще может случиться!

Его слова подтверждались с каждым часом. За завтраком в своем клубе в Сити он узнал, что марка упала. Неслыханно упала! Как это люди еще могут болтать о гольфе, когда он поглощен таким делом,— просто трудно себе представить!

«Надо поговорить с этим типом,— подумал он.— Я буду настороже, может быть, он прольет свет на эту историю». Он подождал до трех часов и отправился в ОГС.

Приехав в контору, он сразу прошел в кабинет правления. Председатель беседовал с директором-распорядителем. Сомс тихо сел и стал слушать и, слушая, разглядывал лицо Элдерсона. Оно ничего ему не говорило. Какую чепуху болтают — будто можно по лицу определить характер человека! Только лицо совершенного дурака — открытая книга. А здесь был человек опытный, культурный, знавший каждую пружинку деловой жизни и светских отношений. Его лицо, бритое и сухое, выражало огорчение, обиду, но не больше, чем лицо любого человека, чья политика потерпела бы такой крах. Падение марки погубило всякую надежду на дивиденды в течение ближайшего полугодия. Если только эта несчастная марка не поднимется, германские страховки будут лежать на Обществе мертвым грузом. Право же, настоящим преступлением было не ограничить ответствен-

ность. Каким образом, черт возьми, мог он упустить это, когда вступил в правление? Правда, узнал он обо всем этом много позже. Да и кто мог предвидеть такую сумасшедшую историю, как события в Руре, кто мог думать, что его коллеги по правлению так доверятся этому проклятому Элдерсону? Слова «преступная халатность» появились перед глазами Сомса крупным планом. Что если против правления будет возбуждено дело? Преступная халатность! В его годы, с его репутацией! Ясно как день: за то, что этот тип не ограничил ответственности, он получил комиссию. Наверное, процентов десять на круг; должно быть, заработал не одну тысячу! Право, человек должен дойти до крайности, чтобы рискнуть на такое дело. Но, видя, что фантазия у него начала разыгрываться, Сомс встал и повернул к двери. Надо было еще что-то сделать — симулировать гнев, сбить самообладание с этого человека. Он резко обернулся и раздраженно проговорил:

— О чем же вы, собственно говоря, думали, господин директор-распорядитель, когда заключали страховки без ограничения ответственности? И такой опытный человек, как вы! Какие у вас на это были мотивы?

И Сомс подчеркнул это слово, пристально глядя на Элдерсона, поджав губы и сузив глаза. Но тот пропустил намек.

— При тех высоких процентах, какие мы получали, мистер Форсайт, не могло быть и речи об ограничении ответственности. Правда, положение дел сейчас весьма тяжелое, но что же делать — не повезло!

— К сожалению, при правильно поставленной страховой работе не может быть и речи о «везенье» или «невезенье», и, если я не ошибаюсь, нам скоро это докажут. Я не удивлюсь, если нам будет брошено обвинение в преступной халатности.

Ага, задело! И председатель ежится! Впрочем, Сомсу показалось, что Элдерсон только притворяется слегка огорченным. Бесполезно даже пробовать чего-нибудь добиться от такого типа. Если вся эта история — правда, то Элдерсон, вероятно, просто в безвыходном положении и готов на все. Но так как все, что могло привести человека в отчаяние,— все по-настоящему безвыходные положения, все немыслимые ситуации, требующие рис-

ка,— Сомс всегда тщательно устранял из своей жизни, он не мог даже представить себе душевное состояние Элдерсона, не мог представить себе его линию поведения, если он был действительно виновен. Этот тип, по мнению Сомса, был способен на все: у него и яд может быть припасен, и револьвер в кармане, как у героя экрана. Но все это до того неприятно, до того беспокойно — просто слов нет! И Сомс молча вышел, только и узнав, что теперь, когда марка обесценена, их дефицит по этим германским контрактам составляет свыше двухсот тысяч фунтов. Он мысленно перебирал состояния своих содиректоров. Старый Фонтеной всегда в стесненных обстоятельствах; председатель — «темная лошадка»; состояние Монта — в земле, а земля сейчас не в цене, к тому же его имение заложено. У этой старой мямли Мозергилла ничего, кроме имени и директорского жалованья, нет. У Мэйрика, верно, большие доходы, но при больших доходах и расходы большие, как у всех этих крупных адвокатов, которые служат и нашим и вашим и уверены, что их ждет должность судьи. Ни одного по-настоящему солидного человека, кроме него самого! Сомс медленно шел, тяжело шагая, опустив голову.

Акционерные общества! Нелепая система! Приходится кому-то доверять все дела — и вот вам! Ужасно!

— Шарики, сэр, разноцветные шарики, пять футов в окружности. Возьмите шарик, джентльмен!

— О боги! — сказал Сомс. Как будто ему мало было лопнувших, как пузырь, германских дел!

II

ВИКТОРИНА

Весь декабрь воздушные шары шли плохо, даже перед рождеством, и Центральная Австралия была так же далека от Бикетов, как и раньше. Викторина почти поправилась, но уже не могла вернуться на работу в мастерскую «Бони Блэйдс и К°». Ей давали на дом сдельную работу, но не часто, и она все пыталась найти что-нибудь более прочное. Как всегда, ей страшно мешала ее внешность. Людям трудно было придумать что-нибудь

для этой маленькой женщины с таким необычным лицом. Как принять на службу человека, который, как они знали, не обладает ни образованием, ни богатством, ни знатностью, ни особыми способностями и все же дает вам почувствовать, что он выше вас? Интерес к необычному, дававший таким, как Майкл и Флер, много острых ощущений, не играл никакой роли, когда речь шла о шитье блузок, примерке обуви, надписывании конвертов, плетении надгробных венков — словом, о тех занятиях, о которых мечтала Викторина. Что скрывали эти большие темные глаза, эти молчаливые губы? «Бони Блэйдс и К⁰» и всякие другие почтенные коммерческие предприятия были даже обеспокоены этим. А соблазнительные профессии — статистки в кино, манекенщицы— не приходили в голову скромному существу, рожденному в Пэтни.

И каждое утро, когда Бикет уходил, взяв лоток со сложенными оболочками шаров, она стояла, грызя палец, мучительно придумывая, как бы прогрызть выход из этого полуголодного существования, от которого ее муж стал худ как спичка, измучен, как собака, и общипан, как бесхвостый воробей. Его унизительное ремесло едва давало им кров и пищу. Они давно поняли, что никакого будущего торговля шарами не сулит: только бы выклянчить на сегодняшний обед. И в тихонькой, покорной Викторине накипала горячая обида. Во что бы то ни стало она хотела изменить жизнь к лучшему и для себя и для Тони — особенно для Тони.

В то утро, когда так упала марка, она надела свой бархатный жакетик и шапочку — лучшее, что осталось в ее скудном гардеробе. Она решилась. Бикет никогда не вспоминал о своем прежнем месте, и она смутно догадывалась, что дело с его увольнением обстоит совсем не так просто. Почему бы не попытаться опять его устроить? Он часто говорил ей: «Вот мистер Монт—настоящий джентльмен! Он что-то вроде социалиста, и на войне побывал, и вообще совсем не задается!» Вот если бы попасть к этому чудаку! И ее худенькое личико зарумянилось решимостью и надеждой, когда, проходя по Стрэнду, она взглянула на себя в зеркало витрины. Цвет ее зеленого бархатного жакетика всегда нравился тем, кто знал толк в оттенках, но зато черная юбка... ну, да

может быть, никто не заметит, насколько юбка потерта, если не выходить из-за перегородки в конторе. Хватит ли у нее смелости сказать, что она пришла по поводу рукописи? И она мысленно прорепетировала, тщательно выговаривая слова: «Будьте любезны попросить мистера Монта принять меня, мне надо поговорить насчет рукописи». Да! А вдруг спросят: «Как передать?» Сказать— миссис Бикет? Ни за что! Мисс Викторина Коллинз? У всех писательниц девичьи фамилии. Но Коллинз! Не звучит никак! И кому какое дело до ее девичьей фамилии? А почему бы не выдумать? Писатели всегда придумывают себе фамилии. И Викторина стала подбирать имя. Что-нибудь итальянское, вроде, вроде... Ведь хозяйка так и спросила, когда они въезжали: «А ваша жена — итальянка, мистер Бикет?» Ага! Мануэлли! Настоящее итальянское имя, как у мороженщика на Дич-стрит. По дороге она повторяла заранее придуманные слова. Только бы ей попасть к этому мистеру Монту!

Она вошла дрожа. Все шло, как она предполагала, вплоть до тщательно выговоренной фразы. Она ждала, пока о ней докладывали по внутреннему телефону, и прятала руки в ветхих перчатках. Назначили ли мисс Мануэлли прийти? Такой рукописи еще не было.

— Нет,— сказала Викторина,— я ее еще не посылала. Я хотела сначала повидать мистера Монта.

Молодой человек у конторки пристально посмотрел на нее, снова подошел к телефону и потом сказал:

— Попрошу минутку подождать: сейчас к вам выйдет секретарша мистера Монта.

Викторина наклонила голову; ее сердце сжалось. Секретарша! Ну, теперь ей к нему ни за что не попасть. И вдруг она испугалась своей выдумки. Но мысль о Тони, там, на углу, в облаке разноцветных шаров — она не раз подсматривала за ним — поддержала ее отчаянную решимость.

Женский голос:

— Мисс Мануэлли? Я секретарь мистера Монта. Может быть, вы сообщите, по какому делу он вам нужен?

Свеженькая молодая женщина смерила Викторину внимательным взглядом.

— Нет, боюсь, что мне придется лично его побеспокоить.

Внимательный взгляд остановился на ее лице.

— Пожалуйста, пройдите со мной, может быть, он вас примет.

Викторина, не шелохнувшись, сидела в маленькой приемной. Вдруг она увидела в дверях лицо какого-то молодого человека и услышала:

— Войдите, пожалуйста.

Она судорожно глотнула воздух и вошла. В кабинете Майкла она взглянула на него, на его секретаршу и снова на него, бессознательно взывая к его благородству, его молодости, его честности,— неужели он откажется переговорить с ней наедине? У Майкла сразу мелькнула мысль: «Деньги, наверно. Но какое интересное лицо!» Секретарша опустила уголки губ и вышла из комнаты.

— Ну, что скажете, мисс... э-э... Мануэлли?

— Простите, не Мануэлли. Я миссис Бикет. Мой муж тут служил.

Как, жена того парня, что таскал «Медяки»? Гм! Бикет, помнится, что-то плел — жена, воспаление легких. Да, похоже, что она болела.

— Он часто говорил о вас, сэр. И он теперь совсем без работы. Может, у вас бы нашлось для него место, сэр?

Майкл молчал. Знает ли эта маленькая женщина с таким необычайно интересным лицом о воровстве?

— Он сейчас продает шары на улице. Я не могу видеть этого! Стоит у святого Павла и почти ничего не зарабатывает. А мы так хотим уехать в Австралию. Я знаю—он очень нервный и часто спорит с людьми. Но если бы только вы могли его принять...

Нет. Она ничего не знает!

— Очень сожалею, миссис Бикет. Я хорошо помню вашего мужа, но у нас нет для него места. А вы совсем поправились?

— О да! Только я тоже никак не могу найти работу!

Какое лицо для обложек! Прямо Мона Лиза![1] Ага! Роман Сторберта!

— Ладно, я поговорю с вашим мужем. Скажите, вы бы не согласились позировать художнику для обложки?

---

[1] Мона Лиза Джиоконда — картина Леонардо да Винчи.

При желании могли бы и дальше работать по этой части. Вы как раз подходящая модель для моего друга. Вы знаете работы Обри Грина?

— Нет, сэр.

— Очень неплохо—даже совсем хорошо, хоть и в декадентском духе. Так вы согласились бы позировать?

— Я согласна на всякую работу, лишь бы добыть денег. Но лучше не говорите мужу, что я была у вас. Он может рассердиться.

— Хорошо! Я с ним встречусь как будто случайно. Вы говорите, он стоит у святого Павла? Только здесь, к сожалению, ему работы нет, миссис Бикет. Да, кроме того, он едва сводил концы с концами на наше жалованье.

— Когда я болела, сэр.

— Да, конечно, это сыграло роль.

— Конечно, сэр.

— Ладно, давайте я напишу вам записку к мистеру Грину. Присядьте.

Он писал, украдкой поглядывая на нее. Это худенькое большеглазое лицо, эти иссиня-черные вьющиеся волосы — необычайно интересно! Пожалуй, чересчур утонченно и бледно для вкусов широкой публики. Но, черт возьми! Нельзя же из-за публики вечно рисовать стандартные синие глаза, золотистые локоны и красные, как мак, щеки! «Она не совсем в обычном вкусе,— писал он,— но так хороша в своем роде, что может стать художественным типом, как типы Бердсли и Дана».

Когда Викторина ушла с запиской, Майкл позвонил секретарше.

— Нет, мисс Перрен, она ничего у меня не выпрашивала. Но какое лицо, правда?

— Я тоже решила, что вам надо поглядеть на нее. Но ведь она не писательница?

— О нет!

— Ну, надеюсь, она добилась того, что ей нужно.

Майкл усмехнулся.

— Отчасти, мисс Перрен, отчасти! Вы меня считаете ужасным дураком, а?

— Ничуть, что вы! Но, по-моему, вы слишком мягкосердечны.

Майкл взъерошил волосы.

— А вы бы удивились, если бы я сказал, что сделал важное дело?

— Пожалуй, мистер Монт.

— Ну, тогда я вам не скажу ничего. Когда вы перестанете дуться, можно продолжать письмо к моему отцу насчет «Дуэта». Очень, мол, сожалеем, что при нынешнем положении дел мы лишены возможности переиздать разговор этих старых хрычей; мы на этом и так потеряли уйму денег. Конечно, вам придется это перевести. А потом надо написать старику что-нибудь ободряющее. Ну, например: «Когда французы образумятся и птички запоют,— словом, к весне мы надеемся еще раз пересмотреть этот вопрос в свете...» м-м-м... чего, мисс Перрен?

— В свете накопленного нами опыта. Насчет французов и птичек можно пропустить?

— Чудесно! «Преданные вам Дэнби и Уинтер». Вы не считаете, что появление этой книги в нашем издательстве — возмутительный пример непотизма?

— А что такое непотизм?

— Злоупотребление сыновней преданностью. Он никогда ни гроша не заработал своими книгами.

— Он очень изысканный писатель, мистер Монт.

— А мы за эту изысканность расплачиваемся. И все-таки он славный «Старый Барт»! Ну, вот пока и все. Идите завтракать, мисс Перрен, да как следует позавтракайте! У этой девушки и фигура необычайная, правда? Она очень тоненькая, но держится совсем прямо. Да, я все хотел вас спросить, мисс Перрен... Почему современные девицы всегда ходят как-то изогнувшись и вытянув шею вперед? Ведь не может быть, что они все так сложены?

Щеки секретарши зарделись.

— Конечно, причина есть, мистер Монт.

— А! Какая?

Щеки секретарши зарделись еще ярче.

— Я... я как-то не решаюсь...

— О, простите! Я спрошу жену. Только она-то держится очень прямо!

— Видите ли, в чем дело, мистер Монт: сейчас модно, чтобы... ну, сзади... ничего не было, а ведь это... м-м... не так — вот они и стараются добиться такого вида, втя-

гивая грудь и вытягивая шею. На модных картинках так рисуют, и манекенщицы всегда так ходят.

— Понятно,—сказал Майкл.—Спасибо, мисс Перрен! Очень мило, что вы объяснили. Дальше идти некуда, верно?

— Да, я сама совершенно не придерживаюсь этой моды.

— Нет, ничуть!

Секретарша опустила глаза и удалилась. Майкл сел к столу и стал рисовать на промокашке женский профиль. Но это была не Викторина...

Викторина, позавтракав, как всегда, чашкою кофе с булкой, поехала подземкой в Челси с письмом Майкла к Обри Грину. Правда, ее поход не увенчался успехом, но мистер Монт был очень добр, и Викторина повеселела.

У студии стоял, отпирая дверь, молодой человек— очень элегантный, в светло-сером спортивном костюме, весь какой-то скользящий, без шляпы, со светлыми, красиво зачесанными назад волосами и мягким голосом.

— Натурщица? — спросил он.

— Да, сэр. Вот, пожалуйста, у меня к вам записка от мистера Монта.

— От Майкла? Войдите.

Викторина прошла за ним. Комната почти вся светло-зеленая — высокая комната с верхним светом и стропилами; стены сплошь увешаны рисунками и картинами, а часть картин как будто соскользнула на пол. На мольберте стояло изображение двух дам, с которых почти совсем соскользнули платья,— и Викторина смутилась. Она заметила, что глаза художника, светло-зеленые, как стены комнаты, скользят по ней внимательным взглядом.

— Вы будете позировать как угодно?

— Да, сэр,— машинально ответила Викторина.

— Снимите, пожалуйста, шляпу.

Викторина сняла шапочку и встряхнула волосами.

— О-о!— протянул художник.— Интересно!

Викторина не поняла, что ему интересно.

— Будьте добры, взойдите на помост.

Викторина нерешительно оглянулась. Улыбка словно скользнула по всему лицу художника, по лбу, по блестящим светлым волосам.

— Видно, это ваш первый опыт?

— Да, сэр.

— Тем лучше.— И он указал на маленькое возвышение.

Викторина села в черное дубовое кресло.

— Вам как будто холодно?

— Да, сэр.

Он подошел к шкафу и вернулся с двумя рюмками чего-то коричневого.

— Выпейте Grand Marnier.

Она увидела, как он залпом проглотил ликер, и последовала его примеру. Ликер был сладкий, очень вкусный, у нее сразу перехватило дыхание.

— Возьмите папироску.

Викторина взяла папироску из его портсигара и сжала ее губами. Он дал ей прикурить. И снова улыбка скользнула по его лицу и спряталась в блестящих волосах.

— В себя тяните,— сказал он.— Где вы родились?

— В Пэтни, сэр.

— Это занятно! Вы только посидите минуточку спокойно. Это не так страшно, как рвать зуб, только дольше. Главное — старайтесь не заснуть.

— Хорошо, сэр.

Он взял большой лист бумаги и кусок чего-то черного и начал рисовать.

— Скажите, пожалуйста, мисс...

— Коллинз, сэр, Викторина Коллинз.

Она инстинктивно назвала свою девичью фамилию— ей это казалось более профессиональным.

— Вы сейчас без работы? — Он остановился, и снова улыбка скользнула по его лицу.— Или у вас еще есть какое-нибудь занятие?

— Сейчас нет, сэр. Я замужем, и больше ничего.

Некоторое время художник молчал. Было занятно следить, как он смотрит — и делает штрих. Сто взглядов—сто штрихов. Наконец он сказал:

— Чудесно! Теперь отдохнем. Само небо послало вас сюда, мисс Коллинз. Идите погрейтесь.

Викторина подошла к камину.

— Вы что-нибудь слышали об экспрессионизме?

— Нет, сэр.

— Понимаете, это значит обращать внимание на внешность, только поскольку она выражает внутреннее состояние. Вам это что-нибудь объясняет?

— Нет, сэр.

— Так. Кажется, вы сказали, что согласны позировать... м-м... совсем?

Викторина смотрела на веселого, скользящего джентльмена.

Она не понимала, что он хочет сказать, но чувствовала что-то не совсем обычное.

— Как это «совсем», сэр?

— Совсем нагой.

— О-о! — Она опустила глаза, потом посмотрела на соскользнувшие платья тех двух женщин.— Вот так?

— Нет, вас я не стану изображать в кубистическом духе.

На впалых щеках Викторины загорелся слабый румянец. Она медленно проговорила:

— А за это больше платят?

— Да, почти вдвое, а то и больше. Но я вас не уговариваю, если не хотите. Вы можете подумать и сказать мне в следующий раз.

Она снова подняла глаза и сказала:

— Благодарю вас, сэр.

— Не стоит! Только, пожалуйста, не величайте меня «сэром».

Викторина улыбнулась. В первый раз художник увидел это функциональное явление на лице Викторины, и оно произвело на него неожиданное впечатление.

— Ей-богу,—сказал он торопливо,—когда вы улыбаетесь, мисс Коллинз, я вижу вас импрессионистически. Если вы отдохнули, сядьте снова в кресло.

Викторина пошла на место.

Художник достал чистый лист бумаги.

— Вы можете думать о чем-нибудь таком, чтобы улыбаться?

Викторина отрицательно покачала головой. И это была правда.

— Ни о чем смешном не можете думать? Например, вы любите своего мужа?

— О да!

— Ну, попробуйте думать о нем.

Викторина попробовала, но могла себе представить только Тони, продающего шары.

— Нет, нет, так не годится,— сказал художник.— Не думайте о нем. Вы видели картину «Отдых фавна»?

— Нет, сэр.

— А вот у меня появилась мысль: «Отдых дриады». А насчет позирования вам, право, нечего смущаться. Это ведь совершенно безлично. Думайте об искусстве и пятнадцати шиллингах в день. Клянусь Нижинским![1] Я уже вижу всю картину.

Он говорил, и его глаза скользили по ней взад и вперед, а карандаш скользил по бумаге. Какое-то брожение поднялось в душе Викторины. Пятнадцать шиллингов в день! Синие бабочки!

В комнате стояла глубокая тишина. Взгляд и рука художника скользили без остановки. Слабая улыбка осветила лицо Викторины: она подсчитывала, сколько можно заработать.

Наконец его взгляд перестал скользить, и он не отрывал глаз от бумаги.

— На сегодня все, мисс Коллинз. Мне надо еще кое-что обдумать. Дайте мне ваш адрес.

Викторина быстро соображала.

— Пожалуйста, сэр, пишите мне до востребования. Я не хотела бы, чтобы муж узнал, что я... я...

— Причастны к искусству? Ну, ладно, какое почтовое отделение?

Викторина назвала отделение и надела шляпу.

— Полтора часа — пять шиллингов, спасибо. И завтра, в половине третьего, мисс Коллинз,— без «сэра», пожалуйста!

— Хорошо, с... спасибо!

Викторина ждала автобуса на холодном январском ветру, и ей казалось, что позировать нагой — немыслимо. Сидеть перед чужим господином без всего! Если бы Тони знал! Снова румянец медленно залил ее впалые щеки. Она вошла в автобус. Но ведь пятнадцать шиллингов! Шесть раз в неделю — да это выходит четыре фунта десять шиллингов! За четыре месяца она может

---

[1] Русский балетмейстер, много лет работавший в Англии, где имел громадное влияние на все области искусства.

заработать на проезд *туда*. Если судить по картинам в студии, масса женщин это делают. Тони ничего не должен знать— даже того, что она позирует для лица. Он такой нервный и так ее любит! Он выдумает бог знает чего; она помнит, как он говорил, что все эти художники — настоящие скоты. Но этот джентльмен был очень мил, хоть и казалось, точно он над всем смеется. Она пожалела, что не взглянула на рисунок. Может быть, она увидит себя на выставке. Но без всего — ой! И вдруг ей пришло в голову: «Если бы мне побольше есть, я в таком виде хорошо бы выглядела». И чтобы уйти от соблазна этой мысли, она уставилась на лицо пассажира, сидевшего напротив. Лицо было спокойное, гладкое, розовое, с двумя подбородками, со светлыми глазами, пристально глядевшими на нее. Никогда не угадать, о чем люди думают. И улыбка, которой так добивался Обри Грин, озарила лицо его натурщицы.

III

МАЙКЛ ГУЛЯЕТ И РАЗГОВАРИВАЕТ

Лицо, которое Майкл начал рисовать на промокашке, сначала походило на Викторину, но скоро превратилось в лицо Флер. Да, Флер держится очень прямо, но остается ли она и внутренне такой же прямой? За эти сомнения он всегда обзывал себя подлецом. Он не видел нового в ее поведении и честно старался не проникать в то, что было скрыто. Но от его настороженного внимания не мог ускользнуть какой-то скептицизм, появившийся в ней,— как будто она всегда хотела подчеркнуть, что всему на свете одна цена и, в сущности, ничто в жизни не ценно.

Уилфрид был в Лондоне, но нигде не показывался, и о нем не вспоминали. Казалось бы: с глаз долой — из сердца вон! Но у Майкла, вопреки пословице, Уилфрид не выходил из головы. Если Уилфрид не встречается с Флер, как он может оставаться в Лондоне, так соблазнительно-близко от нее? Если Флер не хочет видеть его, отчего она его не услала? Все труднее становилось скрывать от всех, что он больше не дружит с Дезертом.

Он часто испытывал желание пойти к Уилфриду, поговорить с ним откровенно — и всегда отгонял эту мысль. Либо ничего, кроме того, что ему известно, нет, либо что-то есть, и Уилфрид будет это отрицать. Майкл думал об этом без злобы— нельзя же выдавать женщину! Но не хотелось слышать ложь от боевого товарища. Ни слова не было сказано между ним и Флер; он чувствовал, что не узнает ничего нового и разговор только угрожает и без того неустойчивому равновесию. Рождество они провели в родовом имении Монтов и много охотились. Флер ездила с ним на охоту на второй день и стояла рядом с ним, на его месте, держа Тинг-а-Линга на сворке. Китайский пес был необычайно возбужден, прыгал в воздух каждый раз, как падала птица, и совершенно не боялся выстрелов. Майкл, ожидая своей очереди промахнуться — он был плохой стрелок,— следил за возбужденным лицом Флер, опушенным серым мехом, за ее фигуркой, напряженной от усилий сдержать Тинг-а-Линга. Для нее охота была новым переживанием, а новизна шла ей больше всего на свете. Майкл радовался, даже когда она ахала: «О, Майкл!» — при каждом его промахе. Она пользовалась необычайным успехом у гостей, а это значило, что он ее почти не видел,— разве совсем сонной поздно вечером. Но там, в деревне, он по крайней мере не страдал от мучительного чувства неизвестности.

Дорисовав стриженую головку на промокашке, он встал. Около св. Павла — кажется, так говорила эта маленькая женщина. Пройтись взглянуть на Бикета. Может быть, для него можно будет что-нибудь придумать. И, потуже затянув пояс своего синего пальто, Майкл вышел — тонкий, быстрым легким шагом,— только сердце у него чуть ныло.

Шагая на восток в этот ясный веселый день, он вдруг ощутил как чудо, что он жив, здоров и работает. Столько людей умерло, столько больных, безработных! Он вошел в Ковент-Гарден. Удивительное место! Людской породе, которая десятками лет могла выдерживать Ковент-Гарден, вряд ли грозит опасность вымереть от всяких напастей. Успокоительное место! Пройдешься по нему — и перестаешь слишком всерьез относиться к жизни. Овощи и фрукты со всего света были собраны на этом квадратном островке, а с востока его замыкало

здание оперы, с запада — здания издательств, с севера и юга — потоки людных улиц. Майкл шел среди разгружающихся тележек, бумаги, соломы и людей без дела и втягивал запахи Ковент-Гардена. Пахнет как-то по-своему — землей и чуть-чуть прелью. Он никогда, даже во время войны, не видел места, где бы царила такая полная непринужденность. Удивительно характерно для англичан! По этим людям никак нельзя сказать, что они хоть чем-нибудь связаны с деревней. Все они: возчики, зеваки, разносчики, и укладчики, и продавцы в крытых палатках — точно совершенно незнакомы с солнцем, с ветром, водой, воздухом,— типичные горожане! И какие у них лица — опухшие, унылые, искаженные, кривые; уродство в самых разнообразных видах. Где настоящий английский тип среди этих бесконечных вариантов безобразия? Его просто не существует. Майкл проходил мимо фруктов. Яркие груды, неподвижные, сверкающие — чужестранцы из солнечных краев, одноцветные, одинаковые шары! У Майкла потекли слюнки. «Солнце все-таки замечательная штука!» — подумал он. Взять Италию, арабов, Австралию — ведь многие австралийцы родом из Англии, а посмотрите, какой тип выработался. И все же нет людей симпатичнее жителей Лондона. Чем правильнее черты лица у человека, тем он эгоистичнее. У этих грейпфрутов удивительно самодовольный вид по сравнению с картофелем!

Он выбрался на улицу, все еще думая об англичанах. Да, сейчас они стали одной из самых некрасивых, самых изуродованных наций на свете; зато может ли хоть один народ сравниться с ними хорошим характером и крепким «нутром»? А как им нужны эти черты — в дымных городах, при таком климате; удивительный пример приспособления к окружающей среде этот современный английский тип. «Я мог бы узнать англичанина где угодно,— подумал Майкл,— а общих физических признаков нет». Удивительный народ! Ведь в массе он очень некрасив — и все-таки создает такие перлы красоты, такие чудесные экземпляры, как эта маленькая миссис Бикет. А потом, как они лишены воображения в массе — и при этом какое потрясающее количество поэтов! Кстати, что скажет старый Дэнби, когда Уилфрид отдаст свою книгу другому издателю, или, вер-

нее, что скажет он, лучший друг Уилфрида, старику Дэнби? Ага! Вот что надо сказать: «Да, сэр, лучше бы вы простили того беднягу, который стащил «Медяки». Дезерт не забыл вашего отказа». Так и надо старому Дэнби за его вечную уверенность в своей правоте. «Медяки» имели необычайный успех. Следующая книга, вероятно, будет значительно лучше. Ведь эта книга была определенным доказательством того, что всегда утверждал Майкл: проходят времена «чириканья», людям снова нужна жизнь. Сибли, Уолтер Нэйзинг, Линда — все те, кому нечего сказать, разве что твердить, что они, мол, выше тех, кому есть о чем говорить,— все эти люди доживают последние дни. И ведь когда им придет конец, они, черт возьми, этого и не почувствуют! Они будут все так же задирать нос и смотреть на всех сверху вниз!

«Мне-то они давно осточертели! — подумал Майкл.— Если бы только Флер поняла, что смотреть сверху вниз — явный признак того, что ты ниже других». И вдруг он сообразил, что Флер, очевидно, это понимает. Ведь ни с кем из этой компании она так не дружила, как с Уилфридом. Все остальные существуют подле нее просто потому, что она — Флер, и ее всегда окружают самые последние новинки. А когда они перестанут быть самыми последними новинками, она их бросит. Но Уилфрида она не бросит. Нет, Майкл был уверен, что она не бросила и не бросит Уилфрида.

Он оглянулся. Лэдгейт-Хилл. «Продает шары около св. Павла». Ага! Вот он стоит, бедняга!

Бикет складывал шарики, собираясь пойти выпить чашку какао. Помня, что он должен встретить Бикета случайно, Майкл остановился, репетируя удивленный тон. Жаль, что бедняга не может сам превратиться в такой цветной шар и поплыть над св. Павлом прямо в рай к святому Петру! Он выглядел таким жалким, таким унылым: стоит и выпускает воздух из этих несчастных шаров. Вдруг воспоминание резко вспыхнуло в его мозгу. Цветной шар — там, в сквере, первого ноября... и потом — чудесная ночь! Незабываемая! Флер! Может быть, шарики приносят счастье? Он подошел и с напускным изумлением сказал:

— Вы, Бикет? Вот вы теперь чем занимаетесь?

Большие глаза Бикета выглянули из-за шестипенсового розового шара.

— Мистер Монт! А я частенько думал, что хорошо бы вас повидать, сэр!

— И я тоже, Бикет. Если вам нечего делать, пойдемте со мной завтракать.

Бикет уже сложил последний шар и закрывал лоток.

— Нет, вы серьезно, сэр?

— Конечно! Я как раз собирался зайти в рыбную.

Бикет снял лоток.

— Я только оставлю его у сторожа, сэр.— И, отнеся лоток, он пошел рядом с Майклом.

— Что-нибудь зарабатываете этим?

— Только на жизнь, сэр.

— Зайдем сюда. Будем есть устрицы.

Кончиком бледного язычка Бикет облизнул уголок губ.

Майкл сел за столик, покрытый белой клеенкой и украшенный судком с приправами.

— Две дюжины устриц и все, что полагается. Потом две порции камбалы и бутылку шабли. И поскорее, пожалуйста!

Когда человек в белом переднике отошел, Бикет только и мог проговорить:

— Господи, господи!

— Да, странная жизнь, Бикет!

— И вправду странная! Вы на этот завтрак потратите фунт, не меньше. А я если за неделю заработаю двадцать пять шиллингов — так и то хорошо.

— Попал в больное место, Бикет! Я каждый день ем свою собственную совесть!

Бикет покачал головой.

— Нет, сэр, если у вас есть деньги, тратьте их. Я бы тоже так делал. И будьте счастливы, если можете, не всем это дано.

Человек в белом переднике начал священнодействовать с устрицами — он приносил их по три штуки, только что открытыми.

Майкл обрезал устрицы, Бикет глотал их целиком. Вдруг, над двенадцатью пустыми раковинами, он проговорил:

— Вот в чем социалисты ошибаются, сэр. Меня только и поддерживает, когда я вижу, что другие тратят

деньги. Все мы можем к этому прийти, ежели повезет. А они говорят — все уравнять так, чтобы по фунту на день, а может, и фунта не достанется. Нет, сэр, этого мало. Я бы лучше хотел иметь поменьше, да надеяться на большее. Вычеркните из жизни игру — останется одна тоска! За ваше здоровье!

— Соблазняешь одного из малых сих стать капиталистом, Бикет, а?

Большеглазое худое лицо Бикета порозовело над стаканом зеленоватого шабли.

— Господи, жаль, что моей жены здесь нет, сэр! Я тогда рассказывал вам о ней и о воспалении легких. Сейчас она поправилась, только страшно исхудала. Вот она — мой выигрыш в жизни! А мне не нужна жизнь, где ничего нельзя выиграть. Если бы все было по заслугам да по праву— никогда бы мне ее не получить. Понимаете?

«И мне тоже»,— подумал Майкл, вспоминая лицо на промокашке.

— Все мы любим помечтать; я мечтаю о синих бабочках — о Центральной Австралии. Социалисты мне не помогут туда попасть. У них мечты о рае кончаются Европой.

— Ну их! — сказал Майкл.— Возьмите масла, Бикет.

— Спасибо, сэр.

Наступило молчание. Рыба исчезала с тарелок.

— Почему вам пришло в голову продавать именно шары, Бикет?

— Не надо рекламы, они сами за себя говорят.

— Надоела реклама, когда работали у нас, а?

— Да, сэр, я всегда читал обложки. Прямо удивительно, скажу по правде,— до чего много великих произведений!

Майкл взъерошил волосы.

— Обложки! Вечно та же девушка, которую целует вечно тот же юноша с тем же решительным подбородком. Но что поделаешь, Бикет! Публике это нравится. Я как раз сегодня утром попробовал кое-что изменить — вот увижу, что из этого выйдет.— «И надеюсь, что ты не увидишь! — добавил он мысленно.— Только представить себе, что я увидел бы Флер на обложке романа!»

— Я в последнее время, когда служил, заметил, что

стали рисовать не то скалы, не то виды и что-то вроде двух кукол на песке или на траве — сидят, будто не знают, что им делать друг с другом.

— Да,— пробормотал Майкл,— мы и это пробовали. Считалось, что это не так вульгарно. Но скоро мы исчерпали терпение публики. Ну, чего бы вы съели еще? Хотите сыру?

— Спасибо, сэр, я и так слишком много съел, но не откажусь.

— Два стилтона,— заказал Майкл.

— А как поживает мистер Дезерт, сэр?

Майкл покраснел.

— О, спасибо, ничего.

Бикет тоже покраснел.

— Я прошу вас — прошу как-нибудь ему сказать, что я совершенно случайно напал именно на его книжку. Я всегда жалел об этом.

— По-моему, всегда выходит случайно,— медленно проговорил Майкл,—когда мы берем чью-нибудь собственность. Мы никогда не делаем этого намеренно.

Бикет взглянул на него.

— Нет, сэр, я не согласен. Половина всех людей — воры. Только я не из таких.

Голос совести пытался шепнуть Майклу: «И Уилфрид тоже». Он протянул Бикету портсигар.

— Спасибо, сэр, большое спасибо.

Глаза Бикета стали совсем влажными, и Майкл подумал: «Ах, черт! Вот сентиментальности! Надо прощаться и бежать!»

Он подозвал лакея.

— Дайте ваш адресок, Бикет. Если вам нужно что-нибудь из обмундирования, я смогу прислать кое-какие вещи.

Бикет написал адрес на обороте счета и нерешительно проговорил:

— Не найдется ли у миссис Монт чего-нибудь из платья, ненужного? Моя жена примерно с меня ростом.

— Наверно, найдется. Мы вам все пришлем.— Он увидел, как губы маленького человечка задрожали, и стал надевать пальто.— Если что-нибудь подвернется, я вас не забуду. Прощайте, Бикет, всего хорошего.

Повернув на восток — потому что Бикет шел на за-

пад,— Майкл твердил свое всегдашнее: «Жалость— чушь, жалость — чушь!» Он сел в автобус и снова проехал мимо св. Павла. Осторожно поглядев в окно, он увидел, как Бикет надувает шар. Розовый круг почти целиком скрывал его лицо и фигуру. Около Блэйк-стрит Майкл вдруг почувствовал непреодолимое отвращение к работе и проехал до Трафальгар-сквер. Бикет его взволновал. Нет, жизнь иногда просто невероятно забавная штука! Бикет, Уилфрид—и Рур! «Чувства—ерунда, жалость — чушь!» Он сошел с автобуса и прошел мимо памятника Нельсону к Пэл-Мэл. Зайти к «Шутникам», спросить Барта? Нет, не стоит — ведь там он все равно не увидит Флер. Вот чего ему по-настоящему хотелось— повидать Флер, сейчас, днем. Но где? Она могла быть где угодно — значит, нигде ее не найти.

Да, беспокойный она человек. Может быть, он сам в этом виноват? Будь на его месте Уилфрид, разве она была бы такой беспокойной? «Да,—упрямо подумал он,— была бы: Уилфрид сам такой». Все они беспокойные люди— все, кого он знал. Во всяком случае, вся молодежь— и в жизни и в книгах. Взять их романы. Есть ли хоть в одной книге из двадцати то спокойствие, то настроение, которое заставляет уходить в книгу, как в отдых? Слова летят, мелькают, торопятся, гонят, как мотоциклетки,— страшно резкие и умные. Как он устал от ума! Иногда он давал читать рукопись Флер, чтобы узнать ее мнение. Помнится, она однажды сказала: «Совсем как в жизни, Майкл: летит мимо, не останавливаясь, ничему и нигде не придавая значения. Конечно, автор не собирался писать сатиру, но если вы его будете печатать, советую на обложке написать: «Ужасная сатира на современную жизнь». Так они и сделали,—во всяком случае, написали: «Изумительная сатира на современную жизнь». Вот какая Флер! Видит всю эту гонку, только не понимает, как и автор изумительной сатиры, что она сама летит и мчится без цели... А может быть, понимает? Сознает ли она, что только касается жизни, как язычок пламени касается воздуха?

Он дошел до Пикадилли и внезапно вспомнил, что целую вечность не был у тетки Флер. Может быть, она там? Он свернул на Грин-стрит.

— Миссис Дарти принимает?

— Да, сэр.

Майкл потянул носом. У Флер духи... нет, никакого запаха, кроме запаха курений. Уинифрид жгла китайские палочки, когда вспоминала, какую изысканность придает их аромат.

— Как доложить?

— Мистер Монт. Моей жены здесь нет?

— Нет, сэр. Здесь только миссис Вэл Дарти.

Миссис Вэл Дарти! Да, вспомнил— очень милая женщина, но не заменит Флер! Впрочем, отступать было поздно, он пошел следом за горничной.

В гостиной Майкл увидел двух дам и своего тестя, который, насупившись, мрачно сидел в старинном кресле стиля ампир, уставившись на синие крылья австралийских бабочек, лежавших под стеклом на круглом красном столике. Уинифрид оживила старинную обстановку своей гостиной всякими «надстройками» в современном духе. Она встретила Майкла изысканно-сердечно. Как мило, что он пришел теперь, когда он так занят всякими молодыми поэтами!

— По-моему, «Медяки» — кстати, какое прелестное название! — очень увлекательная книжка. Правда, мистер Дезерт такая умница! Что он теперь пишет?

Майкл сказал: «Не знаю» — и присел на диван рядом с миссис Вэл.

Не зная о ссоре в семье Форсайтов, он не мог оценить, какое облегчение внес своим приходом. Сомс что-то проговорил насчет французов, встал и отошел к окну; Уинифрид последовала за ним; они заговорили, понизив голос.

— Как поживает Флер? — спросила соседка Майкла.

— Спасибо, отлично.

— Вы любите свой дом?

— О, страшно! Отчего вы не заглянете к нам?

— Не знаю, как Флер...

— А почему?

— Ну-у... так.

— Она ужасно любит гостей!

Миссис Вэл посмотрела на него с бо́льшим любопытством, чем он, казалось бы, заслуживал, как будто пытаясь что-то прочесть на его лице.

И он добавил:

— Ведь вы, кажется, в двойном родстве — и по крови и по браку,— не так ли?

— Да.

— Так в чем же дело?

— О, ничего! Я обязательно приду. Только... ведь у нее так много друзей!

«Она мне нравится»,— подумал Майкл.

— Собственно говоря,— сказал он,— я зашел сюда, думая, что увижу Флер. Я бы хотел, чтобы она видалась с вами. В этой свистопляске ей, наверно, приятно будет встретить такого спокойного человека.

— Спасибо.

— Вы никогда не жили в Лондоне?

— Нет, с тех пор как мне исполнилось шесть лет.

— Я хотел бы, чтобы Флер отдохнула. Жаль, что ей некуда дезерт... дезертировать,— он слегка запнулся на этом слове: случайное совпадение звуков — и все же!.. Чуть смутившись, он посмотрел на бабочек под стеклом.—Я только что говорил с маленьким разносчиком, чье SOS [1]— Центральная Австралия. А как, по-вашему, есть у нас души, которые надо спасать?

— Когда-то я так думала, но теперь я в этом не уверена... Меня недавно поразила одна вещь.

— А что именно?

— Видите ли, я заметила, что только очень непропорционально сложенный человек— или такой, у которого нос свернут набок, или глаза слишком вылезают на лоб, или даже слишком блестят,— только такие люди всегда верят в существование души; а кто вполне пропорционален и не обладает какими-нибудь физическими особенностями, совершенно не интересуется этим вопросом.

Уши Майкла зашевелились.

— Замечательно! — сказал он.— Это мысль! Флер изумительно пропорциональна и ничуть не интересуется вопросами души, а я — нет, и вечно интересуюсь. Наверно, у людей в Ковент-Гардене масса души. Так, по-вашему, «душа» — это результат каких-то неполадок в организме, вроде какого-то особого ощущения, что не все в порядке?

---

[1] SOS — «Спасите наши души!» — сигнал бедствия.

— Да, вроде этого; во всяком случае то, что называется «психической силой», по-моему, происходит отсюда.

— Скажите, а вам спокойно живется? По вашей теории, мы сейчас живем в ужасно «душевное» время. Надо бы мне проверить ее на моей семье. А ваша семья как?

— Форсайты? О, они все слишком уравновешенные.

— Пожалуй. У них как будто нет никаких физических недостатков. Французы тоже удивительно складный народ. Да, это мысль; но, конечно, большинство людей объяснит это по-другому. Скажут, что душа нарушает пропорцию — заставляет глаза чересчур блестеть или нос чересчур торчать. А там, где душа мелка, она и не пытается повлиять на тело. Я об этом подумаю. Спасибо за идею. Ну, до свидания, приходите к нам, непременно! Я, пожалуй, не стану беспокоить тех, у окна. Не откажите передать им, что я смылся.— И, пожав тоненькую руку в перчатке, ответив улыбкой на улыбку, Майкл выскользнул из комнаты, думая: «Черт с ней, с душой,— но где же ее тело?»

IV

ТЕЛО ФЛЕР

А тело Флер в этот момент действительно было в довольно затруднительном положении, угрожавшем нарушить тот компромисс, на который она шла: оно находилось почти в объятиях Уилфрида. Во всяком случае, он был так близко, что ей пришлось сказать:

— Нет, нет, Уилфрид, вы обещали хорошо себя вести.

Умение Флер скользить по тончайшему льду, очевидно, было настолько велико, что слова «хорошо себя вести» все еще что-то значили. Одиннадцать недель Уилфрид не мог добиться своего, и даже сейчас, после двухнедельной разлуки, руки Флер настойчиво упирались ему в грудь и слова «вы обещали» удерживали его. Он резко отпустил ее и сел поодаль. Он не сказал: «Так дальше продолжаться не может», потому что слишком уж нелепо было повторять эти слова. Она и сама знала, что даль-

ше так не может идти. И все-таки все шло по-прежнему. Вот в чем был весь ужас! Ведь он, как жалкий дурак, изо дня в день говорил ей и себе: «Сейчас — или никогда»,—а выходило ни то, ни другое. Его удерживала только подсознательная мысль, что, пока не случится то, чего он добивается, Флер сама не будет знать, чего ей надо. Его собственное чувство было так сильно, что он почти ненавидел ее за нерешительность. И он был неправ. Дело было совсем не в этом. То богатство ощущений, та напряженность, какую чувство Уилфрида вносило в жизнь Флер, были нужны ей, но она боялась опасностей и не хотела ничего терять. Это так просто. Его дикая страсть пугала ее. Ведь не по ее желанию, не по ее вине родилась эта страсть. И все же так приятно и так естественно, когда тебя любят. И, кроме того, у нее было смутное чувство, что «несовременно» отказываться от любви, особенно если одну любовь жизнь уже отняла.

Высвободившись из объятий Уилфрида, она привела себя в порядок и сказала:

— Поговорим о чем-нибудь серьезном: что вы писали за последнее время?

— Вот это.

Флер прочла, покраснела и закусила губу.

— Как горько это звучит!

— И какая это правда. Скажите, он вас когда-нибудь спрашивает, видаетесь ли вы со мной?

— Никогда.

— Почему?

— Не знаю.

— А что бы вы ответили, если бы он спросил?

Флер пожала плечами.

Дезерт проговорил очень спокойно:

— Да, вот вы всегда так. Так дальше невозможно, Флер.

Он стоял у окна. Она положила листки на стол и направилась к нему. Бедный Уилфрид! Теперь, когда он притих, ей стало жаль его.

Он внезапно обернулся.

— Стойте! Не подходите! Он стоит внизу, на улице.

Флер ахнула и отступила.

— Майкл? Но как... как он мог узнать?

Уилфрид зло на нее посмотрел.

— Неужели вы так мало его знаете? Неужели вы думаете, что он мог бы прийти сюда, если б знал, что вы здесь?

Флер съежилась.

— Так зачем же он здесь?

— Наверно, хочет повидаться со мной. У него очень нерешительный вид. Да вы не пугайтесь, его не впустят.

Флер села. Она чувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Лед, по которому она скользила, показался ей до жути тонким, вода под ним— до жути холодной.

— Он вас заметил? — спросила она.

— Нет.

У него мелькнула мысль: «Будь я негодяем, я мог бы добиться от нее чего угодно — стоило бы мне сделать шаг и протянуть руку. Жаль, что я не негодяй, во всяком случае, не настолько. Жизнь была бы много проще».

— Где он сейчас? — спросила Флер.

— Уходит.

Она облегченно вздохнула.

— Как все это странно, Уилфрид, правда?

— Уж не думаете ли вы, что у него спокойно на душе?

Флер закусила губу. Он издевается над ней — только потому, что она не любит, не может любить никого из них. Как несправедливо! Ведь она может любить по-настоящему, она любила раньше. А Уилфрид и Майкл— да пусть они оба убираются к черту!

— Лучше бы я никогда сюда не приходила,— сказала она внезапно,— и больше я никогда не приду!

Он подошел к двери и распахнул ее.

— Вы правы!

Флер остановилась в дверях— неподвижно, спрятав подбородок в мех воротника. Ее ясный взгляд был устремлен прямо в лицо Уилфриду, губы упрямо сжаты.

— Вы думаете, что я бессердечное животное,— медленно проговорила она.— Вы правы, я такая — по крайней мере сейчас. Прощайте.

Он не взял ее руки, не сказал ни слова, только низко поклонился. Его глаза стали совсем трагическими. Дрожа от обиды, Флер вышла. Спускаясь, она услышала, как хлопнула дверь. Внизу она остановилась в нерешительности: а вдруг Майкл вернулся? Почти напротив

была галерея, где она впервые встретила Майкла — и Джона! Забежать бы туда! Если Майкл все еще бродит где-нибудь по переулку, она с чистой совестью сможет ему сказать, что была в галерее. Она выглянула. Никого! Быстро она проскользнула в дверь напротив. Сейчас закроют — через минуту, ровно в четыре часа. Она заплатила шиллинг и вошла. Надо взглянуть на всякий случай. Она окинула взглядом выставку: один художник — Клод Брэйнз. Она заплатила еще шиллинг и на ходу прочла: «№ 7. Женщина испугалась». Все сразу стало понятно, и, облегченно вздохнув, она пробежала по комнатам, вышла и взяла такси. «Попасть бы домой раньше Майкла!» Она чувствовала какое-то облегчение, почти радость. Хватит скользить по тонкому льду. Пусть Уилфрид уезжает. Бедный Уилфрид! Да, но зачем он над ней издевался? Что он знает о ней? Никто не понимает ее по-настоящему. Она одна на свете. Она открыла дверь своим ключом. Майкла нет. В гостиной, сев у камина, она открыла последний роман Уолтера Нэйзинга. Она перечла страницу три раза. И с каждым разом смысл не становился яснее — наоборот: Нэйзинг был из тех писателей, которых надо читать залпом, чтобы первое впечатление вихря не сменилось впечатлением пустословия. Но между ней и строками книги были глаза Уилфрида. Жалость! Вот ее никто не жалеет — чего же ей всех жалеть? А кроме того, жалость — «размазня», как выражалась Эмебел. Тут нужны стальные нервы. Но глаза Уилфрида! Что ж, больше она их не увидит. Чудесные глаза! Особенно когда они улыбались или — так часто! — смотрели на нее с тоской, как вот сейчас, с этой фразы из книги: «Настойчиво, с восхитительным эгоизмом он напряженно, страстно желал ее близости, а она, такая розовая и уютная, в алой раковине своей сложной и капризной жизненной установки...» Бедный Уилфрид! Жалость, конечно, «размазня», но ведь есть еще гордость. Хочется ли ей, чтобы он уехал с мыслью, что она просто «поиграла с ним» из тщеславия, как делают американки в романах Уолтера Нэйзинга? Так ли это? Разве не более современно, не более драматично было бы хоть раз действительно «дойти до конца»? Ведь тогда им обоим было бы о чем вспомнить: ему там, на Востоке, о котором он вечно твердит, а ей —

здесь, на Западе. На миг эта мысль как будто нашла отклик в теле Флер, которое, по мнению Майкла, было слишком пропорционально, чтобы иметь душу. Но, как всякое минутное наваждение, этот отклик сразу исчез. Прежде всего — было бы это ей приятно? Вряд ли, подумала она. Хватит одного мужчины без любви. Кроме того, угрожала опасность подчиниться власти Уилфрида. Он джентльмен, но он слишком захвачен страстью: отведав напитка, разве он согласится отставить чашу? Но главное—в последнее время появились некоторые сомнения физического порядка, нуждавшиеся в проверке и заставлявшие ее относиться к себе как-то серьезнее. Она встала и провела руками по всему телу с отчетливо неприятным ощущением от мысли, что то же могли бы сделать руки Уилфрида. Нет! Сохранить его дружбу, его обожание — но только не этой ценой. Вдруг он представился ей бомбой, брошенной на ее медный пол, и она мысленно схватила его и вышвырнула в окно, на площадь. Бедный Уилфрид! Нет, жалость — «размазня». Но ведь и себя было жалко за то, что теряла его и теряла возможность стать идеалом современной женщины, о котором как-то вечером ей говорила Марджори Феррар, «гордость гедонистов», чьи золотисто-рыжие волосы вызывали столько восхищения. «А я, моя дорогая, стремлюсь к тому, чтобы стать безупречной женой одного мужчины, безупречной любовницей другого и безупречной матерью третьего — одновременно. Это вполне возможно — во Франции так бывает».

Но разве это действительно возможно, даже если всякая жалость — чепуха? Как быть безупречной по отношению к Майклу, когда малейшая оплошность может выдать ее безупречное отношение к Уилфриду; как быть безупречной с Уилфридом, если ее отношение к Майклу всегда будет для того ножом в сердце? И если... если ее сомнения станут реальностью, как быть безупречной матерью этой реальности, если она будет мучить двоих, или лгать им, как последняя... «Нет, все это совсем не так просто,— подумала Флер.— Вот если бы я была совсем француженкой...»

Дверь отворилась — она даже вздрогнула. В комнату вошел тот, благодаря которому она была «не со-

всем» француженкой. У него был очень хмурый вид — как будто он слишком много думал последнее время. Он поцеловал ее и угрюмо сел к камину.

— Ты останешься ночевать, папа?

— Если можно,— проворчал Сомс,— у меня дела.

— Неприятности, милый?

Сомс резко обернулся к ней:

— Неприятности? Почему ты решила, что у меня неприятности?

— Просто показалось, что у тебя вид такой.

Сомс буркнул:

— Этот Рур! Я тебе принес картину. Китайская!

— Неужели! Как чудесно!

— Ничего чудесного. Просто обезьяна ест апельсин.

— Но это замечательно! Где она? В холле?

Сомс кивнул.

Развернув картину, Флер внесла ее в комнату и, прислонив к зеленому дивану, отошла и стала рассматривать. Она сразу оценила большую белую обезьяну с беспокойными карими глазами, как будто внезапно потерявшую всякий интерес к апельсину, который она сжимала лапой, серый фон, разбросанную кругом кожуру — яркие пятна среди мрачных тонов.

— Но, папа, ведь это просто шедевр. Я уверена, что это какая-то очень знаменитая школа.

— Не знаю,— сказал Сомс.— Надо будет посмотреть китайцев.

— Но зачем ты мне ее даришь? Она, наверно, стоит уйму денег. Тебе бы нужно взять ее в свою коллекцию.

— Они даже цены ей не знали,— сказал Сомс, и слабая улыбка осветила его лицо,— я за нее заплатил три сотни. Тут она будет в большей сохранности.

— Конечно, она будет тут в сохранности. Только почему — в большей?

Сомс обернулся к картине.

— Не знаю, может случиться всякое из-за всего этого.

— Из-за чего, милый?

— «Старый Монт» сегодня не придет?

— Нет, он еще в Липпингхолле.

— А впрочем, и не стоит — он не поможет.

Флер сжала его руку.

— Расскажи, в чем дело?

У Сомса даже дрогнуло сердце. Только подумать — ей интересно, что́ его беспокоит! Но чувство приличия и нежелание выдать свое беспокойство удержали его от ответа.

— Ты все равно не поймешь,— сказал он.— Где ты ее повесишь?

— Вероятно, вон там. Но надо подождать Майкла.

— Я только что видел его у твоей тетки,— проворчал Сомс.— Это он так ходит на службу?

«Может быть, он просто возвращался в издательство,— подумала Флер.— Ведь Корк-стрит более или менее по пути. Может быть, он проходил мимо, вспомнил об Уилфриде, захотел его повидать насчет книг».

— Ах, вот и Тинг. Здравствуй, малыш!

Китайский песик появился, словно подосланный судьбой, и, увидев Сомса, вдруг сел против него, задрав нос и блестя глазами. «Выражение вашего лица мне нравится,— как будто говорил он,— мы принадлежим к прошлому и могли бы петь вместе гимны, старина!»

— Смешное существо,— сказал Сомс,— он всегда узнает меня!

Флер подняла собаку.

— Посмотри новую обезьянку, дружок.

— Только не давай ему лизать ее!

Флер крепко держала Тинг-а-Линга за зеленый ошейник, а он, перед необъяснимым куском шелка, пахнущим прошлым, подымал голову все выше и выше, как будто помогая ноздрям, и его маленький язычок высунулся, словно пробуя запах родины.

— Хорошая обезьянка, правда, дружочек?

«Нет,— совершенно явственно проворчал Тинг-а-Линг.— Пустите меня на пол».

На полу он отыскал местечко, где между двумя коврами виднелась полоска меди, и тихонько стал ее лизать.

— Мистер Обри Грин, мэм!

— Гм! — сказал Сомс.

Художник вошел, скользя и сияя. Его блестящие волосы словно струились, его зеленые глаза ускользали куда-то.

— Ага,— сказал он, показывая на пол,— вот за кем я пришел!

Флер удивленно следила за его рукой.

— Тинг! — прикрикнула она строго.— Не смей! Вечно он лижет пол, Обри!

— Но до чего он настоящий китайский! Китайцы умеют делать все, чего не умеем мы!

— Папа, это Обри Грин. Отец только что принес мне эту картину, Обри. Чудо — не правда ли?

Художник молча остановился перед картиной. Его глаза перестали скользить, волосы перестали струиться.

— Фью! — протянул он.

Сомс встал. Он ожидал насмешки, но в тоне художника он уловил почтительную нотку, почти изумление.

— Боже! Ну и глаза!—сказал Обри Грин.—Где вы ее отыскали, сэр?

— Она принадлежала моему двоюродному брату, любителю скачек. Это его единственная картина.

— Делает ему честь. У него был неплохой вкус.

Сомс удивился: мысль, что у Джорджа был вкус, показалась ему невероятной.

— Нет,— сказал он внезапно,— ему просто нравилось, что от этих глаз человеку становится не по себе.

— Это одно и то же. Я никогда не видел более потрясающей сатиры на человеческую жизнь.

— Не понимаю,— сухо сказал Сомс.

— Да ведь это превосходная аллегория, сэр. Съедать плоды жизни, разбрасывать кожуру и попасться на этом. В этих глазах воплощенная трагедия человеческой души. Вы только посмотрите на них! Ей кажется, что в этом апельсине что-то скрыто, и она тоскует и сердится, потому что не может ничего найти. Ведь эту картину следовало бы повесить в Британском музее и назвать «Цивилизация, как она есть».

— Нет,— сказала Флер,— ее повесят здесь и назовут «Белая обезьяна».

— Это то же самое.

— Цинизм ни к чему не приводит,— отрывисто сказал Сомс.— Вот если бы вы сказали: «Наш век, как он есть».

— Согласен, сэр; но почему такая узость? Ведь не думаете же вы всерьез, что наш век хуже всякого другого?

— Не думаю? — переспросил Сомс.— Я считаю, что

мир достиг высшей точки в восьмидесятых годах и больше никогда ее не достигнет.

Художник задумался.

— Это страшно интересно. Меня не было на свете, а вы, сэр, были примерно в моем возрасте. Вы тогда верили в бога и ездили в дилижансах.

Дилижансы! Это слово напомнило Сомсу один эпизод, который показался ему очень подходящим к случаю.

— Да,— сказал он,— и я могу привести вам пример, какого вам в ваше время не найти. Когда я совсем молодым человеком был в Швейцарии с родными, мои две сестры купили вишен. Когда они съели штук шесть, то вдруг увидели, что в каждой вишне сидит маленький червячок. Там был один англичанин-альпинист. Он увидел, как они были расстроены, и съел все остальные вишни— с косточками, с червями, целиком — просто чтобы успокоить их. Вот какие в те времена были люди!

— Ой, папа!

— Ого! Наверно, он был в них влюблен.

— Нет,— сказал Сомс,— не особенно. Его фамилия была Паули, и он носил бакенбарды.

— Кстати, о боге и дилижансах: я вчера видел экипаж,— вспомнил Обри Грин.

«Было бы более кстати, если бы ты видел бога»,— подумал Сомс, но не сказал ничего вслух и даже удивился этой мысли — он-то сам никогда не видел таких вещей.

— Может быть, вам неизвестно, сэр, что сейчас гораздо больше верующих, чем до войны. Люди открыли, что у них есть не только тело.

— Ах, Обри, вспомнила!—вдруг сказала Флер.—Не знаете ли вы каких-нибудь медиумов? Нельзя ли мне залучить кого-нибудь из них к себе? На таком полу, как у нас, да еще если Майкла выставить за дверь, можно наверняка сказать, что никакого обмана не будет. Бывают ли эти чернокнижники в свете? Говорят, они необычайно увлекательны.

— Спиритизм! — буркнул Сомс.— Угу-мм! — Он не мог бы выразить свою мысль яснее, говори он хоть полчаса!

Глаза Обри Грина скользнули по Тинг-а-Лингу.

— Попробую вам это устроить, если вы мне дадите вашего китайчонка на часок завтра днем. Я приведу

его назад на цепочке и накормлю самыми вкусными вещами.

— А зачем он вам?

— Майкл прислал мне сегодня замечательную маленькую натурщицу, но, понимаете, она не умеет улыбаться!

— Майкл?

— Да. Совершенно новый тип, и я кое-что задумал. Когда она улыбается, будто луч солнца скользит по итальянской долине; но когда ее просишь улыбнуться, она не может. Я и подумал — не рассмешит ли ее ваш китайчонок.

— А мне можно прийти взглянуть? — спросила Флер.

— Да, приведите его завтра сами; но если я ее смогу уговорить, она будет позировать для нагой натуры.

— О-о! А вы мне устроите спиритический сеанс, если я вам одолжу Тинга?

— Устрою.

— Угм-мм,— снова проворчал Сомс.

Сеансы, итальянское солнце, нагая натура! Нет, пора ему снова заняться Элдерсоном, посмотреть, чем можно помочь, а эти пусть играют на скрипке, пока Рим горит!

— До свидания, мистер Грин, мне некогда,— сказал он вслух.

— Чувствую, сэр,— сказал Обри Грин.

«Чувствую!» — мысленно передразнил его Сомс, уходя.

Обри Грин тоже ушел через несколько минут, встретив в холле какую-то даму, просившую доложить о себе.

А Флер, оставшись наедине со своим телом, снова провела по нему руками сверху вниз. «Нагая натура» напомнила ей об опасности слишком драматических переживаний.

V

ДУША ФЛЕР

— Миссис Вэл Дарти, мэм.

Имя, которое даже Кокер не смог исказить, подействовало на Флер так, словно чей-то палец внезапно притронулся к обнаженному нерву. Холли! Флер не ви-

дела ее с того дня, как вышла замуж не за Джона. Холли! Целый поток воспоминаний — Уонсдон, холмы, меловая яма, яблони, река, роща, Робин-Хилл! Нет! Не слишком приятно видеть Холли; и Флер сказала:

— Как мило, что вы зашли.

— Я сегодня встретилась с вашим мужем на Гринстрит, и он пригласил меня. Какая чудесная комната!

— Тинг! Пойди сюда, я должна тебя представить. Это —Тинг-а-Линг, правда—совершенство? Он немного расстроен из-за новой обезьянки. А как Вэл, как милый Уонсдон? Там было так изумительно спокойно.

— Да, славный, тихий уголок. Мне никогда не надоедает тишина.

— А как... как Джон? — спросила Флер с легким сухим смешком.

— Разводит персики в Северной Каролине. Британская Колумбия не подошла.

— Вот как! Он женат?

— Нет.

— Он, верно, женится на американке.

— Ведь ему еще нет двадцати двух лет.

— Господи!—сказала Флер.— Неужели мне только двадцать один год! Мне кажется, будто мне сорок восемь.

— Это оттого, что вы живете в гуще всех событий и встречаете такую массу людей.

— И, в сущности, никого не знаю.

— Разве?

— Конечно, нет. Правда, мы все зовем друг друга по именам, но в общем...

— Мне очень нравится ваш муж.

— О, Майкл — прелесть! А как живет Джун?

— Я ее вчера видела — у нее, конечно, опять новый художник, Клод Брэйнз. Он, кажется, так называемый вертижинист.

Флер закусила губу.

— Да, их теперь много. Но, вероятно, Джун считает его единственным.

— Да, она считает его гением.

— Удивительный она человек.

— Да,— сказала Холли.— Преданнейшее существо в мире, пока увлечена чем-нибудь. Возится, как наседка

с только что вылупившимися цыплятами. Вы никогда не видели Бориса Струмоловского?

— Нет.

— И не смотрите.

— Я видела его скульптуру — он лепил одного из дядей Майкла. Вполне нормальная вещь.

— Да. Джун решила, что он сделал эту вещь только ради денег, а он ей этого не мог простить. Она, конечно, была права. Но как только ее питомец начинает зарабатывать, она ищет другого. Она — прелесть!

— Да,— сказала Флер,— мне она очень нравилась.

И еще поток воспоминаний: и кондитерская, и река, и маленькая столовая в квартирке Джун, и комната на Грин-стрит, где она под пристальным взглядом синих глаз Джун переодевалась после венчания.

Флер схватила «Обезьяну» и подняла ее повыше.

— Ну разве это не сама жизнь? — проговорила она. Пришла бы ей такая мысль в голову, если бы не Обри Грин? Но в этот момент его слова казались удивительно правильными.

— Бедная обезьянка,— вздохнула Холли.— Мне всегда так их жаль! Но картина, по-моему, чудесная.

— Да, я ее повешу вот тут. Достать еще одну картину — и комната была бы закончена. Но все так дорожат своими китайскими вещами. Эту я получила случайно — умер один человек, Джордж Форсайт,— знаете, тот, что играл на скачках.

— О-о! — тихо протянула Холли. Она вдруг вспомнила насмешливые глаза этого старого родственника в церкви, когда венчали Флер, услышала его глухой шепот: «Выдержит ли она дистанцию?» А правда, выдерживает ли она дистанцию, эта хорошенькая лошадка? «Хотел бы, чтобы она отдохнула. Жаль, что ей некуда дезертировать!» Но нельзя задавать такие интимные вопросы, и Холли ограничилась общим замечанием:

— Как вы воспринимаете жизнь, Флер? Вы, современная золотая молодежь? Когда оторвешься от всего и проживешь двадцать лет в Южной Африке, чувствуешь себя как-то вне жизни.

— Жизнь! О, мы, конечно, знаем, что жизнь считается загадкой, но мы и не пытаемся ее разгадывать. Мы просто хотим пользоваться минутой, потому что не верим,

что что-нибудь долговечно. Но мне кажется, мы не вполне умеем пользоваться ею. Мы просто летим вперед и надеемся на что-то. Конечно, существует искусство, но не все мы — художники; а кроме того, экспрессионизм... вот Майкл, например, говорит, что в нем нет никакого содержания. Мы с ним носимся,— но Майкл, верно, прав. Я встречаюсь с невероятным количеством писателей и художников — считается, что они занятные люди.

Холли слушала в совершенном удивлении. Кто бы подумал, что эта девочка так все понимает? Может быть, ее наблюдения и неправильны, но все же она что-то и как-то понимает!

— Но ведь вам все-таки весело?

— Конечно, я люблю хорошие вещи, люблю занятных людей. Я люблю видеть все новое, все стоящее — или по крайней мере то, что кажется в данную минуту стоящим. Но дело в том, что все в конце концов теряет новизну. Видите ли, я ведь не принадлежу ни к «гедонистам», ни к «новым верующим».

— К новым верующим?

— Как, вы не знаете? Это что-то вроде лечения верой; не старое «бог есть добро, а добро есть бог», а скорее смесь силы воли, психоанализа и веры в то, что все будет в порядке завтра утром, если только скажешь, что все в порядке. Наверно, вам они попадались. Они страшно серьезно относятся к делу.

— Знаю,— сказала Холли,— у них блестят глаза.

— Вероятно. Я в них не верю — я ни в кого не верю, да и ни во что, собственно. Разве можно верить?

— Ну, а простой народ? А тяжелый труд?

Флер вздохнула.

— Да, вероятно. Вот Майкл, я прямо скажу, человек неиспорченный. Давайте пить чай. Чаю, Тинг? — И, включив свет, она позвонила.

Когда нежданная гостья ушла, Флер осталась неподвижно сидеть у огня. Сегодня, когда она была на грани близости с Уилфридом!.. Значит, Джон не женат! Конечно, ничего от этого не изменится. Жизнь никогда не складывается, как в книжках. И вообще все эти сентименты — ерунда! Хватит! Флер откинула прядь волос со лба и, достав гвоздь и молоток, стала вешать белую обезьяну. Между двумя чайными шкафчиками с цветной

перламутровой инкрустацией картина будет выглядеть замечательно. Раз Джон не для нее, то не все ли равно— Уилфрид или Майкл, оба или никого. Высосать апельсин, пока он у тебя в руках, и бросить кожуру. И вдруг она увидела, что Майкл здесь, в комнате. Он вошел очень тихо и стал у камина, за ее спиной. Она быстро оглянулась и сказала:

— Ко мне заходил Обри Грин насчет натурщицы, которую ты ему послал. И Холли— миссис Вэл Дарти, она сказала, что встретила тебя. Да, смотри, что нам принес папа. Правда, чудо?

Майкл молчал.

— Что-нибудь случилось, Майкл?

— Нет, ничего.— Он подошел к «Обезьяне».

Флер сбоку пристально разглядывала его лицо. Инстинктивно она чувствовала какую-то перемену. Неужели он знает, что она была у Уилфрида? Видел, как она оттуда вышла?

— Ну и обезьяна! — сказал он.— Да, кстати, нет ли у тебя какого-нибудь лишнего платья для жены одного бедного малого, что-нибудь попроще?

Она машинально ответила:

— Да, конечно,— а мозг ее напряженно работал.

— Тогда ты, может быть, отложишь? Я сам собираюсь послать ему кое-что — отправили бы все вместе.

Да. Он совсем не похож на себя, словно какая-то пружинка в нем сдала. Ей стало не по себе: Майкл — и невесел! Как будто в холодный день потух камин. И, может быть, впервые она почувствовала, какое значение имеет для нее его веселость. Она видела, как он взял Тинг-а-Линга на руки и сел. Тогда она подошла к нему сзади и наклонилась к нему так, что ее волосы коснулись его щеки. Вместо того чтобы потереться щекой о ее щеку, он сидел неподвижно, и сердце у нее упало.

— Что с тобой? — спросила она, ласкаясь.

— Ничего.

Она взяла его за уши.

— Нет, что-то есть. Ты, верно, как-нибудь узнал, что я заходила к Уилфриду.

Он ответил ледяным тоном:

— А почему бы и нет?

Флер выпустила его голову и выпрямилась.

— Я заходила только сказать ему, что больше не могу с ним встречаться.

Эта полуправда ей самой показалась полной правдой.

Он вдруг поднял на нее глаза, его лицо передернулось, и он взял ее руку.

— Вот что, Флер. Ты должна поступать так, как тебе хочется,— ты это знаешь. Иначе было бы несправедливо. Я просто съел лишнее за завтраком.

Флер отошла на середину комнаты.

— Ты — милый,— сказала она тихо и вышла.

У себя наверху она принялась разбирать платья, а в душе у нее было смятение.

VI

МАЙКЛУ ДОСТАЕТСЯ

После посещения Грин-стрит Майкл побрел обратно по Пикадилли и, повинуясь тому непреодолимому желанию, которое тянет людей к месту какой-нибудь катастрофы, свернул на Корк-стрит. С минуту он постоял на углу переулка, где жил Уилфрид.

— Нет,— решил он,— десять шансов против одного, что его нет дома, а если он дома, то двадцать шансов против одного, что если я и добьюсь от него чего-нибудь, то только неприятностей.

Он медленно шел в направлении Бонд-стрит, когда легкая женская фигурка, вынырнув из переулка и читая на ходу, налетела на него сзади.

— Что же вы не смотрите, куда идете? Ах, это вы! Ведь вы тот молодой человек, который женился на Флер Форсайт? Я ее кузина, Джун. Кажется, я ее только что видела,— она помахала каталогом, как птица крылом.— Вон там, против моей галереи. Она зашла в какой-то дом, а то я бы с ней заговорила, мне бы хотелось ее повидать.

«В дом»! Майкл стал искать портсигар. Крепко сжав его в руке, он поднял голову. Ясные синие глаза маленькой леди пытливо скользнули по его лицу.

— Вы счастливы с ней? — спросила она.

Холодный пот проступил у него на лбу. Ему казалось, что все с ума сошли — и он и она.

— Как вы сказали? — пробормотал он.

— Надеюсь, вы счастливы? Она должна была выйти замуж за моего маленького братца. Но, надеюсь, вы счастливы. Она — прелестное существо.

Сквозь тупую боль оглушающих ударов его поразило, что она, по-видимому, наносит их бессознательно. Он почувствовал, как скрипнули его зубы, и тупо спросил:

— Ваш маленький братец? А кто же он?

— Как? Джон! Вы не знали Джона? Он, конечно, был слишком молод, да и она тоже. Но влюблены они были по уши; и все расстроилось из-за семейной распри. Ну, все это в прошлом. Я была на вашей свадьбе. Надеюсь, вы счастливы. Вы видели выставку Клода Брэйнза в моей галерее? Он — гений! Я хочу зайти вот сюда съесть пирожок. Не зайдете ли со мной? Вам надо познакомиться с работами Брэйнза.

Она остановилась у дверей кондитерской. Майкл прижал руку к сердцу.

— Спасибо,— сказал он,— я только что съел пирожок, нет, даже целых два. Извините меня!

Маленькая леди поймала его за руку.

— Ну, до свидания, молодой человек! Рада была вас видеть. Вы не красавец, но ваше лицо мне нравится. Кланяйтесь от меня вашей малютке. Вы непременно должны посмотреть Брэйнза, он настоящий гений.

Окаменев у двери, Майкл смотрел, как Джун повернулась, как она вошла, порывисто двигаясь, словно взлетая, мешая сидевшим за столиками кондитерской. Наконец он двинулся с места и пошел с незакуренной папиросой во рту, ошеломленный, как боксер, которого первый удар чуть не сбил с ног, а второй заставил выпрямиться.

Флер у Уилфрида — там, в его комнате; быть может, в его объятиях! Он застонал. Упитанный молодой человек в новой шляпе отшатнулся от него. Нет, нет! Этого ему никогда не вынести! Придется убираться. Он так верил в честность Флер! Двойная жизнь! Вчера ночью она улыбалась ему. О боже! Он пролетел через улицу в Гринпарк. Почему он не стал посреди мостовой — пусть бы его переехали. Какой-то «братец» этой сумасшедшей — Джон — семейная распря? Значит, за него она вышла с горя — без любви — вместо другого? Он вспомнил теперь, как она ему сказала однажды вечером в Мейпл-

дерхеме: «Приходите, когда я буду знать, что мое желание неисполнимо». Так вот что было ее неисполнимым желанием! Заместитель! «Весело,— подумал он,—страшно весело!» Тогда не удивительно — не все ли ей равно: тот ли, другой ли? Бедная девочка! Она ни слова ему не сказала, ни разу не обмолвилась. Что это — благородство или предательство? «Нет,— подумал он,— если бы она даже и рассказала, ничего бы не изменилось — я все равно женился бы на ней». Нет, с ее стороны благородно было промолчать. Но как это никто ему ничего не сказал? Семейная распря? Эти Форсайты! Кроме «Старого Форсайта», он ни с кем из них не встречался, а тот всегда был нем как рыба. Что ж! Теперь он все узнал. И опять он застонал в пустынных сумерках парка. Показался Букингемский дворец — неосвещенный, громадный, унылый. Вспомнив наконец о своей папиросе, Майкл зажег спичку и глубоко затянулся, впервые почувствовав даже что-то вроде смутного облегчения.

— Не можете ли одолжить нам папиросу, мистер?

Смутная фигура с приятным грустным лицом стояла в тени статуи Австралии; эмблемы изобилия, окружавшие статую, показались даже противными.

— Ну конечно,— сказал Майкл.— Берите все!— Он высыпал папиросы в руку просящего.— И портсигар берите — «память о Вестминстере»,— вам за него дадут тридцать монет. Счастливо!

И он понесся дальше. Смутный возглас: «Послушайте, мистер!»—раздался ему вслед. Жалость — чушь. Чувства — ерунда! Что же ему — идти домой и ждать, пока Флер... освободится и тоже придет домой? Ну нет! Он повернул к Челси и крупным, размашистым шагом пошел дальше. Освещенные магазины, мрачный, огромный Итон-сквер, Честер-сквер, Слоун-сквер, Кингс-Род — дальше, дальше! Нет, хуже, чем окопы,— хуже всего эта жалящая, как скорпион, разбуженная ревность. Да, и он чувствовал бы ее еще сильнее, если бы не второй удар. Не так больно, когда знаешь, что Флер была влюблена в своего кузена, и Уилфрид тоже, быть может, для нее — ничто. Бедная девчурка! «Ну, а как же теперь?» — подумал он. Как себя вести в черные дни, в горькие минуты? Что делать? А что делал человек на войне? Внушал себе, что не он — центр всего, развивал в себе какое-то состоя-

ние покорности, фатализма. «Пусть я умру, но Англия жива» — и прочие душещипательные лозунги. А теперь, в жизни? Разве это не то же самое? «Погибает, но не сдается» — может быть, это и чушь, но все-таки — вставай, когда тебя свалили. Мир огромен, человек — ничто. Неужели страсть, ревность могут вывести человека из равновесия, как об этом говорят Нэйзинг, Сибли, Линда Фру? Неужели слово «джентльмен» пустой звук? Неужели? Сдержаться, владеть собой — или опуститься до визга и мордобоя?

«Не знаю,— подумал он,— просто не знаю, что я сделаю, когда увижу ее». Стальная синева надвигающегося вечера, голые платаны, широкая река, морозный воздух! Майкл повернул домой. Дрожа, он открыл наружную дверь, дрожа вошел в гостиную...

Когда Флер ушла к себе, оставив его с Тинг-а-Лингом, он не знал—верит он ей или нет. Если она так долго могла скрывать от него то, другое, значит, она могла скрыть все что угодно! Поняла ли она его слова: «Ты должна поступать так, как тебе хочется,— иначе было бы несправедливо»? Он сказал эту фразу почти машинально, но это правда. Если она никогда не любила его хоть немного, он не имеет никакого права на что-нибудь надеяться. Он все время был на положении нищего, которому она подавала милостыню. Ничто не может заставить человека подавать милостыню, если он не хочет. И ничто не может заставить человека продолжать брать милостыню — ничто, кроме страстной тоски по ней, тоски, тоски!

— Ты, маленький джин, ты, счастливый лягушонок! Одолжи мне свое спокойствие, ты, китайская молекула!

Тинг-а-Линг посмотрел на него пуговками глаз. «Когда ваша цивилизация догонит мою,— как будто говорил он,—а пока почешите мне грудку».

И, почесывая желтую шерсть, Майкл думал: «Возьми себя в руки! Люди на Южном полюсе при первой метели не ноют: «Хочу домой! Хочу домой!» — а держатся изо всех сил. Ну, нечего киснуть!» Он спустил Тинга на пол и прошел к себе в кабинет. У него лежали рукописи, о которых рецензенты от Дэнби и Уинтера уже дали отзыв. «Печатать невыгодно, но вещь настоящая, заслуживает внимания». Дело Майкла заключалось в том, что-

бы проявить внимание, дело Дэнби — отставить рукопись со словами: «Напишите ему (или ей) вежливое письмо, что мы, мол, очень заинтересованы; сожалеем, что не можем издать. Надеемся иметь возможность познакомиться со следующей работой автора и так далее. Вот и все».

Майкл зажег настольную лампу и вынул рукопись, которую уже начал читать.

«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа иль смерть».
«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа иль смерть».

Припев черных слуг из «Полли» [1] неотступно вертелся у него в голове. А, черт! Надо кончать работу. Майкл умудрился кое-как дочитать главу. Он вспомнил содержание рукописи. Там говорилось о человеке, который, будучи мальчиком, увидел, как в доме напротив горничная переодевалась в своей комнате, и это произвело на него столь сильное впечатление, что, будучи женатым, он вечно боролся с собой, чтобы не изменять жене с горничными. Его комплекс был раскрыт и должен был быть выявлен. Очевидно, вся остальная часть рукописи описывала, как этот комплекс выявлялся. Автор подробно и добросовестно излагал все те физические переживания, пропускать которые считалось отсталостью и «викторианством». Огромная работа — а времени на просмотр тратить не стоило! Старому Дэнби до смерти надоел Фрейд, и на этот раз правота старого Дэнби не раздражала Майкла. Он положил рукопись на стол. Семь часов! Рассказать Флер все, что он узнал о ее кузене? Зачем? Этого все равно не поправить! Если только она говорит правду об Уилфриде! Он подошел к окну — звезды вверху, полосы внизу — полосы дворов и садов.

«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа иль смерть».

— Когда приедет ваш отец? — послышался голос. «Старый Форсайт»! О боги!

— Кажется, завтра, сэр. Заходите. Вы как будто первый раз в моей конуре?

— Да,— сказал Сомс.— Славно. Карикатуры. Вы их собираете — пустое дело!

---

[1] Комическая опера Гэя, продолжение «Оперы нищих».

— Но ведь это не нынешнее — это воскрешенное искусство, сэр.

— Издеваться над ближним — это не по мне. Они только тогда и процветают, когда кругом творится чепуха и люди перестают прямо смотреть на вещи.

— Хорошо сказано, клянусь!—заметил Майкл.—Не присядете ли, сэр?

Сомс сел, привычно положив ногу на ногу. Тонкий, седой, сдержанный — закрытая книга в аккуратном переплете. Интересно, какой у него комплекс? Впрочем, какой бы он ни был, Сомс его, наверно, не станет выявлять. Даже трудно себе представить такую операцию.

— Я не увезу своего Гойю,— сказал он неожиданно,— считайте, что он принадлежит Флер. Вообще, если бы я видел, что вы оба больше думаете о будущем, я бы сделал еще кое-какие распоряжения. По-моему, через несколько лет налог на наследство так повысят, что впору будет ничего не завещать.

Майкл нахмурился.

— Я бы хотел, сэр, чтобы вы всегда помнили: то, что вы делаете для Флер, вы делаете для Флер. Я всегда смогу жить, как Эпикур; у меня хватит на хлеб, а по праздникам — на кусочек сыра.

Сомс пристально посмотрел на него.

— Знаю,— проговорил он,— я всегда это знал.

Майкл поклонился.

— Вероятно, вашего отца сильно затронуло падение цен на землю?

— Да, он говорит, что надо взяться за торговлю мылом или автомобилями, но я не удивлюсь, если он снова все перезаложит и будет тянуть дальше.

— Титул без поместья — неестественная вещь,— заметил Сомс.— Лучше ему подождать, пока я умру,— конечно, если я что-нибудь оставлю после себя. Но вот что я хотел вам сказать: разве вы с Флер не дружно живете, что у вас нет детей?

Майкл ответил не сразу.

— Не могу сказать,— медленно проговорил он,— чтобы мы когда-нибудь ссорились или вообще... я всегда страшно любил ее и люблю. Но ведь вы-то знаете, что я только подобрал обломки.

— Кто вам сказал?

— Я узнал это сегодня — от мисс Джун Форсайт.

— Эт-та женщина! — сказал Сомс.— Не может не вмешиваться в чужие дела. То было детское увлечение, окончилось за много месяцев до вашей свадьбы.

— Но глубокое увлечение, сэр,— мягко сказал Майкл.

— Глубокое! В таком возрасте — как можно знать? Глубокое! — Сомс помолчал.— Вы хороший человек, я всегда это признавал. Будьте терпеливы и смотрите в будущее.

— Да, сэр,— Майкл совсем ушел в свое кресло,— да, если смогу.

— Для меня она — все,— отрывисто буркнул Сомс.

— И для меня тоже, но от этого не легче.

Складка меж бровей Сомса углубилась.

— Может, и не легче. Но держите ее! Насколько хотите мягко, осторожно — только держите. Она молода, она мечется, но все это пустяки.

«Знает ли он и о том, другом?» — подумал Майкл.

— У меня есть свои неприятности,— продолжал Сомс,— но они ничто по сравнению с тем, что я буду чувствовать, если с ней что-нибудь случится.

Майкл почувствовал проблеск симпатии к этому замкнутому седому человеку.

— Я сделаю все, что смогу,— сказал он тихо,— но, конечно, я не царь Соломон.

— Я не совсем спокоен,— сказал Сомс,— не совсем спокоен. Во всяком случае, ребенок был бы своего рода страхов...— он запнулся, слово не совсем подходило!

Майкл словно застыл.

— Тут уж я ничего не могу сказать.

Сомс встал.

— Так,— произнес он задумчиво.— Конечно, нет. Пора одеваться.

«Одеться на обед, обедать, после — спать. Спать — видеть сны! Какие сны придут?»

По дороге в свою комнату Майкл встретил Кокера. Вид у него был совсем унылый.

— В чем дело, Кокер?

— Собачку стошнило в гостиной, сэр.

— Черт возьми, неужели!

— Да, сэр. Очевидно, кто-то бросил ее там одну. Она

очень обиделась, сэр. Я всегда говорил: это не простая собачка...

За обедом, как будто устыдившись того, что осчастливил их и советами и двумя картинами, стоившими несколько тысяч, Сомс говорил, как говаривал Джемс в дни своего расцвета. Он говорил о французах, о падении марки, о повышении «консолей», об упрямстве Думетриуса, не желавшего уступить Сомсу этюд Констэбля, совершенно ему не нужный и нужный Сомсу, который все-таки не хотел платить за него цену, назначенную Думетриусом из чистого упрямства. Он говорил о неприятностях, которые наживут себе Соединенные Штаты из-за своего сухого закона. Вот упрямый народ! Ухватятся за что-нибудь, и хоть разбей голову об стенку. Сам он почти не пил, но приятно чувствовать, что можно выпить. Американцам, очевидно, приятно чувствовать, что нельзя выпить, но это ведь тирания! Они просто зазнались. Он не удивится, если узнает, что все там запили. Что касается Лиги наций — сегодня утром какой-то человек превозносил ее до небес. Но этот номер не пройдет: тратить деньги и улаживать дела, которые и сами уладятся,— это Лига умеет, а вот делать что-нибудь серьезное, например, уничтожить большевизм или ядовитые газы,—это им не под силу; а ведь делают вид, что они — все на свете. Для обычно молчаливого человека это был рекорд разговорчивости, что пришлось весьма на руку молодой чете: им только и хотелось, чтобы он говорил и дал им возможность думать о своем. Единственной темой общего разговора было поведение Тинг-а-Линга. Флер считала, что во всем виноват медный пол. Сомс утверждал, что он съел что-то на улице,— собаки вечно все хватают. Майкл предположил, что это просто черта его китайского характера: протест против того, что никто не оценил, насколько он полон собственного достоинства. В Китае четыреста миллионов людей, там есть кому оценить, если человек полон собственного достоинства. А что бы сделал китаец, если бы вдруг оказался в пустыне Гоби? Наверно, его бы тоже стошнило.

«Все вперед, все вперед, отступления нет, победа иль смерть».

Когда Флер вышла, мужчины почувствовали, что еще раз остаться вдвоем — невыносимо, и Сомс сказал:

ского обихода были отделены от дамских папиросной бумагой. Синий костюм, велюровая шляпа, коричневые штиблеты, три пары носков с двумя маленькими дырочками, четыре рубашки, только слегка потертые на обшлагах, два полосатых галстука, шесть воротничков, не совсем новых, несколько носовых платков, две замечательно плотных фуфайки, две пары кальсон и коричневое пальто с поясом, и всего с двумя-тремя симпатичными пятнышками. Она прикинула синий костюм на себя — рукава и брюки придется только укоротить пальца на два. Она сложила вещи стопкой и благоговейно взялась за то, что лежало под папиросной бумагой. Коричневое вязаное платье с маленькими прозрачными желтыми пуговками — совершенно чистое, даже не смятое. Как можно отдавать такие вещи? Коричневая бархатная шапочка с пучком золотистых перьев. Виктория тут же надела ее. Розовый пояс, только чуть-чуть полинявший на косточках, чуть повыше и пониже талии, с розовыми шелковыми лентами и подвязками — прямо мечта! Она не могла удержаться, надела и пояс. Две пары коричневых чулок, коричневые туфли, две комбинации и вязаная кофточка. Белый шелковый джемпер с дырочкой на одном рукаве, юбка сиреневого полотна, немного полинявшая; пара бледно-розовых шелковых панталон; и под всем этим — темно-коричневое, длинное пальто, теплое и уютное, с большими агатовыми пуговицами, а в кармане — шесть маленьких носовых платков. Она глубоко вдохнула сладкий запах — герань!

Ее охватил целый вихрь мыслей. Одеты, обуты с ног до головы — синие бабочки — солнце! Не хватает только денег на проезд. И вдруг она увидела себя совсем раздетой, перед джентльменом со скользящими глазами. Ну и что же? Зато деньги!

Весь остаток утра она лихорадочно работала, укорачивая костюм Тони, штопая его носки, загибая потертые обшлага. Она съела бисквит, выпила еще чашку какао — от него полнеют — и взялась за дырочку в белом шелковом джемпере. Пробило час. Страшно волнуясь, она опять разделась, надела новую комбинацию, чулки, розовый пояс — и вдруг остановилась. Нет! Платье и шляпу она наденет свои собственные, как вчера. Остальное

пусть будет на ней, пока... пока... Она побежала к автобусу: ее бросало то в жар, то в холод. Может быть, ей дадут еще стаканчик этого замечательного питья. Хорошо, если бы у нее закружилась голова и все бы стало безразлично!

Она добралась до студии, когда пробило два часа, и постучала. Там было уютно и тепло, много теплее, чем вчера, и она внезапно поняла зачем. У камина стояла дама с маленькой собачкой.

— Мисс Коллинз — миссис Майкл Монт: она привела нам своего китайчонка, мисс Коллинз.

Дама — одних лет с Викториной и прелесть какая хорошенькая — протянула ей руку. Герань! Так, значит, это она прислала...

Викторина приняла протянутую руку, но не могла сказать ни слова. Если дама останется, то... то это будет просто немыслимо — перед ней, такой красивой, такой одетой — о нет, нет!

— Ну, Тинг, будь умницей и веди себя как можно забавней. До свидания, Обри, желаю удачи! До свидания, мисс Коллинз! Наверно, выйдет чудесно!

Ушла! Запах герани рассеялся. Собачка обнюхивала дверь. Скользящий джентльмен держал в руках две рюмки.

«Ага!» — подумала Викторина и выпила свою порцию залпом.

— Ну, мисс Коллинз, не надо стесняться, право! Там все для вас готово. Ничего нет страшного, уверяю вас. Мне нужно, чтобы вы легли вот тут ничком, опираясь на локти,— вы чуть подымете голову и повернетесь сюда. Волосы распушите как можно больше и смотрите вот на эту косточку. Вообразите, что перед вами какой-нибудь фавн или еще какая-нибудь занятная штука. И собачка вам поможет, когда примется грызть кость. Вы знаете, что за штука — фавн?

— Да,— чуть слышно сказала Викторина.

— Хотите еще глоточек?

— О да!

Он принес рюмку.

— Я вполне понимаю вас, но знаете — ей-богу, это нелепо. Ведь не станете вы стесняться доктора? Ну, ладно. Смотрите, я поставлю вот сюда на пол колоколь-

чик. Когда вы приготовитесь, позвоните, и я войду. Так вам будет легче.

— Большое спасибо,— прошептала Викторина.

— Не стоит, это вполне естественно. Ну что ж, начнем. Надо пользоваться, пока светло. Пятнадцать шиллингов в день, как условились.

Викторина посмотрела ему вслед — он проскользнул за ширму,— потом взглянула на колокольчик. Пятнадцать монет! И еще пятнадцать монет. И много, много раз по пятнадцати монет, прежде чем... Но не больше, чем должен выстаивать Тони, переминаясь с ноги на ногу, предлагая шарики. И как будто эта мысль пустила в ход какую-то пружинку — Викторина, словно заводная кукла, спустилась с подмостков в комнату для натурщиц. И здесь уютно и очень тепло. Зеленый шелковый халат брошен на стул. Она сняла платье. Красота розовых подвязок снова приятно поразила ее. А может быть, джентльмен захотел бы... нет, это еще хуже. Она услышала какие-то звуки. Тинг-а-Линг жаловался на одиночество. Если она станет медлить, у нее никогда не хватит смелости. Быстро раздевшись, она стала перед зеркалом. Если бы это тоненькое, белое, как слоновая кость, отражение могло пройти туда, на подмостки, а ей бы остаться тут. Нет, это ужасно, ужасно! Она не может, никак не может... Она опять потянулась к платью. Пятнадцать монет! Ведь пятнадцать монет! Перед ее тоскливо расширенными глазами встало видение: огромное здание и крохотный Тони с малюсенькими шариками в протянутой руке. Что-то холодное, стальное легло ей на сердце, как ложится ледяная кора на окно. Если это все, что люди могли для него сделать, она сделает больше! Она бросила рубашку и, смущенная, онемелая, взошла на подмостки — «нагая натура». Тинг-а-Линг заворчал над своей косточкой. Она потянулась за колокольчиком и легла ничком, как ей велели. Скрестив ноги, подперев подбородок одной рукой, она тронула колокольчик. Раздался звук, какого она еще никогда не слышала, и собачонка залаяла — пресмешная собачонка!

— Превосходно, мисс Коллинз! Так и оставайтесь! Пятнадцать монет! И еще пятнадцать!

— Только еще чуть-чуть вытяните левую ногу. Пре-

красно! Тон кожи изумительный! Ах, бог мой, почему это надо плестись шагом, пока не разгонишься. Рисовать — скучная вещь, мисс Коллинз. Писать стоит только кистью. Рисует же скульптор резцом, особенно если он Микеланджело. Сколько вам лет?

— Двадцать один,— произнесли губы, которые самой Викторине показались чужими и далекими.

— А мне тридцать два. Говорят, что наше поколение родилось таким старым, что дальше ему стареть некуда. У нас нет иллюзий Да я сам, насколько помню, никогда ни во что не верил. А вы?

Викторина утратила всякую способность что-либо соображать, но это было неважно, так как художник болтал без умолку.

— Мы даже не верим в наших предков. И все-таки мы начинаем им подражать. Вы не знаете такую книгу — «Рыдающая черепаха», которая наделала столько шуму? Настоящий Стерн, очень хорошо сделано, но все-таки чистейший Стерн, и автор здорово издевается и иронизирует. В этом вся суть, мисс Коллинз, мы над всем издеваемся, а это плохо! Ну, ничего! Этой картиной я переплюну Пьеро Козимо. Голову чуть повыше и, пожалуйста, примите прядь волос с глаза. Спасибо! Вот теперь отлично! Кстати, нет ли в вас итальянской крови? Как, например, была фамилия вашей матери?

— Браун.

— Ага! Никогда не знаешь наверно, откуда эти Брауны. Возможно, что они были Бруни или Бруно —во всяком случае, очень возможно, что она была из Иберии. Наверно, всех жителей Британии, оставленных в живых англосаксами, звали Браун. Но, в сущности, все это чепуха. Если вернуться к Эдуарду Исповеднику, мисс Коллинз, всего на каких-нибудь тридцать поколений назад, у каждого из нас окажется тысяча семьдесят четыре миллиона пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре предка, а население всего острова было меньше миллиона. Мы все породисты, как скаковые лошади, только не так красивы, правда? Уверяю вас, мисс Коллинз, за таких, как вы, надо быть благодарным судьбе. И за таких, как миссис Монт,— тоже. Правда, она хороша? Посмотрите-ка на собачку.

Тинг-а-Линг, вытянув передние лапки и сморщив нос, принюхивался и присматривался к Викторине, точно она была второй лакомой косточкой.

— Он смешной! — сказала она, и снова собственный голос показался ей чужим.

Согласилась бы миссис Монт лежать здесь, если б он ее попросил? Она-то выглядела бы чудесно! Но ведь ей не нужны пятнадцать шиллингов!

— Вам так удобно?

Викторина встрепенулась.

— О да, спасибо!

— Не холодно?

— Нет, нет, спасибо!

— Чудесно! Чуть повыше голову!

Понемногу острое чувство необычности исчезло. Тони никогда не узнает. А раз он не узнает — значит, ему все равно. Она может лежать так целыми днями — пятнадцать монет да еще пятнадцать монет! Ничуть не трудно. Она следила за движениями проворных, гибких пальцев, за синим дымком папиросы. Следила за собачонкой.

— Хотите отдохнуть? Вы оставили там свой халат, сейчас я его принесу.

Завернувшись в зеленый шелковый халат — теплый, стеганый! — она села на край подмостков, спустив ноги на пол.

— Хотите папироску? Я сейчас приготовлю кофе по-турецки. Вы лучше походите, разомнитесь.

Викторина послушно встала.

— Вы словно из волшебной сказки, мисс Коллинз. Придется сделать с вас этюд в этом халате в стиле Маттейса Мариса.

Кофе, какого она никогда не пробовала, наполнило ее чувством блаженства.

— Даже не похоже на кофе,— сказала она.

Обри Грин развел руками.

— О, как вы правы! Англичане — великий народ, их ничем не проймешь. А ведь если бы они были подвержены разрушению, они бы давно погибли от своего кофе. Хотите еще?

— Пожалуйста! — сказала Викторина. Чашечка была такая крохотная.

— Ну как, отдохнули?

Викторина снова улеглась и сбросила халат.

— Отлично. Оставим его здесь — вы лежите в высокой траве,— зеленое мне поможет. Как жаль, что сейчас зима: я бы снял садик с лужайкой.

Лежать в траве — и, наверно, цветы кругом. Она так любила цветы. Девочкой она часто лежала в траве и плела венки из ромашек там, в поле за бабушкиной сторожкой, в Норбитоне. Бабушка была сторожихой. Каждый год на две недели Викторина ездила к ней—как она любила деревню! Только на ней всегда было что-нибудь надето. А так, без всего, было бы еще приятнее. Есть ли цветы в Центральной Австралии? Наверно, есть, раз там есть бабочки! Лежать на солнце — вдвоем с Тони,— как в раю!..

— Ну, спасибо, на сегодня хватит. Полдня — десять шиллингов. Завтра утром в одиннадцать. Вы первоклассная натурщица, мисс Коллинз!

Викторина надевала розовые подвязки, и в душе у нее все пело! Сделано! Тони ничего не надо знать. Мысль о том, что он ничего и не узнает, доставляла ей удовольствие. И, сняв с себя костюм «нагой натуры», она вышла в студию.

Обри Грин заслонил свое произведение:

— Нет, пока нельзя, мисс Коллинз. Я не хочу вас разочаровывать. Бедро слишком высоко. Завтра исправим. Простите, руки грязные. До свидания! Значит, завтра в одиннадцать. И этот малыш нам не понадобится. Ну, ну, не смей! — прикрикнул он.

Ибо Тинг-а-Линг выказывал явное желание сопровождать большую «косточку». Викторина вышла улыбаясь.

VIII

СОМС БЕРЕТСЯ ЗА ДЕЛО

Сомс размышлял, сидя у огня в своей комнате, пока Большой Бэн не пробил двенадцать. В конце концов он пришел к решению переговорить со «Старым Монтом». Несмотря на легкомыслие, старик все же настоя-

щий джентльмен, а вопрос — деликатный. Сомс лег спать, но в половине третьего проснулся. Какая досада! «Не буду думать об этом»,— решил он и тут же начал «об этом» думать. Всю жизнь он имел дело с денежными вопросами и никогда не испытывал таких затруднений. Точно и неизменно придерживаться буквы закона, который сам далеко не всегда точен и неизменен, было непременным условием его карьеры. Говорят, что честность — лучшая политика. Но, может быть, это и не так? Абсолютно честный человек и недели не мог бы прожить, не попав в работный дом. Конечно, работный дом— это не тюрьма и не суд. А честность, по ходячим понятиям, на то и существует, чтобы удержать человека за пределами этих учреждений. До сих пор у Сомса затруднений не бывало. В чем, кроме распивания чая и получения жалованья, в сущности, состоят обязанности директора? Вот что интересно. И в какой мере он ответствен в случае невыполнения этих обязанностей? Директор обязан быть совершенно честным. Но если так, он не может оставаться директором. Это ясно. Ведь первым делом ему придется заявить своим акционерам, что он совершенно не заслуживает своего жалованья. Что он делал на заседаниях правления? Да просто сидел, расписывался, немного говорил и голосовал за то, что по ходу дела должно было быть принято. Проявлял ли он когда-нибудь инициативу? Может быть, один-единственный раз. Вел ли он расчеты? Нет, он их только прочитывал. Рассматривал ли он сметы? Нет, за него это делали служащие. Конечно, есть еще политика Общества. Успокоительные слова, но — если говорить откровенно — все дело директора и заключается в том, чтобы не мешать существующей политике. Взять, например, его самого. Если бы он выполнял свой долг, он через месяц по вступлении в правление должен был бы приостановить страхование иностранных контрактов, которым он с самого начала инстинктивно не доверял, или, в случае неудачи, должен был отказаться от своего места. А он этого не сделал. Казалось, что все наладится, что момент неподходящий и так далее. Если бы он хотел выполнять свой долг как абсолютно честный директор, он вообще не должен был бы стать директором ОГС, потому что, прежде чем занять место в правле-

нии, нужно было разобраться в делах Общества гораздо основательнее, чем он это сделал. Но все эти имена, престиж, и — «дареному коню в зубы не смотрят» — вот и вышло! Если бы он теперь захотел быть абсолютно честным, он должен был бы объявить акционерам: «Мое попустительство обошлось вам в двести с чем-то тысяч фунтов. Я отдаю эту сумму в руки доверенных лиц на покрытие ваших убытков и постараюсь выжать из остальных директоров их долю». Но он не собирался так поступить, потому что... ну, просто потому, что это не принято, и другим директорам это вряд ли понравится. Вывод один: ждать, пока акционеры сами не раскроют эту историю, но надеяться, что они ее не раскроют. Словом, совершенно как правительство, путать карты и стараться выйти сухим из воды. Не без некоторого удовольствия Сомс подумал об Ирландии: предыдущее правительство сначала вовлекло страну в эту историю с Ирландией, а потом делало вид, что исправило то, чего и не должно было быть. А мир, а воздушный флот, а земельная политика, а Египет — во всех этих пяти важнейших вопросах правительство каждый раз подливало масла в огонь. Но признавалось ли оно в этом? Нет, в таких случаях не признаются; в таких случаях принято говорить: «В данный момент это вызвано политической необходимостью». А еще лучше — ничего не говорить и просто положиться на британский характер. Высвободив подбородок из-под одеяла, Сомс вдруг почувствовал какое-то облегчение. Нет, последнее правительство, наверно, не тряслось под одеялом от страха. Устремив глаза на потухающие угли в камине, Сомс размышлял о неравенстве и о несправедливости судьбы. Взять всех этих политиков и дельцов, которые всю жизнь ходят по тонкому льду и за это получают титулы. Они и в ус не дуют. И взять его самого — он впервые очутился на тонком льду и страдает от этого невероятно. В сущности, установился целый культ обманывания публики, целый культ того, как избежать последствий неразумного ведения дел. И он, человек деловой, человек закона, не знает этого культа — и рад этому. Из врожденной осторожности, из чувства гордости, в которой был даже какой-то оттенок высокомерия, Сомс всегда чурался той примитивной, стандартной «честности», которой

руководствовалась в своих делах британская публика. Во всем, что касалось денег, он был непоколебим, тверд, несгибаем. Деньги есть деньги, фунт есть фунт, и нельзя притворяться, что это не так, и все-таки сохранить чувство собственного достоинства.

Сомс встал, выпил воды, сделал несколько глубоких вдохов и поразмял ноги. Кто это ему вчера говорил, что нет такой вещи, из-за которой он лишился бы сна хоть на пять минут? Наверно, этот человек здоров, как бык, или врет, как барон Мюнхаузен. Он взял книгу, но мысли все время вертелись вокруг того, что́ он мог бы реализовать из своего состояния. Не считая картин, решил он, его состояние, наверно, не меньше двухсот пятидесяти тысяч фунтов; и, кроме Флер, у него никого нет, а она уже обеспечена. Для жены он тоже выделил средства — она превосходно может на них жить во Франции. Что же касается его самого — не все ли ему равно? Комната в клубе, поближе к Флер — ему будет так же хорошо, как и сейчас, может быть, даже лучше! И вдруг он увидел, что нашел выход из всех своих неприятностей и страхов. Представив себе худшее, что его ждало впереди — потерю состояния,— он изгнал демона. Книга «Рыдающая черепаха», из которой он не прочел ни слова, выпала у него из рук: он уснул...

Встреча со «Старым Монтом» состоялась в «Клубе шутников» сейчас же после завтрака. Телеграфная лента в холле, на которую он взглянул мимоходом, отмечала дальнейшее падение марки. Так он и думал: она совершенно обесценивается.

Прихлебывающий кофе баронет показался Сомсу прямо-таки оскорбительно веселым. «Держу пари, что он ничего не подозревает. Хорошо,— подумал Сомс,— сейчас я, как говаривал старый дядя Джолион, преподнесу ему сюрприз!»

И без предисловий он начал:

— Добрый день, Монт. Марка обесценена, вы понимаете, что ОГС потерпело около четверти миллиона убытка на этих злополучных иностранных контрактах Элдерсона. Я не уверен, что на нас не ляжет обвинение за такой ничем не оправданный риск. Но поговорить с вами я хотел, собственно, вот о чем.— Он подробно изло-

жил свой разговор с клерком Баттерфилдом, наблюдая за бровями собеседника, и закончил словами: — Что вы на это скажете?

Сэр Лоренс, качая ногой так, что все его тело тряслось, вскинул монокль:

— Галлюцинации, мой дорогой Форсайт. Я знаком с Элдерсоном всю жизнь. Мы вместе учились в Уинчестере.

Опять, опять! О боже!

— Это еще ничего не значит,— медленно проговорил Сомс,— один человек, с которым я учился в Молборо, сбежал с кассой офицерского собрания и с женой полковника и нажил состояние в Чили на помидорных консервах. Суть вот в чем: если рассказ этого человека — правда, то мы в руках злостного афериста. Это не годится, Монт. Хотите позондировать его и посмотреть, что он скажет? Ведь вам было бы не особенно приятно, если бы про вас говорили такие вещи? Хотите, пойдем вместе?

— Да,— вдруг согласился сэр Лоренс.— Вы правы. Пойдем вместе. Это неприятно, но пойдем вместе. Надо ему все сказать.

— Сейчас?

— Сейчас.

Они торжественно взяли цилиндры и вышли.

— Мы, я полагаю, возьмем такси, Форсайт?

— Да,— сказал Сомс.

Машина медленно объехала львов на Трафальгарсквере, потом быстро покатила по набережной. Старики сидели рядом, неотступно глядя вперед.

— Мы ездили с ним охотиться месяц тому назад,— сказал сэр Лоренс.— Вы знаете гимн: «Господь — наш щит в веках минувших». Очень хороший гимн, Форсайт.

Сомс не отвечал. Ну, теперь пошел трещать!

— У нас пели его в то воскресенье,— продолжал сэр Лоренс.— У Элдерсона был когда-то приятный голос, он пел даже соло. Теперь-то у него настоящий козлетон, но исполнение неплохое.— Он засмеялся своим пискливым смешком.

«Интересно, бывает этот человек когда-нибудь серьезным?» — подумал Сомс и проговорил вслух:

— Если мы узнаем, что история с Элдерсоном —

правда, и скроем ее — нас всех, чего доброго, посадят на скамью подсудимых.

Сэр Лоренс поправил монокль.

— Черт возьми,— сказал он.

— Вы сами с ним поговорите,— продолжал Сомс,— или предоставите мне?

— По-моему, лучше вам, Форсайт; не вызвать ли нам и этого молодого человека?

— Подождем, посмотрим,— сказал Сомс.

Они поднялись в контору ОГС и вошли в кабинет правления. В комнате было холодно, стол ничем не был покрыт; старый конторщик ползал, словно муха по стеклу, наполняя чернильницы из бутыли.

— Спросите директора-распорядителя, не будет ли он любезен принять сэра Лоренса Монта и мистера Форсайта?— обратился к нему Сомс.

Старый клерк заморгал, поставил бутыль и вышел.

— Теперь нам надо быть начеку,— тихо проговорил Сомс,— он, разумеется, будет все отрицать.

— Надеюсь, Форсайт, надеюсь. Элдерсон—джентльмен.

— Никто так не лжет, как джентльмены,— вполголоса проворчал Сомс.

Они молча стояли у пустого камина, пристально рассматривая свои цилиндры, стоявшие рядом на столе.

— Одну минуту! — внезапно сказал Сомс и, пройдя через всю комнату, открыл противоположную дверь. Там, как и говорил молодой клерк, было что-то вроде коридорчика между кабинетом правления и кабинетом директора, с дверью, выходившей в главный коридор. Сомс вернулся, закрыл дверь и, подойдя к сэру Лоренсу, снова погрузился в созерцание цилиндров.

— География правильна,— сказал он хмуро.

Появление директора-распорядителя было отмечено стуком монокля сэра Лоренса, звякнувшего о пуговицу. Весь вид Элдерсона — черная визитка, чисто выбритое лицо и серые, довольно сильно опухшие глаза, розовые щеки и аккуратно разложенные на лысом яйцевидном черепе волоски и губы, которые то вытягивались вперед, то стягивались в ниточку, то расходились в улыбке,— все это до смешного напоминало Сомсу старого дядю Николаса в среднем возрасте. Дядя Ник был умный

малый — «умнейший человек в Лондоне», как кто-то назвал его,— но никто не сомневался в его честности. Сомнение, неприязнь всколыхнули Сомса. Казалось чудовищным предъявлять такое обвинение человеку одного с тобой возраста, одного воспитания. Но глаза молодого Баттерфилда, глядевшие так честно, с такой собачьей преданностью! Выдумать такую штуку — да разве это мыслимо?

— Дверь закрыта? — отрывисто бросил Сомс.

— Да. Вам, может быть, дует? Хотите, я велю затопить?

— Нет, благодарю,— сказал Сомс.— Дело в том, мистер Элдерсон, что вчера один из молодых служащих этой конторы пришел ко мне с очень странным рассказом. Мы с Монтом решили, что вам нужно его передать.

Сомсу, привыкшему наблюдать за глазами людей, показалось, что на глаза директора набежала какая-то пленка, как бывает у попугаев. Но она сразу исчезла — а может быть, ему только показалось.

— Ну, разумеется,— сказал Элдерсон.

Твердо, с тем самообладанием, какое было ему свойственно в решительные минуты, Сомс повторил рассказ, который он выучил наизусть в часы ночной бессонницы.

— Вы, несомненно, захотите его вызвать сюда,— заключил он.— Его зовут Баттерфилд.

В продолжение всей речи сэр Лоренс не вмешивался и пристально разглядывал свои ногти. Затем он сказал:

— Нельзя было не сказать вам, Элдерсон.

— Конечно.

Директор подошел к звонку. Румянец на его щеках выступил гуще, зубы обнажились и как будто стали острее.

— Попросите сюда мистера Баттерфилда.

Последовала минута деланного невнимания друг к другу. Затем вошел молодой клерк, аккуратный, очень заурядный, глядевший, как подобает, в глаза начальству. На миг Сомса кольнула совесть. Клерк держал в руках всю свою жизнь — он был одним из великой армии тех, кто живет своей честностью и подавлением своего «я», а сотни других готовы занять его место, если он хоть раз оступится. Сомсу вспомнилась напыщен-

ная декламация из репертуара провинциального актера, над которой так любил подшучивать старый дядя Джолион: «Как бедный мученик в пылающей одежде...»

— Итак, мистер Баттерфилд, вы соблаговолили изощрять вашу фантазию на мой счет?

— Нет, сэр.

— Вы настаиваете на вашей фантастической истории с подслушиванием?

— Да, сэр.

— В таком случае мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Вы свободны.

Молодой человек поднял на Сомса голодные, собачьи глаза, он глотнул воздух, его губы беззвучно шевельнулись. Он молча повернулся и вышел.

— С этим покончено,— послышался голос директора,— теперь он ни за что не получит другого места.

Злоба, с которой директор произнес эти слова, подействовала на Сомса, как запах ворвани. Одновременно у него явилась мысль: это следует хорошенько обдумать. Такой резкий тон мог быть у Элдерсона, только если он ни в чем не виноват или же если виноват и решился на все. Что же правильно?

Директор продолжал:

— Благодарю вас, господа, что вы обратили мое внимание на это дело. Я и сам с некоторого времени следил за этим молодчиком. Он большой мошенник.

Сомс сказал угрюмо:

— Что же, по-вашему, он надеялся выиграть?

— Предвидел расчет и хотел заранее наделать неприятностей.

— Понимаю,— сказал Сомс. Но в памяти его встала контора, где сидел старый Грэдмен, потирая нос и качая седой головой, и слова Баттерфилда: «Нет, сэр, я ничего не имею против мистера Элдерсона, и он ничего не имеет против меня».

«Надо будет разузнать побольше об этом молодом человеке»,— подумал он.

Голос директора снова прорезал молчание:

— Я думал над вашими вчерашними словами, мистер Форсайт, относительно того, что правление могут обвинить в небрежном ведении дел. Это совершенно

неосновательно: наша политика была полностью изложена на двух общих собраниях и не вызвала никаких возражений. Пайщики столь же ответственны, как и правление.

— Гм! — промычал Сомс и взял свой цилиндр.— Вы идете, Монт?

Сэр Лоренс нервно вскинул монокль, словно его окликнули издалека.

— Вышло ужасно неприятно,— сказал он.— Вы должны извинить нас, Элдерсон. Нельзя было не уведомить вас. Мне кажется, что у этого молодого человека не все дома: у него удивительно странный вид. Но, конечно, мы не можем терпеть подобных историй. Прощайте, Элдерсон.

Одновременно надев цилиндры, оба вышли. Некоторое время они шли молча. Затем сэр Лоренс заговорил:

— Баттерфилд? У моего зятя работает старшим садовником некий Баттерфилд — вполне порядочный малый. Не следует ли нам приглядеться к этому молодому человеку, Форсайт?

— Да,— сказал Сомс,— предоставьте это мне.

— С удовольствием. Как-никак, если учился с человеком в одной школе, то невольно... вы понимаете...

Сомс внезапно вспылил.

— В наше время, по-моему, никому нельзя доверять. Происходит это оттого... впрочем, право, не знаю отчего. Но я с этим делом еще не покончил.

IX

СЛЕЖКА

Клуб «Всякая всячина» начал свое существование в шестидесятых годах прошлого столетия. Он был основан группой блестящей молодежи, политической и светской, и в нем они готовились к приему в более почтенные, старые клубы — «Шутников», «Путников», «Смена», «Бэртон», «Страусовые перья» и другие. Но благодаря изумительному повару клуб с самых первых дней своего существования укрепился и сам стал изысканным клубом. Впрочем, он все еще до некоторой степени оправдывал

свое название, объединяя самых разнородных людей,— и в этом была его привлекательность для Майкла. От Уолтера Нэйзинга и других полуписателей и покровителей сцены, которые ездили в Венецию и рассуждали о любви в гондолах и о том, как надо ухаживать за такой-то дамой, от таких людей до свирепых усачей — отставных генералов, заседавших когда-то в полевых судах и походя расстреливавших людей за минутные слабости человеческой природы,— от Уилфрида Дезерта (который перестал теперь туда ходить) до Роберта Элдерсона, игравшего там в карты, Майкл мог встретить здесь всех и следить по ним за температурой современности. Через два дня после той ночи, когда Флер пришла к нему в спальню, он сидел в курительной комнате и предавался своим наблюдениям, как вдруг ему доложили:

— Вас желает видеть какой-то мистер Форсайт, сэр. Не тот, что состоял у нас членом до самой своей смерти, а, кажется, его двоюродный брат.

Зная, что его друзья вряд ли сейчас придутся по душе Сомсу (как и он им!), Майкл вышел и застал Сомса на автоматических весах.

— Никакой перемены,— сказал тот.— Как Флер?

— Отлично, благодарю вас, сэр.

— Я остановился на Грин-стрит. Задержался из-за одного молодого человека. Нет ли у вас в конторе свободного места для клерка — хорошего счетовода? Мне надо устроить его на работу.

— Зайдемте, сэр,— пригласил Майкл, открывая дверь в небольшую гостиную.

Сомс прошел за ним и оглядел комнату.

— Как называется эта комната? — спросил он.

— Да мы ее называем «могила» — тут так славно и спокойно. Не хотите ли стакан хереса?

— Хереса! — повторил Сомс.— Вы, молодежь, кажется, воображаете, что изобрели херес? Когда я был мальчиком, никому не приходило в голову сесть обедать без стакана сухого хереса к супу и хорошего старого хереса к сладкому. Херес!

— Охотно верю вам, сэр. Вообще на свете нет ничего нового. Венеция, например, и раньше, вероятно, была в моде. И вязание и писательские гонорары. Все идет циклами. Вашему юноше дали по шапке?

Сомс поглядел на него:

— Именно. Его фамилия Баттерфилд, ему нужна работа.

— Это страшно трудно. Нас ежедневно засыпают предложениями. Не хочу хвастать, но у нас совершенно особая работа. Приходится иметь дело с книгами.

— Он производит впечатление способного, аккуратного и вежливого человека; не знаю, чего вам еще нужно от клерка. У него хороший почерк, и, насколько мне известно, он умеет говорить правду.

— Это, конечно, существенно,—заметил Майкл.—Но умеет ли он также лгать? Я хочу сказать, что ему, может быть, удастся найти работу по распространению книг. Продавать нумерованные издания и так далее. Не можете ли вы мне еще что-нибудь рассказать о нем? Может быть, он сделал что-нибудь хорошее — конечно, старый Дэнби этого не оценит, но ему можно и не говорить.

— М-м-гм. Видите ли, он... он исполнил свой долг, вопреки своим интересам, и действительно для него это — разорение. Кажется, он женат и имеет двоих детей.

— Ого! Весело, нечего сказать! А если я ему достану место, он по-прежнему будет исполнять свой долг?

— Я не шучу,— сказал Сомс,— этот молодой человек меня заботит.

— Да,— задумчиво проговорил Майкл,— в таких случаях надо первым делом переложить заботу с себя на другого. Могу я с ним повидаться?

— Я сказал ему, чтобы он зашел к вам сегодня после обеда. Я считал, что вы захотите повидать его частным образом и решить, годится ли он для вашего дела.

— Совершенно правильно, сэр. Но только вот что: не думаете ли вы, что мне следует знать, как именно он выполнил свой долг,— это, разумеется, останется между нами. Иначе я могу попасть впросак, не так ли?

Сомс посмотрел зятю в лицо. В энный раз он почувствовал к нему симпатию и доверие: такой честный взгляд был у Майкла.

— Видите ли,— сказал он, подходя к двери и убедившись в ее непроницаемости,— здесь могут усмотреть клевету, так что не только ради меня, но и ради себя са-

мого вы должны соблюдать абсолютную тайну,— и он вполголоса изложил суть дела.

— Как я и ожидал,— заключил он,— этот молодой человек пришел ко мне опять сегодня утром. Он, разумеется, совершенно подавлен. Я хочу, чтобы он был у меня под рукой. Не располагая дальнейшими сведениями, я не могу решиться — продолжать ли это дело, или бросить. К тому же...—Сомс колебался: проявлять добрые побуждения ему претило.— Я... это было жестоко по отношению к нему. Он зарабатывал триста пятьдесят фунтов в год.

— Да, скверно ему,— сказал Майкл.— А знаете, ведь Элдерсон — член этого клуба.

Сомс снова покосился на дверь; она по-прежнему выглядела непроницаемой. И он сказал:

— Еще недоставало! Вы с ним знакомы?

— Я играл с ним в бридж — он здорово меня обчистил; замечательно ловкий игрок.

— Так,— сказал Сомс (сам он никогда не играл в карты).— Я, по вполне понятным причинам, не могу взять этого юношу к себе в контору. Но вам я доверяю.

Майкл потянул себя за волосы.

— Чрезвычайно тронут, сэр. Покровительство бедным — и при этом незаметная слежка. Ладно, повидаюсь с ним сегодня вечером и дам вам знать, можно ли будет что-нибудь выковырнуть для него.

Сомс ответил кивком. «Но что за жаргон, о боже правый!» — подумал он.

Этот разговор сослужил Майклу хорошую службу: он отвлек его мысли от личных переживаний. В душе он уже сочувствовал молодому Баттерфилду и, закурив сигару, ушел в комнату для карточной игры. Он сел на решетку камина. Эта комната всегда ему импонировала. Совершенно квадратная, и в ней три квадратных ломберных столика, под углом к стенам, с тремя треугольниками игроков.

«Если бы только четвертый игрок сидел под столом,— подумал Майкл,— кубистический узор был бы вполне закончен. То, что выходящий сидит тут же, портит все». И вдруг с каким-то странным чувством он заметил, что Элдерсон— выходящий. Весь какой-то острый, невозмутимый, он внимательно срезал ножичком кончик

сигары. Черт! До чего непонятная книга — человеческое лицо! Целые страницы заполнены какими-то личными мыслями, интересами, планами, фантазиями, страстями, надеждами и страхами. И вдруг — бац! Налетает смерть и смахивает человека, как муху со стены, и никто не узнает, как работал этот маленький скрытый механизм, для чего он был создан, чему служил. Никто не скажет, хорош или плох был этот механизм. И трудно сказать. Всякие люди бывают. Вот, например, Элдерсон: что он такое — отъявленный жулик или невинный барашек в скрытом виде? «Почему-то мне кажется, что он бабник,— подумал Майкл,— а почему, собственно?» Он протянул руки назад, к огню, потирая их, как муха трет лапки, когда вылезет из патоки. Если человек не знает толком, что происходит в душе его собственной жены в его собственном доме, как он может прочесть что-нибудь по лицу чужого человека, да еще такого сложного типа — английского дельца? Если бы только жизнь была похожа на «Идиота» или «Братьев Карамазовых» и все бы во весь голос кричали о своем сокровенном «я»! Если бы в клубных карточных комнатах был хоть намек на эпилепсию! Нет — ничего. Ничего. Мир полон необычайных тайн, каждый хранит их про себя — и нет у них ни субтитров, ни крупных планов.

Вошел лакей, посмотрел на огонь, постоял минуту, невыразительный, как аист, ожидая, не прорвется ли сквозь гул голосов какой-нибудь отрывистый приказ, повернулся и вышел. Механизм! Всюду механизмы! Приспособления, чтобы уйти от жизни,— и такие совершенные, что даже не остается, от чего уходить.

«Все равно как если б человек сам себе послал заказное письмо,— подумал Майкл.— А может быть, так и надо. Хорошая ли вещь — жизнь? Хочу ли я снова видеть «жизнь» в ее неприкрашенном виде?»

Теперь Элдерсон сидел за столиком, и Майкл отлично видел его затылок, но это ему ничего не говорило.

«Нет, я плохой сыщик,— подумал он,— а ведь, наверно, что-то кроется в том, почему он не делает сзади пробора». И, соскочив с каминной решетки, он пошел домой.

Но за обедом он поймал себя на том, как он смотрит на Флер,— совсем не так, как считает нужным. Слежка! Но как же отказаться от попытки узнать истинные мыс-

ли и чувства человека, который знает твое сердце, словно клавиатуру, и заставляет его стонать и звенеть, как ему заблагорассудится!

— Я видела натурщицу, которую ты послал Обри,— сказала Флер,— она ничего не сказала про платья, но я сразу поняла. Какое лицо, Майкл! Где ты ее откопал?

У Майкла мелькнула мысль: «Не заставить ли ее ревновать?» Но он сразу устыдился — низменная мысль, пошлая и мелочная!

— Сама явилась ко мне,— сказал он.— Она жена нашего бывшего упаковщика, того, который стащил... м-м-м... несколько книг. Сейчас он продает воздушные шары; они страшно нуждаются.

— Понимаю. А ты знаешь, что Обри хочет писать ее обнаженной?

— Фью-ю! Нет, не знал. Я думал, что она — прекрасная модель для обложки. Слушай-ка, не приостановить ли мне все это?

Флер улыбнулась.

— Так дороже платят, и это — ее дело. Ведь тебя это не затрагивает, правда?

Снова эта мысль, снова он ее отогнал.

— Да, но только ее муж самый скромный и жалкий человек на свете, хоть и воришка, и мне не хотелось бы, чтоб пришлось жалеть его еще больше.

— Но ведь она ему не скажет.

Флер сказала это так естественно, так просто, что в этих словах сразу раскрылся весь ее образ мыслей. Не надо рассказывать своему мужу то, что может расстроить беднягу. По трепету ее восковых век он увидел, что и она поняла, насколько она себя выдала. Поймать ли ее на слове, сказать все, что он узнал от Джун Форсайт,— выяснить все, все до конца? Но зачем, ради чего? Внесет ли это какую-либо перемену? Заставит ли ее полюбить его? Или это только больше ее взвинтит, а у него будет такое чувство, что он сдал последнюю позицию, стараясь сделать невозможное. Нет! Лучше принять принцип утаивания, который она невольно признала и утвердила, и, стиснув зубы, улыбаться. Он пробормотал:

— Пожалуй, она покажется ему слишком худой.

Глаза Флер смотрели прямо и ясно, и опять та же низменная мысль смутила его: «Не заставить ли ее...»

— Я видел ее только раз,— добавил он,— тогда она была одета.

— Я не ревную, Майкл.

«Нет,— подумал он,— если б только ты могла меня ревновать!»

Слова: «Вас спрашивает молодой человек по фамилии Баттерфилд, сэр», показались ему поворотом ключа в тюремной камере.

В холле молодой человек «по фамилии Баттерфилд» был поглощен созерцанием Тинг-а-Линга.

«Судя по его глазам,— подумал Майкл,— в нем больше собачьего, чем в этом китайском бесенке».

— Пройдемте ко мне в кабинет,— пригласил он,— здесь холодно. Мой тесть говорил, что вы ищете работу.

— Да, сэр,— сказал молодой человек, подымаясь вслед за ним по лестнице.

— Присаживайтесь,— сказал Майкл,— берите папироску. Ну вот. Я знаю всю вашу историю. Судя по вашим усикам, вы были на войне, как и я. Признайтесь же мне, как товарищу по несчастью: это все — правда?

— Святая правда, сэр. Хотел бы я, чтобы это было не так. Выиграть я тут ничего не могу, а теряю все. Лучше бы мне было придержать язык. Его слова больше значат, чем мои, вот я и очутился на улице. Это было мое первое место после войны — так что теперь рекомендаций мне не добыть.

— Кажется, у вас жена и двое детей?

— Да, и я ради своей совести пожертвовал ими. В последний раз я так поступаю, уверяю вас. Какое мне было дело до того, что Общество обманывают? Моя жена совершенно права — я свалял дурака, сэр.

— Возможно,— сказал Майкл.— Вы что-нибудь смыслите в книгах?

— Да, сэр. Я умею вести конторские книги.

— Ах ты боже мой! Да у нас надо не вести книги, а избавляться от них, и как можно скорее. Ведь у нас издательство. Мы хотели взять еще одного агента. Вы умеете убеждать?

Молодой человек слабо улыбнулся.

— Не знаю, сэр.

— Ладно, я вам объясню, как это делается,— сказал Майкл, совершенно обезоруженный его взглядом.— Все дело в навыке. Но, конечно, этому надо выучиться. Вы, вероятно, не очень-то много читаете?

— Да, сэр, не слишком много.

— Ну, может, это к лучшему. Вам придется внушать этим несчастным книготорговцам, что каждая книга в вашем списке — а их будет, скажем, штук тридцать пять — необходима в его магазине, в большом количестве экземпляров. Очень хорошо, что вы только что разделались с вашей совестью, так как, откровенно говоря, большинство книг им не нужно. Боюсь, что вам негде поучиться убеждать людей, но можете все это проделать мысленно, а если вы сумеете прийти сюда на часок-другой, я вас натаскаю по нашим авторам и подготовлю вас к встрече с апостолом Петром.

— С апостолом Петром, сэр?

— Да, с тем, который с ключами. К счастью, это мистер Уинтер, а не мистер Дэнби; думаю, что смогу уговорить его принять вас на месяц, на пробу.

— Сэр, я сделаю все, что в моих силах. Моя жена понимает толк в книгах, она мне поможет. Я не могу выразить, как я вам благодарен за вашу доброту. Ведь, потеряв работу, я остался, по правде сказать, совсем на мели. Я не мог ничего отложить, с двумя-то детьми. Прямо хоть в петлю полезай.

— Ну, ладно. Значит, приходите завтра вечером, я вас начиню. Лицо у вас подходящее для такой работы — только бы разговаривать научиться. Ведь всего одна книга из двадцати действительно нужна, остальные — роскошь. А ваша задача — убедить их, что девятнадцать необходимы, а двадцатая — роскошь, без которой нельзя обойтись. Тут дело обстоит, как с одеждой, как с пищей и всем прочим в нашем цивилизованном обществе.

— Да, сэр, я понимаю.

— Отлично. Ну, спокойной ночи и всего хорошего!

Майкл встал и протянул руку. Молодой человек пожал ее с почтительным полупоклоном. Через минуту он уже был на улице, а Майкл, стоя в холле, думал:

«Жалость — чушь! Я чуть было совсем не забыл, что я — сыщик!»

X

ЛИЦО

Когда Майкл вышел из-за стола, Флер тоже встала. Прошло больше двух дней с тех пор, как она рассталась с Уилфридом, а она еще не пришла в себя. Открывать устрицу-жизнь, собирать редчайшие цветы Лондона—все, что так ее развлекало,—теперь казалось скучным и бессмысленным. Те три часа, когда непосредственно за потрясением, испытанным ею на Корк-стрит, она испытала другое потрясение в своей собственной гостиной, так выбили ее из колеи, что она ни за что не могла приняться. Рана, которую разбередила встреча с Холли, почти затянулась. Мертвый лев рядом с живым ослом — довольно незначительное явление. Но она никак не могла вновь обрести... что? В том-то и дело: Флер целых два дня старалась понять, чего ей не хватает. Майкл по-прежнему был как чужой, Уилфрид — потерян, Джон — заживо похоронен, и ничто под луной не ново. Единственное, что утешало ее в эти дни тоскливого разочарования, была белая обезьяна. Чем больше Флер смотрела на нее, тем более китайской она казалась. Обезьяна с какой-то иронией подчеркивала то, что, быть может, подсознательно чувствовала Флер: все ее метания, беспокойство, погоня за будущим только доказывают ее неверие ни во что, кроме прошлого. Современность изжила себя и должна обратиться к прошлому за верой. Как золотая рыбка, которую вынули из теплого залива и пустили в холодную, незнакомую реку, Флер испытывала смутную тоску по родине.

Оставшись в испанской столовой наедине со своими переживаниями, она, не мигая, смотрела на фарфоровые фрукты. Как они блестели, такие холодные, несъедобные! Она взяла в руки апельсин. Сделан «совсем как живой»— бедная жизнь! Она положила его обратно — фарфор глухо звякнул, и Флер чуть вздрогнула. Обманула ли она Майкла своими поцелуями? Обманула — в чем же? В том, что она не способна на страсть?

«Но это неправда,— подумала она,— неправда. Когда-нибудь я покажу ему, на что я способна,— всем им покажу». Она посмотрела на висевшего напротив Гойю.

Какая захватывающая уверенность в рисунке, какая напряженная жизнь в черных глазах этой нарумяненной красавицы. Вот эта знала бы, что ей нужно, и, наверно, добилась бы своего. Никаких компромиссов, никакой неуверенности — не бродить по жизни, раздумывая, в чем ее смысл и стоит ли вообще существовать,— нет, просто жить ради того, чтобы жить!

Флер положила руку на шею, туда, где кончалось теплое тело и начиналось платье. Разве она не такая же теплая и упругая — нет, даже в тысячу раз лучше этой утонченной, злой испанской красавицы в изумительных кружевах? И, отвернувшись от картины, Флер вышла в холл. Голос Майкла и еще чей-то, чужой. Идут вниз! Она проскользнула в гостиную и взяла рукопись — стихи, о которых она обещала сказать Майклу свое мнение. Она сидела, не читая, и ждала — войдет он или нет. Она услышала, как закрылась входная дверь. Нет! Он вышел. Какое-то облегчение — и все-таки неприятно. Майкл, холодный и невеселый дома,— если так будет продолжаться, то это совсем тоска! Флер свернулась на диване и попыталась читать. Скучные стихи — вольный размер, без рифм, самосозерцательные, все насчет внутренних переживаний автора. Ни подъема, ни мелодии. Скука! Словно уже читала их десятки раз. Она совсем затихла и лежала, прислушиваясь к треску и шуршанию горящих поленьев. Если будет темно, может быть, ей удастся уснуть. Флер потушила свет и вернулась к дивану. Она как будто сама себя видела у камина; видела, какая она одинокая, какая трогательная и хорошенькая,— как будто все, чего она желала, у нее есть, и вместе с тем — ничего! Ее губы дрогнули. Она как будто даже видела со стороны капризное, детское выражение своего лица. И хуже всего, что она сама видела, как она все это видит,— какое-то тройное существо, словно запрятанное в жизненепроницаемую камеру, так что жизнь не могла ее захлестнуть. Если бы вдруг влетел какой-нибудь вихрь из нежилого холода, из пустыни Лондона, чьи цветы она срывала! Отблески камина, мягкие и трепетные, выхватывали из мрака то тот, то другой уголок китайской гостиной, как в театре во время тех таинственных, увлекательных сцен, когда под звуки тамбуринов ждешь развязки. Она про-

тянула руку за папироской. Снова она будто со стороны увидела, как она зажигает ее, выпускает дым, увидела свои согнутые пальцы, полураскрытые губы, круглые белые руки. Да, она очень декоративна! А в сущности, не в этом ли все дело? Быть декоративной и окружать себя декорациями, быть красивой в некрасивой жизни! В «Медяках» было стихотворение о комнате, озаренной бликами огня, о капризной Коломбине у камина, об Арлекине, томящемся за окном, «словно тень розы». И внезапно, безотчетно сердце Флер сжалось. Сердце сжалось тоской, болью — страшной болью, и, соскользнув на пол у камина, она прижалась лицом к Тинг-а-Лингу. Китайский песик поднял голову, его черные глаза заблестели в отблеске огня.

Он лизнул ее в щеку и отвернулся. Фу, пудра! Но Флер лежала, как мертвая. Она видела себя, вот так, на ковре — изгиб бедра, каштановые блики на коротких кудрях; она слышала биение своего сердца. Встать, выйти, взяться за что-нибудь! Но за что — за что стоило взяться? В чем была хоть капля смысла? Она представила себе, как она делает что-то,— всякие невероятные вещи: ухаживает за больными женщинами, нянчит хилых ребят, говорит речи в парламенте, берет препятствия на скачках, полет турнепс в коротких шароварах — очень декоративно! И она лежала совершенно неподвижно, опутанная сетью собственного воображения: пока она видит себя вот так, со стороны, она не возьмется ни за что — в этом она была уверена,— потому что ни за что не стоило браться. Она лежала совсем неподвижно, и ей казалось, что не видеть себя со стороны — хуже всего на свете, но что, признавая это, она навеки сковывает и связывает себя.

Тинг-а-Линг заворчал, повернув нос к окну, как бы говоря: «Мы дома, у нас уютно, мы думаем о прошлом. Нам не нужно ничего чужого. Будьте добры удалиться, кто бы вы ни были». И снова он заворчал — тихим, протяжным ворчаньем.

— В чем дело, Тинг?

Тинг привстал, вытянув морду к окну.

— Ты хочешь погулять?

— Нет,— проворчал он.

Флер взяла его на руки.

— Что ты, глупенький? — и подошла к окну.

Занавески были плотно задернуты. Пышные, китайские, подбитые шелком, они не впускали ночь. Флер одной рукой сделала маленькую щелочку и отшатнулась. За окном было лицо: лоб прижат к стеклу, глаза закрыты — как будто оно уже давно было там. В темноте оно казалось лишенным черт, смутно-бледным. Флер почувствовала, как напряглось тельце Тинг-а-Линга под ее рукой, почувствовала его молчание. Сердце ее колотилось — было жутко: лицо без тела.

Внезапно лоб отодвинулся, глаза открылись, она увидела лицо Уилфрида. Видел ли он ее — видел ли, что она стоит у окна, выглядывая из темной комнаты? Дрожа всем телом, она опустила занавесь. Кивнуть? Впустить его? Выйти к нему? Махнуть ему, чтоб он ушел? Сердце ее неистово билось. Сколько времени стоит он так под окном, словно призрак? Тинг-а-Линг шлепнулся на пол, она сжала руками лоб, пытаясь собраться с мыслями. И вдруг она шагнула к окну и распахнула занавеси. Никого! Лицо исчезло! Ушел! Темная площадь на сквозном ветру — и ни души! Был ли он здесь, или ей померещилось? Но Тинг-а-Линг! Собакам не мерещатся призраки. Тинг вернулся к камину и опять прикорнул там.

«Я не виновата,— в страстном отчаянии думала Флер,— я не виновата! Я не хотела, чтобы он полюбил меня, я только хотела, чтобы он... он...!» И она бессильно опустилась на пол перед камином. «О Тинг! Пожалей меня!» Но китайский пес, обиженный ее небрежностью, не отзывался...

XI

ШАПКА НАБЕКРЕНЬ

Не слишком удачно разыграв роль сыщика по отношению к молодому Баттерфилду, Майкл постоял в раздумье в холле. В конце концов он не вернулся к себе наверх, а тихо вышел на улицу. Он прошел мимо парламента на Уайтхолл. На Трафальгар-сквер он вспомнил, что у него есть отец. Барт мог быть и у «Шутников», и

в «Кофейне», и в «Аэроплане». «Вот с кем можно отдохнуть»,— подумал Майкл и пошел в самый модный из этих трех клубов.

— Да, сэр Лоренс Монт в читальне, сэр.

Старик сидел, скрестив ноги, держа сигару кончиками пальцев, в ожидании случайного собеседника.

— А, Майкл. Как по-твоему, зачем я сюда хожу?

— Ждать конца света, сэр.

Сэр Лоренс хихикнул.

— Это мысль,— сказал он.— Когда небеса обрушатся на цивилизацию, здесь, наверно, будет самое лучшее место для наблюдений. Любопытство, вероятно, одна из сильнейших человеческих страстей, Майкл. Мне очень не хотелось бы взлететь на воздух, особенно после обеда, но еще меньше мне хотелось бы пропустить хорошее зрелище. Воздушные налеты все-таки были очень занятны, правда?

Майкл вздохнул.

— Да,— сказал он.— Война приучила нас думать о вечности; а потом война кончилась, а вечность осталась висеть над нами. Теперь мы не успокоимся, пока не достигнем ее. Можно мне взять у вас сигару, сэр?

— Ну конечно. Я опять перечитывал Фрезера. Удивительно, как далеки от нас всякие суеверия теперь, когда мы поняли высшую истину: что цивилизация не завоюет мира.

Майкл перестал раскуривать сигару.

— Вы действительно так думаете, сэр?

— А как же еще думать? Кто может сомневаться в том, что сейчас, при таком развитии техники, настойчивость человечества приведет его к самоуничтожению? Это неизбежный вывод из всех последних событий. «Per ardua ad astra» [1]— «Под градом ударов увидим звезды».

— Но ведь так всегда было, сэр, и все же мы живем.

— Да, говорят — живем, но я в этом сомневаюсь. Я считаю, что мы живем только прошлым. Я не думаю, нет, не думаю, что о нас можно сказать, будто мы надеемся на будущее. Мы говорим о лучшем будущем, но, по-моему, мы едва ли надеемся на него. Как будто мож-

[1] Через тяжкие труды — к звездам *(лат.)*.

но возражать против такого положения, но подсознательно мы делаем этот вывод. По той путанице, что мы натворили в течение последних десяти лет, мы ясно чувствуем, насколько бóльшую путаницу мы можем натворить в течение ближайших тридцати лет. Человек может спорить о том, есть ли у осла четвертая нога, но после этого спора осел все-таки будет стоять на четырех ногах.

Майкл вдруг выпрямился и сказал:

— Вы просто беспощадный и злой старый Барт!

Сэр Лоренс улыбнулся.

— Я бы рад признать, что люди действительно верят в человечество и всякую такую штуку, но ты сам знаешь, что это не так,— люди верят только в новизну и в то, чего им хочется добиться. За редкими исключениями все человечество — еще обезьяны, особенно ученая его часть. А если ты дашь в лапы обезьянам порох и горящую спичку, они сами себя взорвут, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Обезьяны в безопасности, только когда они лишены всякой возможности подвергать себя опасности.

— Весело, нечего сказать,— проговорил Майкл.

— Не веселее, чем все остальное, мой милый. Я вот думал недавно: у нас здесь есть один член клуба, он изобрел такую штуку, перед которой все, что было во время войны,— пустяки; необычайно ценный человек. Правительство к нему присматривается. Он поможет другим таким же ценным людям — во Франции, Германии, Америке и России—делать историю. Они все вместе сделают нечто такое, перед чем все, что было до сих пор, побледнеет. Да, ты знаешь, новый лозунг homo sapiens — «Шапка набекрень».

— Так,— сказал Майкл,— ну, а что же вы собираетесь предпринять по этому поводу?

Брови сэра Лоренса поднялись чуть ли не до самых волос.

— Предпринять, мой милый? А что же мне предпринимать? Разве я могу пойти и взять за шиворот этого человека и все наше правительство, да и всех других столь же ценных изобретателей вместе с их правительствами? Нет, конечно. Все, что я могу делать,— это курить сигару и говорить: «Бог с вами, милые друзья, и

мир вам и покой» [1]. Так или иначе, они своего добьются, Майкл. Но, по естественному ходу событий, я до этого не доживу.

— А я доживу,—сказал Майкл.

— Да, мой милый, но ты только подумай, какие будут взрывы, какое зрелище, какие запахи! Ей-богу, тебе еще есть ради чего жить. Иногда мне жаль, что я не твой ровесник. А иногда,— сэр Лоренс вновь раскурил сигару,— не жаль. Иногда мне кажется, что хватит с меня всяких этих штук и что ничего не остается, как только умереть джентльменом.

— Это уже что-то вроде нытья, папа!

— Ну что ж,— сказал сэр Лоренс, покручивая короткий седой ус,— будем надеяться, что я не прав. Но мы идем к тому, что, нажав две-три кнопки, можно будет уничтожить миллионы людей. А какие у нас есть основания думать, будто мы станем такими хорошими, что вовремя откажемся применять эти потрясающие новые игрушки, несущие смерть и разрушение?

— «Когда мало знаешь, воображай всякие ужасы».

— Очень мило сказано. Откуда это?

— Из биографии Христофора Колумба.

— А, старый К.! Иногда я ловлю себя на мысли, что было бы лучше, если бы он не был так чертовски пытлив. В средние века жилось уютней. Еще вопрос, стоило ли открывать этих янки.

— Ладно,— сказал Майкл,— как-нибудь выберемся. Кстати, насчет этой элдерсоновской истории; я только что видел этого клерка: по-моему, у него не такой вид, чтобы он мог все это выдумать.

— Ах, ты об этом! Но, знаешь, если уж Элдерсон мог проделать такую штуку, тогда все на свете возможно. Это совершенная дикость. Он прекрасно играл в крикет, всегда вел мяч лучше всех. Мы с ним набили пятьдесят четыре очка итонцам. Тебе, наверно, рассказал «Старый Форсайт»?

— Да, он хотел, чтобы я дал работу этому клерку.

— Баттерфилд! Ты узнай, не родня ли он старому садовнику Баттерфилду? Это внесло бы некоторую яс-

[1] Рождественская песенка.

ность. Не находишь ли ты, что «Старый Форсайт» несколько утомителен?

Майкл из лояльности по отношению к Флер скрыл свои чувства.

— Нет, мы с ним отлично ладим.

— Он очень прямой человек, это верно.

— Да,— сказал Майкл,— исключительно прямой.

— Но все-таки скрытный.

— Да,— сказал Майкл.

И оба замолчали, как будто за этим выводом крылись «всякие ужасы».

Скоро Майкл встал.

— Уже одиннадцатый час, пора мне идти домой.

Возвращаясь той же дорогой, он мог думать только об Уилфриде. Чего бы он не дал, чтобы услышать от него: «Ладно, старина, все прошло; я все переборол» — и крепко пожать его руку. Почему вдруг человек заболевает страшной болезнью, называемой любовью? Почему она сводит человека с ума? Говорят, что любовь и есть защита против ужасов Барта, против «чрезвычайно ценных» изобретателей. Непреодолимый импульс — чтобы не дать человечеству вымереть! Какая проза, если это так. Ему, в сущности, все равно — будут у Флер дети или нет. Странно, как природа маскирует свои планы — хитрая бестия! Пожалуй, она все же перестаралась. Если Барт прав, дети могут вообще выйти из моды. Еще немного — и так оно и будет: кто захочет иметь детей только для того, чтобы иметь удовольствие видеть их взорванными, отравленными или умирающими с голоду? Несколько фанатиков будут продолжать свой род, но остальные люди откажутся от потомства. Шапка набекрень! Инстинктивно Майкл поправил шляпу, проходя мимо Большого Бэна. Он дошел до площади парламента, как вдруг человек, шедший ему навстречу, круто повернул налево и быстро пошел к Виктория-стрит. Высокая фигура, упругий шаг — Уилфрид! Майкл остановился. Уилфрид идет от Саут-сквера! И вдруг Майкл пустился вдогонку. Он не бежал, но шел, как только мог быстро. Кровь стучала в висках, он испытывал почти невыносимое напряжение, смятение. Уилфрид, наверно, его видел — иначе он не свернул бы так поспешно, не летел бы сейчас как черт. Ужас, ужас!

Он не мог его догнать — Уилфрид шел быстрее,— надо было просто пуститься за ним бегом. Какое-то исступление охватило Майкла. Его лучший друг — его жена! Нет, хватит! Гордость должна удержать от такой борьбы. Пусть делает, что хочет. Майкл остановился, следя за быстро удаляющейся фигурой, и медленно, опустив голову в сползшей набекрень шляпе, повернул домой. Он шел совершенно спокойно, с ощущением, что все кончено. Нечего из-за этого подымать историю. Не надо скандала, но отступления нет. Пока он дошел до своей площади, он главным образом сравнивал высоту домов с ничтожными размерами людей. Такие букашки — и создали такие громады, залили их светом так, что они сверкают огромной сияющей грудой и не разобрать даже, какого цвета небо. Какую невероятную работу проделывают эти букашки! Смешно думать, что его любовь к другой букашке что-нибудь значит! Он повернул ключ в замке, снял свою нахлобученную шляпу и вошел в гостиную. Темно — никого? Нет. Флер и Тинг-а-Линг лежат на полу у камина. Майкл сел на диван и вдруг заметил, что весь дрожит и так вспотел, будто выкурил слишком крепкую сигару. Флер села, скрестив ноги по-турецки, и неподвижно глядела на него. Он ждал, пока справится с дрожью. Почему она молчит? Почему она сидит тут в темноте? «Она знает,— подумал он,— мы оба знаем, что это конец. Господи, только бы побольше выдержки!» Он взял подушку, засунул ее за спину и откинулся на спинку дивана, положив ногу на ногу. Он сам удивился неожиданному звуку своего голоса:

— Можно мне спросить тебя о чем-то, Флер? И пожалуйста, отвечай мне совершенно искренне — хорошо?

— Да.

— Так вот. Я знаю, что ты меня не любила, когда выходила за меня замуж. Думаю, что и теперь ты не любишь меня. Хочешь, чтобы я ушел?

Казалось, что прошло много, много времени.

— Нет.

— Ты говоришь правду?

— Да.

— Почему?

— Потому что я не хочу.

Майкл встал.

— Ты ответишь еще на один вопрос?

— Да.

— Был здесь Уилфрид сегодня вечером?

— Да... нет. То есть...

Майкл стиснул руки; он увидел, что ее глаза прикованы к этим стиснутым рукам, и застыл.

— Флер, не надо!

— Нет. Он подошел к окну — вон там. Я видела его лицо, вот и все. Его лицо... О Майкл, не сердись на меня сегодня!

«Не сердись!» Сердце Майкла задрожало при этих непривычных словах.

— Да нет же,— пробормотал он.— Ты только скажи мне, чего ты хочешь?

Флер ответила, не шевелясь:

— Хочу, чтобы ты меня утешил.

О, как она знает, что надо сказать и как сказать! И, опустившись на колени, он стал утешать ее.

XII

НА ВОСТОК

Он не простоял на коленях и нескольких минут, как оба они почувствовали реакцию. Он старался успокоить Флер, а в нем самом нарастало беспокойство. Ей он верил, верил в этот вечер так, как не верил много месяцев. Но что делает Уилфрид? Где он бродит? Лицо в окне — без голоса, без попытки приблизиться к ней! У Майкла ныло сердце — сердце, существования которого он не признавал. Выпустив ее из объятий, он встал.

— Хочешь, я зайду к нему? Если все кончено, то он, может быть... может быть, я...

Флер тоже встала. Сейчас она была совсем спокойна.

— Да, я пойду спать.

С Тинг-а-Лингом на руках она подошла к двери; ее лицо между каштановой шерстью собаки и ее каштановыми волосами было очень бледно, очень неподвижно.

— Кстати,— сказала она,— у меня второй месяц не все в порядке, Майкл. Я думаю, что это, вероятно...

Майкл обомлел. Волнение нахлынуло, захлестнуло, закружило, отняло дар речи.

— С той ночи, как ты принес воздушный шар,— сказала она.— Ты ничего не имеешь против?

— Против? Господи! Против!

— Значит, все в порядке. Я тоже ничего не имею против. Спокойной ночи.

Она ушла. Майкл без всякой связи вдруг вспомнил: «Вначале было слово, и слово было у бога, и слово было бог». Так он стоял, оцепенев, охваченный огромным чувством какой-то определенности. Будет ребенок! Словно корабль его жизни, гонимый волнами, вдруг пришел в гавань и стал на якорь. Он подошел к окну и отдернул занавесь. Звездная ночь! Дивный мир! Чудесно, чудесно! Но — Уилфрид? Майкл прижался лицом к стеклу. Так прижималось к стеклу лицо Уилфрида. Если закрыть глаза, можно ясно увидеть это. Так нельзя! Человек не собака. Человек за бортом! SOS. Он прошел в холл и вытащил из мраморного ларя свое самое теплое пальто. Он остановил первое встречное такси.

— Корк-стрит. Скорее!

Искать иголку в стоге сена! На Большом Бэне — четверть двенадцатого. Великое облегчение, которое Майкл ощущал, сидя в этом тряском автомобиле, казалось ему самому жестоким. Спасение! Да, это спасение; у него появилась какая-то странная уверенность, словно он увидел Флер внезапно «крупным планом» в резком свете, настоящую, под сетью грациозных уловок. Семья! Продолжение рода! Он не мог ее привязать, потому что он не был частью ее. Но ребенок, ее ребенок, сможет. А быть может, и он тоже с рождением ребенка станет ей ближе. Почему он так любит ее — ведь так нельзя! Они с Уилфридом ослы — это так несовременно, так нелепо!

— Приехали, сэр, какой номер?

— Отлично. Отдохните-ка, подождите меня! Вот вам папироска.

И с папироской в пересохших губах Майкл пошел к подъезду.

В квартире Уилфрида светло! Он позвонил. Дверь открылась, выглянул слуга.

— Что угодно, сэр?

— Мистер Дезерт дома?

— Нет, сэр. Мистер Дезерт только что уехал на Восток. Его пароход отходит завтра утром.

— Откуда? — упавшим голосом спросил Майкл.

— Из Плимута, сэр. Поезд отходит с Пэддингтонского вокзала ровно в полночь. Вы еще, может, успеете его захватить.

— Как это внезапно,— сказал Майкл,— он даже не...

— Нет, сэр. Мистер Дезерт внезапный джентльмен.

— Ну, спасибо. Попробую поймать его.

Бросив шоферу: «Пэддингтон — гоните вовсю!» —он подумал: «Внезапный джентльмен!» Замечательно сказано! Он вспомнил совершенно внезапный разговор у бюста Лайонеля Черрела. Внезапной была их дружба, внезапным конец, внезапность была даже в стихах Уилфрида — плодах внезапных переживаний! Глядя то в одно, то в другое окно дребезжащего, подпрыгивающего такси, Майкл ощущал что-то вроде пляски святого Витта. Не дурак ли он? Не бросить ли все это? Жалость — чушь! И все-таки! С Уилфридом отрывался кусок его сердца, и, несмотря ни на что, Майкл хотел, чтоб его друг это знал. Брук-стрит, Парк-Лейн! Пустеющие улицы, холодная ночь, голые платаны, врезанные светом фонарей в темную синеву. И Майкл подумал: «Блуждаем! А где конец, в чем цель? Делать то, что тебе предназначено,— и не думать! Но что мне предназначено? А Уилфриду? Что с ним будет теперь?»

Машина пролетела спуск к вокзалу и остановилась под навесом. Без десяти двенадцать, и длинный тяжелый состав на первой платформе.

«Что делать? — подумал Майкл.— До чего это трудно. Неужели надо его искать по всем вагонам? Я не мог не прийти, старина,— фу, какой бред!»

Матросы! Пьяные или подвыпившие. Еще восемь минут! Майкл медленно пошел вдоль поезда. Не прошел он и четырех окон, как увидел того, кого искал. Дезерт сидел спиной к паровозу в ближнем углу пустого купе первого класса. Незажженная папироса во рту, меховой воротник поднят по самые брови, и пристальный взгляд устремлен на неразвернутую газету на коленях. Он сидел неподвижно. Майкл стоял, глядя на него. Сердце у

него бешено билось. Он зажег спичку, шагнул вперед и сказал:

— Прикуришь, старина?

Дезерт поднял на него глаза.

— Спасибо,— проговорил он и взял спичку. При вспышке его лицо показалось темным, худым, осунувшимся; глаза — темными, глубокими, усталыми. Майкл прислонился к окну. Оба молчали.

— Если едете, сэр, занимайте место.

— Я не еду,— сказал Майкл. Внутри у него все переворачивалось.

— Куда ты едешь? — спросил он вдруг.

— К черту на кулички.

— Господи, Уилфрид, до чего мне жаль!

Дезерт улыбнулся.

— Ну, брось!

— Да, я понимаю! Дай руку!

Уилфрид протянул руку.

Майкл крепко ее пожал.

Прозвучал свисток.

Дезерт вдруг поднялся и повернулся к верхней сетке. Он достал сверток из чемодана.

— Вот,— сказал он,— возьми эту несчастную рукопись. Если хочешь — можешь издать.

Что-то сжало горло Майклу.

— Спасибо, старина. Это замечательно с твоей стороны! Прощай!

Лицо Дезерта осветилось странной красотой.

— Ну, пока! — сказал он.

Поезд тронулся. Майкл отошел от окна; он стоял не шевелясь, провожая взглядом неподвижную фигуру, медленно отодвигающуюся от него все дальше, дальше. Вагон за вагоном проходил мимо, полный матросов,— они высовывались из окон, шумели, пели, махали платками и бутылками. Вот и служебный вагон, задний фонарь— все смешалось,— багровый отблеск — туда, на Восток,— уходит — уходит — ушел!

И это все, да? Он сунул рукопись в карман пальто. Теперь домой, к Флер. Так уж устроен мир: что одному жизнь, то другому — смерть. Майкл провел рукой по глазам. Вот проклятые, полны слез... фу, бред!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

ПРАЗДНИК

Троицын день вызвал очередное нашествие на Хэмстед-Хис; и в толпе гуляющих была пара, которая собиралась утром заработать деньги, а после обеда истратить их.

Тони Бикет, с шарами и женой, спозаранку погрузился в вагон хэмстедской подземки.

— Вот увидишь,— сказал он,— я к двенадцати распродам всю эту чертову музыку, и мы с тобой покутим.

Прижимаясь к нему, Викторина через платье коснулась рукой небольшой опухоли над своим правым коленом. «Опухоль» была вызвана пятьюдесятью четырьмя фунтами, зашитыми в край чулка. Теперь шары уже не огорчали ее. Они давали временное пропитание, пока она не заработает те несколько фунтов, которых не хватало им на билеты. Тони все еще верил в спасительную силу своих драгоценных шаров: уж он такой, этот Тони, хотя, в сущности, его заработки еле-еле их содержат. И Вик улыбнулась. У нее была своя тайна — и теперь она могла безразлично относиться к его позорному торчанию на тротуаре. Она уже подготовила свой рассказ. Из вечерних газет, из разговоров в автобусах с людьми,

увлеченными любимым национальным времяпрепровождением, она узнала все, что нужно, о скачках. Она даже говорила о них с Тони, который знал о них все, как и всякий уличный торговец. Она уже подготовила целый рассказ о двух воображаемых выигрышах: соверен, полученный за шитье воображаемых блузок, был поставлен на победителя, взявшего приз в две тысячи гиней, а выигрыш — на победителя в юбилейных скачках, с неплохой выдачей. Вместе с третьим призовиком, которого еще предстояло выбрать, эти выигрыши должны были составить сумму в шестьдесят фунтов, которую она скоро накопит позированием. Все это она выложит Тони и наизусть отбарабанит рассказ о том, как ей необычайно повезло и как она все скрывала от него, пока не скопила всю сумму. Она прижмется лбом к его глазам, если он станет слишком пристально смотреть на нее, и зацелует его так, что у него голова закружится. А наутро они встанут и купят билеты на пароход. Вот какой план был у Викторины, а пять десятифунтовых и четыре фунтовых бумажки были уже зашиты в чулок, пристегнутый розовой шелковой подвязкой.

«Отдых дриады» был давно закончен и выставлен в галерее Думетриуса вместе с другими произведениями Обри Грина. Викторина заплатила шиллинг, чтобы посмотреть картину, и несколько минут простояла, украдкой поглядывая на белое тело, сверкающее среди травы и пестрых цветов, и на лицо, которое как будто говорило: «Я знаю тайну».

«Просто гений этот Обри Грин. Лицо совершенно изумительно!» Испугавшись, пряча лицо, Викторина убежала.

С того дня, как она стояла, дрожа, у дверей студии Обри Грина, она все время работала. Он рисовал ее три раза — всегда приветливый, всегда вежливый — настоящий джентльмен! И он рекомендовал ее своим друзьям. Одни рисовали ее в платье, другие — полуодетой, третьи — «нагой натурой», что больше уже не смущало ее,— а Тони ни о чем не подозревал, и край чулка набухал от денег. Не все были с ней «вежливы»; некоторые делали попытки поухаживать, но она пресекала их в корне. Конечно, деньги можно было бы заработать быстрее,

но — Тони! Зато через две недели она сможет все-все бросить! И часто по дороге домой она останавливалась у зеркальной витрины, где были фрукты, и колосья, и синие бабочки...

В переполненном вагоне они сидели рядом, и Бикет, держа лоток на коленях, обсуждал, где ему лучше стать.

— Я облюбую местечко поближе к пруду,— говорил он.— Там у публики будет больше денег, пока не потратятся на карусели да орехи; а ты можешь посидеть на скамье у пруда, как на пляже,— нам лучше быть врозь, пока я не распродам все.

Викторина сжала его локоть.

На валу и дальше по лугу со всех сторон плыла веселая праздничная толпа с бумажными кульками. У пруда дети с тонкими, серовато-белыми слабыми ножками плескались и верещали, слишком довольные, чтобы улыбаться. Пожилые пары медленно проползали, выпятив животы, с изменившимися от напряжения лицами, устав от непривычного подъема. Молодежь уже разбежалась в поисках более головокружительных развлечений. На скамьях, на стульях из зеленой парусины или крашеного дерева сотни людей сидели, глядя себе под ноги, как будто воображая морские волны. Три осла, подгоняемые сзади, трусили рысцой вдоль берега пруда, катая желающих. Разносчики выкрикивали товары. Толстые смуглые женщины предсказывали судьбу. Полисмены откровенно следили за ними. Какой-то человек говорил не останавливаясь, обходя всех со шляпой.

Тони Бикет снял с плеча лоток. Его ласковый хрипловатый голос с неправильным выговором без передышки предлагал цветные воздушные шары. Торговля шла бойко, шары так и расхватывали! Он то и дело поглядывал на берег пруда, где в парусиновом кресле сидела Викторина, не похожая ни на кого,— он был в этом уверен!

— Вот шарики, шарики, замечательные шарики! Шесть штук на шиллинг! Вам большой, сударыня? Всего шесть пенсов! Размер-то какой! Купите, купите! Возьмите шарик для мальчугана.

Тут хотя «олдерменов» и не было, но множество людей охотно платили за яркий, веселый шарик.

Без пяти двенадцать он сложил лоток — ни единого шара не осталось! Будь на неделе шесть праздничных гуляний — он нажил бы капитал! С лотком под мышкой он пошел вокруг пруда. Ребятишки славные, но — господи ты боже мой — до чего худы и бледны! Если у них с Вик будет малыш... нет, невозможно,—по крайней мере пока они не уедут туда. Толстый загорелый малыш гоняется за синими бабочками, и от него так и пышет солнцем! Завернув у конца пруда, он медленно пошел вдоль кресел. Вот она сидит, откинувшись в кресле, скрестив ноги в коричневых чулках и коричневых туфлях с язычками,— до чего хороша! В каком-то своем, особом мире. Что-то сжало горло Бикету. Господи! Как ему хотелось все для нее сделать!

— Ну, Вик, о чем думаешь?

— Я думала об Австралии.

— А-а! Ну, этого еще бог весть как долго ждать! Но это пустяки — видишь, я продал всё дочиста! Что мы будем делать — походим под деревьями или сразу пойдем на карусель?

— На карусель! — ответила она.

«Долина здоровья» была заполнена восторженной толпой. Толпа плыла непрерывным, медленным и молчаливым потоком под крики владельцев палаток и каруселей и продавцов кокосовых орехов.

— Бей, кати, поддавай! А ну, кто попробует?.. Пенни удар... Кому на карусель?.. Мороженое, мороженое!.. Бананы, замечательные бананы!

Тридцать подвесных кресел гигантской карусели под огромным зонтиком были заняты девушками и молодыми людьми. Под музыку — кругом — быстрее, быстрее, пока не натянется цепь; откинуться назад — ноги вытянуть; смех и разговоры смолкли, напряженные, чуть растерянные лица, руки, крепко впившиеся в поручни. Быстрее, быстрее — потом медленнее, пока не остановишься и не замолчит музыка.

— Вот чу́дно!— прошептала Викторина.— Пойдем, Тони.

Они вошли в загородку, уселись в кресла. Викторина

инстинктивно крепче скрестила ноги и, ухватившись за цепь, наклонилась в сторону движения. Она приоткрыла губы.

— Тони, милый!..

Быстрее, быстрее — каждый нерв, каждый мускул отдать движению. О-о-о! Что за чувство — лететь так, над всем светом. Быстрее, быстрее! Медленнее, медленнее, и — спуск на землю.

— Тони, это просто рай!

— Чудно́ как-то внутри, когда тебя так заносит!

— Я бы хотела взлететь под самую крышу. Давай еще раз.

— Ладно!

Прокатились еще два раза — половина выручки с шаров! А, не все ли равно? Тони нравилось смотреть на ее лицо. После этого — шесть ударов по шару, и ни разу не попали, и по порции мороженого на брата! Потом под руку пошли разыскивать местечко, где бы позавтракать. Эти минуты отдыха, после лимонада и бутербродов, были самыми блаженными минутами для Бикета; покуривая дешевый табак и положив голову на колени жене, он глядел в синее небо — долго-долго. Викторина встрепенулась первая.

— Пойдем посмотрим на танцы.

На зеленой лужайке, окаймленной песчаной дорожкой, десятка два пар танцевали под оркестр.

Викторина потянула мужа за рукав.

— Мне так хочется пройтись разок, Тони!

— Ну что ж, идет! — согласился Бикет.— Вон тот одноногий подержит мой лоток.

Они вошли в круг.

— Обними меня покрепче, Тони!

Бикет послушался — на это он всегда был готов. Медленно задвигались ноги — в одну сторону, потом в другую. Почти не сходя с места, они делали повороты в такт музыке, забыв обо всем на свете.

— Ты славно танцуешь, Тони!

— А ты-то! Просто чудо! — шепнул Бикет.

В перерывах, отдышавшись, они подходили проверить — тут ли одноногий с лотком; потом снова шли в круг, пока оркестр не кончил играть.

— Честное слово,— сказала Викторина,— ведь на пароходе тоже бывают танцы, Тони!

Тони крепче сжал ее талию.

— Я добьюсь этого, хоть бы мне пришлось ограбить банк. Я пойду для тебя на все, Вик.

Викторина только улыбалась: она-то уже добилась своего!

Толпа, разгоряченная, усталая, веселая, двигалась по полю битвы, усеянному бумажными кульками, банановой кожурой и обрывками газет.

— Давай выпьем чаю и еще разок прокатимся на карусели,—сказал Бикет,— потом перейдем на ту сторону, в рощу.

На той стороне, в роще, гуляли пары. Солнце медленно заходило. Тони и Вик сидели под деревом и смотрели на закат. Легкий ветер шуршал в листве берез. Смолкли голоса людей. Как будто все пришли сюда искать тишины, ждать темноты и уединения. Изредка бесшумно шмыгал какой-нибудь шпион, разглядывая пары.

— Вот лисицы! — сказал Бикет.— Ух, с каким удовольствием я бы им расквасил носы!

Викторина вздохнула, крепче прижимаясь к нему. Кто-то заиграл на гитаре; зазвучал голос. Смеркалось, где-то всходила луна, и маленькие тени крались по земле.

Они говорили шепотом. Казалось, нельзя повышать голос, казалось — они в заколдованной роще. Они и говорили-то мало. Роса покрыла траву, но они ее не замечали. Рука с рукой, щека к щеке, они сидели совершенно тихо. Бикет думал: вот это настоящая поэзия, самая настоящая. Темнота, бледные серебристые отблески, звуки пьяной песни, гул запоздалых машин, возвращающихся с севера, и вдруг — уханье совы.

— Ой, сова! — Викторина вздрогнула.— Только подумай! Я когда-то слышала сову в Норбитоне. Ведь это не плохая примета, нет?

Бикет встал, потягиваясь.

— Пойдем,— сказал он,— вот это был день! Смотри, только не простудись!

Под руку они медленно вышли из темноты березовой рощи, радуясь фонарям, уличному шуму и людному вокзалу, словно пресытясь уединением.

Забравшись в угол вагона подземки, Бикет лениво просматривал брошенную кем-то газету. А Викторина думала о такой массе вещей, что ей казалось, будто она ни о чем не думает. Карусель, темная роща, деньги в чулке. Странно, что Тони не замечает, как они шуршат,— а держать их больше негде. Что это он так пристально рассматривает? Она заглянула через его плечо и прочла: «Отдых дриады» — поразительная картина Обри Грина на выставке в галерее Думетриуса».

У Викторины замерло сердце.

— Вот так штука! — сказал Бикет.— Смотри, правда, похоже на тебя?

— На меня? Нет!

Бикет всмотрелся в газету.

— Нет, похоже. Совсем ты, как вылитая! Я вырежу ее. Вот бы посмотреть эту картину!

Кровь хлынула к щекам Викторины — так быстро заколотилось сердце!

— Это неприлично,— проговорила она.

— Не знаю — прилично или нет, только ужас до чего похоже на тебя. Даже улыбка — и то твоя.

Сложив газету, он стал отрывать лист с картиной. Мизинец Викторины прижался к пачке бумажек в чулке.

— Странно,— сказала она,— подумать только, что люди могут быть так похожи друг на друга.

— Никогда не думал, что кто-нибудь может быть похож на тебя. Чэринг-Кросс — нам пересадка.

В сутолоке крысиных ходов подземки она тихонько сунула руку в его карман, и вскоре обрывки разорванной бумаги упали на землю за Викториной, пробиравшейся в толкотне вслед за мужем. Лишь бы он не вспомнил, где выставлена эта картина.

Ночью она не спала и думала:

«Все равно! Я все-таки достану остальные деньги — вот и все!»

Но сердце ее странно екнуло — как будто она вдруг ступила на край трясины.

II.

СЛУЖЕБНЫЕ ДЕЛА

Майкл сидел и правил гранки книги «Подделки», которую оставил ему Уилфрид.

— Можете принять Баттерфилда, сэр?

— Могу.

Имя Баттерфилда вызвало в Майкле чувство неловкой гордости. Молодой человек с неизменно возрастающим успехом выполнял должность, на которую был взят на пробу четыре месяца назад. Главный агент даже назвал его «находкой». После издания «Медяков» он был вторым достижением Майкла. Книготорговцы покупали плохо, но Баттерфилд распродавал книги — так по крайней мере Майклу говорили; у него был особый дар внушать доверие там, где оно не могло оправдаться. Дэнби и Уинтер даже поручили ему распространить частным образом роскошное нумерованное издание «Дуэта», которым они хотели покрыть убытки от простого издания этой книги. Сейчас Баттерфилд распространял книгу по списку: туда входили люди, которые как будто должны были поддержать автора этого небольшого шедевра. Такой личный подход к покупателю предложил сам Баттерфилд.

— Видите ли, сэр,— сказал он Майклу,— я немного знаком с системой Куэ. Конечно, на торговцах ее не попробуешь — они ни во что не верят. Да и чего от них ждать? Каждый день они покупают всякие книги, руководствуясь только тем, что у них обычно идет в продажу. Вряд ли вы найдете одного из двадцати, который поддержал бы новое начинание. Но некоторым джентльменам и особенно некоторым леди можно внушить мысль, как делает Куэ,—внушать им ежедневно всеми способами, что данный автор становится все более и более знаменитым,— и десять против одного, что в следующий раз, когда вы к ним зайдете, эта мысль засядет у них в подсознании, особенно если вам удастся застать их после обеда или завтрака, когда они чуточку осовели. Дайте срок, сэр, и я это издание для вас продам.

— Ну, знаете,— ответил Майкл,— если вы сумеете

внушить людям, что мой родитель имеет будущее, то вы заслуживаете больше, чем причитающиеся вам десять процентов.

— Я могу это сделать, сэр. Тут вся суть только в вере.

— Но сами-то вы неверующий?

— Нет, что касается автора, то не совсем. Но я верю, что я могу *их* заставить поверить, вот в чем суть.

— Понимаю, фокус с тремя картами: внушите людям, даже если сами не верите, что карта тут, и они возьмут ее. Ну, а разочарование наступает не сразу. Вы успеете закрыть за собой дверь. Что же, валяйте!

Баттерфилд только улыбнулся...

Неловкость примешивалась к гордости Майкла потому, что «Старый Форсайт» без конца повторял ему, что ничего не знает— не может сказать, верно ли то, что Баттерфилд рассказал об Элдерсоне,— и дальше ни с места...

— С добрым утром, сэр. Можете уделить мне пять минут?

— Входите, Баттерфилд. Засыпались с «Дуэтом»?

— Нет, сэр. Я уже продал сорок экземпляров. Тут другое дело.— И, бросив взгляд на закрытую дверь, он подошел ближе.

— Я иду по списку в алфавитном порядке. Вчера я дошел до «Э»,— он понизил голос: — мистер Элдерсон.

— Фью! — сказал Майкл.— Его-то вы можете пропустить.

— В том-то и дело, сэр, что я его не пропустил.

— Как? Пошли в атаку?

— Да, сэр. Вчера вечером.

— Молодец, Баттерфилд! Ну, и что же?

— Я не назвал своей фамилии,— просто просил передать ему карточку фирмы.

Майкл заметил, что в голосе Баттерфилда зазвучало очень понятное злорадство.

— Ну?

— Мистер Элдерсон, сэр, кончал обедать. Я заранее подготовился и сделал вид, что я его никогда раньше не встречал. И поразило меня то, что он принял это как должное!

— Не выкинул вас за дверь?

— Наоборот, сэр. Он сразу сказал: «Запишите за мной два экземпляра».

Майкл рассмеялся.

— Ну и нахалы же вы оба.

— Нет, сэр, в том-то и дело. Мистер Элдерсон был очень недоволен. Ему это было неприятно.

— Не понимаю,— сказал Майкл.

— Неприятно, что я служу у вас, сэр. Ведь он знает, что вы здесь — компаньон и что мистер Форсайт — ваш тесть, не правда ли?

— Знает, конечно.

— Вот видите, сэр, и выходит, что два директора поверили мне, а не ему. Вот почему я его и не пропустил. Я решил, что это его немного встряхнет. Я случайно увидел его лицо в зеркале, когда уходил. Он, по-моему, здорово струсил.

Майкл грыз указательный палец, испытывая что-то вроде сочувствия к Элдерсону, как к мухе, на которую паук накинул свою первую петлю.

— Спасибо, Баттерфилд.

Когда тот ушел, он сел, царапая перочинным ножом промокашку на столе. Что это, своеобразное «классовое» чувство? А может быть, просто сочувствие к преследуемому, нервная дрожь при мысли, что человеку некуда скрыться? Ибо тут, безусловно, были явные улики, и ему придется сообщить об этом отцу и «Старому Форсайту». Очевидно, храбрость покинула Элдерсона, иначе он бы сказал: «Наглый негодяй! Сейчас же убирайтесь вон!» Ясно, что это было бы единственно правильное поведение не повинного ни в чем человека и единственно разумное поведение человека виновного. Что ж! Нервы иногда сдают — даже самые крепкие. Взять хотя бы корректуру, которую он только что закончил:

ПОЛЕВОЙ СУД

Я человек — не лучше вас, не хуже:
Кровь, нервы, мускулы, костяк.
Легко ль мне было драться в дождь и в стужу?
Попробовали б сами так!

Когда бы вы умели — не блистать
Мундиром, выправкою бравой,

А вместе с нами мерзнуть, голодать,
Тогда б сказать имели право:

«Его из всех, кто был тогда в бою,
За трусость расстреляйте первым!
Кто служит родине и королю,
Не знает, что такое нервы!» [1]

Эх, Уилфрид, Уилфрид!

— В чем дело, мисс Перрен?

— Письмо к сэру Джемсу Фоггарту, мистер Монт; вы просили вам напомнить. И потом — вы можете принять мисс Мануэлли?

— Мисс Ман... О-о, да, конечно!

Маленькая жена Бикета, чье лицо использовано для обложки сторбертовского романа, натурщица для картины Обри Грина! Майкл встал: она уже была в комнате.

«Ага, помню это платье,— подумал он.— Флер никогда его не любила».

— Чем могу быть полезен, миссис Бикет? А как поживает Бикет, кстати?

— Ничего, сэр, спасибо.

— Все еще торгует шарами?

— Да.

— Ну, все мы связаны с воздушными шарами.

— Как вы сказали?

— Висим в воздухе—не так ли? Но ведь вы не об этом хотели со мной поговорить?

— Нет, сэр.

Легкий румянец на впалых щеках, пальцы теребят поношенные перчатки, губы неуверенно полуоткрыты; но глаза смотрят прямо — удивительное существо, честное слово!

— Помните, сэр, вы дали мне записку к мистеру Грину?

— Да, и я видел, что из этого вышло,—картина замечательная, миссис Бикет.

— Да, но она попала в газеты; мой муж вчера увидел ее — а он ведь ничего не знает.

Фью! Ну и подвел он эту девочку!

— Я заработала на этом много денег, сэр, почти хватит на билеты в Австралию. Но теперь я боюсь. Он го-

[1] Перевод И. Романовича.

ворит: «Смотри, как похоже на тебя». Я разорвала газету, но что если он запомнил название галереи и пойдет посмотреть картину? Там я еще больше похожа на себя. Он может дойти до мистера Грина. Так вот, не поговорите ли вы с мистером Грином, сэр, и не попросите ли его сказать, что это— совсем не я, в случае если Тони пойдет к нему?

— Конечно скажу,— сказал Майкл.— Но почему вы боитесь, что Бикет рассердится, раз это вас так выручило? Ведь профессию натурщицы можно считать вполне приличным ремеслом.

Викторина прижала руки к груди.

— Да,— сказала она просто.— Я вела себя совершенно прилично. И я взялась за это только потому, что нам так хочется уехать, и я не могу выносить, не могу видеть, как он стоит на тротуаре и продает эти шары в сырости и в тумане. Но сейчас, сэр, я так боюсь.

Майкл посмотрел на нее.

— Да,—сказал он,—скверная штука — деньги.

Викторина слабо улыбнулась:

— Хуже, когда их нет, сэр.

— Сколько вам еще не хватает?

— Еще только около десяти фунтов, сэр.

— Это я могу вам одолжить.

— О, спасибо! Но не в этом дело — я легко могу их заработать, я уже привыкла; еще несколько дней не играют роли.

— А как же вы объясните, откуда вы достали деньги?

— Скажу, что выиграла на скачках.

— Слабо,— сказал Майкл.— Слушайте, скажите, что вы пришли ко мне и я вам дал их в долг. Если Бикет захочет мне их прислать из Австралии, я могу снова переслать их туда на ваше имя. Я вас очень подвел, и я хотел бы вас выручить.

— О нет, сэр! Вы мне оказали большую услугу. Я не хочу, чтобы вы лгали из-за меня.

— Это меня ничуть не смущает, миссис Бикет. Я могу врать без запинки, если это безвредная ложь. Самое главное —это поскорее вам уехать. Много есть еще картин, писанных с вас?

— Да, уйма,—только там меня не узнать—они такие странные, как будто из кубиков.

— Обри-то нарисовал вас как живую.

— Да, Тони сказал, что это вылитая я.

— Вот именно. Ладно, я поговорю с Обри, я его увижу за завтраком. Вот вам десять фунтов. Значит — решено. Вы сегодня были у меня — понятно? Скажите, что вас просто осенило. Я совершенно вас понимаю. Вы для него готовы на что угодно, а он — для вас. Ну ладно, ладно, не надо плакать!

Викторина судорожно глотнула воздух. Рука в поношенной перчатке ответила на пожатие Майкла.

— Я на вашем месте сказал бы ему все сегодня же,— добавил Майкл,— а я подготовлю остальное.

Когда она ушла, он подумал: «Надеюсь, Бикету не придет в голову, что я получил вознаграждение за эти шестьдесят фунтов!» — и, нажав кнопку звонка, он снова стал царапать промокашку на столе.

— Вы звонили, мистер Монт?

— Да, будем продолжать, мисс Перрен.

«Уважаемый сэр Джемс Фоггарт, мы уделили чрезвычайное внимание Вашему весьма интересному... м-м... труду. Хотя мы и считаем, что Ваши взгляды на теперешнее положение Великобритании среди других стран изложены прекрасно и представят большой интерес для каждого... м-м... вдумчивого человека, но мы не уверены, что таких людей... м-м... достаточно, чтобы книгу можно было издать без убытка. Мы опасаемся, как бы Ваша... м-м... точка зрения, что Великобритания должна искать спасения в распределении рынков, населения, спроса и предложения в пределах самой империи, к тому же, изложенная чрезвычайно прямолинейно, не вызвала злобу всех политических партий; мы также считаем, что Ваше предложение — вывозить из Англии целые партии мальчиков и девочек, пока их еще не успела испортить городская цивилизация,— только вызовет раздражение у рабочего класса, понятия не имеющего о жизни вне своей страны и, как известно, не желающего дать своим детям возможность попытать счастья в других краях».

— Так и написать, мистер Монт?

— Да, только чуть-чуть смягчите. М-м... «И, наконец, Ваш взгляд на то, что на земле надо сеять хлеб, так не-

обычен в наши дни, что мы предчувствуем враждебные выпады против Вашей книги во всей печати, исключая, пожалуй, старой гвардии, неунывающих консерваторов и нескольких понимающих людей».

— Дальше, мистер Монт.

— «В период неустойчивого равновесия», так и напишите, мисс Перрен, «при полной нереальности надежд, устаревших и сданных на свалку», почти так и напишите, мисс Перрен, «ни один план с расчетом на будущее и с откладыванием урожая еще на двадцать лет не может рассчитывать на популярность. Из этого Вы сами поймете причину, почему Вы... м-м... должны искать себе другого издателя». Словом— спасибо, что-то не хочется. «Остаемся с...— ну, там сами знаете, с чем,—уважаемый сэр Джемс Фоггарт, Ваши покорные слуги *Дэнби и Уинтер*». Когда вы это переведете, мисс Перрен, принесите, я подпишу.

— Хорошо. Но, мистер Монт, я думала, вы — социалист. А ведь это... вы простите, что я спрашиваю.

— Мисс Перрен, я недавно обнаружил, что время всяких ярлычков прошло. Как может человек быть кем-то определенным, когда все висит в воздухе? Возьмите либералов. Им видеть ситуацию мешает свобода торговли; лейбористской партии — налог на капитал; а консерваторам — идеи протекционизма; словом, все они опутаны лозунгами. Старый сэр Джемс Фоггарт чертовски прав, но никто не подумает его слушать. Его книга — только перевод бумаги, если ее кто-либо издаст. Мир сейчас — очень нереальная штука, мисс Перрен, а из всех стран мы — самая нереальная.

— Почему, мистер Монт?

— Почему? Да потому, что мы с бо́льшим упорством, чем любая другая нация, держимся за то, что, в сущности, у нас, как ни в одной другой стране, давным-давно лопнуло. Во всяком случае, нечего было мистеру Дэнби поручать мне это письмо, если он не собирался меня развлекать. Да, кстати, раз мы об этом заговорили, мне придется отказаться от новой книги Хэролда Мастера: может, это ошибка, но они не желают ее печатать.

— Но почему же, мистер Монт? Ведь «Рыдающая черепаха» имела такой успех!

— Да, но в новой книжке у Мастера появилась определенная мысль, которая неизбежно заставляет его что-то сказать. Уинтер говорит, что те, кто расхвалил «Рыдающую черепаху» как величайшее произведение искусства, конечно, за это на него накинутся; а мистер Дэнби называет эту книгу клеветой на человечество. Так что все против нее. Ну, давайте писать.

«Дорогой Мастер! В увлечении своей темой Вы, очевидно, сами не заметили, как испортили всю музыку. В «Рыдающей черепахе» Вы вполне сыгрались с половиной оркестра, причем с самой... м-м... шумной половиной. Вы были очаровательно архаичны и достаточно хладнокровны. Что же Вы теперь наделали? Взяли в герои последнего туземца с Маркизских островов и переселили его в Лондон. Ваш роман — едчайшая сатира, настоящая критика жизни. Я уверен, что Вы не хотели писать о современности или копаться в нашей действительности; но тема увлекла Вас за собой. Холодная едкость и хладнокровие — вещи разные, сами понимаете, не говоря уже о том, что Вам пришлось отказаться от архаического стиля. Конечно, я лично считаю новый роман во сто раз лучше «Рыдающей черепахи» — то была приятная книжечка, о которой и сказать, в сущности, нечего. Но я не публика, и я — не критика. Молодые и худые будут огорчены тем, что Вы недостаточно современны, они скажут, что Вы морализируете; старые и толстые назовут Вас скептиком, разрушителем, а рядовые читатели примут Вашего островитянина всерьез и обидятся, что он у Вас лучше них. Как видите, перспектива не из веселых. Как же, по-вашему, мы «провернем» такую книжку? Очевидно, никак. Таково решение издательства. Я с ним не согласен: я издал бы книгу завтра же; но ничего не поделать, раз все в руках Дэнби и Уинтера. Итак, с большим сожалением я возвращаю то, что считаю настоящим произведением искусства. Всегда Ваш *Майкл Монт*».

— А знаете, мисс Перрен, по-моему, вам не надо это переводить.

— Да, боюсь, это будет трудно.

— Отлично; но первое письмо обязательно переделайте. Я сейчас повезу жену на выставку; к четырем вернусь. Ах да, если тут зайдет один человек по фамилии

Бикет — он когда-то у нас служил — и спросит меня, пусть его проведут сюда. Только надо меня предупредить. Вы скажете об этом в конторе?

— Конечно, мистер Монт. Да, я хотела... Скажите, не с этой ли мисс Мануэлли написана обложка для романа мистера Сторберта?

— Именно, мисс Перрен. Я сам ее отыскал.

— Очень интересное лицо, правда?

— Боюсь, что единственное в своем роде.

— По-моему, в этом нет ничего плохого.

— Как сказать,— проговорил Майкл и стал ковырять промокашку.

III

«ОТДЫХ ДРИАДЫ»

Флер, изящная, как всегда, умело скрывала то, что Майкл называл «одиннадцатым баронетом»,— он должен был появиться месяца через два. Она как будто душой и телом приспособилась к спокойному и неуклонному коллекционированию наследника. Майкл знал, что с самого начала, по совету матери, она пыталась влиять на пол будущего ребенка, повторяя перед сном и утром слова: «Изо дня в день, из часа в час он все больше становится мальчиком»,— это должно было повлиять на подсознание, которое, как теперь уверяли, направляет ход событий; и она никогда не говорила: «Я обязательно хочу мальчика», потому что это, вызвав реакцию, привело бы к рождению девочки. Майкл заметил, что она все больше и больше дружит с матерью, как будто французские черты самой Флер были больше связаны с процессами, происходившими в ее теле. Она часто уезжала в Мейплдерхем в машине Сомса, а ее мать часто гостила на Саут-сквер. Присутствие красивой Аннет, в ее излюбленных черных кружевах, всегда было приятно Майклу, который не забыл, как она его поддержала в то время, когда все надежды казались потерянными. Хотя он все еще чувствовал, что не проник дальше порога в сердце Флер, и готовился играть

вторую скрипку при «одиннадцатом баронете», все же после отъезда Уилфрида ему стало много легче. Его забавляло и трогало, что Флер сосредоточила все свои коллекционерские инстинкты на чем-то, не принадлежащем ни к какой эпохе, одинаково свойственном всем векам.

В сопровождении самого Обри Грина экспедиция на выставку в галерею Думетриуса отбыла из дома на Саут-сквер после раннего завтрака.

— Ваша дриада заходила сегодня утром ко мне, Обри,—сказал Майкл в автомобиле.— Она хотела, чтобы я попросил вас всячески отпираться, если ее муж налетит на вас с обвинениями за то, что вы рисовали его жену. Он где-то видел репродукцию с картины.

— Гм-м-м,—пробормотал художник.—Что вы скажете, Флер, нужно отпираться?

— Конечно, Обри, непременно.

Улыбка Обри скользнула от Флер к Майклу.

— Как его фамилия?

— Бикет.

Обри Грин устремил глаза в пространство и медленно произнес:

Озлившийся Бикет сердито
Сказал мне: «Вы будете биты:
Как две капли — жена,
И притом — обнажена,
Мистер Грин, постыдились бы вы-то!»

— Обри, как не стыдно!

— Бросьте, Обри,— сказал Майкл.— Я говорю серьезно. Она страшно храброе маленькое существо. Она заработала деньги, которые им были нужны, и осталась вполне порядочной женщиной.

— Что касается меня — несомненно.

— Я думаю!

— Почему, Флер?

— Вы не губитель женщин, Обри.

— По правде говоря, она возбуждала во мне эстетическое чувство.

— Вот уж что не спасло бы ее от некоторых эстетов! — сказал Майкл.

— А кроме того, она из Пэтни.

— Вот это — уважительная причина. Значит, вы непременно дадите отпор, если Бикет к вам разлетится?

Обри Грин положил руку на сердце.

— Вот и приехали.

Заботясь об одиннадцатом баронете, Майкл выбрал час, когда истинные поклонники Обри Грина еще завтракали. Растрепанный юноша и три бледно-зеленые девицы одиноко бродили по галерее. Художник сразу провел их к своему шедевру; несколько минут все стояли перед картиной, как подобало, словно парализованные. Сразу рассыпаться в похвалах было неудобно; заговорить слишком поздно— тоже бестактно; говорить слишком восторженно — прозвучало бы фальшиво; холодно проронить: «Очень мило, очень мило» — обидело бы. Сказать прямо: «Знаете, милый, говоря по правде, мне она ни чуточки не нравится»,— разозлило бы художника окончательно.

Наконец Майкл тихонько ущипнул Флер, и она сказала:

— Действительно прелесть, Обри, и ужасно похоже, по крайней мере...

— Насколько можно судить. Но, право же, вы удивительно поймали сходство. Боюсь, что Бикет тоже так подумает.

— Бросьте,— сказал художник,— лучше скажите, как вы находите цветовую гамму?

— Прекрасно. Особенно тон тела; правда, Флер?

— Да, только мне кажется, что тень с этой стороны должна бы быть чуть глубже.

— Да? — уронил художник.— Пожалуй!

— Вы уловили дух,— сказал Майкл,— но вот что я скажу вам, дорогой мой, откровенно: в картине есть какой-то смысл. Не знаю, что с вами за это сделает критика.

Обри Грин улыбнулся.

— Это в ней была самая худшая черта. Она сама меня на это навела. Фатальная штука — заразиться идеей.

— Я лично с этим не согласен, а ты, Флер?

— Конечно нет; только об этом не принято говорить.

— А пора бы, нечего плестись в хвосте за кафе «Крильон». Знаете, волосы здорово сделаны, и пальцы на

ногах тоже — просто так и шевелятся, когда смотришь на них.

— И до чего приятно, когда ноги не изображены в виде всяких кубов. Кстати, Обри, асфодели похожи на цветы «Мадонны в гроте» Леонардо.

— Вся картина слегка в Леонардовом стиле, Обри. Придется вам с этим примириться.

— Да, Обри, мой отец видел эту картину. Кажется, он на нее зарится. Его поразило одно ваше замечание — про белую обезьяну, помните?

Обри Грин широко развел руками.

— Ну как же! Замечательная обезьяна! Только подумать — нарисовать такую вещь! Есть апельсин, разбрасывать кожуру и спрашивать взглядом: к чему все это?

— Мораль! — сказал Майкл.— Поосторожнее, старина! Ну, всего доброго! Вот наше такси. Идем, Флер. Оставим Обри наедине с его совестью.

В такси он взял ее за руку.

— Бедная птаха, этот Бикет! Что, если бы я наткнулся на тебя, как он — на свою жену!

— Я не выглядела бы так мило.

— Что ты! Гораздо милее, по-моему. Хотя, по правде сказать, она тоже очень мило выглядит.

— Так чего же Бикету огорчаться в наш просвещенный век?

— Чего? Господи, детка! Уж не думаешь ли ты, что Бикет.... я хочу только сказать, что мы, люди без предрассудков, считаем, что мы весь мир. Так вот, это все чепуха. Мы — только маленькая, шумная кучка. Мы говорим так, будто все прежние критерии и предрассудки исчезли; но они исчезли не больше, чем сельские дачки и серенькие городские домишки.

— Почему вдруг такая горячность, Майкл?

— Знаешь, милая, мне просто немножко приелась вся наша компания и ее манера держаться. Если бы эмансипация действительно существовала, это можно было бы выдержать. Но это не так. Между современностью и тем, что было тридцать лет назад, нет разницы и в десять процентов.

— Откуда ты знаешь? Тебя тогда на свете не было.

— Верно. Но я читаю газеты, говорю со всякими

людьми и присматриваюсь к лицам. Наша компания думает, что они — как скатерть на столе, но они — только бахрома. Знаешь ли ты, что всего каких-нибудь сто пятьдесят тысяч человек у нас в Англии слышали Бетховенскую симфонию? А сколько же, по-твоему, считают старика Бетховена устаревшим? Ну, может быть, наберется пять тысяч человек из сорока двух миллионов. Где же тут эмансипация?

Он замолчал, заметив, как опустились ее веки.

— Я думала, Майкл, что надо бы переменить занавески у меня в спальне — сделать голубые. Я видела вчера у Хартона как раз тот цвет, какой нужно. Говорят, что голубой цвет хорошо влияет на настроение, теперешние мои занавески слишком кричащие.

Одиннадцатый баронет!

— Все что хочешь, душенька. Сделай голубой потолок, если это нужно.

— Ну нет! А вот ковер тоже можно переменить — я видела чудесный серовато-голубой у Хартона.

— Ну, купи его. Хочешь сейчас съездить туда? Я могу вернуться в издательство подземкой.

— Да, по-моему, лучше съездить, а то еще упущу ковер.

Майкл высунул голову в окно.

— К Хартону, пожалуйста!

И, поправляя шляпу, он посмотрел на Флер. Вот она, эмансипированная женщина!

IV

ОТДЫХ БИКЕТА

Примерно в этот же час Бикет вернулся в свою комнату и поставил на место лоток. Все утро под сенью св. Павла он переживал троицын день. Ноги у него гудели от усталости, и в мыслях было неспокойно. Он тешил себя надеждой, что будет иногда ради отдыха поглядывать на картинку, которая казалась ему почти фотографией Вик. А картинка затерялась! И ведь он ничего не вынимал из кармана — только повесил пальто. Не-

ужели она вылетела в сутолоке, или он сунул ее мимо кармана и уронил в вагоне? Ему ведь еще хотелось и оригинал посмотреть. Он помнил, что название галереи начиналось на «Д», и потратил за завтраком полтора пенса на газету, чтобы посмотреть объявления. Наверно, имя иностранное, раз картина с голой женщиной. «Думетриус». Ага! Он самый!

Как только он вернулся на свое место, ему сразу повезло. Тот самый «олдермен», которого он столько месяцев не видел, опять прошел мимо. Словно по наитию, Бикет сразу сказал:

— Надеюсь, что вижу вас в добром здоровье, сэр. Никогда не забываю вашу доброту.

«Олдермен», глядевший вверх, точно увидел на куполе св. Павла сороку, остановился, как в столбняке.

— Доброту? — спросил он.— Какую доброту? Ага, шары! Мне они были ни к чему.

— Конечно, сэр, конечно,— почтительно согласился Бикет.

— Ну, вот вам,— проворчал «олдермен»,— только в другой раз не рассчитывайте.

Полкроны! Целых полкроны! Взгляд Бикета провожал удалявшуюся фигуру. «В добрый час!» — тихо пробормотал он и стал складывать лоток. «Пойду домой, отдохну малость, а потом поведу Вик смотреть эту картину. Забавно будет поглядеть на нее вдвоем».

Но Вик не было дома. Он сел и закурил. Ему было обидно, что ее не оказалось дома в первый его свободный день. Конечно, не сидеть же ей весь день в комнате. И все-таки! Он подождал минут двадцать, потом надел костюм и ботинки Майкла.

«Пойду посмотрю один,— решил он.— И стоить будет вдвое дешевле. Пожалуй, сдерут шесть пенсов, не меньше!»

С него содрали шиллинг — целый шиллинг, четверть его дневного заработка! — за то, чтоб посмотреть какую-то картину! Он робко вошел. Там были дамы, которые пахли духами и говорили нараспев, но внешностью они и в подметки не годились его Викторине! Одна из них за его спиной сказала:

— Посмотрите! Вот это сам Обри Грин! А вон его картина, о которой столько говорят, «Отдых дриады».

Дамы прошли мимо Бикета. Он пошел за ними. В конце комнаты, заслоненная платьями и каталогами, мелькнула картина. Пот проступил на лбу Бикета. Почти в натуральную величину, среди цветов и пушистых трав ему улыбалось лицо — точный портрет Викторины! Неужели кто-нибудь на свете так похож на нее? Эта мысль была ему обидна: так обиделся бы коллекционер, найдя дубликат вещи, которую он считал уникумом.

— Изумительная картина, мистер Грин! Что за тип!

Молодой человек, без шляпы, со светлыми, откинутыми назад волосами, ответил:

— Находка — не правда ли?

— Удивительно — воплощенная душа лесной нимфы! И какая загадочная!

Это самое слово всегда говорили про Викторину! Тьфу, наваждение! Вот она лежит тут — всем напоказ, только потому, что какая-то проклятая баба как две капли воды похожа на нее. Ярость сдавила горло Бикету, кровь бросилась ему в голову, и вместе с тем какая-то странная физическая ревность охватила его. Этот художник! Какое он имел право рисовать женщину, похожую на Вик,— женщину, которая не посовестилась лежать в таком виде! А тут еще эти со всякими разговорами насчет кьяроскуро, и язычества, и какого-то типа Ленеарда! Черт бы побрал их фокусы и кривляние. Он хотел отойти — и не мог, прикованный к этому образу, так таинственно напоминавшему ту, которая до сих пор принадлежала только ему. Глупо так расстраиваться из-за совпадения, но ему хотелось разбить стекло и раскромсать это тело в клочки. Дамы с художником ушли, оставив его наедине с картиной... Без посторонних было не так обидно. Лицо было тоскливое, грустное, и с такой дразнящей улыбкой! Сущее наваждение, право! «Ладно,— подумал Бикет,— надо пойти домой к Вик! Хорошо, что я ее не привел сюда глядеть на свою копию. Будь я олдерменом, я бы купил эту мерзость и сжег».

И вдруг у входа Бикет увидел своего «олдермена», разговаривающего с каким-то чумазым иностранцем. Бикет замер в полном изумлении.

— Это вошходящая жвезда, миштер Форшайт,— услышал Бикет,— цены на его вещи поднимаются.

— Все это верно, Думетриус, но не каждому в наши дни доступна такая цена — слишком дорого!

— Хорошо, миштер Форшайт, вам я уступлю дешть процентов.

— Уступите двадцать, и я покупаю.

Плечи «чумазого» поднялись вровень с его волосатыми ушами — нет, даже выше! А улыбка-то, улыбка!

— Миштер Форшайт! Пятнадцать, шэр!

— Хорошо, уговорили; только пошлите картину на квартиру к моей дочери, на Саут-сквер — вы знаете адрес? Когда у вас закрывается?

— Пошлежавтра, шэр.

Вот как! Значит, подделка под Вик перешла к этому «олдермену»?

Бикет яростно скрипнул зубами и выскользнул на улицу.

Он испытывал странное чувство. Не зря ли он так волнуется? Ведь в конце концов это не она. Но знать, что другая женщина может так же улыбаться, что у нее такие же черные кудри, те же изгибы тела! И он вглядывался в лицо каждой встречной женщины — ну совсем иное, совсем непохоже на Вик!

Когда он пришел домой, он увидел Вик посреди комнаты, с воздушным шариком у губ. Вокруг нее на полу, на стульях, на столе, на камине лежали надутые шары — весь его запас; один за другим они отлетали от ее губ и садились, куда хотели,— пунцовые, оранжевые, зеленые, красные, синие,— оживляя своей пестротой унылую комнату. Все его шары надуты! А Вик стояла среди них, в своем лучшем платье, улыбающаяся, странно возбужденная.

— Это что за представление? — воскликнул Бикет.

Приподняв платье, она вынула из чулка пачку хрустящих бумажек и протянула ему.

— Смотри! Шестьдесят четыре фунта, Тони! Я раздобыла все, что надо. Можем ехать!

— Что?!

— Меня точно осенило — пошла к мистеру Монту, который нам тогда прислал вещи, и он одолжил нам эти деньги. Когда-нибудь мы с ним расплатимся. Ну, разве это не чудо?

Бикет впился испуганными, как у кролика, глазами в

ее лицо. Эта улыбка, этот взволнованный румянец! Странное чувство шевельнулось в нем — не обман ли все это? Вик не похожа на Вик! Нет! И вдруг ее руки обвились вокруг его шеи и влажные губы припали к его губам. Она прильнула к нему так, что он не мог шевельнуться. Голова закружилась.

— Наконец! Наконец-то! Как чудесно! Поцелуй меня, Тони.

Бикет обнял ее; его страсть была неподдельна, но за ней, временно заглушенное, вставало чувство какой-то нереальности...

Когда это случилось— вечером или уже ночью пришло первое сомнение — призрачное, робкое, настойчивое, неотвязное, оно на рассвете вгрызлось ему в душу, сковало его оцепенением. Деньги — картина — пропавшая газета — и это чувство нереальности. То, что она ему рассказала... Разве так бывает? Зачем мистер Монт станет давать в долг деньги? Она с ним виделась — это несомненно: комната, секретарша — она так безошибочно описала мисс Перрен. Откуда же это грызущее сомнение? Деньги — такая куча денег! С мистером Монтом... нет, никогда! Он настоящий джентльмен. Ох, какая же он свинья, что допускает такую мысль о Вик! Он повернулся к ней спиной, попробовал уснуть. Но разве уснешь, когда заползет такое подозрение? Нет! А ее лицо среди шаров — как она зацеловала его глаза, как замутила ему голову так, что он ни подумать, ни спросить, ни сказать ничего не мог. От смутных подозрений, от тоски и неизвестности, от трепетной надежды и видений Австралии Бикет встал совсем измученный.

— Так,— сказал он за завтраком, запивая какао хлеб с маргарином.— Я, во всяком случае, должен повидаться с мистером Монтом.—И вдруг он добавил, глядя ей прямо в лицо: — Вик?

Она ответила на его взгляд так же твердо и прямо — да, прямо. Ох, и свинья же он!..

Когда он ушел, Викторина остановилась посреди комнаты, прижав руки к груди. Она спала еще меньше его. Лежа тихо, как мышь, она без конца думала одно и то же: поверил ли он? поверил ли? А вдруг не поверил — что тогда? Она вынула деньги, за которые было куплено — или продано? — их счастье, и еще раз пе-

ресчитала их. Обида на несправедливость жизни жгла ее. Разве ей хотелось стоять в таком виде перед мужчинами? Разве ей все это легко досталось? Да ведь она могла получить эти шестьдесят фунтов три месяца назад от того скульптора, который по ней с ума сходил,— так он по крайней мере уверял ее. Но она выдержала испытание, да, выдержала. Тони совершенно не за что на нее сердиться, даже если б он узнал все. Ведь она это сделала ради него — главным образом ради него,— чтобы он не продавал эти шары во всякую погоду! Если б не она, они так бы и сидели ни с чем, а впереди зима, и безработица, как пишут в газетах, все растет! Опять сидеть в холоде, в тумане! Брр! Ведь у нее все еще иногда побаливает грудь, а он вечно хрипит. И эта тесная комнатушка, эта кровать, такая узкая, что невозможно повернуться, не разбудив его. Почему Тони сомневается в ней? А ведь он сомневается. Она поняла это из его робкого «Вик?» Убедит ли его мистер Монт? Тони такой хитрый. Она опустила голову. До чего все на свете несправедливо! У одних есть все, как у хорошенькой жены мистера Монта. А когда пытаешься найти выход и попытать заново счастья — вот что получается! Она тряхнула волосами. Тони должен ей поверить, должен. Если нет — она ему покажет. Она ничего не сделала стыдного. Ничего, совершенно ничего! И как будто стремясь пойти вперед и повести за собой свое счастье, она вынула старый, обитый жестью сундучок и аккуратно стала складывать в него вещи.

V

МАЙКЛ ДАЕТ СОВЕТЫ

Майкл все еще сидел над корректурой «Подделок». Кроме «чертовых куличек», у него не было никакого адреса, и послать корректуру было некуда. Восток велик, а Уилфрид не подавал признаков жизни. Вспоминает ли о нем теперь Флер? Майклу казалось, что не вспоминает. А Уилфрид — ну, он, вероятно, тоже начал ее забывать. Даже страсть не может жить, не питаясь.

— К вам мистер Форсайт, сэр.

Привидение в царстве книги!

— А, попросите его зайти.

Сомс вошел, неодобрительно оглядываясь.

— Это ваш кабинет? — спросил он.— Я зашел сообщить, что купил эту картину Обри Грина. Найдется у вас, где ее повесить?

— Конечно, найдется,— сказал Майкл.— Превосходная вещь, сэр, не правда ли?

— М-мда,— проворчал Сомс,— по нашим временам неплохо. Он далеко пойдет.

— Он большой поклонник «Белой обезьяны», которую вы нам подарили.

— А-а! Я сейчас занялся китайской живописью. Если я буду и дальше покупать... — Сомс остановился.

— Да, они вроде противоядия, сэр, не так ли? Помните «Земной рай»? А гуси! У них перышки можно пересчитать.

Сомс не отвечал; он, очевидно, думал: «И как это я пропустил эти вещи, когда они только что появились на рынке?» Он поднял зонтик и, словно указывая на все издательское дело, спросил:

— А как Баттерфилд с этим справляется?

— Ах да, я как раз хотел вам сообщить, сэр. Он пришел вчера и рассказал, что видел на днях Элдерсона. Он зашел предложить ему экземпляр нумерованного издания книги, которую написал мой отец. Элдерсон не сказал ни слова и купил две штуки.

— Не может быть!

— Баттерфилду показалось, что его посещение здорово смутило Элдерсона. Ведь он, наверно, знает, что я связан с этой фирмой и что я — ваш зять.

Сомс нахмурился.

— Не знаю, стоит ли дразнить спящую собаку. Ну, во всяком случае, я сейчас иду туда.

— Упомяните о книге, сэр, и посмотрите, как Элдерсон это примет. Не возьмете ли и вы один экземпляр? Вы все равно состоите в списке. Баттерфилд хотел сегодня к вам зайти. Я вас избавлю от отказа. Вот книга — очень мило издана. Стоит гинею.

— «Дуэт»,— прочел Сомс.—Это о чем же? Музыка?

— Не совсем. Кошачий концерт с участием призраков Гладстона и Дизраэли.

— Я мало читаю,— сказал Сомс. Он вынул бумажник.— Почему вы не берете за нее фунт? Вот вам еще шиллинг.

— Бесконечно благодарен, сэр. Я уверен, что отец будет страшно доволен, когда узнает, что вы купили книгу.

— Вот как? — Сомс чуть заметно улыбнулся.— А вы здесь работаете когда-нибудь?

— Да, пытаемся кое-что сделать.

— Сколько вы зарабатываете?

— Я лично около пятисот фунтов в год.

— И это все?

— Да, но я считаю, что больше трехсот я и не стою.

— Гм-м! Мне казалось, что вы отошли от своего увлечения социализмом?

— Кажется, да, сэр. Как-то он не вязался с моим положением.

— Да,— сказал Сомс.— Флер выглядит как будто хорошо.

— О, она молодцом. Она проделывает эти упражнения по Куэ, знаете?

Сомс прищурился.

— Это влияние матери,— проворчал он,— я в этом не разбираюсь. До свидания!

Он пошел к двери. Его спина казалась очень положительной и реальной. Он скрылся за дверью, и с ним как будто ушло чувство определенности.

Майкл взял корректуру и прочел два стихотворения. Горькие, как хина! Какое волнение, какая тоска в каждом слове! Вот уж где нет ничего китайского! В конце концов люди пожилые, вроде его отца и «Старого Форсайта», правда, по-разному, но все же имеют какую-то опору. «В чем дело? — подумал Майкл.— Что у нас неладно? Мы активны, умны, самоуверенны — и все же не удовлетворены. Если бы только что-нибудь нас увлекло или разозлило! Мы отрицаем религию, традицию, собственность, жалость; а что мы ставим на их место? Красоту? Ерунда! С такими-то критериями, как Уолтер Нэйзинг и кафе «Крильон»? И все же какая-то цель у нас должна быть. Творить лучшую жизнь? Что-то не по-

хоже. Загробный мир? Наверно, мне надо заняться спиритизмом, как сказал бы «Старый Форсайт». Но духи только и делают, что болтаются между загробным миром и нашим, вряд ли они менее взбалмошны, чем мы!»

Так куда же, куда мы идем?

«К черту,— подумал Майкл, вставая из-за стола,— попробую продиктовать объявление!»

— Мисс Перрен, пожалуйста, зайдите ко мне. Объявление о новой книжке Дезерта для библиографических журналов: «Дэнби и Уинтер в скором времени выпускают стихи «Подделки». Поэт — автор «Медяков», имевших непревзойденный успех в текущем году». Как, по-вашему, мисс Перрен, сколько издателей в нынешнем году так писало про свои книги? «В новых стихах— тот же блеск и живость, та же изумительная техника, что и в первом сборнике молодого автора».

— Блеск и живость, мистер Монт? Разве это так?

— Конечно, нет. Но что сказать — все то же отчаяние и пессимизм?

— Нет, нет. Но, может быть, лучше сказать: «Та же блестящая певучесть, те же изменчивые и оригинальные настроения».

— Можно, только дороже будет стоить. Напишите: «Тот же оригинальный блеск», на это они сразу клюнут. Мы обожаем все «оригинальное», но у нас ничего не выходит: утрировка еще, пожалуй, выходит, а «оригинальное» — никак.

— Вот у мистера Дезерта выходит.

— Да, изредка; но больше, пожалуй, ни у кого. Где уж им быть «оригинальными», кишка тонка,— извините за выражение, мисс Перрен.

— Что вы, мистер Монт! Там вас ждет этот молодой человек, Бикет.

— Он пришел, да? — Майкл взял папироску.— Дайте мне собраться с духом, мисс Перрен, и зовите его сюда.

«Ложь во спасение,— подумал он.— Попробуем!»

Появление Бикета в комнате, где он был в последний раз по такому неприятному поводу, было отмечено некоторой натянутостью. Майкл стоял у камина с папиросой, Бикет стал спиной к высокой стопке модного

романа с надписью: «изумительный новый роман» на обложке. Майкл кивнул.

— Здоро́во, Бикет.

Бикет кивнул.

— Как вы поживаете, сэр?

— Замечательно, спасибо.

Наступило молчание.

— Вот что,— наконец проговорил Майкл.— Я предполагаю, что вы пришли по поводу той небольшой суммы, которую я одолжил вашей жене. Вы не беспокойтесь, отдавать не к спеху.

И вдруг он заметил, что маленький человечек ужасно расстроен. И какое странное выражение в этих огромных, как у креветки, глазах, которые как будто хотят выскочить из орбит. Майкл поспешил добавить:

— Я сам верю в Австралию. Я считаю, что вы абсолютно правы, Бикет, и чем скорее вы уедете, тем лучше. Ваша жена неважно выглядит.

Бикет глотнул воздух.

— Сэр,— сказал он,— вы со мной поступили как джентльмен, и мне трудно говорить.

— Ну и не надо.

Кровь хлынула в лицо Бикету, и странным показался румянец на бледном, изможденном лице.

— Вы не так поняли меня,— сказал он.— Я пришел просить вас сказать мне правду,— он вдруг вытащил из кармана бумажку. Майкл узнал смятую обложку романа.

— Я сорвал это с книги на прилавке, там, внизу. Глядите. Это моя жена?

Он протянул Майклу обложку.

Майкл растерянно глядел на обложку сторбертовского романа. Одно дело произнести «ложь во спасение», заранее ее обдумав, другое дело — отрицать очевидность.

Но Бикет и не дал ему говорить.

— Я по вашему лицу вижу, что это она,— сказал он.— Что же это такое? Я желаю знать правду — *я должен* знать правду! Если это ее лицо, значит, там, в галерее,— ее тело... Обри Грин, то же имя. Что же это значит? — Его лицо стало грозным, его простонародный акцент зазвучал резче.— Что за штуку она со мной разыграла? Я не уйду отсюда, пока вы не скажете!

Майкл сдвинул каблуки по-военному и сказал внушительно:

— Спокойней, Бикет!

— Спокойней! Посмотрел бы я, как *вы* были бы спокойны, если б ваша жена... И столько денег! Да вы ей никогда и не давали денег — никогда! И не говорите мне об этом!

Майкл принял твердое решение. Никакой лжи!

— Я одолжил ей десять фунтов, чтобы получилась круглая сумма — вот и все; остальное она заработала честным трудом, и вы должны ею гордиться.

Бикет даже раскрыл рот.

— Гордиться? А как она их заработала? Гордиться! Господи ты боже мой!

— В качестве натурщицы.— Голос Майкла звучал холодно.—Я сам дал ей рекомендацию к моему другу, мистеру Грину, в тот день, когда вы со мной завтракали. Надеюсь, вы слышали о натурщицах?

Пальцы Бикета рвали обложку, обрывки падали на пол.

— Натурщицы! — воскликнул он.— Для художников — да, слышал, еще бы... Свиньи!

— Не больше свиньи, чем вы сами, Бикет. Будьте добры не оскорблять моего друга. Возьмите же себя в руки, слышите? Закурите-ка!

Бикет оттолкнул протянутый портсигар.

— Я... я так гордился ею, а она со мной вот что сделала! — Звук, похожий на рыдание, вырвался из его груди.

— Вы ею гордились,— сказал Майкл, и его голос стал резче,— а когда она делает для вас все, что в ее силах, вы от нее отрекаетесь — выходит, так? Что ж, по-вашему, ей все это доставляло удовольствие?

Бикет вдруг закрыл лицо руками.

— Разве я знаю,— пробормотал он чуть слышно.

Жалость волной охватила Майкла. Жалость? Долой!

Он сухо проговорил:

— Перестаньте, Бикет. Вы, кажется, забыли, что вы сами-то сделали для нее?

Бикет отнял руки от лица и дико уставился на Майкла.

— Уж не рассказали ли вы ей об этом?

— Нет, но расскажу непременно, если только вы не возьмете себя в руки.

— Да не все ли мне равно — рассказывайте. Лежать в таком виде перед всем светом! Шестьдесят фунтов! Честно заработала! Думаете, я так и поверил? — Отчаяние звучало в его голосе.

— Ах так! — сказал Майкл.— Да ведь вы не верите просто потому, что вы невежественны, как те свиньи, о которых вы только что говорили. Женщина может сделать то, что сделала ваша жена, и остаться абсолютно порядочной — я вот нисколько не сомневаюсь, что так оно и было. Достаточно посмотреть на нее и послушать, как она об этом говорит. Она пошла на это, потому что не могла вынести, что вы продаете шары. Она пошла на это, потому что хотела вытащить вас из грязи и найти выход для вас обоих. А теперь, когда этот выход найден, вы подымаете такую бучу. Бросьте, Бикет, будьте молодцом! А как, по-вашему, если бы я ей рассказал, что вы для нее сделали, она бы тоже так ныла и выла? Никогда! И вы поступили по-человечески, и она поступила по-человечески, черт возьми! И, пожалуйста, этого не забывайте.

Бикет снова глотнул воздуху.

— Хорошо вам рассуждать,— сказал он упрямо,— с вами таких вещей не бывало.

Майкла сразу охватило смущение. Нет, с ним этого не бывало! И все прежние сомнения относительно Флер и Уилфрида будто ударили его по лицу.

— Слушайте, Бикет,— сказал он вдруг,— неужели вы сомневаетесь в любви своей жены? В этом ведь все дело. Я видел ее только два раза, но я не понимаю, как можно ей не верить. Если бы она вас не любила, зачем же ей тогда ехать с вами в Австралию, раз она знает, что может заработать здесь большие деньги и весело жить, если захочет. Я могу поручиться за моего друга Грина. Он — сама порядочность, и я знаю, что он не позволил себе ничего лишнего.

Но, глядя Бикету в лицо, он сам подумал: «А все прочие художники тоже были «сама порядочность»?»

— Слушайте, Бикет! Всем нам приходится иногда в жизни тяжко — и это для нас хорошая проверка. Вам

просто надо верить ей — и все; тут ничего больше не поделаешь.

— Выставляться напоказ перед всем светом! — Слова с трудом выходили из пересохшего горла.— Я видел, как картину вчера купил какой-то треклятый олдермен.

Майкл невольно усмехнулся такому определению «Старого Форсайта».

— Если хотите знать,— сказал он,—картина куплена моим тестем нам в подарок и будет висеть в нашем доме. И потом, имейте в виду, Бикет, это превосходная вещь.

— Еще бы! — воскликнул Бикет.— За деньги-то!.. Деньги все могут купить. Они могут и человека купить со всеми потрохами!

«Нет,— подумал Майкл,— с ним ничего не поделаешь. Какая уж тут эмансипация! Он никогда, вероятно, и не слыхал о древних греках. А если и слыхал, то считает их сворой распутных иностранцев. Нет, надо этот разговор кончать». И вдруг он увидел, что слезы выступили на огромных глазах Бикета и покатились по впалым щекам.

Вконец расстроившись, Майкл сказал:

— Когда попадете в Австралию, вы обо всем этом даже не вспомните. Черт возьми, Бикет, будьте же мужчиной! Она сделала это из лучших побуждений. Будь я на вашем месте, я никогда бы и виду не подал, что все знаю. Наверно, и она так поступила бы, если б я рассказал ей, как вы таскали эти злополучные «Медяки».

Бикет сжал кулаки, что до смешного противоречило его слезам, потом, не добавив ни слова, повернулся и поплелся к двери.

«Н-да,— подумал Майкл,— ясно, что давать советы не моя специальность. Несчастный он человечишка!»

VI

КВИТЫ

Шатаясь, как слепой, шел Бикет по Стрэнду. Характер у него от природы был спокойный, и после нервной вспышки он чувствовал себя совершенно больным и разбитым. Солнце и ходьба понемногу восстанавлива-

ли способность мыслить. Он узнал правду. Но вся ли это правда? Неужели все эти деньги она заработала без... Если бы он поверил этому, то, может быть, там, далеко от этого города, где люди за шиллинг могут ее видеть голой, все могло бы забыться. Но столько денег! И даже если и так, если все заработано «честно», как утверждает мистер Монт, сколько дней, перед сколькими мужчинами выставляла она свою наготу! Он громко застонал. Мысль о возвращении домой, о предстоящей сцене, о том, что́ он мог вдруг узнать во время этой сцены, была просто невыносима. И все-таки надо идти домой. Лучше бы ему стоять на тротуаре и торговать шарами. Вот теперь он свободен впервые в жизни, словно какой-нибудь чертов олдермен,— ему только и дела, что пойти и взять билет туда, к этим распроклятым бабочкам! Но чему он обязан этой свободой? Даже мысль об этом была невыносима, и отвлечься от этой мысли нечем. Лучше бы он спер эти деньги из кассы магазина. Лучше бы на совести лежала кража, чем эта страшная, злая мужская ревность. «Будьте мужчиной!» Легко сказать. «Возьмите себя в руки — ведь она сделала это ради вас!» Лучше бы она этого не делала! Блэкфрайерский мост! Нырнуть туда, в грязную воду,— и конец. Нет, еще раза три всплывешь, а потом тебя выловят живьем да еще посадят за это — и ничего не выиграешь, даже не получишь удовольствия от того, что Вик увидит, что она наделала, когда придет опознавать труп. Смерть есть смерть — и ему никогда не узнать, что Вик будет чувствовать после его смерти. Он плелся по мосту, уставившись в землю. Вот и Дич-стрит — как он, бывало, проходя здесь, торопился к Вик, когда она болела воспалением легких. Неужто никогда больше не вернется это чувство? Он пробрался мимо окна и вошел.

Викторина все еще сидела над бурым, обитым жестью сундучком. Она выпрямилась, и ее лицо стало холодным и усталым.

— Ну, я вижу, ты все знаешь,— проговорила она.

Бикету нужно было сделать только два шага в этой крохотной комнатушке. Он шагнул к жене и положил руки ей на плечи. Лицо его пододвинулось вплотную, большие глаза напряженно впились в ее зрачки.

— Я знаю, что ты выставляла себя напоказ перед всем Лондоном; теперь я хочу знать остальное.

Викторина широко открыла глаза.

— Остальное! — В ее голосе даже не звучал вопрос, она просто повторила это слово без всякого выражения.

— Да,— хрипло сказал Бикет,— остальное, ну?

— Если ты думаешь, что было «остальное»,— достаточно!

Бикет отдернул руки.

— Ох, ради всего святого, не говори ты загадками. Я и так чуть не спятил.

— Вижу,— сказала Викторина.— Вижу, что ты не тот, за кого я тебя принимала. Ты думаешь, мне самой это было приятно?

Она приподняла платье и вынула деньги.

— Вот, возьми. Можешь ехать в Австралию без меня.

— И предоставить тебя этим проклятым художникам! — хрипло крикнул Бикет.

— И предоставить меня самой себе. Бери!

Но Бикет отступил к двери, с ужасом глядя на деньги.

— Нет, я не возьму!

— Но я их не могу оставить себе. Я их заработала, чтобы вытащить тебя из этой ямы.

Наступило долгое молчание. Бумажки лежали между ними на столе — почти новые, хрустящие, чуть засаленные — они таили желанную, долгожданную свободу, счастливую жизнь вдвоем, на солнышке. Так они и лежали; никто не хотел их брать. Что же делать?

— Вик,— сказал наконец Бикет хриплым шепотом,— поклянись, что ты ни разу не позволила им коснуться тебя.

— Да, в этом я могу поклясться.

И она могла улыбаться при этих словах — улыбаться своей загадочной улыбкой! Как верить ей? Столько месяцев она жила, скрывая от него все, а потом — солгала ему! Он опустился на стул около стола и уронил голову на руки.

Викторина отвернулась и стала обвязывать сундучок старой веревкой. Бикет поднял голову, услышав звяканье крышки. Значит, она в самом деле хочет уйти от

него? Вся жизнь показалась ему разбитой, пустой, как шелуха ореха на Хэмстед-Хисе. Слезы покатились у него из глаз.

— Когда ты была больна,— сказал он,— я воровал для тебя. Меня за это выкинули со службы.

Она быстро обернулась к нему.

— Тони, ты мне никогда этого не говорил. Что ты крал?

— Книги. Все твое усиленное питание — с этих книг.

Целую минуту она стояла, глядя на него без слов, потом молча протянула руки; Бикет схватил их.

— Мне ни до чего дела нет,— задыхаясь, прошептал он,— клянусь богом! Лишь бы ты любила меня, Вик!

— И мне тоже! Ох, уедем отсюда, Тони, из этой ужасной комнатушки, из этой ужасной страны. Уедем, уедем подальше!

— Да,— сказал Бикет и прижал к глазам ее ладони.

VII

БЕСЕДЫ С ЭЛДЕРСОНОМ

Сомс ушел от Дэнби и Уинтера, думая то об Элдерсоне, то о «Белой обезьяне». Как и предполагала Флер, он крепко запомнил слова Обри Грина об этой картине, уцелевшем обломке жизни Джорджа Форсайта: «Есть плоды жизни, разбрасывать кожуру — и попасться на этом». Сомс пытался применить эти слова к области деловой.

Страна явно проживала свой капитал. При сокращении морских перевозок и кризисе на европейском рынке Англия импортировала продовольствие, за которое не могла расплатиться. По мнению Сомса, они на этом попадутся, и даже очень скоро. Престиж Британии — очень хорошая вещь, предмет восхищения всего мира и все прочее, но нельзя жить без конца одним восхищением. А тут застой в морских перевозках, разорение целого ряда концернов и толпы безработных — веселенькая история, нечего сказать! Даже страхование должно будет пострадать от этого. Может, Элдерсон все это предвидел и заблаговременно обеспечивает себя?

Если все равно в конце концов попадешься — какой смысл быть честным? Эта мысль была так цинична, что вся форсайтская натура Сомса восстала против нее,— и все же она навязчиво лезла в голову. Стоит ли при всеобщем банкротстве трудиться, думать о будущем, оставаться честным? Даже консерваторы перестали называться консерваторами — как будто это слово стало смешным и «консервировать» уже нечего. «Есть плоды, разбрасывать кожуру и в конце концов попасться на этом». Этот молодой художник хорошо сказал, и картину он сделал тоже хорошо, хотя Думетриус, как всегда, заломил несуразную цену. Куда Флер повесит картину? Возможно, в холле — там хорошее освещение, а тех, кто у них бывает, вряд ли особенно смутит обнаженное тело. Интересно, куда девались все картины с нагой натурой? Ему как-то не попадались картины с нагим телом — их так же трудно было найти, как пресловутого мертвого осла. Сомсу вдруг представилась вереница умирающих ослов, бредущих на край света с грузом этюдов обнаженного тела. Отгоняя от себя это несуразное видение, он поднял глаза и увидел вполне реальный собор св. Павла. Этого бедняги с цветными шарами что-то не видно. Впрочем, все равно сказать ему нечего. По странной ассоциации Сомс вспомнил о цели своего похода — об ОГС и полугодовом отчете. По его предложению они постановили просто списать эти германские дела — чистого убытку на двести тридцать тысяч фунтов! Дивидендов никаких не будет, и даже на следующее полугодие перейдет дебет. Но лучше вырвать гнилой зуб сразу и покончить с этим; акционеры за шесть месяцев до общего собрания привыкнут к потере. Он сам уже привык, и они со временем тоже привыкнут. Акционеры редко злятся, если их не пугать,— долготерпеливая публика!

В конторе старый клерк, как всегда, наполнял чернильницы из бутыли.

— Директор здесь?

— Да, сэр.

— Пожалуйста, скажите, что я пришел.

Старый клерк вышел. Сомс взглянул на часы. Двенадцать! Тоненький луч света скользнул по обоям и полу. В комнате не было ничего живого, кроме синей

мухи и тикающих часов, даже свежей газеты не было. Сомс следил за мухой. Он вспомнил, как в детстве предпочитал синих мух простым за их яркую окраску. Это был урок. Яркие вещи, блестящие люди — самое опасное в жизни. Взять хоть кайзера и этого пресловутого итальянского поэта — как его там? А их собственный фигляр! Он не удивится, если окажется, что Элдерсон — блестящий человек в личной жизни. Что же он не идет? Может быть, виной этой задержки встреча с молодым Баттерфилдом? Муха поползла по стеклу, упала, жужжа, снова поползла; солнечный луч крался по полу. В комнате стояла пустота и тишина, словно воплощение основного правила страхования. «Незыблемость и неизменность».

«Что же мне, вечно здесь торчать?» — подумал Сомс и подошел к окну. На этой широкой улице, выходившей к реке, солнце освещало только нескольких пешеходов и тележку разносчика, но дальше, на главной улице, грохотало и шумело уличное движение. Лондон! Чудовищный город! И весь застрахован! Что с ним будет через тридцать лет? И только подумать, что будет существовать Лондон, которого он не увидит. Ему стало жаль города, жаль себя. Даже старого Грэдмена не будет. Вероятно, страховые общества позаботятся обо всем — а может быть, и нет. И вдруг он увидел Элдерсона. Он был вполне элегантен, в светлом костюме, с гвоздикой в петлице.

— Размышляете о будущем, мистер Форсайт?

— Нет,— ответил Сомс. Как этот человек угадал его мысли?

— Я рад, что вы зашли. Я имею возможность поблагодарить вас за тот интерес, какой вы проявляете к делам Общества. Это очень редко бывает. Обычно директор-распорядитель все делает один.

Насмехается? Тон у него очень оживленный, даже слегка нахальный. Хорошее настроение всегда казалось Сомсу подозрительным — обычно тут крылась какая-то причина.

— Если бы все директора относились к делу так же добросовестно, как вы, можно было бы спать спокойно. Я прямо скажу вам, что помощь, которую мне оказы-

вало правление до того, как вы стали его членом, была... ну, скажем, просто ничтожной.

Льстит! Наверно, ведет к чему-то!

Элдерсон продолжал:

— Могу сказать вам то, чего не мог сказать никому другому: я очень недоволен тем, как идут дела, мистер Форсайт. Англия скоро увидит, в каком положении она очутилась.

Услышав такое неожиданное подтверждение своих собственных мыслей, Сомс вдруг ощутил реакцию.

— Нечего плакать прежде, чем мы расшиблись. Фунт стоит высоко, мы еще крепко сидим.

— Сидим в калоше! И если не принять решительных мер, мы так там и останемся. А вы знаете, что всякие решительные меры — это дезорганизация, и ощутимых результатов надо ждать годами.

И как этот человек мог говорить такие вещи и при этом блестеть и сиять, как новый медяк? Это подтверждало теорию Сомса: видимо, ему безразлично, что будет. И вдруг Сомс решил попробовать.

— Кстати, о годах ожидания: я пришел сказать, что нужно, по-моему, созвать собрание пайщиков по поводу этих убытков на германских контрактах.

Сомс проговорил эти слова, глядя в пол, и внезапно поднял голову. Светло-серые глаза Элдерсона встретили его взгляд не сморгнув.

— Я ждал, что вы это предложите,—сказал он.

«Как же, ждал ты»,— подумал Сомс, потому что ему самому это только что пришло в голову.

— Конечно, соберите акционеров, но вряд ли правление это одобрит.

Сомс удержался, чтобы не сказать: «И я тоже».

— И пайщики не одобрят. По долголетнему опыту я знаю, что чем меньше вы их впутываете во всякие неприятности, тем лучше для всех.

— Может быть, и так,— сказал Сомс, упрямо стоя на своем,— но это один из видов порочного нежелания смотреть фактам в глаза.

— Не думаю, мистер Форсайт, что вы в будущем сможете обвинить меня в том, что я не смотрел фактам в глаза.

В будущем! Черт возьми, на что же этот человек намекает?

— Во всяком случае, я предложу это на ближайшем заседании правления,— сказал он.

— Конечно! — поддержал Элдерсон.— Самое лучшее — всегда доводить дело до конца, не так ли?

Снова чуть заметная ирония. Как будто он что-то скрывал. Сомс машинально посмотрел на манжеты этого человека, отлично выглаженные, с голубой полоской; на его пикейный жилет и пестрый галстук — настоящий денди. Ничего, сейчас он ему закатит вторую порцию!

— Кстати,— сказал он,— Монт написал книгу. Я купил один экземпляр.

Не сморгнул! Только чуть больше обнажились зубы — безусловно, фальшивые!

— А я взял две. Милый, бедный Монт!

Сомс почувствовал себя побежденным. Этот тип был забронирован, как краб, отлакирован, как испанский стол.

— Ну, мне надо идти,— объявил Сомс.

Директор-распорядитель протянул ему руку.

— Прощайте, мистер Форсайт. Я так вам благодарен.

Что это, Элдерсон даже пожимает ему руку? Сомс вышел смущенный. Так редко жали ему руку. Он почувствовал, что это его сбило с толку. А может, это только заключительная сцена умелой комедии? Как знать! Однако теперь у него было еще меньше желания созывать собрание пайщиков, чем раньше. Нет, это просто был пробный камень — и тут Сомс промахнулся. Впрочем, другой камешек — насчет Баттерфилда — попал в цель. Если бы Элдерсон был невиновен, он обязательно сказал бы: «Какая наглость — это посещение». Хотя у такого типа достанет хладнокровия нарочно смолчать, чтобы подразнить человека. Нет! Ничего не попишешь, как теперь говорят. У Сомса было так же мало доказательств виновности, как и раньше, и он, откровенно говоря, был этому рад. Ни к чему такой скандал не приведет, разве что очернит все Общество вместе с директорами. Люди ведь так неосторожны — они никогда не знают, где остановиться, не разбираются в том, кто действительно виноват. Надо держаться начеку и про-

должать свое дело. Нечего тревожить осиное гнездо. Сомс шел и думал об этом, как вдруг его окликнул голос:

— Приятная встреча, Форсайт! Нам по дороге?

«Старый Монт» спускался по лестнице из «Клуба шутников».

— А вам куда? — спросил Сомс.

— Иду завтракать в «Аэроплан».

— А-а, в этот новомодный клуб?

— Он идет в гору, вы знаете, идет в гору!

— Я только что видел Элдерсона. Он купил два экземпляра вашей книги.

— Да что вы! Вот бедняга!

Сомс слегка улыбнулся.

— Он то же самое сказал про вас! А как вы думаете, кто ему их продал? Молодой Баттерфилд!

— И он еще жив?

— Был жив сегодня утром.

Сэр Лоренс хитро сощурился.

— Знаете, что я думаю, Форсайт. Говорят, что у Элдерсона на содержании две женщины.

Сомс раскрыл глаза. Это мысль! Все объясняется тогда очень просто.

— Моя жена говорит, что одна из них безусловно лишняя. А вы что скажете?

— Я? — сказал Сомс.— Я только знаю, что этот человек хладнокровен, как рыба. Ну, мне сюда! До свидания!

Нет, никакой помощи от этого баронетишки не дождаться. Решительно ничего не принимает всерьез. Две женщины у Элдерсона! В его-то годы! Ну и жизнь! И всегда находятся такие люди, которым все мало, они идут на любой риск. Сомс не мог этого понять. Сколько ни изучай таких людей — ничего не разберешь! И все-таки такие люди существуют. Он прошел через холл в комнату, где завтракали «знатоки». Взяв со стола меню, он заказал дюжину устриц, но, вспомнив, что в названии месяца нет буквы «р», взял вместо них жареную камбалу [1].

[1] Англичане утверждают, что устрицы вкусны только в те месяцы, в названиях которых есть буква «р»,— то есть с сентября по апрель.

VIII

СБЕЖАЛ

— Нет, родная, природа сдана в архив.

— Что ты хочешь этим сказать, Майкл?

— Да ты почитай романы с природой. Прилизанные описания корнуэлских скал или йоркширских болот—ты была когда-нибудь на йоркширском болоте? Просто не выдержать! А романы о Дартмуре! Жуть! Этот Дартмур, откуда приходят все страсти,— а ты была там когда-нибудь? Ведь все это ерунда! А эти, которые пишут о Полинезии! Ой-ой-ой! А поэты, из тех, что «брызжут и блещут»,— разве они в состоянии показать природу? Те, которые работают под сельских простачков, чуть получше, конечно. В конце концов старик Вордсворт дал нам Природу с большой буквы, и она успокоительна, как бром. Конечно, есть еще настоящая природа, с маленькой буквы; если ты имеешь дело с ней, то тут обычно идет борьба не на жизнь, а на смерть. А Природу, о которой мы столько кричим, запатентовали, сделали из нее настой и разлили по бутылкам. Для современного стиля природа уже устарела.

— Ну, ладно, давай все же покатаемся по реке, Майкл. Может, выпить чаю в «Шелтере»?

Они уже подъезжали к дому, который Майкл называл «завидной резиденцией», когда Флер наклонилась вперед и, коснувшись его колена, сказала:

— Я к тебе и вполовину не так отношусь, как ты заслуживаешь, Майкл.

— Что ты, детка! А по-моему, так.

— Я знаю, я эгоистка, особенно теперь.

— Но ведь это из-за одиннадцатого баронета.

— Да, ребенок — большая ответственность. Я надеюсь, что он будет похож на тебя.

Майкл подвел лодку к пристани, сложил весла и сел рядом с Флер.

— Если он пойдет в меня, я его лишу наследства. Но сыновья обычно похожи на мать.

— Я говорю про характер. Я страшно хочу, чтоб он был веселый, спокойный и чтоб он чувствовал, что стоит жить на свете.

Майкл поглядел на ее губы — они дрожали,— на ее щеку, покрывшуюся легким загаром за этот день на солнце, и, наклонившись, он прижался к ее щеке.

— Я уверен, он будет славный малыш, веселый.

Флер покачала головой.

— Я не хочу, чтоб он был жадный и занят только собой — у меня, знаешь, это в крови; я вижу, как это плохо, и ничего не могу с собой сделать. Как ты умудряешься быть не таким?

Майкл взъерошил волосы свободной рукой.

— Солнце не слишком печет, маленькая?

— Нет, серьезно, Майкл, как ты умудряешься?

— Но ведь я тоже жадный. Ты ведь знаешь, как ты мне нужна. И тут уж ничем не поможешь.

Ее щека ласково потерлась об его щеку, и, осмелев, он сказал:

— Помнишь, как ты однажды вечером в этом самом месте подошла к берегу и увидела меня в лодке. Когда ты ушла, я стал на голову, чтобы охладить ее. Я тогда чуть с ума не сошел, совсем не надеялся.— Он остановился. Нет! Не стоит ей напоминать, что в тот вечер она ему сказала: «Приходите опять, когда я наверно буду знать, что не добьюсь своего». Неведомый братец!

Флер сказала спокойно:

— Я была свиньей по отношению к тебе, Майкл. Но я была страшно несчастна. Это прошло наконец, совсем прошло. Теперь все в порядке, кроме моего характера.

— Ну, это ничего. А как насчет чаю?

Рука об руку они поднялись по лужайке. Дома никого не было: Сомс уехал в Лондон, Аннет — в гости.

— Дайте нам чай на веранду,— попросила Флер.

Сидя рядом с Флер, такой счастливый, каким он себя еще не помнил, Майкл чувствовал всю прелесть Природы с большой буквы, чувствовал косые лучи солнца, запах гвоздики и роз, шелест осин. Ворковали любимые голуби Аннет, а на дальнем берегу спокойной реки высились кроны тополей. Но в конце концов он так наслаждался всем этим потому, что рядом была его любимая, и смотреть на нее, касаться ее было его радостью.

И впервые он чувствовал, что ей не хочется встать и упорхнуть куда-нибудь, к кому-нибудь другому. Странно, что вот так, вне тебя, может существовать другой человек, который абсолютно отнял у всего на свете значение, забрал в свои руки «всю эту музыку», и что этот человек — твоя жена! Ужасно странно, особенно если подумать, что́ ты, в сущности, такое! Он услышал голос Флер:

— Мать у меня, конечно, католичка; она не ходит в церковь потому, что живет с отцом здесь. Она и меня не очень заставляла. Но я все думаю, Майкл, как мы поступим с *ним*?

— Пусть растет, как хочет.

— Не знаю. Чему-нибудь его надо учить, ведь он пойдет в школу. Католикам религия все-таки что-то дает.

— Да, вера вслепую. Это сейчас единственный логический путь.

— Я думаю, что человеку без религии всегда кажется, что ничто на свете не имеет значения.

Майкл чуть было не сказал: «Давай воспитывать его солнцепоклонником», но вместо этого проговорил:

— Мне кажется, чему бы его ни учить — все это только пока он сам не начнет думать, а уж тогда он решит, что ему больше всего подходит.

— Ну, а твое мнение, Майкл? Ведь ты один из самых хороших людей, кого я знаю.

— Ну да,— сказал Майкл, странно польщенный,— Разве?

— Нет, серьезно, что ты об этом думаешь, Майкл?

— Видишь ли, детка, никакой доктрины я не придерживаюсь, значит, и религии у меня нет. Я считаю, что надо быть на высоте,— но это уже этика.

— Но ведь, право же, трудно ни во что не верить, кроме себя самого. Если из какой-нибудь религии можно что-либо извлечь, то не лучше ли ее принять?

Майкл улыбнулся — правда, только мысленно.

— Ты можешь поступать с одиннадцатым баронетом, как тебе будет угодно, а я буду тебе помогать. При его наследственности он, наверно, будет немножко скептиком.

— Но я не хочу этого! Мне гораздо больше хочется, чтобы он был последовательный и убежденный. Скептицизм только лишает людей спокойствия.

— Чтобы в нем не было «белой обезьяны», да? Ну не знаю. Это, по-моему, носится в воздухе. Самое главное — вбить ему с малолетства уважение к другим людям, вбить хоть шлепками, если нужно.

Флер посмотрела на него ясными глазами и засмеялась.

— Да,— сказала она.— Моя мать пробовала так меня воспитывать, но папа запретил.

Они вернулись домой в девятом часу.

— Либо твой отец здесь, либо мой,— сказал Майкл в холле.— Вон лежит доисторическая шляпа.

— Это папина. Она внутри серая, а у Барта — беж.

Действительно, в китайской гостиной сидел Сомс, держа в руке распечатанное письмо, а у его ног Тинг-а-Линг. Сомс протянул письмо Майклу, не говоря ни слова. На письме не было ни даты, ни адреса. Майкл стал читать:

«Дорогой мистер Форсайт,

Может быть, Вы будете столь любезны доложить правлению на заседании, во вторник, что я уезжаю, чтобы оказаться в безопасности от последствий каких бы то ни было грехов, если таковые за мной водились. Когда Вы получите это письмо, я буду за пределами досягаемости. Как в частной жизни, так и в делах я всегда держался того мнения, что надо уметь вовремя остановиться. Бесполезно будет предпринимать против меня судебное преследование, так как, выражаясь юридическим языком, моя особа будет неприкосновенна и никакого имущества я не оставляю. Если Ваша цель была — поймать меня в ловушку, я не могу поздравить Вас с Вашей тактикой. Если, напротив, посещение того молодого человека было инспирировано Вами как предупреждение о том, что Вы собираетесь довести дело до конца, я почитаю своим приятным долгом еще раз поблагодарить Вас, как благодарил при Вашем последнем посещении.

Остаюсь, любезный мистер Форсайт,

Ваш покорный слуга *Роберт Элдерсон.*»

Майкл весело проговорил:

— Счастливое избавление! Теперь вы будете чувствовать себя спокойнее, сэр.

Сомс провел рукой по лицу, словно желая стереть застывшее на нем выражение.

— Мы обсудим это после, — сказал он. — Ваша собачонка все время сидела тут со мной.

Майкл восхищался тестем в этот момент: он явно скрывал свое огорчение ради Флер.

— Флер немного устала, — сказал он. — Мы катались по реке и пили чай в «Шелтере». Мадам не было дома. Давай сейчас же обедать, Флер.

Флер взяла на руки Тинг-а-Линга и пыталась уклониться от его жадного язычка.

— Прости, что заставили тебя ждать, папа, — проговорила она, прячась за коричневой шерстью. — Я только пойду умоюсь, а переодеваться не стану.

Когда она ушла, Сомс протянул руку за письмом.

— Хорошая заварилась каша, а? Не знаю, чем это кончится.

— Но разве это еще не конец, сэр?

Сомс изумленно посмотрел на него. Ох, уж эта молодежь! Тут ему угрожает публичный скандал, который может привести бог весть к чему — к потере имени в Сити, возможно, и к потере состояния, а им хоть бы что! Никакого чувства ответственности, абсолютно никакого. Все дурные предчувствия, обычно одолевавшие Джемса, весь его пессимизм проснулся в Сомсе с той минуты, как ему вручили в клубе это письмо. Только удивительная выдержка следующего за Джемсом поколения мешала ему даже сейчас, когда Флер вышла из комнаты, дать волю своим страхам.

— Ваш отец в городе?

— Вероятно, сэр.

— Отлично! — Сомс, впрочем, не чувствовал особого облегчения. Этот баронетишка тоже довольно безответственный человек — заставить Сомса войти в такое правление!

А все оттого, что связываешься с людьми, воспитанными в непростительном легкомыслии, без всякого понимания ценности денег.

— Теперь, когда Элдерсон сбежал, — заговорил

Сомс,— все должно открыться. Его признание у меня в руках.

— А почему бы не разорвать его, сэр, и не объявить, что Элдерсон заболел туберкулезом?

Невозможность добиться серьезности от этого молодого человека действовала на Сомса так, как если бы он объелся тяжелым пудингом.

— И, по-вашему, это было бы честно? — сурово сказал он.

— Простите, сэр,— Майкл сразу отрезвел.— Чем мне вам помочь?

— Тем, что оставите ваше легкомыслие и постараетесь скрыть все это от Флер.

— Непременно,— проговорил Майкл серьезным тоном,— обещаю вам. Буду молчать, как рыба. А что вы собираетесь предпринять?

— Нам придется созвать пайщиков и объяснить всю эту махинацию. Они, вероятно, истолкуют ее в дурную сторону.

— Но почему? Вы ведь никак не могли предотвратить то, что произошло?

Сомс сердито фыркнул.

— В жизни нет никакой связи между воздаянием и заслугами. Если война вас этому не научила, то ничто не научит.

— Так,— сказал Майкл.— Ну, сейчас придет Флер. Вы меня извините на минуту — мы продолжим наш разговор при первой возможности.

Возможность представилась, только когда Флер легла спать.

— Вот что, сэр,— сказал Майкл,— мой отец сейчас, наверно, в «Аэроплане». Он ходит туда размышлять о конце света. Хотите, я его вызову, если завтра у вас действительно заседание правления?

Сомс кивнул. Сам он всю ночь не сомкнет глаз — чего же ему щадить «Старого Монта»?

Майкл подошел к китайскому шкафчику.

— Барт? Говорит Майкл. Старый Фор... мой тесть сидит у нас; он проглотил горькую пилюлю... Нет, Элдерсон. Не можете ли вы заехать и послушать?.. Он приедет, сэр. Останемся здесь или поднимемся ко мне в кабинет?

— Здесь,— сказал Сомс, пристально разглядывая «Белую обезьяну».— Не знаю, куда мы идем,— внезапно добавил он.

— Если б мы знали, мы умерли бы от скуки, сэр.

— Это ваше личное мнение. Просто не на кого положиться! Не знаю, куда это нас заведет.

— Может быть, куда-нибудь, не в ад и не в рай.

— Подумать только — человек его лет!

— Он одних лет с моим отцом, сэр; возможно, это было неважное поколение. Если бы вы побывали на войне, сэр, вы бы смотрели на жизнь веселее.

— Вы уверены? — проворчал Сомс.

— Конечно! Война здорово выбивает из колеи — это верно; но зато когда попадешь в такую переделку, тут уж понимаешь, что такое выдержка.

Сомс поглядел на него. Неужели этот юнец читает ему лекцию о вреде пессимизма?

— Возьмите Баттерфилда,— продолжал Майкл,— ведь пошел же он к Элдерсону. Возьмите девочку, которая позировала для этой картины — знаете, что вы нам подарили. Она — жена того упаковщика, которого от нас выперли за кражу книг. Она заработала уйму денег тем, что позировала голой; и не сбилась с пути. Теперь они едут в Австралию на эти деньги. Да возьмите и самого этого воришку: он таскал книги, чтобы подкормить жену после воспаления легких, а потом стал торговать воздушными шарами.

— Не понимаю, к чему вы это все рассказываете,— сказал Сомс.

— Я говорю о выдержке, сэр. Вы ведь сказали, что не знаете, к чему мы идем. Посмотрите хотя бы на безработных. Разве есть еще страна в мире, где они так держатся, как здесь? Право, я иногда начинаю гордиться, что я англичанин. А вы?

Слова Майкла задели что-то глубоко в душе Сомса; но, не выдавая своих переживаний, он продолжал смотреть на «Белую обезьяну». Какая тревожная, нечеловеческая и вместе с тем страшно человеческая угрюмая тоска в глазах этого существа! «Белков глаз не видно,— подумал Сомс,— должно быть, оттого это и кажется». И Джорджу нравилось, чтобы такая картина

висела против его кровати! Да, у Джорджа была выдержка — шутил до последнего вздоха; настоящий англичанин этот Джордж. И все Форсайты — настоящие англичане. Старый дядя Джолион и его обращение с пайщиками; Суизин — прямой, надутый, огромный в слишком тесном для него кресле у Тимоти. «Вся эта мелкота!» — Сомс как будто слышал, как он произносит эти слова. И дядя Николас, на которого так похож этот тип, Элдерсон,— правда только внешне,— тоже живой и очень любивший пожить человек, но совершенно вне всяких подозрений в нечестности. А старый Роджер с его причудами и немецкой бараниной! И, наконец, его собственный отец, Джемс,— как он долго тянул; худой — в чем только душа держалась! — и все-таки жил да жил. А Тимоти, словно законсервированный в консолях, доживший до ста лет! Выдержка и крепкий костяк у всех этих прежних англичан, несмотря на их чудачества. И в Сомсе зашевелилась какая-то атавистическая сила воли. Поживем — увидим и другим покажем, вот и все!

Шум автомобиля вывел его из раздумья. Вошел «Старый Монт» — конечно, такой же чирикающий и легкомысленный, как всегда. И вместо того, чтобы протянуть руку, Сомс протянул ему письмо Элдерсона.

— Ваш драгоценный школьный товарищ сбежал,— проговорил он.

Сэр Лоренс прочел письмо и свистнул.

— А куда он сбежал, по-вашему, Форсайт,— в Константинополь?

— Скорее в Монте-Карло,— угрюмо сказал Сомс.— Незаконно получал комиссию — за это власти не обязаны его выдавать.

Лицо баронета странно передернулось, что доставило Сомсу некоторое удовольствие: почувствовал все-таки!

— Я полагаю, он просто удрал от своих дам, Форсайт.

Нет, этот человек неисправим! Сомс сердито пожал плечами.

— Не мешало бы вам понять, что дело совсем скверно.

— Но, право, дорогой мой Форсайт, дело скверно уже с тех пор, как французы заняли Рур. Элдерсон бла-

гополучно скрылся, мы назначим кого-нибудь другого— только и всего.

Сомсу вдруг показалось, что он сам преувеличенно честен. Если такой почтенный человек, девятый баронет, не видит, какие обязательства налагает на них признание Элдерсона, то существуют ли эти обязательства? Нужно ли поднимать скандал и шум? Видит бог, ему лично этого не хочется! И он с трудом проговорил:

— У нас теперь на руках неопровержимое доказательство мошенничества. Мы *знаем*, что Элдерсон брал взятки за проведение сделок, на которых пайщики понесли большой убыток. Как же мы можем скрывать от них эти сведения?

— Но ведь дело уже сделано, Форсайт. Разве пайщикам поможет, если они узнают правду?

Сомс нахмурился.

— Мы — доверенные лица. Я не намерен идти на риск и скрывать этот обман. Если мы скроем его, мы станем соучастниками. В любое время все может обнаружиться.

Если в нем говорила осторожность, а не честность — что поделать!

— Я бы хотел пощадить имя Элдерсона. Мы с ним вместе...

— Знаю,— сухо отрезал Сомс.

— Но как же может открыться, Форсайт? Элдерсон не расскажет, Баттерфилд — тоже, если вы ему прикажете. Те, кто давал взятки, и подавно будут молчать. А кроме нас троих, никто не знает. И ведь нам никакой выгоды это не дало.

Сомс молчал. Аргумент довольно веский. Конечно, крайне несправедливо, чтобы он, Сомс, нес наказание за грехи Элдерсона!

— Нет,— сказал он вдруг,— так не годится. Отступи от закона хоть раз — и неизвестно, куда это заведет. Пайщики понесли убытки, и они вправе знать все факты, которые известны директорам. Может быть, они найдут какой-нибудь способ поправить дело. Об этом не нам судить. Может быть, они найдут средство против нас самих.

— Ну если так, Форсайт, то я с вами.

Сомсу стало неприятно. Нечего Монту изображать

рыцарские чувства там, где они ему ничего не стоят; если дойдет до расплаты, так пострадает не Монт, чьи земли заложены и перезаложены, а он сам, потому что его имущество можно легко реализовать.

— Прекрасно,— холодно проговорил он.— Не забудьте завтра ваши слова. Я иду спать.

Стоя в своей комнате у открытого окна, он не чувствовал себя очень добродетельным, а просто был спокойнее. Он наметил свою линию — и не отступит от нее!

IX

СОМСУ РЕШИТЕЛЬНО ВСЕ РАВНО

За этот месяц, после получения письма Элдерсона, Сомс постарел больше чем на тридцать дней. Он заставил сомневающееся правление принять его план — сообщить обо всем пайщикам; было назначено специальное собрание, и точно так же, как двадцать три года тому назад, когда он разводился с Ирэн, он должен был предстать перед публикой, так что сейчас он день и ночь уже страдал от страха перед пронзительными глазами толпы. У французов есть пословица: «Отсутствующие всегда виноваты», но Сомс сильно сомневался в ее правильности. Элдерсона на общем собрании не будет, но Сомс готов был пари держать, что вину возложат не на отсутствующего Элдерсона, а на него самого. Вообще французам нельзя доверять. Волнуясь за Флер, боясь публичного выступления, Сомс плохо спал, плохо ел и чувствовал себя прескверно. Аннет посоветовала ему пойти к врачу. Вероятно, поэтому он и не пошел. Он верил докторам, но только для других, ему же, как он обычно говорил, они никогда не помогали — скорей всего потому, что до сих пор их помощь не требовалась.

Видя, что он не слушается ее советов и с каждым днем становится все угрюмее, Аннет дала ему книжку Куэ. Он пробежал брошюрку и собирался бросить ее в поезде, но теория, какой бы экстравагантной она ему ни казалась, чем-то его привлекла. В конце концов делает же Флер эти упражнения; к тому же они ничего не стоят, и все-таки — вдруг поможет! И помогло. Внушив се-

бе двадцать пять раз подряд перед сном, что он чувствует себя все лучше и лучше, он в эту ночь спал так крепко, что Аннет в соседней комнате совсем не спала.

— Знаешь ли, мой друг,— сказала она за завтраком,— ты так храпел сегодня ночью, что я даже не слышала, как запел петух.

— А зачем тебе его слышать? — сказал Сомс.

— Ну, это неважно, если только ты хорошо выспался. Уж не мой ли Куэ помог тебе так чудесно заснуть?

Отчасти из нежелания поощрять Куэ, отчасти из нежелания поощрять Аннет, Сомс уклонился от ответа; но у него было странное ощущение своей силы, словно ему стало все равно, что скажут люди.

«Обязательно сегодня вечером еще раз проделаю»,— подумал он.

— Ты знаешь,— продолжала Аннет,— у тебя идеальный темперамент для Куэ. Если ты излечишься от своих тревог, ты, наверно, располнеешь.

— Располнею! — и Сомс посмотрел на ее округлую фигуру.— Ты еще скажи, что я отпущу бороду!

Полнота и бороды у него ассоциировались с французами. Нет, надо за собой последить, если хочешь продолжать эту... гм... как же это назвать? Ерундой не назовешь, даже если и приходится завязывать двадцать пять узелков на веревочке. Как это по-французски! Словно перебирать четки. Сам он, правда, только просчитал по пальцам. Ощущение своей силы продолжалось и в поезде, до самого Лондона; он был убежден, что может посидеть на сквозняке, если захочет; что Флер благополучно разрешится мальчиком; что же касается ОГС, то десять против одного, что его имя не будет упомянуто в отчетах и речах.

После раннего завтрака и еще двадцати пяти внушений за кофе он отправился в Сити.

Это заседание правления перед экстренным собранием пайщиков было вроде генеральной репетиции. Предстояло выработать детали отчета, и Сомс особенно старался, чтобы была соблюдена безличная форма. Он был категорически против того, чтобы открыть пайщикам, что молодой Баттерфилд рассказал, а Элдерсон на-

писал именно ему, надо просто сказать: «Один из членов правления». Больше ничего не надо. Разумеется, объяснения давать придется председателю и старшему директору — лорду Фонтеною. Однако Сомс убедился, что правление считает, будто именно ему нужно изложить дело перед собранием. Никто, говорили они, не может сделать это так убедительно и уверенно. Председатель сделает краткое вступление и потом попросит Сомса дать показания обо всем, что ему известно. Лорд Фонтеной настойчиво твердил:

— Это ваше дело, мистер Форсайт. Если бы не вы, Элдерсон и посейчас был бы здесь. С самого начала до самого конца вы все время шли против него; и, черт возьми, лучше бы вы этого не делали! Видите, какие вышли неприятности! Он был большой умник, мы еще о нем пожалеем. Наш новый директор-распорядитель и в подметки ему не годится. А если он и взял тайком несколько тысчонок, так ведь брал-то он с немчуры.

Вот старая морская свинка! Сомс едко возразил:

— А те четверть миллиона, которые потеряли пайщики ради этих нескольких тысчонок,— это, по-вашему, пустяк?

— Пайщики могли бы получить и прибыль, как в первый год. Кто из нас не ошибается!

Сомс переводил взгляд с лица на лицо. Никто не поддерживал Фонтеноя, но в глазах у всех, кроме разве «Старого Монта», он прочел озлобление против себя. Как будто на этих лицах было написано: «Ничего у нас не случалось, пока вы не появились в правлении». Да, он нарушил их спокойствие — и за это его не любят. Какая несправедливость! Сомс сказал вызывающе:

— Значит, вы предоставляете все дело мне? Отлично!

Какую линию он собирался проводить и была ли у него в виду какая-либо определенная линия, он и сам не знал, но после этих слов даже «старая морская свинка» Фонтеной, и тот стал с ним несравненно любезнее. Однако, уходя с собрания, Сомс чувствовал полный упадок сил. Значит, во вторник придется ему стоять у всех на виду.

Справившись по телефону о здоровье Флер — она лежала, так как плохо себя чувствовала,— Сомс поехал домой с ощущением, что его предали. Оказывается все же, что нельзя полагаться на этого француза с его двадцатью пятью узелками. Как бы он себя хорошо ни чувствовал, его дочь, его репутация и, возможно, даже его состояние не зависели от его подсознательного «я». За обедом он молчал, а потом прошел в свою картинную галерею, чтобы все обдумать. Полчаса он простоял у открытого окна, наедине с летним вечером; и чем дольше он стоял, тем лучше понимал, что в его жизни все связано одно с другим. Его дочь — да разве не ради нее он заботится о своей репутации и о своем состоянии? Репутация? Какие они дураки, если не видят, что он был осторожен и честен, как только мог,— что ж, тем хуже для них! Его состояние... да, надо будет на всякий случай теперь же перевести на имя Флер и ее ребенка еще пятьдесят тысяч. Только бы она благополучно разрешилась! Пора Аннет совсем к ней переехать. Говорят, есть какой-то наркоз. Ей страдать — да разве можно!

Вечер медленно угасал. Солнце зашло за давно знакомые деревья. Руки Сомса, впившиеся в подоконник, почувствовали сырость росы. Аромат травы и реки подкрался к нему. Небо побледнело и стало темнеть; высыпали звезды. Он долго прожил здесь — все детство Флер, лучшие годы своей жизни. Но все-таки он не будет в отчаянии, если придется все продать,— он всей душой в Лондоне. Продать? Не слишком ли он забегает вперед? Нет, нет, до этого не дойдет! Он отвел взгляд от окна и, повернув выключатель, в тысячу первый раз обошел галерею. После свадьбы Флер он купил несколько прекрасных экземпляров, не тратил зря деньги на всяких модных художников. И продал кое-что тоже очень удачно. По его вычислениям, собрание в этой галерее стоит от семидесяти до ста тысяч фунтов; и если считать, что он иногда продавал очень выгодно, то вся коллекция обошлась ему тысяч в двадцать пять, не больше. Неплохой результат увлечения коллекционерством, уже не говоря об удовольствии. Конечно, он мог бы увлечься чем-нибудь другим: бабочками, фотографией, археологией или первыми изданиями книг; мало ли

в какой области можно противопоставить свой вкус общепринятой моде и выиграть на этом; но он ни разу не пожалел, что выбрал картины. О нет! Тут было что показать за свои деньги, было больше славы, больше прибыли и больше риска. Эта мысль его самого слегка поразила: неужели он увлекся картинами, потому что в этом был риск? Риск никогда не привлекал его — по крайней мере так он думал до сих пор. Может быть, тут играло роль «подсознание»? Вдруг он сел и закрыл глаза. Надо еще раз попробовать — удивительно приятное ощущение было утром, что «все — все равно!» Он не помнил, чтобы раньше у него бывало такое чувство. Всегда ему казалось, что обязательно нужно беспокоиться,— что-то вроде страховки от неведомых зол. Но беспокойство так утомляет, так страшно утомляет. Не потушить ли свет? В книжке говорилось, что надо расслабить мускулы. По смутно освещенной комнате ложились тени; звездный свет, входя в большие окна, одевал все предметы дымкой нереальности, и Сомс тихо сидел в большом кресле. Неясное бормотание слетало с его губ: «Полнее, полнее, полнее». «Нет, нет,— подумал он,— я не то говорю». И он снова начал бормотать: «Спокойней, спокойней, спокойней». Кончики пальцев отстукивали такт. Еще, еще — надо как следует попробовать. Если бы не надо было беспокоиться! Еще, еще— «спокойней, спокойней, спокойней!» Если бы только... Его губы перестали шевелиться, седая голова упала на грудь, он погрузился в подсознание. И звездный свет одел и его дымкой нереальности.

X

НО ОСТОРОЖНОСТЬ — БЛАГОЕ ДЕЛО

Майкл совершенно не знал Сити, и он пробирался сквозь дебри Полтри в святая святых — контору «Кэткот, Кингсон и Форсайт» — с тем же чувством, с каким старые составители карт говорили: «Там, где неизвестность, воображай ужасы». Он находился в несколько задумчивом настроении, так как только что завтракал

с Сибли Суоном в кафе «Крильон». Он знал всю компанию — семь человек еще более современных, чем Сибли Суон, кроме одного русского, до того ультрасовременного, что он даже не говорил по-французски и никто с ним не мог разговаривать. Майкл слушал, как они громили все на свете, и следил за русским, который закрывал глаза, как больной ребенок, когда упоминали кого бы то ни было из современников.

«Держись! — подумал Майкл, когда в этой свалке уже были сбиты с ног несколько его любимцев.— Бейте, режьте! Еще посмотрим, чья возьмет». Но он сдержался до момента ухода.

— Сиб,— сказал он, вставая,— ведь все эти типы — мертвецы; не убрать ли их отсюда, в такую-то жарищу?

— Что такое?—воскликнул Сибли Суон при тягостном молчании «этих типов».

— Я хочу сказать, что если они живы, то их дело совсем скверно.— И, увернувшись от брошенной шоколадки, которая попала в русского, он пошел к выходу.

Идя по улице, он размышлял: «А хорошие, в сущности, ребята! И совсем не так уж высокомерны, как воображают. Вполне человеческое желание — пустить этому русскому пыль в глаза. Уф! Ну и жара!»

В этот первый день состязаний Итона с Хэрроу все скрытое тепло прохладного лета вдруг вспыхнуло и сейчас заливало Майкла, ехавшего на империале автобуса; жара заливала соломенные шляпы и бледные, потные лица, бесконечные вереницы автобусов, дельцов, полисменов, лавочников у дверей, продавцов газет, шнурков для ботинок, игрушек, бесконечные повозки и автомобили, вывески и провода — всю гигантскую путаницу огромного города, невидимым инстинктом слаженную почти до предельной точности. Майкл смотрел и недоумевал. Как это выходит, что каждый занят только собой и своим делом, а между тем все это движение идет по какому-то закону? Даже муравейник, пожалуй, не выглядит столь суетливым и беспорядочным. Обнаженные провода пересекаются, переплетаются, перепутываются —кажется, их никогда не размотаешь, и все-таки жизнь и порядок, нужный для этой жизни, каким-то образом сохраняются. «Настоящее чудо,— думал он,— жизнь современного города!» И вдруг весь этот водово-

рот сразу стих, как будто уничтоженный безжалостной рукой какого-нибудь верховного Сибли Суона: Майкл очутился перед тупиком. По обеим сторонам плоские дома, недавно оштукатуренные, удивительно похожие друг на друга; в конце — плоский серый дом, еще больше похожий на все остальные, и сплошной серый девственный асфальт, не запятнанный ни лошадьми, ни бензином; ни машин, ни повозок, ни полисменов, ни торговцев, ни кошек, ни мух. Никаких признаков человеческой жизни, кроме названий фирм с правой и с левой стороны каждой парадной двери.

«Кэткот, Кингсон и Форсайт. Нотариальная контора; второй этаж».

«Правь, Британия!» — подумал Майкл, поднимаясь по широкой каменной лестнице.

Его провели в комнату, где он увидел старичка с лицом мопса, с окладистой седой бородкой, в черном люстриновом пиджачке и объемистом пикейном жилете на объемистом животике. Он привстал со своего стула-вертушки навстречу Майклу.

— А-а,— сказал он,— мистер Майкл Монт, если не ошибаюсь. Я вас ждал. Мы вас долго не задержим, мистер Форсайт сейчас придет. Он вышел на минуту. Миссис Майкл, надеюсь, в добром здоровье?

— Да, спасибо, но, конечно, она...

— Понимаю, вы за нее волнуетесь. Присаживайтесь. Может быть, хотите пока почитать черновик?

Майкл покорно взял из пухлой руки большой исписанный лист и сел напротив клерка. Глядя одним глазом на старика, а другим на документ, он добросовестно читал.

— Как будто тут есть какой-то смысл,— сказал он наконец.

Старик разинул бородатый рот, как лягушка на муху, и Майкл поспешил исправить ошибку.

— Тут учитывается и то, что случится, и то, что будет, если ничего не случится,— прямо как букмекеры на скачках.

Он тут же почувствовал, что только напортил. Старик ворчливо сказал:

— Мы здесь зря время не тратим. Извините, я занят.

Майкл с искренним раскаянием следил, как старичок отмечает «птичками» какой-то длинный перечень. Он был похож на старого пса, который лежит у порога, сторожит помещение и ищет блох. Так прошло минут пять в совершенном молчании, пока не вошел Сомс.

— Вы уже здесь? — сказал он.

— Да, сэр, я постарался прийти точно в назначенное время. Какая славная, прохладная комната!

— Вы это прочли? — Сомс показал на черновик.

Майкл кивнул.

— Поняли?

— Кое-что как будто понял.

— Доход с *этих* пятидесяти тысяч,— сказал Сомс,— находится в распоряжении Флер, пока ее старший ребенок — если это будет мальчик — не достигнет двадцати одного года, после чего весь капитал безограничительно переходит к нему. Если это будет девочка, половина доходов остается в пожизненное пользование Флер, а половина будет выплачиваться ее дочери, когда та достигнет совершеннолетия или же выйдет замуж, и половина капитала переходит к ней или ее законным детям по достижении ими совершеннолетия или по вступлении в брак, в равных долях. Вторая половина капитала переходит в полную собственность Флер и может передаваться по ее завещанию или по законам наследования.

— У вас все получается удивительно ясно,— сказал Майкл.

— Погодите,— проговорил Сомс.— Если у Флер не будет детей...

Майкл вздрогнул.

— Все возможно,—серьезно произнес Сомс,—и опыт учит меня, что именно непредусмотренные обстоятельства чаще всего и возникают. В таком случае доходы принадлежат Флер до конца жизни, и капитал она может завещать, кому пожелает. Если она этого не сделает, он переходит к ближайшему родственнику. Тут предусмотрено все.

— Что же, ей надо писать новое завещание? — спросил Майкл, чувствуя, что его лоб покрывается холодным потом.

— Если пожелает. Но ее завещание предусматривает все возможности.

— Надо ли мне что-нибудь сделать?

— Нет. Я хотел вам все объяснить, прежде чем подпишу. Дайте мне, пожалуйста, документы, Грэдмен, и позовите Уиксона.

Майкл увидел, как старичок достал из шкафа лист веленевой бумаги, исписанный каллиграфическим почерком и украшенный печатями, любовно посмотрел на него и положил перед Сомсом. Когда он вышел из комнаты, Сомс сказал тихо:

— Во вторник собрание — мало ли что может быть. Но что бы ни случилось, эти деньги в безопасности.

— Вы очень добры к нам, сэр.

Сомс наклонил голову, пробуя перо.

— Боюсь, я обидел вашего старого клерка,— сказал Майкл,— он мне ужасно понравился, но я нечаянно сравнил его с букмекером.

Сомс улыбнулся.

— Грэдмен — своеобразный тип,— сказал он,— таких уже не много осталось.

Майкл думал, можно ли быть своеобразным типом до шестидесятилетнего возраста, когда «тип» вошел в сопровождении бледного человека в темном костюме.

Сомс, глядя как-то вбок, без предисловий сказал:

— Это — послесвадебный подарок моей дочери. Я подписываюсь в здравом уме и твердой памяти.

Он подписался и встал.

Бледный человек и Грэдмен тоже подписались. Когда бледный человек вышел, в комнате наступила полная тишина.

— Я вам еще нужен? — спросил Майкл.

— Да, я хочу, чтобы вы зашли со мной в банк, — я положу эту дарственную вместе с другими. Я больше не приду сегодня, Грэдмен.

— До свидания, мистер Грэдмен.

Майкл услышал, как старик что-то пробормотал в бороду, почти утонувшую в ящике стола, куда он прятал документы, и вышел вслед за Сомсом.

— Вот здесь была раньше наша контора,— сказал Сомс, когда они проходили Полтри,— а до меня тут был мой отец.

— Пожалуй, тут веселее,— заметил Майкл.

— Опекуны встретят нас в банке, вы их помните?

— Двоюродные братья Флер, сэр, да?

— Троюродные. Старший сын молодого Роджера и старший сын молодого Николаса. Я выбрал молодых. Очень молодой Роджер был ранен в войну — он ничем не занимается; очень молодой Николас — юрист.

У Майкла даже уши навострились.

— А как назовут следующее поколение, сэр? «Очень, очень молодой Роджер» звучит даже обидно, правда?

— У него не будет детей при таких налогах. Он себе не может этого позволить; он серьезный малый. А как вы назовете своего, если родится мальчик?

— Мы хотели его назвать Кристофером, в честь святого Павла [1] и Колумба. Флер хочет, чтобы он был крепкий, а я — чтобы был пытливый.

— Гм-м! А если девочка?

— О-о, девочку назовем Энн.

— Так,— сказал Сомс,— очень хорошо. А вот и они!

Они подошли к банку; у входа Майкл увидел двух Форсайтов в возрасте между тридцатью и сорока, их лица с выдающимися подбородками он смутно помнил. В сопровождении человека с блестящими пуговицами они прошли в комнату, где другой человек, без пуговиц, достал лакированный ящик. Один из Форсайтов открыл его ключом. Сомс пробормотал какое-то заклинание и положил дарственную в ящик. После того как он и тот Форсайт, у которого подбородок больше выдавался, обменялись с чиновником замечаниями о банковских делах, все вышли в переднюю и расстались со словами: «Ну, до свидания!»

— Теперь,— сказал Сомс в уличном шуме и грохоте,— он, думается мне, обеспечен. Когда вы, собственно, ждете?

— Примерно через две недели.

— Вы верите в это... этот наркоз?

— Хотелось бы верить,— и Майкл снова почувствовал испарину на лбу.— Флер изумительно спокойна: она проделывает упражнения по Куэ вечером и утром.

[1] Собор св. Павла построен архитектором Кристофером Рэном (1632—1723).

— Ах, эти! — сказал Сомс. Он ни словом не упомянул, что сам их проделывает, не желая выдавать состояние своих нервов.— Если вы домой, я пойду с вами.

— Прекрасно

Когда они пришли, Флер лежала на диване. Тинг-а-Линг прикорнул у нее в ногах.

— Пришел твой отец, дорогая. Он украсил наше будущее еще пятьюдесятью тысячами. Я думаю, он сам захочет тебе рассказать.

Флер беспокойно зашевелилась

— Сейчас, погоди. Если будет такая жара, Майкл, я просто не выдержу.

— Ничего, погода переменится, детка моя. Еще дня три — и будет гроза.

Он приподнял пальцем мордочку Тинга и повернул ее к себе.

— Ну, а как бы тебя научить не совать всюду свой нос, старик? И носа-то у тебя почти что нет.

— Он чувствует, что все чего-то ждут.

— Ты умный звереныш, старина, а?

Тинг-а-Линг фыркнул.

— Майкл!

— Да, маленькая?

— Мне теперь как-то все безразлично — удивительно странное чувство.

— Это от жары.

— Нет, наверное, просто потому, что слишком долго тянется. Ведь все готово — и теперь все как-то кажется глупым. Ну еще одним человеком на свете больше или меньше — не все ли равно?

— Что ты! Конечно, нет!

— Еще один комар закружится, еще один муравей забегает.

— Не надо, Флер,— сказал Майкл тревожно,— это у тебя просто настроение.

— Вышла книга Уилфрида?

— Завтра выходит.

— Ты прости, что я так тебя огорчала тогда. Мне просто не хотелось его потерять.

Майкл взял ее руку.

— А мне, думаешь, хотелось?

— Он, конечно, ни разу не написал?

— Нет.

— Что ж, наверно, у него все прошло. Нет ничего постоянного в мире.

Майкл прижался щекой к ее руке.

— Кроме меня,— проговорил он.

Рука скользнула к его губам.

— Передай папе привет и скажи ему, что я спущусь к чаю. Ой, как мне жарко!

Майкл минутку помедлил и вышел. Черт бы подрал эту жару — бедняжка совсем измучилась.

Внизу Сомс стоял перед «Белой обезьяной».

— Я бы снял ее, на вашем месте,— проворчал он,— пока все не кончится.

— Почему, сэр? — удивился Майкл.

Сомс нахмурился.

— Эти глаза!

Майкл подошел к картине. Да! Не обезьяна, а какое-то наваждение.

— Но ведь это исключительная работа, сэр.

— С художественной точки зрения — конечно. Но в такое время надо быть поосторожнее с тем, что видит Флер.

— Пожалуй, вы правы. Давайте ее снимем.

— Я подержу,— сказал Сомс и взялся за раму.

— Крепко? Вот так! Ну, снимаю.

— Можете сказать Флер, что я взял ее, чтобы определить, к какой эпохе она относится,— заметил Сомс, когда картина была спущена на пол.

— Тут и сомнения быть не может, сэр,—к нашей, конечно.

— Что? Ах, вы хотите сказать... Да! гм-м... ага! Не говорите ей, что картина здесь.

— Нет, я ее запрячу подальше,— и Майкл поднял картину.— Можно вас попросить открыть дверь, сэр?

— Я вернусь к чаю,— сказал Сомс.— Выйдет, как будто я отвозил картину. Потом можете ее опять повесить.

— Конечно. Бедная зверюга! — И Майкл унес «Обезьяну» в чулан.

XI

С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ

Вечером в следующий понедельник, когда Флер легла спать, Майкл и Сомс сидели в китайской комнате; в открытые окна вливался лондонский шум и томительная жара.

— Говорят, война убила чувство,— сказал Сомс внезапно.— Это правда?

— Отчасти да, сэр. Мы видели действительность так близко, что она нам больше не нужна.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что только действительность заставляет человека чувствовать. А если сделать вид, что ничего не существует,— значит, и чувствовать не надо. Очень неплохо выходит — правда, только до известного предела.

— А-а! — протянул Сомс.— Ее мать завтра переезжает сюда совсем. Собрание пайщиков ОГС назначено на половину третьего. Спокойной ночи!

Майкл следил из окна, как жара черной тучей сгущается над сквером. Несколько теплых капель упало на его протянутую ладонь. Кошка, прокравшись мимо фонарного столба, исчезала в густой, почти первобытной тени.

Странный вопрос задал ему «Старый Форсайт» о чувствах. Странно, что именно он спрашивает об этом. «До известного предела! Но не переходим ли мы иногда этот предел?» — подумал Майкл. Взять, например, Уилфрида и его самого — после войны они считали богохульством не признавать, что надо только есть, пить и веселиться: ведь все равно завтра умирать! Даже такие люди, как Нэйзинг и Мастер, не побывавшие на войне, тоже так думали после войны. Что же, Уилфрид и проверил это на своей собственной шкуре, а он — на собственном сердце. И можно сказать наверняка, что каждого, кроме тех, у кого в жилах чернила вместо крови, жизнь рано или поздно здорово проучит. Да ведь сейчас Майкл охотно бы взял на себя все страдания, все опасности, угрожавшие Флер. А почему бы у него появилось такое чувство, если ничто в мире не имеет значения?

Отвернувшись от окна, он прислонился к лакирован-

ной спинке изумрудного дивана и стал разглядывать опустевшее пространство между двумя китайскими шкафчиками. Все-таки здорово заботливый старик: хорошо, что снял «Обезьяну». Это животное — символ настроения всего мира: вера разрушена, надежда подорвана. И ведь это, черт возьми, не только у молодежи — и старики в таком же настроении! «Старый Форсайт» тоже, конечно, иначе он не боялся бы глаз обезьяны; да, и он, и отец Майкла, и Элдерсон, и все остальные. Ни у молодых, ни у старых нет настоящей веры ни во что! И все же какой-то протест поднялся в душе Майкла, шумный, как стая куропаток. Неправда, что вне человека нет никого и ничего, что бы его по-настоящему затрагивало — есть, черт возьми, все есть! Значит, чувство не умерло; значит, не умерли вера и надежда, что в конце концов одно и то же. Может быть, они только меняют кожу, превращаются из куколок в бабочек, что ли. Возможно, что надежда, чувства, вера спрятались, притаились, но они существуют — и в «Старом Форсайте», и в нем самом. Майклу даже захотелось опять повесить «Обезьяну». Не стоит преувеличивать ее значение!.. О черт! Ну и молния! Изломанная полоса резкого света сорвала покров темноты с ночи. Майкл стал закрывать окна. Оглушительный удар грома загрохотал над крышей, пошел дождь, хлеща и стегая стекла. Майкл увидел бегущего человека, черного, как тень на синем экране; увидел его при следующей вспышке молнии, необычайно отчетливо и ясно, увидел его испуганно-веселое лицо, как будто говорившее: «О черт! Ну и промок же я!»

Еще один бешеный удар! «Флер!»,— подумал Майкл и, опустив последнюю раму, побежал наверх.

Она сидела в кровати, и лицо ее казалось по-детски круглым и перепуганным.

«Вот дьяволы! — подумал он, невольно путая грохот пушек и гром.— Разбудили ее!»

— Ничего, моя маленькая. Просто летнее развлечение. Ты спала?

— Мне что-то снилось!

Он почувствовал, как ее пальцы сжались в его руке, и с бессильной яростью увидел, что ее лицо вдруг стало напряженно-испуганным. Нужно же было!

— Где Тинг?

Собаки в углу не было.

— Под кроватью — не иначе! Хочешь, я его тебе подам?

— Нет, оставь его, он терпеть не может грозы.

Она прислонилась головой к его плечу, и Майкл закрыл рукой ее другое ухо.

— Я никогда не любила грозы,— сказала Флер,— а теперь просто... просто больно!

На лице Майкла, склоненном над ее волосами, застыла гримаса непреодолимой нежности. От следующего удара она спрятала лицо у него на груди, и, присев на кровать, он крепко прижал ее к себе.

— Скорее бы уж кончилось,— глухо прозвучал ее голос.

— Сейчас кончится, детка; так сразу налетело! — Но он знал, что она говорит не о грозе.

— Если все кончится благополучно, я совсем иначе буду к тебе относиться, Майкл.

Страх в ожидании такого события — вещь естественная; но то, как она сказала: «если кончится благополучно» — просто перевернуло сердце Майкла. Невероятно, что такому молодому, прелестному существу может угрожать хоть отдаленная опасность смерти; немыслимо больно, что она должна бояться! Он и не подозревал этого. Она так спокойно, так просто ко всему этому относилась.

— Перестань! — прошептал он.— Ну, конечно, все сойдет благополучно.

— Я боюсь!

Голос прозвучал совсем тихо и глухо, но ему стало ужасно больно. Природа с маленькой буквы вселила страх в эту девочку, которую он так любит. Природа безбожно грохотала над ее бедной головкой!

— Родная, тебя усыпят, и ты ничего не почувствуешь и сразу станешь веселая, как птичка.

Флер высвободила руку.

— Нет, нельзя усыплять, если *ему* это вредно. Или это не вредно?

— Думаю, что нет, родная. Я узнаю. А почему ты решила?

— Просто потому, что это неестественно. Я хочу,

чтобы все было как следует. Держи мою руку крепче, Майкл. Я... я не буду глупить. Ой! Кто-то стучит, поди взгляни!

Майкл приотворил дверь. На пороге стоял Сомс — какой-то неестественный, в синем халате и красных туфлях.

— Как она? — шепнул он.

— Ничего, ничего.

— Ее нельзя оставлять одну в этой неразберихе.

— Нет, сэр, конечно, нет. Я буду спать на диване.

— Позовите меня, если нужно.

— Хорошо.

Сомс заглянул через его плечо в комнату. В горле у него застрял комок и мешал ему сказать то, что ему хотелось. Он только покачал головой и пошел. Его тонкая фигура, казавшаяся длиннее обычного, проскользнула по коридору мимо японских гравюр, которые он подарил им. Закрыв дверь, Майкл подошел к кровати. Флер уже улеглась; ее глаза были закрыты, губы тихо шевелились. Он отошел на цыпочках. Гроза уходила к югу, и гром рокотал и ворчал, словно о чем-то сожалея. Майкл увидел, как дрогнули ее веки, как губы перестали шевелиться и потом опять задвигались. «Куэ!» — подумал он.

Он прилег на диван, недалеко от кровати, откуда он мог бесшумно привстать и смотреть на нее. Много раз он подымался. Она задремала, дышала ровно. Гром стихал, молния едва мерцала. Майкл закрыл глаза.

Последний слабый раскат разбудил его — и он еще раз приподнялся и поглядел на нее. Она лежала на подушках, в смутном свете затененной лампы—такая юная-юная! Без кровинки, словно восковой цветок! Никаких предчувствий, никаких страхов — совсем спокойная! Если бы она могла вот так проспать и проснуться, когда все будет кончено! Он отвернулся и снова увидел ее — далеко, смутно отраженную в зеркале; и справа — тоже она. Она была везде в этой прелестной комнате, она жила во всех зеркалах, жила неизменной хозяйкой в его сердце.

Стало совсем тихо. Сквозь чуть раздвинутые серо-голубые занавески были видны звезды. Большой Бэн пробил час.

Майкл уже спал или только задремал и что-то видел во сне. Тихий звук разбудил его. Крохотная собачонка с опущенным хвостом, желтенькая, низенькая, незаметная, проходила по комнате, пробираясь в свой уголок. «А-а,— подумал Майкл, закрывая глаза,— это ты!»

XII

ИСПЫТАНИЕ

На следующий день, войдя в «Аэроплан», где его ждал сэр Лоренс, подчеркнуто элегантный, Майкл подумал: «Добрый старый Барт! Нарядился для гильотины!»

— По этой белой полосочке они сразу поймут, с кем имеют дело,— сказал он,— у «Старого Форсайта» тоже сегодня хороший галстук, но не такой шикарный.

— А-а! Как поживает «Старый Форсайт»? В хорошем настроении?

— Неудобно было его спрашивать, сэр. А вы сами как?

— Совершенно как перед матчем Итона с Уинчестером. Я думаю, что мне надо за завтраком выпить.

Когда они уселись, сэр Лоренс продолжал:

— Помню, я видел в Коломбо, как человека судили за убийство. Этот несчастный положительно весь посинел. Мне кажется, что самый мой любимый момент в истории, это когда Уолтер Рэйли попросил другую рубашку. Кстати, до сих пор не установлено наверняка — были ли придворные в те времена вшивыми или нет. Что ты будешь есть, мой милый?

— Холодный ростбиф, маринованные орехи и торт с вареньем.

— Делает тебе честь. Я буду есть пилав; здесь превосходно жарят утку! Думаю, что нас сегодня выставят, Майкл. «Nous sommes trahis» [1] — было когда-то прерогативой французов, но боюсь, что и мы прониклись таким же ощущением. Всему виной — желтая пресса.

Майкл покачал головой.

— Мы так говорим, но мы поступаем по-другому. У нас климат не такой.

— Звучит глубокомысленно. Смотри, какой хороший

[1] Нас предали (*франц.*).

пилав, не возьмешь ли и ты? Тут иногда бывает старик Фонтеной, его денежные дела не блестящи. Если нас выставят, для него это будет серьезно.

— Чертовски странно,— вдруг сказал Майкл,— как все-таки еще титулы в ходу. Ведь не верят же в их деловое значение?

— Репутация, дорогой мой,— добрый, старый английский джентльмен. В конце концов в этом что-то есть.

— Я думаю, сэр, что у пайщиков это просто навязчивая идея. Им еще в детстве родители показывают лордов.

— Пайщики,— повторил сэр Лоренс,— понятие широкое. Кто они, что они такое, когда их можно видеть?

— Когда? Сегодня в три часа,— сказал Майкл,— и я собираюсь их хорошенько рассмотреть.

— Но тебя не пропустят, мой милый.

— Неужели?

— Конечно, нет.

Майкл сдвинул брови.

— Какая газета там наверняка не будет представлена? — спросил он.

Сэр Лоренс засмеялся тоненьким, пискливым смехом.

— «Нива»,—сказал он,—«Охотничий журнал», «Садовник».

— Вот я и проскочу за их счет.

— Надеюсь, что если мы и умрем, то смертью храбрых,— сказал сэр Лоренс, внезапно став серьезным.

Они вместе взяли такси, но, не доехав до отеля, расстались.

Майкл передумал насчет прессы и просто решил занять наблюдательный пост в коридоре и ждать случая. Мимо него проходили толстые люди в темных костюмах, по которым сразу было видно, что они ели на завтрак палтус, филе и сыр. Он заметил, что каждый подавал швейцару бумажку. «Я тоже суну ему бумажку и проскочу»,— подумал Майкл. Высмотрев группу особенно толстых людей, он спрятался между ними и прошел в дверь, держа в руке объявление о выходе в свет «Подделок». Показав ее через плечо осанистого толстяка, он быстро проскользнул в зал и сел. Он видел потом, как швейцар заглядывал в дверь. «Нет, мой милый,— подумал он,— если бы ты умел отличать всякий сброд от пайщиков, тебя бы тут не держали».

Он нашел на своем месте повестку и, прикрывшись ею, стал рассматривать присутствующих. Ему казалось, что это помещение — помесь концертного зала с железнодорожной станцией. В глубине была эстрада с длинным столом, за которым стояло семь пустых стульев; на столе — семь чернильниц с семью гусиными перьями, торчавшими стоймя. «Гусиные перья! — подумал Майкл.— Наверно, это просто символ: теперь у каждого есть вечная ручка».

Сзади эстрады была дверь, а перед эстрадой, пониже,— столик, за которым четыре человека поигрывали блокнотами. «Оркестр»,— подумал Майкл. Он стал разглядывать пайщиков, рассевшихся в восемь рядов. Весь их облик выдавал в них пайщиков — Майкл сам не знал почему. Лица у них были самые разнообразные, но у всех было выражение, как будто они ждут чего-то, чего им, наверно, не получить. Какую жизнь они ведут? Или жизнь ведет их? Почти у всех у них усы. Справа и слева от него сидели те самые толстяки, с которыми он проскользнул в зал; у них были пухлые ушные мочки, а шеи были еще шире, чем плоские, широкие затылки. Майкл был подавлен. Среди пайщиков маячило несколько женщин и два-три пастора. Никто не разговаривал, из чего он заключил, что никто друг друга не знает. Он подумал, что, появись в зале собака, обстановка стала бы более человечной. Он рассматривал зеленоватые стены с коричневым бордюром и золотыми орнаментами, когда дверь за эстрадой распахнулась и семь человек в черных сюртуках вошли и с легким поклоном уселись за стол, против гусиных перьев. Майклу они напомнили военных, садящихся на коней, или пианистов перед игрой — так они пристраивались. Этот — справа от председателя — наверно, старый лорд Фонтеной. Какие у него подвижные черты лица! Майклу пришла в голову нелепая фантазия: внутри черепа сидит маленький человечек в белом цилиндре и правит этими чертами, как четверкой. Следующее лицо словно сошло с портрета «Министры ее величества королевы Виктории в 1850 году» — круглое и розовое, с прямым носом, маленьким ртом и беленькими бачками. Справа, в конце, сидел человек с выступающим подбородком и глазами, буравившими стену сзади Майкла. «Юрист!» — подумал Майкл. Он перевел взгляд на

председателя. Еврей он или нет? Бородатый человек, рядом с председателем, начал что-то читать по книге, быстро и монотонно. Должно быть, секретарь — строчит как пулемет свои протоколы. Дальше сидел, очевидно, новый директор-распорядитель, возле которого Майкл увидел своего отца. Темная закорючка над правым глазом сэра Лоренса была чуть-чуть приподнята, и губы поджаты под ровной линией коротких усов. В его внешности, живой и в то же время спокойной, чудилось что-то восточное. В левой руке, между большим и указательным пальцами, он держал свой черепаховый монокль. «Не совсем подходит к обстановке,— подумал Майкл,— бедный старый Барт!» Наконец, он перешел к последнему, крайнему слева. «Старый Форсайт» сидел, точно он был один на свете; правый угол рта был чуть опущен, левая ноздря чуть приподнята. Майклу понравился его вид — удивительно независим и все-таки не выпадает из общего тона. В этой спокойной, аккуратной фигуре, в которой живым казался только чуть подрагивающий кончик лакированного ботинка, была полная сосредоточенность, полное уважение ко всему происходившему и в то же время странное презрение ко всему на свете. Он походил на статую действительности, вылепленную скульптором, не верящим в действительность. «Около него замерзнуть можно,— подумал Майкл.— И все же, черт побери! Не могу не восхищаться им».

Председатель встал. «Еврей? Нет, не еврей. Не знаю»,— думал Майкл. Он едва слушал, что говорил председатель, решая, еврей он или нет, хотя сам прекрасно понимал, что это безразлично. Председатель продолжал говорить. Майкл рассеянно ловил его слова: «Положение в Европе — ошибочная политика — французы — совершенно неожиданно — создавшаяся конъюнктура — директор — непредвиденные обстоятельства, которые сейчас нам разъяснят,— будущее этого крупного предприятия — нет оснований сомневаться...»

«Подмасливает,— подумал Майкл,— кажется, он все-таки... а впрочем...»

— Теперь я попрошу одного из наших директоров, мистера Форсайта, изложить сущность этого тягостного дела.

Сомс, бледный и решительный, достал из внутреннего кармана листок бумаги и встал — ну, как-то он выпутается?

— Я буду краток в изложении фактов,— проговорил он голосом, напомнившим Майклу старое, терпкое вино.— Одиннадцатого января сего года ко мне явился клерк, служивший в нашем Обществе...

Знакомый с этими подробностями, Майкл слушал невнимательно, стараясь уловить на лицах пайщиков какую-нибудь реакцию. Но он ничего не увидел и вдруг понял, зачем они носят усы: они не доверяют своим ртам. Характер сказывается в складе рта. Усы вошли в моду, когда люди перестали говорить, как герцог Веллингтон: «А, думайте обо мне что хотите, черт побери!» Перед войной бритые губы начали было опять входить в моду, но ни у майоров, ни у пайщиков, ни у рабочих успеха не имели. Майкл услышал слова Сомса:

— Ввиду таких обстоятельств мы пришли к заключению, что остается только ждать у моря погоды.

Майкл увидел, как по всем усам, словно ветер по лугу, пробежала внезапная дрожь. «Неудачно сказано,— подумал он,— мы все так поступаем, но не любим, когда нам об этом напоминают».

— Однако шесть недель назад,— продолжал Сомс, повысив голос,— из случайного инцидента ваш бывший директор-распорядитель, очевидно, понял, что сэр Лоренс Монт и я еще не отказались от наших подозрений, ибо я получил от него письмо, в котором он фактически признает, что брал втайне комиссионные за эти германские страховки, и просит меня уведомить правление, что он уехал за границу, не оставив никакого имущества. Мы постарались все это проверить. При таких обстоятельствах нам не оставалось никакого выхода, как только созвать вас всех и изложить вам факты.

Голос, не изменившийся ни на йоту, замолк; и Майкл увидел, как его тесть вернулся в свое одиночество. Аист на одной ноге, собирающийся клюнуть насекомое, и тот не казался бы таким одиноким. «Ужасно похоже на первый отчет о Ютландском бое,— подумал Майкл,— он перечислил все потери и не внес ни одной человеческой нотки».

Наступила пауза, как бывает, когда человек оказывается перед чужим забором и еще не нашел ворот. Майкл окинул взглядом всех членов правления. Только один из них проявил признаки жизни: он поднес платок к носу. Громкий звук сморкания нарушил оцепенение. Два пайщика сразу вскочили на ноги, один из них — сосед Майкла справа.

— Слово принадлежит мистеру Содри,—сказал председатель, и второй пайщик сел. Громогласно откашливаясь, сосед Майкла обратил к Сомсу свою тупую красную физиономию.

— Разрешите спросить вас, сэр, почему вы не уведомили правление, как только услышали об этом?

Сомс привстал.

— Надеюсь, вам небезызвестно, что такое обвинение без достаточных обоснований рассматривается как подсудное дело?

— Нет, вас бы не выдали.

— Члены правления — конечно; но малейшие слухи могли дать повод обвинить нас в клевете. Мы знали все только с чужих слов.

— Может быть, сэр Лоренс Монт изложит нам свое мнение?

У Майкла забилось сердце. Что-то легкомысленно-веселое было в фигуре его отца, когда он встал.

— Вы не должны забывать, сэр, что мистер Элдерсон в течение многих лет пользовался нашим полным доверием; он был настоящим джентльменом, и, будучи его старым школьным товарищем, я лично предпочел поверить его слову и одновременно... гм... не упускать из виду того, что мы узнали.

— Ага,— сказал сосед Майкла,— а что имеет сказать председатель насчет того, что правление держали в неведении?

— Мы вполне удовлетворены, сэр, той позицией, которую заняли наши директора в столь щепетильном положении. Соблаговолите принять во внимание, что злоупотребление было уже совершено, и излишняя торопливость не была бы ничем оправдана.

Майкл заметил, что шея его соседа покраснела еще больше.

— Я не согласен,— сказал он.— «Ждать у моря по-

годы»! Да мы могли бы у него отнять эти комиссионные, если бы его сразу захватить.— И он сел.

Не успел он опуститься в кресло, как встал второй пайщик.

— Слово мистеру Боттерилу,— сказал председатель.

Майкл увидел узкую, прилизанную голову на волосатой, вдавленной с боков шее и слегка согнутую спину, как у врача, когда он выслушивает больного.

— Если я вас правильно понял, сэр,— начал он,— эти два директора представляют общую позицию правления, и правление ничего не имело возразить против того, что находившийся на подозрении человек оставался директором-распорядителем. Джентльмен крайний слева,— кажется, мистер Форсайт,— говорил о «случайном инциденте». Если бы не этот инцидент, мы бы до сих пор оставались в руках беззастенчивого авантюриста. Это очень тревожный симптом. Очевидно, мы слишком слепо доверяли нашему правлению; пример такого рода излишнего доверия, вероятно, всем вам памятен. Политика страхования иностранных операций была явно затеяна директором-распорядителем в его собственных интересах. Мы потерпели на этом значительные убытки. И перед нами встает вопрос: может ли правление, которое доверяло подобному лицу и продолжало ему доверять после того, как против него возникли подозрения,— может ли такое правление стоять во главе солидного предприятия?

Майклу даже стало жарко во время этой речи.

«Старый Форсайт» был прав в конце концов,— подумал он,— они все-таки взбеленились».

Стул его левого соседа вдруг скрипнул.

— Мистер Толби,— произнес председатель.

— Это, джентльмены, дело серьезное. Я предлагаю правлению удалиться и дать нам посовещаться.

— Поддерживаю,— сказал сосед Майкла справа.

Обводя глазами стол правления, Майкл поймал взгляд Сомса, узнавшего его, и приветственно ухмыльнулся.

Заговорил председатель:

— Если вам так угодно, джентльмены, мы будем счастливы пойти вам навстречу. Кто за это предложение, прошу поднять руку!

Все подняли руки, за исключением Майкла, двух женщин, которым оживленный разговор помешал услышать предложение, и одного пайщика, который сидел впереди Майкла неподвижно, как мертвый.

— Принято,— сказал председатель и поднялся с места.

Майкл увидел, что его отец встал и с улыбкой говорит что-то «Старому Форсайту». Правление вышло гуськом, и дверь закрылась.

«Что бы ни случилось, надо молчать, а то еще ляпнешь что-нибудь»,— подумал Майкл.

— Может быть, представители печати тоже соблаговолят удалиться? — сказал кто-то.

Обиженно вздернув подбородки, как будто ни у кого не желая спрашивать разрешения, четверо репортеров захлопнули блокноты. Когда они с явной неохотой удалились, среди пайщиков поднялось движение, как в стае уток, когда сзади подбежит собака. Майкл сразу догадался о причине: они сидели спиной друг к другу. Один из них сказал:

— Может быть, мистер Толби, внесший предложение, возьмет на себя роль председателя?

Сосед Майкла слева тяжело засопел.

— Хорошо,— сказал он,— кто захочет говорить, пусть повернется ко мне.

Все заговорили сразу, как будто желая узнать мнение всех, прежде чем выступить. Мистер Толби так сопел, что Майкл положительно ощущал сквозняк.

— Слушайте, джентльмены,— вдруг объявил он.— Так нельзя! Можно и без лишних формальностей, но надо сохранять порядок. Я выскажусь первым. Я не хотел обижать директоров, говоря в их присутствии. Но, как сказал вон тот джентльмен, мы должны защищаться и от жуликов и от разгильдяев. Мы все знаем, что было и что будет в других обществах, если мы, пайщики, за себя не постоим. Так вот, во-первых, я скажу: нечего им было затевать дела с немчурой — это раз; во-вторых, они оказались недальновидными — это два; а в-третьих, я должен сказать, что все они уж слишком держатся друг за дружку. Рука руку моет. По-моему, надо вынести вотум недоверия.

В смешанный шум возгласов: «Слушайте! Слушай-

те!» — и каких-то неопределенных звуков вдруг ворвалось резкое «нет» со стороны пайщика, казавшегося мертвым. Майкл всей душой ему сочувствовал, тем более что тот все еще казался мертвым. Затем поднялся худой вылощенный человек с короткими седыми усиками.

— Вы меня извините, сэр,— начал он,— но ваше предложение кажется мне непродуманным. Мне любопытно было бы узнать, как бы вы сами стали действовать на месте нашего правления. Очень легко осуждать других.

— Слушайте! Слушайте! — сказал Майкл и сам удивился.

— Очень легко,— продолжал вылощенный джентльмен,— когда случается такая история, бранить правление, но я сам состою директором и хотел бы знать, кому можно доверять, как не своему директору-распорядителю? Что же касается страхования иностранных операций, то нам об этом сообщали на двух заседаниях, и мы в течение двух лет преспокойно получали с них дивиденды. Разве мы возражали против этого?

Мертвый пайщик так громко сказал «нет», что Майкл чуть не погладил его по голове.

Встал пайщик с докторской спиной.

— Я не схожусь в диагнозе с предыдущим оратором. Предположим, что он прав, и рассмотрим дело глубже. Всякий судит по результатам. Когда правительство делает ошибку, избиратели восстают против него, как только почувствуют на себе последствия этой ошибки. Это прекрасная проверка системы управления — может быть, слишком примитивная, но из двух зол — это меньшее. Правление ответственно за свою политику: когда она убыточна — правление должно платить. Мистер Толби, будучи нашим неофициальным председателем, может быть, нарушил порядок, самолично предложив вотум недоверия; в таком случае я с радостью вношу это предложение от своего лица.

«Нет!» мертвого пайщика раздалось на этот раз так громогласно, что все замолчали, ожидая, что он заговорит. Однако он и тут не шевельнулся. Оба соседа Майкла вскочили с мест. Они закивали друг на друга над его головой, и мистер Толби сел.

— Мистер Содри,— сказал он.

— Слушайте, джентльмены,— сказал мистер Содри,— и леди тоже! Мне кажется, мы нашли компромисс. Директора, которые знали об управляющем, должны уйти; но на этом можно и остановиться. Джентльмен, сидящий впереди меня, все время говорит «нет». Пусть он выскажет свое мнение.

— Нет! — сказал мертвый пайщик уже не так громко.

— Ежели человек не может высказать своих взглядов,— закончил мистер Содри, чуть не сев на Майкла,— так нечего ему, по-моему, перебивать других.

Один пайщик из переднего ряда повернулся лицом к собранию.

— Я думаю,— сказал он,— что продолжать дискуссию — бесполезная трата времени, поскольку у собравшихся имеется два, если не три разных мнения по этому вопросу. Весь строй нашей страны основан на системе выбора доверенных представителей; хорош такой порядок или плох, но факт остается фактом. Кому-нибудь надо доверять. В нашем частном случае у нас пока что нет оснований не доверять правлению; и, как я сужу, у правления не было в прошлом никаких причин не доверять бывшему директору-распорядителю. Мы зашли бы слишком далеко, если бы в настоящее время предложили что-нибудь определенное, вроде вотума недоверия; мне кажется, мы могли бы предложить правлению вернуться в зал и выслушать, какие они нам дадут гарантии против повторения чего-либо подобного в будущем.

Гомон, вызванный этой умеренной речью, был так неразборчив, что Майкл не мог уяснить его смысл. Последовавшая затем речь была совсем иного рода. Произнес ее пайщик справа, рыжеволосый, со светлыми ресницами, подстриженными усами и нечистым цветом лица.

— Я бы ничего не имел против того, чтобы пригласить директоров,— начал он с некоторой насмешкой в голосе,— и провести вотум недоверия в их присутствии. Но возникает другой вопрос, которого еще никто не коснулся: можем ли мы, дав им отставку, взыскать с них убытки? Дело было бы спорное, однако не безнадежное. Если

же мы их не отставим, то совершенно очевидно, что мы, при всем желании, ничего не сможем предпринять против них.

Эта речь произвела совсем иной эффект. Пайщики вдруг замолкли, как будто услышав, наконец, нечто действительно важное. Майкл покосился на мистера Толби. Выпученные круглые глаза толстяка застыли в напряженной задумчивости. «Смотрит, как форель на муху»,— подумал Майкл. Мистер Толби вдруг встал.

— Правильно,— сказал он,— надо их позвать!

— Да,— сказал мертвый пайщик.

Возражений не было. Майкл увидел, что кто-то взошел на эстраду.

— Впустите представителей печати,—добавил мистер Толби.

XIII

СОМС ПРИЖАТ К СТЕНЕ

Когда за удалившимися директорами закрылась дверь, Сомс отошел к окну, как можно дальше от буфета, где они завтракали перед собранием.

— Похоронное настроение, а, Форсайт? — сказал голос у его уха.— Полагаю, что теперь нам крышка. У бедного Мозергилла ужасно унылый вид. По-моему, он, как Рэйли, должен попросить другую рубашку.

Сомс почувствовал, как все его упорство встало на дыбы.

— Нужно было взяться за дело как следует,— проворчал он.— Председатель для этого совершенно не годится.

Эх, старый дядя Джолион! Он бы живо с ними справился — тут нужна была крепкая рука.

— Это нам всем предупреждение против излишней лояльности. Слишком уж это несовременно. А-а, Фонтеной!

Подняв голову, Сомс увидел подвижное лицо Фонтеноя.

— Ну-с, мистер Форсайт! Надеюсь, вы удовлетворены. Прескверная история. Будь я председателем, я бы ни

за что не покинул зал. Никогда не спускайте глаз с собак, Монт. Отвлекитесь — и они на вас накинутся. Я бы с наслаждением прошелся по рядам с хлыстом и непременно бы отхлестал тех двух толстомордых типов — они-то главные заправилы! Если у вас нет какого-нибудь запасного аргумента, мистер Форсайт, мы пропали!

— Какой же у меня может быть запасной аргумент? — холодно спросил Сомс.

— Черт возьми, сэр! Ведь это вы заварили всю кашу, теперь ваше дело ее расхлебывать! Я не могу лишиться директорского жалованья.

Сомс услышал, как сэр Лоренс пробормотал: «Слишком резко, мой милый Фонтеной»,— и сказал сердито:

— Может быть, вам придется потерять больше, чем ваше директорское жалованье!

— Не могу! Пускай они тогда забирают Иглскорт хоть завтра и избавят меня от убытков.— Обида вдруг вспыхнула в глазах старика.— Государство прижимает вас к стенке, обирает до нитки и еще ждет, чтобы вы ему служили без всякого вознаграждения. Так нельзя, Монт, нельзя!

Сомс отвернулся; у него не было ни малейшего желания разговаривать — будто он стоял перед открытой могилой и следил, как медленно опускается гроб. Конец его непогрешимости! Сомс не обольщался. Завтра все это попадет в газеты — и его репутация дальновидного человека будет навсегда подорвана. Горько! Уж Форсайты больше никогда не скажут: «Сомс полагает...» Не будет больше старый Грэдмен следить за ним глазами преданной собаки, иногда ворча, но всегда подчиняясь непогрешимому хозяину. Тяжелый удар для старика! Деловые знакомые — правда, их не так уж много осталось — не будут больше смотреть на него с завистливым уважением. Интересно, достигнут ли слухи Думетриуса и торговцев картинами? Единственное утешение, что Флер не узнает. Флер! Ах, если бы у нее все прошло благополучно! На минуту он забыл обо всем остальном. Потом действительность снова нахлынула на него. Почему они все разговаривают так, как будто в комнате покойник? Впрочем, пожалуй, в комнате и правда покойник — его

былая непогрешимость! Денежные потери казались ему делом второстепенным, отдаленным, неправдоподобным, как загробная жизнь. Монт что-то сказал насчет лояльности. Какое отношение имеет ко всему этому лояльность? Но если они думают, что он собирается трусить,—они жестоко ошибаются. Он ощутил прилив упрямой решимости. Пайщики, директора — пусть воют, пусть потрясают кулаками: он собой помыкать не позволит! Он услышал голос:

— Прошу пожаловать, джентльмены.

Сомс снова занял место перед торчавшим без употребления гусиным пером; его поразила тишина. Пайщики ждали, что скажут директора, а директора ждали пайщиков. «Я бы с наслаждением прошелся по их рядам с хлыстом!» Нелепые слова произнесла эта «старая морская свинка», но какой-то смысл в них есть.

Наконец председатель, чей голос напоминал Сомсу кислый винегрет, политый маслом, иронически произнес:

— Что же, мы к вашим услугам, джентльмены.

Толстый краснолицый человек, сидевший подле Майкла, раскрыл пасть.

— Коротко говоря, господин председатель, мы совершенно не удовлетворены; но прежде чем принять решение, мы бы желали послушать, что вы скажете.

Кто-то вскочил под носом у Сомса и добавил:

— Мы бы хотели знать, сэр, какие гарантии вы можете нам дать против повторения чего-либо подобного в будущем.

Сомс увидел, как председатель улыбнулся,— нет у него настоящей выдержки!

— Разумеется, никаких, сэр,— проговорил председатель.— Вряд ли вы полагаете, что если бы мы знали, как наш директор-распорядитель злоупотребляет нашим доверием, мы держали бы его на службе лишнюю минуту.

«Не годится,— подумал Сомс,— он сам себе противоречит, и этот толстомордый тип, наверно, заметил».

— В том-то и дело, сэр,— сказал он.— Двое из вас знали, и все-таки этот мошенник сидел несколько месяцев на своем посту, обделывая свои дела и обкрадывая Общество, как только мог.

Все вдруг словно сорвались с цепи:

— А помните, что вы говорили?

— Вы взяли на себя коллективную ответственность.

— Вы говорили, что вполне одобряете поведение ваших содиректоров в этом деле.

Настоящая свора собак!

Сомс увидел, что председатель в сомнении наклонил голову, старик Фонтеной что-то бормотал, старик Мозергилл сморкался, Мэйрик пожимал острыми плечами. Вдруг их заслонил от него сэр Лоренс Монт, вставший с места.

— Разрешите мне слово! Что касается меня лично, то я считаю невозможным принять великодушную попытку председателя, которому угодно взять на себя часть ответственности, целиком лежащей на мне. Если я допустил ошибку, не рассказав о наших подозрениях, я должен за нее расплатиться, и я думаю, что могу... м-м... упростить ситуацию, если попрошу собрание принять мою отставку.

Он слегка поклонился, вставил монокль в глаз и сел.

Слова были встречены ропотом одобрения, удивления, порицания, восхищения. Это был благородный жест. Но Сомс не верил в благородные жесты — в них всегда была доля хвастовства. Неожиданно его охватило бешенство.

— По-видимому,— сказал он вставая,— я являюсь вторым обвиняемым директором. Очень хорошо. Я полагаю, что от начала до конца выполнял только свой долг. Я убежден, что не допустил никакой ошибки. Я считаю в корне неправильным, что я должен за что-то расплачиваться. Я и так достаточно беспокоился и тревожился, а теперь становлюсь козлом отпущения для пайщиков, которые безропотно приняли политику иностранных страхований еще раньше, чем я вступил в правление, а теперь возмущаются, что она принесла им убытки. Я добился того, что эта политика была прекращена; я добился того, что мошенник не стоит больше во главе Общества, и, наконец, я добился того, что вас сегодня созвали для обсуждения этого вопроса. Я отнюдь не намерен петь перед вами Лазаря. Но существует и другая сторона дела. Я не считаю возможным отдавать свои услуги людям, которые их не ценят. Меня возмущает

ваше сегодняшнее поведение. Если кто-нибудь считает, что у него есть ко мне претензии — пусть подаст в суд. Я с удовольствием доведу это дело до Палаты лордов, если нужно. Я всю жизнь работаю в Сити и не привык к подозрениям и неблагодарности. Если то, что произошло здесь,— образец современных нравов, то больше меня в Сити не увидят. Я не прошу собрание принять мою отставку — я ухожу!

Поклонившись председателю и оттолкнув свой стул, он твердо пошел к двери, распахнул ее и вышел. Он отыскал свою шляпу. Он ни на секунду не сомневался, что преподнес им хороший сюрприз. Как эти толстомордые разинули рты! Ему очень хотелось посмотреть, что там творится, но он решил, что еще раз открыть дверь — несовместимо с чувством собственного достоинства. Вместо этого он взял сэндвич и начал уничтожать его, став спиной к двери, со шляпой на голове. Вдруг рядом послышался голос:

— «И что произошло дальше — его не интересовало». Вот не думал, Форсайт, что вы такой оратор! Вы им здорово задали. Первый раз видел, чтобы собрание так бесилось. Что ж, вы спасли правление, отведя всю их досаду на себя лично. Это был удивительно благородный жест, Форсайт.

— Ничего подобного,— буркнул Сомс, дожевывая сэндвич.— Вы тоже ушли?

— Да, я настоял на своей отставке. Когда я выходил, этот красномордый человек предлагал вотум доверия правлению — и вотум пройдет, Форсайт, вот увидите. Кстати, они что-то говорили о материальной ответственности.

— Говорили? — Сомс сердито усмехнулся.— Ну, этот номер не пройдет. Единственное, что они могли еще сделать,— это предъявить иск правлению за заключение иностранных контрактов ultra vires [1]; а раз они утвердили правление после того, как вопрос был поднят на общем собрании, они сами себя закопали. А нас с вами, конечно, нельзя притянуть за то, что мы не раскрыли наших подозрений,— это факт!

— И то хорошо,— вздохнул сэр Лоренс.— Но вы,

[1] С превышением полномочий *(лат.)* — юридический термин.

Форсайт, вы никогда в жизни не произносили лучшей речи!

Сомс и сам это знал — и все-таки покачал головой. Он не только боялся, что о нем заговорят газеты, он еще вдруг почувствовал, что вел себя экстравагантно: никогда не следует выходить из себя! Горькая усмешка тронула его губы. Никто, даже Монт, не понимает, как несправедливо с ним обошлись.

— До свидания,— сказал он,— я ухожу.

— Я, пожалуй, подожду, Форсайт, посмотрю развязку.

— Развязку? Назначат двух других дураков и распустят слюни от умиления. Пайщики! Прощайте!

Он двинулся к выходу.

Проходя мимо Английского банка, он почувствовал, будто уходит от своей собственной жизни. Его проницательность, его осведомленность, его деловой опыт — все опозорено! Не хотят? Что ж, и не надо! Попробуйте заставить его еще когда-нибудь вмешиваться в эти дела. И это и вообще все современное положение вещей — одно и то же: крохоборство; а настоящих людей оттесняют к стенке — людей, для которых фунт есть фунт, а не случайный клочок бумаги, людей, которые знают, что благо страны — это честное, строгое ведение своих собственных дел. Такие люди больше не нужны. Одного за другим их выставят, как выставили его, ради всяких проходимцев, революционеров, беззаботных типов или ловких, беспринципных людей вроде Элдерсона. Это настоящее поветрие. Честность! Нельзя обыкновенную честность подменить сидением меж двух стульев.

Он свернул в Полтри, не подумав, зачем он туда идет. Что ж, пожалуй, надо сразу сказать Грэдмену, что он может теперь вести дела по собственному усмотрению. На углу переулка он еще раз остановился, как будто хотел запечатлеть его в памяти. Да, он откажется от всех доверенностей, и частных и других. Он не желает, чтобы над ним подсмеивались его собственные родственники. Но волна воспоминаний заставила его сердце сжаться от боли. Сколько было подписано доверенностей, возобновлено договоров, продано домов, распределено вкладов там, в его кабинете; какое удовлетворение он испытывал от правильного управления имуществом! Что ж, он и бу-

дет управлять своим собственным имуществом. А другие пусть сами заботятся о себе. Туго же им придется при нынешних настроениях!

Он медленно поднялся по каменной лестнице.

В святилище форсайтских дел он увидел непривычное зрелище: Грэдмена не было, а на большом тяжелом столе рядом с соломенной кошелкой лежала большая, тяжелая дыня. Сомс понюхал воздух. Дыня пахла изумительно. Он поднес ее к окну. Зеленовато-желтый цвет, кружевная сетка жилок — что-то в ней совсем китайское! Будет ли старый Грэдмен так же разбрасывать корки, как та белая обезьяна?

Он еще держал дыню в руках, когда раздался голос:

— А-а! Я вас не ждал нынче, мистер Сомс. Я собирался уйти пораньше, у моей жены сегодня гости.

— Как же, вижу,— сказал Сомс, водворяя дыню на место.— Сейчас вам и нечего делать, я только зашел просить вас составить отказы от доверенностей по форсайтским делам.

На лице старика появилось такое выражение, что Сомс не мог сдержать улыбки.

— Пожалуй, оставьте дела Тимоти; от остальных я отказываюсь. Можно их передать молодому Роджеру. Ему делать нечего.

Ворчливо и угодливо старик сказал:

— Ох, не понравится им это!

Сомс рассердился.

— Ничего, утешатся. Я хочу отдохнуть.

Он не собирался входить в объяснения — Грэдмен сам все прочтет завтра в «Вестнике финансов» или что он там выписывает.

— Значит, я теперь вас буду редко видеть, мистер Сомс? По делам мистера Тимоти ничего обычно не бывает. Ах, боже мой! Я просто огорчен. А как же с доверенностью вашей сестры?

Сомс посмотрел на Грэдмена и ощутил легкие угрызения совести — как всегда, когда чувствовал, что его ценят.

— Ну, ее можно сохранить. Свои дела я тоже, разумеется, буду вести сам. Всего лучшего, Грэдмен! Дыня прекрасная.

Он вышел, не дожидаясь ответа. Вот старик! Но и он недолго продержится, хотя вид у него бравый. Трудно будет подобрать другого такого.

Выйдя снова в Полтри, он решил идти на Грин-стрит и повидать Уинифрид — странно и неожиданно он почувствовал тоску по Парк-Лейн, по прежним спокойным дням, по своему замкнутому и благополучному детству под крылышком Джемса и Эмили. Уинифрид одна воплощала теперь его прошлое; ее твердый характер никогда не менялся, как бы она ни гонялась за модой.

Он застал ее в платье, не совсем подходящем ей по возрасту, за чашкой китайского чая; она его, правда, терпеть не могла, но что поделаешь, всякий другой чай — вульгарность. Она завела себе попугая: попугаи опять входили в моду. Птица нестерпимо шумела. Под влиянием ли этого, или от китайского чая, заваренного по-английски из смеси, специально изготовляемой в Китае для иностранцев, и плохо действовавшего на Сомса, последний неожиданно для себя рассказал ей всю историю.

Когда он кончил, Уинифрид успокаивающе проговорила:

— И отлично сделал, Сомс; так им и надо.

Понимая, что представил дело не в том свете, в каком его покажут публике, Сомс заметил:

— Все это превосходно, но в финансовых газетах ты найдешь совершенно другую версию.

— О, но ведь их никто не читает. Я бы лично не беспокоилась. Ты делаешь упражнения Куэ? Такой приятный человечек. Я вчера ходила его слушать. Иногда скучновато, но это последнее слово науки.

Сомс сделал вид, что не слышит,— он никогда не признавался в своих слабостях.

— А как Флер, как ее дела? — спросила Уинифрид.

— Дела! — отозвался голос над головой. Эта птица! Она висела на парчовой занавеси, вертя головой вниз и вверх.

— Полли! — прикрикнула Уинифрид.— Не шали!

— Сомс! — крикнула птица.

— Слышишь, как я ее выучила? Ну не душка ли?

— Нет,— буркнул Сомс.— Я бы ее посадил в клетку, она испортит тебе занавеси.

Все сегодняшние обиды вдруг вспомнились ему. Что такое жизнь? Кривлянье попугаев. Разве люди видят правду? Они просто повторяют друг друга, как эта свора пайщиков, или вычитывают свои драгоценные убеждения в «Ежедневном вруне». На одного вожака приходится сотня баранов, идущих за ним.

— Оставайся обедать, мой дорогой,— сказала Уинифрид.

Да! Он останется обедать. Не найдется ли у нее случайно дыни? Ему совершенно не хотелось обедать наедине с женой на Саут-сквер. Флер, наверно, не выйдет из своей комнаты. Что же касается Майкла — он сам все видел и слышал: нечего еще раз пережевывать.

Он мыл руки перед обедом, когда горничная за дверью сказала:

— Вас просят к телефону, сэр!

Голос Майкла прозвучал по телефону напряженно и хрипло.

— Это вы, сэр?

— Да, в чем дело?

— У Флер началось. В три часа. Я вас никак не мог найти.

— Что? — крикнул Сомс.— Говорите скорее, как?

— Говорят, идет нормально. Но это такой ужас... Теперь, говорят, скоро кончится.— Голос оборвался.

— Господи! — пробормотал Сомс.— Где моя шляпа?

У двери горничная спросила:

— Вы вернетесь к обеду, сэр?

— Обед! — буркнул Сомс и вышел.

Он шел быстро, чуть не бегом, ища глазами такси. Конечно, ни одного нет. Ни одного! Против «Айсиум-Клуба» он поймал машину с опущенным верхом по случаю хорошей погоды после вчерашней грозы. Ох, эта гроза! Надо было предвидеть. На десять дней раньше срока! Почему, черт возьми, он не пошел прямо туда или по крайней мере не позвонил сказать, где он будет? Все, что случилось в этот день, развеялось как дым. Бедная девочка! Бедная крошка! Как же насчет обезболивания? Почему он не был там вовремя? Он мог бы... хотя... при-

рода! Природа, черт бы ее побрал! Как будто она не могла оставить в покое Флер!

— Скорее! — бросил он шоферу.— Заплачу вдвойне.

Мимо «Клуба знатоков», мимо дворца, по Уайтхолл, мимо всех заповедных мест, откуда была изгнана природа, охваченный самыми примитивными чувствами, ехал Сомс, посеревший от волнения. Мимо Большого Бэна — без пяти восемь! Пять часов! Пять часов такой муки!

— Скорее бы все кончилось,— пробормотал он вслух,— скорее бы, господи!

XIV

ПЫТКА

Когда его тесть поклонился председателю и вышел, Майкл еле удержался, чтоб не крикнуть «браво!». Кто бы подумал, что старик так разойдется! Да, он им показал, что и говорить! Несколько минут стоял сплошной гул голосов, прежде чем его соседу, мистеру Содри, удалось всех перекричать.

— Теперь, когда замешанный в это дело директор подал в отставку, я имею предложить вотум доверия остальным членам правления.

Майкл увидел, как его отец поднялся, чуть фатоватый и улыбающийся, и поклонился председателю.

— Я считаю свою отставку также принятой; если разрешите, я присоединюсь к мистеру Форсайту.

Кто-то сказал:

— Я охотно поддержу вотум доверия.

Задев колени мистера Содри, Майкл пошел к выходу. Обернувшись, он увидел, как почти все подняли руки за вотум доверия. «Брошены на растерзание пайщикам!» — подумал он и вышел из зала. Из деликатности он не стал разыскивать своих стариков. Они спасли свое достоинство, зато все остальное полетело к черту.

Шагая по улице, он размышлял о тернистых путях справедливости. Конечно, пайщики были в обиде; кто-

нибудь должен был получить по шее, чтобы удовлетворить их чувство справедливости. Они прицепились к «Старому Форсайту», который меньше всех виноват. Ведь если бы Барт держал язык за зубами, они, конечно, и его бы включили в вотум доверия. Все очень естественно и нелогично. И уже четыре часа.

«Подделки!» Старое чувство к Уилфриду проснулось в нем сегодня, в день выхода книги. Надо сделать все, что можно, чтобы его книгу пустить в ход. Бедный старый дружище! Просто нельзя допустить, чтобы ее холодно приняли.

Он зашел к двум крупным книготорговцам, потом отправился в свой клуб и заперся в телефонной будке. В прежнее время обычно брали кэб и объезжали всех. Звонить по телефону быстрее — впрочем, так ли? С бесконечными затруднениями он наконец поймал Сибли, Нэйзинга, Эпшира, Мастера и еще с полдюжины избранных. Он нарочно подчеркивал то, что их могло затронуть. Эта книга, говорил он, неминуемо вызовет злобу старой гвардии и вообще всяких снобов; поэтому надо, чтобы сочувствующие ее поддержали. С каждым из них он говорил так, как будто на свете только его мнение играло роль. «Если вы еще не дали рецензии на книгу, дорогой, сделайте это сегодня же. Ваше мнение особенно важно». И каждому он говорил: «Мне решительно все равно, как пойдет книга, но я хочу, чтобы Уилфриду отдали должное». Он и вправду так думал. В течение этого часа разговоров по телефону издатель в нем молчал, зато друг бился за своего друга. Он вышел из будки, вытирая ручьи пота со лба. Было уже половина шестого!

«Выпить чаю — и домой!» — подумал он. Он пришел домой в шесть часов. Тинг-а-Линг, совершенно незаметный, сидел в дальнем углу холла.

— Что с тобой, дружище?

В ответ послышался звук из спальни, от которого у него похолодела кровь,— протяжный, тихий стон.

— Боже мой! — ахнул он и полетел наверх.

В дверях его встретила Аннет. Он слышал, как она говорит что-то по-французски, называя его «mon cher», слышал слова «vers trois heures [1]... и доктор сказал, что

[1] Часа в три *(франц.)*.

не надо беспокоиться, все в порядке». Снова этот стон! Дверь закрылась у него перед носом: Аннет ушла. Майкл остался у дверей; совершенно холодный пот катился по его лицу, и ногти впивались в ладони.

«Вот как становишься отцом! — подумал он.— Вот как я стал сыном!» Опять этот стон. Он не мог оставаться у двери, он не мог решиться уйти. Ведь это может длиться еще очень долго! Он повторял все время: «Не надо волноваться, не надо волноваться!» Легко сказать! Какая бессмыслица! Его мозг, его сердце в поисках облегчения вдруг напали на странную мысль: что если бы там рождался не его ребенок, не его, а Уилфрида; как бы он чувствовал себя здесь, на пороге? А ведь это могло случиться, вполне могло,— ведь теперь нет ничего священного. Ничего. Да, кроме того, что человеку дороже его самого,— кроме того, что вот так стонет там за дверью. Он не мог выдержать этого стояния у двери и пошел вниз. Он ходил взад и вперед по медному полу, с сигарой во рту, в бессильной ярости. Почему рождение должно быть таким? И в ответ пришло: «Не везде это так — например, в Китае». Думать, что все на свете чепуха,— и потом вот так напороться! То, что рождается такой ценой, должно и будет иметь значение. Об этом он позаботится. Но мозг Майкла отказывался работать; и он стоял неподвижно, весь превратившись в слух. Ничего! Он не мог выдержать хождения по комнате и снова пошел наверх. Сначала — ни звука, потом — опять этот стон! На этот раз он убежал в кабинет и метался по комнате, смотря на карикатуры Обри Грина. Он ничего не видел и вдруг вспомнил о «Старом Форсайте». Надо ему сказать!

Он позвонил в «Клуб знатоков», в «Смену» и во все клубы отца, думая, не пошли ли они туда вместе после собрания. И все напрасно. Было уже половина восьмого. Сколько же это еще будет длиться? Он вернулся к дверям спальни: ничего не было слышно. Он пошел в холл. Теперь Тинг-а-Линг лежал у входной двери. «Ему надоело! — подумал Майкл, поглаживая его по спине, и машинально открыл ящик для писем. Только одно письмо — почерк Уилфрида! Он прочел его у лестницы, лишь частью сознания воспринимая письмо и непрестанно думая о том, другом...

«Дорогой Монт, завтра отправляюсь в путь — хочу пересечь Аравию. Подумал, что надо тебе написать, на случай если Аравия «пересечет» меня. Я совсем образумился. Здесь слишком чистый воздух для всяких сентиментов, а страсть в изгнании быстро чахнет. Прости, что я тебе доставил столько волнений. С моей стороны было ошибкой вернуться в Англию после войны и слоняться без дела, сочиняя стишки для развлечения светских дам и чернильной братии. Бедная старая Англия — невеселые настали для нее времена! Передай ей привет — и вам обоим тоже.

Твой *Уилфрид Дезерт.*

P. S. Если ты издал то, что я оставил, передай, что́ мне причитается, моему отцу.

У. Д.»

Майкл мельком подумал: «Ну вот и хорошо. А книга-то сегодня выходит из печати». Странно! Неужели Уилфрид прав и все это — чистейший вздор, чернильные потоки? Не усугубляется ли этим еще больше болезнь Англии? Может быть, всем надо сесть на верблюдов и пуститься в погоню за солнцем? А все же книги — радость и отдых; и они нужны; Англия должна держаться — должна! «Все вперед, все вперед. Отступления нет. Победа иль смерть!»... Боже! Опять!.. Стоны смолкли... Аннет вышла к нему.

— Отца, mon cher, отыщите ее отца.

— Пробовал — нигде нет! — задыхаясь, сказал Майкл.

— Попробуйте позвонить на Грин-стрит, к миссис Дарти. Courage! [1] Все идет нормально — теперь уж совсем скоро.

Позвонив на Грин-стрит и добившись наконец ответа, он пошел в кабинет и, открыв дверь, стал ждать «Старого Форсайта». Мельком он заметил круглую дырочку, выжженную в левой штанине,— он даже не заметил запаха гари, он даже не помнил, что курил. Надо подтянуться ради старика. Он услышал звонок и полетел открывать дверь.

---

[1] Бодритесь! *(франц.)*

— Ну? — спросил Сомс.

— Еще нет. Пойдемте в кабинет — там ближе!

Они поднялись вместе. Седая аккуратная голова, с глубокой складкой между бровями, и глаза, словно углубленные страданием, успокоили Майкла. Бедный старик! Ему тоже нелегко. Оба они, видно, с ума сходят!

— Хотите выпить, сэр? У меня тут есть коньяк.

— Давайте,— сказал Сомс,— все равно что.

С рюмкой в руках, привстав, оба прислушались — подняли рюмки — выпили залпом. Они двигались автоматически, как две марионетки на одной веревочке.

— Папиросу, сэр?

Сомс кивнул.

Зажгли папиросы — поднесли их ко рту — прислушались — затянулись — выпустили дым. Майкл прижимал левую руку к груди, Сомс — правую. Так они сидели симметрично рядом.

— Ужасно трудно, сэр, извините!

Сомс кивнул головой. Его зубы были стиснуты. Вдруг его рука разжалась.

— Слышите? — сказал он.

Звуки — совсем другие — смутные!

Майкл крепко схватил и сжал что-то холодное, тонкое — руку Сомса.

Так они сидели рука в руке и смотрели на дверь неизвестно сколько времени.

Вдруг просвет двери исчез, на пороге появилась фигура в сером — Аннет!

— Все в порядке! Сын!

XV

ПОКОЙ

Когда Майкл на следующее утро очнулся от глубокого сна, первой его мыслью было: «Флер снова со мной!» Потом он вспомнил.

На его «все хорошо?», шепотом сказанное у дверей, сиделка выразительно закивала головой.

Несмотря на лихорадочное ожидание, он все-таки су-

мел остаться современным и сказать себе: «Нечего распускаться! Ступай и спокойно позавтракай».

В столовой Сомс презрительно щурился на надбитое яйцо. Он взглянул на вошедшего Майкла и уткнулся в свою чашку. Майкл прекрасно его понимал: ведь вчера они сидели, держась за руки! Он увидел, что у прибора Сомса лежит развернутая финансовая газета.

— Что-нибудь о собрании, сэр? Вашу речь, наверно, расписывают вовсю.

Сомс кашлянул и протянул газету. Заголовки гласили: «Бурное собрание — отставка двух директоров — вотум доверия». Майкл бегло просмотрел отчет, пока не дошел до слов:

«Мистер Форсайт, замешанный в это дело директор, в своей довольно длинной речи сказал, что не намерен петь Лазаря. Он заявил, что возмущен поведением пайщиков, что не привык к подозрениям. Он подал прошение об отставке».

Майкл опустил газету.

— Черт возьми! «Замешанный», «подозрения». Они этому придали такой оборот, точно...

— Газеты! — сказал Сомс и снова принялся за еду.

Майкл сел и начал очищать банан. «А ведь сумел красиво умереть,— подумал он.— Бедный старик».

— Знаете, сэр,— сказал он,— я там был, и вот что я могу сказать: из всех только вы и мой отец возбудили во мне уважение.

— Гм! — промычал Сомс и положил ложку.

Майкл понял, что ему хочется побыть одному, и, проглотив банан, ушел к себе в кабинет. Пока его не позвали к Флер, он решил позвонить отцу.

— Как вы себя чувствуете после вчерашнего, Барт?

Голос сэра Лоренса, ясный, тонкий и высокий, ответил:

— Беднее и мудрее. Каков бюллетень?

— Лучше некуда.

— Поздравляем вас обоих. Мама спрашивает, есть ли у него волосы.

— Еще не видел. Сейчас пойду к нему.

И в самом деле, Аннет кивнула ему из приоткрытой двери.

— Она просит вас принести ей собачку, mon cher.

С Тинг-а-Лингом под мышкой, ступая на цыпочках, Майкл вошел. Одиннадцатый баронет. Он еще ничего не видел, потому что голова Флер склонилась над ребенком. Определенно — волосы у нее стали темнее. Майкл подошел к кровати и благоговейно коснулся ее лба.

Флер подняла голову и открыла его взгляду ребенка, бодро сосавшего ее мизинец.

— Чем не обезьянка? — послышался ее слабый голос.

Майкл кивнул. Конечно, обезьянка—но белая ли, вот вопрос!

— А ты как, дорогая?

— Теперь отлично, но что было...— Она перевела дыхание, и ее глаза потемнели.— Тинг, смотри!

Китайская собачка, деликатно наморщив ноздри, попятилась под рукою Майкла. Во всей ее повадке сквозило хитрое осуждение.

«Щенята,— казалось, говорила она.— У нас в Китае это тоже бывает. Мнение свое оставляю при себе».

— Что за глаза! — сказал Майкл.— Ему мы можем и не говорить, что ребенка принес доктор из Челси.

Флер еле слышно засмеялась.

— Пусти его, Майкл.

Майкл поставил собачку на пол, и она убежала в свой угол.

— Мне нельзя разговаривать,— сказала Флер,— но страшно хочется, как будто я несколько месяцев была немая.

«То же чувство, что и у меня,— подумал Майкл,— она и вправду была где-то далеко-далеко, совсем не здесь».

— Как будто тебя что-то держит, Майкл. Совсем не свой становишься.

— Да,— мягко проговорил Майкл,— устарелая процедура. Есть у него волосы? Мама спрашивала.

Флер обнажила голову одиннадцатого баронета, покрытую темным пушком.

— Как у моей бабушки, но они посветлеют. Глаза у него будут серые. Майкл, а как насчет крестных? Матерью, конечно, Элисон, а кто будет крестным отцом?

Майкл помолчал немного, прежде чем ответить:

— Я вчера получил письмо от Уилфрида. Хочешь, возьмем его? Он все еще там, но я могу держать за него губку в церкви.

— Он пришел в себя?

— По его словам — да.

Майкл не мог прочесть выражение ее глаз, но губы ее слегка надулись.

— Хорошо,— сказала она,— и, по-моему, совершенно достаточно одного крестного. Мои мне никогда ничего не дарили.

— А мне моя крестная дала библию, а крестный — нагоняй. Значит, решено — Уилфрид.

И он наклонился к ней.

В ее глазах ему почудилось насмешливое и чуть виноватое выражение. Он поцеловал ее в голову и поспешил отойти.

У двери стоял Сомс, ожидая своей очереди.

— Только на одну минуту, сэр,— сказала сиделка.

Сомс подошел к кровати и остановился, глядя на дочь.

— Папочка, дорогой! — услышал Майкл.

Сомс погладил ей руку и, как бы выражая свое одобрение младенцу, кивнул и пошел к двери, но в зеркале Майкл увидел, что губы у него дрожат.

Когда Майкл опять спустился в нижний этаж, им овладело сильнейшее желание запеть. Но нельзя было; и, войдя в китайскую комнату, он стал смотреть в окно на залитый солнцем сквер. Эх, хорошо жить на свете! Что ни говори, а этого не станешь отрицать. Пусть задирают носы перед жизнью и смотрят на нее сверху вниз. Пусть возятся с прошлым и с будущим; ему подавай настоящее!

«Повешу опять «Белую обезьяну»,— подумал он.— Не так-то легко будет этому животному нагнать на меня тоску».

Он пошел в чулан под лестницей и из-под четырех пар пересыпанных нафталином и завернутых в бумагу занавесок достал картину. Он отставил ее немного, чтобы посмотреть на нее в полусвете чулана. И глаза же у этой твари! Все дело в этих глазах.

— Ничего, старина,— сказал он.— Едем наверх.— И он потащил картину в китайскую комнату.

Сомс оказался там.

— Я хочу повесить ее, сэр.

Сомс кивнул.

— Подержите, пожалуйста, пока я закручу проволоку.

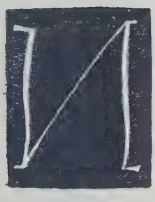
Сойдя на медный пол, Майкл сказал:

— Вот и хорошо, сэр,— и отступил посмотреть.

Сомс подошел к нему. Стоя рядом, они глядели на «Белую обезьяну».

— Она не успокоится, пока не получит своего,— сказал, наконец, Майкл.— Но вот беда — она сама не знает, чего хочет.

1924 г.



Интерлюдия:

ИДИЛЛИЯ

Перевод
М. Лорие.

В феврале 1924 года Джон Форсайт, только что перенесший испанку, сидел в салоне гостиницы в Кэмдене, штат Южная Каролина, и его светлые волосы медленно вставали дыбом. Он читал о случае линчевания

Голос у него за спиной сказал:

— Поедемте с нами сегодня на пикник, знаете — к этим древним курганам?

Он поднял голову и увидел своего знакомого, молодого южанина по имени Фрэнсис Уилмот.

— С удовольствием. А кто будет?

— Да только мистер и миссис Пэлмер Харисон, и этот английский романист Гэрдон Минхо, и девочки Блэр и их подруги, и моя сестра Энн и я. Если хотите поразмяться, можете ехать верхом.

— Отлично! Сегодня утром сюда прислали новых лошадей из Колумбии.

— О, да это чудесно! Тогда и мы с сестрой поедем верхом и кто-нибудь из девочек Блэр. А остальных пусть забирают Харисоны.

— Про линчевание читали? — сказал Джон.— Какой ужас!

Молодой человек, с которым он говорил, сидел на окне. Джону очень нравилось его лицо цвета слоновой кости, его темные волосы и глаза, тонкий нос и губы и изящная, свободная манера держаться.

— Все вы, англичане, с ума сходите, когда читаете о линчеваниях. У вас там, в Южных Соснах, нет негритянского вопроса. В Северной Каролине он вообще почти не возникает.

— Это правда, я и не считаю, что разбираюсь в нем. Но я не понимаю, почему бы не судить негров таким же судом, как белых. Есть, наверно, случаи, когда просто надо пристрелить человека на месте. Но мне непонятно, как вы можете защищать самосуд. Раз уж человека поймали, надо судить его как следует.

— В этом вопросе, знаете ли, рисковать не рекомендуется.

— Но если человека не судить, как же вы установите его вину?

— Мы считаем, что лучше пожертвовать одним безвинным негром, чем подвергать опасности наших женщин.

— По-моему, нет ничего хуже, как убить человека за то, чего он не делал.

— В Европе — может быть. Здесь — нет. Очень еще все неустойчиво.

— А что говорят о суде Линча на Севере?

— Пищат понемножку, но совершенно напрасно. У нас негры, у них индейцы; думаете, они с ними церемонятся?

Джон Форсайт откинулся в качалке и растерянно нахмурился.

— У нас тут еще слишком много места,— продолжал Фрэнсис Уилмот.— Человеку есть куда скрыться. Так что если мы в чем уверены, то действуем не спрашиваясь.

— Да, каждая страна живет по-своему. А на какие это мы курганы едем?

— Остатки индейских поселений; им, говорят, несколько тысяч лет. Вы с моей сестрой не знакомы? Она приехала только вчера вечером.

— Нет. Когда выезжаем?

— В двенадцать; туда лесом ехать около часа.

Ровно в двенадцать, переодевшись для верховой езды, Джон вышел из отеля. Лошадей было пять, так как верхом пожелали ехать две девочки Блэр. Он поехал между ними, а Фрэнсис Уилмот с сестрой — впереди.

Девочки Блэр были молоденькие и по-американски хорошенькие — в меру яркие, круглолицые, румяные — тип, к которому он привык за два с половиной года, проведенных в Соединенных Штатах. Они сначала были слишком молчаливы, потом стали слишком много болтать. Верхом ездили по-мужски, и очень хорошо. Джон узнал, что они, как и устроители пикника мистер и миссис Харисон, живут на Лонг-Айленде. Они задавали ему много вопросов об Англии, и Джону, уехавшему оттуда девятнадцати лет, приходилось выдумывать много ответов. Он начал с тоской поглядывать через уши лошади на Фрэнсиса Уилмота и его сестру, которые ехали впереди в молчании, издали казавшемся чрезвычайно приятным. Дорога шла сосновым лесом, между стройных редких деревьев, по песчаному грунту; солнце светило ясное, теплое, но в воздухе еще был холодок. Джон ехал на гнедом иноходце и чувствовал себя так, как бывает, когда только что выздоровеешь.

Девочки Блэр интересовались его мнением насчет английского романиста — им до смерти хотелось увидеть настоящего писателя. Джон читал только одну его книгу и из действующих лиц помнил только кошку. Девочки Блэр не читали ни одной; но они слышали, что кошки у него «восхитительные».

Фрэнсис Уилмот придержал лошадь и указал на большой холм, по виду действительно насыпанный когда-то людьми. Они все придержали лошадей, посмотрели на него две минуты молча, решили, что это «очень интересно», и поехали дальше. Публика, высадившаяся из двух автомобилей, распаковывала в ложбинке еду. Джон отвел лошадей в сторону, чтобы привязать их рядом с лошадьми Уилмота и его сестры.

— Моя сестра,— сказал Фрэнсис Уилмот.

— Мистер Форсайт,— сказала сестра.

Она посмотрела на Джона, а Джон посмотрел на нее. Она была тоненькая, но крепкая, в длинном темно-коричневом жакете, бриджах и сапогах; волосы короткие, темные, под мягкой коричневой фетровой шляпой. Лицо, бледное, сильно загорелое, выражало какое-то сдержанное напряжение; лоб широкий, чистый, носик прямой и смелый, рот ненакрашенный, довольно большой и красивый. Но особенно поразили Джона ее глаза — как раз

такие, какими в его представлении должны быть глаза у русалки. С чуть приподнятыми уголками, немигающие, и карие, и манящие. Он не мог разобрать, не косит ли она самую малость, но если и так, это только украшало ее. Он смутился. Оба молчали. Фрэнсис заявил: «А я, знаете ли, голоден»,— и они вместе направились к остальным.

Джон вдруг обратился к сестре:

— Так вы только что приехали, мисс Уилмот?

— Да, мистер Форсайт.

— Откуда?

— Из Нэйзби. Это между Чарлстоном и Саванной.

— А, Чарлстон! Чарлстон мне понравился.

— Энн больше нравится Саванна,— сказал Фрэнсис Уилмот.

Энн кивнула. Она была, по-видимому, неразговорчива, но пока, в небольших дозах, ее голос звучал приятно.

— Скучновато у нас там,— сказал Фрэнсис.— Все больше негры. Энн никогда еще не видела живого англичанина.

Энн улыбнулась. Джон тоже улыбнулся. Разговор замер. Они подошли к еде, разложенной с таким расчетом, чтобы вызвать максимум мускульной и пищеварительной энергии. Миссис Пэлмер Харисон, дама лет сорока, с резкими чертами лица, сидела вытянув вперед ноги; Гэрдон Минхо, английский романист, пристроил свои ноги более скромно; а дальше сидело множество девушек, все с хорошенькими и отнюдь не скромными ножками; немного в стороне мистер Пэлмер Харисон кривил маленький рот над пробкой большой бутылки. Джон и Уилмоты тоже сели. Пикник начался.

Джон скоро увидел, что все ждут, чтобы Гэрдон Минхо сказал что-нибудь, кроме «да», «да что вы!», «а», «вот именно!» Этого не случилось. Знаменитый романист был сначала чуть не болезненно внимателен к тому, что говорили все остальные, а потом словно впал в прострацию. Патриотическое чувство Джона было уязвлено, ибо сам он держался, пожалуй, еще более молчаливо. Он видел, что между тремя девочками Блэр и их двумя подругами готовится заговор — на свободе отвести душу по поводу молчаливых англичан. Бессловесная сестра Фрэнсиса Уил-

мота была ему большим утешением. Он чувствовал, что она не захочет, да и не вправе будет примкнуть к этому заговору. С горя он стал передавать закуски и был рад, когда период насыщения всухомятку пришел к концу. Пикник — как рождество — в будущем и прошлом лучше, чем в настоящем. Затем корзины были вновь упакованы, и все направились к автомобилям. Обе машины покатили к другому кургану, как говорили — в двух милях от места привала. Фрэнсис Уилмот и две девочки Блэр решили, что поедут домой смотреть, как играют в поло. Джон спросил Энн, что она думает делать. Она пожелала увидеть второй курган.

Они сели на лошадей и молча поехали по лесной дороге. Наконец Джон сказал:

— Вы любите пикники?

— Определенно — нет.

— Я тоже. А ездить верхом?

— Обожаю больше всего на свете.

— Больше, чем танцы?

— Конечно. Ездить верхом и плавать.

— А! Я думал...— и он умолк.

— Что вы думали?

— Ну, я просто подумал, что вы, наверно, хорошо плаваете.

— Почему?

Джон сказал, смутившись:

— По глазам.

— Что? Разве они у меня рыбьи?

Джон рассмеялся.

— Да нет же! Они, как у русалки.

— Еще не знаю, принять ли это за комплимент.

— Ну конечно.

— Я думала, русалки малопочтенные создания.

— Ну что вы, напротив! Только робкие.

— У вас их много в Англии?

— Нет. По правде сказать, я их раньше никогда не видел.

— Так откуда же вы знаете?

— Просто чувствую.

— Вы, наверно, получили классическое образование. В Англии ведь это, кажется, всем полагается?

— Далеко не всем.

— А как вам нравится Америка, мистер Форсайт?

— Очень нравится. Иногда нападает тоска по родине.

— Мне бы так хотелось попутешествовать.

— Никогда не пробовали?

Она покачала головой.

— Сижу дома, хозяйничаю. Но старый дом, вероятно, придется продать — хлопком больше не проживешь.

— Я развожу персики около Южных Сосен. Знаете, в Северной Каролине. Это сейчас выгодно.

— Вы живете там один?

— Нет, с матерью.

— Она англичанка?

— Да.

— А отец у вас есть?

— Четыре года как умер.

— Мы с Фрэнсисом уже десять лет сироты.

— Вот бы вам обоим приехать как-нибудь к нам погостить; моя мать была бы так рада.

— Она похожа на вас?

Джон засмеялся.

— Нет. Она красавица.

Глаза серьезно посмотрели на него, губы чуть-чуть улыбнулись.

— Я бы поехала с удовольствием, но нам с Фрэнсисом нельзя отлучаться одновременно.

— Но ведь сейчас вы оба здесь.

— Завтра уезжаем; мне хотелось увидеть Кэмден.— Глаза опять стали внимательно разглядывать лицо Джона.— Может, наоборот, вы поедете с нами и посмотрите наш дом? Он старый. И Фрэнсису доставили бы удовольствие?

— Вы всегда знаете, что доставит вашему брату удовольствие?

— Конечно.

— Вот это здорово. Но вам правда хочется, чтобы я приехал?

— Ну да.

— Я-то очень хотел бы: ненавижу отели. То есть... ну, вы знаете.

Но так как он и сам не знал, трудно было ожидать, что она знает.

Она тронула лошадь, и иноходец Джона перешел на легкий галоп.

В просветы нескончаемого соснового леса солнце светило им в глаза; пахло нагретыми сосновыми иглами, смолой и травой; дорога была ровная, песчаная; лошади шли бодро. Джон был счастлив. Странные у этой девушки глаза, манящие; и верхом она ездит даже лучше, чем девочки Блэр.

— Англичане, наверно, все хорошо ездят? — спросила она.

— Почти все, если вообще ездят; но сейчас у нас верховая езда не в почете.

— Так хотелось бы побывать в Англии! Наши предки приехали из Англии в тысяча семисотом году — из Вустершира. Где это?

— Это наш Средний Запад,— сказал Джон.— Только совсем не такой, как у вас. Там много фруктовых садов — красивая местность: белые деревянные домики, пастбища, сады, леса, зеленые холмы. Я как-то на каникулах ездил туда гулять с одним школьным товарищем.

— Должно быть, чудесно. Наши предки были католики. У них было имение Нэйзби; вот мы и свое назвали Нэйзби. А бабушка моя была французская креолка из Луизианы. Правда, что в Англии считают, будто в креолах есть негритянская кровь?

— Мы очень невежественны,— сказал Джон.— Я-то знаю, что креолы — это старые испанские и французские семьи. В вас обоих есть что-то французское.

— Во Фрэнсисе — да. А мы не проехали этот курган? Мы уже сделали добрых четыре мили, а говорили — до него только две.

— А не все ли равно? Тот, первый, по-моему, не был так уж потрясающе интересен.

Ее губы улыбнулись; она, наверно, никогда не смеялась по-настоящему.

— А какие в этих краях индейцы? — спросил Джон.

— Наверно не знаю. Если есть, так, должно быть, семинолы. Но Фрэнсис думает, что эти курганы были еще до прихода теперешних племен. Почему вы приехали в Америку, мистер Форсайт?

Джон прикусил губу. Сказать причину — семейная распря, неудачный роман — было не так-то просто.

— Я сначала поехал в Британскую Колумбию, но там дело не пошло. Потом услышал о персиках в Северной Каролине.

— Но почему вы уехали из Англии?

— Да просто захотелось посмотреть белый свет.

— Да,— сказала она.

Звук был тихий, но сочувственный. Джон был рад, тем более что она не знала, чему сочувствует. Образ его первой любви редко теперь тревожил его — уже год, даже больше, как это кончилось. Он был так занят своими персиками. Кроме того, Холли писала, что у Флер родился сын. Вдруг он сказал:

— По-моему, надо поворачивать — посмотрите на солнце.

Солнце, и правда, было уже низко за деревьями.

— Ой, да.

Джон повернул коня.

— Давайте галопом, через полчаса сядет; а луны еще долго не будет.

Они поскакали назад по дороге. Солнце зашло еще скорее, чем он думал, стало холодно, свет померк. Вдруг Джон придержал лошадь.

— Простите, пожалуйста; кажется, мы не на той дороге, по которой ехали с пикника. Я чувствую, что мы сбились вправо. Дороги все одинаковые, а лошади только вчера из Колумбии, знают местность не лучше нашего.

Девушка засмеялась.

— Мы заблудимся.

— Хм! Это не шутка в таком лесу. Ему что, конца нет?

— Наверно, нет. Прямо приключение.

— Да, но вы простудитесь. Ночью здорово холодно.

— А у вас только что была испанка!

— О, это неважно. Вот дорога влево. Поедем по ней или прямо?

— По ней.

Они поехали дальше. Для галопа было слишком темно, скоро и рысью ехать стало невозможно. А дорога извивалась бесконечно.

— Вот так история,— сказал Джон.— Ой, как неприятно!

Они ехали рядом, но он еле-еле разглядел ее улыбку.

— Ну что вы! Страшно забавно.

Он был рад, что она так думает, но не совсем с ней согласен.

— Так глупо с моей стороны. Брат ваш меня не поблагодарит.

— Он же знает, что я с вами.

— Если б еще у нас был компас. Так всю ночь можно проплутать. Опять дорога разветвляется! О черт, сейчас совсем стемнеет.

И не успел он сказать это, как последний луч света погас; Джон едва различал девушку на расстоянии пяти шагов. Он вплотную подъехал к ее лошади, и Энн дотронулась до его рукава.

— Не надо беспокоиться,— сказала она,— вы этим только все портите.

Переложив поводья, он сжал ее руку.

— Вы молодчина, мисс Уилмот.

— О, зовите меня Энн. От фамилий как-то холодно, когда собьешься с дороги.

— Большое спасибо. Меня зовут Джон, по-настоящему — Джолион.

— Джолион — Джон, это хорошо.

— А я всегда любил имя Энн. Подождем, пока взойдет луна, или поедем дальше?

— А она когда взойдет?

— Часов в десять, судя по вчерашнему. И будет почти полная. Но сейчас только шесть.

— Поедем, пусть лошади сами ищут дорогу.

— Ладно. Только если уж они нас куда-нибудь привезут, так в Колумбию, а это не близко.

Они поехали шагом по узкой дороге. Теперь совсем стемнело. Джон сказал:

— Вам не холодно? Пешком идти теплее. Я поеду вперед; не отставайте, а то потеряете меня из виду.

Он поехал вперед и скоро спешился, потому что сам замерз. Ни звука нельзя было уловить в нескончаемом лесу, ни проблеска света.

— Вот теперь я озябла,— послышался голос Энн.— Я тоже слезу.

Так они шли с полчаса, ведя лошадей в поводу и чуть не ощупью находя дорогу; вдруг Джон сказал:

— Посмотрите-ка! Что-то вроде поляны! А что там налево чернеется?

— Это курган.

— Только какой, интересно? Тот, что мы видели, или второй, или еще новый?

— Пожалуй, побудем здесь, пока не взойдет луна, а тогда, может быть, разберемся и найдем дорогу.

— Правильно! Тут, наверно, и болота есть. Я привяжу лошадей и поищем, где укрыться. А холодно!

Он привязал лошадей с подветренной стороны, а когда повернулся, она была рядом с ним.

— Жутко здесь,— сказала она.

— Найдем уютное местечко и сядем.

Он взял ее под руку, и они двинулись в обход кургана.

— Вот,— сказал вдруг Джон,— здесь копали. Здесь не будет ветра.— Он пощупал землю — сухо.— Присядем здесь и поболтаем.

Прислонившись к стенке вырытой ямы, они закурили и сидели бок о бок, прислушиваясь к тишине. Лошади пофыркивали, тихо переступали, больше не было слышно ни звука. Деревья не шумели — лес был редкий, да и ветер стих, и живого было — только они двое и лошади. Редкие звезды на очень темном небе да чернеющие в темноте стволы сосен — больше они ничего не видели. И еще светящиеся кончики папирос и время от времени — в свете их — лица друг друга.

— Вы, наверно, никогда мне этого не простите,— мрачно сказал Джон.

— Ну что вы! Мне страшно нравится.

— Очень мило, что вы так говорите, но вы, наверно, ужасно озябли. Знаете что, возьмите мой пиджак.

Он уже начал снимать его, когда она сказала:

— Если вы это сделаете, я убегу в лес и заблужусь всерьез.

Джон покорился.

— Просто случай, что это вы, а не кто-нибудь из девочек Блэр,— сказал он.

— А вам бы хотелось?

— Для вас — конечно. Но не для меня, нет, право же!

Они повернулись друг к другу, так что кончики их папирос чуть не столкнулись. Едва различая ее глаза, он вдруг ощутил четкое желание обнять ее. Это казалось так нужно и естественно — но разве можно!

— Хотите шоколаду? — сказала она.

Джон съел малюсенький кусочек: шоколад нужно сберечь для нее.

— Настоящее приключение. Ой, как темно! Одна я бы испугалась, тут страшновато.

— Духи индейцев,— проговорил Джон.— Только я не верю в духов.

— Поверили бы, если бы вас растила цветная нянька.

— А у вас была?

— Ну да, и голос у нее был мягкий, как дыня. У нас есть один старый негр, который в детстве был рабом. Самый милый из всех наших негров; ему скоро восемьдесят лет, волосы совсем белые.

— Ваш отец ведь уже не мог участвовать в Гражданской войне?

— Нет, два деда и прадед.

— А вам сколько лет, Энн?

— Девятнадцать.

— Мне двадцать три.

— Расскажите мне про свой дом в Англии.

— Теперь у меня там ничего и нет.

Он рассказал ей историю своей юности в сокращенном издании и решил, что она слушает замечательно. Потом попросил ее рассказать о себе и, пока она говорила, все думал, нравится ли ему ее голос. Она запиналась и проглатывала слова, но голос был мягкий и очень приятный. Когда она кончила свою немудрую повесть — она почти не уезжала из дому,— наступило молчание, потом Джон сказал:

— Еще только половина восьмого. Пойду взгляну на лошадей. А потом вы, может быть, поспите.

Он стал обходить курган и, добравшись до лошадей, постоял, поговорил с ними, погладил их морды. В нем шевелилось теплое чувство покровителя. Хорошая девочка, и храбрая. Такое лицо запомнишь, в нем что-то есть. Вдруг он услышал ее голос, тихий, словно она не хотела показать вида, что зовет: «Джон! Ау, Джон!» Он ощупью пошел обратно. Она протянула вперед руки.

— Очень страшно! Шуршит что-то! У меня мурашки по спине бегают.

— Ветер поднялся. Давайте сядем спина к спине, вам будет теплее. Или знаете как — я сяду у стены, а вы прислонитесь ко мне и сможете уснуть. Только два часа осталось, потом поедем при луне.

Они сели, как он предлагал, она прислонилась к нему, головой уткнулась ему в плечо.

— Уютно?

— Очень. И мурашки кончились. Тяжело?

— Ни капельки,— сказал Джон.

Они еще покурили и поболтали. Звезды стали ярче, глаза привыкли к темноте. И они были благодарны друг другу за тепло. Джону нравился запах ее волос — как от сена — у самого его носа. Он с удовольствием обнял бы ее и прижал к себе. Но он этого не сделал. Однако ему было нелегко оставаться чем-то теплым, безличным, чтобы ей только было к чему прислониться. В первый раз после отъезда из Англии он испытывал желание обнять кого-нибудь — так сильно он тогда обжегся. Ветер поднялся, прошумел в деревьях, опять улегся; стало еще тише. Ему совсем не хотелось спать, и казалось странным, что она спит — ведь спит, не двигается! Звезды мерцали, он стал пристально смотреть на них. Руки и ноги у него затекли, и вдруг он заметил, что она и не думает спать. Она медленно повернула голову, и он увидел ее глаза — серьезные, манящие.

— Вам тяжело,— сказала она и приподнялась, но его рука вернула ее на место.

— Ни капельки, только бы вам было тепло и уютно.

Голова легла обратно; и бдение продолжалось. Изредка они переговаривались о всяких пустяках, и он думал: «Занятно—можно прожить месяцы со знакомыми людьми и знать их хуже, чем мы теперь будем знать друг друга».

Опять наступило долгое молчание; но теперь Джон обхватил ее рукой, так было удобнее обоим. И он начал подумывать, что луне, собственно, и не к чему всходить. Думала ли Энн то же самое? Он не знал. Но если и думала, луне было все равно, так как он вдруг понял, что она уже тут, где-то за деревьями,— странное спокойное

мерцание стало излучаться в воздухе, поползло по земле, исходило из стволов деревьев.

— Луна! — сказал он.

Энн не двинулась, и сердце его заколотилось. Вот как! Ей, как и ему, не хотелось, чтобы луна всходила! Медленно неясное мерцание наливалось светом, кралось между стволами, окутало их фигуры; и мрак рассеялся. А они все сидели не шевелясь, словно боясь нарушить очарование. Луна набралась сил и в холодном сиянии встала над деревьями; мир ожил. Джон подумал: «Можно ее поцеловать?» — и сейчас же раздумал. Да разве она позволит! Но, словно угадывая его мысль, она повернула голову и посмотрела ему в глаза. Он сказал:

— Я за вас отвечаю.

Послышался легкий вздох, и она встала. Они стояли, потягиваясь, вглядываясь в побелевший таинственный лес.

— Посмотрите, Энн, курган тот самый! Вот тропинка к тому овражку, где мы ели. Теперь-то мы найдем дорогу.

— Да.— Интонация была для него непонятной.

Они подошли к лошадям, отвязали их и сели. Вдвоем они теперь, конечно, найдут дорогу; и они тронулись в путь. Ехали рядом.

Джон сказал:

— Ну вот, будет что вспомнить.

— Да, я никогда не забуду.

Больше они не говорили, только советовались о дороге, но скоро стало ясно, куда ехать, и они поскакали. Вот и луг, где играли в поло,— у самой гостиницы.

— Ступайте успокойте вашего брата. Я отведу лошадей и сейчас вернусь.

Когда он вошел в салон, Фрэнсис Уилмот, еще не переодевшись после поездки, сидел там один. У него было странное выражение лица — не то чтобы враждебное, но, уж, конечно, и не дружелюбное.

— Энн прошла наверх,— сказал он.— Вы, по-видимому, неважно ориентируетесь. Я сильно беспокоился.

— Простите меня, пожалуйста,— смиренно сказал Джон,— я забыл, что лошади не знают местности.

— Что ж,— сказал Фрэнсис Уилмот и пожал плечами.

Джон в упор посмотрел на него.

— Уж вы не воображаете ли, что я отстал нарочно? А то у вас это на лице написано.

Фрэнсис Уилмот опять пожал плечами.

— Простите,— сказал Джон,— но вы, кажется, забыли, что ваша сестра — порядочная женщина, с которой не станешь вести себя, как последний мерзавец.

Фрэнсис Уилмот не отвечал; он отошел к окну и глядел на улицу. Джон был очень зол; он присел на ручку кресла, внезапно почувствовав страшную усталость. Сидел и хмуро смотрел в пол. Вот черт! Он и сестре устроил сцену? Если так...

Голос за его спиной произнес:

— Я, знаете, не то хотел сказать! Извините, пожалуйста, я просто очень беспокоился. Руку!

Джон вскочил, и они обменялись рукопожатием, глядя прямо в глаза друг другу.

— Вы, наверно, совсем вымотались,— сказал Фрэнсис Уилмот.— Пойдемте ко мне; у меня там есть фляжка. Я уж и Энн дал глотнуть.

Они поднялись наверх. Джон сел на единственный стул, Фрэнсис Уилмот — на кровать.

— Энн говорила, что звала вас ехать к нам завтра. Надеюсь, вы не раздумаете?

— Я бы с наслаждением.

— Ну, вот и отлично!

Они выпили, поболтали, покурили.

— Спокойной ночи,— вдруг сказал Джон,— а то я здесь у вас засну.

Они опять пожали друг другу руки, и Джон, пошатываясь, отправился к себе. Уснул он мгновенно.

На следующий день они втроем поехали через Колумбию и Чарлстон в имение Уилмотов. Дом стоял в излучине красноватой реки, окруженный хлопковыми полями и болотами, на которых росли вечнозеленые дубы, унылые, обвешанные флоридским мхом. Прежние лачуги рабов, в которых теперь жили только собаки, еще не были снесены. Дом был двухэтажный, с двумя деревянными лестницами, ведущими на увитую вистарией веранду; он сильно нуждался в покраске. Комнаты все были проходные, в них висели старые портреты умерших Уилмотов и

де Фревилей, да бродили негры, переговариваясь тягучими, мягкими голосами.

Джону ни разу еще не было так хорошо, с самого приезда в Новый Свет, три с половиной года назад. По утрам он возился на солнышке с собаками или пытался писать стихи, так как молодые хозяева были заняты. После обеда он ездил верхом с ними обоими или с одной Энн. Вечерами учился у нее играть на гавайской гитаре перед камином, который топили, когда заходило солнце, или слушал, как Фрэнсис рассказывал о разведении хлопка — с ним, после той минутной размолвки, он был опять в самых лучших отношениях.

С Энн он говорил мало; они как бы снова погрузились в то молчание, которое началось, когда они сидели в темноте у старого индейского кургана. Но он следил за ней; он все время старался поймать серьезный, манящий взгляд ее темных глаз. Она казалась ему все менее и менее похожей на других знакомых девушек; была быстрее их, молчаливее, самостоятельнее. Дни бежали, солнце грело, по ночам пахло дымом лесных пожаров; и каникулы Джона подходили к концу. Он уже умел играть на гавайской гитаре, и под ее аккомпанемент они исполняли негритянские песни, арии из опереток и прочие бессмертные произведения искусства. Настал последний день, и Джона охватило смятение. Завтра рано утром он уезжает в Южные Сосны, к своим персикам! В тот день, когда он в последний раз ездил с ней верхом, молчание было почти неестественное, и она даже не смотрела на него. Джон пошел наверх переодеваться, унося в душе ужас. Теперь он знал, что хочет увезти ее с собой, и был уверен, что она не поедет. Как скучно думать, что нельзя будет больше ловить на себе ее взгляд. Он изголодался от желания поцеловать ее. Он сошел вниз угрюмый и сел в кресло перед горящим камином; теребил за уши рыжего сеттера, смотрел, как в комнате темнеет. Может быть, она даже не придет попеть напоследок. Может быть, ничего больше не будет — только ужин и вечер втроем; не удастся даже сказать, что он любит ее, и услышать в ответ, что она его не любит. И он тоскливо думал: «Я сам виноват — дурак, зачем молчал, упустил случай».

В комнате стемнело, только камин горел; сеттер ус-

нул. Джон тоже закрыл глаза. Так, казалось, было лучше ждать... самого худшего. Когда он открыл глаза, она стояла перед ним с гитарами.

— Хотите поиграть, Джон?

— Да,— сказал Джон,— давайте поиграем. В последний раз,— и он взял гитару.

Она села на коврик перед камином и стала настраивать. Джон соскользнул на пол, где лежал сеттер, и тоже стал настраивать. Сеттер встал и ушел.

— Что будем петь?

— Я не хочу петь, Энн. Пойте вы. Я буду аккомпанировать.

Она не смотрит на него! И не будет смотреть! Все кончено! Дурак, что он наделал!

Энн запела. Она пела протяжную песню — зов испанской горянки. Джон щипал струны, а мелодия щипала его за сердце. Она допела до конца, спела еще раз, и ее взгляд передвинулся. Что? Она смотрит на него наконец! Не надо показывать вида, что он заметил. Уж очень хорошо — этот долгий, темный взгляд поверх гитары. Между ними была ее гитара и его. Он отшвырнул эту гадость. И вдруг, подвинувшись на полу, обнял девушку. Она молча уронила голову ему на плечо, как тогда, у индейского кургана. Он наклонился щекой к ее волосам. От них пахло, как и тогда, сеном. И как тогда, в лунном свете, Энн закинула голову, так и теперь она повернулась к нему. Но теперь Джон поцеловал ее в губы.

1927 г.

ЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА

Но, друг мой,
Тернист наш путь!

Шекспир,
«Зимняя сказка».

Перевод
А. Кривцовой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ИНОСТРАНЕЦ

Трудно было с первого взгляда узнать американца в молодом человеке, который вышел из такси на Саутсквер в Вестминстере в конце сентября 1924 года. Поэтому шофер поколебался, прежде чем запросить двойную плату. Молодой человек без всяких колебаний ему отказал.

— Разве вы неграмотны? — спокойно осведомился он.— Посмотрите — четыре шиллинга.

С этими словами он повернулся спиной к шоферу и взглянул на здание, перед которым остановилось такси. Сейчас ему предстояло впервые войти в английский дом, и он слегка волновался, точно ему должны были выдать семейную тайну. Вытащив из кармана конверт с адресом, он посмотрел на номер, выгравированный на медной дощечке у двери, прошептал: «Да, правильно», и позвонил.

Ожидая, пока откроют, он обратил внимание на глубокую тишину, которую нарушил бой часов. Пробило четыре, и казалось, то был глас Времени. Когда замер гул, дверь приоткрылась, и лысый человек спросил:

— Что угодно, сэр?

Молодой американец снял мягкую шляпу.

— Здесь живет миссис Майкл Монт?

— Да, сэр.

— Пожалуйста, передайте ей мою карточку и письмо.

— «Мистер Фрэнсис Уилмот, Нэйзби, Ю. К.». Будьте добры, войдите, сэр.

Следуя за лакеем, Фрэнсис Уилмот прошел в комнату направо. Здесь внимание его привлек какой-то шорох, и чьи-то зубы оцарапали ему икру.

— Дэнди! — крикнул лысый лакей.— Ах ты, чертенок! Знаете, сэр, эта собака терпеть не может чужих. На место! Одной леди Дэнди прокусил однажды чулок.

Фрэнсис Уилмот с любопытством посмотрел на серебристо-серую собаку дюймов девяти вышиной и почти такой же ширины. Она подняла на него блестящие глаза и оскалила белые зубы.

— Это он малютку охраняет, сэр,— сказал лысый лакей, указывая на уютное гнездышко на полу перед незатопленным камином.— Когда ребенок в комнате, Дэнди бросается на чужих. Но теперь вы можете быть спокойны, сэр, раз он обнюхал ваши брюки. А к ребенку все-таки не подходите. Миссис Монт только что была здесь; я ей передам вашу карточку.

Фрэнсис Уилмот опустился на диванчик, стоявший посреди комнаты, а собака улеглась между ним и ребенком.

В ожидании миссис Монт молодой человек внимательно осматривал комнату. Потолок был окрашен в серебряный цвет, стены обшиты панелями тускло-золотого оттенка. В углу приютились маленькие позолоченные клавикорды — призрак рояля. Портьеры были из материи, затканной золотом и серебром. Блестели хрустальные люстры, на картинах, украшавших стены, были изображены цветы и молодая леди с серебряной шеей и в золотых туфельках. Ноги утопали в удивительно мягком серебристом ковре, мебель была из позолоченного дерева.

Молодого человека внезапно охватила тоска по родине. Мысленно он перенесся в гостиную старого, в колониальном стиле, дома на пустынном берегу красноватой реки в Южной Каролине. Снова видел он портрет сво-

его прадеда, Фрэнсиса Уилмота, в красном мундире с высоким воротником,— майора королевских войск во время войны за независимость. Говорили, что прадед на этом портрете похож на человека, которого Фрэнсис Уилмот ежедневно видел в зеркале, когда брился: гладкие темные волосы, закрывающие правый висок, узкий нос, узкие губы, узкая рука, сжимающая рукоятку шпаги или бритву, решительный взгляд узких, словно щели, глаз. Фрэнсис вспомнил негров, работающих на хлопковом поле под ослепительным солнцем; такого солнца он не видел с тех пор, как сюда приехал; в мыслях он снова гулял со своим сеттером по краю громадного болота, под высокими печальными деревьями, разукрашенными гирляндами мха; он думал о родовом имении Уилмотов: дом сильно пострадал во время гражданской войны, и молодой человек не знал, восстанавливать ли его или продать одному янки, который хотел купить загородную виллу, куда он мог бы приезжать на воскресенье из Чарлстона, и который так отремонтирует дом, что его не узнаешь. Тоскливо будет в доме теперь, когда Энн вышла замуж за этого молодого англичанина, Джона Форсайта, и уехала на север, в Южные Сосны. И он подумал, что сестра, смуглая, бледная, энергичная, теперь для него потеряна. Да, эта комната навеяла на него тоску по родине. Такой великолепной комнаты он никогда еще не видел; ее гармонию нарушала только собака, лежавшая сейчас на боку. Она была такая толстая, что все ее четыре лапки болтались, не касаясь пола. Вполголоса он сказал:

— Это самая красивая комната, какую мне когда-либо приходилось видеть!

— Как приятно подслушать такое замечание!

В дверях стояла молодая женщина с волнистыми каштановыми волосами и матовым бледным лицом. Нос у нее был короткий, прямой, глаза карие, оттененные темными ресницами, веки очень белые. Улыбаясь, она подошла к Фрэнсису Уилмоту и протянула ему руку.

Он поклонился и серьезно спросил:

— Миссис Майкл Монт?

— Значит, Джон женился на вашей сестре? Она хорошенькая?

— Да.

— Красивая?

— Да, она красива.

— Надеюсь, вы не скучали? Бэби вас занимал?

— Чудесный ребенок.

— О да! А Дэнди вас, говорят, укусил?

— Кажется, не до крови.

— А вы даже не посмотрели? Но собака совершенно здорова. Садитесь и расскажите мне о вашей сестре и Джоне. Это брак по любви?

Фрэнсис Уилмот сел.

— Да, несомненно. Джон прекрасный человек, а Энн...

Он услышал вздох.

— Я очень рада. Он пишет, что очень счастлив. Вы должны остановиться у нас. Здесь вас никто не будет стеснять. Можете смотреть на наш дом как на отель.

Молодой человек поднял на нее глаза и улыбнулся.

— Как вы добры! Ведь я впервые уехал из Америки. Слишком рано кончилась война.

Флер вынула бэби из гнездышка.

— А вот это существо не кусается. Смотрите — целых два зуба, но они не опасны.

— Как его зовут?

— Кит, уменьшительное от Кристофер. К счастью, мы сошлись на этом имени. Сейчас придет Майкл, мой муж. Он член парламента. Но первое заседание только в понедельник — конечно, опять Ирландия. А мы вчера вернулись для этого из Италии. Чудная страна, вы должны туда съездить.

— Простите, какие это часы так громко бьют? Парламентские?

— Да, это Большой Бэн. Он заставляет их помнить о времени. Майкл говорит, что парламент — лучший тормоз прогресса. Теперь, когда у нас впервые лейбористское правительство, год обещает быть интересным. Посмотрите, как эта собака охраняет моего бэби. Не правда ли, трогательно? Челюсти у нее чудовищные.

— Какая это порода?

— Дэнди — динмонт. А раньше у нас была китай-

ская собачка. С ней произошла трагическая история. Она всегда гонялась за кошками и однажды повздорила с воинственным котом, он ей выцарапал оба глаза... она ослепла, и пришлось...

Молодому человеку показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Он тихонько вздохнул и сочувственно сказал:

— Очень печально.

— Мне пришлось обставить эту комнату по-новому. Раньше она была отделана в китайском стиле. Она мне слишком напоминала Тинг-а-Линга.

— Ну, а этот песик загрызет любую кошку.

— К счастью, он вырос вместе с котятами. Нам он понравился потому, что у него кривые лапы. Ходит он с трудом и едва поспевает за детской колясочкой. Дэн, покажи лапки!

Дэнди поднял голову и тихонько заворчал.

— Он ужасно упрямый. Скажите, Джон изменился? Или похож еще на англичанина?

Молодой человек понял, что она наконец заговорила о чем-то для нее интересном.

— Похож. Но он чудесный малый.

— А его мать? Когда-то она была красива.

— Она и сейчас красива.

— Да, наверно. Седая, должно быть?

— Поседела. Вы ее не любите?

— Гм! Надеюсь, она не будет ревновать его к вашей сестре.

— Пожалуй, вы несправедливы.

— Пожалуй, несправедлива.

Она сидела неподвижно с ребенком на руках; лицо ее было сурово. Молодой человек, сообразив, что мысли ее где-то витают, встал.

— Когда будете писать Джону,— заговорила она вдруг,— передайте ему, что я ужасно рада и желаю ему счастья. Я сама не буду ему писать. Можно мне называть вас Фрэнсис?

Фрэнсис Уилмот поклонился.

— Я буду счастлив...

— А вы должны называть меня Флер. Ведь теперь мы с вами родственники.

— Флер! Красивое имя! — медленно, словно смакуя это слово, произнес молодой человек.

— Комнату вам приготовят сегодня же. Разумеется, у вас будет отдельная ванная.

Он прикоснулся губами к протянутой руке.

— Чудесно! — сказал он.— А я было начал тосковать по дому: здесь мне не хватает солнца.

В дверях он оглянулся. Флер положила ребенка в гнездышко и задумчиво смотрела куда-то в пространство.

II

ПЕРЕМЕНА

Не только смерть собаки побудила Флер по-новому обставить китайскую комнату. В тот день, когда Флер исполнилось двадцать два года, Майкл, вернувшись домой, объявил:

— Ну, дитя мое, я покончил с издательским делом. Старый Дэнби всегда так безнадежно прав, что на этом карьеры не сделаешь.

— О Майкл! Ты будешь смертельно скучать.

— Я пройду в парламент. Дело несложное, а заработок примерно тот же.

Эти слова были сказаны в шутку. Через шесть дней обнаружилось, что Флер приняла их всерьез.

— Ты был совершенно прав, Майкл. Это дело самое для тебя подходящее. У тебя есть мысли в голове.

— Чужие.

— И говоришь ты прекрасно. А живем мы в двух шагах от парламента.

— Это будет стоить денег, Флер.

— Да, я говорила с папой. Знаешь, это очень забавно — ведь ни один Форсайт не имел никакого отношения к парламенту. Но папа считает, что мне это пойдет на пользу, а баронеты только для этого и годятся.

— К сожалению, раньше нужно пройти в выборах.

— Я и с твоим отцом посоветовалась. Он кое с кем переговорит. Им нужны молодые люди.

— Так. А каковы мои политические убеждения?

— Дорогой мой, пора бы уже знать — в тридцать-то лет!

— Я не либерал. Но кто я — консерватор или лейборист?

— У тебя есть время решить этот вопрос до выборов.

На следующий день, пока Майкл брился, а Флер принимала ванну, он слегка порезался и сказал:

— Земля и безработица — вот что меня действительно интересует. Я фоггартист.

— Что это такое?

— Ведь ты же читала книгу сэра Джемса Фоггарта.

— Нет.

— А говорила, что читала.

— Все так говорили.

— Ну все равно. Он весь в будущем и программу свою строит, имея в виду тысяча девятьсот сорок четвертый год. Безопасность в воздухе, развитие земледелия, детская эмиграция; урегулировать спрос и предложение внутри империи; покончить с нашими убытками в делах с Европой; идти на жертвы ради лучшего будущего. В сущности, он проповедует то, что никакой популярностью не пользуется и считается невыполнимым.

— Эти взгляды ты можешь держать при себе, пока не пройдешь в парламент. Ты должен выставить свою кандидатуру по спискам тори.

— Какая ты сейчас красивая!

— Потом, когда ты уже пройдешь на выборах, можно заявить и о своих взглядах. Таким образом, ты с самого начала займешь видное положение.

— План недурен,— сказал Майкл.

— И тогда можешь проводить программу этого Фоггарта. Он не сумасшедший?

— Нет, но он слишком трезв и рассудителен, а это приближается к сумасшествию. Видишь ли, заработная плата у нас выше, чем во всех других странах, за исключением Америки и доминионов; и понижения не предвидится. Мы идем в ногу с молодыми странами. Фоггарт стоит за то, чтобы Англия производила как можно больше продовольствия; детей из английских городов он

предлагает отправлять в колонии, пока спрос колоний на наши товары не сравняется с нашим ввозом. Разумеется, из этого ничего не выйдет, если все правительства империи не будут действовать вполне единодушно.

— Все это как будто разумно.

— Как тебе известно, мы его издали, но за его счет. Это старая история — «вера горами двигает». Вера-то у него есть, но гора все еще стоит на месте.

Флер встала.

— Итак, решено! — сказала она.— Твой отец говорит, что сумеет провести тебя по спискам тори, а свои убеждения ты держи при себе. Тебе нетрудно будет завоевать симпатии, Майкл.

— Благодарю тебя, милочка. Дай я помогу тебе вытереться...

Однако раньше чем переделывать китайскую комнату, Флер выждала, пока Майкл не прошел в парламент от одного из округов, где избиратели, по-видимому, проявляли интерес к земледелию. Выбранный ею стиль являл собой некую смесь Адама и «Louis Quinze» [1]. Майкл окрестил комнату «биметаллическая гостиная» и переселил «Белую обезьяну» к себе в кабинет. Он решил, что пессимизм этого создания не вяжется с карьерой политического деятеля.

Свой «салон» Флер открыла в феврале. После разгрома либералов «центр общества» сошел на нет, и ореол политико-юридической группы леди Элисон сильно померк. Теперь в гору шли люди попроще. По средам на вечерах у Флер бывали главным образом представители младшего поколения; а из стариков показывались в «салоне» ее свекор, два захудалых посланника и Пивенси Блайт, редактор «Аванпоста». Это был высокий человек с бородой и налитыми кровью глазами, столь не похожий на свой собственный литературный стиль, что его постоянно принимали за премьера какого-нибудь колониального кабинета. Он обнаружил познания в таких вопросах, в которых мало кто разбирался. «То, что проповедует Блайт сегодня, консервативная партия не будет проповедовать завтра»,— говорили о нем в обществе. Голос у него был негромкий. Когда речь заходила о поли-

[1] Людовика Пятнадцатого.

тическом положении страны, Блайт изрекал такие афоризмы:

— Сейчас люди бродят во сне, а проснутся голыми.

Горячий сторонник сэра Джемса Фоггарта, он называл его книгу «шедевром слепого архангела». Блайт страстно любил клавикорды и был незаменим в «салоне» Флер.

Покончив с поэзией и современной музыкой, с Сибли Суоном, Уолтером Нэйзингом и Солстисом, Флер получила возможность уделять время сыну — одиннадцатому баронету. Для нее он был единственной реальностью. Пусть Майкл верит в теорию, которая принесет плоды лишь после его смерти, пусть лейбористы лелеют надежду завладеть страной — для Флер все это было неважно: 1944-й год казался ей знаменательным только потому, что в этом году Кит достигнет совершеннолетия. Имеют ли какое-нибудь значение все эти безнадежные парламентские попытки что-то сделать? Конечно, нет! Важно одно — Англия должна быть богатой и сильной, когда подрастет одиннадцатый баронет! Они хотят строить какие-то дома — ну что ж, отлично! Но так ли это необходимо, если Кит унаследует усадьбу Липпинг-холл и дом на Саут-сквер? Конечно, Флер не высказывала таких циничных соображений вслух и вряд ли сознательно об этом думала. На словах она безоговорочно поклонялась великому божеству — Прогрессу.

Проблемы всеобщего мира, здравоохранения и безработицы занимали всех, независимо от партийных разногласий, и Флер не отставала от моды. Но не Майкл и не сэр Джемс Фоггарт, а инстинкт подсказывал ей, что старый лозунг: «И волки сыты, и овцы целы» — лозунг, лежащий в основе всех партийных программ,— не столь разумен, как хотелось бы. Ведь Кит не голоден, а поэтому о других не стоит очень беспокоиться, хотя, разумеется, необходимо делать вид, что вопрос об этих «других» тебя беспокоит. Флер порхала по своему «салону», со всеми была любезна, перебрасывалась словами то с тем, то с другим из гостей, а гости восхищались ее грацией, здравым смыслом и чуткостью. Нередко она бывала и на заседаниях палаты общин, рассеянно прислушивалась к речам, но каким-то седьмым чувством (если у светских женщин шесть чувств, то у Флер, несомненно, их было

семь) улавливала то, что могло придать блеск ее «салону»; отмечала повышение и падение правительственного барометра, изучала политические штампы и лозунги, а главное — людей, живого человека, скрытого в каждом из членов парламента.

За карьерой Майкла она следила, словно заботливая крестная, которая подарила своему крестнику молитвенник в сафьяновом переплете, надеясь, что настанет день, когда он об этой книге вспомнит. Майкл регулярно посещал заседания палаты всю весну и лето, но ни разу не раскрыл рта. Флер одобряла это молчание и выслушивала его рассуждения о фоггартизме, тем помогая ему уяснить самому себе свои политические убеждения. Если только в фоггартизме дано верное средство для борьбы с безработицей, как говорил Майкл, то и Флер готова была признать себя сторонницей Фоггарта: здравый смысл подсказывал ей, что безработица — это национальное бедствие — является единственной реальной опасностью, угрожающей будущности Кита. Ликвидируйте безработицу — и людям некогда будет «устраивать волнения».

Ее критические замечания часто бывали дельны.

«Дорогой мой, неужели хоть одна страна пожертвует настоящим ради будущего?» Или: «И ты действительно считаешь, что в деревне лучше жить, чем в городе?» Или: «Неужели ты согласился бы отправить четырнадцатилетнего Кита из Англии в какое-нибудь захолустье? Ты думаешь, что горожане на это пойдут?»

Подстрекаемый этими вопросами, Майкл ей возражал так упорно и с таким красноречием, что она уже не сомневалась в его успехе. Со временем он сделает карьеру, как старый сэр Джайлс Снорхэм, который скоро будет пэром Англии, потому что всегда носил шляпу с низкой тульей и проповедовал возврат к кабриолетам. Шляпы, бутоньерки, монокль — Флер не забывала обо всех этих атрибутах, способствующих политической карьере.

— Майкл, простые стекла не вредны для глаз, а монокль притягивает взоры слушателей.

— Дитя мое, отцу он никакой пользы не принес; я сомневаюсь, чтобы монокль помог ему продать хотя бы три экземпляра из всех его книг! Нет! Если я сделаю карьеру, то ею я буду обязан только своему красноречию.

Но она упорно советовала ему молчать и выжидать.

— Плохо, если ты на первых же порах оступишься, Майкл. Это лейбористское правительство не дотянет до конца года.

— Почему ты думаешь?

— У них уже голова пошла кругом, вот-вот сорвутся. Их едва терпят — а таким людям приходится быть любезными, иначе их уберут. А когда они уйдут, их сменят тори, причем, вероятно, надолго; и это время ты используешь для своих эксцентрических выходок. А пока завоевывай симпатии в своем округе. Право же, ты допускаешь ошибку, игнорируя избирателей.

В то лето Майкл уезжал на субботу и воскресенье в Мид-Бэкс «завоевывать симпатии избирателей», а Флер с одиннадцатым баронетом проводила эти дни у отца в Мейплдерхеме.

Отряхнув со своих ног прах Лондона после истории с Элдерсоном и ОГС, Сомс зажил в своем загородном доме с увлечением, даже странным для Форсайта. Он купил луга на противоположном берегу реки и завел джерсейских коров. Сельским хозяйством он заниматься не собирался, но ему нравилось переправляться в лодке через реку и смотреть, как доят коров. Кроме того, он настроил парников и увлекся разведением дынь. Английская дыня нравилась ему больше всякой другой, а жизнь с женой-француженкой все больше склоняла его к потреблению отечественных продуктов. Когда Майкл прошел в парламент, Флер прислала отцу книгу сэра Джемса Фоггарта «Опасное положение Англии». Получив этот подарок, Сомс сказал Аннет:

— Не понимаю, зачем мне эта книга? Что я буду с ней делать?

— Прочтешь ее, Сомс.

Сомс, перелиставший книгу, фыркнул:

— Понять не могу, о чем он тут пишет.

— Я ее продам на благотворительном базаре, Сомс. Она пригодится тем, кто умеет читать по-английски.

С этого дня Сомс, сам того не замечая, начал изучать книгу. Она показалась ему странной, в ней многим доставалось. Особенно понравилась ему глава, где автор осуждает рабочего, который не желает расставаться со своими подрастающими детьми. Сомс никогда не бывал

ва пределами Европы и имел очень смутное представление о таких странах, как Южная Африка, Австралия, Канада и Новая Зеландия; но, видимо, этот старик Фоггарт побывал везде и свое дело знал. То, что он говорил о развитии этих стран, показалось Сомсу разумным. Дети, отправляющиеся туда, сразу прибавляют в весе и обзаводятся собственностью в том возрасте, когда в Англии они все еще разносят пакеты, ищут работы, слоняются по улицам и квалифицируются на безработных или коммунистов. Выслать их из Англии! В этом было что-то привлекательное для того, кто был англичанином до мозга костей. Одобрил он также и ту главу, где автор распространяется на тему о том, что Англия должна питать самое себя и позаботиться о защите от воздушных нападений. А затем в Сомсе вспыхнула неприязнь к автору. Просто нытик какой-то! Сомс объявил Флер, что эти теории неосуществимы; автор строит воздушные замки. Что сказал об этой книге «Старый Монт»?

— Он не желает ее читать. Он говорит, что знаком со стариком Фоггартом.

— Гм! — сказал Сомс.— В таком случае меня не удивит, если в ней окажется доля истины. (Узколобый баронет уж очень старомоден!) Как бы то ни было, но я себе уяснил, что Майкл отошел от лейбористов.

— Майкл говорит, что лейбористская партия примет фоггартизм, как только поймет, в чем тут дело.

— Каким образом?

— Он считает, что фоггартизм поможет лейбористам больше, чем кому бы то ни было. Он говорит, что кое-кто из лидеров начинает к этому склоняться, а со временем присоединятся и остальные лидеры.

— Если так,— сказал Сомс,— до рядовых членов партии этот фоггартизм никогда не дойдет.

И на две минуты он погрузился в транс. Сказал он что-то глубокомысленное или нет?

Сомс бывал очень доволен, когда Флер с одиннадцатым баронетом приезжала к нему в конце недели. Когда родился Кит, Сомс был несколько разочарован — он ждал внучку, а одиннадцатый баронет являлся как бы неотъемлемой собственностью Монтов. Но проходили месяцы, и дед начинал интересоваться «занятным парнишкой» и удерживать его в Мейплдерхеме, подальше от

Липпингхолла. Разумеется, он иногда раздражался, видя, как женщины возятся с бэби. Такое проявление материнского инстинкта казалось ему неуместным. Так нянчилась Аннет с Флер; теперь то же он наблюдал у самой Флер. Быть может, французская кровь давала о себе знать. Он не помнил, чтобы его мать поднимала такой шум; впрочем, у него не сохранилось никаких воспоминаний о том периоде, когда он был годовалым ребенком. Когда мадам Ламот, Аннет и Флер возились с его внуком, когда эти представительницы трех поколений восхищались жирным куском мяса, Сомс отправлялся на рыбную ловлю, хотя прекрасно знал, что пойманную рыбу никто есть не станет.

К тому времени, как он прочел книгу сэра Джемса Фоггарта, неприятное лето 1924 года миновало и наступил еще более неприятный сентябрь. А золотые осенние дни, пробивающиеся сквозь утренний туман, от которого на каждой паутине, протянувшейся на железных воротах, сверкают росинки, так и не наступили. Лил дождь, и вода в реке поднялась необычайно высоко. Газеты отметили, что это самое сырое лето за последние тридцать лет. Спокойная, с прозеленью водорослей и отражений деревьев, река текла и текла между намокшим садом Сомса и его намокшими лугами. Грибов не было; ежевика поспела водянистая. Сомс имел обыкновение каждый год съедать по одной ягодке: он утверждал, что по вкусу этой ягоды можно определить, дождливый ли был год. Появилось много мха и лишайников.

И тем не менее Сомс был настроен лучше, чем когда бы то ни было. Лейбористская партия уже несколько месяцев стояла у власти, а тучи только-только сгущались. Приход лейбористов к власти заставил Сомса обратить внимание на политику. За завтраком он пророчествовал, причем предсказания его несколько варьировались в зависимости от газетных сообщений; о тех предсказаниях, которые не сбывались, он неизменно забывал и поэтому всегда имел возможность твердить Аннет: «А что я тебе говорил?»

Впрочем, Аннет политикой не интересовалась; она посещала благотворительные базары, варила варенье, ездила в Лондон за покупками. Несмотря на склонность к полноте, она до сих пор была замечательно красива.

Когда Сомсу стукнуло шестьдесят девять лет, Джек Кардиган, муж его племянницы Имоджин, преподнес ему набор палок для гольфа. Сомс был сбит с толку. Черт возьми, что он будет с ними делать? Аннет, находчивая, как все француженки, рассердила его, посоветовав ими воспользоваться. Это было нетактично. В его-то годы! Но как-то в мае, в конце недели, приехал сам Кардиган с Имоджин и сильным ударом палки перебросил мяч через реку.

— Дядя Сомс, держу пари на ящик сигар, что до нашего отъезда вы этого сделать не сумеете, а уезжаем мы в понедельник.

— Я не курю и никогда не держу пари,— сказал Сомс.

— Пора бы начать! Слушайте, завтра я вас обучу игре в гольф.

— Вздор! — сказал Сомс.

Но вечером он заперся в своей комнате, облачился в пижаму и стал размахивать руками, подражая Джеку Кардигану. На следующий день он отправил женщин на прогулку в автомобиле: ему не хотелось, чтобы они над ним издевались. Редко приходилось ему переживать часы более неприятные, чем те, какие выпали в тот день на его долю. Досада его достигла высшей степени, когда ему удалось наконец попасть по мячу и мяч упал в реку у самого берега. Наутро он не мог разогнуть спину, и Аннет растирала его, пока он не сказал:

— Осторожнее! Ты с меня кожу сдираешь!

Однако яд проник в кровь. Испортив еще несколько клумб и газонов в собственном саду, Сомс вступил членом в ближайший гольф-клуб и каждый день после утреннего завтрака в течение часа бродил, гоняя мяч, по лужайке, а за ним следовал мальчик, отыскивавший мячи. Сомс тренировался со свойственным ему упорством и к июлю приобрел некоторую сноровку. Он горячо рекомендовал и Аннет заняться этим спортом, дабы убавить в весе.

— Мерси, Сомс,— отвечала она.— Я не имею ни малейшего желания походить на ваших английских мисс, плоских, как доска, и спереди и сзади.

Она была реакционерка, как вся ее нация, и Сомс не настаивал, так как втайне питал склонность к формам

округлым. Он обнаружил, что гольф благотворно подействовал на его печень и настроение. На щеках появился румянец. После первой партии с Джеком Кардиганом, в которой последний дал ему три удара вперед на каждую лунку и обставил его на девять лунок, Сомс получил какой-то сверток. К великому его смятению, то был ящик сигар. Сомс недоумевал: что это взбрело Джеку в голову? Намерения Кардигана открылись ему лишь через несколько дней: как-то вечером, сидя у окна в своей картинной галерее, он обнаружил во рту сигару. Как это ни странно, но голова у него не кружилась. Ощущение несколько напоминало те времена, когда он «занимался Куэ». Теперь это вышло из моды — Уинифрид рассказывала ему, что какой-то американец открыл более короткий путь к счастью. Мелькнуло подозрение, что семья в заговоре с Джеком Кардиганом, и он решил курить только здесь, в картинной галерее; так сигары приобрели аромат тайного порока. Потихоньку он пополнял свои запасы. Но спустя некоторое время выяснилось, что Аннет, Флер и все остальные осведомлены обо всем, и тогда Сомс во всеуслышание заявил, что не сигары, а папиросы — величайшее зло нашего века.

— Дорогой мой,— сказала ему при встрече Уинифрид,— да тебя не узнать, ты стал другим человеком!

Сомс поднял брови. Никакой перемены он не заметил.

— Забавный тип этот Кардиган,— сказал он.— Сегодня я пообедаю и переночую у Флер: они только что вернулись из Италии. В понедельник заседание палаты.

— Да,— сказала Уинифрид.— И зачем это заседать во время летнего перерыва!

— Ирландия! — изрек Сомс.— Опять зашевелились. Старая история, и конца ей не видно!

III

МАЙКЛ «ПРОИЗВОДИТ РАЗВЕДКУ»

Из Италии Майкл вернулся, охваченный тем желанием приняться за дело, которое свойственно людям после дней отдыха, проведенных на юге. Он вырос в деревне, по-прежнему интересовался проблемой безработицы,

по-прежнему верил, что фоггартизм может разрешить ее; больше ни одним из обсуждаемых в палате вопросов он не увлекся и пока что поедал хлеб, взращенный другими, и ничего не делал. И теперь ему хотелось знать, какую, в сущности, позицию он занимает и долго ли будет ее занимать.

Выйдя в тот день из палаты, где разбирал накопившиеся письма, он побрел по улице с намерением «произвести разведку», как выразился бы «Старый Форсайт». Направлялся он к Пивенси Блайту, в редакцию еженедельного журнала «Аванпост». Загорелый от итальянского солнца, похудевший от итальянской кухни, он шел быстро и думал о многом. Дойдя до набережной, где на деревьях сидели безработные птицы и тоже как будто выясняли, какую позицию они занимают и долго ли будут ее занимать, он достал из кармана письмо и перечитал его.

«12, Сэпперс Роу.
Кэмден-Таун.

Уважаемый сэр!

В справочнике «Весь Лондон» Ваша фамилия появилась недавно, и, быть может, Вы не будете жестоки к тем, кто страдает. Я — уроженка Австрии; одиннадцать лет назад вышла замуж за немца. Он был актером, служил в английских театрах, так как родители (их уже нет в живых) привезли его в Англию ребенком. Он был интернирован, и это подорвало его здоровье. Сейчас у него сильная неврастения, и никакой работы он выполнять не может. До войны у него всегда был ангажемент, и жили мы хорошо. Но часть денег была израсходована во время войны, когда я оставалась одна с ребенком, а остальное конфисковано по мирному договору, и вернули нам лишь ничтожную сумму, потому что мы оба — не англичане. То, что мы получили, ушло на уплату долгов, на доктора и на похороны нашего ребенка. Я очень его любила, но хорошо, что он умер: ребенок не может жить так, как мы сейчас живем. Я зарабатываю на жизнь шитьем; зарабатываю мало — фунт в неделю, а иногда ровно ничего. Антрепренеры не желают иметь дело с моим мужем: он иногда вдруг начинает трястись, и они

думают, что он пьет; но, уверяю Вас, сэр, что у него нет денег на виски. Мы не знаем, к кому обратиться, не знаем, что делать. Вот я и подумала, сэр, не поможете ли Вы нам вернуть наши сбережения. С нами были очень любезны, но говорят, что выполняют распоряжение и иначе не могут. Или, быть может, Вы дадите моему мужу какую-нибудь работу на свежем воздухе; доктор говорит, что ему это необходимо. Ехать в Германию или Австрию не имеет смысла, так как наши родные умерли. Думаю, таких, как мы, очень много, и все-таки обращаюсь к Вам с просьбой, сэр, потому что живем мы впроголодь, а жить нужно. Прошу прощения за причиняемое Вам беспокойство и остаюсь преданная Вам

Анна Бергфелд».

«Помоги им бог»,— подумал Майкл без всякого, впрочем, убеждения, проходя под платанами возле «Иглы Клеопатры». Он считал, что богу едва ли не меньше дела до участи неимущих иностранцев, чем директору Английского банка до участи фунта сахара, купленного на часть фунтового банкнота. Богу в голову не придет заинтересоваться мелкой рябью на поверхности вод, которым он повелел течь, когда занимался устройством миров. В представлении Майкла бог был монархом, который сам себя строго ограничил конституцией. Он сунул письмо в карман. Бедные люди! Но ведь сейчас в Англии миллион двести тысяч безработных англичан, а всему виной проклятый кайзер со своим флотом! Если бы в 1899 году этому молодчику и его банде не пришло в голову начать борьбу за господство на море, Англия не попала бы в переделку и, может быть, не произошло бы вообще никакого столкновения!

Дойдя до Темпля, Майкл повернул к редакции «Аванпоста». Этим еженедельником он интересовался уже несколько лет. Казалось, «Аванпосту» все было известно, и журнал производил на читателя впечатление, будто, кроме него, никто ничего не знает, поэтому высказывания его звучали веско. Ни одной партии он особого предпочтения не отдавал и потому мог покровительствовать всем. Он не кричал о величии империи, но дела ее знал превосходно. Не будучи литературным журналом,

он не пропускал случая сбить спесь с представителя литературного мира — это Майкл имел удовольствие отмечать еще в пору своей издательской работы. Заявляя о своем уважении к церкви и закону, журнал умело подпускал им шпильки. Он уделял много внимания театру. Но лучше всего ему, пожалуй, удавались разоблачения политических деятелей, которых он неоднократно ставил на место. Кроме того, от его передовиц исходил «святой дух» вдохновенного всеведения, облеченного в абзацы, не вполне понятные для простого смертного; без этого, как известно, ни один еженедельник не принимают всерьез.

Майкл, шагая через две ступеньки, поднялся по лестнице и вошел в большую квадратную комнату. Мистер Блайт стоял спиной к двери, указывая линейкой на какой-то кружочек, обозначенный на карте.

— Ни к черту такая карта не годится,— сообщил мистер Блайт самому себе.

Майкл фыркнул, Блайт оглянулся; глаза у него были круглые, навыкате, под глазами мешки.

— Алло! — вызывающе бросил он.— Вы? Министерство колоний издало эту карту специально для того, чтобы указать лучшие места для переселения, а о Беггерсфонтене позабыли.

Майкл уселся на стол.

— Я пришел спросить, что вы думаете о создавшемся положении. Моя жена говорит, что правительство лейбористов скоро будет опрокинуто.

— Очаровательная маленькая леди! — сказал Блайт.— Трудно сказать, когда правительство рухнет. По-видимому, оно будет прозябать. Русский и ирландский вопросы им еще удастся разрешить, но возможно, что в феврале, при рассмотрении бюджета, они поскользнутся. Вот что, Монт: когда с русским вопросом будет покончено — ну, скажем, в ноябре,— можно выступить.

— Эта первая речь меня пугает,— сказал Майкл.— Как мне проводить фоггартизм?

— К тому времени успеет создаться фикция какого-то мнения.

— А мнение будет?

— Нет,— сказал мистер Блайт.

— Ох! — вздохнул Майкл.— А кстати, как насчет свободы торговли?

— Будут проповедовать свободу торговли и повышать пошлины.

— Бог и мамона?

— В Англии нельзя иначе, Монт, если нужно провести что-то новое. Есть же у нас либерал-юнионисты, торисоциалисты и...

— Прочие жулики,— мягко подсказал Майкл.

— Будут извиваться, ругать протекционизм, пока он не восторжествует над свободой торговли, а потом начнут ругать свободу торговли. Фоггартизм — это цель; свобода торговли и протекционизм — средства, а отнюдь не цель, как утверждают политики.

Словно подхлестнутый словом «политики», Майкл соскочил со стола; он начинал симпатизировать этим несчастным. Предполагалось, что они никаких чувств к родине не питают и не могут предугадать грядущих событий. Но, в самом деле, кто сумеет во время туманных прений определить, что хорошо, а что плохо для страны? Майклу казалось иногда, что даже старик Фоггарт на это не способен.

— Знаете ли, Блайт,— сказал он,— мы, политики, не думаем о будущем просто потому, что это бессмысленно. Каждый избиратель отождествляет свое личное благополучие с благополучием страны. Взгляды избирателя изменяются лишь в том случае, если у него самого жмет башмак. Кто выступит на защиту фоггартизма, если эта теория, осуществленная на практике, приведет к повышению цен на продукты и отнимет у рабочего детей, зарабатывающих на семью? А благие результаты скажутся лишь через десять или двадцать лет!

— Дорогой мой,— возразил Блайт,— наше дело — обращать неверных. В настоящее время члены тред-юнионов презирают внешний мир. Они его никогда не видели. Их кругозор ограничен их грязными улочками. Но стоит затратить пять миллионов и организовать поездку за границу для ста тысяч рабочих, чтобы через пять лет сказались результаты. Рабочий класс заразился лихорадочным желанием завладеть своим местом под солнцем. Их дети могут получить это место. Но можно ли винить рабочих теперь, когда они ничего не знают?

— Мысль не плоха! — заметил Майкл.— Но как посмотрит на это правительство? Можно мне взять эти карты?.. Кстати,— добавил он, направляясь к двери,— известно ли вам, что и сейчас существуют общества для отправки детей в колонии?

— Известно,— проворчал Блайт.— Прекрасная организация! Обслуживает несколько сот ребят, дает конкретное представление о том, что могло бы быть. Расширить ее деятельность во сто раз — и начало будет положено. В настоящее же время это капля в море. Прощайте!

Майкл вышел на набережную, размышляя о том, можно ли из любви к родине защищать необходимость эмиграции. Но тотчас же он вспомнил о тяжелых жилищных условиях в этом грязном дымном городе; о детях, обездоленных с рождения; о толпах безработных, которые в настоящих условиях ни на что рассчитывать не могут. Право же, нельзя примириться с таким положением дел в стране, которую любишь! Башни Вестминстера темнели на фоне заката. И в сознании Майкла встали тысячи мелочей, связанных с прошлым,— деревья, поля и ручьи, башни, мосты, церкви; все звери и певчие птицы Англии, совы, сойки, грачи в Липпингхолле, едва уловимое отличие кустарников, цветов и мхов от их иностранных разновидностей; английские запахи, английский туман над полями, английская трава; традиционная яичница с ветчиной; спокойный, добрый юмор, умеренность и мужество; запах дождя, цвет яблони, вереск и море. Его земля, его племя — сердцевина у них не гнилая. Он прошел мимо башни с часами. Здание парламента стояло кружевное, внушительное, красивее, чем принято считать. Быть может, в этом доме ткут, словно паутину, будущее Англии? Или же раскрашивают занавес, экран, заслоняющий старую Англию?

Раздался знакомый голос:

— Какая громадина!

И Майкл увидел своего тестя, созерцающего статую Линкольна.

— Зачем ее здесь поставили? — сказал Сомс.— Ведь он не англичанин!

Он зашагал рядом с Майклом.

— Как Флер?

— Молодцом. Италия пошла ей на пользу.

Сомс засопел.

— Легкомысленный народ! — сказал он.— Вы видели Миланский собор?

— Да, сэр. Пожалуй, это единственное, к чему мы остались равнодушны.

— Гм! В тысяча восемьсот восемьдесят втором году у меня от итальянской стряпни сделались колики. Должно быть, теперь там лучше кормят. Как мальчик?

— Прекрасно, сэр.

Сомс удовлетворенно проворчал что-то. Они завернули за угол, на Саут-сквер.

— Это что такое? — сказал Сомс.

У подъезда стояло два старых чемодана. Какой-то молодой человек с саквояжем в руке звонил у парадной двери. Только что отъехало такси.

— Понятия не имею, сэр,— сказал Майкл.— Быть может, это архангел Гавриил.

— Он не туда попал,— сказал Сомс, направляясь к подъезду.

Но в эту минуту молодого человека впустили в дом.

Сомс подошел к чемоданам.

— «Фрэнсис Уилмот,— прочел он вслух,— пароход «Амфибия». Это какое-то недоразумение!

IV

ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ

Когда они вошли в дом, Флер уже показала молодому человеку его комнату и спустилась вниз. Она была в вечернем туалете — иными словами, скорее раздета, чем одета; волосы ее были коротко острижены...

— Дорогая моя,— сказал ей Майкл, когда короткая стрижка входила в моду,— ну пожалей меня, не делай этого! Ведь у тебя будет такой колючий затылок, что и поцеловать нельзя будет.

— Дорогой мой,— ответила она,— это неизбежно. Ты всякую новую моду встречаешь в штыки.

Она попала в первую дюжину женщин со стрижеными затылками и уже опасалась, как бы не опоздать и по-

пасть в первую дюжину тех, кто снова начнет отпускать волосы. У Марджори Феррар — «Гордость гедонистов», как называл ее Майкл,— волосы отросли уже на добрый дюйм. Отставать от Марджори Феррар не хотелось...

Подойдя к отцу, она сказала:

— Папа, я предложила одному молодому человеку остановиться у нас. Джон Форсайт женился на его сестре. Ты загорел, дорогой мой. Как мама?

Сомс молча смотрел на нее.

Наступил один из тех неприятных моментов, когда Флер чувствовала, что отец любит ее слишком сильно и словно не прощает ее поверхностной любви к нему. Ей казалось, что он не имеет права так смотреть на нее. Как будто в этой старой истории с Джоном она не страдала больше, чем он! Если теперь она может спокойно вспоминать прошлое, то и он должен последовать ее примеру. А Майкл — Майкл не сказал ни слова, даже не пошутил! Она закусила губу, тряхнула коротко подстриженными волосами и прошла в «биметаллическую» гостиную.

За обедом, когда подали суп, Сомс заговорил о своих коровах и пожалел, что они не хэрифордской породы. Должно быть, в Америке много хэрифордских коров?

Фрэнсис Уилмот ответил, что американцы разводят голштинских коров.

— Голштинских? — повторил Сомс.— У нас они вошли в моду, когда я был мальчишкой. Какой масти?

— Пестрые,— сказал Фрэнсис Уилмот.— У вас в Англии чудесная трава.

— Слишком у нас сыро,— сказал Сомс.— Мы на реке.

— Темза? Какой она ширины, когда нет прилива?

— Там, где живу я,— не больше ста ярдов.

— А рыба водится?

— Рыбы много.

— Вода в Темзе прозрачная, а в наших южных реках бурая. А из деревьев у вас чаще всего попадаются ивы, тополя и вязы.

Сомс недоумевал. В Америке он ни разу не был. Американцев считал, конечно, людьми, но очень своеобразными: все они на одно лицо, голова у них не гнется, плечи неестественно широкие, а голос резкий. Их доллар стоит слишком высоко, они все имеют автомобили и пре-

зирают Европу, однако наводняют Европу и увозят к себе на родину все, что только можно увезти. Пить им не разрешается, а говорят они очень много. Но этот молодой человек опровергает все предвзятые мнения. Он пьет херес и говорит только тогда, когда к нему обращаются. Голос у него звучит мягко, а плечи не слишком широкие. Но, может быть, Европу он все-таки презирает?

— Должно быть, Англия вам показалась очень маленькой,— сказал Сомс.

— О нет, сэр. Лондон очень велик, а деревня у вас очаровательная.

Сомс скосил глаза на кончик своего носа.

— Недурна! — сказал он.

Подали палтус. За стулом Сомса послышался какой-то шорох.

— Собака! — сказал Сомс и подцепил на вилку кусок рыбы, показавшийся ему несъедобным.

— Нет, нет, папа. Он хочет только, чтобы ты на него посмотрел.

Сомс опустил руку, и Дэнди лег на бок.

— Есть он не хочет,— продолжала Флер.— Он требует, чтобы на него обратили внимание.

Подали жареных куропаток.

— Что бы вам хотелось посмотреть здесь, в Англии, мистер Уилмот? — спросил Майкл.— Вряд ли вы найдете у нас что-нибудь такое, чего бы не было в Америке. Даже Риджент-стрит модернизирована.

— Я хочу посмотреть лейб-гвардейцев, выставку собак Крафта, ваших чистокровных лошадей и дерби.

— Дерби вам придется ждать до июня будущего года,— заметил Сомс.

— Скаковых лошадей вам покажет мой кузен Вэл,— сказала Флер.— Вы знаете, он женат на сестре Джона.

Подали мороженое.

— Вот чего у вас, наверное, много в Америке,— сказал Сомс.

— Нет, сэр, на Юге мороженого едят мало. Есть у нас кое-какие местные кушанья — очень вкусные.

— Мне говорили о черепахах.

— Я таких деликатесов не ем. Ведь я живу в глуши и много работаю. У нас все по-домашнему. Работают у

меня славные негры; они прекрасно стряпают. Самые старые помнят еще моего деда.

А, так он из Южных Штатов! Сомс слыхал, что жители Южных Штатов — джентльмены. И не забыл «Алабаму»[1] и как его отец Джемс говорил: «Я так и знал», когда в связи с этой историей правительство получило по носу.

В молчании, наступившем, когда подали поджаренный хлеб с икрой, были ясно слышны шаги Дэнди по паркету.

— Вот единственное, что он любит,— сказала Флер.— Дэн, ступай к хозяину! Дай ему кусочек, Майкл.

И она украдкой посмотрела на Майкла, но он не ответил на ее взгляд.

Во время путешествия по Италии Майкл переживал свой подлинный медовый месяц. Под влиянием новой обстановки, солнца и вина Флер словно отогрелась, не прочь была покутить, охотно отвечала на его ласки, и Майкл впервые со дня женитьбы чувствовал, что та, кого он любит, избрала его своим спутником. А теперь явился этот американец и принес напоминание о том, что ты играешь только вторую скрипку, а первое место принадлежит троюродному брату и первому возлюбленному. И Майкл чувствовал, что снова оторвали чашу от его уст. Флер пригласила молодого человека, потому что тот связан с ее прошлым, в котором Майклу не отведено места. Не поднимая глаз, Майкл угощал Дэнди лакомыми кусочками.

Молчание нарушил Сомс.

— Возьмите мускатный орех, мистер Уилмот. Дыня без мускатных орехов...

Когда Флер встала из-за стола, Сомс последовал за ней в гостиную, а Майкл увел молодого американца в свой кабинет.

— Вы знали Джона? — спросил Фрэнсис Уилмот.

---

[1] Название британского военного корабля, официально не входившего в состав британского флота, но нанесшего большой урон северянам во время гражданской войны в США, после чего Англия была вынуждена уплатить США контрибуцию.

— Нет, ни разу с ним не встречался.

— Он славный человечек. Сейчас он разводит персики.

— И думает заниматься этим и впредь?

— Конечно.

— В Англию не собирается?

— В этом году нет. У них прекрасный дом, есть лошади и собаки. Можно и поохотиться. Быть может, будущей осенью он приедет с моей сестрой.

— Вот как? — отозвался Майкл.— А вы долго думаете здесь прожить?

— К рождеству хочу вернуться домой. Я думаю побывать в Риме и Севилье. И хочу съездить в Вустершир, посмотреть дом моих предков.

— Когда они переселились?

— При Вильгельме и Марии. Были католиками. Там хорошо, в Вустершире?

— Очень хорошо, особенно весной. Много фруктовых садов.

— О, вы еще здесь что-то разводите?

— Очень мало.

— Я так и думал. В поезде, по дороге из Ливерпуля, я смотрел в окно и видел прекрасные луга, двух-трех овец, но не было людей, работающих в полях. Значит, теперь все живут в городах?

— За редкими исключениями. Вы должны съездить в имение моего отца; в тех краях еще можно найти однудве брюквы.

— Печально,— сказал Фрэнсис Уилмот.

— Да. Во время войны мы снова начали сеять пшеницу, но затем бросили это дело.

— Почему?

Майкл пожал плечами.

— Непонятно, чем руководствуются наши государственные деятели. Когда они у власти, им плевать на земельный вопрос. Как только они попадают в оппозицию, так начинают о нем трубить. К концу войны у нас был первый воздушный флот в мире и земледелие начало было развиваться. А как поступило правительство? Махнуло рукой и на то и на другое. Это трагично. А что разводят у вас в Каролине?

— В наших краях возделывают только хлопок. Но

теперь нелегко на этом заработать. Рабочие руки стоят дорого.

— Как, и у вас то же самое?

— Да, сэр. Скажите, иностранцев пускают на заседания парламента?

— Конечно. Хотите послушать прения по ирландскому вопросу? Я могу устроить вам место на галерее для знатных иностранцев.

— Я думал, англичане — народ чопорный, но у вас я себя чувствую совсем как дома. Этот старый джентльмен — ваш тесть?

— Да.

— Он какой-то особенный. Он банкир?

— Нет. Но, пожалуй, следовало бы ему быть банкиром.

Взгляд Фрэнсиса Уилмота, бродивший по комнате, остановился на «Белой обезьяне».

— Знаете,— сказал он тихо,— вот это изумительная вещь. Нельзя ли устроить, чтобы этот художник написал мне картину, я бы отвез ее Энн и Джону.

— Боюсь, затруднительно будет. Видите ли, он был китаец, даже не самого лучшего периода, и уже лет пятьсот как отправился к праотцам.

— Ах, так! Ну, животных он прекрасно чувствовал.

— Мы считаем, что он прекрасно чувствовал людей.

Фрэнсис Уилмот удивился и промолчал.

Майклу подумалось, что этот молодой человек вряд ли в состоянии оценить сатиру.

— Значит, вы хотите побывать на выставке собак Крафта? — сказал он.— Вероятно, любите собак?

— Я думаю купить ищейку для Джона и двух для себя. Хочу разводить породистых ищеек.

Майкл откинулся на спинку стула и выпустил облако дыма. Он почувствовал, что для Фрэнсиса Уилмота мир еще совсем молод и жизнь мягко, словно на резиновых шинах, несет его к желанной цели. А вот Англия-то!..

— Что вы, американцы, хотите взять от жизни? — неожиданно задал он вопрос.

— Мне кажется, мы хотим добиться успеха. Во всяком случае, это можно сказать о Северных Штатах.

— К этому мы стремились сто лет тому назад,— сказал Майкл.

— О! А теперь?

— Успеха мы добились, а теперь размышляем, не посадили ли мы сами себя в калошу.

— Видите ли,— сказал Френсис,— ведь Америка заселена не так густо, как Англия.

— Совершенно верно,— сказал Майкл.— Здесь на каждое место имеется кандидат, а многим приходится сидеть у самих себя на коленях. Хотите выкурить еще одну сигару, или пойдем в гостиную?

V

ПАСЫНКИ

Быть может, провидение было вполне удовлетворено улицей Сэпперс-Роу в Кэмден-Тауне, но Майкл никакого удовлетворения не испытывал. Как оправдать эти унылые, однообразные ряды трехэтажных домов, таких грязных, что их можно было сравнить только с воротничками, выстиранными в Италии? Какое отношение к коммерции имеют эти жалкие лавчонки? Кому придет в голову свернуть на эти задворки с шумной, звенящей трамваями улицы, пропитанной запахом жареной рыбы, бензина и старого платья? Даже дети, которых с героическим упорством производили здесь на свет во вторых и третьих этажах, уходили искать радостей жизни подальше: ведь на Сэпперс-Роу не представлялось возможности ни попасть под колеса, ни поглазеть на афиши кино. Уличное движение здесь составляли только ручные тележки, велосипеды, фургоны, видавшие лучшие времена, да сбившиеся с дороги такси; потребность в красоте удовлетворяли только герань в горшках да пятнистые кошки. Вся улица никла, рассыпалась в прах.

Отправляясь туда, Майкл поступал против своих принципов. Именно здесь чувствовалось, как густо населена Англия, а он проповедовал уменьшение населения и тем не менее собирался нанести визит разорившимся иностранцам и не дать им умереть. Он заглянул в две-три лавчонки. Ни души! Что хуже — битком набитая лавчонка или пустая? Перед домом № 12 Майкл остановился, поднял голову и увидел в окне лицо, бледное,

восковое. Голова женщины, сидевшей у окна, была опущена над шитьем.

«Вот моя корреспондентка»,— подумал он.

Он вошел в парикмахерскую в первом этаже, увидел пыльное зеркало, грязный таз, сомнительной чистоты полотенце, флаконы и два ветхих стула. На одном из этих стульев сидел верхом худой человек без пиджака и читал «Дейли мейл». Щеки у него были впалые, волосы жидкие, а глаза — философа, трагические и задумчивые.

— Волосы подстричь, сэр?

Майкл покачал головой.

— Здесь живут мистер и миссис Бергфелд?

— Наверху.

— Как мне туда попасть?

— Вот сюда.

За занавеской Майкл увидел лестницу и, поднявшись на верхнюю площадку, остановился в нерешительности. В памяти еще живы были слова Флер, прочитавшей письмо Анны Бергфелд: «Да, конечно, но какой смысл?» В эту минуту дверь отворилась, и Майклу почудилось, что перед ним стоит мертвец, вызванный из могилы. Мертвенно бледным и таким напряженным было лицо.

— Миссис Бергфелд? Моя фамилия Монт. Вы мне писали.

Женщина так задрожала, что Майкл испугался, как бы она не потеряла сознание.

— Простите, сэр, я сяду.

И она опустилась на край кровати. В комнате было очень чисто и пусто; кровать, деревянный умывальник, герань в горшке, у окна стул, на нем — брошенное шитье, женская шляпа на гвоздике, на сундуке — аккуратно сложенные брюки; больше в комнате ничего не было.

Женщина снова встала. На вид ей было не больше тридцати лет; худая, но сложена хорошо; овальное, бледное, без кровинки, лицо и темные глаза больше вязались с картинами Рафаэля, чем с этой улицей.

— Словно ангела увидела,— сказала она.— Простите меня, сэр.

— Довольно странный ангел, миссис Бергфелд. Ваш муж дома?

— Нет, сэр. Фриц пошел погулять.

— Скажите, миссис Бергфелд, вы поедете в Германию, если я заплачу за проезд?

— Теперь мы не получим разрешения на постоянное жительство; Фриц прожил здесь двадцать лет; он уже не германский подданный, сэр. Такие люди, как мы, им не нужны.

Майкл взъерошил волосы.

— А сами вы откуда родом?

— Из Зальцбурга.

— Не хотите ли туда вернуться?

— Я бы хотела, но что мы там будем делать? Теперь в Австрии народ беден, а родственников у меня нет. Здесь мне все-таки дают работу.

— Сколько вы зарабатываете в неделю?

— Иногда фунт, иногда пятнадцать шиллингов. Этого хватает на хлеб да на квартирную плату.

— Вы не получаете пособия?

— Нет, сэр. Мы не зарегистрированы.

Майкл достал пятифунтовый билет и положил его вместе со своей визитной карточкой на умывальник.

— Мне придется об этом подумать, миссис Бергфелд. Быть может, ваш муж заглянет ко мне?

Призрачная женщина густо покраснела, и Майкл поспешил выйти.

Внизу за занавешенной дверью парикмахер вытирал таз.

— Застали вы их дома, сэр?

— Только миссис Бергфелд.

— А! Должно быть, она видала лучшие дни. Муж ее — странный парень, как будто не в себе. Хотел стать моим компаньоном, но мне придется закрыть парикмахерскую.

— В самом деле? Почему?

— Мне нужен свежий воздух — у меня осталось одно легкое, да и то затронуто. Придется поискать другой работы.

— Теперь это не так-то легко.

Парикмахер пожал костлявыми плечами.

— Эх,— сказал он.— Всю жизнь я был парикмахером, только во время войны отошел от этого дела. Странно было возвращаться сюда после того, как я побывал на фронте. Война выбила меня из строя.

Он закрутил свои жидкие усики.

— Пенсию получаете? — спросил Майкл.

— Ни одного пенни! Сейчас мне нужна работа на свежем воздухе.

Майкл осмотрел его с ног до головы. Худой, узкогрудый, с одним легким!

— А вы имеете представление о деревенской жизни?

— Ни малейшего. А все-таки нужно что-нибудь найти, а то хоть помирай.

Его трагические глаза впились в лицо Майкла.

— Печально,— сказал Майкл.— Прощайте!

Парикмахер ответил судорожным кивком.

Покинув Сэпперс-Роу, Майкл вышел на людную улицу. Ему вспомнилась сценка из одной пьесы, которую он видел года два назад; кто-то из действующих лиц произносит такие слова: «Условия, в каких живет народ, оставляют желать лучшего. Я приму меры, чтобы поднять этот вопрос в палате». Условия, в каких живет народ! Кто принимает это близко к сердцу? Это только кошмар, встревоживший на несколько ночей, семейная тайна, которую тщательно скрывают, вой голодной собаки, доносящийся издалека. И, быть может, меньше всех встревожены те шестьсот человек, что заседают с ним в палате. Ибо улучшать условия, в каких живет народ,— их непосредственная задача, а сознание выполняемого долга успокаивает совесть. Со времен Оливера Кромвеля их сменилось там, верно, не менее шестнадцати тысяч, и все преследовали одну и ту же цель. Ну и что же, добились чего-нибудь? Вернее, что нет. А все-таки они-то работают, а другие только смотрят да помогают советами!

Об этом он размышлял, когда раздался чей-то голос:

— Не найдется ли у вас работы, сэр?

Майкл ускорил шаги, потом остановился. Он заметил, что человек, задавший этот вопрос, шел, опустив глаза, и не обратил внимания на эту попытку к бегству. Майкл подошел к нему; у этого человека были черные глаза и круглое одутловатое лицо, напоминавшее пирог с начинкой. Приличный, хоть и обтрепанный, спокойный и печальный, на груди воинский значок — значок демобилизованных солдат.

— Вы что-то сказали? — спросил Майкл.

— Понятия не имею, как это у меня вырвалось, сэр.

— Без работы?

— Да; и приходится туго.

— Женаты?

— Вдовец, сэр; двое детей.

— Пособие?

— Получаю; и здорово оно мне надоело.

— Вы были на войне?

— Да, в Месопотамии.

— За какую работу возьметесь?

— За любую.

— Как фамилия? Дайте мне ваш адрес.

— Генри Боддик; 94, Уолтхэм-Билдингс, Геннерсбери.

Майкл записал.

— Обещать ничего не могу,— сказал он.

— Понимаю, сэр.

— Ну, всего вам хорошего. Сигару хотите?

— Очень вам благодарен, сэр. И вам всего хорошего!

Майкл козырнул и пошел вперед. Отойдя подальше от Генри Боддика, он сел в такси. Еще немного — и он рисковал утратить то спокойствие духа, без которого невозможно заседать в палате.

На Портленд-Плэйс часто попадались дома с табличками: «Продается или сдается в наем», и это помогло ему вновь обрести равновесие.

В тот же день он повел Фрэнсиса Уилмота в парламент. Проводив молодого человека на галерею для знатных иностранцев, он прошел вниз.

В Ирландии Майкл никогда не был, и прения представляли для него мало интереса. Впрочем, он мог наглядно убедиться, что по каждому вопросу возникает ряд препятствий, исключающих возможность соглашения. Необходимость сговориться подчеркивал почти каждый оратор, тут же заявляя, что нельзя уступить по тому или иному пункту, и тем самым сводя на нет все шансы на соглашение. Однако Майклу показалось, что, если принять во внимание тему, прения протекают сравнительно гладко; сейчас члены палаты выйдут из зала в разные двери, чтобы проголосовать за то, за что они решили голосовать еще до начала прений. Вспомнилось ему, какое волнение испытывал он, впервые присутствуя на

заседании. Каждая речь производила на него глубокое впечатление, и казалось—каждый оратор должен был обратить слушателей в свою веру. Велика была его досада, когда он убедился, что прозелитов нет! За кулисами работает какая-то сила, куда более мощная, чем самое яркое и искреннее красноречие. Стирают белье в другом месте, здесь его только проветривают, перед тем как надеть. Но все же, пока люди не выразят своей мысли вслух, они сами не знают, о чем думают, а иногда не знают и после того, как высказались. И в сотый раз Майкл почувствовал дрожь в коленях. Через несколько недель ему самому придется выступить. Отнесется ли к нему палата с «обычным снисхождением», или же его остановят фразой: «Молодой человек, яйца курицу не учат! Замолчите!»

Он огляделся по сторонам.

Его коллеги, члены палаты, сидели в самых разнообразных позах. Казалось, на этих избранниках народа оправдывалась доктрина: человеческая природа остается неизменной, а если изменяется, то так медленно, что процесс незаметен. Прототипы этих людей он уже видел в римских статуях, в средневековых портретах. «Просты, но обаятельны»,— подумал он, бессознательно повторяя слова, которые в пору своего расцвета Джордж Форсайт говорил, бывало, о самом себе. Но принимают ли они себя всерьез, как во времена Бэрка [1] или хотя бы как во времена Гладстона?

Слова «с обычным снисхождением» нарушили ход его мыслей. Значит, ему предстоит выслушать первую речь одного из членов. Да, совершенно верно! Депутат от Корнмаркета. Майкл приготовился слушать. Оратор говорил сдержанно и толково; видимо, он старался внушить, что не следует пренебрегать правилом: «Поступай по отношению к другим так, как бы ты хотел, чтобы поступали по отношению к тебе»; да, этим правилом пренебрегать не нужно даже в тех случаях, когда вопрос касается Ирландии. Но речь была растянута, слишком растянута. Майкл заметил, что слушатели устали. «Эх, бедняга!» — подумал он, когда оратор поспешно сел. После него выступил очень красивый джентльмен.

[1] Бэрк (1729—1797), английский политический деятель.

Он поздравил уважаемого коллегу с блестящей речью, но высказал сожаление, что она не имеет никакого отношения к разбираемому вопросу. Вот именно! Майкл покинул заседание и, отыскав своего «знатного иностранца», пошел с ним на Саут-сквер.

Фрэнсис Уилмот был в восторге.

— Замечательно! — воскликнул он. — Кто этот джентльмен под балдахином?

— Спикер, председатель палаты.

— Следовало бы дать ему подушку с кислородом. Наверно, его клонит ко сну. Мне понравился депутат, который выступал последним. В Америке он бы выдвинулся, у него есть идеи.

— Тот самый идеализм, который мешает вам вступить в Лигу наций? — усмехнулся Майкл.

Фрэнсис Уилмот резко повернул голову.

— Ну что же, — сказал он,— мы такие же люди, как и все остальные, если покопаться поглубже.

— Совершенно верно,— отозвался Майкл,— идеализм — это всего-навсего отходы географии, дымка, заволакивающая даль. Чем дальше вы от сути дела — тем гуще дымка. Мы относимся к европейской ситуации на двадцать морских миль идеалистичнее, чем французы. А вы — на три тысячи миль идеалистичнее, чем мы. Что же касается негритянского вопроса, то тут мы настолько же идеалистичнее вас, не так ли?

Фрэнсис Уилмот прищурил темные глаза.

— Да,— сказал он.— В Штатах — чем дальше на север, тем идеалистичнее люди в отношении негров. Мы с Энн всю жизнь прожили среди негров — и ни одной неприятности; мы их любим, они нас любят; но попробуй один из них посягнуть на сестру, я, кажется, сам принял бы участие в его линчевании. Мы много раз говорили на эту тему с Джоном. Он не понимает моей точки зрения: говорит, что негра надо судить таким же судом, как и белого; но он еще не знает, что такое Юг. Умом он все еще живет за три тысячи морских миль.

Майкл промолчал. Что-то в нем всегда замыкалось при упоминании этого имени.

Фрэнсис Уилмот прибавил задумчиво:

— В каждой стране есть несколько святых, опровер-

гающих вашу теорию. А все остальные — самые обыкновенные представители рода человеческого.

— Кстати, о роде человеческом,— сказал Майкл.— Вон идет мой тесть.

VI

СОМС НАЧЕКУ

Сомс задержался в городе и в тот день провел несколько часов в Зоологическом саду в попытках удержать маленьких Кардиганов, внуков Уинифрид, на почтительном расстоянии от обезьян и диких кошек. Водворив их затем в родной дом, он скучал в своем клубе и лениво перелистывал вечернюю газету, пока не наткнулся случайно на следующую заметку, помещенную в столбце «О чем говорят».

«В доме одной молодой леди, проживающей неподалеку от Вестминстера, происходят по средам собрания, на которых готовят сюрприз к следующей парламентской сессии. Ее мужу, будущему баронету, имевшему какое-то отношение к литературе, поручено выступить в парламенте с проповедью фоггартизма — учения сэра Джемса Фоггарта, изложенного в его книге «Опасное положение Англии». Инициатором дела является несколько чудаковатый субъект, редактирующий один хорошо известный еженедельник. Посмотрим, что из этого выйдет, а пока вышеупомянутая предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой «салон», спекулируя на любопытстве, порождаемом политическим авантюризмом».

Сомс протер глаза, затем еще раз прочел заметку. Гнев его возрастал. «Предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой «салон». Кто это написал? Он сунул газету в карман — кажется, это была его первая кража — и в надвигающихся сумерках побрел по направлению к Саут-сквер, упорно размышляя об анонимной заметке. Намек казался ему абсолютно верным и глубоко коварным. Он все еще размышлял, когда к нему подошли Майкл и Фрэнсис Уилмот.

— Добрый вечер, сэр!

— А, — сказал Сомс. — Я хотел с вами поговорить. В вашем лагере есть изменник.

И без всякого злого умысла он бросил гневный взгляд на Фрэнсиса Уилмота.

— В чем дело, сэр? — спросил Майкл, когда они вошли в его кабинет. Сомс протянул сложенную газету.

Майкл прочел заметку и скорчил гримасу.

— Тот, кто это написал, бывает на ваших вечерах,— сказал Сомс,— это ясно. Кто он?

— Очень возможно, что это *она*.

— Неужели они напечатали бы такого рода заметку, написанную женщиной?

Майкл ничего не ответил. «Старый Форсайт» явно не поспевает за веком.

— Скажут они мне, кто написал, если я пойду в редакцию? — спросил Сомс.

— К счастью, не скажут.

— Почему «к счастью»?

— Видите ли, сэр, пресса — цветок весьма чувствительный. Он может свернуть лепестки, если вы к нему прикоснетесь. А кроме того, они всегда говорят вещи приятные и незаслуженные.

— Но ведь это...—начал было Сомс, но вовремя остановился и добавил:—Так вы хотите сказать, что мы должны это проглотить?

— Боюсь, что так, и заесть сахаром.

— У Флер завтра вечер?

— Да.

— Я приду и буду наблюдать.

Майкл мысленно представил себе своего тестя в виде субъекта в штатском, поставленного на страже у стола со свадебными подарками.

Но, несмотря на напускное равнодушие, Майкл был задет. Он знал, что его жене нравится коллекционировать знаменитостей, что она порхает и своими чарами старается привлечь нужных ей людей. Раньше он только снисходительно ей удивлялся, но сейчас почувствовал в этом нечто большее, чем невинную забаву. Быстрота, с которой загоралась и гасла ее улыбка, словно под стриженными волосами был скрыт выключатель; живые повороты прелестной открытой шеи; искусно, или недостаточно ис-

кусно скрытая игра красивых глаз; томность и дрожание белых век; выразительные руки, которыми она легко и изящно лепила себе карьеру,— от всего этого Майклу вдруг стало больно. Правда, она это делает для него и для Кита! Говорят, француженки помогают своим мужьям делать карьеру. В ней есть французская кровь. А может быть, это стремление к идеалу, желание иметь все самое лучшее и быть лучше тех, кто ее окружает? Так размышлял Майкл. Но в среду вечером он тревожно всматривался в лица гостей, стараясь поймать иронические взгляды.

Сомс следовал иному методу. У него в сознании все решалось проще, чем у человека, который критикует днем, а ночью обнимает. Он не видел оснований, почему Флер не собирать у себя аристократов, лейбористских членов палаты, художников, послов, всяких молодых идиотов и даже писателей, если эти люди ее интересуют. Он несколько наивно рассуждал, что чем выше они стоят, тем меньше шансов впутаться из-за них в какую-нибудь неприятную историю; и, пожалуй, денег взаймы они не попросят. Его дочь не хуже, если не лучше, всех этих людей. Он был глубоко оскорблен тем, что кто-то считает, будто она всеми силами старается привлечь их к себе. Нет, не она за ними охотится, а они за ней. Он стоял у стены, под картиной Фрагонара, которую он подарил Флер. Седой, с аккуратно подстриженными волосами и энергичным подбородком, он обводил глазами комнату, ни на ком не задерживаясь взглядом, как человек, который видел в жизни много, но интересного нашел мало. Его можно было принять за какого-нибудь посланника.

Перед ним, повернувшись к нему спиной, остановилась молодая женщина с короткими золотисто-рыжими волосами; она разговаривала с глуповатым на вид человеком, который все время потирал руки. Сомсу слышно было каждое слово.

— Не правда ли, эта маленькая Монт ужасно забавна? Посмотрите на нее, она разговаривает с «доном Фернандо»; можно подумать, что он для нее — все. А, вот Бэшли! Как она к нему разлетелась! Прирожденная выскочка! Но она ошибается — таким путем «салона» не создашь. Создать «салон» может человек умный, с ярко выраженной индивидуальностью; человек, презирающий

общественное мнение. Она для этой роли не годится. Да и кто она, в сущности, такая?

— Деньги? — подсказал собеседник.

— Не так уж много. А Майкл так в нее влюблен, что даже поглупел. Впрочем, и парламент на него действует. Вы слышали их разговоры об этом фоггартизме? Продукты питания, дети, будущее — невероятная скука!

— Новизна,— промурлыкал глуповатый человек,— вот мания нашего века.

— Досадно, когда такое ничтожество старается выдвинуться и пускает в ход такую чепуху, как этот фоггартизм. Вы читали книгу Фоггарта?

— Нет. А вы?

— Конечно, нет! Мне жаль Майкла. Эта маленькая выскочка его эксплуатирует.

Сомс, очутившись словно в западне, не выдержал и засопел. Почувствовав, быть может, ветерок, молодая женщина оглянулась и увидела такие холодные серые глаза и такое хмурое лицо, что поспешила отойти.

— Кто этот мрачный старик? — спросила она своего собеседника.— Я даже испугалась.

Глуповатый джентльмен предположил, что это бедный родственник: видимо, он здесь ни с кем не знаком.

А Сомс направился прямо к Майклу.

— Кто эта молодая женщина с рыжими волосами?

— Марджори Феррар.

— Она предательница. Выгоните ее!

Майкл опешил.

— Но мы ее очень хорошо знаем. Она — дочь лорда Чарлза Феррара и...

— Выгоните ее! — повторил Сомс.

— Откуда вы знаете, сэр, что она предательница?

— Я только что слышал, как она повторила то, что было в заметке, и прибавила еще кое-что похуже.

— Но она у нас в гостях...

— Недурна гостья! — сквозь зубы проворчал Сомс.

— Нельзя выгонять гостей. А кроме того, она внучка маркиза. Скандал будет грандиозный.

— Ну, так устройте скандал!

— Приглашать мы ее больше не будем, но, право же, это все, что можно сделать.

— Вот как? — сказал Сомс и, отойдя от зятя, напра-

вился к той, на которую только что донес. Майкл, взволнованный, последовал за ним. Ему еще не приходилось видеть тестя приготовившимся к прыжку. Подойдя, он услышал, как Сомс сказал негромко, но очень внятно:

— Сударыня, вы были так любезны, что назвали мою дочь выскочкой — назвали в ее же доме.

Майкл видел, как молодая женщина оглянулась и с видом обиженным и наглым широко раскрыла свои холодные голубые глаза. Потом она засмеялась, а Сомс сказал:

— Вы предательница. Будьте добры удалиться.

Вокруг стояло человек шесть, и все они слышали! Проклятье! А он — Майкл — хозяин дома! Выступив вперед, он взял под руку Сомса и спокойно сказал:

— Довольно, сэр! Ведь мы не на мирной конференции.

Все притихли; никто не шелохнулся. Только глуповатый джентльмен потирал свои белые руки.

Марджори Феррар сделала шаг по направлению к двери.

— Я не знаю, кто этот человек,— сказала она,— но он — лжец!

— Неправда!

Бросил это слово смуглый молодой человек. Он смотрел на Марджори Феррар; их взгляды встретились.

И вдруг Майкл увидел Флер. Очень бледная, она стояла за его спиной. Конечно, слышала все! Она улыбнулась, подняла руку и сказала:

— Сейчас будет играть мадам Карелли.

Марджори Феррар направилась к двери; глуповатый джентльмен следовал за ней, все еще потирая руки, словно снимая с себя ответственность за инцидент. Сомс, как собака, для верности шел за ними; за Сомсом шагал Майкл. Донеслись слова: «Как забавно!» Послышался заглушенный смех. Парадная дверь захлопнулась. Инцидент был исчерпан.

Майкл вытер пот со лба. Он восхищался своим тестем и в то же время досадовал: «Заварил старик кашу!» Он вернулся в гостиную. Флер стояла у клавикордов с таким видом, словно ничего не случилось. Но Майкл заметил, что ее пальцы вцепились в платье, и сердце у него заныло. Волнуясь, он ждал последней ноты.

Сомс поднялся наверх и там, в кабинете Майкла, пе-

ред «Белой обезьяной», проанализировал свой поступок. Он ни о чем не жалел. Рыжая кошка! «Прирожденная выскочка»! «Деньги?» — «Не так уж много». Ха! «Это ничтожество»! Так она — внучка маркиза? Ну что ж, он указал нахалке на дверь. Все, что было в нем сильного и смелого, все, что восставало против покровительства и привилегий,— дух, унаследованный от предков,— все возмутилось в нем. Кто они, эти аристократы? Какое право имеют напускать на себя важность? Нахалы! Многие из них — потомки тех, кто поднялся на высоту только благодаря грабежам и маклерству! И кто-то осмелился назвать его дочь — *его* дочь — выскочкой! Да он пальцем не шевельнет, шагу лишнего не ступит, хоть бы ему предстояло встретиться с самим королем! Если Флер нравится окружать себя этими людьми, то почему бы ей этого не делать? Неожиданно у него замерло сердце. А вдруг она скажет, что он погубил ее «салон»? Ну что ж! Ничего не поделаешь. Лучше было сразу покончить с этой мерзавкой и уяснить себе положение. «Я не буду ждать Флер,— подумал он.— Буря в стакане воды!»

Когда он поднимался по лестнице в свою комнату, до него донеслись звуки клавикордов. Он подумал, не просыпается ли от этой музыки его внук. Вдруг послышалось ворчание, и Сомс подскочил. Ах, эта собака лежит у двери, ведущей в комнату бэби! Жаль, что Дэнди не было внизу, уж он бы прокусил чулки этой рыжей кошке! Сомс поднялся выше и посмотрел на дверь комнаты Фрэнсиса Уилмота, находившейся как раз против его комнаты.

Очевидно молодой американец тоже кое-что подслушал; но с ним говорить об этом нельзя — ронять свое достоинство! И, захлопнув свою дверь, чтобы звуки клавикордов не долетали до него, Сомс крепко закрыл глаза.

VII

ЗВУКИ В НОЧИ

Майкл никогда не видел Флер плачущей, и сейчас, когда она лежала ничком на кровати и, уткнувшись в

одеяло, старалась заглушить рыдания, он почувствовал чуть ли не панический страх. Когда он коснулся ее волос, она затихла.

— Не падай духом, любимая,— сказал он ласково.— Не все ли равно, что говорят, если это неправда.

Она приподнялась и села, скрестив ноги. Волосы у нее были растрепаны, заплаканное лицо раскраснелось.

— Кому какое дело — правда это или неправда! Важно то, что меня заклеймили.

— Ну что же, и мы ее заклеймили кличкой «предательница».

— Как будто этим поможешь делу! За спиной все мы говорим друг о друге. На это никто не обращает внимания. Но как я покажусь теперь в обществе, когда все хихикают и считают меня выскочкой? В отместку она оповестит весь Лондон. Разве я могу теперь устраивать вечера?

Оплакивает ли она свою карьеру или его? Майкл подошел к ней сзади и обнял ее.

— Мало ли что думают люди, моя детка. Рано или поздно это нужно понять.

— Ты сам не желаешь этого понять. Если обо мне думают плохо, я не могу быть хорошей.

— Считаться надо только с теми, кто тебя действительно знает.

— Никто никого не знает,— упрямо сказала Флер.— Чем лучше люди относятся, тем меньше они знают; и никакого значения не имеет, что́ они, в сущности, думают.

Майкл опустил руки. Флер молчала так долго, что он опять обошел кровать и заглянул ей в лицо, хмурившееся над подпиравшими его ладонями. Столько грации было в ее позе, что ему стало больно от любви к ней. И оттого, что ласки только раздражали ее, ему было еще больнее.

— Я ее ненавижу! — сказала она наконец.— Если я смогу ей повредить, я это сделаю.

Он тоже не прочь был отомстить «Гордости гедонистов», но ему не хотелось, чтобы Флер думала о мести. У нее это было серьезнее, чем у него, потому что он, в сущности, был неспособен причинять людям зло.

— Ну, дорогая моя, может быть, мы ляжем спать?

— Я сказала, что не буду устраивать вечера. Нет, буду!

— Отлично,— сказал Майкл.— Вот и молодец.

Она засмеялась. Это был странный смех, резко прозвучавший в ночи. Майкла он не успокоил.

В ту ночь все бодрствовали в доме. Сомса мучили ночные страхи, которые за последнее время улеглись было под влиянием сигар и пребывания на свежем воздухе во время игры в гольф. И мешали эти проклятые часы, неуклонно отбивавшие время, а между тремя и четырьмя послышался шорох, словно кто-то бродил по дому.

То был Фрэнсис Уилмот. Молодой человек пребывал в странном состоянии с той самой минуты, как снял с Сомса обвинение во лжи. Сомс не ошибся: Фрэнсис Уилмот тоже слышал, как Марджори Феррар чернила хозяйку дома, но в тот самый момент, когда он выступил с протестом, на него нашло ослепление. Эти голубые глаза, смотревшие на него вызывающе, казалось, говорили: «Молодой человек, вы мне нравитесь!» И теперь этот взгляд его преследовал. Стройная нимфа с белой кожей и золотисто-рыжими волосами, дерзкие голубые глаза, веселые красные губы и белая шея, душистая, как сосновое дерево, нагретое солнцем,— забыть он ее не мог. Весь вечер он следил за ней, но было что-то жуткое в том, какое неизгладимое впечатление она произвела на него в тот последний момент. Теперь он не мог заснуть. Хоть он и не был ей представлен, но знал, что ее зовут Марджори Феррар, и это имя ему нравилось. Он вырос вдали от городов, мало знал женщин, и она казалась ему совсем особенной, необыкновенной. А он изобличил ее во лжи! Волнение его было так велико, что он выпил всю воду из графина, оделся и потихоньку стал спускаться с лестницы. Когда он проходил мимо Дэнди, собака заворочалась, словно хотела сказать: «Странно, но эти ноги мне знакомы!» Он спустился в холл. Молочный свет лился в полукруглое окно над дверью. Закурив папиросу, Фрэнсис Уилмот присел на мраморный ларь-саркофаг. Это настолько его освежило, что он встал, повернул выключатель, взял телефонную книжку и машинально отыскал букву «Ф». Вот ее адрес: «Феррар, Марджори. Ривер Студиос, Рэн-стрит, 3». Погасив свет,

он осторожно снял дверную цепочку и вышел на улицу. Он знал, как пройти к реке, и направился туда.

Был тот час, когда звуки, утомленные, засыпают, и можно услышать, как летит мотылек. Воздух был чистый, не отравленный дымом; Лондон спал в лучах луны. Мосты, башни, вода — все серебрилось и казалось отрезанным от людей. Даже дома и деревья отдыхали, убаюканные луной, и словно повторяли вслед за Фрэнсисом Уилмотом строфу из «Старого моряка» [1].

О милый сон, по всей земле
И всем отраден он!
Марии вечная хвала!
Она душе моей дала
Небесный милый сон.

Он свернул наудачу вправо и пошел вдоль реки. Никогда еще не приходилось ему бродить по большому городу в этот мертвый час. Замерли страсти, затихла мысль о наживе; уснула спешка, сном забылись страхи; кое-где ворочается человек на кровати; кто-нибудь испускает последний вздох. Внизу на воде темными призраками казались лихтеры и баржи, красные огоньки светились на них; фонари вдоль набережной горели впустую, словно вырвались на свободу. Человек притаился, исчез. Во всем городе бодрствовал он один и делал — что? От природы находчивый и сообразительный, молодой человек был неспособен поставить диагноз и уж во всяком случае не видел ничего смешного в том, что бесцельно бродит ночью по городу. Вдруг он почувствовал, что сможет вернуться домой и заснуть, если ему удастся взглянуть на ее окна. Проходя мимо галереи Тэйта, он увидел человека; пуговицы его блестели в лучах луны.

— Скажите, полисмен, где Рэн-стрит?

— Прямо, пятая улица направо.

Фрэнсис Уилмот снова зашагал. Луна опускалась за дома, ярче сверкали звезды, дрожь пробежала по деревьям. Он свернул в пятую улицу направо, прошел квартал, но дома не нашел. Было слишком темно, чтобы различить номера. Снова повстречался ему человек с блестящими пуговицами.

---

[1] Поэма Колриджа.

— Скажите, полисмен, где Ривер Студиос?

— Вы прошли мимо; последний дом по правой стороне.

Фрэнсис Уилмот повернул назад. Вот он — этот дом! Молодой человек остановился и посмотрел на темные окна. За одним из этих окон — она! Поднялся ветер, и Фрэнсис Уилмот повернулся и пошел домой. Осторожно, стараясь не шуметь, поднялся он по лестнице мимо Дэнди, который снова приподнял голову и проворчал: «Еще более странно, но это те же самые ноги!» — потом вошел в свою комнату, лег и заснул сладким сном.

VIII

ВОКРУГ ДА ОКОЛО

За завтраком все обходили молчанием инцидент, происшедший накануне, но это не удивило Сомса: естественно, что в присутствии молодого американца говорить не следует; однако Сомс заметил, что Флер бледна. Ночью, когда он не мог уснуть, в нем зародились опасения юридического порядка. Можно ли в присутствии шести человек безнаказанно назвать «предательницей» даже эту рыжую кошку? После завтрака он отправился к своей сестре Уинифрид и рассказал ей всю историю.

— Прекрасно, мой милый,— одобрила она.— Мне говорили, что эта молодая особа очень бойка. Знаешь ли, у ее отца была лошадь, которую побила французская лошадь — не помню ее клички — на этих скачках в... ах, боже мой, как называются эти скачки?

— Понятия не имею о скачках,— сказал Сомс.

Но к вечеру, когда он сидел в «Клубе знатоков», ему подали визитную карточку:

Лорд Чарлз Феррар
Хай Маршес
бл. Ньюмаркета *«Бэртон-Клуб».*

У него задрожали было колени, но на выручку ему пришло слово «выскочка», и он сухо сказал:

— Проводите его в приемную.

Он не намерен был спешить из-за этого субъекта и спокойно допил чай, прежде чем направиться в этот малоуютный уголок клуба.

Посреди маленькой комнаты стоял высокий худощавый джентльмен с закрученными кверху усами и моноклем, словно вросшим в орбиту правого глаза. Морщины пролегли на его худых увядших щеках, в густых волосах пробивалась у висков седина. Сомсу нетрудно было с первого же взгляда почувствовать к нему антипатию.

— Если не ошибаюсь, мистер Форсайт?

Сомс наклонил голову.

— Вчера вечером, в присутствии нескольких человек, вы бросили моей дочери в лицо оскорбление.

— Да. Оно было вполне заслужено.

— Значит, вы не были пьяны?

— Ничуть.

Его сухие, сдержанные ответы, казалось, привели посетителя в замешательство. Он закрутил усы, нахмурился, отчего монокль глубже врезался в орбиту, и сказал:

— У меня записаны фамилии тех, кто при этом присутствовал. Будьте добры написать каждому из них в отдельности, что вы отказываетесь от этих слов.

— И не подумаю.

С минуту длилось молчание.

— Вы, кажется, стряпчий?

— Адвокат.

— Значит, вам известно, каковы могут быть последствия вашего отказа.

— Если ваша дочь пожелает подать в суд, я буду рад встретиться с ней там.

— Вы отказываетесь взять свои слова обратно?

— Категорически.

— В таком случае, до свидания!

— До свидания!

Сомс был бы рад поколотить посетителя, но вместо этого он отступил на шаг, чтобы дать ему пройти. Вот наглец! Ему ясно вспомнился голос старого дяди Джолиона, когда он еще в восьмидесятых годах говорил о ком-то: «Кляузный человечишка, стряпчий». И он почув-

ствовал потребность отвести душу. Конечно, «Старый Монт» знает этого субъекта; нужно повидаться с ним и расспросить.

В клубе «Аэроплан» он застал не только сэра Лоренса Монта, казавшегося необычайно серьезным, но и Майкла, который, видимо, рассказал отцу о вчерашнем инциденте. Сомс почувствовал облегчение: ему тяжело было бы говорить об оскорблении, нанесенном его дочери. Сообщив о визите лорда Феррара, он спросил:

— Этот... Феррар... каково его положение?

— Чарли Феррар? Он кругом в долгах; у него есть несколько хороших лошадей, и он — прекрасный стрелок.

— На меня он не произвел впечатления джентльмена,— сказал Сомс.

Сэр Лоренс поднял брови, словно размышляя о том, что ответить на это замечание, высказанное о человеке с родословной человеком, таковой не имеющим.

— А его дочь отнюдь не леди,— добавил Сомс.

Сэр Лоренс покачал головой.

— Сильно сказано, Форсайт, сильно сказано! Но вы правы: есть у них какая-то примесь в крови. Шропшир — славный старик, его поколение не пострадало. Его тетка была...

— Он назвал меня стряпчим,— мрачно усмехнувшись, сказал Сомс,— а она назвала меня лжецом. Не знаю, что хуже.

Сэр Лоренс встал и посмотрел в окно на Сент-Джемс-стрит. У Сомса зародилось ощущение, что эта узкая голова, высоко посаженная над тонкой прямой спиной, в данном случае окажется ценнее его собственной. Тут приходилось иметь дело с людьми, которые всю жизнь говорили и делали, что им вздумается, и нисколько не заботились о последствиях; этот баронет и сам так воспитан — ему лучше знать, что может прийти им в голову.

— Она может обратиться в суд, Форсайт. Ведь это было на людях. Какие вы можете привести доказательства?

— Я своими ушами слышал.

Сэр Лоренс посмотрел на уши Сомса, словно измеряя их длину.

— Гм! А еще что?

— Эта заметка в газете.

— С газетой она договорится. Еще?

— Ее собеседник может подтвердить.

— Филип Куинси? — вмешался Майкл.— На него не рассчитывайте.

— Что еще?

— Видите ли,— сказал Сомс,— ведь этот молодой американец тоже кое-что слышал.

— А,— протянул сэр Лоренс.— Берегитесь, как бы она им тоже не завладела. И это все?

Сомс кивнул. Как подумаешь — маловато!

— Вы говорите, что она назвала вас лжецом. Вы тоже можете подать на нее в суд.

Последовало молчание; наконец Сомс сказал:

— Нет! Она — женщина.

— Правильно, Форсайт! У них еще сохранились привилегии. Теперь остается только выжидать. Посмотрим, как повернутся события. «Предательница»! Должно быть, вы себе не представляете, во сколько вам может влететь это слово?

— Деньги — вздор! — сказал Сомс.— Огласка — вот что плохо!

Фантазия у него разыгралась: он уже видел себя в суде. Вот он оглашает злобные слова этой нахалки, бросает публике и репортерам слово «выскочка», сказанное о его дочери. Это единственный способ защитить себя. Тяжело!

— Что говорит Флер? — неожиданно обратился он к Майклу.

— Война во что бы то ни стало.

Сомс подпрыгнул на стуле.

— Как это по-женски! Женщины лишены воображения.

— Сначала я тоже так думал, сэр, но теперь сомневаюсь. Флер рассуждает так: если не схватить Марджори Феррар за волосы, она будет болтать направо и налево; если же предать дело огласке, она не сможет причинить вреда.

— Пожалуй, я зайду к старику Шропширу,— сказал сэр Лоренс.— Наши отцы вместе стреляли вальдшнепов в Албании в пятьдесят четвертом году.

Сомс не понимал, какое это может иметь отношение

к делу, но возражать не стал. Маркиз — это как-никак почти герцог; быть может, даже в наш демократический век он пользуется влиянием.

— Ему восемьдесят лет,— продолжал сэр Лоренс,— страдает подагрой, но все еще трудолюбив, как пчела.

Сомс не мог решить, хорошо это или плохо.

— Откладывать не стоит, пойду к нему сейчас.

На улице они расстались; сэр Лоренс повернул на север, по направлению к Мейферу.

Маркиз Шропшир диктовал своему секретарю письмо в Совет графства, настаивая на одном из пунктов своей обширной программы всеобщей электрификации. Одним из первых встал он на защиту электричества и всю жизнь был ему верен. Это был невысокий, похожий на птицу старик с розовыми щеками и аккуратно подстриженной белой бородкой. Одетый в мохнатый суконный костюм с синим вязаным галстуком, продетым в кольцо, он стоял в своей любимой позе: одну ногу поставил на стул, локтем оперся о колено и подпер подбородок рукой.

— А, молодой Монт! — сказал он.— Садитесь.

Сэр Лоренс сел и положил ногу на ногу. Ему приятно было слышать, что в шестьдесят шесть лет его называют «молодым Монтом».

— Вы мне опять принесли одну из ваших чудесных новых книг?

— Нет, маркиз, я пришел за советом.

— А! Мистер Мэрси, продолжайте: «Таким путем, джентльмены, вы добьетесь для наших налогоплательщиков экономии по меньшей мере в три тысячи ежегодно; облагодетельствуете всю округу, избавив ее от дыма четырех грязных труб, и вам будет признателен ваш покорный слуга Шропшир».

Вот и все, мистер Мэрси; благодарю вас. Итак, дорогой мой Монт?

Проводив глазами спину секретаря и поймав на себе блестящие глаза старого лорда, глядевшие с таким выражением, точно он намерен каждый день видеть и узнавать что-нибудь новое, сэр Лоренс вынул монокль и сказал:

— Ваша внучка, сэр, и моя невестка хотят затеять свару.

— Марджори?— спросил старик, по-птичьи склонив

голову набок.— Это меня не касается. Очаровательная молодая женщина; приятно на нее смотреть, но это меня не касается. Что она еще натворила?

— Назвала мою невестку выскочкой, сказала, что она гоняется за знаменитостями. А отец моей невестки назвал вашу внучку в лицо предательницей.

— Смелый человек,— сказал маркиз.— Смелый. Кто он такой?

— Его фамилия Форсайт.

— Форсайт?—повторил старый пэр.—Форсайт? Фамилия знакомая. Ах, да! «Форсайт и Трефри»—крупные чаеторговцы. Мой отец покупал у них чай. Нет теперь такого чая. Это тот самый?

— Быть может, родственник. Этот Форсайт — адвокат, сейчас практикой не занимается. Все знают его коллекцию картин. Он человек стойкий и честный.

— Вот как! А его дочь действительно гоняется за знаменитостями?

Сэр Лоренс улыбнулся.

— Ей нравится быть окруженной людьми. Очень хорошенькая. Прекрасная мать. В ней есть французская кровь.

— А! — сказал маркиз.— Француженка! Они сложены лучше, чем наши женщины. Чего вы от меня хотите?

— Поговорите с вашим сыном Чарлзом.

Маркиз снял ногу со стула и выпрямился. Голова его заходила из стороны в сторону.

— С Чарли я не говорю,— серьезно сказал он.— Мы уже шесть лет как не разговариваем.

— Простите, сэр. Не знал. Жалею, что побеспокоил вас.

— Нет, нет! Я очень рад вас видеть. Если я увижу Марджори... я подумаю, подумаю. Но, дорогой мой Монт, что поделаешь с этими молодыми женщинами? Чувства долга у них нет, постоянства нет, волос нет, фигуры тоже. Кстати, вы знаете этот проект гидростанции на Северне? — Он взял со стола брошюру.— Я уже столько лет пристаю к ним, чтобы начинали. Будь у нас электричество, даже мои угольные копи могли бы дать доход; но они там всё раскачиваются. Американцев бы нам сюда.

Видя, что у старика чувство долга заслонило все остальные помыслы, сэр Лоренс встал и протянул руку.

— До свидания, маркиз. Очень рад, что нашел вас в добром здоровье.

— До свидания, дорогой Монт. Я всегда к вашим услугам. И не забудьте, пришлите мне еще что-нибудь из ваших книг.

Они пожали друг другу руку. Оглянувшись в дверях, сэр Лоренс увидел, что маркиз принял прежнюю позу: поставил ногу на стул, подбородком оперся на руку и уже погрузился в чтение брошюры. «Вот это да, как сказал бы Майкл,— подумал он.— Но что мог сделать Чарли Феррар? Почему старик шесть лет с ним не разговаривает? Может быть, «Старый Форсайт» знает...»

В это время «Старый Форсайт» и Майкл шли домой через Сент-Джемс-парк.

— Этот молодой американец,— начал Сомс.— Как вы думаете, что побудило его вмешаться?

— Не знаю, сэр. А спрашивать не хочу.

— Правильно,— мрачно отозвался Сомс: ему самому неприятно было бы обсуждать с американцем вопросы личного достоинства.

— Слово «выскочка» что-нибудь значит в Америке?

— Не уверен; но коллекционировать таланты — это в Штатах особый вид идеализма. Они желают общаться с теми, кого считают выше себя. Это даже трогательно.

Сомс держался другого мнения, почему — он затруднился бы объяснить. До сих пор его руководящим принципом было никого не считать выше самого себя и своей дочери, а говорить о руководящих принципах не принято. К тому же этот принцип так глубоко затаился в нем, что он и сам не знал о его существовании.

— Я буду молчать,— сказал он,— если он сам не заговорит. Что еще может сделать эта особа? Она, вероятно, член какой-нибудь группы?

— Неогедонисты.

— Гедонисты?

— Да, сэр. Их цель — любой ценой получать как можно больше удовольствий. Никакого значения они не имеют. Но Марджори Феррар у всех на виду. Она не-

множко рисует, имеет какое-то отношение к прессе, танцует, охотится, играет на сцене; на воскресенье всегда уезжает в гости. Это хуже всего — ведь в гостях делать нечего, вот они и болтают. Вы когда-нибудь бывали на воскресном сборище, сэр?

— Я? — сказал Сомс.— Ну что вы!

Майкл улыбнулся — действительно, величины несовместимые.

— Надо как-нибудь затащить вас в Липпингхолл.

— Ну нет, благодарю.

— Вы правы, сэр. Скука смертная. Но это кулисы политики. Флер считает, что это мне на пользу. А Марджори Феррар знает всех, кого мы знаем, знает и тех, кого мы не знаем. Положение очень неловкое.

— Я бы держал себя так, словно ничего не случилось,— сказал Сомс.— Но как быть с газетой? Следует их предостеречь, что эта женщина — предательница.

Майкл с улыбкой посмотрел на своего тестя.

В холле их встретил лакей.

— К вам пришел какой-то человек, сэр. Его фамилия — Бегфилл.

— А, да! Куда вы его провели, Кокер?

— Я не знал, что мне с ним делать, сэр: он весь трясется. Я его оставил в столовой.

— Вы меня простите, сэр,— сказал Майкл.

Сомс прошел в гостиную, где застал свою дочь и Фрэнсиса Уилмота.

— Мистер Уилмот уезжает, папа. Ты пришел как раз вовремя, чтобы попрощаться.

Если Сомс испытывал когда-нибудь чувство благожелательности к посторонним людям, то именно в такие минуты. Против молодого человека он ничего не имел, пожалуй, даже ему симпатизировал, но чем меньше около тебя людей, тем лучше. Кроме того, перед Сомсом стоял вопрос: что подслушал американец? Трудно было устоять перед компромиссом с самим собой и не задать ему этого вопроса.

— До свидания, мистер Уилмот,— сказал он.— Если вы интересуетесь картинами...— Он приостановился и добавил: — Вам следует заглянуть в Британский музей.

Фрэнсис Уилмот почтительно пожал протянутую руку.

— Загляну. Счастлив, что познакомился с вами, сэр.

Пока Сомс недоумевал, почему он счастлив, молодой человек повернулся к Флер.

— Из Парижа я напишу Джону и передам ему ваш привет. Вы были удивительно добры ко мне. Я буду рад, если вы с Майклом поедете в Штаты и навестите меня. А если вы привезете с собой вашу собачку, я с удовольствием разрешу ей еще раз меня укусить.

Он поцеловал руку Флер и вышел, а Сомс задумчиво уставился в затылок дочери.

— Несколько неожиданно,— сказал он, когда дверь закрылась.— Что-нибудь с ним случилось?

Она повернулась к нему и холодно спросила:

— Папа, зачем ты устроил вчера этот скандал?

Несправедливость обвинения бросалась в глаза, и Сомс молча закусил ус. Словно он мог промолчать, когда ее оскорбили в его присутствии!

— Как, по-твоему, какую пользу ты этим принес?

Сомс не пытался дать объяснение, но ее слова причинили ему боль.

— Ты сделал так, что теперь мне трудно смотреть людям в глаза. И все-таки скрываться я не буду. Если я — выскочка, не пренебрегающая никакими средствами, чтобы создать «салон», я свою роль проведу до конца. Но ты, пожалуйста, впредь не думай, что я ребенок, который не может постоять за себя.

Снова Сомс промолчал, оскорбленный до глубины души.

Флер быстро взглянула на него и сказала:

— Прости, но я ничего не могу поделать; ты все испортил.

И она вышла из комнаты.

Сомс вяло подошел к окну и посмотрел на улицу. Увидел, как отъехало такси с чемоданами; увидел, как голуби опустились на мостовую и вновь взлетели; увидел, как в сумерках мужчина целует женщину, а полисмен, закурив трубку, уходит со своего поста. Много любопытных вещей видел Сомс. Он слышал, как пробил Большой Бэн. Ни к чему все это. Он думал о серебряной ложке. Когда родилась Флер, он сам сунул ей в рот эту ложку.

IX

КУРЫ И КОШКИ

Человек, которого Кокер провел в столовую, стоял не двигаясь. Постарше Майкла, шатен, с намеком на бакенбарды и с бледным лицом, на котором застыло обычное у актеров, но незнакомое Майклу заученно-оживленное выражение, он одной рукой вцепился в край стола, другой — в свою черную широкополую шляпу. В ответ на взгляд его больших, обведенных темными кругами глаз Майкл улыбнулся и сказал:

— Не волнуйтесь, мистер Бергфелд, я не антрепренер. Пожалуйста, садитесь и курите.

Посетитель молча сел и, пытаясь улыбнуться, взял предложенную папиросу. Майкл уселся на стол.

— Я узнал от миссис Бергфелд, что вы на мели.

— И прочно,— сорвалось с дрожащих губ.

— Должно быть, всему виной ваше здоровье и ваша фамилия?

— Да.

— Вам нужна работа на открытом воздухе. Никакого гениального плана я не придумал, но вчера ночью меня осенила одна мысль. Что вы скажете о разведении кур? Все этим занимаются.

— Если бы у меня были мои сбережения...

— Да, миссис Бергфелд мне рассказала. Я могу навести справки, но боюсь...

— Это грабеж!

За звуком его слов Майкл сейчас же услышал голоса всех антрепренеров, которые отказали этому человеку в работе.

— Знаю,— сказал он успокоительным тоном.— Грабят Петра, чтобы заплатить Павлу. Что и говорить, этот пункт договора — чистое варварство. Только, право же, не стоит этим терзаться.

Но посетитель уже встал.

— Отнимают у одного, чтобы заплатить другому! Тогда почему не отнять жизнь у одного, чтобы дать ее другому? То же самое! И это делает Англия—передовая страна, уважающая права личности! Омерзительно!

Майкл почувствовал, что актер хватает через край.

— Вы забываете,— сказал он,— что война всех нас

превратила в варваров. Этого мы еще не преодолели. И, как вам известно, искру в пороховой погреб бросила ваша страна. Но что же вы скажете о разведении кур?

Казалось, Бергфелд с величайшим трудом овладел собой.

— Ради моей жены,— сказал он,— я готов делать что угодно. Но если мне не вернут моих сбережений, как я могу начать дело?

— Обещать ничего не обещаю, но, быть может, я буду вас финансировать для начала. Этот парикмахер, который живет в первом этаже, тоже хочет получить работу на свежем воздухе. Кстати, как его фамилия?

— Суэн.

— Вы с ним ладите?

— Он упрямый человек, но мы с ним в хороших отношениях.

Майкл слез со стола.

— Дайте мне время, я это обдумаю. Надеюсь, кое-что нам удастся сделать.— И он протянул руку.

Бергфелд молча пожал ее. Глаза его снова смотрели мрачно.

«Этот человек,— подумал Майкл,— может в один прекрасный день покончить с собой». И он проводил его до двери. Несколько минут смотрел он вслед удаляющейся фигуре с таким чувством, словно самый мрак соткан из бесчисленных историй, столь же печальных, как жизнь этого человека, и парикмахера, и того, который остановил его и шепотом попросил работы. Да, пусть отец уступит ему клочок земли за рощей в Липпингхолле. Он — Майкл — купит им домик, купит кур, и так будет основана колония — Бергфелды, парикмахер и Генри Боддик. В роще они могут нарубить деревьев и построить курятники. Производство предметов питания — проведение в жизнь теории Фоггарта. Флер над ним посмеется. Но разве в наши дни может человек избежать насмешек? Он вошел в дом. В холле стояла Флер.

— Фрэнсис Уилмот уехал,— сказала она.

— Почему?

— Он уезжает в Париж.

— Что он подслушал вчера?

— Неужели ты думаешь, что я его спрашивала?

— Конечно, нет,— смиренно сказал Майкл.— Пойдем наверх посмотрим на Кита; ему как раз время купаться.

Действительно, одиннадцатый баронет сидел в ванне.

— Идите, няня,— сказала Флер.— Я им займусь.

— Он три минуты сидит в ванне, мэм.

— Сварился всмятку,— сказал Майкл.

Ребенку был год и два месяца, и энергии его можно было позавидовать: все время он находился в движении. Казалось, он вкладывал в жизнь какой-то смысл. Жизненная сила его была абсолютна — не относительна. В том, как он прыгал, и ворковал, и плескался, была радость мошки, пляшущей в луче света, галчонка, пробующего летать. Он не предвкушал будущих благ, он наслаждался минутой. Весь белый, с розовыми пятками, с волосами и глазенками, которым еще предстояло посветлеть, он цеплялся руками за мать, за мыло, за полотенце — казалось, ему недостает только хвоста. Майкл смотрел на него и размышлял. Этот человечек имеет в своем распоряжении все, чего только можно пожелать. Как они будут его воспитывать? Подготовлены ли они к этой задаче? Ведь и они тоже, как и все это поколение их класса, родились эмансипированными, имели отцов и матерей, скрепя сердце поклонявшихся новому фетишу — свободе! Со дня рождения они имели все, что только могли пожелать, им оставалось одно: ломать себе голову над тем, чего же им еще не хватает. Избыток свободы побуждал к беспокойным исканиям. С войной свободе пришел конец; но война перегнула палку, снова захотелось произвола. А для тех, кто, как Флер, немножко запоздал родиться и не мог принять участие в войне, рассказы о ней окончательно убили уважение к чему бы то ни было. Пиетет погиб, служение людям сдано в архив, атавизм опровергнут, всякое чувство смешно и будущее туманно — так нужно ли удивляться, что современные люди— те же мошки, пляшущие в луче света, только принимающие себя всерьез? Так думал Майкл, сидя над ванночкой и хмурясь на своего сынишку. Можно ли иметь детей, если ни во что не веришь? Впрочем, сейчас опять пытаются найти объект какой-то веры. Только уж очень это медлительный процесс.

«Слишком мы много анализируем,— думал он,— вот в чем беда».

Флер вытерла одиннадцатого баронета и начала присыпать его тальком; ее взгляд словно проникал ему под кожу, чтобы убедиться, все ли там в порядке. Майкл следил, как она брала то одну, то другую ручку, осматривая каждый ноготок, на секунду целиком отдаваясь материнскому чувству. А Майкл, с грустью сознавая несовместимость подобных переживаний с положением члена парламента, щелкнул перед носом младенца пальцами и вышел из детской.

Он отправился в свой кабинет, достал один из томов Британской энциклопедии и отыскал слово «куры». Прочел об орпингтонах, леггорнах, брамапутрах, но пользы извлек мало. Он вспомнил: если перед клювом курицы провести мелом черту, курица вообразит, что клюв ее к этой черте привязан. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь провел меловую черту перед его носом. Может быть, фоггартизм такая черта? В эту минуту послышался голос:

— Скажите Флер, что я ухожу к ее тетке.

— Покидаете нас, сэр?

— Да, здесь во мне не нуждаются.

Что могло случиться?

— Но с Флер вы повидаетесь перед уходом, сэр?

— Нет,— сказал Сомс.

Неужели кто-то стер меловую черту перед носом «Старого Форсайта»?

— Скажите, сэр, прибыльное это дело — разводить кур?

— Теперь нет прибыльных дел.

— И тем не менее суммы, получаемые от налогоплательщиков, все увеличиваются?

— Да,— сказал Сомс,— тут что-то неладно.

— Не думаете ли вы, сэр, что люди преувеличивают свои доходы?

Сомс заморгал. Даже сейчас, в пессимистическом настроении, он все же был лучшего мнения о людях.

— Позаботьтесь, чтобы Флер не вздумала оскорблять эту рыжую кошку,— сказал он.— Флер родилась с серебряной ложкой во рту: она воображает, что она может делать все, что ей вздумается.— Он захлопнул за собой дверь.

Серебряная ложка во рту! Как кстати!..

Уложив ребенка, Флер удалилась в свое святилище, которое в былые дни носило бы название будуара. Подсев к бюро, она мрачно задумалась. Как мог отец устроить такой скандал на людях? Неужели он не понимает, что эти слова не имеют никакого значения, пока они не преданы огласке? Она горела желанием излить свои чувства и сообщить людям свое мнение о Марджори Феррар.

Она написала несколько писем — одно леди Элисон и два письма женщинам, бывшим свидетельницами вчерашней сцены. Третье письмо она закончила так:

«Женщина, которая прикидывается вашим другом, пробирается к вам в дом и за вашей спиной наносит вам удар, такая женщина — змея. Не понимаю, как ее терпят в обществе. Она не имеет представления о нравственности, какие бы то ни было моральные побуждения ей чужды. Что касается ее очарования — о боже!»

Так! Теперь оставался еще Фрэнсис Уилмот. Она не все успела ему сказать.

«Милый Фрэнсис,

Мне жаль, что Вы так внезапно уехали. Я хотела Вас поблагодарить за то, что вчера Вы выступили в мою защиту. О Марджори Феррар скажу только, что дальше идти некуда. Но в лондонском обществе не принято обращать внимания на шпильки. Я была очень рада познакомиться с Вами. Не забывайте нас; когда вернетесь из Парижа — приходите.

Ваш друг *Флер Монт.*»

Впредь она будет приглашать на свои вечера только мужчин. Но придут ли они, если не будет женщин? А такие мужчины, как Филип Куинси, не менее ядовиты, чем женщины. Кроме того, могут подумать, что она глубоко оскорблена. Нет! Пусть все идет по-старому; нужно только вычеркнуть этих субъектов «кошачьей породы». Впрочем, она ни в ком не уверена, если не считать Элисон и такой тяжелой артиллерии, как мистер Блайт, посланники и три-четыре политических деятеля. Все остальные готовы вцепиться когтями вам в спину или в

лицо, если на них никто не смотрит. Это модно. Живя в обществе, кто может избежать царапин и кто не царапается сам? Без этого жизнь была бы ужасно тусклой. Как можно жить и не царапаться — разве что в Италии? Ах, эти фрески Фра Анжелико в монастыре св. Марка! Вот кто никогда не царапался! Франциск Ассизский беседует с птицами среди цветочков, и солнце, и луна, и звезды — все ему родные. А св. Клара и св. Флер — сестра св. Франциска! Отрешиться от мира и быть хорошей! Жить для счастья других! Как ново! Как увлекательно — на одну неделю. А потом — как скучно!

Она отодвинула занавеску и посмотрела на улицу. При свете фонаря она увидела двух кошек, тонких, удивительно грациозных. Они стояли друг против друга. Вдруг они отвратительно замяукали, выпустили когти и сцепились в клубок. Флер опустила занавеску.

X

ФРЭНСИС УИЛМОТ МЕНЯЕТ ФРОНТ

Приблизительно в это же время Фрэнсис Уилмот опустился на стул в зале отеля «Космополис», но тотчас же выпрямился. В центре комнаты, скользя по паркету, отступая, поворачиваясь, изгибаясь в объятиях человека с лицом, похожим на маску, танцевала та, от которой он, верный Флер и Майклу, решил бежать в Париж. Судьба! Ибо, конечно, он не мог знать, что по вечерам она часто приходит сюда танцевать. Она и ее партнер танцевали безупречно; Фрэнсис Уилмот, любивший танцы, понимал, что видит зрелище исключительное. Когда они остановились в двух шагах от него, он медленно произнес:

— Это было красиво.

— Здравствуйте, мистер Уилмот.

Как! Она знает его фамилию! Казалось бы, в этот момент ему следовало продемонстрировать свою преданность Флер; но она опустилась на стул рядом с ним.

— Итак, вчера вечером вы сочли меня предательницей?

— Да.

— Почему?

— Потому что я слышал, как вы назвали хозяйку дома «выскочкой».

Марджори Феррар усмехнулась.

— Дорогой мой, хорошо было бы, если бы люди не давали своим друзьям худших прозвищ! Я не хотела, чтобы слышали вы или тот старик со страшным подбородком.

— Это ее отец,— серьезно сказал Фрэнсис Уилмот.— Вы его оскорбили.

— Ну что ж! Сожалею!

Теплая рука без перчатки коснулась его руки. От этого прикосновения по руке Фрэнсиса Уилмота словно пробежал ток.

— Вы танцуете?

— Да, но с вами я бы не осмелился.

— Нет, нет, пойдемте!

У Фрэнсиса Уилмота закружилась голова, а затем он и сам закружился в танце.

— Вы танцуете лучше, чем англичане, если не говорить о профессионалах,— сказала она. Губы ее были на расстоянии шести дюймов от его лица.

— Горжусь вашей похвалой, мэм.

— Разве вы не знаете, как меня зовут? Или вы всегда называете женщин «мэм»? Это очень мило.

— Конечно, я знаю ваше имя и знаю, где вы живете. Сегодня в четыре часа утра я был в нескольких шагах от вашего дома.

— Что вы там делали?

— Мне хотелось быть поближе к вам.

Марджори Феррар сказала, словно размышляя вслух:

— Никогда еще мне не приходилось слышать такой галантной фразы. Приходите ко мне завтра пить чай.

Поворачиваясь, пятясь, проделывая все па, Фрэнсис Уилмот медленно проговорил:

— Я должен ехать в Париж.

— Не бойтесь, я вам зла не причиню.

— Я не боюсь, но...

— Значит, я вас жду.— И, перейдя к партнеру, с ли-

цом, похожим на маску, она оглянулась на него через плечо.

Фрэнсис Уилмот вытер лоб. Удивительное событие, окончательно поколебавшее его представление об англичанах как о натянутых, чопорных людях! Если бы он не знал, что она — дочь лорда, он принял бы ее за американку. Быть может, она еще раз пригласит его танцевать? Но она вышла, не взглянув на него.

Всякий типичный современный молодой человек возгордился бы. Но он не был ни типичен, ни современен. Хотя в 1918 году он шесть месяцев обучался в школе летчиков, один раз побывал в Нью-Йорке да наезжал иногда в Чарлстон и Саванну, он остался деревенским жителем, верным традиции хороших манер, работы и простого образа жизни. Женщин он знал мало и относился к ним почтительно. Он судил о них по своей сестре и по немолодым подругам своей покойной матери. На пароходе некая северянка сообщила ему, что на Юге девушки измеряют жизнь количеством мужчин, которых им удастся покорить, и нарисовала ему забавный портрет девушки с Юга. Южанин удивился. Энн была не такая. Впрочем, возможно, что, выйдя девятнадцати лет за первого молодого человека, сделавшего ей предложение, она просто не успела развернуться.

На следующее утро он получил записку Флер. «Дальше идти некуда!» Куда идти? Он возмутился. В Париж он не уехал и в четыре часа был на Рэн-стрит.

У себя в студии Марджори Феррар, одетая в голубую блузу, соскабливала краску с холста. Через час Фрэнсис Уилмот был ее рабом. Выставка собак Крафта, лейб-гвардейцы, дерби — он забыл даже о своем желании это посмотреть; теперь во всей Англии для него существовала только Марджори Феррар, ее одну хотел он видеть. Вряд ли он помнил, в какую сторону течет река, и, выйдя из дома, чисто случайно повернул на восток, а не на запад. Ее волосы, ее глаза, голос — она его околдовала. Да, он сознавал, что он дурак, но ничего против этого не имел; дальше мужчина идти не может! Она обогнала его в маленьком открытом автомобиле, которым сама управляла. Она ехала на репетицию; махнула ему рукой. Он задрожал и побледнел. Когда автомобиль скрылся из виду, он почувствовал себя

покинутым, словно заблудившимся в мире теней, серых и тусклых. А! Вот парламент! А неподалеку находится единственный в Лондоне дом, где он может поговорить о Марджори Феррар, тот самый дом, в котором она держала себя недостойно. Он горел желанием защитить ее от обвинения в том, что «дальше идти некуда». Он понимал, что не подобает говорить с Флер о ее враге, но все же это было лучше, чем молчать. Итак, он повернул на Саут-сквер и позвонил.

Флер пила чай в гостиной.

— Вы еще не в Париже? Как мило! Чаю хотите?

— Я уже пил,— краснея, ответил Фрэнсис Уилмот.— Пил у *нее*.

Флер широко раскрыла глаза.

— О! — воскликнула она со смехом.— Как интересно! Где же это она вас подцепила?

Фрэнсис Уилмот не совсем понял смысл этой фразы, но почувствовал в ней что-то оскорбительное.

— Вчера она была на thé dansant[1] в том отеле, где я остановился. Она изумительно танцует. И вообще она изумительная женщина. Пожалуйста, объясните мне, что вы имели в виду, когда писали: «Дальше идти некуда»?

— А вы мне объясните, что это за перемена фронта?

Фрэнсис Уилмот улыбнулся.

— Вы были так добры ко мне, и мне хочется, чтобы вы с ней помирились. Конечно, она не думала того, что тогда сказала.

— В самом деле? Она сама вам это сообщила?

— Гм, не совсем. Она не хотела, чтобы мы услышали ее слова,— вот что она сказала.

— Да?

Он смотрел на ее улыбающееся лицо и, быть может, смутно сознавал, что дело не так просто, как ему кажется. Но он был молод, к тому же американец,— и не верил, что его желание помирить их неосуществимо.

— Мне так тяжело думать, что вы с ней в ссоре. Может быть, вы согласитесь встретиться с ней у меня в отеле и пожать ей руку?

Флер окинула его взглядом с головы до ног.

---

[1] Танцы *(франц.)*.

— Мне кажется, в вас есть французская кровь, не правда ли?

— Да, моя бабка была француженка.

— А во мне французской крови больше. Знаете ли, французы — не из тех, кто легко прощает. И они не убеждают себя верить в то, во что хотят верить.

Фрэнсис Уилмот встал, и в голосе его послышались властные нотки.

— Вы мне объясните эту фразу в вашем письме?

— Дорогой мой! Конечно, я имела в виду, что она достигла предела совершенства. Разве вы этого не засвидетельствуете?

Фрэнсис Уилмот понял, что его высмеивают. Плохо разбираясь в своих чувствах, он направился к двери.

— Прощайте,— сказал он.— Вряд ли вы когда-нибудь захотите меня видеть.

— Прощайте,— сказала Флер.

Грустный, недоумевающий, он вышел, еще острее чувствуя свое одиночество. Не было в этом городе никого, кто бы ему помог. Все здесь запутано и сложно. Люди говорят не то, что думают; а его богиня так же загадочна и причудлива, как и все остальные! Нет, еще более загадочна — ибо какое ему дело до остальных?

XI

СОМС ПОСЕЩАЕТ РЕДАКЦИЮ

Сомс, расстроенный и взволнованный, поехал на Грин-стрит к своей сестре. Беспокоило его то, что Флер нажила себе врага, пользующегося влиянием в обществе. И упрек в том, что виною всему — он сам, казался особенно несправедливым потому, что, в сущности, так оно и было.

Вечер, проведенный в обществе спокойной и рассудительной Уинифрид Дарти, и турецкий кофе, который он всегда пил с наслаждением, хотя и считал вредным для печени, несколько его успокоили, и он снова попытался взглянуть на инцидент как на бурю в стакане воды.

— Вот эта заметка в газете не дает мне покоя,— сказал он.

— Неприятная история, Сомс, но я бы не стала волноваться. Люди просматривают эти заметки и тотчас же о них забывают. Помещают их просто так — для забавы.

— Недурная забава! Эта газета пишет, что у нее не меньше миллиона читателей.

— Ведь имен нет.

— Эти политики и светские бездельники все друг друга знают,— сказал Сомс.

— Да, дорогой мой,— ласковым, успокоительным тоном заметила Уинифрид,— но теперь не принято к чему бы то ни было относиться серьезно.

Она рассуждала разумно. Успокоенный, он улегся спать.

Но с тех пор как Сомс отошел от дел, он изменился сильнее, чем предполагал. У него не было больше профессиональных забот, на которые он мог бы обратить унаследованную от Джемса способность тревожиться, и ему ничего не оставалось, как беспокоиться из-за повседневных неприятностей. Чем больше он думал об этой заметке, тем сильнее ему хотелось дружески побеседовать с редактором. Если он сможет прийти к Флер и сказать: «С этой публикой я все уладил. Больше подобных заметок не будет»,— гнев ее остынет. Если не имеешь возможности внушить людям благоприятное мнение о своей дочери, то во всяком случае можно заткнуть рот тем, кто громогласно высказывает мнение неблагоприятное.

Сомс ненавидел, когда его имя попадало в газеты, в остальном же он относился к ним терпимо. Он читал «Таймс». «Таймс» читал и его отец — Сомс с детства помнил хруст больших страниц. В «Таймсе» помещали новости, больше новостей, чем он успевал прочесть. К ее передовицам он относился с уважением; и хотя утверждал порой, что количество приложений можно бы и сократить, все же считал, что это достойная джентльмена газета. Аннет и Уинифрид читали «Морнинг пост». О других газетах Сомс имел смутное представление, заголовки в них были напечатаны слишком крупным шрифтом и страницы были словно разрезаны на куски. На прессу в целом Сомс смотрел, как всякий англичанин: она существует. У нее есть достоинства и недостатки, и— как бы то ни было — от нее не уйдешь.

На следующее утро, часов в одиннадцать, он отправился на Флит-стрит.

В редакции «Ивнинг Сан» он подал свою визитную карточку и изъявил желание повидаться с редактором. Клерк бросил взгляд на цилиндр Сомса, а затем провел посетителя по коридору в маленькую комнатку. Кто-нибудь его примет.

— Кто-нибудь? — сказал Сомс.— Мне нужен редактор.

Редактор очень занят. Не может ли Сомс зайти попозже, когда народу будет меньше?

— Нет,— сказал Сомс.

Не сообщит ли он, по какому делу пришел? Сомс отказался.

Клерк еще раз посмотрел на его цилиндр и удалился.

Через четверть часа Сомса ввели в комнату, где веселый человек в очках перелистывал альбом с газетными вырезками. Когда Сомс вошел, человек поднял глаза, взял со стола его визитную карточку и сказал:

— Мистер Сомс Форсайт? Да?

— Вы редактор? — спросил Сомс.

— Один из редакторов. Садитесь. Чем могу служить?

Сомс, желая произвести хорошее впечатление, не сел и поторопился достать из бумажника газетную вырезку.

— Во вторник вы напечатали вот это.

Редактор просмотрел заметку, казалось, просмаковал ее и спросил:

— Да?

— Будьте добры сказать мне, кто это написал.

— Мы никогда не сообщаем фамилий наших корреспондентов, сэр.

— Я-то, собственно говоря, знаю.

Редактор открыл рот, словно хотел сказать: «В таком случае, зачем же вы спрашиваете?» — но вместо этого улыбнулся.

— Видите ли,— начал Сомс,— автор этой заметки имеет в виду мою дочь, миссис Флер Монт, и ее мужа.

— Вот как? Вы осведомлены лучше, чем я. Но что вам не нравится в этой заметке? Самая безобидная болтовня.

Сомс посмотрел на него. Этот человек слишком беззаботен!

— Вы так думаете? — сухо сказал он.— А приятно вам будет, если вашу дочь назовут «предприимчивой леди»?

— Что же тут такого? Слово необидное. Кроме того, фамилия не указана.

— Значит, вы помещаете заметки с тем, чтобы никто их не понял? — насмешливо спросил Сомс.

Редактор засмеялся.

— Нет, вряд ли,— сказал он.— Но не слишком ли вы чувствительны, сэр?

Дело принимало неожиданный для Сомса оборот. Прежде чем просить редактора впредь не помещать столь обидных заметок, Сомс, видимо, должен был ему доказать, что заметка обидна; а для этого пришлось бы вскрыть всю подноготную.

— Видите ли,— сказал он,— если вы не понимаете, что тон заметки неприятен, то я не сумею вас убедить. Но я бы попросил впредь подобных заметок не помещать. Случайно я узнал, что вашей корреспонденткой руководит недоброе чувство.

Редактор снова взглянул на вырезку.

— Я бы не сказал, судя по этой заметке. Люди, занимающиеся политикой, постоянно наносят и получают удары. Они не слишком щепетильны. А эта заметка вполне безобидна.

Задетый словами «чувствительный» и «щепетильный», Сомс брюзгливо сказал:

— Все это мелочи, не заслуживающие внимания.

— Вполне с вами согласен, сэр. Всего хорошего.

И редактор снова занялся газетными вырезками.

Этот субъект—как резиновый мяч! Сомс приготовился сделать выпад.

— Если ваша корреспондентка считает, что можно безнаказанно давать выход своему сплину на страницах газет, то она не замедлит убедиться в своей ошибке.

Сомс ждал ответа. Его не последовало.

— Прощайте,— сказал он и повернулся к двери.

Свидание вышло не столь дружеское, как он рассчитывал. Ему вспомнились слова Майкла: «Пресса — цветок чувствительный». Сомс решил о своем визите не упоминать.

Два дня спустя, просматривая в «Клубе знатоков»

«Ивнинг Сан», Сомс наткнулся на слово «фоггартизм». Гм! Передовая статья.

«Из всех панацей, коими увлекаются молодые и не теряющие надежду политики, самой нелепой является та, которая именуется «фоггартизмом». Необходимо выяснить сущность этого патентованного средства, изобретенного для борьбы с так называемой национальной болезнью; сделать это нужно не откладывая, пока средство не выброшено на рынок. Рецепт дан в книге сэра Джемса Фоггарта «Опасное положение Англии», и, если следовать этому рецепту, рабочая сила Англии должна уменьшиться. Пророки фоггартизма предлагают нам рассылать во все концы империи сотни тысяч мальчиков и девочек, окончивших школы. Не говоря уже о полной невозможности втянуть их в жизнь медленно развивающихся доминионов, мы обречены терять приток рабочей силы для того, чтобы через двадцать лет спрос наших доминионов на продукты производства повысился и сравнялся с производительностью Великобритании. Более сумасбродного предложения нельзя себе представить. Рядом с этой болтовней об эмиграции—ибо «болтовня»—самое подходящее наименование для такой бьющей на сенсацию программы — проводится слабенькая пропаганда «назад к земле». Краеугольным камнем фоггартизма является следующая доктрина: в Англии заработная плата и прожиточный минимум в настоящее время столь высоки, что мы не имеем возможности конкурировать с германской продукцией или восстановить наши торговые отношения с Европой. Такая точка зрения по вопросу о нашем промышленном превосходстве над другими странами до сих пор еще в Англии не выдвигалась. Чем скорее эти дешевые болтуны, пролезшие на выборах, поймут, что английский избиратель не желает иметь дело со столь сумасшедшими теориями, тем скорее станет ясно, что фоггартизм — мертворожденный младенец».

Какое бы внимание ни уделил Сомс «Опасному положению Англии», он нимало не был повинен в пристрастии к фоггартизму. Если бы завтра теория Фоггарта была разбита, Сомс, не доверявший никаким теориям и идеям и, как истый англичанин, склонявшийся к прагматизму, констатировал бы с облегчением, что Майкл благополучно отделался от громоздкой обузы. Но сейчас

у него возникло подозрение: не сам ли он вдохновил автора этой статьи? Быть может, это был ответ веселого редактора?

Вторично приняв решение не упоминать о своем визите, он отправился обедать на Саут-сквер.

В холле он увидел незнакомую шляпу: очевидно, к обеду кто-то был приглашен. Действительно, мистер Блайт, со стаканом в руке и маслиной во рту, беседовал с Флер, свернувшейся клубочком на подушках перед камином.

— Папа, ты знаком с мистером Блайтом?

Еще один редактор! Сомс с опаской протянул руку.

Мистер Блайт проглотил маслину.

— Никакого значения эта статья не имеет,— сказал он.

— По-моему,— сказала Флер,— вы должны дать им понять, какими дураками они себя выставили.

— Майкл разделяет вашу точку зрения, миссис Монт?

— Майкл решил ни на шаг не отступать!

И все оглянулись на Майкла, входившего в комнату. Вид у него и правда был решительный.

По мнению Майкла, нужно было идти напролом, иначе вообще не стоило ничего начинать. Члены парламента должны отстаивать свои собственные убеждения, а не те, что навязывает им Флит-стрит. Если они искренне верят, что политика Фоггарта есть единственный способ борьбы с безработицей и неудержимым притоком населения в города, то эту политику они и должны проводить, невзирая на нападки прессы. Здравый смысл на их стороне, а в конечном счете победа всегда остается за здравым смыслом. Оппозиция, которую вызывает фоггартизм, основана на желании навязать тред-юнионам снижение заработной платы и удлинение рабочего дня, только никто не решается прямо это высказать. Пусть газеты изощряются, сколько им угодно. Он готов пари держать, что через шесть месяцев, когда публика свыкнется с идеей фоггартизма, они половину своих слов возьмут назад. И неожиданно он обратился к Сомсу:

— Надеюсь, сэр, вы не ходили в редакцию объясняться по поводу той заметки?

Сомс как в частной, так и в общественной жизни при-

держивался правила избегать лжи в тех случаях, когда его припирали к стене. Ложь чужда английскому духу и даже некрасива. Скосив глаза на свой нос, он медленно проговорил:

— Видите ли, я дал им понять, что фамилия этой особы мне известна.

Флер нахмурилась, мистер Блайт потянулся за соленым миндалем.

— А что я вам говорил, сэр? — воскликнул Майкл.— Последнее слово всегда останется за ними. Пресса преисполнена чувства собственного достоинства, и мозоли у нее на обеих ногах, не так ли, мистер Блайт?

Мистер Блайт внушительно произнес:

— Прессе свойственны все человеческие слабости, молодой человек. Она предпочитает критиковать, а не быть жертвой критики.

— Я думала, что впредь буду избавлена от заступничества,— ледяным тоном сказала Флер.

Разговор снова перешел на фоггартизм, но Сомс мрачно молчал. Больше он никогда не будет вмешиваться не в свое дело! И, подобно всем любящим, он задумался о своей горькой судьбе. В сущности, ведь вмешался-то он в свое дело! Ее честь, ее счастье — разве это его не касается? А она на него обиделась. После обеда Флер вышла, оставив мужчин за стаканом вина; впрочем, пил один мистер Блайт. Сомс улавливал обрывки разговора: на следующей неделе этот похожий на лягушку редактор собирался разразиться статьей в «Аванпосте». Майкл хотел при первом удобном случае выступить со своей речью. Для Сомса это были пустые слова. Когда встали из-за стола, он сказал Майклу:

— Я ухожу.

— Мы идем в палату, сэр; вы не останетесь с Флер?

— Нет,— сказал Сомс,— мне пора.

Майкл пристально на него посмотрел.

— Сейчас я ей скажу, что вы уходите.

Сомс надел пальто и уже открывал дверь, когда до него донесся запах фиалок. Голая рука обвилась вокруг его шеи. Что-то мягкое прижалось к нему сзади.

— Папа, прости, я была такой скверной.

Сомс покачал головой.

— Нет,— послышался голос Флер,— так ты не уйдешь.

Она проскользнула между ним и дверью. Ее глаза смотрели на него в упор, блестели ослепительно белые зубы.

— Скажи, что ты меня прощаешь!

— Этим всегда кончается,— отозвался Сомс.

Она коснулась губами его носа.

— Ну вот! Спокойной ночи, папочка! Знаю, что я избалована!

Сомс судорожно ее обнял, открыл дверь и, не говоря ни слова, вышел.

Под парламентскими часами газетчики что-то выкрикивали. Должно быть, политические новости, предположил Сомс. Приближается падение лейбористского правительства — какой-то редактор подставил им ножку, с них станется! Ну что ж! Одно правительство падет, будет другое! Сомсу все это казалось очень далеким. Она— она одна имела для него значение.

XII

МАЙКЛ РАЗМЫШЛЯЕТ

Когда Майкл и мистер Блайт пришли, они застали «Мать всех парламентов» в великом волнении. Либералы отказались поддержать лейбористское правительство, и оно вот-вот должно было пасть. На Парламентской площади толпились люди, смотревшие на часы и ожидавшие сенсационных событий.

— Я не пойду в палату,— сказал Майкл.— Голосования сегодня не будет. Теперь, по-видимому, один выход— роспуск палаты. Я хочу побродить и подумать.

— Стоит ненадолго зайти,— сказал мистер Блайт.

Они расстались, и Майкл побрел по улице. Вечер был тихий, и он страстно желал услышать голос своей страны. Но где можно было его услышать? Соотечественники Майкла высказывают мнения «за» и «против», рассуждают каждый о своем — здесь речь идет о подоходном налоге или о пособиях, там перечисляют имена лидеров или слышится слово «коммунизм». Но все умалчивают о

той тревоге, которую испытывает каждый. Теперь, как и предсказывала Флер, к власти придут тори. Страна ищет болеутоляющего средства — «сильного и прочного правительства». Но сможет ли это сильное и прочное правительство бороться с наследственным раком, восстановить утраченное равновесие? Сумеет ли успокоить ноющую боль, которую ощущают все, ни словом о ней не упоминая?

«Мы избалованы прошлым благополучием,— думал Майкл.— Мы ни за что не признаемся в том, что больны, и, однако, остро ощущаем свою болезнь!»

Англия с серебряной ложкой во рту! Зубов у нее уже не осталось, чтобы эту ложку удерживать, но духу не хватает расстаться с ложкой! А наши национальные добродетели —выносливость, умение все принимать с улыбкой, крепкие нервы и отсутствие фантазии? Сейчас эти добродетели граничат с пороками, ибо приводят к легкомысленной уверенности в том, что Англия сумеет как-нибудь выпутаться, не прилагая особых усилий. Но с каждым годом остается все меньше шансов оправиться от потрясения, меньше времени для упражнения в британских «добродетелях». «Тяжелы мы на подъем,— думал Майкл.— В тысяча девятьсот двадцать четвертом году это непростительно».

С этими мыслями он повернул на восток. В театрах начались спектакли. «Великий паразит», как называл Лондон сэр Джемс Фоггарт, лежал пустынный, залитый огнями. По бессонной Флит-стрит Майкл прошел в Сити, горячечный днем, мертвый ночью. Здесь все богатство Англии дремало после дневного разгула. Сюда стягивались все нити национального кредита, основанного— на чем? На сырье и продуктах питания, которых каждая новая война может лишить Англию, беззащитную против воздушного нападения; на рабочей силе, не вмещающейся в европейские масштабы. И все же пока что кредит Англии стоит высоко и всем импонирует, кроме разве тех, кто получает пособие. Обещание заплатить все еще дает Англии возможность купить все, что угодно, только не душевный покой. Майкл брел дальше, миновал Уайтчепл, еще людный и красочный, дошел до Майл-Энда. Здесь дома были ниже, словно не хотели заслонять звездное небо, к которому нет путей. Майкл как бы пе-

решел через границу. Тут обитала как будто иная раса, была другая Англия, но тоже живущая сегодняшним днем и не менее беззаботная, чем Англия Флит-стрит и Сити. О, пожалуй, еще более беззаботная! Ибо обитатели Майл-Энда знали, что не в их власти оказывать влияние на политику. Миля за милей тянулись серые улицы с низкими домами, улицы, уходившие к заброшенным полям. Но Майкл дальше не пошел; он увидел кино и завернул туда.

Сеанс давно начался. Героиня лежала, связанная, поперек седла злодея-ковбоя, скакавшего на диком мустанге. Через каждые десять секунд на экране появлялся Джон Т. Бронсон, управляющий туксонвильскими медными рудниками; он мчался в шестидесятисильном паккарде, намереваясь перерезать дорогу злодею раньше, чем тот достигнет реки Пима. Майкл наблюдал за своими соседями. Как упиваются! Сильное и прочное правительство — очень оно им нужно! Кино — вот болеутоляющее средство. Он видел, как упал мустанг, подстреленный Джоном Т. Бронсоном, а на экране появились слова: «Волосатый Пит не отступает... Она не достанется тебе, Бронсон». Здорово! Пит швыряет женщину в реку. Джон Т. Бронсон прыгает в воду, хватает героиню за волосы. Но Волосатый Пит опустился на одно колено и прицелился. Пули прорезали поверхность воды. Одна пуля прострелила плечо героине— ух, какая дырка! Это что за звук? Джон Т. Бронсон скрежещет зубами. Вот он подплыл к берегу, вытащил героиню на сушу. Достает из-под кепки револьвер. Слава богу, сухой!

«Берегись, Волосатый Пит!» Облачко дыма. Пит корчится на песке, хватает его зубами, сейчас съест! «Волосатый Пит покончил счеты с жизнью». Темп музыки замедляется. Джон Т. Бронсон поднимает очнувшуюся героиню. На берегу реки Пима они стоят обнявшись. Солнце заходит. «Наконец-то, любимая!»

«Правильно,—размышлял Майкл, выходя на залитую электрическим светом улицу.—Назад к земле! Ходите за плугом! Когда у них есть кино? Как бы не так!» Он снова повернул на запад, поднялся на империал автобуса и занял место рядом с человеком в замасленном костюме. Они ехали молча; наконец Майкл сказал:

— Как вы смотрите на политическое положение, сэр?

Человек — быть может, слесарь — ответил, не поворачивая головы:

— По-моему, они перехитрили сами себя.

— Должны были дать бой по русскому вопросу, не правда ли?

— Нет, с этим у них бы тоже не вышло. Они должны были продержаться до весны и начать борьбу за введение жесткого бюджета.

— Настоящий классовый подход?

— Да.

— И вы считаете, что классовая политика может справиться с безработицей?

Человек пожевал губами, словно обсасывал новую идею.

— Эх! Политикой я сыт по горло! Сегодня есть работа, завтра — нет; что толку в политике, если она не может дать тебе постоянной работы?

— Совершенно верно.

— Репарации,—продолжал сосед,—*нам* от этого лучше не будет. Рабочие всех стран должны сплотиться.

И он посмотрел на Майкла: как, мол, тебе это понравится.

— А вы не подумываете о том, чтобы эмигрировать в доминионы?

Тот покачал головой.

— Не очень-то мне нравятся те, что приезжают из Австралии и Канады.

— Следовательно, вы заядлый англичанин, как и я.

— Верно!— сказал сосед.— Прощайте, мистер!— И он вышел.

Майкл ехал, пока автобус не остановился под Большим Бэном. Было около полуночи. Опять выборы! Удастся ли ему пройти вторично, не заявляя о своих подлинных убеждениях? Нет ни малейшей надежды за три недели растолковать сельским избирателям сущность фогартизма. Даже если он начнет говорить сейчас и не замолчит до самых выборов, они поймут только, что он держится очень крайних взглядов по вопросу об имперских преференциях, что, кстати, близко к истине. Не может он заявить, что Англия идет по неверному пути,— тогда вообще лучше снять свою кандидатуру. Не может он пой-

ти к рядовому избирателю и сказать ему: «Послушайте, нечего надеяться на то, что в течение следующих десяти лет условия жизни значительно улучшатся; сейчас мы должны терпеть, за все переплачивать для того, чтобы через двадцать лет Англия могла сама себя прокормить и не жить под угрозой голодной смерти». Разве можно говорить такие вещи! И не может он заявить своему комитету: «Друзья мои, политическая платформа, на которой я стою, других сторонников пока не имеет».

Нет! Если избираться снова, нужно забыть о личных мнениях. Но стоит ли избираться снова? Трудно было найти человека менее тщеславного, чем Майкл; он понимал, что он «легковес». Но этого конька он оседлал прочно; чем дальше, тем громче ржал конек, тем больше это ржание напоминало глас вопиющего в пустыне, а пустыней была Англия. Заглушить это ржание; изменить Блайту; махнуть рукой на свои убеждения и все-таки остаться в парламенте — этого он не мог. Словно вернулось время войны. Затянуло, а выхода нет. А его затянуло, засосало глубже поверхностных интересов межпартийной борьбы. Фоггартизм стремится к практическому разрешению самых больных для Англии вопросов — впереди независимая, уравновешенная империя; Англия, обеспеченная от воздушных нападений и свободная от безработицы, вновь обретенное правильное соотношение между городом и деревней. Неужели все это пустые мечты? Похоже, что так. «Ну что ж,— подумал Майкл, открывая свою дверь,— пусть считают меня дураком, я со своих позиций не сдвинусь». Он поднялся к себе, открыл окно и выглянул на улицу.

Великий город все еще гудел; в небе отражались миллионы огней. Виден был какой-то шпиль и несколько звезд; неподвижно застыли деревья в сквере. Тихая, безветренная ночь. Майкл вспомнил далекий вечер, когда Лондон выдержал последний налет цеппелинов. Три часа просидел тогда выздоравливающий Майкл у окна госпиталя.

«Какие мы все дураки, что не отказываемся от воздушной войны! — подумал он.— Но раз уж мы не отказываемся от нее, необходимо создать мощный воздушный флот. Мы должны обезопасить себя от воздушных нападений. Умный человек — и тот это поймет!»

Под окном остановились двое; одного он знал — это был его сосед.

— Вот увидите,—сказал сосед,—эти выборы не останутся без последствий.

— Да что от них толку, от последствий? — сказал другой.

— Не надо вмешиваться; все сделается само собой. Надоела мне вся эта болтовня. Уменьшат подоходный налог на шиллинг — вот тогда посмотрим.

— А что делать с земельной проблемой?

— А, к черту землю! Оставьте ее в покое, фермерам только того и нужно. Чем больше вмешиваешься в эти дела, тем хуже.

— Махнуть на все рукой?

Сосед засмеялся.

— Да, вроде того. А что можно сделать? Стране все это не нужно. Спокойной ночи!

Слышно было, как закрылась дверь, как удалялись шаги. Проехал автомобиль. Ночная бабочка коснулась щеки Майкла. «Стране все это не нужно!» Политика! Зевают до одури, пожимают плечами, полагаются на случай. А что же и делать? Ведь «стране все это не нужно!» И Большой Бэн пробил двенадцать.

XIII

ДЕЛО ЗАТЕВАЕТСЯ

В каждом человеческом улье можно найти людей, как бы предназначенных служить объектом пересудов,— может быть, потому, что вся жизнь их проходит по особо изогнутой кривой. К таким людям принадлежала Марджори Феррар. Что бы с ней ни случилось, об этом немедленно начинали говорить в том кругу занятых и праздных людей, который называется обществом. Слух о том, что ее выгнали из салона, распространился быстро, и всем были известны письма, написанные Флер. На вопрос, почему ее изгнали, отвечали по-разному—и правду и неправду; по одной из легендарных версий выходило, что она пыталась отбить Майкла у его супруги.

Сколь сложны причины большинства судебных про-

цессов! Быть может, Сомс, говоривший об инциденте как о «буре в стакане воды», оказался бы прав, если бы лорд Чарлз Феррар не запутался в долгах до такой степени, что вынужден был лишить свою дочь ежемесячно выдававшейся ей суммы, и еще если бы сэр Александр Мак-Гаун, депутат от одного из шотландских городов, в течение некоторого времени не добивался руки Марджори Феррар. Состояние, нажитое торговлей джутом, известность в парламентских кругах, мужественная внешность и решительный характер повысили шансы сэра Александра за целый год не больше, чем то сделало в один вечер это финансовое мероприятие лорда Чарлза Феррара. Правда, его дочь была из тех, кто всегда в критический момент может раздобыть денег, но даже у таких людей бывают минуты, когда им приходится серьезно об этом подумать. Соответственно своему полу и возрасту, Марджори Феррар запуталась в долгах не меньше, чем ее отец. И отказ в пособии явился последней каплей. В минуту уныния она приняла предложение сэра Александра с тем условием, чтобы помолвки не оглашали. Когда распространился слух о скандале, происшедшем в доме Флер, сэр Александр, пылая гневом, явился к своей нареченной. Чем он может помочь?

— Конечно, ничем. Не глупите, Алек! Не все ли равно?

— Но это чудовищно! Разрешите мне пойти к этому старому негодяю и потребовать, чтобы он принес извинение.

— Отец был у него, он и слышать ничего не хочет. Подбородок у старика такой, что на него можно повесить чайник.

— Послушайте, Марджори, разрешите мне огласить нашу помолвку, и тогда я начну действовать. Я не желаю, чтобы эта сплетня распространилась.

Марджори Феррар покачала головой.

— Нет, дорогой мой! Вы все еще находитесь на испытании. А на сплетни я не обращаю внимания.

— А я обращаю и завтра же пойду к этому субъекту.

Марджори Феррар пристально всматривалась в его лицо: у него были карие сверкающие глаза, сильно развитая нижняя челюсть и жесткие черные волосы. Она слегка вздрогнула и сказала:

— Этого вы не сделаете, Алек, иначе вы все испортите. Отец хочет, чтобы я подала в суд. Он говорит, что мы получим хорошую компенсацию.

Мак-Гаун-шотландец возрадовался. Мак-Гаун-влюбленный страдал.

— Пожалуй, но вся история принесет вам много неприятностей,— пробормотал он,— если эта скотина не пойдет на ваши условия до суда.

— Э нет! На мои условия он пойдет. Все его свидетели у меня в руках.

Мак-Гаун схватил ее за плечи и страстно поцеловал.

— Если он заупрямится, я ему все кости переломаю.

— Дорогой мой! Да ведь ему под семьдесят.

— Гм! Но, кажется, в это дело замешан человек помоложе?

— Кто, Майкл? О, Майкл — прелесть! Я не хочу, чтобы вы ему ломали кости.

— Вот как! — сказал Мак-Гаун.— Подождем, пока он выступит с речью об этом идиотском фоггартизме. Вот тогда я его съем!

— Бедняжка Майкл!

— Мне говорили еще о каком-то молодом американце?

— О, это перелетная птица,— сказала Марджори Феррар, высвобождаясь из его объятий.— О нем и думать не стоит.

— Адвокат у вас есть?

— Нет еще.

— Я вам пришлю своего. Он их заставит поплясать.

После его ухода она задумалась, правилен ли ее ход. О, если бы не это безденежье! За месяц со дня тайной помолвки она узнала, что в Шотландии, как и в Англии, руководствуются правилом: «Даром ничего, а за шесть пенсов самую малость». Мак-Гаун требовал от нее много поцелуев, а ей подарил одну драгоценную безделушку, которую она все же не решалась заложить. Похоже было на то, что в конце концов придется ей выйти за него замуж. Этот брак мог иметь и хорошую сторону: Мак-Гаун был настоящим мужчиной, а ее отец позаботится о том, чтобы в отношениях с ней он был столь же либерален, как в своих политических выступлениях. Пожалуй, с таким мужем ей даже легче будет прово-

дить свой лозунг: «Живи и рискуй!» Отдыхая на кушетке, она думала о Фрэнсисе Уилмоте. Как муж он никуда не годен, но как любовник мог бы быть очарователен — наивный, свежий, нелепо преданный; в Лондоне его никто не знал; ей нравились его темные глаза, милая улыбка, стройная фигура. Он был слишком старомоден и уже дал ей понять, что хочет на ней жениться. Какой ребенок! Но сейчас он для нее недоступная роскошь. Позднее — как знать? В мыслях она уже «жила и рисковала» с Фрэнсисом Уилмотом. А пока—эта морока с процессом!

Она старалась отделаться от этих мыслей, велела оседлать лошадь, переоделась и поехала в Хайд-парк. Вернувшись домой, снова переоделась и отправилась в отель «Космополис», где танцевала со своим бесстрастным партнером и с Фрэнсисом Уилмотом. После этого еще раз переоделась, поехала в театр на премьеру, после театра ужинала с компанией актеров и спать легла в два часа.

Подобно большинству женщин, Марджори Феррар далеко не оправдывала своей репутации. Когда проповедуешь снисхождение, доверчивые люди и к тебе относятся снисходительно. Правда, любовные интриги у нее бывали, но границу она переступила только дважды; опиум курила только один раз, после чего ее тошнило; кокаин нюхала только для того, чтобы узнать, что это такое. Играла очень осторожно — и только на скачках; пила умеренно и никогда не пьянела. Конечно, она курила, но самые легкие папиросы и всегда с мундштуком. Она умела танцевать не совсем скромные танцы, но делала это лишь в исключительных случаях. Барьеры брала очень редко, и то только на лошадях, в которых была уверена. Чтобы не отставать от века, она читала, конечно, все сенсационные новинки, но особых стараний раздобыть их не прилагала. На аэроплане летала, но не дальше Парижа. Она прекрасно управляла автомобилем и любила быструю езду, но никогда не подвергала себя опасности и обычно щадила пешеходов. Ее здоровью можно было позавидовать, и она втихомолку заботилась о нем. Ложась спать, засыпала через десять минут; спала днем, если не имела возможности выспаться ночью. Она интересовалась одним из передовых театров и иногда высту-

пала на сцене. Ее томик стихов удостоился одобрительного отзыва, потому что написан был представительницей класса, который считается чуждым поэзии. В сущности, в ее стихах не было ничего оригинального, кроме неправильного размера. В обществе находили, что она слишком хорошо помнит свой символ веры: «Хватай жизнь обеими руками и, не задумываясь, вкушай!»

Вот почему явившийся на следующее утро адвокат сэра Александра Мак-Гауна пристально всматривался в ее лицо, сидя на кончике стула у нее в студии. Ее репутацию он знал лучше, чем сэр Александр. Мистеры Сэтлуайт и Старк предпочитали выигрывать дела, за которые брались. Выдержит ли обстрел эта молодая и привлекательная леди, пользующаяся такой известностью? Что касается платы, то сэр Александр дал гарантию, а слово «предательница» для начала неплохо, но в такого рода делах трудно предсказать, за кем останется победа. Наружность ее произвела на мистера Сэтлуайта благоприятное впечатление. Скандала в суде она, по-видимому, не устроит; и в лице у нее нет, как он того боялся, ничего от Обри Бердсли, что так не любят присяжные. Нет! Эффектная молодая женщина, голубоглазая, цвет волос достаточно модный. Если ее версия удовлетворительна, все пойдет хорошо.

Марджори Феррар, в свою очередь, разглядывала адвоката; ей казалось, что этот человек сумеет избавить ее от хлопот. У него было длинное лицо, серые, глубоко посаженные глаза, оттененные темными ресницами, густые волосы; для своих шестидесяти лет он хорошо сохранился и одет был прекрасно.

— Что вы хотите знать, мистер Сэтлуайт?

— Правду.

— Ну конечно! Видите ли, я говорила мистеру Куинси, что миссис Монт горит желанием создать «салон», но для этого ей кое-чего не хватает, а старик, который меня подслушал, принял мои слова за оскорбление...

— И все?

— Может быть, я сказала, что ей нравится коллекционировать знаменитостей; и это верно.

— Так; но почему он вас назвал предательницей?

— Должно быть, потому, что она его дочь и хозяйка дома.

— А мистер Куинси подтвердит ваши слова?

— Филип Куинси? Ну конечно. Он у меня в руках.

— Больше никто не слышал, что вы о ней говорили?

Она секунду молчала.

— Нет.

«Ложь номер первый!» —подумал мистер Сэтлуайт и саркастически-ласково усмехнулся.

— А этот молодой американец?

Марджори засмеялась.

— Во всяком случае, он будет молчать.

— Поклонник?

— Нет. Он уезжает в Америку.

«Ложь номер второй,—подумал Сэтлуайт.—Но лжет она мастерски».

— Итак, вы хотите получить извинение в письменной форме, чтобы показать его всем, кто был свидетелем нанесенного вам оскорбления; а затем — мы можем потребовать и денег?

— Да, чем больше, тем лучше.

«Вот сейчас она говорит правду!» — подумал мистер Сэтлуайт.

— Вы нуждаетесь в деньгах?

— О да!

— Вы не хотите доводить дело до суда?

— Не хочу; хотя, пожалуй, это было бы забавно.

Мистер Сэтлуайт опять улыбнулся.

— Это смотря по тому, сколько у вас за душой тайных преступлений.

Марджори Феррар тоже улыбнулась.

— Я вам все поведаю,— сказала она.

— Ну что вы, что вы! Следовательно, мы начнем действовать и посмотрим, что он предпримет. Он человек со средствами и юрист.

— Мне кажется, он пойдет на все — только бы не трепали на суде имя его дочери.

— Да,— сухо отозвался мистер Сэтлуайт,— так и я бы поступил на его месте.

— Вы знаете, она и правда выскочка.

— А! Вы не сказали случайно этого слова в разговоре с мистером Куинси?

— Н-ет, не сказала.

«Ложь номер третий! — подумал мистер Сэтлуайт.— И на этот раз шитая белыми нитками».

— Вы совершенно уверены?

— Не совсем.

— А он утверждает, что вы это сказали?

— Я его назвала лжецом.

— Вот как? И вас слышали?

— О да!

— Это может оказаться очень серьезным.

— Вряд ли он заявит на суде, что я назвала ее выскочкой.

— Это очень не глупо, мисс Феррар,— сказал мистер Сэтлуайт.— Думаю, что мы с этим делом справимся.

И, напоследок взглянув на нее из-под длинных ресниц, он направился к двери. Три дня спустя Сомс получил официальное письмо. От Сомса требовали формального извинения, и письмо заканчивалось словами: «В случае отказа дело будет передано в суд». За всю свою жизнь Сомс дважды обращался в суд: один раз — по делу о нарушении контракта, другой раз — по поводу развода. А сейчас его привлекают за дифамацию! Сам он всегда считал себя пострадавшей стороной. Конечно, он не намерен был извиняться. Теперь, когда ему угрожали, он почувствовал себя гораздо спокойнее. Стыдиться ему нечего. Завтра же он готов еще раз назвать «рыжую кошку» предательницей и, в случае необходимости, заплатить за это удовольствие. Он перенесся мыслью в начало восьмидесятых годов, когда сам он, начинающий адвокат, выступал по делу своего дяди Суизина против другого члена «Уолпол-Клуба». Суизин на людях обозвал его «плюгавым церковником, торгашом и ничтожеством». Сомс вспомнил, как он свел оскорбление к «ничтожеству», доказав, что рост истца — пять футов четыре дюйма, что к церкви он действительно имеет отношение и любит собирать по подписке деньги на трусики для дикарей островов Фиджи. «Ничтожество» присяжные оценили в десять фунтов, и Сомс всегда утверждал, что решающую роль в этом сыграли трусики. Королевский адвокат Бобстэй очень удачно ими оперировал. Да, теперь таких адвокатов, как при Виктории, не осталось. Бобстэй живо изничтожил бы «кошку». После суда дядя Суизин пригласил его обедать и угощал йоркской ветчи-

ной под соусом из мадеры и своим любимым шампанским. Он всех так угощал. Ну, надо надеяться, что и сейчас есть адвокаты, которые сумеют погубить репутацию, особенно если она безупречна. При желании дело можно будет уладить в последний момент. А Флер, во всяком случае, останется в стороне — нет необходимости привлекать ее в качестве свидетельницы.

Он был как громом поражен, когда неделю спустя Майкл позвонил ему по телефону в Мейплдерхем и сообщил, что на имя Флер через адвоката пришла повестка. Обвинение — дифамация в письмах, содержащих, между прочим, такие выражения: «змея» и «какие бы то ни было моральные побуждения ей чужды».

Сомс похолодел.

— Говорил я вам: следите, чтобы она не оскорбляла эту женщину!

— Знаю, сэр, но она со мной не советуется, когда пишет письмо кому-нибудь из своих друзей.

— Нечего сказать — друзья! — сказал Сомс.— Вот положение!

— Да, сэр. Я очень беспокоюсь. Она решила бороться. Слышать не хочет об извинении.

Сомс заворчал так громко, что у Майкла за сорок миль зазвенело в ухе.

— Что же теперь делать?

— Предоставьте это мне,— сказал Сомс.— Сегодня вечером я к вам приеду. Может ли Флер привести доказательства в подтверждение этих слов?

— Она считает...

— Нет! — неожиданно оборвал Сомс.— По телефону не говорите!

Он повесил трубку и вышел в сад. Женщины! Изнеженные, избалованные, воображают, что могут говорить все, что им вздумается! И действительно говорят, пока их не проучит другая женщина. Он остановился неподалеку от пристани и стал смотреть на реку. Вода была прозрачная, чистая; река течет туда, в Лондон, и там воды ее становятся грязными. А его ждет в Лондоне это неприятное, грязное дело. Теперь ему придется собирать улики против этой Феррар и запугать ее. Отвратительно! Но ничего не поделаешь, нельзя допускать, чтобы Флер впутали в судебный процесс. Эти великосветские про-

цессы — ничего они не приносят, кроме обид и унижения. Как на войне — можно победить и потом сожалеть о победе или проиграть и сожалеть еще сильнее. А все — плохой характер и зависть.

Был тихий осенний день, в воздухе пахло дымом от сухих листьев, которые садовник сгреб в кучу и поджег, и Сомс начал резонерствовать. Только что собрался зять работать в парламенте и создать имя своему сыну, а Флер остепенилась и начала завоевывать себе положение в обществе, как вдруг разразился этот скандал, и теперь все светские болтуны и насмешники на них ополчатся. Он посмотрел на свою тень, нелепо протянувшуюся по берегу к воде, словно ей хотелось пить. Как подумаешь — все кругом нелепо. В обществе, в Англии, в Европе — тени дерутся, расползаются, скалят зубы, машут руками: весь мир топчется на месте в ожидании нового потопа. Н-да! Он сделал несколько шагов к реке, и тень опередила его и окунулась в воду. Так и все они свалятся в холодную воду, если вовремя не перестанут ссориться. Он резко свернул в сторону и вошел в огород. Здесь все было реально, все созрело, торчали сухие стебли. Как же раскопать прошлое этой женщины? Где оно? Так легкомысленна эта современная молодежь! У всех у них, конечно, есть прошлое; но важно одно: найти конкретный определенно безнравственный поступок, а такого может в конце концов и не оказаться. Люди всегда избегают приводить конкретные доказательства. Это и рискованно и как будто неудобно. Всё сплетни, больше ничего.

И, прогуливаясь среди артишоков, с одобрением думая о людях скрытных и с неодобрением о тех, кто хочет вызвать их на сплетни, Сомс мрачно решил, что без сплетен не обойтись. Костер из листьев догорал, остро пахло артишоками, солнце зашло за высокую стену из выветрившегося за полвека кирпича; покой и холод царили везде, только не в сердце Сомса. Он часто, утром или вечером, заглядывал в огород — овощи были реальны, просты, их можно было съесть за обедом. Свои овощи были вкуснее покупных и дешевле — никаких спекулянтов-посредников. Может быть, играл тут роль и атавизм, ведь его прадед, отец «Гордого Доссета» был последним в длинной цепи Форсайтов-земледельцев. С годами овощи

все больше интересовали Сомса. Когда Флер была совсем крошкой, он, вернувшись из Сити, нередко находил ее среди кустов черной смородины, где она возилась с куклой. Один раз в волосах у нее запуталась пчела и ужалила его, когда он стал ее вытаскивать. То были самые счастливые его годы, пока она не выросла, не окунулась в светскую жизнь, не начала дружить с женщинами, которые ее оскорбляют. Значит, она не желает приносить извинения? Ну что ж, она ни в чем не виновата. Но быть правой и идти в суд — значит пережить мучительное испытание. Суды существуют для того, чтобы карать невиновных, будь то за развод, или за нарушение слова, или за клевету. Виновные уезжают на юг Франции или не являются по вызову в суд, предоставляя вам платить издержки. Разве не пришлось ему платить, когда он подавал в суд на Босини? И где, как не в Италии, были молодой Джолион и Ирэн, когда он вел дело о разводе? И тем не менее он не мог себе представить, чтобы Флер унизилась перед этой «рыжей кошкой». Сгущались сумерки, и решимость Сомса крепла. Нужно раздобыть улики, которые запугают эту особу и заставят ее отказаться от судебного процесса. Другого выхода нет!

XIV

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

По не вполне понятным причинам зловредный редактор действительно «подставил ножку» правительству, и Майкл засел писать обращение к избирателям. Как сказать много и скрыть самое главное?

«Избиратели Мид-Бэкса,— решительно написал он, а затем долго сидел не двигаясь, как человек, слишком плотно пообедавший.— Если вы снова обратитесь ко мне как к своему представителю,— медленно писал он,— я приложу все силы, чтобы послужить на пользу страны. В первую очередь я считаю необходимым следующее: сокращение вооружений, а в худшем случае — увеличение воздушного флота в целях защиты Англии; развитие земледелия; ликвидацию безработицы путем эмиграции в доминионы; борьбу с дымом и уничтожение трущоб как

меры здравоохранения. В случае моего избрания я буду преследовать свои цели решительно и неуклонно, не пороча, однако, тех, кто моих убеждений не разделяет. На наших митингах я постараюсь дать вам более ясное представление о моей платформе и сочту своим долгом ответить на все вопросы».

Можно ли этим ограничиться? Можно ли в обращении к избирателям не порочить противников, не превозносить самого себя? Как посмотрит на это комитет? Что скажут избиратели? Ну что ж! Если комитет останется недоволен, пускай вышвырнет обращение, а вместе с ним и его, Майкла! Впрочем, у них нет времени искать другого кандидата.

Комитет действительно остался недоволен, но примирился, и обращение вместе с портретом Майкла было отпечатано и распространено среди избирателей. Майкл утверждал, что он на этом снимке похож на парикмахера.

А затем его затянула ссора, которая, как и всякая ссора, началась с общего, а кончилась личностями.

Во время первого своего воскресного отдыха в Липпингхолле Майкл стал осуществлять идею о птичьем дворе: распланировал участок, обсудил, как провести воду. Управляющий хмурился. По его мнению, то была ненужная трата денег. Кто будет обучать эту публику? У него, во всяком случае, нет на это времени. Тут пахнет сотнями, а толку не будет.

— Нечего горожанам браться за сельское хозяйство, мистер Майкл.

— Все так говорят. Но послушайте, Тэтфилд, эти люди — безработные; из них двое были на войне. Я рассчитываю на вашу помощь. Вы сами говорите, что этот участок годится для разведения кур, а сейчас им все равно никто не пользуется. Поручите Баумену руководить этой тройкой, пока они не ознакомятся с делом. Подумайте, каково бы вам жилось, если бы вы сами были безработным.

Управляющий знал Майкла с пеленок и питал к нему слабость. Он предвидел, каковы будут результаты, но если мистеру Майклу угодно тратить отцовские денежки, то его — Тэтфилда — это не касается. Он даже вспомнил, что знает поблизости одного паренька, кото-

рый продает свой домишко, и что в роще дров «хоть отбавляй».

Во вторник на следующей неделе после падения правительства Майкл приехал в город и предложил своим безработным явиться в среду к трем часам на совещание. Они пришли в назначенный час и уселись вокруг обеденного стола, а Майкл, стоя под картиной Гойи, словно генерал, развертывающий план кампании, изложил свое предложение. По лицам этих людей трудно было угадать, какое впечатление произвели его слова. Один только Бергфелд раньше слышал об этом плане, но вид у актера был очень неуверенный.

— Я понятия не имею, как вы посмотрите на мое предложение,— продолжал Майкл,— но все вы нуждаетесь в работе. Двое ищут работы на свежем воздухе, а вы, Боддик, насколько мне известно, готовы взяться за что угодно.

— Правильно, сэр,— ответил Боддик.— Я на все согласен.

Майкл тотчас же отметил его как самого надежного из тройки.

Другие двое молчали. Наконец Бергфелд сказал:

— Если бы у меня были мои сбережения...

Майкл поспешил его перебить:

— Я вкладываю капитал, это мой взнос, а вы вносите свой труд. Вряд ли будут какие-нибудь барыши, но на жизнь хватит. Ваше мнение, мистер Суэн?

Парикмахер, в теплом свете испанской комнаты более чем когда-либо похожий на призрак, улыбнулся.

— Вы очень добры, сэр. Я готов попробовать, но— кто у нас будет главным?

— Это кооперативное товарищество, мистер Суэн.

— А, я так и думал,— протянул парикмахер.— Но в таких случаях дело всегда кончается тем, что кто-нибудь забирает все в свои руки и выбрасывает остальных.

— Отлично,— неожиданно решил Майкл,— я сам буду главным. Но если вам это дело не улыбается, скажите сейчас же; в противном случае я распоряжусь о постройке дома, и через месяц вы переселяетесь.

Боддик поднялся и заявил:

— Я согласен, сэр. А как быть с детьми?

— Сколько им лет, Боддик?

— Две девочки, четырех и пяти лет.

— Ах, да! — Майкл об этом забыл.— Мы что-нибудь для них придумаем.

Боддик пожал Майклу руку и вышел. Другие двое замешкались.

— Прощайте, мистер Бергфелд; прощайте, мистер Суэн!

— Не могу ли я...

— Разрешите сказать вам два слова?

— Вы можете говорить в присутствии друг друга.

— Сэр, я привык к своему ремеслу. Стрижка, бритье.

— Ну, мы вам раздобудем такую породу кур, которых можно стричь,— сказал Майкл.

Парикмахер криво усмехнулся и заметил:

— Нищим выбирать не приходится.

— А я хотел вас спросить, какой системе мы будем следовать? — осведомился Бергфелд.

— Об этом мы подумаем. Вот две книги по птицеводству для вас и мистера Суэна, потом поменяетесь.

Майкл заметил, что Бергфелд взял обе книги, а Суэн не стал протестовать.

Проводив их, он выглянул на улицу и посмотрел им вслед, размышляя: «Ничего из этого не выйдет, но все-таки пусть попробуют».

К нему подошел какой-то молодой человек.

— Мистер Майкл Монт, член парламента?

— Да.

— Миссис Майкл Монт дома?

— Кажется, дома. Что вам нужно?

— Я должен передать лично ей.

— Вы от кого?

— От Сэтлуайта и Старка.

— Портные?

Молодой человек улыбнулся.

— Входите,— сказал Майкл.— Я узнаю, дома ли она.

Флер была в гостиной.

— Дорогая, к тебе пришел какой-то молодой человек от портного.

— Миссис Майкл Монт? Вам повестка по делу Фер-

рар против Монт; дело о дифамации. Всего хорошего, мэм.

В этот промежуток времени, от четырех до восьми, когда из Мейплдерхема приехал Сомс, Майкл страдал сильнее, чем Флер. Жуткая перспектива: сидеть в суде и наблюдать, как законники по всем правилам юридической науки пытают твою жену! Его нисколько не утешало, что Марджори Феррар также будет фигурировать на суде и ее личная жизнь сделается достоянием общества. Вот почему он был огорчен, когда Флер заявила:

— Отлично! Если она хочет огласки, пусть будет так! Я знаю, что в ноябре прошлого года она летала в Париж с Уолтером Нэйзингом; и мне все говорили, что она целый год была любовницей Бэрти Кэрфью.

Великосветский процесс — сливки для светских кошек, навоз для навозных мух, а Флер — центральная фигура процесса! Майкл с нетерпением ждал Сомса. Хотя кашу заварил «Старый Форсайт», но теперь Майкл у него искал помощи. У старика есть опыт, здравый смысл и подбородок; старик скажет, как нужно действовать. Поглядывая на единственный кусок обоев, не закрытый карикатурами, Майкл думал о том, как жестока жизнь. За обедом ему предстоит есть омара, которого сварили заживо. Вот этот его кабинет убирает поденщица, у которой мать умирает от рака, а сын лишился ноги на войне, и вид у нее всегда такой усталый, что от одной мысли о ней делается не по себе. Бесчисленные Бергфелды, Суэны, Боддики; городские трущобы, Франция, опустошенная войной, нищие итальянские деревушки! И надо всем этим тонкая корка высшего общества. Члены парламента и светские женщины, как сам он и Флер, любезно улыбаются и сосут серебряные ложки, а время от времени, забыв и ложки и улыбки, вцепляются друг в друга и дерутся не на жизнь, а на смерть.

«Какие она может привести доказательства в подтверждение этих слов?» Майкл напрягал память. По его мнению, перелету Уолтера Нэйзинга и Марджори Феррар в Париж не следовало придавать значения. В наше время парочки могут еще летать безнаказанно. А что там между ними было потом, в этом европейском Вавилоне,— поди докажи! Иначе обстояло дело с Бэрти Кэрфью. Нет дыма без огня, а дымом пахло в течение це-

лого года. Майкл знал Бэрти Кэрфью, предприимчивого директора театрального общества «Nec plus ultra»[1]. Это был длинный молодой человек с длинными глянцевитыми волосами, которые он со лба зачесывал назад, и с длинной биографией; своеобразная смесь энтузиазма и скепсиса с неожиданными переходами от одного к другому. За его сестру, которую он называл «Бедная Нора», Майкл отдал бы десяток таких, как Бэрти. Она заведовала детским приютом в Бетнел-Грин, и от одного ее взгляда живо замолкали все злые и трусливые языки.

Большой Бэн пробил восемь, залаял Дэнди, и Майкл догадался, что пришел Сомс.

За обедом Сомс молчал, и только когда подали бутылку липпингхоллской мадеры, попросил, чтобы ему показали повестку.

Когда Флер ее принесла, он словно погрузился в транс. «О своем прошлом задумался,— решил Майкл.— Хоть бы очнулся поскорее».

— Ну, папа? — окликнула его наконец Флер.

Сомс поднял глаза и посмотрел на дочь.

— От своих слов ты, полагаю, не откажешься?

Флер тряхнула головой.

— А ты хочешь, чтобы я отказалась?

— Чем ты можешь их подкрепить? Мало того, что кто-то тебе сказал, это не доказательство.

— Я знаю, что Эмебел Нэйзинг была здесь и сказала, что ей все равно, пусть Уолтер летит в Париж с Марджори Феррар, но почему ее заранее не предупредили? Тогда она бы тоже могла с кем-нибудь удрать в Париж.

— Мы можем вызвать ее в качестве свидетельницы,— сказал Сомс.

Флер покачала головой.

— На суде она ни за что не выдаст Уолтера.

— Гм! Что ты еще скажешь о мисс Феррар?

— Все знают об ее связи с Бэрти Кэрфью.

— Да,— вмешался Майкл,— но между «все знают» и «такой-то сказал» зияет пропасть.

Сомс кивнул.

---

[1] «Дальше некуда» *(лат.)*.

— Она просто хочет выманить у нас деньги! — воскликнула Флер.— Она всегда нуждается. Да разве ей есть дело до того, считают ли ее люди нравственной или безнравственной! Она не признает морали; в ее кружке все презирают мораль.

— Ага! Ее точка зрения на мораль! — веско сказал Сомс. Мысленно он уже слышал, как адвокат излагает присяжным современную точку зрения на нравственность.— В подробности ее личной жизни, быть может, и не придется вдаваться.

Майкл встрепенулся.

— Честное слово, сэр, это блестящая мысль! Если мы заставим ее признаться, что она читала некоторые — определенного характера — книги, играла в некоторых пьесах, показывалась в не весьма скромных костюмах...

Он откинулся на спинку стула. А что, если те же вопросы зададут Флер? Ведь мода требует сейчас многого, будь ты в душе хоть трижды нравственна! Кто в наше время признает себя шокированным?

— Ну?— сказал Сомс.

— Видите ли, сэр, у каждого свои взгляды. Наша точка зрения не обязательна для судьи и присяжных. Пожалуй, и мы с вами по-разному смотрим на вещи.

Сомс взглянул на дочь. Он понял: распущенная болтовня, желание следовать моде, развращающее влияние знакомых! Но все же ни один присяжный не сможет перед ней устоять. Кроме того, она мать, а та — нет; а если мать, то тем хуже. Нет, он решил не отказываться от своего плана. Искусный адвокат сумеет свести все дело к разоблачению легкомысленного кружка и современных взглядов на нравственность и обойти молчанием личную жизнь этой женщины.

— Запишите мне фамилии ее знакомых, названия книг, танцевальных клубов и так далее,— сказал он.— Мы пригласим лучшего адвоката.

Это совещание несколько успокоило Майкла. Вся история будет менее отвратительной, если удастся от частного перейти к общему и, вместо того, чтобы разбирать поведение Марджори Феррар, повести атаку на ее теории. Сомс увлек Майкла в холл.

— Я хочу иметь все сведения о ней и об этом молодом человеке.

У Майкла физиономия вытянулась.

— Ничем не могу помочь, сэр; я ничего не знаю.

— Нужно ее запугать,— сказал Сомс.— Если это удастся, я, быть может, улажу дело до суда, не принося никаких извинений.

— Понимаю, но вы не используете этих сведений на суде?

Сомс кивнул.

— Я им дам понять, что нас оправдают. Скажите мне адрес этого молодого человека.

— Макбет-Чэмберс, Блумсбери. Недалеко от Британского музея. Но помните, сэр: если на суде будут мыть грязное белье Марджори Феррар, то нам это повредит не меньше, чем ей.

Снова Сомс кивнул.

Когда Флер и Сомс пошли наверх, Майкл закурил папиросу и вернулся в гостиную. Он открыл клавикорды. Звук у них был очень слабый — можно было побренчать, не опасаясь разбудить одиннадцатого баронета. От примитивной испанской мелодии, подобранной им три года назад, во время свадебного путешествия, он перешел на песенку американских негров: «У меня венец, у тебя венец — у всех божьих деток райский венец. Не всякого, кто хочет, пустят в рай. У всех божьих деток венец».

Со стен на него поблескивали хрустальные канделябры. Мальчиком он любил цветные стекла люстр в гостиной тети Памелы на Брук-стрит, но когда подрос, стал смеяться над ними, как все. А теперь люстры опять вошли в моду, а тетя Памела умерла! «У нее венец — у него венец». Вот проклятая мелодия! «Auprès de ma blonde il fait bon — fait bon — fait bon. Auprès de ma blonde il fait bon dormir» [1].

Его «милая», наверное, уже легла. Пора идти! Но пальцы все наигрывали что-то, а мысли безвольно ходили по кругу — куры и политика, «Старый Форсайт», Флер, фоггартизм и Марджори Феррар — так крутится человек, попавший в водоворот, когда вода вот-вот покроет его с головой. Кто это сказал, что для современ-

[1] «Рядом с моей милой хорошо уснуть» — одна из самых популярных французских песенок во время войны 1914—1918 годов.

ного человека единственное спасение — обновить свое сердце; родиться заново, с верой, что жить стоит, что есть и лучшая жизнь? Религия? Ну нет, с этим покончено. Человечество должно спасаться собственными силами. Спасаться — а что это, как не проявление «воли к жизни»? А воля к жизни, так же ли она сильна сейчас, как раньше? Вот в чем вопрос. Майкл перестал играть и прислушался к тишине. Даже часы не тикают — зачем помнить о времени в модной гостиной; а за окнами спит Англия. Сохранила ли Англия свою волю к жизни; или все они так избалованы, так впечатлительны, что дали ей ослабнуть? Может быть, они так долго сосали серебряную ложку, что, убоявшись деревянной, предпочитают просто встать из-за стола? «Не верю я этому,— подумал Майкл,— не верю. Только куда мы идем? Куда иду я? Куда идут все божьи детки?» Скорей всего спать.

И Большой Бэн пробил час.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

МАЙКЛ ПРОИЗНОСИТ РЕЧЬ

В новом парламенте прения после тронной речи подходили к концу. И вот тогда-то Майкл встал и приготовился говорить. В руке он держал заметки, а в голове у него не было ни одной мысли. Началось сердцебиение, и ноги отказывались служить. Политика, которую он взялся проводить, была, по существу, не новой, но методы ее противоречили общественному мнению, и Майкл не ждал ничего, кроме смеха. Свою речь он мысленно сравнивал с семенами новой травы, занесенной порывами ветра в сад, столь густо заросший, что для нового растения не оставалось ни одного свободного уголка. Есть на свете трава, называемая китайским плевелом, которая, раз пустив росток, заглушает все прочие травы. Майкл от всей души желал, чтобы фоггартизм уподобился этому китайскому плевелу; впрочем, скорее он ожидал того, что видел в Монтерэй во время кругосветного путешествия, которое совершил после войны. Каким-то ветром туда, на берег Калифорнии, занесло семена японского тиса. Сомкнутым строем эти темные хилые деревца двинулись в глубь страны, прошли несколько миль. Дальше их отряду пути не было — туземная растительность восстала против него; но одна рощица пустила корни и держалась крепко.

Первую фразу своей речи он столько раз репетировал, что сейчас сумел ее произнести, хотя во рту у него пересохло, а в голове было пусто. Обдернув жилет и откинув назад голову, он выразил сожаление по поводу того, что речь короля не предуказала никакой последовательной политики, каковая могла бы избавить страну от настоящей ее болезни — безработицы и перенаселения. Подходя к делу с экономической точки зрения, каждый дальновидный политик, оценивая создавшееся положение, должен знать, что Англию нельзя рассматривать изолированно от остального мира. *(О! О!)* Иронический смех, прозвучавший столь неожиданно, развязал Майклу язык. В голове прояснилось. Усмехнувшись и от этого сразу похорошев, он продолжал.

Все ораторы, выступавшие в палате, останавливались на серьезной проблеме безработицы, причем надежды возлагали на завоевание европейского рынка. При всем своем уважении к ним он должен заявить, что формула «И волки сыты, и овцы целы» не так реальна, как хотелось бы. *(Смех.)* Утверждал ли кто-нибудь из них, что в Англии заработную плату нужно снизить и количество рабочих часов увеличить, или что в Европе заработная плата должна повыситься, а количество рабочих часов — уменьшиться? Нет, на это у них не хватило смелости. Англия, которой предстоит уничтожить безработицу, является единственной в мире страной, вынужденной покупать на стороне около семидесяти процентов того количества продуктов питания, какое необходимо населению, причем шесть седьмых ее населения проживает в городах. Эти шесть седьмых заняты производством товаров, слишком дорогих для европейских стран, и, однако, Англия должна продать этих товаров столько, чтобы ей хватило на уплату за ввозимые из-за границы продукты питания, которые поддерживают жизнь людей, занятых в производстве. *(Смешки.)* Если это и шутка, то довольно мрачная. *(Голос: «Вы забыли о морских перевозках».)* Он принимает поправку почтенного депутата и возлагает всяческие надежды на эту отрасль нашей деятельности. Впрочем, по всем признакам, коэффициент ее падает.

На этом этапе его речи коэффициент Майкла тоже слегка упал,— он вдруг ощутил желание махнуть рукой

на фоггартизм и сесть. Холодное внимание, слабые улыбки, выражение лица бывшего премьера, казалось, призывали его сдаться. «Как молод! О, как ты молод!»— читал он на лицах слушателей. «Мы здесь заседали раньше, чем ты надел штанишки». И он был с ними вполне согласен. Но ничего не оставалось, как продолжать: на галерее для дам сидела Флер, на галерее для иностранцев — старик Блайт; и какое-то упрямство овладело Майклом. Крепко сжав в руке записки, он снова заговорил:

— Несмотря на войну, а быть может, благодаря войне, население Великобритании увеличилось на два миллиона. Эмиграция упала с трехсот тысяч до ста тысяч. И с таким положением вещей предлагают бороться лишь путем завоевания европейского рынка, который, по вполне понятным причинам, нимало не хочет быть завоеванным. Какова же альтернатива? Быть может, кое-кто из почтенных депутатов знаком с произведением сэра Джемса Фоггарта «Опасное положение Англии». (*«Слушайте, слушайте!» — с задней скамьи лейбористов.*) Он читал в одном из органов прессы, что никто еще не предлагал англичанам столь сумасбродной системы. (*«Слушайте, слушайте!»*) Фоггартизм действительно заслуживает этого обвинения, ибо он дальновиден и вдобавок еще предлагает стране взглянуть прямо в лицо создавшемуся положению...

Майкл уже готов был огласить свою веру, как вдруг его остановила мысль: «Верно ли это? Не заблуждаюсь ли я? Быть может, я невежественный дурак?» Он проглотил слюну и, глядя прямо перед собой, продолжал:

— Фоггартизм восстает против того, чтобы люди, находящиеся в нашем положении, пробавлялись паллиативными средствами; он предлагает, чтобы народ назначил себе какой-нибудь определенный срок,— скажем, двадцать лет — минуты в жизни нации — и в течение этого срока работал упорно и стойко. Фоггартизм требует, чтобы Британская империя с ее огромными ресурсами, большей частью не использованными, могла обеспечить самое себя. Сторонники имперской политики спросят: «Что в этом нового?» Новое заключается в степени и в методе. Фоггартизм утверждает, что необходи-

мо познакомить британский народ со всеми нашими доминионами — познакомить путем организованных путешествий и широкой пропаганды. Эта мера не может не вызвать усиленной эмиграции. Но почтенным депутатам хорошо известно, что эмиграция взрослых не дает желаемых результатов, ибо наши горожане уже развращены и отравлены городом и принесут мало пользы в доминионах, а тех немногих англичан, которые еще живут в деревне, трогать нельзя. Поэтому фоггартизм предлагает отправлять в доминионы мальчиков и девочек в возрасте от четырнадцати или пятнадцати до восемнадцати лет. Членам палаты известно, что в этом направлении уже были сделаны опыты, увенчавшиеся успехом, но опыты эти — лишь капля в море. К этому вопросу нужно подойти с такой же энергией, какая была проявлена во время войны. Развитие детской эмиграции требует таких же масштабов и той же энергии, какие были приложены к работе военных заводов, после того как в это дело вмешался один почтенный член парламента,— ее надо увеличить в сто раз. Конечно, если доминионы не пойдут всей душой нам навстречу, из этого ничего не выйдет, но я считаю, что такого сотрудничества добиться можно. В настоящее время жители доминионов враждебно относятся к английским эмигрантам, ибо не верят, что взрослые эмигранты могут принести пользу стране. Но от этого враждебного отношения не останется и следа, если мы будем направлять в доминионы работоспособную молодежь. Я полагаю, что за первой удачливой группой потянутся вторая и третья, и так без конца; важно только знать, с чего начать и каким людям поручить проведение этого проекта в жизнь.

Кто-то за его спиной сказал: «Ох, какая ерунда!» Майкл смутился, но, помедлив, вновь закусил удила и продолжал:

— Если такую работу делать наполовину, то лучше и не начинать, но ведь на войне то, что оказывалось нужным, всегда делали, и всегда находились подходящие люди. Я призываю палату разделить со мной точку зрения, что сейчас наша страна почти в таком же критическом положении, как была тогда.

Он заметил, что кое-кто слушает его со вниманием, и, переведя дух, продолжал:

— Если оставить в стороне Ирландию... *(Голос: «Почему?»)* Я предпочитаю не трогать тех, кто не хочет, чтобы их трогали... *(Смех.)*... то в настоящее время соотношение белого населения Англии и остальных территорий империи — примерно пять к двум. Если в течение двадцати лет проводить в широком масштабе эмиграцию детей, мы сильно выравняем эту пропорцию, английское влияние во всей Британской империи упрочится окончательно, а предложение и спрос между Англией и доминионами придут в равновесие. *(Голос: «Тогда доминионы будут сами себя снабжать».)* Почтенный депутат извинит меня, если я скажу, что об этом говорить преждевременно. Мы далеко ушли в области механизации промышленности. Конечно, может пройти пять — семь лет раньше, чем безработица понизится хотя бы до довоенного уровня, но сумеет ли кто-нибудь выдвинуть иной способ борьбы с этим злом? Я стою за высокую заработную плату и умеренный рабочий день. Я считаю, что Британия хотя и далеко опередила Европу, но дает лишь приличный минимум, а иногда и того меньше; я стою за увеличение заработной платы и сокращение рабочего дня. И это требование рабочие выставляют везде, где только развевается британский флаг. *(«Слушайте, слушайте!»)* От своих требований они не откажутся, на это рассчитывать не приходится. *(«Слушайте, слушайте! О! О!»)* Уравнение спроса и предложения в пределах империи есть единственный способ улучшить условия жизни. В мире произошли такие перемены, что прежняя установка: «Покупай на самом дешевом рынке и продавай на самом дорогом»— к Англии уже не применима. Свобода торговли никогда не была принципом. *(«О! О! Слушайте, слушайте!» И смех.)* Или, вернее, были близнецы — Свобода торговли и Целесообразность, и их перепутали, и теперь у обоих вид достаточно хилый. Но распространяться на эту тему я не собираюсь. *(Голос: «Лучше не надо».)*

Майкл видел, что эти слова бросил человек, сидевший на скамье либералов,— брюнет с красной физиономией и коротко подстриженными усами. Он не знал его фамилии, но физиономия ему не понравилась: она горела не только жаром политики. На чем же он остановился? Ах, да...

— В программе Фоггарта любопытен еще один пункт. В настоящее время Англия недостаточно защищена от воздушных нападений и не может сама себя прокормить, вследствие чего распаляет хищнические инстинкты других наций. И здесь я должен просить прощения за то, что обращаю внимание членов палаты на Золушку, иными словами — землю. В тронной речи по этому щекотливому вопросу было сказано только, что будет созвана конференция представителей всех интересов. Но такая конференция ничего не даст, если все партии заранее не сговорятся последовательно проводить определенную линию. Здесь снова выступает на сцену фоггартизм и предлагает: «Следуйте строго очерченной программе по земельному вопросу и не изменяйте ей. Пусть для вас она будет так же священна, как для Америки сухой закон». *(Голос: «И так же проклята». Смех.)* Священная и проклятая — словно название романа Достоевского. *(Смех.)* Да, без этого мы не обойдемся. От нашей политики в земельном вопросе зависит не только благополучие фермеров, землевладельцев и землепашцев, но и самое существование Англии, если снова разразится война. В этом, только в этом заключается единственная надежда спасти Англию. Фоггартизм требует, чтобы мы твердо проводили нашу земельную политику, и тогда через десять лет семьдесят процентов продуктов питания мы будем производить у себя. Во время войны было высчитано, что эту цифру можно немедленно довести до восьмидесяти двух процентов; и многое в этом направлении уже было сделано. Почему же всему этому дали заглохнуть? Почему столько труда пошло насмарку? Мы должны верить в наше сельское хозяйство; а вера появится только при условии упорной и последовательной деятельности.

Майкл сделал паузу. На соседней скамье кто-то зевнул; слышалось шарканье ног; вошел еще один из бывших премьеров; несколько членов вышли. Вопрос о «земле» всем надоел. Не затронуть ли ему третий пункт программы Фоггарта — воздушный флот? Но и по этому вопросу ничего нового не скажешь. А кроме того, придется сделать вступление: поговорить об уничтожении воздушной войны или хотя бы о частичном разо-

ружении. Нет, это займет слишком много времени! Лучше и не начинать. Он быстро заговорил:

— Эмиграция! Земля! Фоггартизм требует, чтобы к обеим этим проблемам отнеслись с тем же вниманием, какое уделяли насущным вопросам во время войны. Я счастлив, что на мою долю выпала честь познакомить представителей всех партий с этим великим — что бы ни думали почтенные депутаты — произведением сэра Джемса Фоггарта. Прошу прощения, что отнял у слушателей столько времени.

Он сел. Говорил он тринадцать минут. Как гора с плеч! Встал один из депутатов.

— Должен поздравить депутата от Мид-Бэкса с первой его речью, которая, как мы все готовы признать, была интересна как по содержанию, так и по форме, хотя почтенный депутат и занимался постройкой воздушных замков, призывая нас есть меньше хлеба и платить больше налогов. Депутат от Тайна и Тиса в начале прений сделал намек на партию, к которой я имею честь принадлежать, и...

«Так!»— подумал Майкл и, убедившись, что этот оратор не намерен останавливаться на его речи, покинул палату.

II

ПОСЛЕДСТВИЯ

Когда он шел домой, в голове у него было пусто и на сердце легко. Да, вот в чем беда — легковес! Никто не обратит на него серьезного внимания. Он вспомнил первую речь депутата от Корнмаркета. По крайней мере он, Майкл, замолчал сегодня, как только слушатели начали зевать. Ему было жарко, и он проголодался. Оперные певцы толстеют от звука своего голоса, а члены парламента худеют! Он решил прежде всего принять ванну.

Он одевался, когда вошла Флер.

— Ты говорил прекрасно, Майкл. Но какая это скотина!

— Кто?

— Его фамилия Мак-Гаун.

— Сэр Александр Мак-Гаун? А что такое?

— Завтра прочтешь в газетах. Он инсинуировал, будто ты, как один из издателей, заинтересован в том, чтобы книга Фоггарта имела сбыт.

— Да, это сильно!

— И вся его речь была возмутительна. Ты его знаешь?

— Мак-Гауна? Нет. Он депутат от какого-то шотландского города.

— Тебе он враг. Блайт тобой очень доволен и возмущается Мак-Гауном; твой отец тоже. Я еще ни разу не видала его таким взбешенным. Ты должен написать в «Таймс» и объяснить, что еще до выборов вышел из издательства Дэнби и Уинтер. Твои родители у нас сегодня обедают. Ты знал, что твоя мать была в палате?

— Мама? Да ведь она ненавидит политику.

— Она сказала только: «Жаль, что Майкл не откинул волосы со лба. Мне нравится его лоб». А когда Мак-Гаун сел, она заметила: «Дорогая моя, у этого человека как будто срезан затылок. Как вы думаете, не из Пруссии ли он родом? И мочки ушей у него толстые. Не хотела бы я быть его женой». У нее был с собой бинокль.

Когда Майкл с Флер спустились вниз, сэр Лоренс и леди Монт уже были в гостиной и стояли друг против друга, словно два аиста, если не на одной ноге, то, во всяком случае, с большой важностью. Откинув волосы со лба Майкла, леди Монт клюнула его в лоб.

— Как вы там высидели, мама?

— Милый мой мальчик, я была ужасно довольна. Вот только этот человек мне не понравился — у него безобразная форма головы. Но где ты набрался таких познаний? Ты очень умно говорил.

Майкл усмехнулся.

— А вы что скажете, сэр?

Сэр Лоренс скорчил гримасу.

— Ты сыграл роль enfant terrible[1], дорогой мой. Одним твоя речь не понравится потому, что они никогда

[1] Избалованный ребенок, которому спускают все дерзости (*франц.*).

об этом не думали, а другим — именно потому, что они думали.

— Как! Значит, в душе они фоггартисты?

— Конечно. Но в палате не следует защищать подлинные свои убеждения. Это не принято.

— Славная комната,— проворковала леди Монт.— Раньше она была китайской. А где «Обезьяна»?

— В кабинете у Майкла, мама. Она нам надоела. Хотите до обеда взглянуть на Кита?

Когда Майкл остался наедине с отцом, они оба уставились на один и тот же предмет — на табакерку эпохи Людовика Пятнадцатого, которую отыскал где-то Сомс.

— Папа, вы реагировали бы на инсинуацию Мак-Гауна?

— Мак-Гаун — фамилия этого торгаша? Да, несомненно.

— Как?

— Уличил бы его во лжи.

— В частном разговоре, в прессе или в палате?

— И то, и другое, и третье. В разговоре я бы просто назвал его лжецом. В заметке я употребил бы слова: «Легкомысленное отношение к истине». В парламенте я бы выразил сожаление, что «его плохо информировали». Можно добавить, что людям случалось получать за такие вещи по физиономии.

— Но неужели вы допускаете, что кто-нибудь поверит этой клевете? — спросил Майкл.

— Поверят всему, что свидетельствует о развращении политических нравов. Это так свойственно людям. Забота о честности общественных деятелей была бы превосходной чертой, если бы ее обычно не проявляли люди, сами столь мало честные, что и в других они вряд ли сумеют ее оценить.— Сэр Лоренс поморщился, вспомнив ОГС.— А кстати, почему «Старого Форсайта» не было сегодня в палате?

— Я ему предложил пропуск, но он сказал, что не был в палате с тех пор, как Гладстон проводил билль о гомруле. Да и тогда пошел только потому, что боялся, как бы его отца не хватил удар.

Сэр Лоренс вставил монокль.

— Я не совсем понимаю.

— У отца был пропуск, и он не хотел его терять.

— Понял. Очень благородно со стороны «Старого Форсайта».

— Он нашел, что Гладстон слишком многословен.

— А! В былые годы речи бывали и длиннее. Ты быстро справился со своим делом, Майкл. Я бы сказал, что со временем из тебя выйдет толк. А у меня есть новость для «Старого Форсайта». Я знаю, почему Шропшир не разговаривает с Чарли Ферраром. Старик только с этим условием и заплатил в третий раз его долги, чтобы спасти его от доски позора. Я надеялся на что-нибудь более таинственное. В каком положении процесс?

— Последнее, что я слышал, это что проводят какие-то взаимные запросы сторон.

— А, знаю. Отвечают такое, что ничего не разберешь, и притом вполне беспристрастно. Потом задают тебе ряд вопросов, и ты отвечаешь точно так же. Из всего этого адвокаты что-то извлекают. Что у вас сегодня на обед?

— Флер обещала заколоть жирного тельца, когда я произнесу мою первую речь.

Сэр Лоренс вздохнул.

— Очень рад. Твоя мать снова увлекается витаминами, и теперь мы едим главным образом морковь, обычно сырую. Хорошо, когда в жилах жены течет французская кровь! По крайней мере не страдаешь от недоедания. А вот и дамы!..

Не раз отмечалось, что люди, подчеркивающие свое презрение к отзывам прессы, прочитывают за завтраком все газеты в те дни, когда отзыв должен появиться. Майкл истратил на утренние газеты около шиллинга. Из тридцати газет только в четырех упоминалось о его речи. «Таймс» изложила ее сжато и точно. «Морнинг Пост» выхватила несколько фраз об империи, предпослав им слова: «В не лишенной интереса речи». «Дэйли Телеграф» отметила: «Среди других ораторов выступил мистер Майкл Монт». А «Манчестер Гардиэн» сообщила: «Депутат от Мид-Бэкса в своей первой речи ратовал за переселение детей в доминионы».

Сэр Александр Мак-Гаун, несколько лет заседавший в парламенте, удостоился большего внимания, но об ин-

синуации в газетах не было ни слова. Майкл обратился к Хэнзарду[1].

Его собственная речь сверх ожидания показалась ему вполне связной. Когда вошла Флер, он дочитывал речь Мак-Гауна.

— Налей мне кофе, старушка.

Флер подала ему кофе и прислонилась к его плечу.

— Этот Мак-Гаун ухаживает за Марджори Феррар,— сказала она.— Теперь я припоминаю.

Майкл размешал сахар.

— Черт возьми! В палате такими дрязгами не занимаются.

— Ошибаешься. Мне Элисон говорила. Вчера я просто не подумала. Отвратительная речь, не правда ли?

— Могло быть хуже,— усмехнулся Майкл.

— «Как один из компаньонов фирмы, выпустившей это любопытное произведение, он, несомненно, заинтересован в его распространении; вот чем можно объяснить энтузиазм оратора». Неужели это тебя не приводит в бешенство?

Майкл пожал плечами.

— Ты когда-нибудь сердишься, Майкл?

— Дорогая моя, не забудь, что я проделал войну. Ну-с, напишем в «Таймс». Как бы это сформулировать?

«Сэр,

Разрешите мне через вашу уважаемую газету (этак спокойнее) и в интересах публики (чтобы звучало не слишком лично)...» — Гм! А дальше?..

— «Сообщить, что сэр Александр Мак-Гаун солгал, намекнув в своей речи, что я заинтересован в распространении книги сэра Джемса Фоггарта».

— Прямолинейно,— сказал Майкл,— но они этого не поместят. Не лучше ли так:

«...оповестить публику, что сэр Александр Мак-Гаун в своей речи несколько исказил факты. Считаю долгом заявить, что еще до моего избрания в парламент я перестал работать в издательстве, выпустившем книгу сэра Джемса Фоггарта «Опасное положение Англии» и, вопреки тому, что говорил сэр Александр Мак-Гаун, нимало не заинтересован в распространении этой книги. Не

[1] Официальный бюллетень — отчеты о заседаниях английского парламента.

смею утверждать, что он хочет затронуть мою честь (слово «честь» нужно вставить), но его слова напрашиваются на такое истолкование. Книга меня интересует лишь постольку, поскольку я озабочен действительно опасным положением Англии. Искренно преданный и т. д.».— Ну как?

— Слишком мягко. А кроме того, я бы не стала говорить, что ты действительно считаешь положение Англии опасным. Это, знаешь ли, вздор. То есть я хочу сказать, что это преувеличено.

— Отлично,— сказал Майкл,— напишем вместо этого: «Озабочен положением страны». В палате я попрошу слова в порядке информации, а в кулуарах — без всякого порядка. Интересно, как отзовется «Ивнинг Сан».

«Ивнинг Сан», которую Майкл купил по дороге в парламент, угостила его передовой статьей, озаглавленной «Снова фоггартизм» и начинающейся так: «Вчера депутат от Мид-Бэкса вызвал смех всей палаты, произнеся речь в защиту сумасшедшей теории, именуемой фоггартизмом, о которой мы уже упоминали на страницах нашей газеты». За этим следовало двадцать строк, написанных в не менее оскорбительном тоне. Майкл отдал газету швейцару.

В палате, убедившись, что Мак-Гаун присутствует на заседании, Майкл воспользовался первым удобным случаем и встал:

— Мистер спикер! Я хочу опровергнуть заявление, сделанное вчера во время прений и затрагивающее мою честь. Почтенный депутат от Грингоу заявил в своей речи...— Тут Майкл прочел абзац из Хэнзарда.— Правда, я имел отношение к издательству, выпустившему в августе тысяча девятьсот двадцать третьего года книгу сэра Джемса Фоггарта, но все связи с этим издательством я порвал в октябре тысяча девятьсот двадцать третьего года, задолго до того, как вошел в парламент. Поэтому я нимало не заинтересован в распространении этой книги, хотя от души желаю, чтобы принципы фоггартизма были проведены в жизнь.

Он сел под жидкие аплодисменты. Тогда поднялся сэр Александр Мак-Гаун. Это был тот самый человек с красной физиономией, который так не понравился Майклу накануне.

— Мне кажется,—начал он,—что почтенный депутат от Мид-Бэкса был недостаточно заинтересован своей собственной речью, ибо отсутствовал, когда я на нее отвечал. Не могу согласиться с тем, что мои слова могут быть истолкованы так, как он их истолковал. Я сказал тогда — и сейчас повторяю,— что один из издателей, несомненно, был заинтересован в том, чтобы выпущенная им книга завоевала симпатии публики. Почтенный депутат принял на свой счет слова, к нему не относившиеся.

Он повернулся лицом к Майклу—мрачный, красный, вызывающий.

Майкл снова встал.

— Я рад, что почтенный депутат устранил возможность неправильного истолкования его слов.

Через несколько минут оба покинули зал.

В газетах нередко появляются отчеты о том, как мистер Суош, почтенный депутат от Топклифа, обозвал мистера Бэклера, почтенного депутата от Путинга, именем, не вполне подходящим к обстановке парламента. *(«К порядку!»)* И как мистер Бэклер в ответ выразился о мистере Суош еще менее лестно. *(«Слушайте, слушайте! К порядку!»)* И как мистер Суош потрясал кулаками *(шум)*, а мистер Бэклер взывал к спикеру или швырял бумаги. *(«К порядку, тише!»)* И как последовало великое смятение, и мистер Суош или мистер Бэклер был лишен права посещать заседания и вынужден был, громко крича, покинуть Мать всех парламентов в сопровождении дежурного полисмена, и прочие поучительные подробности. Небольшое недоразумение между Майклом и сэром Александром разрешилось по-иному. Инстинктивно соблюдая правила приличия, они направились в умывальную; по дороге в это мраморное убежище они не обращали друг на друга ни малейшего внимания. Остановившись перед вешалкой для полотенец, Майкл сказал:

— Ну, сэр, можете вы мне объяснить, почему вы вели себя, как грязная скотина? Вы прекрасно знали, как будут истолкованы ваши слова.

Сэр Александр отложил в сторону щетку.

— Получайте,— сказал он и со всего размаху дал Майклу по уху. Майкл пошатнулся, затем, размахнувшись, угодил сэру Александру в нос. Оба действовали

энергично, сэр Александр был человек коренастый, а Майкл — увертливый, но ни тот, ни другой не умели работать кулаками. Драку прервал почтенный депутат от Уошбэзона, выходивший из уборной. Поспешно войдя в умывальную, он тотчас же получил синяк под глазом и удар в диафрагму, отчего согнулся вдвое, а затем показал себя более красноречивым оратором, чем могли бы ожидать люди, знавшие этого почтенного джентльмена.

— Простите, пожалуйста, сэр,— сказал Майкл.— Невиновные всегда страдают больше, чем виновные.

— Я бы вас обоих запретил сюда пускать,— кипятился депутат от Уошбэзона.

Майкл усмехнулся, а сэр Александр сказал:

— К черту!

— Вздорные забияки! — проворчал депутат от Уошбэзона.— Как же я теперь, черт возьми, буду выступать сегодня?

— Если вы явитесь с повязкой на глазу,— сказал Майкл, примачивая подбитый глаз депутата холодной водой,— и объясните, что пострадали при столкновении автомобилей, вашу речь выслушают с особым вниманием, и газеты дадут хороший отзыв. Разрешите предложить вам для повязки подкладку от галстука?

— Не троньте мой глаз,— зарычал депутат от Уошбэзона,— и убирайтесь отсюда, пока я не вышел из терпения.

Майкл застегнул верхнюю пуговицу жилета, расстегнувшуюся во время драки, и, посмотрев в зеркало, убедился, что ухо у него горит, манжета в крови, а у противника кровь идет носом.

«Ну и скандал! — подумал он, выходя на свежий воздух.— Хорошо, что мы столкнулись в умывальной! Дома я, пожалуй, умолчу».

Ухо у него ныло, настроение было скверное. Сияние фоггартизма потускнело, свелось к драке в умывальной. Есть с чего охладеть к своему призванию! Но даже депутат от Уошбэзона оказался в смешном положении, так что в газеты это дело едва ли попадет.

Переходя улицу к своему дому, он увидел Фрэнсиса Уилмота, направляющегося на запад.

— Алло!

Фрэнсис Уилмот поднял голову и остановился. Он похудел, глаза ввалились, он разучился улыбаться.

— Как поживает миссис Монт?

— Очень хорошо, благодарю вас. А вы?

— Прекрасно,—сказал Фрэнсис Уилмот.—Пожалуйста, передайте ей, что я получил письмо от ее двоюродного брата Джона. Он очень рад, что я с ней познакомился. Шлет ей привет.

— Благодарю,— сухо сказал Майкл.— Заходите к нам, выпьем чаю.

Молодой человек покачал головой.

— Вы поранили руку?

Майкл засмеялся.

— Нет, повредил одному субъекту нос.

Фрэнсис Уилмот слабо улыбнулся.

— Мне давно уже хочется проделать то же самое. Чей это был нос?

— Некоего Мак-Гауна.

Фрэнсис Уилмот схватил Майкла за руку.

— Тот самый нос!

Затем, видимо, смущенный своей откровенностью, он повернулся на каблуках и ушел, предоставив Майклу теряться в догадках.

На следующее утро газеты умолчали о кровопускании, имевшем место накануне, и ограничились сообщением, что депутат от Уошбэзона простудился и не выходит из дому.

Консервативная пресса скромно умалчивала о фоггартизме; но один либеральный и один лейбористский журнал поместили передовицы, которые Майкл внимательно прочел.

Орган либералов писал: «В прениях по тронной речи выделяется одно выступление. В наше беспокойное время, когда хватаются за всевозможные шарлатанские средства, нельзя не обратить внимания на теорию, которую депутат от Мид-Бэкса назвал фоггартизмом, по имени престарелого сэра Джемса Фоггарта. Нечего ждать со стороны либералов какой бы то ни было поддержки теории, ничего общего с основами либерализма не имеющей. Но возникает опасение, что на нее клюнет ряд консерваторов, вернее — самые косные из них. Беспорядочное выражение пессимистических взглядов всег-

да привлекает известным образом настроенных людей. Положение Англии не опасно. Ничто в нем не оправдывает истерического отклонения от нашей традиционной политики. Впрочем, не надо закрывать глаза на то, что за последнее время ряд так называемых мыслителей поговаривает о возвращении к «блестящей изоляции», за которой (признают они то или нет) мы видим гибель свободы торговли. Молодой депутат от Мид-Бэкса приподнял было этот краеугольный камень либерализма, но тут же выпустил его из рук; возможно, что бремя показалось ему не по силам. В основе же фоггартизм не что иное, как подкоп под свободу торговли и пощечина Лиге наций».

Майкл вздохнул и обратился к лейбористскому журналу; статья была подписана и выражала более человеческую точку зрения:

«Итак, для того, чтобы безработица не тревожила капиталистов, нам предлагается сплавлять наших детей на край света, как только они выучатся грамоте. О сэре Джемсе Фоггарте я слышу впервые, но, если только правильны цитаты из его книги, приведенные вчера в парламенте депутатом от одного из земледельческих округов, есть в этом старом джентльмене что-то подозрительно-прусское. Интересно, что говорит по этому поводу рабочий у себя дома? Боюсь, что там не обходится без слов «к черту!» Нет, сэр Джемс Фоггарт, английские рабочие не намерены скрывать свои карты и, признавая за старой родиной немало недостатков, все же предпочитают ее всякой другой для себя и своих детей. Спасибо, сэр Джемс Фоггарт, что-то не хочется».

«Вот это ясно,—подумал Майкл.— Ошибка, что излагать теорию поручили мне. Лучше бы Блайт подыскал городского депутата из лейбористов».

Перед его мысленным взором фоггартизм, разодранный на клочки завистью и классовой ненавистью, лозунгами, фракциями и партиями, как пристыженный призрак, удирал, поджав хвост, из парламента и прессы, непризнанный, непринятый!

— Ладно,— бормотал он,— я не отступлю. Если уж быть дураком, так лучше дураком в квадрате. Так, Дэн?

Дэнди, приподняв голову, глядел на него своими глазами-бусинками.

III

МАРДЖОРИ ФЕРРАР У СЕБЯ ДОМА

Фрэнсис Уилмот шел в Челси, на свидание с той, которая была для него символом жизни. Влюбленный по уши и достаточно старомодный, чтобы мечтать о браке, он проводил дни пришитым к юбке, которая явно от него ускользала. Его наивная страсть вырвала у Марджори Феррар признание,— она сообщила ему о своей помолвке, сказав напрямик: ей нужны деньги, она запуталась в долгах, а жить в глуши не намерена.

Он поспешил предложить ей все свое состояние. Она отказалась.

— Дорогой мой, до этого я еще не дошла.

Часто она готова была сказать ему: «Подождите, пока я выйду замуж», но выражение его лица всегда ее останавливало. Он был примитивен; она знала, что ему чужд ее идеал: быть безупречной женой, любовницей и матерью одновременно. Она держала его при себе только полуобещаниями, что она отвергнет Мак-Гауна, и заботилась о том, чтобы они с Мак-Гауном не встречались. Два раза ей не удалось помешать их встрече, свидание было мучительно, и в результате ей пришлось лгать больше, чем она привыкла. Кончилось тем, что она по-настоящему увлеклась молодым человеком. Она видела в нем много нового. Ей нравились его темные глаза, его грация и как росли у него волосы на затылке; нравился его голос и старомодная манера вести беседу. И, как это ни странно, ей нравилась его порядочность. Дважды она просила его разузнать, не собирается ли Флер «прийти с повинной»; дважды он ей отказал, заявив:

— Они были очень добры ко мне; и я не мог бы передать вам, что они говорят, даже если бы это было мне известно.

Она рисовала его портрет, и в студии, где они встречались, стоял на мольберте холст, на который Марджори Феррар успела положить только несколько мазков. Свидания их происходили почти ежедневно, между тремя и четырьмя, когда уже начинало смеркаться. Этот час Мак-Гаун всегда проводил в парламенте. Фрэнсис Уилмот позировал в отложном воротничке, что ему очень шло. Ей нравилось, когда он сидел на диване и следил

за ней взглядом; ей нравилось подходить к нему вплотную и смотреть, как дрожат его пальцы, прикасающиеся к ее юбке или рукаву, как блестят глаза, как меняется выражение лица, когда она от него отходит. Верил он в нее безгранично, и при нем она следила за собой. Ведь детей не полагается шокировать!

В тот день она ждала Мак-Гауна к пяти часам и уже волновалась, когда Фрэнсис Уилмот явился и сказал:

— Я встретил Майкла Монта; у него манжета была в крови. Угадайте, чья кровь?

— Неужели Алека?

Фрэнсис Уилмот выпустил ее руки.

— Не называйте при мне этого человека «Алеком».

— Мой милый мальчик, вы слишком впечатлительны. Я ждала, что они поссорятся, ведь я читала их речи. А у Майкла глаз подбит? Нет? Гм! Ал... «этот человек», наверное, взбешен. Кровь была свежая?

— Да,— мрачно сказал Фрэнсис Уилмот.

— Ну, так он не придет. Садитесь на диван и давайте хоть раз в жизни серьезно поработаем.

Но он упал перед ней на колени и обвил руками ее талию.

— Марджори, Марджори!

Поклонница радостей жизни, пропитанная иронией, как и все ее поколение, она все же смутно пожалела его и себя. Обидно было, что нельзя велеть ему скорей достать разрешение на брак и кольцо, или еще чего ему там хочется, и покончить с этим делом! Нельзя даже сказать ему, что она готова покончить и без разрешения и без кольца. Ведь главное — не растеряться. Однажды в жизни она заметила, что скоро надоест любовнику,— не растерялась и дала ему отставку раньше, чем он это осознал; в другой раз любовник надоел ей — она не растерялась и тянула, пока и ему не надоело. Бывало, что любимцы, за которых она стояла горой, шли ко дну,— она ни разу не растерялась и защищала других, более удачливых; бывало, что в игре ей переставало везти,— и она бросала карты, не дожидаясь полного проигрыша. Не раз она оправдывала репутацию одной из самых современных женщин.

Поэтому она поцеловала Фрэнсиса Уилмота в голову, разжала его руки и посоветовала быть паинькой; и

у нее мелькнула мысль, что первая молодость ее миновала.

— Забавляйте меня, пока я буду работать. У меня отвратительное настроение.

И Фрэнсис Уилмот, словно хмурый призрак, стал ее забавлять.

Существует мнение, что нос, пострадавший от удара, сильно распухает лишь через час или два. Вот почему сэр Александр Мак-Гаун явился в половине пятого сообщить, что не может прийти в пять. Приехал он прямо из парламента и всю дорогу прикладывал к носу мешочек со льдом. Накануне Марджори Феррар дала ему понять, что молодой американец «находится сейчас в Париже»,— поэтому он остановился как вкопанный при виде молодого человека, сидевшего без галстука и с расстегнутым воротничком. Фрэнсис Уилмот молча поднялся с дивана. Марджори коснулась кистью холста.

— Взгляните, Алек, я только что начала портрет.

— Нет, благодарю,— сказал Мак-Гаун.

Сунув галстук в карман, Фрэнсис Уилмот поклонился и направился к двери.

— Чаю не хотите, мистер Уилмот?

— Не хочется, благодарю вас.

Когда он ушел, Марджори Феррар взглянула на нос своего нареченного. Нос был крупный, но пока почти не распух.

— А теперь объясните, зачем вы лгали? — сказал Мак-Гаун.— Вы мне сказали, что этот шалопай уехал в Париж. Значит, вы мною играете, Марджори?

— Конечно! А почему бы и нет?

Мак-Гаун подошел к ней вплотную.

— Положите кисть!

Марджори подняла ее — в ту же секунду кисть была у нее выхвачена и полетела в сторону.

— Портрет вы оставите недоконченным и этого субъекта больше не увидите. Он в вас влюблен.

Он сжал ей руки.

Она откинула голову, рассерженная не меньше чем он.

— Пустите! Неужели вы считаете себя джентльменом?

— Нет, я просто мужчина.

— Сильный и молчаливый — герой скучного романа. Садитесь и ведите себя прилично.

Поединок глаз — темных и горящих, голубых и холодных — продолжался не меньше минуты. Потом он выпустил ее руки.

— Поднимите кисть и дайте мне.

— Черт возьми, этого я не сделаю!

— Значит, нашей помолвке конец. Если вы столь старомодны, то я вам не пара. Ищите себе жену, которая подарила бы вам к свадьбе плетку.

Мак-Гаун схватился за голову.

— Я слишком люблю вас и теряю власть над собой.

— Ну, так поднимите кисть.

Мак-Гаун поднял ее.

— Что у вас с носом сделалось?

Мак-Гаун прикрыл нос рукой.

— Я налетел на дверь.

Марджори Феррар засмеялась.

— Бедная дверь!

Он посмотрел на нее с удивлением.

— Вы самая жестокая женщина из всех, кого я встречал. И почему я вас люблю — не понимаю.

— Столкновение с дверью плохо отразилось на вашей внешности и характере. Почему вы пришли раньше, чем всегда?

У Мак-Гауна вырвался стон.

— Меня к вам тянет, и вы это знаете.

Марджори Феррар повернула холст к стене и стала рядом.

— Не знаю, как вы рисуете себе нашу совместную жизнь, Алек, но боюсь, что счастья нам не видать. Не хотите ли виски с содовой? Вот там, в буфете. Не хотите? А чаю? Тоже нет? Следовало бы нам договориться. Если я выйду за вас замуж, что очень сомнительно,—затворницей я жить не намерена. Я буду принимать своих друзей. И теперь, пока мы не поженились, я тоже буду их принимать. Если это вам не по вкусу, можете со мной расстаться.

Она видела, как он сжал руки. Нелегкая задача быть его женой! Если бы только был какой-нибудь «подходящий заместитель»! Если бы Фрэнсис Уилмот был богат и жил не там, где растет хлопок и негры поют в полях;

где текут красные реки, светит солнце и болота затянуты мхом; где растут грейпфруты,—или они там не растут?— а дрозды поют нежнее, чем соловьи. Южная Каролина, о которой с таким восторгом рассказывал ей Фрэнсис Уилмот! Чужой мир глянул прямо в глаза Марджори Феррар. Южная Каролина! Невозможно! Так же невозможно, как если бы ей предложили жить в девятнадцатом веке!

Мак-Гаун подошел к ней.

— Простите меня, Марджори.

Он положил ей руки на презрительно вздернутые плечи, поцеловал ее в губы и ушел.

А она опустилась в свое любимое кресло и стала нервно покачивать ногой.

Опилки высыпались из ее куклы—жить стало скучно.

Чего она хочет? Отдохнуть от мужчин и неоплаченных счетов? Или ей нужно еще что-то пушистое, именуемое «настоящей любовью»? Во всяком случае, чего-то ей не хватает. Итак, одевайся, иди и танцуй; потом еще раз переоденься и иди обедать; а за платья еще не уплачено!

А в общем, лучше всего разгоняет сплин хороший глоток чего-нибудь горячего!

Она позвонила, и когда ей подали все необходимое, смешала вино с коньяком, всыпала мускатных орехов и выпила стакан до дна.

IV

FONS ET ORIGO[1]

Через несколько дней Майкл получил два письма. На одном была австралийская марка, оно гласило:

«Дорогой сэр,

Надеюсь, что вы и супруга ваша здоровы. Я подумал, что вам, может, интересно узнать о нас. Так вот, прожили мы тут полтора года, а похвастаться нечем. Много лишнего болтают об Австралии. Климат бы ничего, когда не слишком сухо или не очень уж мокро; жене моей он очень по нраву; но вот когда говорят, что здесь легко нажить состояние, только и остается отве-

[1] Первоисточник (*лат.*).

тить, что все это басни. Люди здесь чудные — будто мы им и не нужны, и они нам будто ни к чему. Относятся к нам так, точно мы дерзость какую сделали, что приехали в их распрекрасную страну. Народу здесь маловато, но им, наверное, кажется, что хватит. Я частенько жалею, что уехал. Жена говорит, что здесь нам лучше, а я не знаю. А про эмиграцию много привирают, это-то верно.

Я не забыл, сэр, как вы были добры к нам. Жена шлет привет вам и супруге.

Уважающий вас *Антони Бикет*».

Зажав письмо в руке, Майкл снова видел перед собой Бикета — худое лицо, огромные глаза, большие уши, щуплая фигура на лондонской улице под связкой цветных шаров. Пичуга несчастная, никак не найдет себе места под солнцем! И сколько таких — тысячи и тысячи! Что ж, не для таких, как эти двое, он проповедует эмиграцию; он проповедует ее для тех, кто еще не сложился, сумеет приспособиться. Их и встретят по-иному! Он распечатал другое письмо.

«Ролл Мэнор бл. Хэнтингтона

Уважаемый сэр,

Чувство разочарования, которое я испытывал со дня выхода моей книги, в значительной мере ослабело благодаря тому, что Вы любезно упомянули о ней в парламенте и взяли на себя защиту выдвигаемых мною тезисов. Я — старик и в Лондон теперь не заглядываю, но встреча с Вами доставила бы мне удовольствие. Быть может, Вы бываете в моих краях, я буду счастлив, если Вы согласитесь у меня позавтракать или приедете вечером и здесь переночуете.

Искренне вам преданный *Дж. Фоггарт*».

Майкл показал письмо Флер.

— Если ты туда поедешь, дорогой мой, ты будешь смертельно скучать.

— Нужно съездить,— сказал Майкл.— Fons et origo!

Он написал, что приедет на следующий день к завтраку.

На станции его ждали человек в зеленой ливрее и лошадь, запряженная в доселе не виданный им экипаж. Человек в зеленой ливрее, рядом с которым уселся Майкл, сообщил ему:

— Сэр Джемс думал, сэр, что вам захочется полюбоваться окрестностями; вот он и прислал двуколку.

Был тихий, пасмурный день—один из тех дней, какие бывают поздней осенью, когда последние уцелевшие на деревьях листья ждут, чтобы их подхватил ветер. На дорогах стояли лужи, и пахло дождем; стаями взлетали грачи, словно удивленные звуком лошадиных копыт; и земля на вспаханных полях отливала красноватым блеском глины. Равнину несколько оживляли тополя и бурые, крытые черепицей крыши коттеджей.

— Вот усадьба, сэр,— сказал человек в ливрее, указывая кнутом.

Между фруктовым садом и группой вязов, где, очевидно, гнездились грачи, Майкл увидел длинный низкий дом из старого выветренного кирпича, увитый ползучими растениями. Вдали виднелись сараи, навесы и стена огорода. Двуколка свернула в липовую аллею и неожиданно остановилась перед домом. Майкл дернул ручку старого железного звонка. На унылый звон вышел унылый человек, который сморщил лицо и сказал:

— Мистер Монт? Сэр Джемс вас ожидает. Пожалуйте сюда.

Пройдя через низкий старинный холл, где приятно пахло дымом, Майкл остановился перед дверью, которую сморщенный человек закрыл перед самым его носом.

Сэр Джемс Фоггарт! Должно быть, это старый помещик, в крагах, аккуратный, энергичный, с седыми бакенбардами и обветренным лицом; или один из не вымерших еще грузных и коренастых Джонов Булей с короткой шеей, плоской макушкой, прикрытой плоским белым цилиндром.

Сморщенный человек снова открыл дверь и сказал:

— Сэр Джемс просит вас, сэр.

Перед камином в большой комнате, где было много книг, сидел величественный старик с седой бородой и седыми кудрями, престарелый британский лев, в бархатном, побелевшем на швах пиджаке.

Он сделал попытку встать.

— Пожалуйста, не вставайте, сэр,— сказал Майкл.

— Да, вы уж меня простите. Хорошо доехали?

— Очень.

— Садитесь. Меня растрогала ваша речь. Первая, кажется?

Майкл поклонился.

— Но, надеюсь, не последняя.

Голос у него был низкий и звучный; зорко смотрели глаза из-под густых нависших бровей. Густые седые волосы вились и спускались на воротник пиджака. Первобытный человек, достигший высшей ступени развития. На Майкла он произвел глубокое впечатление.

— Я ждал этой чести, сэр, с тех пор, как мы издали вашу книгу,— сказал Майкл.

— Я отшельник, нигде теперь не бываю. По правде сказать — не хочу, многое мне теперь не по вкусу. Я пишу, курю трубку. Позвоните, мы позавтракаем. Кто этот сэр Александр Мак-Гаун? Что он, напрашивается на пощечину?

— Уже получил, сэр,— сказал Майкл.

Сэр Джемс Фоггарт откинулся на спинку кресла и захохотал. Смех у него был протяжный, низкий, глухой, словно смех на тромбоне.

— Здорово! А как приняли вашу речь? Когда-то я многих знал в палате, отцов, дедов теперешних.

— Как объяснить, сэр, что вы, никогда не выходя из дому, так хорошо знаете нужды Англии? — вкрадчиво спросил Майкл.

Сэр Джемс Фоггарт указал своей крупной худой рукой на стол, заваленный журналами и книгами.

— Читаю,— сказал он,— все читаю, зрение мне еще не изменило. Я немало повидал на своем веку.

Он умолк, словно созерцая картины прошлого.

— Вы продолжаете свою работу?

— М-да! Людям будет что почитать, когда я умру, Мне, знаете ли, восемьдесят четыре.

— Странно, что к вам не заглянули репортеры,— сказал Майкл.

— Как же, заглянули. Были здесь вчера. Трое, с разными поездами, очень вежливые молодые люди. Но я понял, что им не раскусить старика.

В эту минуту дверь раскрылась и вошел сморщенный

человек; за ним следовала горничная и три кошки. Сморщенный человек и горничная поставили один поднос на колени сэру Джемсу, а другой — на маленький столик перед Майклом. На каждом подносе была куропатка с картофелем, шпинат и хлебный соус. Сморщенный человек наполнил стакан сэра Джемса ячменной водой, а стакан Майкла — бордо и удалился. Три кошки, громко мурлыча, стали тереться о брюки сэра Джемса.

— Надеюсь, вы ничего не имеете против кошек? Сегодня нет рыбки, киски!

Майкл проголодался и съел всю куропатку. Сэр Джемс почти все отдал кошкам. Потом подали компот, сыр, кофе и сигары. Потом все убрали, кроме кошек, которые, насытившись, улеглись треугольником перед камином.

Сквозь дым двух сигар Майкл смотрел на старика; и хотелось почерпнуть из этого источника мудрости, но брало сомнение: выдержит ли, очень уж он стар! Ну что ж! Попробовать можно.

— Вы знаете Блайта, сэр? Редактора «Аванпоста»? Он пылкий ваш сторонник. А я лишь рупор.

— Знаю его еженедельник, один из лучших. Но слишком умничает.

— Вы разрешите мне воспользоваться случаем и задать вам несколько вопросов? — сказал Майкл.

Сэр Джемс посмотрел на огонек своей сигары.

— Валяйте!

— Скажите, сэр, может ли Англия действительно обособиться от Европы?

— А может ли она заключить союз с Европой? Альянсы, базирующиеся на обещании помощи — обещании, которое выполнено не будет,—хуже чем бесполезны.

— Но представьте себе, что вновь подвергнется вторжению Бельгия или Голландия!

— Вот разве что так. Но самое главное, мой юный друг, это чтобы в Европе знали, что сделает и чего не сделает Англия в том или ином случае. А этого они никогда не знают. «Коварный Альбион!» Хе-хе! Мы всегда скрываем свои планы до последней минуты. Большая ошибка. Получается, будто мы держим нос по ветру, что, собственно, недалеко от истины при нашей демократии.

— Как интересно, сэр,—солгал Майкл.—А что вы

скажете о пшенице? Как стабилизировать цену, чтобы таким путем поощрять развитие земледелия?

— А, это мой конек! Нам нужен хлебный заем, мистер Монт, и государственный контроль. Правительство должно ежегодно скупать заранее необходимое нам количество хлеба и делать запасы, затем по другой цене закупать хлеб у здешних фермеров— так, чтобы они имели хорошую прибыль; а на рынок выбрасывать по цене, средней между этими двумя ценами. И в самом непродолжительном времени у нас будут сеять много пшеницы и земледелие возродится.

— А не повысятся ли цены на хлеб, сэр?

— О нет.

— И не понадобится ли целая армия чиновников?

— Нет. Можно использовать имеющийся аппарат.

— Государственная торговля, сэр?—недоверчиво спросил Майкл.

Голос сэра Джемса загудел еще глуше:

— Случай исключительный — случай важный, почему бы и нет?

— Ну конечно,— поспешил согласиться Майкл.— Я никогда об этом не думал, но почему бы и нет?.. А что вы скажете об оппозиции, с какой сталкиваешься, когда речь заходит об эмиграции детей? Как вы думаете, не объясняется ли это привязанностью родителей к детям?

— Главным образом объясняется страхом лишиться заработка, получаемого детьми.

— Все же, знаете ли,— проговорил Майкл,— понятно, что не всякому хочется навсегда расстаться со своими детьми, как только им минет пятнадцать лет.

— Понятно! Человеческая природа эгоистична, молодой человек. Цепляться за них и видеть, как они гибнут у тебя на глазах или вырастают для худшей жизни, чем ты сам прожил,— вот, как вы изволили сказать, человеческая природа.

Майкл, который этого не говорил, слегка опешил.

— На эмиграцию детей потребуется очень много денег.

Ногой, обутой в туфлю, сэр Джемс потрогал кошек.

— Деньги! Золото у нас еще есть, но мы не умеем им пользоваться. Еще один стомиллионный заем — значит государственные расходы увеличатся на четыре с поло-

виной миллиона в год, и ежегодно отправляется по меньшей мере сто тысяч детей. Через пять лет мы сэкономим эту сумму, ибо не нужно будет выплачивать пособия безработным.

Он махнул сигарой и обсыпал пеплом свой бархатный пиджак.

— Да, пожалуй,— согласился Майкл, стряхивая пепел в кофейную чашку.— Но если отсылать детей вот так, оптом, сумеют ли о них позаботиться, поставить их на ноги?

— Нужно действовать постепенно; была бы охота, все можно сделать.

— А не думаете ли вы, что там они бросятся в большие города?

— Научите их любить землю и дайте им землю.

— Боюсь, что этого мало,— смело сказал Майкл.— Соблазн города очень велик.

Сэр Джемс кивнул.

— Можно жить в городах, если города не перенаселены. Те, которые поселятся в городах, будут способствовать повышению спроса на наши фабрикаты.

«Ну,— подумал Майкл,— кажется, дело идет неплохо. О чем бы еще его спросить?»

И он задумчиво созерцал кошек, беспокойно ворочавшихся перед камином. Тишину нарушило какое-то странное сопение. Майкл поднял глаза. Сэр Джемс Фоггарт спал! Спящий, он казался еще более внушительным, пожалуй, слишком внушительным, ибо храпел на всю комнату. Кошки крепче свернулись клубочком. Слегка запахло гарью. Майкл наклонился и поднял упавшую на ковер сигару. Что теперь делать? Ждать пробуждения или смыться? Бедный старик! Никогда еще фоггартизм не казался Майклу более безнадежным делом, как в этом святилище, у самого первоисточника. Заткнув уши, он сидел неподвижно. Кошки одна за другой встали. Майкл взглянул на часы. «Я опоздаю на поезд»,—подумал он и на цыпочках пошел к двери, вслед за дезертирующими кошками. Словно последние силы фоггартизма исходили в храпе! «Прощайте, сэр»,— сказал он тихо и вышел. На станцию он задумчиво шел пешком. Фоггартизм! Эта простая, но обширная программа основана, по-видимому, на предпосылке, что люди способны видеть

на два дюйма дальше собственного носа. Но верна ли эта предпосылка? А если верна, почему же тогда в Англии такое засилье городов и такое перенаселение? На одного человека, способного здраво заглянуть в будущее и на том успокоиться, имеется девять — а то и девяносто девять,— взгляды которых узки и пристрастны и которые совсем не намерены успокоиться. Политика практиков! Вот ответ на всякие умные мысли, сколько ни кричи о них. «А, да, молодой Монт — политик, но не практик!» Такой ярлык равноценен общественной смерти. И Майкл, сидя в вагоне и глядя на английскую траву, чувствовал, словно горсти земли уже сыплются на крышку его гроба. Интересно, есть ли чувство юмора у пеликанов, вопиющих в пустыне? Если нет, плохо им бедным, приходится. Трава, трава, трава! Трава и города! И скоро, опустив подбородок в воротник теплого пальто, Майкл заснул еще крепче, чем сэр Джемс Фоггарт.

V

ДЕЛО РАЗВЕРТЫВАЕТСЯ

Когда Сомс сказал: «Предоставьте это мне», он говорил то, что думал. Но, право же утомительно, что улаживать неприятности всегда приходится ему одному!

Чтобы без помехи заняться этим делом, он на время переселился к своей сестре Уинифрид Дарти на Гринстрит. В первый же вечер к обеду пришел его племянник Вэл и Сомс воспользовался случаем и спросил его, известно ли ему что-нибудь о лорде Чарлзе Ферраре

— Что вы хотите знать, дядя Сомс?

— Все, что могло бы его опорочить. Я слышал, что его отец с ним не разговаривает.

— Ходят слухи,—сказал Вэл,— что его лошадь, которая не выиграла Кембриджширского кубка, возьмет Линкольнширский.

— При чем это?

Вэл Дарти посмотрел на него сквозь ресницы. Он не намерен был вмешиваться в светские интриги.

— При том, что если он в ближайшее время не выиграет хороший куш, ему крышка.

— И это все?

— Ну, а вообще он из тех субъектов, которые очень любезны, если вы им нужны, и очень невежливы, если не могут вас использовать.

— Так я и думал, судя по его физиономии,— сказал Сомс.— Ты вел с ним какие-нибудь дела?

— Да, как-то я ему продал однолетку от Торпеды и Бэнши.

— Он тебе заплатил?

— Да,— усмехнулся Вэл,— а лошадь оказалась никуда не годной.

— Гм! Должно быть, после этого он и перестал быть любезным. Больше ты ничего не знаешь?

— Нет, ничего.— Он, конечно, знал кое-что еще, но то были сплетни; а не все, о чем, попыхивая сигарами, толкуют лошадники, годится для ушей юристов.

Как это ни странно, но Сомс, старый и опытный, не подозревал, что в так называемом «свете» изо дня в день клевещут на всех и каждого и все обходится мирно; клеветники обедают со своими жертвами, играют с ними в карты, и все исполнены лучших чувств, и знают, что стоит расстаться — и они с новыми силами будут порочить друг друга. До посторонних ушей такие милые и убийственные вещи не доходят, и Сомс понятия не имел, с какого конца приступить к делу.

— Не можешь ли ты пригласить к чаю этого мистера Кэрфью? — спросил он Флер.

— Зачем, папа?

— Я хочу кое-что у него выведать.

— Мне кажется, для этого существуют сыщики.

Сомс изменился в лице. С тех пор, как двадцать с лишним лет назад мистер Полтид накрыл его в Париже, когда он явился с визитом к собственной жене, от одного слова «сыщик» у него начиналась боль под ложечкой. Он заговорил о другом. А между тем, что он мог сделать, не прибегая к помощи сыщиков?

Как-то вечером Уинифрид ушла в театр, а Сомс закурил сигару и погрузился в размышления. Майкл снабдил его списком ультрасовременных книг и пьес, которыми интересовались люди, строго следующие моде. Он даже дал ему одну из таких книг — «Шпанская мушка» Персиваля Кэлвина. Сомс принес книгу из спальни, зажег лампу и стал читать. Просмотрев первые страницы

и не найдя в них ничего предосудительного, он решил читать с конца. Дело пошло на лад; вскоре он наткнулся на отрывок эротического содержания, от него незаметно перешел к предшествующему отрывку и так добрался до середины книги. Тогда только он с изумлением обратился к титульному листу. Чем объяснить, что и автор и издатель до сих пор на свободе? А! Книга издана за границей! Сомс вздохнул с облегчением. Дожив до шестидесяти девяти лет, не будучи ни судьей, ни присяжным, которым быть шокированными полагается по должности, он все же был потрясен. Если такие книги читают женщины, значит, действительно стерлось все, что отличало женщину от мужчины.

Он снова взялся за книгу и внимательно дочитал до самого начала. Интересовали его только эротические места. Все остальное производило впечатление бессвязной болтовни. Немного погодя он опять задумался Для чего написана эта книга? Конечно, автор хотел на ней заработать. Но, быть может, он преследовал еще какую-нибудь цель? Видно, это один из тех, которые, желая дать в произведении «жизнь», считают необходимым подробно описывать каждый визит в спальню. Кажется, у них это называется «реализмом», «искусством ради искусства»? Убедившись на печальном опыте, что «жизнь» это не только визиты в спальню, Сомс не мог согласиться с тем, что эта книга показывает жизнь как она есть. «Этот Кэлвин — оригинал, сэр,— сказал Майкл, когда принес ему роман.— По его мнению, стать целомудренным можно только путем крайнего разврата; вот он и показывает, как его герой и героиня приходят к целомудрию». «Вернее, к бедламу»,— подумал Сомс. Ну что ж, посмотрим что на это скажет английский суд. Но как доказать, что эта женщина и ее друзья читали книгу не без удовольствия? И тут его осенила мысль столь блестящая, что он должен был подумать, раньше чем в нее уверовать. Эти «ультрасовременные» молодые люди отличаются редкой самоуверенностью; считают «скучными» или «жеманными» всех, кто не разделяет их убеждений. Не выскажутся ли они откровенно, если газеты откроют против этой книги кампанию? А если они выскажутся в печати, то нельзя ли это использовать как доказательство их антиморальных убеждений? Гм. К это-

му делу нужно подойти осторожно. А прежде всего — как доказать, что Марджори Феррар книгу прочла? Размышляя, Сомс снова наткнулся на блестящую идею. Почему не использовать молодого Баттерфилда, который помог ему доказать виновность Элдерсона в той истории с ОГС и получил место в издательстве Дэнби и Уинтера по его — Сомса — рекомендации? Майкл всегда твердит, что молодой человек глубоко ему благодарен. И, прижав книгу заглавием к боку, на случай встречи с кем-нибудь из прислуги, Сомс пошел спать.

Засыпая, он подумал, как бы ставя диагноз:

«Когда я был молод, мы такие книги читали, если они нам попадались под руку, но молчали об этом; а теперь люди считают своим долгом кричать, что книгу они прочли и она принесла им пользу».

На следующее утро он позвонил из «Клуба знатоков» в издательство Дэнби и Уинтер и попросил к телефону мистера Баттерфилда.

— Да?

— Говорит мистер Форсайт. Вы меня помните?

— О да, сэр!

— Не можете ли вы сегодня зайти в «Клуб знатоков»?

— Конечно, сэр. Если вы ничего не имеете против, я зайду в половине первого.

Сдержанный и щепетильный, когда речь заходила о вопросах пола, Сомс с неудовольствием думал о том, что ему придется говорить с молодым человеком о «непристойной» книге. Но делать было нечего, и когда Баттерфилд явился, Сомс пожал ему руку и объявил:

— Разговор будет конфиденциальный, мистер Баттерфилд.

Баттерфилд посмотрел на него с собачьей преданностью и сказал:

— Да, сэр. Я помню, что вы для меня сделали.

Сомс показал ему книгу.

— Знаете вы этот роман?

Баттерфилд слегка улыбнулся.

— Да, сэр. Он напечатан в Брюсселе. Стоит пять фунтов.

— Вы его читали?

Молодой человек покачал головой.

— Не попадался мне, сэр.

Сомс почувствовал облегчение.

— И не читайте! А теперь выслушайте меня внимательно. Можете вы купить десять экземпляров — за мой счет — и разослать их лицам, поименованным в списке, который я вам дам? Эти люди имеют некоторое отношение к литературе. Можно вложить в книги рекомендательные записки, или как это у вас называется. Никаких фамилий не упоминайте.

— Цена все время повышается, сэр,— предостерег Баттерфилд.— Вам это будет стоить около шестидесяти фунтов.

— Неважно.

— Вы хотите сделать рекламу, сэр?

— О господи! Конечно, нет! У меня есть основания, но это к делу не относится.

— Понимаю, сэр. И вы хотите, чтобы книги, так сказать, с неба свалились?

— Вот именно,— сказал Сомс.— Насколько мне известно, издатели часто рассылают сомнительные книги людям, которым, по их мнению, такие книги придутся по вкусу. Слушайте дальше: можете ли вы зайти через неделю к одному из тех лиц, кому вы разошлете книги? Вы будете разыгрывать роль агента и предложите купить еще экземпляр романа. Дело в том, что я хочу наверно знать, действительно ли роман получен и прочтен этой особой. Своей фамилии вы, конечно, не называйте. Сделаете это для меня?

Глаза молодого человека загорелись.

— Конечно, сэр. Я многим вам обязан, сэр.

Сомс отвернулся. Он не любил, когда его благодарили.

— Вот список фамилий с адресами. Я подчеркнул фамилию той особы, к которой вам придется зайти. Сейчас я вам выпишу чек. Если этих денег не хватит, вы мне сообщите.

Пока он писал, Баттерфилд просматривал список.

— Я вижу, сэр, что особа, к которой я должен зайти,— женщина.

— Да, для вас это имеет значение?

— Никакого, сэр, современные романы предназначаются для женщин.

— Гм! — сказал Сомс.— Надеюсь, дела у вас идут хорошо?

— Прекрасно, сэр. Я так жалел, что мистер Монт ушел от нас; после его ухода дела у нас пошли еще лучше.

Сомс поднял бровь. Эти слова подтвердили давнишние его подозрения.

Когда молодой человек ушел, Сомс начал перелистывать «Шпанскую мушку». Не написать ли ему заметку в газету и подписаться «Pater familias»? [1] Нет, для этого нужен человек, сведущий в такого рода делах. А кроме того, не годится, чтобы заметка была анонимной. С Майклом советоваться не стоит, но, может быть, «Старый Монт» знает какую-нибудь влиятельную персону из «Партенеума». Сомс потребовал оберточной бумаги, завернул в нее книгу, сунул сверток в карман пальто и отправился в «Клуб шутников».

Сэр Лоренс собирался завтракать, и они вместе уселись за стол. Убедившись, что лакей не подсматривает, Сомс показал книгу.

— Вы это читали?

Сэр Лоренс залился беззвучным смехом.

— Дорогой мой Форсайт, что за нездоровое любопытство? Все это читают и говорят, что книга возмутительная.

— Значит, вы не читали? — настаивал Сомс.

— Нет еще, но если вы мне ее дадите, прочту. Мне надоело слушать, как люди, читавшие ее взасос, пристают с вопросом, читал ли я эту «гнусную вещь». Это несправедливо, Форсайт. А вам она понравилась?

— Я ее просмотрел,— ответил Сомс, созерцая свой нос.— У меня были причины для этого. Когда вы прочитаете, я вам объясню.

Два дня спустя сэр Лоренс принес ему книгу в «Клуб знатоков».

— Получайте, дорогой Форсайт! — сказал он.— Как я рад, что от нее отделался! Все время я пребывал в страхе, как бы кто-нибудь не подглядел, что я читаю! Персиваль Кэлвин — quel sale monsieur! [2]

— Именно! — сказал Сомс.— Так вот, я хочу открыть кампанию против этой книги.

[1] Отец семейства *(лат.)*.

[2] Какая гнусная личность! *(франц.)*

— Вы? Что за непонятное рвение?

— Это длинная история,— сказал Сомс, садясь на книгу.

Он объяснил свой план и закончил так:

— Ничего не говорите ни Майклу, ни Флер.

Сэр Лоренс выслушал его с улыбкой.

— Понимаю,— сказал он,— понимаю! Очень умно, Форсайт. Вы хотите, чтобы я отыскал какого-нибудь человека, чья фамилия подействовала бы на них, как красная тряпка на быка. Писатель для этой цели не годится; они скажут, что он завидует,— и, пожалуй, будут правы: книга идет нарасхват. Знаете, Форсайт, я, кажется, обращусь к женщине.

— К женщине! — повторил Сомс.— На женщину они не обратят внимания.

Сэр Лоренс вздернул свободную бровь.

— Пожалуй, вы правы: теперь обращают внимание только на таких женщин, которые сами всякого мужчину перещеголяют. Может, мне написать самому и подписаться «Оскорбленный отец»?

— Мне кажется, анонимная заметка не годится.

— И тут вы правы, Форсайт; действительно не годится. Я загляну в «Партенеум» и посмотрю, кто там еще жив.

Два дня спустя Сомс получил записку:

«Партенеум».
Пятница.

Дорогой Форсайт.

Я нашел нужного человека — это редактор «Героя», и он готов подписать свою фамилию. Кроме того, я соответствующим образом его настроил. У нас был оживленный спор. Сначала он хотел отнестись к автору de haut en bas [1], обойтись с ним, как с нечистоплотным ребенком. Но я сказал: «Нет, это явление симптоматично. Отнеситесь к нему с должной серьезностью. Докажите, что книга показательна для целой школы, для определенного литературного направления. Создайте из этого повод для защиты цензуры». Слово «цензура», Форсайт, необходимо для того, чтобы их раздразнить. Итак, редактор решил расстаться с женой и, прихватив с собой

[1] Свысока *(франц.)*.

книгу, уехать на субботу и воскресенье за город. Я восхищаюсь Вашим методом защиты, дорогой Форсайт, но Вы меня простите, если я скажу, что значительно важнее не доводить дело до суда, чем выиграть в суде.

Искренне преданный *Лоренс Монт*».

С последней мыслью Сомс был до того согласен, что уехал в Мейплдерхем и следующие два дня, чтобы успокоиться, ходил по полю и гонял палкой мяч в обществе человека, который ему совсем не нравился.

VI

МАЙКЛ ЕДЕТ В БЕТНЕЛ-ГРИН

Чувство уныния, с которым Майкл вернулся от «первоисточника», несколько рассеялось благодаря письмам, которые он получал от самых разнообразных лиц; писали ему большей частью люди молодые — писали сочувственно и очень серьезно. Он стал подумывать, не слишком ли в конечном счете беспечны политики-практики, напоминающие конферансье в мюзик-холле, которые изо всех сил стараются заставить публику забыть, что у нее есть вкус. И зародилось подозрение: являются ли палата и даже пресса подлинными выразителями общественного мнения? Между прочим, получил он такое письмо:

«Солнечный приют».
Бетнел-Грин.

Дорогой мистер Монт,

Я была так рада, когда прочла Вашу речь в «Таймсе». Я сейчас же купила книгу сэра Джемса Фоггарта. Мне кажется, его план великолепен. Вы не знаете, как тяжело нам, пытающимся сделать что-то для детей,— как тяжело нам сознавать, что жизнь, которую приходится вести детям по окончании школы, сводит на нет всю нашу работу. Ведь мы лучше, чем кто бы то ни было, знаем, в каких условиях живут лондонские дети. Многие матери, которым и самим живется несладко, все готовы сделать для своих малышей; но мы часто замечали, что, когда ребенку исполнится десять—двенадцать лет, эта любовь принимает иные формы. Мне кажется,

тогда-то родители и начинают понимать, что ребенка можно использовать как работника. Там, где пахнет деньгами, нет места для бескорыстной любви. Пожалуй, это естественно, но тем не менее очень печально, ибо заработок детей ничтожен и жизнь ребенка приносится в жертву ради нескольких шиллингов. Всей душой надеюсь, что Ваше выступление принесет плоды; но все делается так медленно, не правда ли? Хорошо бы Вам приехать сюда, посмотреть наш приют. Дети прелестны, и мы стараемся дать им побольше солнца.

Искренне Вам преданная *Нора Кэрфью*».

Сестра Бэрти Кэрфью! Но, конечно, процесса не будет, все обойдется! Благодарный за сочувствие, хватаясь за каждую возможность получше разобраться в фоггартизме, Майкл решил ехать. Быть может, Нора Кэрфью примет в свой приют детей Боддика! Он предложил Флер ехать вместе, но она побоялась занести в дом заразу, опасную для одиннадцатого баронета, и Майкл отправился один.

Приют находился в местности, называемой Бетнел-Грин; три маленьких домика были соединены в один; три дворика, обнесенные общей стеной, превращены в площадку для игр; над входной дверью золотыми буквами было начертано: «Солнечный приют». На окнах висели веселые ситцевые занавески, стены были окрашены в кремовый цвет. В передней Майкла встретила Нора Кэрфью, высокая, стройная, темноволосая; у нее было бледное лицо и карие глаза, ясные и чистые.

«Да,— подумал Майкл, пожимая ей руку,— вот здесь все в полном порядке. В этой душе нет темных закоулков!»

— Как хорошо, что вы приехали, мистер Монт! Я вам покажу весь дом. Вот комната для игр.

Майкл вошел в залу — видимо, несколько маленьких комнат были соединены в одну. Шесть ребятишек в синих полотняных платьях сидели на полу и играли в какие-то игры. Когда Нора Кэрфью подошла к ним, они уцепились за ее платье. Все они, за исключением одной девочки, показались Майклу некрасивыми.

— Вот эти живут у нас постоянно. Остальные прихо-

дят после школы. Сейчас у нас только пятьдесят человек, но все-таки очень тесно. Нужно раздобыть денег, чтобы арендовать еще два дома.

— Какой у вас персонал?

— Нас шесть человек; две занимаются стряпней, одна бухгалтерией, а остальные стирают, штопают, играют с детьми и исполняют всю работу по дому. Две из нас живут здесь.

— Где же ваши арфы и венцы?

Нора Кэрфью улыбнулась.

— Заложены,— сказала она.

— Как вы разрешаете вопрос религии? — спросил Майкл, озабоченный воспитанием одиннадцатого баронета.

— В сущности — никак. Здесь нет детей старше двенадцати лет, а религиозными вопросами дети начинают интересоваться лет с четырнадцати, не раньше. Мы просто стараемся приучать детей быть веселыми и добрыми. На днях сюда приезжал мой брат. Он всегда надо мной подсмеивается, но все-таки хочет поставить в нашу пользу спектакль.

— Какая пойдет пьеса?

— Кажется, «Прямодушный»; брат говорит, что он уже давно предназначил эту пьесу для какого-нибудь благотворительного спектакля.

Майкл посмотрел на нее с удивлением.

— А вы знаете, что это за пьеса?

— Нет. Кажется, одного из драматургов Реставрации?

— Уичерли [1].

— Ах да!— Глаза ее остались такими же ясными.

«Бедняжка! — подумал Майкл.— Не мое дело объяснять ей, что̀ послужит источником ее доходов, но этот Бэрти, видимо, не прочь подшутить».

— Я должен привезти сюда жену,— сказал он,— ей понравится цвет стен и эти занавески. И еще скажите, не могли бы вы потесниться и принять двух маленьких девочек, если мы будем за них платить? Их отец безра-

[1] Уичерли (1640—1716). В его пьесах, в том числе и в «Прямодушном» (1674), показано развращенное высшее общество Англии конца XVII века. Пьесы чрезвычайно «вольные» как по языку, так и по ситуациям.

ботный — я хочу дать ему работу за городом; матери нет.

Нора Кэрфью сдвинула брови, и лицо ее выразило напряженное желание одной доброй волей преодолеть все препятствия.

— Нужно попытаться,— сказала она.— Как-нибудь устрою. Как их зовут?

— Фамилия Боддик, имен я не знаю. Одной — четыре года, другой — пять.

— Дайте мне адрес, я сама к ним заеду. Если они не больны какой-нибудь заразной болезнью, мы их возьмем.

— Вы — ангел! — сказал Майкл.

Нора Кэрфью покраснела.

— Вздор! — сказала она, открывая дверь в соседнюю комнату.— Вот наша столовая.

Комната была небольшая. За пишущей машинкой сидела девушка, она подняла голову, когда вошел Майкл. Другая девушка сбивала яйца в чашке и в то же время читала томик стихов. Третья, видимо, занималась гимнастикой — она так и застыла с поднятыми руками.

— Это мистер Монт,— сказала Нора Кэрфью,— мистер Монт, который произнес в палате ту самую прекрасную речь. Мисс Бэтс, мисс Лафонтэн, мисс Бистон.

Девушки поклонились, и та, что сбивала яйца, сказала:

— Замечательная речь.

Майкл тоже поклонился.

— Боюсь, что все это впустую.

— Ну что вы, мистер Монт, она возымеет действие. Вы сказали то, о чем многие думают.

— Но знаете,— сказал Майкл,— они так глубоко прячут свои мысли!

— Садитесь же.

Майкл опустился на синий диван.

— Я родилась в Южной Африке,— сказала та, которая сбивала яйца,— и знаю, что значит ждать.

— Мой отец был в палате,— сказала девушка, занимавшаяся гимнастикой.— Ваша речь произвела на него глубокое впечатление. Во всяком случае, мы вам благодарны.

Майкл переводил взгляд с одной на другую.

— Если б вы ни во что не верили, вы не стали бы

здесь работать, правда? Уж вы-то, наверное, не считаете, что Англия дошла до точки?

— О боже! Конечно, нет! — сказала девушка, сидевшая за машинкой.— Нужно пожить среди бедняков, чтобы это понять.

— В сущности, я имел в виду другое,— сказал Майкл.— Я размышлял, не нависла ли над нами серьезная опасность.

— Вы говорите о ядовитых газах?

— Пожалуй, но это не все; тут и гибельное влияние городов и банкротство цивилизации.

— Не знаю,— отозвалась хорошенькая брюнетка, сбивавшая яйца.— Я тоже так думала во время войны. Но ведь Европа — это не весь мир. В сущности, она большого значения не имеет. Здесь и солнце-то почти не светит.

Майкл кивнул.

— В конце концов если здесь, в Европе, мы сотрем друг друга с лица земли, то появится только новая пустыня величиной с Сахару, погибнут люди, слишком бедствовавшие, чтобы приспособиться к жизни, а для остального человечества наша судьба послужит уроком, не правда ли? Хорошо, что континенты далеко отстоят один от другого!

— Весело! —воскликнула Нора Кэрфью.

Майкл усмехнулся.

— Я невольно заражаюсь атмосферой этого дома. Знаете, я вами восхищаюсь: вы от всего отказались, чтобы прийти сюда работать.

— Пустяки,— сказала девушка за машинкой.— От чего было отказываться — от фокстротов? Во время войны мы привыкли работать.

— Уж коли на то пошло,— вмешалась девушка, сбивавшая яйца,— мы вами восхищаемся гораздо больше: вы не отказываетесь от работы в парламенте.

Снова Майкл усмехнулся.

— Мисс Лафонтэн, вас зовут на кухню!

Девушка, сбивавшая яйца, направилась к двери.

— Вы умеете сбивать яйца? Я сию минуту вернусь.

И, вручив Майклу чашку и вилку, она скрылась.

— Какой позор! — воскликнула Нора Кэрфью.— Дайте мне!

— Нет,— сказал Майкл,— я умею сбивать яйца. А как вы смотрите на то, что в четырнадцать лет детей придется отрывать от дома?

— Конечно, многие будут резко возражать,— сказала девушка, сидевшая за машинкой,— скажут, что бесчеловечно, жестоко. Но еще бесчеловечнее держать детей здесь.

— Хуже всего,— сказала Нора Кэрфью,— этот вопрос о заработках детей и еще идея о вмешательстве одного класса в дела другого. Да и имперская политика сейчас не в моде.

— Еще бы она была в моде,— проворчала гимнастка.

— О,— сказала машинистка,— но ведь это не та имперская политика, не правда ли, мистер Монт? Это скорее стремление уравнять права доминионов и метрополии.

Майкл кивнул.

— Содружество наций.

— Это не помешает маскировать подлинную цель; сохранить заработок детей,— сказала гимнастка.

И три девушки стали подробно обсуждать вопрос, насколько заработки детей увеличивают бюджет рабочего. Майкл сбивал яйца и слушал. Он знал, сколь важен этот вопрос. Согласились на том, что дети часто зарабатывают больше, чем себе на пропитание, но что «в конечном счете это недальновидно», потому что приводит к перенаселению и безработице, и «просто стыдно» портить детям жизнь ради родителей.

Разговор прервался, когда вошла девушка, сбивавшая яйца.

— Дети собираются, Нора.

Гимнастка исчезла. Нора Кэрфью сказала:

— Ну, мистер Монт, хотите взглянуть на них?

Майкл последовал за ней. Он думал: «Жаль, что Флер со мной не поехала!» Казалось, эти девушки действительно во что-то верили.

Стоя в передней, Майкл смотрел, как дом наполняется детьми. Они казались странной смесью малокровия и жизнеспособности, живости и послушания. Многие выглядели старше своих лет, но были непосредственны, как щенята, и, видимо, никогда не задумывались о будущем. Казалось, каждое их движение, каждый жест мог быть

последним. Почти все принесли с собой что-нибудь поесть. Они болтали и не смеялись. Их произношение оставляло желать много лучшего. Шесть-семь ребят показались Майклу хорошенькими, и почти у всех вид был добродушный. Движения их были порывисты. Они тормошили и Нору Кэрфью и гимнастку, повиновались беспрекословно, ели без всякого аппетита и приставали к кошке. Майкл был очарован.

Вместе с ними пришли четыре или пять женщин — матери, которым нужно было о чем-нибудь спросить или посоветоваться. Они тоже были в прекрасных отношениях с воспитательницами. В этом доме не было речи о классовых различиях; значение имела только человеческая личность. Майкл заметил, что дети отвечают на его улыбку, а женщины остаются серьезными, хотя Норе Кэрфью и девушке, занимавшейся гимнастикой, они улыбались. Интересно, поделились бы они с ним своими мыслями, если б знали о его речи?

Нора Кэрфью проводила его до двери.

— Не правда ли, они милые?

— Боюсь, как бы мне не отречься от фоггартизма, если я слишком долго буду на них смотреть.

— Что вы! Почему?

— Видите ли, фоггартизм хочет сделать из них собственников.

— Вы думаете, что это их испортит?

Майкл усмехнулся.

— С серебряной ложкой связана опасность. Вот мой вступительный взнос.

Он вручил ей все свои деньги.

— О мистер Монт, право же...

— Ну так верните мне шесть пенсов, иначе мне придется идти домой пешком.

— Какой вы добрый! Навещайте нас и, пожалуйста, не отрекайтесь от фоггартизма.

По дороге на станцию он думал о ее глазах, а вернувшись домой, сказал Флер:

— Ты непременно должна туда съездить и посмотреть. Чистота там изумительная и дух бодрый. Я набрался сил. Молодец эта Нора Кэрфью.

Флер посмотрела на него из-под опущенных ресниц.

— Да? — сказала она.— Хорошо, съезжу.

VII

КОНТРАСТЫ

На десяти акрах земли за рощей в Липпингхолле сквозь известь и гравий пробивалась чахлая трава; вокруг высился забор — символ собственности. Когда-то здесь пробовали держать коз, но затея не удалась, потому что в стране, не снисходившей до занятия сельским хозяйством, никто не желал пить козье молоко; с тех пор участок пустовал. Но в декабре этот уголок — бедный родственник владений сэра Лоренса Монта — подвергся энергичной эксплуатации. У самой рощи поставили дом, и целый акр земли превратили в море грязи. Сама роща поредела и приуныла от опустошительного рвения Генри Боддика и еще одного человека, в изобилии рубивших на доски лес, из которого подрядчик упорно отказывался строить сарай и курятник. Об инкубаторе пока можно было только смутно мечтать. Вообще дело подвигалось не слишком быстро, но была надежда, что скоро после нового года куры смогут приступить к исполнению своих обязанностей. Майкл решил, что колонистам пора переселяться. Он наскреб мебели в доме отца, завез сухих продуктов, мыла и несколько керосиновых ламп, поселил Боддика в левой комнате, среднюю отвел Бергфелдам, а правую — Суэну. Он сам встретил их, когда автомобиль сэра Лоренса доставил их со станции. День был серый, холодный; с деревьев капало, из-под колес машины летели брызги. Стоя в дверях, Майкл смотрел, как они выгружаются, и думал, что никогда еще он не видал столь неприспособленных к жизни созданий. Первым вышел из машины Бергфелд, облаченный в свой единственный костюм; у него был вид безработного актера, что вполне соответствовало истине. Затем появилась миссис Бергфелд. У нее не было пальто, и она, казалось, совсем закоченела, что тоже соответствовало истине. Суэн вышел последним. Не то чтобы его изможденное лицо улыбалось, но он поглядывал по сторонам, словно говоря: «Ну и ну!»

Боддик, очевидно, наделенный даром предвидения, ушел в рощу. «Он — единственное мое утешение»,— подумал Майкл.

Проводив приезжих в кухню, служившую в то же

время столовой, Майкл достал бутылку рома, печенье и термос с горячим кофе.

— Мне ужасно досадно, что здесь такой беспорядок. Но, кажется, дом сухой и одеял много. Неприятный запах от этих керосиновых ламп. Вы скоро ко всему привыкнете, мистер Суэн: ведь вы побывали на войне. Миссис Бергфелд, вы как будто озябли: налейте-ка рому в кофе; мы так делали перед атакой.

Все налили себе рому, что возымело свое действие. У миссис Бергфелд порозовели щеки и потемнели глаза. Суэн заметил, что домик «хоть куда», а Бергфелд приготовился произнести речь. Майкл его прервал:

— Боддик вам все объяснит и покажет. Я должен ехать: боюсь опоздать на поезд.

Дорогой он размышлял о том, что покинул свой отряд перед самой атакой. Сегодня он должен быть на званом обеде; яркий свет, драгоценности и картины, вино и болтовня; на деньги, каких стоит такой обед, его безработные могли бы просуществовать несколько месяцев; но о них и им подобных никто не думает. Если он обратит на это внимание Флер, она скажет:

— Мой милый мальчик, ведь это точно из романа Гэрдона Минхо, ты делаешься сентиментальным!

И он почувствует себя дураком. Или, быть может, посмотрит на ее изящную головку и подумает: «Легкий способ разрешать проблемы, моя дорогая, но те, кто так подходит к делу, страдают недомыслием». А потом глаза его скользнут вниз по ее белой шее, и кровь у него закипит, и рассудок восстанет против такого богохульства, ибо за ним — конец счастью. Дело в том, что наряду с фоггартизмом и курами Майклу подчас приходили в голову серьезные мысли в такие минуты, когда у Флер никаких мыслей не было; и, умудренный любовью, он знал, что ее не переделаешь и надо привыкать. Обращение таких, как она, возможно только в дешевых романах. Приятно, когда эгоистка-героиня, забыв о всех земных благах, начинает заботиться о тех, у кого их нет; но в жизни так не бывает. Хорошо еще, что Флер так изящно маскирует свой эгоизм; и с Китом... впрочем, Кит — это она сама!

Вот почему Майкл не заговорил с Флер о своих безработных, когда ехал с ней обедать на Итон-сквер. Вместо

этого он прослушал лекцию об одной высокой особе, в жилах которой текла королевская кровь,— эта особа должна была присутствовать на обеде. Он подивился осведомленности Флер.

— Она интересуется социальными вопросами. И не забудь, Майкл,— нельзя садиться, пока она не пригласит тебя сесть; и не вставай, пока она не встанет.

Майкл усмехнулся.

— Должно быть, там будут всякие важные птицы. Не понимаю, зачем они нас пригласили.

Но Флер промолчала: она обдумывала свой реверанс.

Особа королевской крови держала себя любезно, обед был великолепен, ели с золотых тарелок, блюда подавались с невероятной быстротой, что Флер приняла к сведению. Из двадцати четырех обедавших она была знакома с пятью, а остальных знала смутно, больше по иллюстрированным журналам. Там она видела их всех— они разглядывали на ипподромах скаковых лошадей, появлялись на фотоснимках со своими детьми или собаками, произносили речи о колониях или целились в летящую куропатку. Она тотчас же догадалась, почему на обед пригласили ее и Майкла. Его речь! Словно новый экземпляр в зоологическом саду, он возбуждал любопытство. Она видела, как гости посматривали в его сторону: он сидел напротив нее между двумя толстыми леди в жемчугах. Возбужденная и очень хорошенькая, Флер флиртовала с адмиралом, сидевшим по правую ее руку, и энергично защищала Майкла от нападок товарища министра, сидевшего слева. Адмирал был сражен, товарищ министра, по молодости лет, устоял.

— Недостаток знания — опасная вещь, миссис Монт,— сказал он, когда настала его очередь.

— Где-то я об этом читала,—сказала Флер.—Уж не в библии ли?

Товарищ министра вздернул подбородок.

— Быть может, мы, работники министерства, знаем слишком много, но, несомненно, ваш супруг знает недостаточно. Фоггартизм — забавная теория, но и только!

— Посмотрим,—сказала Флер.— А вы что скажете, адмирал?

— Фоггартизм? Что это такое? Какой-нибудь новый «луч смерти»? Знаете ли, миссис Монт, я вчера видел

одного человека, так он — честное слово — открыл луч такой силы, что проходит через трех быков и девятидюймовую кирпичную стену и поражает осла, стоящего за стеной.

Флер искоса взглянула на своего соседа слева и, наклонившись к адмиралу, прошептала:

— Хорошо бы, если б вы поразили осла, сидящего по левую мою руку; он в этом нуждается, а я тоньше девятидюймовой стены.

Но адмирал не успел направить свой «луч смерти»: особа королевской крови встала из-за стола.

В гостиной, куда перешла Флер, она некоторое время мало говорила и многое подмечала, потом к ней подошла хозяйка дома.

— Моя дорогая, ее высочество...

Флер, собираясь с мыслями, последовала за хозяйкой.

Сердечным жестом белой руки ей указали место на диване. Флер села. Сердечный голос сказал:

— Какую интересную речь произнес ваш муж! Она показалась мне такой новой и свежей.

— Да, мэм,— ответила Флер,— но говорят, что это ни к чему не поведет.

Улыбка скользнула по губам, не тронутым краской.

— Возможно. Он давно в парламенте?

— Только год.

— А! Мне понравилось, что он выступил в защиту детей.

— Кое-кто находит, что он проповедует новый вид рабства для детей.

— В самом деле? А у вас есть дети?

— Один ребенок,— сказала Флер.— И признаюсь, я бы не согласилась с ним расстаться, когда ему исполнится четырнадцать лет.

— Да? А вы давно замужем?

— Четыре года.

В эту минуту кто-то привлек к себе внимание высокой особы, и она вежливо закончила разговор. Флер показалось, что ее высочество осталась не вполне довольна ее семейной статистикой.

Домой они возвращались в такси, медленно пробиравшемся сквозь густой туман. Флер была оживлена и взволнована, а Майкл молчал.

— Что с тобой, Майкл?

Тотчас же его рука легла ей на колено.

— Прости, милочка! Но, право же, как подумаешь...

— О чем? Ты имел успех, привлек всеобщее внимание.

— Все это — игра. Подавай им что-нибудь новенькое!

— Принцесса очень мило о тебе отзывалась.

— Ой, бедняжка! Впрочем, к чему только не привыкнешь!

Флер засмеялась. Майкл продолжал:

— За каждую новую идею хватаются и говорят столько, что она погибает. Дальше слов дело не идет, а слова утомляют; и не успеешь оглянуться — идея устарела!

— Ну, уж это неправда, Майкл! А как же свобода торговли, равноправие женщин?

Майкл стиснул ее колено.

— Все женщины говорят мне: «Ах, как интересно, мистер Монт! Это так волнует!» А мужчины заявляют: «Очень любопытно, Монт! Но на практике, конечно, неосуществимо». А у меня один ответ: «Во время войны осуществлялись не менее грандиозные замыслы». Боже, ну и туман!

Действительно, они продвигались со скоростью улитки, а в окно можно было разглядеть только, как высоко, одно за другим, появлялись расплывшиеся пятна фонарей. Майкл опустил раму и высунулся.

— Где мы?

— А бог его знает, сэр.

Майкл кашлянул, снова поднял раму и покрепче обнял Флер.

— Знаешь, Уэстуотер спросил меня, читал ли я «Шпанскую мушку». Говорит, что в «Герое» появилась ругательная статья. В результате, конечно, книгу будут покупать нарасхват.

— Говорят, очень остроумная книга.

— Для детей не годится, взрослым ничего нового не открывает. Не понимаю, чем можно ее оправдать.

— Талантливо написана, дорогой мой. Если на нее нападают, то ее будут и защищать.

— Сиб Суон возмущается, говорит, что это гадость.

— Да, но Сиб уже немного устарел.

— Это-то верно,— задумчиво сказал Майкл.— О черт, как все быстро делается, только не в политике и не в тумане.

Такси остановилось. Майкл снова опустил раму.

— Я заблудился, сэр,— раздался хриплый голос шофера.— Мы должны быть неподалеку от набережной, но пусть меня повесят, если я знаю, где поворот.

Майкл застегнул пальто и, снова подняв окно, вышел из автомобиля.

Ночь была тихая; тишину нарушали только протяжные гудки автомобилей. Туман, холодный и едкий, проникал в легкие.

— Я пойду рядом с вами, сейчас мы едем у самого тротуара. Ползите дальше, пока мы не въедем в реку или в полисмена.

Такси двинулось вперед. Майкл шел рядом, нащупывая ногой край тротуара.

Послышался голос какого-то невидимого человека:

— Вот чертов туман!

— Да,— сказал Майкл.— Где мы?

— В сердце цивилизации двадцатого века.

Майкл засмеялся и пожалел об этом: у тумана был привкус грязи.

— Подумайте о полисменах! — продолжал голос.— Каково им стоять всю ночь напролет!

— Да, молодцы,— ответил Майкл.— Где вы, сэр?

— Здесь, сэр. А вы где?

Внезапно над головой Майкла показалась мутная луна — фонарь. Такси остановилось.

— Только бы мне учуять здание парламента! — сказал шофер.— Сейчас они там ужинают.

— Слушайте! — воскликнул Майкл.— Пробил Большой Бэн. Это слева.

— Нет, сзади,— сказал шофер.

— Не может быть, а то мы были бы в реке. Разве что вы свернули в другую сторону.

— Понятия не имею, где я свернул,— чихая, сказал шофер.— Не бывало еще такого тумана.

— Остается одно: ехать потихоньку вперед, пока мы на что-нибудь не наткнемся.

Такси снова тронулось, а Майкл, придерживаясь рукой за автомобиль, ногой нащупывал выступ тротуара.

— Осторожнее! — воскликнул он вдруг.— Впереди машина!

За этим последовал толчок.

— Эй, вы там! — раздался голос.— Куда едете? Не видите, что ли?

Майкл подошел к такси, ехавшему впереди них.

— Разве можно так гнать,— сказал шофер,— подумаешь — луна светит!

— Простите, все обошлось благополучно,— сказал Майкл.— Вы еще соображаете, в какую сторону нужно ехать?

— Все рестораны закрыты, вот беда! Передо мной едет какой-то автомобиль; я уже три раза его задел, а толку никакого. Должно быть, шофер умер. Может быть, вы, мистер, пройдете вперед и посмотрите?

Майкл направился было к темной массе впереди, но в эту секунду туман словно поглотил ее. Майкл пробежал несколько шагов, чтобы окликнуть шофера, споткнулся, упал и поспешно поднялся. Он пошел вдоль тротуара, но вскоре сообразил, что свернул не в ту сторону, остановился и крикнул: «Алло!» В ответ послышалось слабое: «Алло!» Откуда? Он повернул назад и снова крикнул. Никакого ответа! Как испугается Флер! Он заорал во все горло. Как эхо, долетели пять-шесть «алло». Кто-то сказал над самым его ухом:

— Заблудились вы, что ли?

— Да, а вы?

— Ну ясно Потеряли что-нибудь?

— Такси.

— А что-нибудь там осталось?

— Моя жена.

— Ого! Ну, сегодня-то уж вам ее не найти.

Раздался хриплый непристойный смех, и темная фигура расплылась в тумане. Майкл стоял неподвижно. «Не терять голову,— подумал он.— Вот тротуар — либо они впереди, либо сзади; а может быть, я завернул за угол». Он пошел вперед вдоль тротуара. Ничего! Вернулся назад. Ничего!

— Куда я забрался? — пробормотал он.— Или они поехали дальше?

Было холодно, но он обливался потом. Флер, конечно, испугалась, и у него невольно вырвалась цитата из об-

ращения к избирателям: «В первую очередь путем борьбы с дымом».

— Скажите-ка, мистер, нет ли у вас папиросы? — послышался чей-то голос.

— Я вам отдам все папиросы и прибавлю еще полкроны, если вы отыщите такси, в котором сидит дама, оно где-то здесь поблизости. Какая это улица?

— Не спрашивайте! Улицы словно взбесились.

— Слушайте! — резко сказал Майкл.

— Правильно,— чей-то нежный голос окликает.

— Алло! — крикнул Майкл.— Флер!

— Здесь! Здесь!

Голос долетал справа, слева, сзади. Потом раздался протяжный гудок автомобиля.

— Ну теперь мы их найдем,— сказал сгусток темноты.— Сюда, мистер! Ступайте осторожно и помните о моих мозолях!

Кто-то потянул Майкла за рукав пальто.

— Точно дымовая завеса перед атакой,— сказал незнакомец.

— И правда. Алло! Иду!

Гудок прозвучал на расстоянии двух шагов. Послышался голос:

— О Майкл!

Он лицом коснулся лица Флер, высунувшейся из окна такси.

— Одну секунду, дорогая! Получайте, мой друг! Очень вам благодарен. Надеюсь, вы благополучно доберетесь до дому.

— Мы видели ночки и похуже этой. Спасибо, мистер! Всего хорошего вам и вашей леди.

Послышалось шарканье ног, туман вздохнул: «Прощайте!»

— Ну, сэр, теперь я знаю, где мы,— прохрипел шофер.— Первый поворот налево, потом второй направо. А я думал, что вы заблудились, сэр!

Майкл сел в такси и обнял Флер. Она глубоко вздохнула и притихла.

— Страшная штука туман,— сказал он.

— Я думала, что тебя переехали.

Майкл был глубоко растроган.

— Ужасно досадно, милочка! А ты наглоталась это-

го отвратительного тумана. Ну ничего, приедем — зальем его чем-нибудь. Парень, который меня проводил,— бывший солдат. Любопытно, что англичане всегда острят и не теряют головы.

— А я потеряла!

— Ну, теперь ты ее нашла! — сказал Майкл, прижимая к себе ее голову и стараясь скрыть волнение.— В конце концов туман — это наша последняя надежда. Пока у нас есть туман, Англия не погибнет.— Губы Флер прижались к его губам.

Он принадлежал ей, и не допустит она, чтобы он затерялся в тумане Лондона или фоггартизма! Так вот что? Потом все мысли исчезли.

У открытой дверцы стоял шофер.

— Мы приехали в ваш сквер, сэр. Может быть, вы узнаете свой дом?

Оторвавшись от Флер, Майкл пробормотал:

— Ладно!

Здесь туман был не такой густой. Майкл разглядел очертания деревьев.

— Вперед и направо, третий дом.

Да, вот он — дом, лавровые деревья в кадках, полукруглое окно холла освещено. Майкл вставил ключ в замочную скважину.

— Хотите выпить стаканчик? — предложил он.

Шофер кашлянул.

— Не откажусь, сэр.

Майкл принес ему виски.

— Вам далеко ехать?

— К Пэтнейскому мосту. За ваше здоровье, сэр!

Майкл всматривался в его озябшее лицо.

— Жаль, что вам придется опять блуждать в тумане.

Шофер вернул ему стакан.

— Благодарю вас, сэр; теперь-то уж я не собьюсь с дороги. Поеду вдоль реки, а потом по Фулхем-Род. Вот уж не думал, что могу заблудиться в Лондоне. Зря я попробовал срезать, мне бы ехать напрямик в объезд. Напугалась ваша леди, когда вы там пропали. Ну да ничего, обойдется. Не годится людям жить в эдаком тумане. Хоть бы в парламенте придумали от него средство.

— Да, следовало бы,— отозвался Майкл, протягивая ему фунтовую бумажку.— Спокойной ночи!

— Нет худа без добра,— сказал шофер, трогая машину.— Спокойной ночи, сэр. Благодарю вас.

— Вам спасибо,— сказал Майкл.

Такси медленно отъехало от подъезда и скрылось из виду.

Майкл вошел в испанскую столовую. Под картиной Гойи Флер кипятила воду в серебряном чайнике и жарила сухарики. Какой контраст с внешним миром, где черный, зловонный туман, и холод, и страхи! В этой красивой, теплой комнате, в обществе красивой, теплой женщины стоит ли думать о паутине города, о заблудившихся людях и об окриках в тумане?

Закурив папироску, он взял из рук Флер чашку и поднес ее к губам.

— Право же, Майкл, мы должны купить автомобиль!

VIII

В ПОИСКАХ УЛИК

Редактор «Героя» получил такое несомненное удовольствие, что и многим другим стало весело.

— Самое популярное зрелище на Востоке, Форсайт,— сказал сэр Лоренс,— это мальчишка, которого шлепают; а Восток только тем отличается от Запада, что там мальчишка за твердую плату готов дать себя шлепать без конца. Мистер Персиваль Кэлвин, видно, не таков.

— Если он станет защищаться,— угрюмо сказал Сомс,— никто его не поддержит.

Они ежедневно просматривали обвинительные письма, подписанные: «Мать троих детей», «Роджер из Нортхэмптона», «Викторианец», «Элис Сент-Морис», «Артур Уифкинн», «Спортсмен, если не джентльмен» и «Pro patria» [1]. Почти в каждом письме можно было найти такие слова: «Не могу утверждать, что прочел книгу до конца, но я прочел достаточно, чтобы...»

Лишь пять дней спустя слово взяла защита, но до этого появилось еще одно письмо, подписанное «Розга». В этом письме автор с удовольствием отмечал, что редактор «Героя» в своей заметке от 14-го текущего месяца

[1] За родину *(лат.)*.

изобличил так называемую «литературную» школу, и у представителей этой школы «хватило ума безропотно принять заслуженную порку». Представители школы не нашли нужным выступить хотя бы анонимно.

— Это моя скромная лепта, Форсайт,— сказал сэр Лоренс, указывая Сомсу на письмо.— Если они и на это не клюнут, мы бессильны что-либо сделать.

Но «они» клюнули. В ближайшем номере газеты появилось письмо известного романиста Л. С. Д., после которого все пошло как по маслу. Романист заявил, что этой книги он не читал; быть может, она действительно не является художественным произведением, но редактор «Героя» взял на себя роль ментора, значит, говорить о нем больше нечего. А взгляд, что литературу следует наряжать во фланелевую юбку, вообще чушь, о которой и упоминать не стоит.

К великому удовольствию Сомса, письмо романиста развязало языки защитникам новой школы. Из десяти человек, перечисленных в списке, которых Баттерфилд снабдил экземплярами «Шпанской мушки», высказались четверо и подписались полной фамилией. Они утверждали, что «Шпанская мушка», несомненно, является высокохудожественным произведением, и жалели тех, кто даже в наши дни считает, будто литература имеет отношение к нравственности. Оценивая художественные произведения, нужно помнить только об одном критерии — эстетическом. Искусство есть искусство, а нравственность есть нравственность, и пути у них разные и разными останутся. Чудовищно, что такое произведение пришлось издать за границей. Когда же Англия научится ценить талант?

Все эти письма Сомс вырезал и наклеил в тетрадь. Он получил то, что ему было нужно, и дискуссия перестала его интересовать. Кроме того, Баттерфилд сообщил ему следующее:

«Сэр,

В понедельник я нанес визит леди, о которой Вы говорили, и застал ее дома. Кажется, она была несколько недовольна, когда я предложил ей книгу. «Эту книгу,— сказала она,— я давным-давно прочла».— «Она вызвала сенсацию, сударыня»,—сообщил я.—«Знаю»,—

ответила она. Тогда я предложил: «Может быть, вы возьмете один экземпляр? Цена все время растет, книга будет стоить очень дорого».— «У меня она есть»,— сказала она. Я разузнал то, о чем Вы меня просили, сэр, и больше не настаивал. Надеюсь, Ваше поручение я исполнил. Я буду счастлив, если Вы мне поручите еще что-нибудь. Я считаю, что тем положением, какое занимаю в настоящее время, я всецело обязан Вам».

У Сомса была в запасе и еще работа для молодого человека: он думал использовать его как свидетеля. Теперь оставалось разрешить вопрос о пьесах. Он посоветовался с Майклом.

— Скажите, эта молодая женщина все еще выступает в ультрасовременном театре, о котором вы говорили?

Майкл поморщился.

— Не знаю, сэр, но могу навести справки.

Выяснилось, что Марджори Феррар предложена роль Оливии в «Прямодушном», которого Бэрти Кэрфью готовил для утренника.

— «Прямодушный»? — спросил Сомс.— Это современная пьеса?

— Да, сэр, она написана двести пятьдесят лет назад.

— А! — протянул Сомс.— Тогда народ был грубый. Но ведь она разошлась с этим молодым человеком, как же она может участвовать в спектакле?

— О, их не проймешь. Надеюсь, сэр, вы все-таки не доведете дела до суда?

— Ничего не могу сказать. Когда спектакль?

— Седьмого января.

Сомс отправился в библиотеку своего клуба и взял томик Уичерли. Начало «Прямодушного» его разочаровало, но дальше дело пошло лучше, и Сомс выписал все строчки, которые Джордж Форсайт в свое время назвал бы «гривуазными». По его сведениям, в этом театре пьесы шли по несокращенному тексту. Прекрасно! От таких фраз у присяжных волосы дыбом встанут. Теперь, заручившись «Шпанской мушкой» и этой пьесой, он был уверен, что молодая женщина и ее компания не смогут претендовать на «какое бы то ни было понятие о нравственности». В нем проснулся инстинкт профессионала. Адвоката сэра Джемса Фоскиссона он пригласил не за

личные качества, а чтобы его не использовали противники. Младшим адвокатом был завербован «очень молодой» Николас Форсайт. Сомс был о нем невысокого мнения, но решил, что семейный круг предпочтительнее, особенно если дело до суда не дойдет.

В тот вечер у Сомса был разговор с Флер, укрепивший в нем желание избежать суда.

— Что случилось с молодым американцем?— спросил он.

Флер язвительно улыбнулась.

— С Фрэнсисом Уилмотом? О, он влюбился в Марджори Феррар. А она выходит замуж за сэра Александра Мак-Гауна.

— Вот как?

— Майкл тебе рассказывал, как он его ударил по носу?

— Кто кого? — раздраженно спросил Сомс.

— Майкл — Мак-Гауна, милый, у него хлынула кровь носом.

— Зачем он это сделал?

— Разве ты не читал его речи против Майкла?

— Ну,— сказал Сомс,— парламентская болтовня — это пустяки. Там все ведут себя, как дети. Значит, она выходит за него замуж. Это он ее настрочил?

— Нет, она его.

Сомс только фыркнул в ответ; он почуял в словах Флер чисто женскую ненависть к другой женщине. А между тем — политические соображения и светские — как знать, что возникает раньше, где причина, где следствие? Во всяком случае, кое-что новое он узнал. Так она выходит замуж? Некоторое время он обдумывал этот вопрос, потом решил нанести визит Сэтлуайту и Старку. Если бы эта фирма пользовалась дурной репутацией, либо всегда выступала в «causes célèbres» [1], он, конечно, не пошел бы к ним, но Сэтлуайт и Старк были люди почтенные и имели аристократические связи.

Писать он им не стал, а просто взял шляпу и из «Клуба знатоков» отправился в контору на Кинг-стрит.

Поход этот напомнил ему прошлое — сколько раз он

[1] Громкие скандальные процессы *(франц.)*.

ходил для переговоров в такие конторы или вызывал туда своих противников! Он всегда предпочитал не доводить дел до суда. А вступая в переговоры, был неизменно бесстрастен и знал, что возражать ему будут столь же безлично,— две машины, зарабатывающие на человеческой природе. Сегодня он не чувствовал себя машиной и, зная, что это плохо, остановился перед витриной с гравюрами и картинами. А вот те первые оттиски гравюр Русселя, «Лондонская выставка 1851 года», о которых говорил «Старый Монт»,— старик понимает толк в гравюрах. О, а вот и картина Фреда Уокера, и недурная! Мэйсон и Уокер — их время еще не миновало, нет. И в груди Сомса шевельнулось то чувство, которое испытывает человек, услышав, как на усыпанном цветами дереве поет дрозд. Давно, ой как давно не покупал он картин! Только бы разделаться с этим проклятым процессом, тогда опять все будет хорошо. Он оторвал взгляд от витрины и, глубоко вздохнув, вошел в контору «Сэтлуайт и Старк».

Кабинет старшего компаньона находился во втором этаже. Мистер Сэтлуайт встретил Сомса словами:

— Как поживаете, мистер Форсайт? Мы с вами не встречались со времени процесса Боббина против ЛЮЗ [1]. Кажется, это было в тысяча девятисотом году!

— В тысяча восемьсот девяносто девятом,— сказал Сомс.— Вы выступали от дороги.

Мистер Сэтлуайт жестом пригласил его сесть.

Сомс сел и взглянул на фигуру у камина. Гм! Длинные губы, длинные ресницы, длинный подбородок; человек, равный ему по калибру, культуре и честности! Хитрить с ним нечего.

— Глупейшее дело,— сказал он.— Как бы нам его уладить?

Мистер Сэтлуайт нахмурился.

— Это зависит от того, что вы имеете предложить, мистер Форсайт. Моей клиентке было нанесено серьезное оскорбление.

Сомс кисло улыбнулся.

— Она сама начала. И на что она ссылается? На частные письма, которые моя дочь в порыве гнева напи-

[1] Лондонско-юго-западная железнодорожная компания.

сала своим друзьям. Я удивляюсь, что такая солидная фирма, как ваша...

Мистер Сэтлуайт улыбнулся.

— Не утруждайте себя комплиментами по адресу моей фирмы. Я также удивляюсь, что вы выступаете от имени вашей дочери. Вряд ли вы можете отнестись к делу беспристрастно. Или вы хотите сообщить, что она готова принести извинение?

— Мне кажется, это следует сделать не ей, а вашей клиентке,— сказал Сомс.

— Если вы стоите на такой точке зрения, то, пожалуй, не имеет смысла продолжать разговор.

Сомс пристально на него посмотрел и сказал:

— Как вы докажете, что она оскорблена? Она вращается в очень легкомысленном обществе.

Мистер Сэтлуайт улыбался по-прежнему.

— Я слышал, что она собирается выйти замуж за сэра Александра Мак-Гауна,— сказал Сомс.

Мистер Сэтлуайт сжал губы.

— Право же, мистер Форсайт, если вы готовы принести извинение и уплатить приличную сумму, то мы сумеем сговориться. В противном случае...

— Вы как человек разумный,— перебил Сомс,— понимаете, что такие скандалы ничего, кроме неприятностей и расходов, за собой не влекут. Я готов заплатить тысячу фунтов, но об извинении не может быть и речи.

— На полторы тысячи мы бы пошли. Но необходимо извинение в письменной форме.

Сомс молчал, переживая всю несправедливость происходящего. Полторы тысячи! Чудовищно! И все-таки он бы заплатил, только бы избавить Флер от судебного процесса. Но унижение! На это она ни за что не пойдет, и хорошо сделает. Он встал.

— Слушайте, мистер Сэтлуайт, если вы доведете дело до суда, вам придется столкнуться с непредвиденными затруднениями. Но вся эта история столь неприятна, что я готов уплатить деньги, хотя очень сомневаюсь, чтобы по суду мне пришлось уплатить хотя бы один пенни. Что же касается извинения, то можно пойти на компромисс (и чего он улыбается?) — написать в таком роде:

«Мы обе сожалеем, что дурно отзывались друг о друге», и пусть обе стороны подпишутся.

Мистер Сэтлуайт погладил подбородок.

— Я сообщу моей клиентке о вашем предложении. Я не меньше вашего желаю уладить это дело, не потому, что боюсь за его исход («Ну еще бы!» — подумал Сомс), но потому, что в таких процессах, как вы говорите, назидательного мало.

Он протянул руку.

Сомс холодно пожал ее.

— Вы понимаете, что я совершенно объективен,—сказал он и вышел. «Возьмет»,— думал он. Отдать этой мерзавке полторы тысячи фунтов только за то, что ее раз в жизни назвали, как она того заслуживает! И улики он собирал зря! На мгновение ему стало досадно, что он так любит Флер. Право, даже глупо. Потом сердце его дрогнуло от радости. Слава богу! Он все уладил.

Рождество было не за горами, поэтому Сомс не придавал значения тому, что Сэтлуайт ему не отвечает. Флер и Майкл уехали в Липпингхолл с девятым и одиннадцатым баронетами, а у Сомса и Аннет гостила Уинифрид с Кардиганами. Только шестого января от мистеров Сэтлуайта и Старка пришло письмо.

«Уважаемый сэр,

Ваше предложение было передано нашей клиентке, которая уполномочила нас сообщить Вам, что она согласна принять сумму в полторы тысячи фунтов и извинение, подписанное Вашей клиенткой. Извинение должно быть написано по прилагаемому образцу.

Остаемся искренне Вам преданные

Сэтлуайт и Старк».

Сомс взял образец и прочел:

«Я, миссис Майкл Монт, беру назад слова, сказанные мною о мисс Марджори Феррар в письмах моих от 4 октября прошлого года, написанных миссис Ральф Ппинррин и миссис Эдуард Молтиз, и приношу извинение в том, что они были написаны».

(Подпись.)

Сомс встал, резко отодвинув столик, за которым завтракал.

— Что с тобой, Сомс?—сказала Аннет.—Опять сломал вставную челюсть? Нельзя так неосторожно есть

— Читай.

Аннет прочла.

— И ты хотел дать этой женщине полторы тысячи фунтов? Да ты с ума сошел, Сомс! Я бы ей и полторы тысячи пенсов не дала. Ты ей заплатишь, а она расскажет всем своим друзьям. Это все равно, что тысячу пятьсот раз просить прощения. Право, я удивляюсь, Сомс! Делец, умный человек! Неужели ты так плохо знаешь свет?

Сомс покраснел. Это было так по-французски и в то же время так верно по существу. Он подошел к окну. Французы — они не допускают компромиссов и знают цену деньгам.

— Как бы то ни было, а с этим покончено,— сказал он.— Флер не подпишет. А я возьму назад свое предложение.

— Надеюсь! Флер не глупа. А на суде она будет очень эффектна. Эта женщина пожалеет, что родилась на свет. Почему ты не приставишь к ней сыщика, который бы за ней следил? С такими особами церемониться нечего.

В минуту слабости Сомс рассказал Аннет о книге и пьесе. Он чувствовал потребность с кем-нибудь поделиться, а с Флер и Майклом нельзя было об этом говорить. Он даже дал ей «Шпанскую мушку», сказав:

— Читать не советую. Написано во французском стиле.

Аннет вернула книгу через два дня и заявила:

— Какой же это французский стиль? Это просто отвратительно! Вы, англичане, так грубы. Книга не остроумная, а просто грязная. Серьезная грязная книга — что может быть хуже? Ты слишком старомоден, Сомс. Почему ты говоришь, что это французский стиль?

Сомс и сам не знал, почему он это сказал.

— Во всяком случае, она издана не в Англии,— пробормотал он и вышел из комнаты, преследуемый, как жужжанием, словами: Брюссель, Брюссель, это Брюс-

сель ты называешь...» Самая обидчивая нация эти французы!

Однако ее совет пригласить сыщика запал ему в голову. К чему щепетильность, когда все зависит от того, чтобы напугать эту женщину? И, приехав в Лондон, он заглянул в некое учреждение, не к мистеру Полтиду, а в другое, и поручил там выяснить прошлое, настоящее и будущее Марджори Феррар.

Фирме «Сэтлуайт и Старк» он написал на бланке своей конторы короткий и решительный ответ:

«6 января 1925 г.

Уважаемые сэры,

Узнав из Вашего письма от 5-го с/м, что Ваша клиентка отклонила мое предложение, сделанное, как Вам известно, совершенно беспристрастно, беру его назад in toto[1].

Преданный Вам *Сомс Форсайт*».

Они пожалеют! Наверняка пожалеют! И он вперил взор в слова in toto; почему-то они показались ему забавными. In toto! А теперь посмотрим «Прямодушного»!

Театр общества «Nec plus ultra» отличался неказистой внешней отделкой, гипсовой маской Конгрива[2] в вестибюле, своеобразным запахом и наличием просцениума. Оркестра не было. Перед поднятием занавеса три раза во что-то ударили. Рампы не было. Декорации были своеобразные. Сомс не отрываясь смотрел на них, пока в первом антракте разговор двух сидящих за ним людей не открыл ему глаза на их принцип.

— В декорациях самое важное то, что на них можно не смотреть. Это самый крайний театр в этом смысле.

— В Москве пошли еще дальше.

— Вряд ли. Кэрфью ездил туда. Вернулся в диком восторге от русских актеров.

— Он знает русский язык?

— Нет, это и не нужно. Все дело в тембре. По-моему, Кэрфью недурно справляется со своей задачей. Такую пьесу нельзя было бы ставить, если б можно было разобрать слова.

[1] В целом *(лат.)*. Юридический термин.

[2] Английский драматург (1670—1729).

Сомс, который очень старался разобрать слова — за этим, собственно, он и шел сюда,— скосил глаза на говоривших. Они были молоды, бледны и продолжали разговор, нисколько не смутившись от его взгляда.

— Кэрфью молодец! Такая встряска нужна.

— Оливию играет Марджори Феррар.

— Не понимаю, зачем он выпускает эту дилетантку.

— Не забывай о сборах, мой милый, она привлекает публику. Тяжелый случай.

— Ей удалась только одна роль — немой девушки в русской пьесе. А говорит она ужасающе — все время следишь за смыслом слов. Совсем не окутывает тебя ритмом.

— Она красива.

— М-да.

Тут занавес поднялся. Так как в первом действии Марджори не появлялась, Сомс сделал усилие и не заснул, и он не спал все время, пока она была на сцене,— из чувства ли долга, или потому, что говорила она «ужасающе»; всякую рискованную фразу, которую она произносила, он старательно отмечал. В общем, он отлично провел время и ушел отдохнувшим. В такси он мысленно репетировал роль сэра Джемса Фоскиссона на перекрестном допросе.

«Если не ошибаюсь, сударыня, вы играли Оливию из «Прямодушного» в постановке театрального общества «Nec plus ultra»? Правильно ли будет определить эту роль как роль скромной женщины?.. Совершенно верно. И вы произнесли вот эти слова (приводит «гривуазные» местечки). Вы как-нибудь истолковали их, сударыня?.. Вы, вероятно, не согласитесь, что они безнравственны?.. Нет? И не рассчитаны на то, чтобы оскорбить слух и пагубно повлиять на нравственность уважающей себя публики?.. Нет. Значит, ваше понятие о нравственности расходится с моим и, смею утверждать, с тем, которое сложилось у присяжных... Так. Сцена в темноте — вы не предложили режиссеру выпустить ее? Нет. Режиссером у вас, кажется, был мистер Кэрфью? А ваши отношения с этим джентльменом позволили бы вам внести такое предложение?.. Ага, теперь, сударыня, разрешите вам напомнить, что в течение всего тысяча девятьсот двадцать третьего года вы виделись с этим джентльменом почти

каждый день... Ну, скажем, три-четыре раза в неделю. И вы тем не менее утверждаете, что ваши отношения не позволили бы вам поставить ему на вид, что порядочной молодой женщине нельзя играть в такой сцене?. Вот как? Мнение присяжных об этом вашем ответе мы в свое время узнаем. Вы не актриса по профессии, не для заработка исполняете то, что вам предлагают? Нет. И у вас хватило смелости явиться сюда и требовать компенсации, потому что в частном письме кто-то упомянул, что «вы понятия не имеете о нравственности»?.. Да?..» И так далее, и так далее. О нет! Компенсация? Ни фартинга она не получит.

IX

VOLTE FACE[1]

Изощряясь в том, чтобы удержать при себе сэра Александра Мак-Гауна и Фрэнсиса Уилмота, принимая приглашения в свет, часто играя в бридж в надежде покрыть ежедневные расходы, иногда урывая день для охоты и репетируя роль Оливии, Марджори Феррар почти забыла о предстоящем процессе, когда мистеры Сэтлуайт и Старк уведомили ее о предложении Сомса. Она пришла в восторг. Этими деньгами она расплатится с самыми настойчивыми из кредиторов; вздохнет свободно и сможет пересмотреть перспективы на будущее.

Письмо было получено в пятницу перед рождеством, когда она собиралась ехать к отцу в Ньюмаркет; она поспешно написала несколько слов, сообщая, что зайдет в контору в понедельник. Вечером она посоветовалась с отцом. Лорд Чарльз считал, что этот стряпчий во что бы то ни стало хочет пойти на мировую, раз он готов пожертвовать такой суммой, как полторы тысячи фунтов; поэтому ей нетрудно будет добиться извинения в письменной форме. Во всяком случае торопиться не стоит, пусть они пребывают пока в неизвестности. В понедельник он думал показать ей своих лошадей. Вот почему она вернулась в Лондон только двадцать третьего, когда контора была уже закрыта. Почему-то ей не пришло в голо-

[1] Перемена фронта *(франц.)*.

ву, что и адвокаты могут отдыхать на рождество. В сочельник она опять уехала на десять дней и только четвертого января зашла в контору. Мистер Сэтлуайт все еще отдыхал на юге Франции, и принял ее мистер Старк. Он был не в курсе дела, но нашел совет лорда Чарльза разумным; можно принять полторы тысячи и настаивать на формальном извинении, а в случае отказа пойти на уступку. Марджори Феррар почуяла опасность, но согласилась.

Седьмого января она вернулась после дневного спектакля, усталая и возбужденная аплодисментами и похвалой Бэрти Кэрфью: «Прекрасно, дорогая!» Ей показалось, что Бэрти снова смотрит на нее, как смотрел в былые дни. Она принимала горячую ванну, когда горничная доложила о приходе Фрэнсиса Уилмота.

— Попросите его подождать, Фанни, я через двадцать минут выйду.

Волнуясь, словно предчувствуя кризис, она поспешно оделась, надушила шею и руки эссенцией из цветов апельсинового дерева, неслышно ступая, вошла в студию и остановилась. Молодой человек стоял спиной к двери в позе осла, который, свесив уши, терпеливо ждет, чтобы на его натруженную спину навьючили новый груз. Вдруг он сказал:

— Я больше не могу.

— Фрэнсис!

Он оглянулся.

— О Марджори! Я не слышал, как вы вошли!

И, взяв ее руки, он зарылся в них лицом.

Она пришла в замешательство. Казалось, так легко было бы высвободить руки и подставить ему губы, если бы он был более современным, если бы его старомодная любовь не льстила ей, если бы, наконец, он внушал ей только страсть. Неужели ей суждено испытать простое идиллическое чувство — что-то совсем, совсем новое? Она подвела его к дивану, усадила рядом с собой, заглянула в глаза. Сладость весеннего утра, и они с Фрэнсисом — как малые дети, и нет им дела до всего мира! Она поддалась очарованию невинности, хваталась за что-то новое, чудесное. Бедный мальчик! Какое наслаждение — дать ему наконец счастье, согласиться на брак, твердо намереваясь обещание исполнить! Когда? О, ко-

гда ему угодно — скоро, очень скоро; чем скорей, тем лучше! Почти не сознавая того, что разыгрывает роль молоденькой девушки, она наслаждалась его удивлением и радостью. Он весь горел, он был на седьмом небе — и ничего себе не позволил.

Целый час провели они вместе — какой час для воспоминаний! — раньше чем она вспомнила, что в половине девятого приглашена на обед. Она прижалась губами к его губам и закрыла глаза. И одна неотвязная мысль не давала покоя: не закрепить ли ей посовременному свои права на него? Ведь все, что он знает о ней,— ложь! Она видела, как затуманились его глаза, ощущала прикосновение горячих рук. Быстро встала.

— А теперь, любимый, беги!

Когда он убежал, она сняла платье и стала приглаживать волосы, в зеркале казавшиеся скорее золотыми, чем рыжими... Несколько конвертов на туалетном столике привлекли ее внимание. Счет, еще один и, наконец, письмо:

«Сударыня,

С сожалением извещаем Вас, что «Кэткот, Кингсон и Форсайт» отказываются принести в письменной форме извинение, каковое мы потребовали, и берут назад свое предложение in toto. Итак, нужно продолжать дело. Впрочем, мы имеем все основания надеяться, что они пойдут на наше требование раньше, чем дело поступит в суд.

Готовые к услугам *Сэтлуайт и Старк*».

Она уронила письмо и сидела тихо-тихо, рассматривая в зеркале жесткую морщинку у правого уголка рта и жесткую морщинку у левого...

Возвращаясь домой, Фрэнсис Уилмот думал о пароходных рейсах и каютах, о брачной церемонии и кольцах. Час назад он пребывал в отчаянии, теперь ему казалось, что одно он знал всегда: «Она слишком хороша, чтобы не отказать этому типу, которого она не любит». Он сделает ее королевой Южной Каролины! А если она не захочет там жить, он продаст старый дом, и они поселятся, где она пожелает,— в Венеции (он слышал, как она восторгалась Венецией), в Нью-

Йорке, в Сицилии,— с ней ему все равно где жить! Даже Лондон, овеянный сухим холодным ветром, перестал быть серым лабиринтом, где бродят тени, и превратился в прекрасный город, в котором можно купить кольца и билеты на пароход.

Ветер как ножом резал ему лицо, но Фрэнсис Уилмот ничего не замечал. Бедный Мак-Гаун! Он ненавидел его, даже мысль о нем была ему ненавистна, и все-таки он его жалел — ведь его ждет такое разочарование!

И все дни, недели, месяцы, что он кружил вокруг пламени, обжигая слабеющие крылья, теперь казались этапом вполне естественного движения по пути к райскому блаженству. Двадцать четыре года — и ему и ей; а впереди целая вечность счастья! Он уже видел ее на веранде, дома. Прогулки верхом! И старый форд нужно заменить чем-нибудь получше. Негры будут обожать ее, такую величественную, такую белую... Скоро весна, гулять с ней среди азалий... А весной уже пахнет— нет, это запах ее духов остался у него на руках. Он вздрогнул и помчался дальше по безлюдной улице; восточный ветер гнул голые ветки деревьев, светили холодные звезды.

В вестибюле отеля ему подали визитную карточку.

— Мистер Уилмот, вас ждет какой-то джентльмен.

В гостиной, держа в руке цилиндр, сидел сэр Александр Мак-Гаун. Он встал и, коренастый, мрачный, двинулся навстречу Фрэнсису Уилмоту.

— Я давно уже собирался к вам зайти, мистер Уилмот.

— В самом деле? Могу я вам предложить коктейль или рюмку хереса?

— Нет, благодарю. Вам известно о моей помолвке с мисс Феррар?

— Было известно, сэр.

При виде этой грозной красной физиономии с жесткой щеткой усов и горящими глазами он снова почувствовал ненависть; жалость растаяла.

— Вы знаете, что я протестую против ваших частых визитов. У нас здесь не принято, чтобы джентльмен ухаживал за молодой леди, обрученной с другим.

— Об этом должна судить сама мисс Феррар,— невозмутимо ответил Фрэнсис Уилмот.

Лицо Мак-Гауна побагровело.

— Если бы вы не были американцем, я бы уже давно посоветовал вам держаться подальше.

Фрэнсис Уилмот поклонился.

— Что же вы намерены делать? — спросил Мак-Гаун.

— Разрешите мне воздержаться от ответа.

Мак-Гаун весь подался вперед.

— Я вас предупредил, теперь будьте осторожны.

— Благодарю вас, приму к сведению,— мягко сказал Фрэнсис Уилмот.

Мак-Гаун стоял, покачиваясь на месте. Не собирается ли он его ударить? Фрэнсис Уилмот засунул руки в карманы.

— Вы предупреждены,— сказал Мак-Гаун и, повернувшись на каблуках, вышел.

— Спокойной ночи,— сказал Фрэнсис Уилмот вслед удаляющейся квадратной спине. Он сумел остаться мягким, вежливым, но как он ненавидел этого типа! Если бы не ликование, переполнявшее его сердце, дело могло бы кончиться хуже!

X

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ СНИМКИ

Сэр Лоренс предложил Майклу провести рождество в Липпингхолле и принять участие в охоте. В числе приглашенных были два политика-практика и один министр.

В курительной, куда удалялись мужчины, а иногда и женщины, гости, отдыхая в старых мягких кожаных креслах, перебрасывались словами, словно мячом, и никто не затрагивал таких опасных тем, как фоггартизм. Впрочем, бывали моменты, когда Майкл имел возможность постичь самую «сущность» политики и проникнуться уважением к ее практикам. Даже в эти праздничные дни они вставали рано, спать ложились поздно, писали письма, просматривали прошения, заглядывали в «синие книги». Оба были люди здоровые, ели с аппетитом, много пили и, казалось, никогда не уставали. Они часто брились, стреляли с увлечением, но плохо. Министр предпочитал играть в гольф с Флер.

Майкл понял их систему: нужно до отказа загрузить свой ум; не оставлять себе времени на планы, чувства, фантазии. Действовать и отнюдь не ставить себе никакой цели.

Что касается фоггартизма, то, не в пример газете «Ивнинг Сан», они не высмеивали его, а только задавали Майклу вопросы, которые он не раз задавал себе сам.

— Прекрасно, но как вы думаете провести это в жизнь? Ваш план не плох, но он бьет людей по карману. Сделать жизнь дороже— думать нечего, страна и так изнемогает. А ваш фоггартизм требует денег, денег и еще денег! Можете кричать до хрипоты, что через десять или двадцать лет вы им вернете впятеро больше,— никто не станет слушать; можете сказать: «Без этого мы все скатимся в пропасть», но это для нас не ново; многие думают, что мы уже в нее скатились, но не любят, когда об этом говорят. Другие, особенно промышленники, верят в то, во что хотят верить. Они терпеть не могут, когда кто-нибудь «прибедняется», будь то хоть с самой благой целью. Обещайте возрождение торговли, снижение налогов, высокую заработную плату или налог на капитал, и мы вам будем верить, пока не убедимся, что и вы бессильны. Но вы хотите сократить торговлю и повысить налоги ради лучшего будущего. Разве можно! В политике тасуют карты, а заниматься сложением и вычитанием не принято. Люди реагируют, только если выгода налицо или если грозит конкретная опасность, как во время войны. На сенсацию рассчитывать не приходится.

Короче говоря, они показали себя неглупыми, но законченными фаталистами.

После этих бесед профессия политика стала Майклу много яснее. Ему очень нравился министр; он держал себя скромно, был любезен, имел определенные идеи о работе своего министерства и старался проводить их в жизнь; если у него были и другие идеи, он их умело скрывал. Он явно восхищался Флер, умел слушать лучше, чем те двое, и к их словам добавил еще кое-что:

— Конечно, то, что мы сумеем сделать, может показаться ничтожным, и газеты поднимут крик; вот тут-то нам, пожалуй, удастся провести под шумок ряд серьезных мероприятий, которые публика заметит только то-

гда, когда будет поставлена перед свершившимся фактом.

— Плохо я что-то верю в помощь прессы,—сказал Майкл.

— Ну, знаете, другого рупора у нас нет. При поддержке самых громогласных газет вы даже свой фоггартизм могли бы протащить в жизнь. Что вам действительно мешает— это замедленный рост городов за последние полтора века, косные умы, для которых судьба Англии непреложно связана с промышленностью, и морские перевозки. И еще — неискоренимый оптимизм и страх перед неприятными темами. Многие искренне верят, что мы можем отстаивать старую политику и при этом еще благоденствовать. Я лично не разделяю этой точки зрения. Пожалуй, можно постепенно провести в жизнь то, что проповедует старый Фоггарт; пожалуй, нужда заставит прибегнуть даже к переселению детей,— но тогда это не будет называться фоггартизмом. Судьба изобретателя! Нет, его не прославят за то, что он первый изобрел способ борьбы. И знаете ли,— мрачно добавил министр,— когда его теория получит признание, будет, пожалуй, слишком поздно.

В этот день один газетный синдикат запросил о разрешении прислать интервьюера, и Майкл, назначив день и час, приготовился изложить свой символ веры. Но журналист оказался фотографом, и символ вылился в снимок: «Депутат от Мид-Бэкса разъясняет нашему корреспонденту принципы фоггартизма». Фотограф был человек проворный. Он снял семейную группу перед домом: «Справа налево: мистер Майкл Монт — член парламента, леди Монт, миссис Майкл Монт, сэр Лоренс Монт, баронет». Он снял Флер: «Миссис Майкл Монт с сыном Китом и собачкой Дэнди». Он снял крыло дома, построенное при Иакове I. Он снял министра с трубкой в зубах, «наслаждающегося рождественским отдыхом». Он снял уголок сада — «Старинное поместье». Потом он завтракал. После завтрака он снял всех гостей и хозяев: «В гостях у сэра Лоренса Монта, Липпингхолл»; министр сидел справа от леди Монт, жена министра—слева от сэра Лоренса. Этот снимок вышел бы удачнее, если бы Дэнди, которого случайно не включили в группу, не произвел внезапной атаки на штатив.

Он снял Флер одну: «Миссис Майкл Монт, очаровательная хозяйка лондонского салона». Он слышал, что Майкл проводит интересный опыт,— нельзя ли снять фоггартизм в действии? Майкл усмехнулся и предупредил, что это связано с прогулкой.

Они направились к роще. В колонии жизнь протекала нормально: Боддик с двумя рабочими занимался постройкой инкубатора; Суэн курил папиросу и читал «Дэйли Мэйл»; Бергфелд сидел, подперев голову руками, а миссис Бергфелд мыла посуду.

Фотограф сделал три снимка. Бергфелд начал трястись, и Майкл, заметив это, намекнул, что до поезда остается мало времени. Тогда фотограф сделал последний снимок: снял Майкла перед домиком, затем выпил две чашки чая и отбыл восвояси.

Вечером, когда Майкл поднимался к себе в спальню, его окликнул дворецкий:

— Мистер Майкл, Боддик ожидает вас в кладовой. Кажется, что-то случилось, сэр.

— Да? — тупо сказал Майкл.

В кладовой, где Майкл в детстве провел много счастливых минут, стоял Боддик; по его бледному лицу струился пот, темные глаза блестели.

— Немец умер, сэр.

— Умер?

— Повесился. Жена в отчаянии. Я его вынул из петли, а Суэна послал в деревню.

— О господи! Повесился! Но почему?

— Очень он был странный эти последние три дня, а фотограф окончательно его доконал. Вы пойдете со мной, сэр?

Они взяли фонарь и отправились в путь. Дорогой Боддик рассказывал:

— Как только вы от нас сегодня ушли, он вдруг весь затрясся и стал говорить, что его выставляют на посмешище. Я ему посоветовал не валять дурака и снова приняться за работу, но когда я вернулся к чаю, он все еще трясся и говорил о своей чести и своих сбережениях; Суэн над ним издевался, а миссис Бергфелд сидела в углу, бледная, как полотно. Я посоветовал Суэну заткнуть глотку, и Фриц понемножку успокоился. Миссис Бергфелд налила нам чаю, а потом я пошел кон-

чать работу. Когда я вернулся к семи часам, они опять спорили, а миссис Бергфелд плакала навзрыд. «Что же вы,— говорю,— жену-то не пожалеете?» — «Генри Боддик,— ответил он,— против вас я ничего не имею, вы всегда были со мной вежливы, но этот Суэн — не Суэн, а свинья!» — и схватил со стола нож. Нож я у него отнял и стал его успокаивать. «Ах,— говорит он,— у вас нет самолюбия!» А Суэн посмотрел на него и скривил рот: «А вы-то какое право имеете говорить о самолюбии?» Я понял, что так он не успокоится, и увел Суэна в трактир. Вернулись мы часов в десять, и Суэн лег спать, а я пошел в кухню. Там сидела миссис Бергфелд. «А он лег спать?» — спрашиваю я. «Нет,— говорит она,— он вышел подышать воздухом. Ах, Генри Боддик, что мне с ним делать?» Мы с ней потолковали о нем; славная она женщина. Вдруг она говорит: «Генри Боддик, мне страшно. Почему он не возвращается?» Мы отправились на поиски, и как вы думаете, сэр, где мы его нашли? Знаете то большое дерево, которое мы собирались срубить? К дереву была приставлена лестница, на сук наброшена веревка. Светила луна. Он влез по лестнице, надел петлю на шею и спрыгнул. Так он и висел на шесть футов от земли. Я разбудил Суэна, и мы его вынули из петли, внесли в дом — ох и намучились! Бедная женщина, жаль ее, сэр, хотя я-то считаю, что оно и к лучшему,— не умел он приспособиться. Этот красавец с аппаратом дорого бы дал, чтобы снять то, что мы видели.

«Фоггартизм в действии,— горько подумал Майкл.— Первый урок окончен».

Домик уныло хмурился в тусклом свете луны, на холодном ветру. В комнате миссис Бергфелд стояла на коленях перед телом мужа; его лицо было накрыто платком. Майкл положил ей руку на плечо; она посмотрела на него безумными глазами и снова опустила голову. Он отвел Боддика в сторону.

— Не подпускайте к ней Суэна. Я с ним поговорю.

Когда явилась полиция и доктор, Майкл подозвал парикмахера, который при лунном свете походил на призрак и казался очень расстроенным.

— Вы можете переночевать у нас, Суэн.

— Хорошо, сэр. Я не хотел обижать беднягу, но он

так задирал нос, а у меня тоже есть свои заботы. Будто уж он один был такой несчастный. После дознания я отсюда уеду. Если я не попаду на солнце, я и сам скоро сдохну.

Майкл почувствовал облегчение: теперь Боддик останется один.

Когда он наконец вернулся домой с Суэном, Флер спала. Он не стал будить ее, но долго лежал, стараясь согреться, и думал о великой преграде на пути ко всякому спасению — о человеческой личности. И, не в силах отогнать образ женщины, склонившейся над неподвижным, холодным телом, тянулся к теплу молодого тела на соседней кровати.

Фотографические снимки пришлись ко времени. Три дня не было ни одной газеты, которая не поместила бы статейки, озаглавленной: «Трагедия в Букингемширской усадьбе», «Самоубийство немецкого актера» или «Драма в Липпингхолле». Статейку оживлял снимок: «Справа налево: мистер Майкл Монт — депутат от Мид-Бэкса, Бергфелд — немецкий актер, который повесился, миссис Бергфелд».

«Ивнинг Сан» поместила статью, скорее скорбную, чем гневную:

«Самоубийство немецкого актера в имении сэра Лоренса Монта Липпингхолле до известной степени гротескно и поучительно. Этот несчастный был одним из трех безработных, которых наметил для своих экспериментов молодой депутат от Мид-Бэкса, недавно обративший на себя внимание речью в защиту фоггартизма. Почему, проповедуя возвращение англичан «к земле», он остановил свой выбор на немце, остается неясным. Этот инцидент подчеркивает бесплодность всех дилетантских попыток разрешить проблему и изжить безработицу, пока мы все еще терпим в своей среде иностранцев, вырывающих кусок хлеба у наших соотечественников». В том же номере газеты была короткая передовица: «Иностранцы в Англии». Дознание собрало много народу. Было известно, что в домике жило трое мужчин и одна женщина, все ждали сенсационных разоблачений и были разочарованы, когда выяснилось, что любовный элемент ни при чем.

Флер с одиннадцатым баронетом вернулась в Лон-

дон, а Майкл остался на похороны. Он шел на кладбище с Генри Боддиком, впереди шла миссис Бергфелд. Мелкий дождь моросил из туч, серых, как могильная плита; тисовые деревья стояли голые, темные. Майкл заказал большой венок и, когда его возложили на могилу, подумал: «Жертвоприношения! Сначала людей, потом агнцев, теперь вот цветы! И это прогресс?»

Нора Кэрфью согласилась принять миссис Бергфелд кухаркой в Бетнел-Грин, и Майкл отвез ее в Лондон на автомобиле. Во время этой поездки к нему вернулись мысли, забытые со времени войны. Человеческое сердце, одетое, застегнутое на все пуговицы обстановки, интересов, манер, условностей, расы и классов, остается тем же сердцем, если его обнажит горе, любовь, ненависть или смех. Но как редко оно обнажается! Какие все в жизни одетые! Оно, пожалуй, и лучше — нагота обязывает к огромному напряжению. Он вздохнул свободно, когда увидел Нору Кэрфью, услышал ее бодрые слова, обращенные к миссис Бергфелд:

— Входите, дорогая моя, и выпейте чаю!

Она была из тех, в ком сердечная нагота не вызывает ни стыда, ни напряжения.

Когда он приехал домой, Флер была в гостиной. Над пушистым мехом щеки ее горели, словно она только что вернулась с мороза.

— Выходила, детка?

— Да, я...— Она запнулась, посмотрела на него как-то странно и спросила: — Ну что, покончил с этим делом?

— Да, слава богу! Я отвез бедняжку к Норе Кэрфью.

Флер улыбнулась.

— А, Нора Кэрфью! Женщина, которая живет для других и забывает о себе, не так ли?

— Совершенно верно,— резко сказал Майкл.

— Новая женщина. Я делаюсь окончательно старомодной.

Майкл взял ее за подбородок.

— Что с тобой, Флер?

— Ничего.

— Нет, что-то случилось.

— Видишь ли, надоедает оставаться за бортом, слов-

но я гожусь только для того, чтобы возиться с Китом и быть пикантной.

Майкл, обиженный и недоумевающий, опустил руку. Действительно, он не советовался с ней по поводу своих безработных; он был уверен, что она его высмеет, скажет: «К чему это?» И в самом деле, к чему это привело?

— Если тебя что-нибудь интересует, Флер, ты всегда можешь меня спросить.

— О, я не хочу совать нос в твои дела! У меня и своих дел достаточно. Ты пил чай?

— Но скажи, что случилось?

— Дорогой мой, ты уже спрашивал, а я тебе ответила: ничего.

— Ты меня не поцелуешь?

— Конечно, поцелую. Сейчас купают Кита. Не хочешь ли посмотреть?

Каждый укол причинял боль. Она переживала какой-то кризис, а он не знал, что ему делать. Разве ей не приятно, что он ею восхищается, тянется к ней? Чего ей нужно? Чтобы он признал, что она интересуется положением страны не меньше, чем он? Но — так ли это?

— Ну, а я буду пить чай,— заявила она.— Эта новая женщина производит потрясающее впечатление?

Ревность? Нелепо! Он ответил спокойно:

— Я не совсем тебя понимаю.

Флер посмотрела на него очень ясными глазами.

— О господи! — сказал Майкл и вышел из комнаты.

У себя в кабинете он сел перед «Белой обезьяной». Эта стратегическая позиция помогала ему проникнуть в глубь его семейных отношений. Флер всегда должна быть первой, хочет играть главную роль. Люди, которых она коллекционирует, не смеют жить своей жизнью! Эта мучительная догадка его испугала. Нет, нет! Просто-напросто она привыкла держать во рту серебряную ложку и не может с ней расстаться. Она недовольна, что он интересуется не только ею. Вернее, недовольна собой, потому что не может разделять его интересы. В конце концов это только похвально. Она возмущена своим эгоцентризмом. Бедная девочка! «Надо последить за собой,— думал Майкл,— а то, чего доброго, изобразишь современный роман в трех частях». И он задумался о научном течении, которое утверждает, что по симпто-

мам можно определить причину всякого явления. Он вспомнил, как в детстве гувернантка запирала его в комнате,— с тех пор он ненавидел всякое посягательство на свою свободу. Психоаналитик сказал бы, что причина в гувернантке. Это неверно — для другого мальчика это могло бы пройти бесследно. Причины в характере, который наметился раньше, чем появилась гувернантка. Он взял с письменного стола фотографию Флер. Он любит это лицо, никогда не разлюбит. Если у нее есть недостатки — что ж, а у него их разве мало? Все это комедия, нечего вносить в нее трагический элемент. И у Флер есть чувство юмора. Или нет? И Майкл всматривался в лицо на фотографии...

Но, подобно многим мужьям, он ставил диагноз, не зная фактов.

Флер смертельно скучала в Липпингхолле. Даже коллекционировать министра ей надоело. Она скрывала свою скуку от Майкла, но самопожертвование обходится недешево. В Лондон она вернулась враждебно настроенная к общественной деятельности. В надежде, что одна-две новые шляпы поднимут ее настроение, она отправилась на Бонд-стрит. На углу Бэрлингтон-стрит какой-то молодой человек остановился, приподнял шляпу.

— Флер!

Уилфрид Дезерт! Какой худой, загорелый!

— Вы!

— Да. Я только что вернулся. Как Майкл?

— Хорошо. Только он член парламента.

— Ой-ой-ой! А вы?

— Как видите. Хорошо провели время?

— Да. Я здесь только проездом. Восток затягивает.

— Зайдете к нам?

— Вряд ли. Кто раз обжегся...

— Да, обгорели вы основательно.

— Ну, прощайте, Флер. Вы совсем не изменились. С Майклом я где-нибудь увижусь.

— Прощайте! — Она пошла дальше, не оглядываясь, а потом пожалела, что не знает, оглянулся ли он.

Она отказалась от Уилфрида ради Майкла, который... который об этом забыл! Право же, она слишком самоотверженна!

А в три часа ей подали записку.

— Посыльный ждет ответа, мэм.

Она вскрыла конверт со штампом «Отель «Космополис».

«Сударыня,

Просим прощения за причиняемое Вам беспокойство, но мы поставлены в затруднительное положение. Мистер Фрэнсис Уилмот, молодой американец, с начала октября проживающий в нашем отеле, заболел воспалением легких. Доктор считает его состояние очень серьезным. Учитывая это обстоятельство, мы сочли нужным осмотреть его вещи, чтобы иметь возможность поставить в известность его друзей. Но никаких указаний мы не нашли, за исключением Вашей визитной карточки. Осмеливаемся Вас просить, не можете ли Вы нам помочь в этом деле.

Готовый к услугам (*подпись заведующего*)».

Флер всматривалась в неразборчивую подпись и думала горькие думы. Джон прислал к ней Фрэнсиса словно для того, чтобы известить о своем счастье; а ее враг этого вестника перехватил! Но почему же эта дрянь сама за ним не ухаживает? Ах, вздор! Бедный мальчик! Лежит больной в отеле! Один-одинешенек!

— Позовите такси, Кокер.

Приехав в отель, Флер назвала себя, и ее проводили в номер 209. Там сидела горничная. Доктор, сообщила она, вызвал сиделку, но та еще не пришла.

Фрэнсис с пылающим лицом лежал на спине, обложенный подушками; глаза его были закрыты.

— Давно он в таком состоянии?

— Я замечала, что ему нездоровится, мэм, но слег он только сегодня. Должно быть, запустил болезнь. Доктор говорит, придется обернуть его мокрыми простынями. Бедный джентльмен! Он без сознания.

Фрэнсис Уилмот что-то шептал, видимо, бредил.

— Принесите чаю с лимоном, жидкого и как можно горячее.

Когда горничная вышла, Флер подошла к нему и положила руку на его горячий лоб.

— Ну как, Фрэнсис? Что у вас болит?

Фрэнсис Уилмот перестал шептать, открыл глаза и посмотрел на нее.

— Если вы меня вылечите,— прошептал он,— я вас возненавижу. Я хочу умереть, скорей!

Лоб его жег ей ладонь. Он снова начал шептать. Этот бессмысленный шепот пугал ее, но она оставалась на своем посту, освежая его лоб то одной, то другой рукой, пока горничная не вернулась с кружкой чая.

— Сиделка пришла, мэм.

— Дайте кружку. Ну, Фрэнсис, пейте!

Зубы у него стучали, он сделал несколько глотков и опять закрыл глаза.

— О, как ему плохо,— прошептала горничная.— Такой хороший джентльмен!

— Вы не знаете, какая у него температура?

— Я слышала, доктор сказал — около ста пяти [1]. Вот сиделка.

Флер пошла ей навстречу и сказала:

— Это не совсем обычная история... видите ли, он хочет умереть. Я думаю, на него повлияла какая-нибудь любовная неудача. Помочь вам обернуть его?

Перед уходом она еще раз взглянула на Фрэнсиса. Ресницы у него были длинные и темные; он был похож на маленького мальчика.

Когда она вышла за дверь, горничная коснулась ее руки.

— Я нашла это письмо, мэм. Показать его доктору?

Флер прочла:

«Мой бедный мальчик!

Вчера мы были сумасшедшими. Ничего из этого не выйдет. Я — не из тех, что умирают от разбитого сердца, да и Вы не из этой породы, хотя сейчас, быть может, будете мне возражать. Возвращайтесь на Юг, к Вашему солнышку и к Вашим неграм, и забудьте обо мне. Я бы не выдержала. Я не могу быть бедной. Придется мне взять моего шотландца и идти намеченным

[1] По Фаренгейту; приблизительно 40,5 по Цельсию.

путем. Не стоит мечтать об идиллии, для которой не создана.

Ваша несчастная (в данный момент) *Марджори.*

Я это твердо решила. Больше ко мне не приходите— не нужно себя растравлять. М.».

— Так я и думала,— сказала Флер,— я и сиделке сказала. Спрячьте это письмо и верните, если он выздоровеет. А если не выздоровеет,— сожгите. Завтра я зайду.— И, слабо улыбнувшись, она добавила: — Это не я написала.

— О, конечно, конечно, мэм... мисс... я и не думала! Бедный молодой джентльмен! Неужели нельзя ничем ему помочь?

— Не знаю. Думаю, что нельзя...

Все это Флер скрыла от Майкла и испытала приятное чувство мести. Не он один умалчивает о своих личных, то есть общественных, делах.

Когда он вышел, нетерпеливо бросив: «О господи!», она отошла к окну.

Странно было встретить Уилфрида! Сердце ее не дрогнуло, но досадно было не знать, сохранила ли она свою власть над ним. За окнами было темно, как в тот последний раз, что она его видела, перед его бегством на Восток,— лицо, прижатое к стеклу, которого она касалась рукой. «Кто раз обжегся...» Нет, она не хочет опять его мучить, не хочет подражать Марджори Феррар. Что, если бы Уилфрид не уехал на Восток, а заболел воспалением легких, как бедный Фрэнсис? Что бы она сделала? Дала бы ему умереть от тоски? И что делать теперь, когда она прочла это письмо? Рассказать обо всем Майклу? Нет, он считает ее легкомысленной, неответственной за свои поступки. Ну, что ж! Она его проучит. А как быть с сестрой Фрэнсиса, которая вышла замуж за Джона? Послать ей телеграмму? Но сиделка сказала, что на днях должен быть кризис. Невозможно приехать из Америки вовремя. Флер подошла к камину. Что представляет собой жена Джона? Тоже «новая женщина», вроде Норы Кэрфью, или просто веселящаяся американка? Но моды у них в Америке, наверно, те же, хоть и не исходят из Парижа. Энн

Форсайт!— Перед пылающим камином Флер передернулась, как от холода.

Она прошла к себе, сняла шляпу, вгляделась в свое изображение в зеркале. Лицо свежее, румяное, глаза ясные, лоб гладкий, волосы немножко примяты. Она взбила их и пошла через коридор в детскую.

Одиннадцатый баронет спал и во сне имел вид энергичный и решительный. Возле кроватки, уткнувшись носом в пол, лежал Дэнди; няня что-то шила у стола. Перед ней лежал иллюстрированный номер газеты; под одним из снимков была подпись: «Миссис Майкл Монт с сыном Китом и собачкой Дэнди».

— Как вам нравится, няня?

— Совсем не нравится, мэм; Кит вышел такой, точно он ничего не соображает, вытаращил глаза.

Флер взяла номер и заметила, что под ним лежит другая газета; увидела снимок: «Миссис Майкл Монт, очаровательная хозяйка лондонского салона, которая, по слухам, скоро должна выступить в качестве ответчицы в одном великосветском процессе». Выше был еще снимок: «Мисс Марджори Феррар, прелестная внучка маркиза Шропшир, невеста сэра Александра Мак-Гаун, члена парламента».

Флер по одной положила газеты обратно на стол.

XI

ТЕНИ

На обед, о котором так неожиданно вспомнила Марджори Феррар, ее пригласил Мак-Гаун. Когда она приехала в ресторан, он ждал в вестибюле.

— А где же все остальные, Алек?

— Больше никого не будет,— сказал Мак-Гаун.

Марджори Феррар попятилась к выходу.

— Я не могу обедать здесь вдвоем с вами.

— Я пригласил Ппинрринов, но они заняты.

— Ну, так я пообедаю у себя в клубе.

— Ради бога, останьтесь, Марджори. Мы возьмем

отдельный кабинет. Подождите меня здесь, сейчас я это устрою.

Пожав плечами, она прошла в гостиную. Какая-то молодая женщина — ее лицо показалось ей знакомым — вошла вслед за ней, посмотрела на нее и вышла. Марджори Феррар тупо уставилась на стену, оклеенную бледно-серыми обоями; ей все еще мерещилось восторженное лицо Фрэнсиса Уилмота.

— Готово! — сказал Мак-Гаун.— Сюда наверх, третья дверь направо. Я сейчас приду.

Марджори Феррар участвовала в спектакле, бурно провела день и проголодалась. Сначала, во всяком случае, можно было пообедать, а затем уже приступить к неизбежному объяснению. Она пила шампанское, болтала и смотрела в горящие глаза своего поклонника. Эта красная физиономия, жесткие волосы, мощная фигура — какой контраст с бледным, тонким лицом и стройной фигурой Фрэнсиса! Этот — мужчина, и очень милый, когда захочет. От него она могла получить все — за исключением того, что мог дать ей Фрэнсис. А нужно было сделать выбор — сохранить обоих, как она предполагала раньше, оказалось невозможным.

Когда-то она шла по острому гребню на Хелвеллине[1]; справа была пропасть, слева пропасть, а она шла и думала, в какую сторону упасть. Не упала. И теперь, вероятно, тоже не упадет; только бы не растеряться!

Подали кофе. Она сидела на диване и курила. Она была наедине со своим женихом; как будет он себя держать?

Он бросил сигару и сел рядом с ней. Настал момент, когда она должна была встать и объявить, что разрывает помолвку. Он обнял ее за талию, притянул к себе.

— Осторожнее! Это мое единственное приличное платье!

И вдруг она заметила в дверях какую-то фигуру. Раздался женский голос:

— О, простите... я думала...

Фигура исчезла.

Марджори Феррар встрепенулась.

---

[1] Гора на северо-западе Англии.

— Вы видели эту женщину?

— Да. Черт бы ее побрал!

— Она за мной следит.

— Что такое?

— Я ее не знаю, но ее лицо мне знакомо. Она внимательно на меня смотрела, пока я ждала внизу.

Мак-Гаун бросился к двери, распахнул ее настежь. Никого! Он снова закрыл дверь.

— Черт возьми! Я бы этих людей... Слушайте, Марджори, завтра же я посылаю в газеты извещение о нашей помолвке!

Марджори Феррар, облокотившись на доску камина, смотрела в зеркало. «Какие бы то ни было моральные побуждения ей чужды!» Ну, так что ж? Ах, если бы только окончательно принять решение выйти за Фрэнсиса и удрать — удрать от кредиторов, адвокатов, Алека! Но злоба одержала верх. Какая наглость! Следить за ней! Нет! Она не желает, чтобы торжествовала эта маленькая выскочка и старик с тяжелым подбородком!

Мак-Гаун поднес ее руку к губам, и почему-то эта ласка ее растрогала.

— Ну что ж! — сказала она.— Пожалуй, я согласна.

— Наконец-то!

— Неужели для вас это действительно счастье?

— Чтобы добиться вас, я пошел бы на что угодно.

— А после? Ну-с, раз наша помолвка будет всем известна, можно спуститься вниз и потанцевать.

Они танцевали около часа. Она не позволила ему проводить ее домой; в такси она плакала. Приехав домой, она тотчас же написала Фрэнсису и вышла, чтобы опустить письмо. Звезды были холодные, ветер холодный, ночь холодная! Опустив письмо в ящик, она засмеялась. Поиграли, как дети! Ну что ж, это было очень забавно! С этим покончено! «Танцуем дальше!»

Поразительно, какое впечатление производит маленькая заметка в газетах! Кредит, словно нефтяной фонтан, взвился к небесам. Теперь по почте приходили не счета от поставщиков, а предложения купить меха, цветы, перья, вышивки. Весь Лондон был к ее услугам. Чтобы скрыться от этой лавины циничных услуг, она за-

няла сто фунтов и бежала в Париж. Там каждый вечер ходила в театр, сделала себе новую прическу, заказала несколько платьев, обедала в ресторанах, известных очень немногим. На душе у нее было тяжело.

Через неделю она вернулась и сожгла весь ворох посланий. К счастью, все поздравительные письма кончались словами: «Конечно, вы не ответите». И она действительно не ответила. Погода стояла теплая; Марджори Феррар каталась верхом в Хайд-парке и собиралась ехать на охоту. Накануне отъезда ей подали анонимную записку.

«Фрэнсис Уилмот заболел воспалением легких в тяжелой форме. На выздоровление не надеются. Он лежит в отеле «Космополис».

У нее замерло сердце, колени подогнулись, рука, державшая записку, задрожала; но мысли были ясны. Она узнала почерк «выскочки». Написана ли эта записка по просьбе Фрэнсиса? Он ее зовет? Бедный мальчик! Неужели она должна идти к нему, если он умирает? Она так ненавидит смерть. Может быть, ее зовут, потому что она одна может спасти его? Что означает эта записка? Но Марджори не страдала нерешительностью. Через десять минут она сидела в такси, через двадцать — была в отеле. Протянув свою визитную карточку, она сказала:

— У вас остановился мистер Уилмот, мой родственник. Я только что узнала, что он тяжело болен. Могу ли я переговорить с сиделкой?

Заведующий взглянул на карточку, потом испытующе посмотрел в лицо Марджори Феррар, позвонил и сказал:

— Конечно, мэм. Послушайте, проводите эту леди в номер двести девять.

Бой проводил ее к лифту, а затем повел по ярко освещенному коридору, устланному бледно-серым ковром, мимо бесчисленных кремовых дверей. Марджори Феррар шла, опустив голову.

Бой безжалостно постучал в одну из дверей.

Дверь открылась. На пороге стояла Флер...

XII

...СГУЩАЮТСЯ

Хотя, по мнению Сомса, Фрэнсис Уилмот мало походил на американца, но сейчас, как истый американец, он стремился сэкономить время.

Через два дня после первого визита Флер в его болезни наступил кризис, к которому он рвался, как жених к невесте. Но человеческая воля бессильна перед инстинктом жизни, и умереть ему не удалось. Флер вызвали по телефону; домой она вернулась, успокоенная словами доктора: «Теперь он выпутается, если нам удастся поднять его силы». Но в том-то и беда, что силы его падали, и ничем нельзя было сломить прогрессирующую апатию. Флер была серьезно встревожена. На четвертый день, когда она просидела у него больше часа, он открыл глаза.

— Что скажете, Фрэнсис?

— А все-таки я умру.

— Не говорите так, это не по-американски. Конечно, вы не умрете.

Он улыбнулся и закрыл глаза. Тогда она приняла решение.

На следующий день он был в том же состоянии, но Флер успокоилась. Посыльный вернулся с ответом, что мисс Феррар будет дома к четырем часам. Значит, сейчас она уже получила записку. Но придет ли она? Как плохо мы знаем людей, даже наших врагов!

Фрэнсис дремал, бледный и обессиленный, когда раздался стук в дверь. Флер вышла в гостиную, закрыла за собой дверь и выглянула в коридор. Пришла!

Быть может, во встрече двух врагов было что-то драматичное, но ни та, ни другая этого не заметили. Для них встреча была только очень неприятной. Секунду они смотрели друг на друга. Потом Флер сказала:

— Он очень слаб. Пожалуйста, присядьте, я его предупрежу, что вы здесь.

Флер прошла в спальню и закрыла дверь.

Фрэнсис Уилмот не пошевельнулся, но широко открыл сразу посветлевшие глаза. Флер показалось, что только теперь она узнала его глаза: словно кто-то поднес спичку и зажег в них огонек.

— Вы догадываетесь, кто пришел?

— Да,— голос прозвучал внятно, но тихо.— Да, но если я и тогда был недостаточно для нее хорош, то уж теперь — тем более. Скажите ей, что с этой глупой историей я покончил.— Флер душили слезы.— Поблагодарите ее за то, что она пришла,— сказал Фрэнсис и снова закрыл глаза.

Флер вышла в гостиную. Марджори Феррар стояла у стены, держа в зубах незажженную папиросу.

— Он благодарит вас за то, что вы пришли, но видеть вас не хочет. Простите, что я вас вызвала.

Марджори Феррар вынула изо рта папиросу; Флер заметила, что губы у нее дрожат.

— Он выздоровеет?

— Не знаю. Теперь, пожалуй, да. Он говорит, что «покончил с этой глупой историей».

Марджори Феррар сжала губы и направилась к двери, потом неожиданно оглянулась и спросила:

— Не хотите помириться?

— Нет,— сказала Флер.

Последовало молчание; потом Марджори Феррар засмеялась и вышла.

Флер вернулась к Фрэнсису Уилмоту. Он спал. На следующий день он почувствовал себя крепче. Через три дня Флер перестала его навещать: он был на пути к полному выздоровлению. Кроме того, Флер обнаружила, что за ней неотступно следует какая-то тень, как овечка за девочкой из песенки. За ней следят! Как забавно! И какая досада, что нельзя рассказать Майклу: от него она по-прежнему все скрывала.

В день ее последнего визита к Фрэнсису Майкл вошел, когда она переодевалась к обеду, держа в руке номер какого-то журнала.

— Вот послушай-ка,—сказал он.

В час, когда к божьей стекутся маслине
Ослики Греции, Африки, Корсики,
Если случайно проснется всесильный,
Снова заснуть не дадут ему ослики.

И, уложив их на райской соломе,
Полуживых от трудов и усталости,

Вспомнит всесильный,— и только он вспомнит,
Сердце его переполнится жалости:

«Ослики эти — мое же творение,
Ослики Турции, Сирии, Крита!» —
И средь маслин водрузит объявление:
«Стойло блаженства для богом забытых» [1].

— Кто это написал? Похоже на Уилфрида.

— Правильно,— сказал Майкл, не глядя на нее.— Я встретил его во «Всякой всячине».

— Ну, как он?

— Молодцом.

— Ты его приглашал к нам?

— Нет. Он опять уезжает на Восток.

Что он, хочет ее поймать? Знает об их встрече? И она сказала:

— Я еду к папе, Майкл. Я получила от него два письма.

Майкл поднес к губам ее руку.

— Отлично, дорогая.

Флер покраснела; ее душили невысказанные слова. На следующий день она уехала с Китом и Дэнди. Вряд ли овечка последует за ней в «Шелтер».

Аннет с матерью уехала на месяц в Канны, и Сомс проводил зиму в одиночестве. Но зимы он не замечал, потому что через несколько недель дело должно было разбираться в суде. Освободившись от французского влияния, он снова стал склоняться в сторону компромисса. Теперь, когда была оглашена помолвка Марджори Феррар с Мак-Гауном, дело принимало новый оборот. По-иному отнесется английский суд к легкомысленной молодой леди сейчас, когда она обручена с членом парламента, богатым и титулованным. Теперь они, в сущности, имеют дело с леди Мак-Гаун, а Сомс знал, каким опасным может быть человек, собирающийся жениться. Оскорбить его невесту — все равно что подойти к бешеной собаке.

Он нахмурился, когда Флер рассказала ему про «овечку». Как он и боялся, им платили той же монетой И нельзя было сказать ей: «Я же тебе говорил!» — потому что это была бы неправда. Вот почему он настаивал,

[1] Перевод И. Романовича.

чтобы она к нему приехала, но из деликатности не открыл ей причины. Насколько ему удалось выяснить, ничего подозрительного в ее поведении не было с тех пор, как она вернулась из Липпингхолла, если не считать этих визитов в отель «Космополис». Но и этого было достаточно. Кто поверит, что она навещала больного только из сострадания? С такими мотивами суд не считается! Сомс был ошеломлен, когда она ему сообщила, что Майкл об этом не знает. Почему?

— Мне не хотелось ему говорить.

— Не хотелось? Неужели ты не понимаешь, в какое положение ты себя поставила? Потихоньку от мужа бегаешь к молодому человеку!

— Да, папа; но он был очень болен.

— Возможно,— сказал Сомс,— но мало ли кто болен?

— А кроме того, он был по уши влюблен в *нее*.

— Как ты думаешь, он это подтвердит, если мы его вызовем как свидетеля?

Флер молчала, вспоминая лицо Фрэнсиса Уилмота.

— Не знаю,— ответила она наконец.— Как все это противно!

— Конечно, противно,— сказал Сомс.— Ты поссорилась с Майклом?

— Нет, не поссорилась. Но он от меня скрывает свои дела.

— Какие дела?

— Как же я могу знать, дорогой?

Сомс что-то проворчал.

— Он бы возражал против твоих визитов?

— Конечно, нет. Он был бы недоволен, если бы я не пошла. Ему нравится этот мальчик.

— В таком случае,— сказал Сомс,— либо тебе, либо ему, либо вам обоим придется солгать и сказать, что он знал. Я поеду в Лондон и переговорю с ним. Слава богу, мы можем доказать, что молодой человек действительно был болен. Если я наткнусь здесь на кого-нибудь, кто за тобой следит...

На следующий день он поехал в Лондон. В парламенте не заседали, и он пошел во «Всякую всячину». Он не любил этот клуб, прочно связанный в его представле-

нии с его покойным кузеном молодым Джолионом, и сейчас же сказал Майклу:

— Куда нам пойти?

— Куда хотите, сэр.

— К вам домой, если у вас можно переночевать. Мне нужно с вами поговорить.

Майкл посмотрел на него искоса.

— Слушайте,— начал Сомс, когда они пообедали,— что случилось? Флер говорит, что вы скрываете от нее свои дела?

Майкл уставился на рюмку с портвейном.

— Видите ли, сэр,— проговорил он медленно,— конечно, я был бы рад держать ее в курсе всего, но не думаю, чтобы она этим действительно интересовалась. К общественной деятельности она относится равнодушно.

— Общественная деятельность! Я имел в виду личные ваши дела.

— Никаких личных дел у меня нет. А она думает, что есть?

Сомс прекратил допрос.

— Не знаю, она сказала «дела».

— Ну, можете ее разубедить.

— Гм! А результат тот, что она потихоньку от вас навещала этого молодого американца, который заболел воспалением легких в отеле «Космополис». Хорошо, что она не заразилась.

— Фрэнсиса Уилмота?

— Да, теперь он выздоровел. Но не в этом дело. За ней следили.

— О господи! — сказал Майкл.

— Вот именно. Видите, что значит не говорить с женой. Жены — странный народ; они этого не любят.

Майкл усмехнулся.

— Поставьте себя на мое место, сэр. Теперь я по профессии своей должен интересоваться положением страны; ну и втянулся, интересно. А Флер все это кажется вздором. Я ее понимаю; но, знаете, чем больше я втягиваюсь, тем больше боюсь, что ей будет скучно, тем больше молчу. У нее это вроде ревности.

Сомс потер подбородок. Оригинальная соперница — страна! Положение страны и его нередко тревожило, но делать из этого причину ссоры между мужем и же-

ной — что-то пресно; он в свое время знавал не такие причины!

— Надо вам с этим покончить,— сказал он.— Это вульгарно.

Майкл встал.

— Вульгарно! Не знаю, сэр, но, мне кажется, то же самое мы наблюдали во время войны, когда мужья были вынуждены оставлять своих жен.

— Жены с этим мирились,— сказал Сомс.— Страна была в опасности.

— А сейчас она не в опасности?

Обладая врожденным недоверием к словесной игре, Сомс услышал в этих словах что-то неприличное. Конечно, Майкл — политический деятель; но обязанность его и ему подобных сохранять в стране порядок, а не сеять панику всякими глупыми разговорами.

— Поживите с мое и увидите, что при желании всегда можно найти повод волноваться. В сущности, все обстоит благополучно; фунт поднимается. А затем — неважно, что именно вы будете говорить Флер, но только бы что-нибудь говорили.

— Она не глупа, сэр,— сказал Майкл.

Сомс растерялся; этого он отрицать не мог и потому ответил:

— Ну, политические дела мало кого близко затрагивают. Конечно, женщина ими не заинтересуется.

— Очень многие женщины интересуются.

— Синие чулки.

— Нет, сэр, большей частью они носят чулки телесного цвета.

— А, эти! А что касается интереса к политике, повысьте пошлину на чулки и посмотрите, что из этого выйдет.

Майкл усмехнулся.

— Я это предложу, сэр.

— Вы очень ошибаетесь,— продолжал Сомс,— если считаете, что люди — мужчины и женщины — согласятся забыть о себе ради вашего фоггартизма.

— Это мне все говорят, сэр. Я не хочу, чтобы меня и дома окатывали холодной водой, потому и решил не надоедать Флер.

— Послушайтесь моего совета и займитесь чем-нибудь определенным — уличным движением, работой почты. Бросьте ваши пессимистические теории. Люди, которые говорят общими фразами, никогда не пользуются доверием. Во всяком случае, вам придется сказать, что вы знали о ее визитах в отель «Космополис».

— Конечно, сэр. Но неужели вы хотите, чтобы дело дошло до суда? Ведь этот процесс превратят в спектакль.

Сомс помолчал; он этого не хотел — а вдруг «они» все-таки это сделают?

— Не знаю,— ответил он наконец.— Этот тип — шотландец. Зачем вы его ударили по носу?

— Он первый дал мне по физиономии. Знаю, что мне представился прекрасный случай подставить другую щеку, но в тот момент я об этом не подумал.

— Должно быть, вы его обругали.

— Назвал грязной скотиной, больше ничего. Как вам известно, после моей речи он хотел меня опорочить.

Сомс находил, что этот молодой человек — его зять— слишком серьезно относится к своей особе.

— Ваша речь! Запомните одно: что бы вы ни говорили и что бы вы ни делали — все равно это ни к чему не приведет.

— В таком случае зачем же я заседаю в парламенте?

— Ну что ж! Не вы один. Государство — то же дерево: можно за ним ухаживать, но нельзя выкапывать его из земли, чтобы осмотреть корни.

На Майкла эта фраза произвела впечатление.

— В политике,— продолжал Сомс,— самое главное — сохранять присутствие духа и не делать больше того, что вы должны делать.

— А как определить, что именно необходимо?

— Здравый смысл подскажет.

Встав, он начал рассматривать Гойю.

— Вы хотите купить еще картину Гойи, сэр?

— Нет, теперь я бы вернулся к картинам английской школы.

— Патриотизм?

Сомс зорко посмотрел на него.

— Устраивать панику — отнюдь не значит быть патриотом,— сказал он.— И не забудьте, что иностранцы

радуются, когда у нас неурядицы. Не годится во весь голос говорить о наших делах!

С грузом этой премудрости Майкл пошел спать. Он вспомнил, как после войны говорил: «Если будет еще война, ни за что не пойду». Теперь он знал, что непременно пошел бы опять. Значит, «Старый Форсайт» считает, что он суетится зря? Так ли это? И фоггартизм — чушь? Что же, послушаться, заняться уличным движением? И все нереально? А его любовь к Флер? Как хочется, чтобы сейчас она была здесь. А тут еще Уилфрид вернулся! Рисковать своим счастьем ради чего? Старая Англия, как и «Старый Форсайт», не признает теорий. Большие начинания — только реклама. Рекламирует? Он? Ужасно неприятная мысль. Он встал и подошел к окну. Туман! Туман все превращает в тени; и самая ничтожная тень — он сам, непрактичный политик, близко принимающий к сердцу свою деятельность. Раз! Два! Большой Бэн! Сколько сердец заставил он вздрогнуть! Сколько снов нарушил своим мерным боем! Быть верхоглядом, как все, и предоставить стране спокойно сосать серебряную ложку!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

«ЗРЕЛИЩА»

В детстве Сомс очень любил цирк. С годами это прошло; теперь «зрелища» внушали ему чуть ли не отвращение. Юбилеи, парады, день лорд-мэра[1], выставки, состязания — всего этого он не любил. Его раздражала толпа людей с разинутыми ртами. Модные туалеты он считал признаком слабоумия, а коллективный восторг — громкой фальшью, которая оскорбляла его замкнутую натуру. Не будучи глубоким знатоком истории, он все же считал, что народы, увлекающиеся «зрелищами», стоят на грани вырождения. Правда, похороны королевы Виктории произвели на него впечатление — особенное было чувство в тот день,— но с тех пор все шло хуже и хуже. Теперь все что угодно готовы превратить в «зрелище». Когда человек совершает убийство, все, кто читает газеты — в том числе и он сам,— так и набрасываются на подробности; а уж эти футбольные матчи, кавалькады — нарушают уличное движение, врываются в спокойные разговоры; публика просто помешалась на них!

Конечно, у «зрелищ» есть и хорошая сторона. Они

[1] 9 ноября — день, когда новый лорд-мэр Лондона приступает к своим обязанностям.

отвлекают внимание масс. А показ насильственных действий — безусловно ценный политический прием. Трудно разевать рот от волнения и в то же время проливать кровь. Чем чаще люди разевают рот, тем менее они расположены причинять вред другим и тем спокойнее может Сомс спать по ночам. Но все же погоня за сенсациями граничила, по его мнению, с болезнью, и, насколько он мог судить, никто от этой болезни не был застрахован.

Проходили недели; слушалось одно дело за другим, и «зрелище», которое собирались сделать из его дочери, представлялось ему все более чудовищным. Он инстинктивно не доверял шотландцам — они были упрямы, а он не терпел в других этого свойства, столь присущего ему самому. Кроме того, шотландцы казались ему людьми несдержанными: то они слишком мрачны, то слишком веселы, вообще — сумасбродный народ! В середине марта — дело должно было разбираться через неделю — он сделал рискованный шаг и отправился в кулуары палаты общин. Об этой своей последней попытке он никому не сказал; ему казалось, что все — и Аннет, и Майкл, и даже Флер — сделали все возможное, чтобы примирение не состоялось.

Передав свою визитную карточку, он долго ждал в просторном вестибюле. Он не думал, что потеряет здесь столько времени. Некоторое утешение принесли ему статуи. Сэр Стэфорд Норткот — вот молодец; на обедах у старых Форсайтов в восьмидесятых годах разговоры о нем были так же обязательны, как седло барашка. Даже «этот Гладстон» казался вполне сносным теперь, когда его вылепили из гипса или из чего их там делают. Такой может не нравиться, но мимо него не пройдешь — не то что теперешние. Он пребывал в трансе перед лордом Грэнвилем, когда наконец раздался голос:

— Сэр Александр Мак-Гаун.

Сомс увидел коренастого человека с красной физиономией, жесткими черными волосами и подстриженными усами; он спускался по лестнице, держа в руке его визитную карточку.

— Мистер Форсайт?

— Да. Нельзя ли пойти куда-нибудь, где меньше народу?

Шотландец кивнул и провел его по коридору в маленькую комнату.

— Что вам угодно?

Сомс погладил свою шляпу.

— Это дело,— начал он,— так же неприятно для вас, как и для меня.

— Так это вы осмелились назвать «предательницей» леди, с которой я обручен?

— Совершенно верно.

— Не понимаю, как у вас хватило наглости явиться сюда и говорить со мной.

Сомс закусил губу.

— Я слышал, как ваша невеста назвала мою дочь «выскочкой», будучи у нее в гостях. Вы хотите, чтобы эта нелепая история получила огласку?

— Вы глубоко ошибаетесь, думая, что вы с вашей дочерью можете безнаказанно называть «змеей», «предательницей» и «безнравственной особой» ту, которая будет моей женой. Извинение в письменной форме — с тем, чтобы ее защитник огласил его на суде — вот ваш единственный шанс.

— Этого вы не получите. Другое дело, если обе стороны выразят сожаление. Что касается компенсации...

— К черту компенсацию! — резко перебил Мак-Гаун, и Сомс невольно почувствовал к нему симпатию.

— В таком случае,— сказал он,— жалею ее и вас.

— На что вы, черт возьми, намекаете, сэр?

— Узнаете в конце следующей недели, если не измените своего решения. Если дело дойдет до суда, мы за себя постоим.

Шотландец побагровел так, что Сомс на секунду испугался, как бы его не хватил удар.

— Берегитесь! Держите язык за зубами на суде!

— В суде мы не обращаем внимания на грубиянов.

Мак-Гаун сжал кулаки.

— Да,— сказал Сомс,— жаль, что я не молод. Прощайте!

Он прошел мимо Мак-Гауна и вышел в коридор. Дорогу в этом «садке для кроликов» он запомнил и вскоре добрался до вестибюля. Ну что ж! Последняя

попытка не удалась! Больше делать нечего, но этот заносчивый субъект и его красавица пожалеют, что родились на свет. На улице его окутал холодный туман. Гордость и запальчивость! Не желая признать себя виновными, люди готовы стать мишенью насмешек и издевательств толпы. Шотландец, защищая «честь» женщины, идет на то, чтобы перемывали ее грязное белье! Сомс остановился: в самом деле, стоит ли раскапывать ее прошлое? Если он этого не сделает, она может выиграть дело; а если он затронет вопрос о ее прошлом и все-таки проиграет дело — ему придется заплатить ей огромную сумму, быть может, тысячи. Необходимо принять какое-нибудь решение. Все время он успокаивал себя мыслью, что дело не дойдет до суда. Четыре часа! Пожалуй, еще не поздно заглянуть к сэру Джемсу Фоскиссону. Надо позвонить Николасу, пусть сейчас же устроит им свидание, и если Майкл дома, можно прихватить и его.

Майкл сидел в своем кабинете и с мрачным удовольствием рассматривал карикатуру на самого себя, нарисованную Обри Грином и помещенную в газете для великосветских кругов. Он был изображен стоящим на одной ноге и вопиющим в пустыне, на горизонте всходила сардоническая улыбка. Изо рта у него, словно завитки табачного дыма, вырывалось слово «фоггартизм». Мистер Блайт в образе обезьяны, задрав голову, аплодировал ему передними лапами. Весь тон рисунка был беспощаден — он не язвил, он просто убивал на месте. Лицу Майкла было придано выражение полного удовольствия, какое бывает после сытного обеда, он словно упивался звуками собственного голоса. Даже друг, даже художник не понял, что пустыня напрашивается на шарж не меньше, чем пеликан! Карикатура ставила клеймо никчемности на все его замыслы. Она напомнила ему слова Флер: «А когда лейбористы уйдут, их сменят тори, и это время ты используешь для своих эксцентрических выходок». Вот реалистка! Она с самого начала поняла, что его ждет роль эксцентричного одиночки. Чертовски удачная карикатура! И никто не оценит ее лучше, чем сама жертва. Но почему никто не принимает фоггартизм всерьез? Почему? Потому что он скачет кузнечиком там, где все ходят шагом; люди, привык-

шие ощупью пробираться в тумане, видят в новом учении только блуждающий огонек. Да, в награду за свои труды он остался в дураках! И тут явился Сомс.

— Я говорил с этим шотландцем,— сообщил он.— Он хочет довести дело до суда.

— О, неужели, сэр! Я думал, что вы этого не допустите.

— Он требует извинения в письменной форме. На это Флер не может согласиться: ведь не она виновата. Вы можете проехать со мной к сэру Джемсу Фоскиссону?

Они сели в такси и поехали в Темпль. Встретил их Николас Форсайт и за десять минут успел познакомить их со всеми слабыми сторонами дела.

— Кажется, ему доставляет удовольствие мысль о возможном поражении,— прошептал Майкл, когда Николас повел их к сэру Джемсу.

— Жалкий субъект, но добросовестный,— отозвался Сомс.— Фоскиссон должен сам этим заняться.

Подождав, пока Николас напомнил знаменитому адвокату обстоятельства дела, они очутились в присутствии человека с очень большой головой и седыми бакенбардами. Сомс внимательно следил за выступлениями великого адвоката с тех пор, как остановил на нем свой выбор, и с удовольствием отметил, что в делах, имеющих отношение к вопросам морали, он неизменно выходит победителем. При ближайшем рассмотрении бакенбарды придавали сэру Джемсу чрезвычайно респектабельный вид. Трудно было себе представить его лежащим в кровати, танцующим или играющим в азартные игры. Говорили, что, несмотря на обширную практику, он отличается добросовестностью. Больше половины фактов он успевал изучить до суда, остальные постигал на ходу, во время процесса, а в крайнем случае — умело скрывал свою неосведомленность. «Очень молодой» Николас, которому были известны все факты, не мог посоветовать, какого курса держаться. Сэр Джемс знал ровно столько, сколько считал нужным знать. Переводя взгляд с Сомса на Майкла, он сказал:

— Несомненно, это одно из тех дел, которые как бы сами напрашиваются на мировую сделку.

— Вот именно,— сказал Сомс.

Тон, каким было сказано это слово, привлек внимание сэра Джемса.

— Вы уже делали шаги в этом направлении?

— Да, я испробовал все, вплоть до последнего средства.

— Простите, мистер Форсайт, но что вы считаете «последним средством»?

— Полторы тысячи фунтов, и обе стороны выражают сожаление. А они соглашаются на полторы тысячи, но требуют извинения в письменной форме.

Великий адвокат погладил подбородок.

— Вы им предлагали извинение в письменной форме без этих полутора тысяч?

— Нет.

— А я склонен вам это посоветовать. Мак-Гаун очень богат. А словечки в письмах оскорбительные. Ваше мнение, мистер Монт?

— Она еще более резко отозвалась о моей жене.

Сэр Джемс посмотрел на Николаса.

— Позвольте, я забыл — как именно?

— «Выскочка» и «охотница за знаменитостями»,— коротко сказал Майкл.

Сэр Джемс покачал головой.

— «Безнравственная», «змея», «предательница», «лишена очарования» — вы думаете, это слабее?

— Это не вызывает смеха, сэр. А в свете считаются только с насмешками.

Сэр Джемс улыбнулся.

— Присяжные — не великосветский салон, мистер Монт.

— Как бы там ни было, моя жена готова извиниться только в том случае, если и другая сторона выразит сожаление; и я нахожу, что она права.

Казалось, сэр Джемс Фоскиссон вздохнул свободнее.

— Теперь следует подумать, стоит ли использовать материал, представленный сыщиком, или нет? Если мы решим его использовать, то придется вызвать в качестве свидетелей швейцара и слуг... э-э... гм... мистера Кэрфью.

— Совершенно верно,— сказал Сомс.— Мы для того и собрались, чтобы решить этот вопрос.

Это прозвучало так, словно он сказал: «Объявляю конференцию открытой».

В течение пяти минут сэр Джемс молча просматривал донесение сыщика.

— Если это хотя бы частично подтвердится,— сказал он,— победа за нами.

Майкл отошел к окну. На деревьях уже появились крохотные почки; внизу на траве прихорашивались голуби. Донесся голос Сомса:

— Я забыл вам сказать, что они следят за моей дочерью. Конечно, ничего предосудительного она не делала, только навещала в отеле одного молодого американца, который опасно заболел.

— Навещала с моего согласия,— вставил Майкл, не отрываясь от окна.

— Можно будет его вызвать?

— Кажется, он сейчас в Борнмуте. Но он был влюблен в мисс Феррар.

Сэр Джемс повернулся к Сомсу.

— Если нельзя кончить дело миром, то лучше идти напролом Думаю, что не следует ограничиваться вопросами о книгах, пьесе и клубах.

— Вы прочли эту сцену в «Прямодушном»? — осведомился Сомс.— И роман «Шпанская мушка»?

— Все это прекрасно, мистер Форсайт, но нельзя предвидеть, удовольствуются ли присяжные такого рода доказательствами.

Майкл отошел от окна.

— Меньше всего мне хотелось бы вторгаться в личную жизнь мисс Феррар,— сказал он.— Это отвратительно.

— Конечно. Но ведь вы хотите, чтобы я выиграл дело?

— Да, но не таким путем. Нельзя ли явиться в суд, ничего не говорить и уплатить деньги?

Сэр Джемс Фоскиссон улыбнулся и взглянул на Сомса; казалось, он хотел сказать: «Зачем, собственно, вы привели ко мне этого молодого человека?»

Но Сомс думал о другом.

— Слишком рискованно говорить об этом мистере Кэрфью. Если мы проиграем, это нам обойдется тысяч в двадцать. Кроме того, они, несомненно, притянут к допросу мою дочь, а этого я хочу избежать. Нельзя ли ограничиться походом на современную мораль?

Сэр Джемс Фоскиссон заерзал на стуле, и зрачки его сузились; он три раза чуть заметно кивнул.

— Когда разбирается дело? — спросил он «очень молодого» Николаса.

— Должно быть, в четверг, на будущей неделе. Судья — Брэн.

— Отлично. Мы с вами увидимся в понедельник. Всего хорошего.

Он откинулся на спинку стула и застыл. Сомс и Майкл не осмелились его тревожить. Они молча вышли на улицу, а «очень молодой» Николас остался поговорить с секретарем сэра Джемса. Дойдя до станции Темпль, Майкл сказал:

— Я зайду в редакцию «Аванпоста», сэр. Вы идете домой? Может быть, вы предупредите Флер?

Сомс кивнул. Ну конечно! Все неприятное приходится делать ему!

II

«НЕ НАМЕРЕН ДОПУСТИТЬ»

В редакции «Аванпоста» мистер Блайт только что закончил разговор с одним из тех великих дельцов, которые производят такое глубокое впечатление на всех, с кем ведут конфиденциальную беседу. Если сэр Томас Локкит и не держал в своих руках всю британскую промышленность, то, во всяком случае, все склонны были так думать — до того безапелляционно и холодно излагал он свою точку зрения. Он считал, что страна снова должна занять на мировом рынке то положение, какое занимала до войны. Все зависит от угля — препятствием является вопрос о семичасовом рабочем дне: но они, промышленники, «не намерены этого допустить».

Надо во что бы то ни стало снизить себестоимость угля. Они не намерены допустить, чтобы Европа обходилась без английских товаров. Очень многим были известны убеждения сэра Томаса Локкита, но эти немногие почитали себя счастливыми.

Однако мистер Блайт грыз ногти и отплевывался.

— Кто это был, с седыми усами? — осведомился Майкл.

— Локкит. Он «не намерен этого допустить».

— Да ну? — удивился Майкл.

— Совершенно ясно, Монт, что опасными людьми являются не политики, которые действуют во имя общего блага — иными словами, работают потихоньку, не спеша,— а именно эти крупные дельцы, преследующие свою личную выгоду. Уж они-то знают, чего хотят; и если дать им волю,— они погубят страну.

— Что они затевают? — спросил Майкл.

— В данный момент —ничего, но в воздухе пахнет грозой. По Локкиту можно судить, сколь вредна сила воли. Он «не намерен допустить», чтобы кто-нибудь ему препятствовал. Он не прочь сломить рабочих и заставить их трудиться, как негров. Но это не пройдет, это вызовет гражданскую войну. В общем — скучно. Если опять вспыхнет борьба между промышленниками и рабочими, как нам тогда проводить фоггартизм?

— Я думал о положении страны,— сказал Майкл.— Как по-вашему, Блайт, не строим ли мы воздушные замки? Какой смысл убеждать человека, потерявшего одно легкое, что оно ему необходимо?

Мистер Блайт надул одну щеку.

— Да,— сказал он,— сто лет — от битвы при Ватерлоо до войны — страна жила спокойно; ее образ действий так устоялся, она так закоснела в своих привычках, что теперь все — и редакторы, и политики, и дельцы — способны мыслить только в плане индустриализации. За эти сто спокойных лет центр тяжести в стране переместился, и потребуется еще пятьдесят спокойных лет, чтобы она пришла в равновесие. Горе в том, что этих пятидесяти лет нам не видать. Какая ни на есть заваруха — война с Турцией или Россией, беспорядки в Индии, внутренние трения, не говоря уже о новом мировом пожаре,— и все наши планы летят к черту. Мы по-

пали в беспокойную полосу истории и знаем это, вот и живем со дня на день.

— Ну и что же? — мрачно сказал Майкл, вспоминая разговоры с министром в Липпингхолле.

Мистер Блайт надул другую щеку.

— Молодой человек, не отступать! Фоггартизм сулит нам лучшее будущее, к нему мы и должны стремиться. Мы переросли все старые идеалы.

— Видели вы карикатуру Обри Грина?

— Видел.

— Ловко, не правда ли? В сущности, я пришел, чтобы сообщить вам, что это проклятое дело о диффамации будет разбираться через неделю.

Мистер Блайт подвигал ушами.

— Очень печально. Выиграете вы или проиграете— безразлично. Такие передряги вредят политической карьере. Но ведь до суда дело не дойдет?

— Мы бессильны что-либо изменить. Но наш защитник ограничится нападением на современную мораль.

— Нельзя нападать на то, что не существует.

— Вы хотите сказать, что не замечаете новой морали?

— Конечно. Попробуйте сформулируйте ее.

— «Не будь дураком, не будь скучным».

Мистер Блайт крякнул:

— В старину говорили: «Веди себя, как подобает джентльмену».

— Да, но теперь такого зверя не сыщешь.

— Кой-какие обломки сохранились: воспроизвели же неандертальского человека по одной половине черепа.

— Нельзя опираться на то, что считают смешным, Блайт.

— А,— сказал мистер Блайт,— ваше поколение, юный Монт, боится смешного и старается не отстать от века. Не так умно, как кажется.

Майкл усмехнулся.

— Знаю. Идемте в палату. Парсхэм проводит билль об электрификации. Может быть, услышим что-нибудь о безработице.

Расставшись с Блайтом в кулуарах, Майкл наткнул-

ся в коридоре на своего отца. Рядом с сэром Лоренсом шел невысокий старик с аккуратно подстриженной седой бородкой.

— А, Майкл! Мы тебя искали. Маркиз, вот мой подающий надежды сын! Маркиз хочет, чтобы ты заинтересовался электрификацией.

Майкл снял шляпу.

— Не хотите ли пройти в читальню, сэр?

Он знал, что дед Марджори Феррар может быть ему полезен. Они уселись треугольником в дальнем углу комнаты, освещенной с таким расчетом, чтобы читающие не видели друг друга.

— Вы что-нибудь знаете об электричестве, мистер Монт? — спросил маркиз.

— Только то, сэр, что в этой комнате его маловато.

— Электричество необходимо всюду, мистер Монт. Я читал о вашем фоггартизме; очень возможно, что это политика будущего, но ничего нельзя сделать до тех пор, пока страна не электрифицирована. Я бы хотел, чтобы вы поддержали этот билль Парсхэма.

И старый пэр приложил все усилия, чтобы затуманить мозг Майкла.

— Понимаю, сэр,— сказал наконец Майкл.—Но этот билль приведет к увеличению числа безработных.

— Временно.

— Боюсь, что временных зол с меня хватит. Я убедился, что нелегко заинтересовать людей будущими благами. Мне кажется, они придают значение только настоящему.

Сэр Лоренс захихикал.

— Дайте ему время подумать, маркиз, и десяток брошюр. Знаешь ли, дорогой мой, пока твой фоггартизм обречен пребывать в стойле, тебе нужна вторая лошадь.

— Да, мне уже советовали заняться уличным движением или работой почты. Кстати, сэр, знаете — наше дело попало-таки в суд. Слушается на будущей неделе.

Сэр Лоренс поднял бровь.

— Да? Помните, маркиз, я вам говорил о вашей

внучке и моей невестке? Я об этом и хотел с вами побеседовать.

— Кажется, речь шла о диффамации? — сказал старый пэр.— Моя тетка....

— Ах да! Очень интересный случай! — перебил сэр Лоренс.— Я читал о нем в мемуарах Бэтти Монтекур.

— В старину диффамация нередко бывала пикантна,— продолжал маркиз.— Ответчицу привлекли за следующие слова: «Кринолин скрывает ее кривобокость».

— Если можно что-нибудь сделать, чтобы предотвратить скандал,— пробормотал Майкл,— нужно действовать немедленно. Мы в тупике.

— Не можете ли вы вмешаться, сэр? — спросил сэр Лоренс.

У маркиза затряслась бородка.

— Я узнал из газет, что моя внучка выходит замуж за некоего Мак-Гауна, члена палаты. Он сейчас здесь?

— Вероятно,— сказал Майкл.— Но я с ним поссорился. Пожалуй, сэр, лучше бы переговорить с ней.

Маркиз встал.

— Я ее приглашу к завтраку. Не люблю огласки. Ну-с, мистер Монт, надеюсь, что вы будете голосовать за этот билль и подумаете об электрификации страны. Мы хотим привлечь молодых людей. Пройду сейчас на скамью пэров [1]. Прощайте!

Он быстро засеменил прочь, а Майкл сказал отцу:

— Если он не намерен этого допустить, пусть бы и Флер пригласил к завтраку. Как-никак, в ссоре замешаны две стороны.

III

СОМС ЕДЕТ ДОМОЙ

А в это время Сомс сидел с одной из «сторон» в ее гостиной. Она выслушала его молча, но вид у нее был угрюмый и недовольный. Разве он имел представление о том, какой она чувствовала себя одинокой и ни-

[1] Места в первом ряду галереи в палате общин.

чтожной? Разве он знал, что брошенный камень разбил ее представление о самой себе, что слово «выскочка» ранило ее душу? Он не мог понять, что эта травма отняла у нее веру в себя, надежду на успех, столь необходимые каждому из нас. Огорченный выражением ее лица, озабоченный деталями предстоящего «зрелища» и мучительно стараясь найти способ избавить ее от неприятностей, Сомс молчал как рыба.

— Ты будешь сидеть впереди, рядом со мной,— сказал он наконец.— Я бы посоветовал тебе одеться скромно. Ты хочешь, чтобы твоя мать тоже была там?

Флер пожала плечами.

— Да,— продолжал Сомс,— но если она захочет, пусть пойдет. Слава богу, Брэн не любит отпускать шуточки. Ты была когда-нибудь в суде?

— Нет.

— Самое главное — не волноваться и ни на что не обращать внимания. Все они будут сидеть за твоей спиной, кроме присяжных, а они не страшные. Если будешь смотреть на них — не улыбайся.

— А что, они к этому чувствительны, папа?

Сомс не реагировал на столь легкомысленную реплику.

— Шляпу надень маленькую. Майкл пусть сядет слева от тебя. Вы уже покончили с этим... э-э... гм... умалчиванием?

— Да.

— И я бы этого не повторял. Он тебя очень любит.

Флер кивнула.

— Может быть, ты мне что-нибудь хочешь сказать? Ты знаешь, я ведь о тебе беспокоюсь.

Флер подошла и села на ручку его кресла; у него сразу отлегло от сердца.

— Право же, мне теперь все равно. Дело сделано. Надеюсь только, что ей не поздоровится.

Сомс лелеял ту же надежду, но был шокирован ее словами.

Вскоре после этого разговора он с ней расстался, сел в свой автомобиль и поехал домой, в Мейплдерхем. Был холодный вечер, и Сомс закрыл окна. Ни о чем не хотелось думать. Он провел утомительный день и лени-

во радовался запаху стефанотиса, которым, по распоряжению Аннет, душили автомобиль. Знакомая дорога не наводила на размышления, он только подивился, как много всегда на свете народу между шестью и семью часами вечера Он задремал, проснулся, опять задремал. Что это, Слау? Здесь он учился, прежде чем поступил в Молборо, и с ним молодой Николас и Сент-Джон Хэймен, а позже — еще кое-кто из молодых Форсайтов. Почти шестьдесят лет прошло с тех пор! Он помнил первый день в школе — с иголочки новый мальчик в новом с иголочки цилиндрике; в ящике от игрушек — лакомства, которыми снабдила его мать; в ушах звучат ее слова: «Вот, Сомми, маленький, угостишь — и тебя будут любить». Он думал растянуть это угощение на несколько недель; но не успел он достать первый пряник, как его ящиком завладели и намекнули ему, что недурно было бы съесть все сразу. За двадцать две минуты двадцать два мальчика значительно прибавили в весе, а сам он, оделяя других, получил меньше двадцать третьей доли. Ему оставили только пачку печенья с тмином, а он совсем не любил тмина. Потом три других новичка назвали его дураком за то, что он все раздарил, а не сберег для них, и ему пришлось драться с ними по очереди. Популярность его длилась двадцать две минуты и кончилась раз и навсегда. С тех самых пор он был настроен против коммунизма.

Подскакивая на мягком сиденье машины, он остро вспомнил, как его кузен Сент-Джон Хэймен загнал его в куст терновника и не выпускал добрых две минуты. Злые создания эти мальчишки! Мысль о Майкле, стремящемся удалить их из Англии, вызвала в нем чувство благодарности. А впрочем... даже с мальчиками у него связаны кой-какие приятные воспоминания. Из своей коллекции бабочек он как-то продал одному мальчику двух сильно подпорченных «адмиралов» за шиллинг и три пенса. Снова стать мальчиком, а? И стрелять горохом в окна проходящего поезда; дома, на каникулах, пить вишневку; получить награду за то, что прочел наизусть двести строк из поэмы Вальтера Скотта лучше, чем Бэроуз-Яблочный Пирог, а? Что сталось с Бэроузом, у которого в школе всегда было столько

денег, что его отец обанкротился? Бэроуз-Яблочный Пирог...

Улицы Слау остались позади. Теперь они ехали полями, и Сомс опустил раму, чтобы подышать воздухом. В окно ворвался запах травы и деревьев. Удалить из Англии мальчиков! Странное у них произношение в этих заморских краях! Впрочем, и здесь иногда такое услышишь! Вот в Слау за произношением следили, чуть что — мальчик получал по затылку. Он вспомнил, как его родители — Джемс и Эмили — в первый раз приехали его навестить, такие парадные — он с баками, она в кринолине; и противные мальчишки отпускали по их адресу обидные замечания. Вон их из Англии! Но в то время мальчикам некуда было уезжать. Он глубоко вдохнул запах травы. Говорят, Англия изменилась, стала хуже, чуть ли не гибнет. Вздор! Пахнет в ней по-прежнему! Вот в начале прошлого века Саймон, брат «Гордого Доссета», уехал мальчиком на Бермудские острова — и что же, дал он о себе знать? Не дал. Джон Форсайт и его мать — его, Сомса, неверная и все еще не совсем забытая жена — уехали в Штаты — дадут они еще о себе знать? Надо надеяться, что нет. Англия! Когда-нибудь, когда будет время и машина будет свободна, надо заглянуть на границу Дорсетшира и Девона, откуда вышли Форсайты. Там, насколько ему известно, ничего нет, и никто об его поездке не узнает; но интересно, какого цвета там земля, и, наверно, там есть кладбище, и еще... А, проезжаем Мейденхед! Испортили реку эти виллы, отели, граммофоны! Странно, что Флер никогда не любила реку: должно быть, находит ее слишком мокрой и медленной; сейчас все сухое, быстрое, как в Америке. Но где сыскать такую реку, как Темза? Нигде. Водоросли и чистая, зеленая вода, можно сидеть в лодке и глядеть на коров, на тополя, на те вот большие вязы. Спокойно и тихо, и никто не мешает, и можно думать о Констэбле, Мэйсоне, Уокере.

Тут последовал легкий толчок; автомобиль, наткнувшись на что-то, остановился. Этот Ригз вечно на что-нибудь натыкается! Сомс выглянул в окно. Шофер вылез и стал осматривать колеса.

— Что это? — спросил Сомс.

— Кажется, это была свинья, сэр.

— Где?

— Прикажете ехать дальше или пойти посмотреть?

Сомс огляделся по сторонам. Поблизости не было никакого жилья.

— Посмотрите.

Шофер исчез за автомобилем. Сомс сидел неподвижно. Он никогда не разводил свиней. Говорят, свинья — чистоплотное животное. Люди не отдают должного свиньям. Было очень тихо. Ни одного автомобиля на дороге; в тишине слышно было, как ветер шелестит в кустах. Сомс заметил несколько звезд.

— Так и есть, свинья, сэр, она дышит.

— О! — сказал Сомс.

Если у кошки девять жизней, то сколько же у свиньи? Он вспомнил единственную загадку, которую любил загадывать его отец: «Если полторы селедки стоят три с половиной пенса, то сколько стоит рашпер?» Еще ребенком он понял, что ответить на это нельзя.

— Где она? — спросил он.

— В канаве, сэр.

Свинья была чьей-то собственностью, но раз она забилась в канаву, Сомс успеет доехать до дому раньше, чем пропажа свиньи будет обнаружена.

— Едем! — сказал он.— Нет! Подождите!

Он открыл дверцу и вышел на дорогу. Ведь все-таки свинья попала в беду.

— Покажите, где она.

Он направился к тому месту, где стоял шофер. В неглубокой канаве лежала какая-то темная масса и глухо всхрапывала, словно человек, заснувший в клубе.

— Мы только что проехали мимо коттеджей,— сказал шофер.— Должно быть, она оттуда.

Сомс посмотрел на свинью.

— Что-нибудь поломано?

— Нет, сэр. Крыло цело. Кажется, мы здорово ее двинули.

— Я спрашиваю про свинью.

Шофер тронул свинью кончиком башмака. Она завизжала, а Сомс вздрогнул. Какой бестолковый парень!

Ведь могут услышать! Но как узнать, цела ли свинья, если не прикасаться к ней? Он подошел ближе, увидел, что свинья на него смотрит, и почувствовал сострадание. Что, если у нее сломана нога? Снова шофер ткнул ее башмаком. Свинья жалобно завизжала, с трудом поднялась и, хрюкая, рысцой побежала прочь. Сомс поспешил сесть в автомобиль.

— Поезжайте! — сказал он.

Свиньи! Ни о чем не думают, только о себе; да и хозяева их хороши — вечно ругают автомобили. И кто знает, может быть, они правы! Сомсу почудилось, что внизу у его ног блестят свиные глазки. Не завести ли ему свиней теперь, когда он купил этот луг на другом берегу реки? Есть сало своих собственных свиней, коптить окорока! В конце концов это было бы неплохо. Чистые свиньи, прекрасно откормленные! И старик Фоггарт говорит, что Англия должна кормить самое себя и ни от кого не зависеть, если снова разразится война. Он потянул носом: пахнет печеным хлебом. Рэдинг — как быстро доехали! Хоть печенье в Англии свое! Поедать то, что производят другие страны, даже неприятно — точно из милости кормят! Есть в Англии и мясо и пшеница; а что касается годного для еды картофеля, то его нигде, кроме как в Англии, не найти — ни в Италии, ни во Франции. Вот теперь хотят снова торговать с Россией. Эти большевики ненавидят Англию. Есть их хлеб и яйца, покупать их сало и кожи? Недостойно!

Автомобиль круто повернул, и Сомса швырнуло на подушки. Вечно этот Ригз гонит на поворотах! Деревенская церковь — старенькая, с коротким шпилем — вся обросла мхом; такую церковь увидишь только в Англии: могилы, полустертые надписи, тисы. И Сомс подумал: когда-нибудь и его похоронят. Быть может, здесь. Ничего вычурного не нужно. Простой камень, на камне только его имя: «Сомс Форсайт»,— как та могила в Хайгете, на которой он тогда сидел. Незачем писать: «Здесь покоится»,— конечно, покоится! Ставить ли крест? Должно быть, поставят, хочет он того или нет. Он бы предпочел лежать где-нибудь в сторонке, подальше от людей, а над могилой яблоня. Чем реже о нем будут вспоминать, тем

лучше. Вот только Флер... а ей некогда будет думать о нем!

Автомобиль спустился с последнего невысокого холма к реке. Сквозь листву тополей мелькнула темная вода. Словно струилась, таясь, душа Англии. Автомобиль свернул в аллею и остановился у подъезда. Не стоит пока говорить Аннет, что дело передано в суд,— она не поймет его состояния, нет у нее нервов!

IV

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Было решено, что Марджори Феррар венчается в первый день пасхального перерыва[1]; медовый месяц проводит в Лугано; приданое заказывает в ателье Клотильд; жить будет на Итон-сквер; на булавки будет получать две тысячи фунтов в год; кого она любит — решено не было. Получив по телефону приглашение позавтракать у лорда Шропшир, она удивилась. Что это ему вздумалось?

Однако на следующее утро в пять минут десятого она входила в покои предков, оставив дома нетронутыми почти всю пудру и грим. Быть может, дед неодобрительно относится к предстоящей свадьбе? Или же хочет подарить бабушкины кружева, которые годны только для музея?

Маркиз сидел перед электрическим камином и читал газету. Когда вошла Марджори, он зорко на нее посмотрел.

— Ну что, Марджори? Сядем к столу, или ты предпочитаешь завтракать стоя? Вот каша, рыба, омлет. А-а, есть и грейпфруты — очень приятно! Ну-ка, разливай кофе!

— Что вам предложить, дедушка?

— Благодарю, я возьму всего понемножку. Итак, ты выходишь замуж. Хорошая партия?

— Да, говорят.

---

[1] В заседаниях парламента.

— Я слышал, он член парламента. Не можешь ли ты заинтересовать его этим биллем Парсхэма об электрификации?

— О да! Он сам увлекается электрификацией.

— Умный человек. Кажется, у него есть какие-то заводы? Они электрифицированы?

— Должно быть.

Маркиз снова на нее посмотрел.

—Ты понятия об этом не имеешь,— сказал он.— Но выглядишь ты прелестно. Что это за дело о диффамации?

Ах, вот оно что! Дед всегда все знает. Ничто от него не укроется.

— Вряд ли это вас заинтересует, дедушка.

— Ошибаешься. Мой отец и старый сэр Лоренс Монт были большими друзьями. Неужели ты хочешь перемывать белье на людях?

— Я не хочу.

— Но ведь ты истица?

— Да.

— На что же ты жалуешься?

— Они плохо обо мне отзывались.

— Кто?

— Флер Монт и ее отец.

— А, родственники этого чаеторговца. Что же они говорили?

— Что я понятия не имею о нравственности.

— А ты имеешь?

— Такое же, как и все.

— Что еще?

— Что я — змея.

— Вот это мне не нравится. Почему же они это сказали?

— Они слышали, как я назвала ее выскочкой. А она действительно выскочка.

Покончив с грейпфрутом, маркиз поставил ногу на стул, локоть на колено, оперся подбородком о ладонь и сказал:

— В наше время, Марджори, никакой божественной преграды между нашим сословием и другими нет; но все же мы — символ чего-то. Не следует об этом забывать.

Она сидела притихшая. Дедушку все уважают, даже ее отец, с которым он не разговаривает. Но чтобы тебя называли символом — нет, это уж слишком скучно! Легко говорить дедушке в его возрасте, когда у него нет никаких соблазнов! И потом, по воле хваленых английских законов, она-то ведь не носит титула. Правда, как дочь лорда Чарльза и леди Урсулы она не любит, чтобы ею распоряжались, но никогда она не хвасталась, всегда хотела, чтобы в ней видели просто дочь богемы. Да, в конце концов она действительно символ — символ всего нескучного, немещанского.

— Я пробовала помириться, дедушка, она не захотела. Налить вам кофе?

— Да, налей. Скажи мне, а ты счастлива?

Марджори Феррар передала ему чашку.

— Нет. А кто счастлив?

— Я слышал, ты будешь очень богата,— продолжал маркиз.— Богатство дает власть, а ее стоит использовать правильно, Марджори. Он шотландец, не так ли? Он тебе нравится?

Снова он зорко на нее посмотрел.

— Иногда.

— Понимаю. У тебя волосы рыжие, будь осторожна. Где вы будете жить?

— На Итон-сквер. И в Шотландии у него есть имение.

— Электрифицируйте ваши кухни. Я у себя здесь электрифицировал. Это прекрасно действует на настроение кухарки, и кормят меня прилично. Но вернемся к вопросу о диффамации. Не можете ли вы обе выразить сожаление? Зачем набивать карманы адвокатов?

— Она не хочет извиниться первая, я тоже не хочу.

Маркиз допил кофе.

— В таком случае что же вам мешает договориться? Я не хочу огласки, Марджори. Каждый великосветский скандал забивает новый гвоздь в крышку нашего гроба.

— Если хотите, я поговорю с Алеком.

— Поговори. У него волосы рыжие?

— Нет, черные.

— А! Что подарить тебе на свадьбу? Кружева?

— Нет, дедушка, только не кружева! Никто их не носит.

Маркиз склонил голову набок и посмотрел на нее, словно хотел сказать: «Никак не могу отделаться от этих кружев».

— Может быть, подарить тебе угольную шахту? Со временем она будет приносить доход, если ее электрифицировать.

Марджори засмеялась.

— Я знаю, что у вас материальные затруднения, дедушка, но, право же, шахта мне не нужна: это требует больших расходов. Дайте мне ваше благословение, вот и все.

— Может быть, мне заняться продажей благословений? — сказал маркиз.— Твой дядя Дэнджерфилд увлекся сельским хозяйством; он меня разоряет. Вот если бы он выращивал пшеницу с помощью электричества, тогда бы это могло окупиться. Ну, если ты уже позавтракала, ступай. Мне надо работать.

Марджори Феррар, которая только начала завтракать, встала и пожала ему руку. Славный старик, но всегда так спешит...

В тот вечер она была в театре, и Мак-Гаун рассказал ей о визите Сомса. Марджори Феррар воспользовалась удобным случаем.

— О боже! Почему вы не покончили с этим делом, Алек? Неприятная история. И мой дед недоволен.

— Если они принесут извинение,— сказал Мак-Гаун,— я завтра же прекращаю дело. Но извиниться они должны.

— А мне что делать? Я не намерена служить мишенью.

— Бывают случаи, Марджори, когда нельзя уступать. С начала до конца они вели себя возмутительно.

Она не удержалась и спросила:

— Как вы думаете, Алек, какая я на самом деле?

Мак-Гаун погладил ее обнаженную руку.

— Я не думаю, я знаю.

— Ну?

— Вы отважная.

Забавное определение! Даже верное, но...

— Вы хотите сказать, что мне нравится дразнить людей и потому они считают меня не такой, какая я в действительности. Но допустим,— она смело посмотрела ему в глаза,— что они правы?

Мак-Гаун сжал ее руку.

— Вы не такая, и я не допущу, чтобы о вас так говорили.

— Вы думаете, что процесс меня обелит?

— Я знаю цену сплетням и знаю, какие слухи о вас распускают. Люди, распускающие эти сплетни, получат хороший урок.

Марджори Феррар перевела взгляд на опущенный занавес, засмеялась и сказала:

— Мой друг, вы ужасно провинциальны.

— Я предпочитаю идти прямой дорогой.

— В Лондоне нет прямых дорог. Лучше обойти сторонкой, Алек, а то споткнетесь.

Мак-Гаун ответил просто:

— Я верю в вас больше, чем вы в себя верите.

Смущенная и слегка растроганная, она была рада, что в эту минуту поднялся занавес.

После этого разговора ей уже не так хотелось покончить дело миром. Ей казалось, что процесс окончательно разрешит и вопрос о ее браке. Алек будет знать, что она собой представляет; по окончании процесса ей уже нечего будет скрывать, и она или не выйдет за него, или он возьмет ее такой, какая она есть. Будь что будет! И тем не менее вся эта история очень неприятна, в особенности те вопросы адвокатов, которые ей скоро предстоит выслушать. Например, ее спросят: какое впечатление произвели письма Флер на ее друзей и знакомых? Чтобы выиграть дело, необходимо этот пункт выяснить. Но что она может сказать? Одна чопорная графиня и одна миллионерша из Канады, которая вышла замуж за разорившегося баронета, пригласили ее погостить, а потом от приглашения отказались. Ей только сейчас пришло в голову сопоставить их отказ с этими письмами. Но больше никаких данных у нее нет; обычно люди не говорят вам в глаза, что они о вас слышали или думают. А защитник будет распространяться об оскорбленной невинности. О господи! А что, если огласить на суде свой символ веры, и пусть они расхлебывают кашу?

В чем ее символ веры? Не подводить друзей; не выдавать мужчин; не трусить; поступать не так, как все; всегда быть в движении; не быть скучной; не быть «мещанкой»! Ой, какая путаница! Только бы не растеряться!

V

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

В день суда Сомс проснулся в доме Уинифрид на Грин-стрит и сразу почувствовал какое-то болезненное нетерпение. Поскорей бы наступило «завтра»!

Встречи с «очень молодым» Николасом Форсайтом и сэром Джемсом Фоскиссоном возобновились, и было окончательно решено повести атаку на современные нравы. Фоскиссон был явно заинтересован — может быть, у него свои счеты с современными нравами; и если он покажет себя хотя бы вполсилы старика Бобстэля, который только что, восьмидесяти двух лет от роду, опубликовал свои мемуары, то эта рыжая кошка не выдержит и проговорится. Накануне Сомс отправился в суд посмотреть на судью Брэна и вынес благоприятное впечатление: ученый судья хотя и был моложе Сомса, но выглядел достаточно старомодным.

Почистив зубы и причесавшись, Сомс прошел в соседнюю комнату и предупредил Аннет, что она опоздает. В постели Аннет всегда выглядела очень молодой и хорошенькой, и хотя ему это нравилось, но простить ей этого он не мог. Когда он умрет — так лет через пятнадцать,— ей не будет еще шестидесяти лет, и, пожалуй, она проживет после него годиков двадцать.

Добившись, наконец, того, что она проснулась и сказала: «Успеешь еще поскучать в суде, Сомс», он вернулся в свою комнату и подошел к окну. В воздухе пахло весной — даже обидно! Он принял ванну и тщательно выбрился; брился осторожно: не подобает являться в суд с порезанным подбородком! Затем заглянул к Аннет, чтобы посоветовать ей одеться поскромнее. На Аннет было розовое белье.

— Я бы на твоем месте надел черное платье.

Аннет посмотрела на него поверх ручного зеркала.

— Кого ты прикажешь мне соблазнить, Сомс?

— Конечно, эти люди явятся со своими друзьями; все, что бросается в глаза...

— Не беспокойся, я постараюсь выглядеть не моложе своей дочери.

Сомс вышел. Француженка! Но одеваться она умеет.

Позавтракав, он отправился к Флер. С Аннет остались Уинифрид и Имоджин — они тоже собирались в суд, точно в этом было что-нибудь веселое!

Элегантный, в цилиндре, он шел по Грин-парку, репетируя свои показания. Почки еще не налились — поздняя весна в этом году! И королевской семьи нет в городе. Он мельком взглянул на скульптуру перед Букингемским дворцом — мускулистые тела, большие звери — символ империи! Все теперь ругают и это и памятник принцу Альберту, а ведь они связаны с эпохой мира и процветания, и ничего в них современного... Потом узким переулком, где пахло жареной рыбой, он пробрался на тихую Норт-стрит и долго смотрел на церковь Рэна, приютившуюся среди чистеньких небольших домов. Он никогда не заглядывал ни в одну церковь, кроме собора св. Павла, но, созерцая их снаружи, обычно набирался бодрости. Постройки все крепкие, не кричащие, вид у них независимый. На Саут-сквер он свернул в несколько лучшем настроении. В холле его встретил Дэнди. Сомс не питал страсти к собакам, но солидный, толстый Дэнди нравился ему гораздо больше, чем тот китайский недоносок, которого Флер держала раньше. Дэнди — собака с характером властным и настойчивым; уж он-то не проболтался бы, если б его вызвали свидетелем! Подняв голову, Сомс увидел Майкла и Флер, спускавшихся по лестнице. Окинув беглым взглядом коричневый костюм Майкла и его галстук в крапинку, он впился глазами в лицо дочери. Бледна, но, слава богу, ни румян, ни пудры, и губы не подкрашены, ресницы не подведены. Прекрасно загримирована для своей роли! Синее платье выбрала с большим вкусом — вероятно, долго обдумывала. Желание подбодрить дочь заставило Сомса подавить беспокойство.

— Пахнет весной! — сказал он.— Ну что ж, едем?

Пока вызывали такси, он пытался рассеять ее тревогу.

— Вчера я пошел поглядеть на Брэна; он очень

изменился за то время, что я с ним знаком. Я один из первых стал поручать ему дела.

— Это плохо, сэр,— сказал Майкл.

— Почему?

— Он побоится, как бы его не сочли благодарным. Острит, как всегда!

— Славный народ наши судьи,— сказал Сомс.

— Не сомневаюсь, сэр. Как вы думаете, он когда-нибудь читает?

— Что вы хотите сказать? Что читает?

— Романы. Мы вот, в парламенте, не читаем.

— Романы читают только женщины,— сказал Сомс и пощупал платье Флер.— Материя тонкая; надень мех.

Пока Флер ходила за мехом, Сомс спросил Майкла:

— Как она спала?

— Лучше, чем я, сэр.

— Это хорошо. А вот и такси. Держитесь подальше от этого шотландца.

— Да ведь я его каждый день вижу в палате.

— Ах да,— сказал Сомс.— Я забыл. Кажется, там вы на такого рода вещи внимания не обращаете.

И, взяв под руку дочь, повел ее к автомобилю.

— Интересно, придет ли Блайт,— проговорил Майкл, когда они проезжали мимо редакции «Аванпоста».

Никто не ответил, и разговор иссяк.

Вид у здания суда был обычный, к подъезду спешили люди в черном и синем. «Тараканы!»—сказал Майкл. В ответ на это сравнение Сомс толкнул его локтем; ему все это было так знакомо — гулкие залы, темные лестницы, душные коридоры.

Они приехали слишком рано и медленно поднимались по лестнице. В сущности, какой идиотизм! Вот они явились сюда — они и их противники,— чтобы получить — что? Сомс удивлялся самому себе. Как он не настоял, чтобы Флер извинилась? Когда дело касалось других, вся судебная процедура казалась вполне естественной и разумной, но сейчас в это была замешана его дочь. Он быстро повел ее мимо клерков и свидетелей к дверям зала. Несколько слов вполголоса швейцару — и они вошли, сели. «Очень молодой» Николас был уже на месте, и Сомс устроился так, чтобы между ними оказался только сэр Джемс. Потом он окинул взглядом публику. Да,

очевидно, все пронюхали! Он так и знал, ведь эта рыжая кошка у всех на виду. На задних скамьях сидели дамы, много дам; и публики все прибавлялось. Сомс резко повернулся: гуськом входили присяжные. Почему у них всегда такой простоватый вид? Сомс никогда не был присяжным. Он взглянул на Флер. Сидит рядом с ним, а о чем думает — неизвестно. А у Майкла очень уж торчат уши. Тут он заметил Аннет. Лучше бы она не пробиралась сюда вперед, не нужно обращать на себя внимание. Он посмотрел на нее, покачал головой и указал на задние скамьи. Ага, послушалась! Она, Уинифрид и Имоджин займут немало места: не худенькие. А все-таки остаются еще свободные места. Потом он вдруг увидел истицу, ее поверенного и Мак-Гауна; вид у них очень самоуверенный, а эта наглая кошка улыбается! Стараясь не смотреть в ту сторону, Сомс все же видел, как они уселись шагах в десяти от него. А вот и адвокаты! Фоскиссон и Булфри вместе, чуть что не под руку. А через несколько минут они будут называть друг друга «уважаемый» и что есть силы топить один другого. Сомс задумался: не лучше ли было пригласить вместо Фоскиссона Булфри, некрасивого, широкоплечего, опытного, сухого. Сомс, Майкл и Флер сидели впереди; за ними Фоскиссон и его помощник. «Рыжая кошка» сидела между Сэтлуайтом и шотландцем, за ними Булфри с помощником. Теперь для полноты картины не хватало только судьи. А, вот и он! Сомс схватил Флер за локоть и заставил ее встать. Бум! Снова сели. У судьи Брэна одна щека как будто полнее другой; не болят ли у него зубы? Интересно, как это повлияет на ход дела?

Затем началась обычная «канитель»; сегодня будет слушаться такое-то дело, на будущей неделе такое-то и так далее. Наконец с этим покончили, и судья стал озираться по сторонам, словно осматривая поле битвы. Булфри встал:

— Если вы разрешите, милорд...

Он сделал обычное вступление, цветистыми фразами изобразил истицу... Внучка маркиза, обручена с членом парламента... быть может, с будущим премьером... вращается в самых блестящих кругах общества; женщина пылкая и смелая, пожалуй, слишком смелая... Вер-

тихвостка!.. Потом обычное кисло-сладкое описание ответчицы... Богатая и тщеславная молодая леди. Какое нахальство! Присяжные должны помнить, что имеют дело с представителями ультрасовременного общества; однако и в этом обществе слова сохраняют свой первоначальный смысл!.. Гм... Дальше Булфри упомянул об инциденте в салоне Флер... конечно, преуменьшил его значение... А! Вот он намекает на него, Сомса... Человек богатый, влиятельный... Скажите, какая честь! А, он читает эти письма... сообщает, какое они произвели впечатление... конечно, старается приукрасить истицу!.. Истица вынуждена была принять меры... Вздор! «Сейчас я вызову свидетельницу, миссис Ральф Ппинррин».

— Как пишется эта фамилия, мистер Булфри?

— Два «п», два «и», два «н» и два «р», милорд.

— Понимаю.

Сомс посмотрел на особу, носившую такую фамилию. Хорошенькая женщина, несколько легкомысленная на вид. Он внимательно прислушивался к ее показаниям. Она довольно точно передала инцидент у Флер. Через два дня она получила письмо, порочащее истицу. Как друг, сочла своим долгом уведомить мисс Феррар. Может подтвердить, как светская женщина, что этот инцидент и эти письма причинили вред мисс Феррар. Ей приходилось беседовать об этом со знакомыми. Публичный скандал. Инцидент вызвал большое возбуждение. Показала полученное письмо миссис Молтиз, оказалось, что та тоже получила письмо. Инцидент служит темой для разговоров. Гм!

Булфри сел. Фоскиссон встал.

Сомс подобрался. Вот теперь посмотрим, как он поведет перекрестный допрос,— это важно. Ну что ж — неплохо. Ледяной взгляд устремлен в пространство, когда он задает вопрос, обращается на свидетеля, когда он ждет ответа; рот приоткрыт, словно готов проглотить ответ, языком проводит по нижней губе; одна рука скрыта за спиной, в складках мантии.

— Разрешите задать вопрос, миссис... э-э... Ппинррин? Инцидент, как выразился мой уважаемый коллега, произошел в доме миссис Монт, не так ли? И вы были приглашены в качестве друга? Совершенно верно. Вы

ничего не имеете против миссис Монт? Нет. И вы сочли нужным, сударыня, показать это письмо истице и вашим знакомым — иными словами, постарались раздуть пустячный инцидент? — Взгляд на свидетельницу, ждет ответа.

— Если бы кто-нибудь из моих друзей получил оскорбительное для меня письмо — не сомневаюсь, они сообщили бы мне.

— Даже если бы ваш друг знал мотивы, которые привели к написанию письма, и был не только вашим другом, но и другом того, кто письмо написал?

— Да.

— А не объясняется ли ваш поступок тем, что слишком уж было заманчиво раздуть эту маленькую ссору? Не проще ли было бы разорвать письмо и никому ничего не говорить? Ведь ваше мнение о мисс Феррар измениться не могло, вы слишком хорошо ее знаете, не правда ли?

— Да-а.

— Прекрасно. Вы друг ответчицы и истицы. Неужели вы не знали, что выражения, встречающиеся в письме, можно объяснить сплином и во всяком случае не следует придавать им значения?

— Ну нет!

— Как? Вы приняли их всерьез? Иными словами, вы нашли, что они справедливы?

— Конечно, нет.

— Могли бы они повредить мисс Феррар, если бы в них не было ни намека на правду?

— Думаю, что да.

— Но на вас, на ее друга, они повлиять не могли?

— Не могли.

— Они повлияли на тех, кто о них и не узнал бы, если бы вы не оповестили. В сущности, сударыня, вы наслаждались всей этой историей, не так ли?

— Наслаждалась? Нет.

— Вы считали своим долгом огласить это письмо? А разве не радостно исполнять свой долг?

Сомс удержался от улыбки.

Фоскиссон сел. Булфри встал.

— Очевидно, вы, миссис Ппинррин, подобно многим

людям, менее счастливым, чем мой ученый друг, сознавали, что иногда бывает тягостно исполнять свой долг?

— Да.

— Благодарю вас. Миссис Эдуард Молтиз.

Пока допрашивали свидетельницу, молодую толстенькую брюнетку, Сомс пытался угадать, Флер или «рыжая кошка» произвела большее впечатление на тех из присяжных, которые, видимо, были неравнодушны к красоте. Он так и не пришел ни к какому выводу, когда поднялся сэр Джемс Фоскиссон.

— Скажите, пожалуйста, миссис Молтиз, какие выражения в письмах вы считаете наиболее обидными?

— Слово «предательница» в моем письме и «змея» в письме к миссис Ппинррин.

— Они более оскорбительны, чем другие?

— Да.

— Теперь я обращаюсь к вам за помощью, сударыня. Быть может, круг ваших знакомых несколько несходен с тем, в каком вращается истица?

— Да, пожалуй.

— Но они, так сказать, пересекаются?

— Да.

— Скажите, в каком кругу — в вашем или истицы — выражение «она не имеет представления о нравственности» считается более порочащим?

— Затрудняюсь ответить.

— Мне только хотелось знать ваше мнение. Как вы думаете, ваши знакомые столь же ультрасовременны, как и знакомые мисс Феррар?

— Пожалуй, нет.

— Всем известно, не правда ли, что люди ее круга свободны от всяких предрассудков и не признают условностей?

— Кажется, да.

— И все-таки ваши знакомые в достаточной мере современны, не «мещане»?

— Что такое, сэр Джемс?

— «Мещане», милорд,— очень распространенное выражение.

— Что оно означает?

— Старомодный, ретроград — вот что оно означает, милорд.

— Понимаю. Свидетельница, он спрашивает, не «мещанка» ли вы?

— Нет, милорд, надеюсь, нет.

— Вы надеетесь, что нет. Продолжайте, сэр Джемс.

— Не будучи мещанкой, вы, пожалуй, не взволновались бы, если бы вам кто-нибудь сказал: «Моя милая, вы не имеете представления о нравственности».

— Нет, не взволновалась бы, если бы это было сказано таким любезным тоном.

— Послушайте, миссис Молтиз, может ли это выражение, каким бы тоном оно ни было сказано, опорочить вас или ваших друзей?

— Да.

— Могу ли я вывести отсюда заключение, что люди вашего круга имеют то же представление о нравственности, что и... ну, скажем, милорд?

— Как может свидетельница ответить на такой вопрос, сэр Джемс?

— Скажем иначе: бывают ли люди вашего круга шокированы, когда их друзья разводятся или уезжают вдвоем на недельку, скажем, в Париж или в какое-нибудь другое местечко?

— Шокированы? Разве поступок, которого ты сам не сделаешь, непременно должен шокировать?

— Значит, вы не бываете шокированы?

— Не знаю, что может меня шокировать.

— Это было бы старомодно, не так ли?

— Пожалуй.

— Но скажите мне, если таковы взгляды людей вашего круга,— а ведь помните, вы сказали, что он не столь современен, как круг истицы,— то может ли быть, что слова «она не имеет представления о нравственности» причинили какой-либо вред истице?

— Люди нашего круга — это еще не весь мир.

— Конечно. Я даже полагаю, что это очень небольшая часть мира. Но разве вы или истица считаетесь...

— Как ей знать, сэр Джемс, с чем считается истица?

— Разве вы лично считаетесь с тем, что думают люди, стоящие вне вашего круга?

Сомс одобрительно кивнул. Этот свое дело знает! Он

взглянул на Флер и заметил, что она смотрит на свидетельницу и слегка улыбается.

— Я лично не обращаю особого внимания даже на мнение людей моего круга.

— У вас характер более независимый, чем у истицы?

— Думаю, что не менее.

— Ее независимый характер всем известен?

— Да.

— Благодарю вас, миссис Молтиз.

Фоскиссон сел. Булфри встал.

— Я вызываю истицу, милорд.

Сомс приготовился.

VI

ПОКАЗАНИЯ

Марджори Феррар, довольно спокойная и только слегка нажрашенная, подошла к перилам. На следующий день газеты упомянут о том, что на ней была черная шляпа и черный костюм, отделанный мехом шиншиллы. Она поцеловала воздух около библии, перевела дыхание и повернулась к мистеру Булфри.

В течение последних пяти дней она негодовала, замечая, что этот процесс совершенно лишил ее воли. Она сама его затеяла, а теперь инициатива от нее ушла. Она открыла старую истину, что если уж машина ссоры завертелась, то недостаточно нажать кнопку, чтобы остановить ее. Если ничего не выйдет — поделом Алеку и адвокатам!

Ровный голос мистера Булфри успокоил ее. Вопросы были знакомые, к ней возвращалась уверенность в себе, ее голос звучал четко, приятно. Она держалась свободно, чувствуя, что ее показания интересуют судью, присяжных, публику. Если б только не сидела здесь эта «выскочка» с каменным лицом! Когда наконец мистер Булфри сел, а сэр Джемс Фоскиссон встал, она едва не поддалась желанию напудрить нос. Однако она поборола это желание и сжала руками перила; впервые за это утро холодок пробежал у нее по спине. И что за манера — почему он на нее не смотрит?

— Вам когда-нибудь приходилось судиться, мисс Феррар?

— Нет.

— Вполне ли вы уясняете себе значение присяги?

— Вполне.

— Вы сообщили моему другу, мистеру Булфри, что не питали никакой вражды к миссис Монт. Будьте любезны взглянуть на эту заметку в «Ивнинг Сан» от третьего октября. Это вы писали?

Марджори Феррар почувствовала себя так, словно из оранжереи выскочила на мороз. Так, значит, им все известно?

— Да, я.

— Она заканчивается так: «Предприимчивая молодая леди пользуется случаем создать свой «салон», спекулируя на любопытстве, порождаемом политическим авантюризмом». Вы имели в виду миссис Монт?

— Да.

— Не очень-то хорошо отзываться в таком тоне о друге, а?

— Не вижу ничего плохого.

— Иными словами, вы бы остались довольны, если бы это было сказано о вас?

— Будь я на ее месте, я бы этого ждала.

— Вы уклоняетесь от ответа. А вашему отцу приятно было бы прочесть такую заметку о вас?

— Мой отец не стал бы читать этого отдела.

— Значит, вы удивляетесь, что отец миссис Монт прочел? И вы часто помещаете такие незлобивые заметки о ваших друзьях?

— Не часто.

— Так, время от времени? И после этого они остаются вашими друзьями?

— Вращаясь в свете, трудно сказать, кто вам друг, а кто нет.

— Вполне с вами согласен, мисс Феррар. Отвечая на вопросы мистера Булфри, вы признали, что, находясь в гостях у миссис Монт, вы сделали два-три критических замечания— я цитирую ваши слова — по адресу хозяйки дома. Вы часто, бывая в гостях, презрительно отзываетесь о хозяйке дома?

— Нет, и во всяком случае я не думала, что кто-нибудь подслушивает.

— Понимаю: пока не попался, все обстоит благополучно, не так ли? Скажите, в октябре прошлого года, будучи в гостях у миссис Монт, вы в разговоре с мистером Филипом Куинси не назвали хозяйку дома «выскочкой»?

— Не помню, вряд ли.

— А вы подумайте. Вы слышали показания миссис Ппинррин и миссис Молтиз. Миссис Молтиз, если вы помните, сказала, что мистер Форсайт — отец миссис Монт — обратился к вам с такими словами: «Вы назвали мою дочь выскочкой, находясь у нее в гостях. Будьте добры удалиться; вы — предательница». Так было дело?

— Вероятно.

— Вы полагаете, что он выдумал слово «выскочка»?

— Я полагаю, что он ошибся.

— Не очень красивое слово — «выскочка», не правда ли? Но если вы этого не говорили, то почему он назвал вас предательницей?

— Я не знала, что он подслушивает. Не помню, что именно я говорила.

— Мистер Форсайт даст показания, и это освежит вашу память. Но, насколько мне известно, вы назвали ее выскочкой не один, а два раза?

— Я вам сказала, что не помню. Он не должен был слушать.

— Прекрасно. Значит, вы очень рады, что поместили эту заметку и говорили оскорбительные вещи о миссис Монт, находясь у нее в гостях?

Марджори Феррар до боли в ладонях сжала перила. Этот голос приводил ее в бешенство.

— И тем не менее, мисс Феррар, вы возмущаетесь, когда другие говорят неприятные вещи о вас. Кто посоветовал вам обратиться в суд?

— Сначала мой отец, потом мой жених.

— Сэр Александр Мак-Гаун. Он вращается в вашем кругу?

— Нет, в парламентских кругах.

— Прекрасно. А ему известны те нормы поведения, какие приняты в вашем кругу?

— Между отдельными кружками нет резких границ.

— Благодарю за сообщение, мисс Феррар. Скажите

мне, вы знаете, каково понятие друзей сэра Александра о морали и нормах поведения?

— Думаю, что разницы почти нет.

— Вы хотите сказать, мисс Феррар, что общественные деятели столь же легкомысленно относятся к нормам поведения и вопросам морали, как и вы?

— Почему вы предполагаете, сэр Джемс, что она относится легкомысленно?

— Что касается поведения, милорд, то из ее ответов явствует, как легкомысленно она относится... ну, скажем, к своим обязанностям по отношению к хозяйке дома. К вопросу о нравственности я сейчас перейду.

— Да, перейдите, а затем уже делайте выводы. Какое отношение к этому имеют общественные деятели?

— Я хочу сказать следующее, милорд: эта леди страшно возмущена словами, на которые имеет полное право обидеться общественный деятель или рядовой гражданин, но не она и не те, кто разделяет ее взгляды.

— В таком случае вы должны выяснить, каковы ее взгляды. Продолжайте!

Марджори Феррар, едва передохнув, опять взяла себя в руки. Ее взгляды!

— Скажите, мисс Феррар, общественные деятели более старомодны, чем вы?

— Быть может, они скажут — да.

— А вы думаете, что они лицемерят?

— Я вообще о них не думаю.

— Хотя за одного из них выходите замуж? Вы недовольны словами «представления не имеет о нравственности». Скажите, вы читали роман «Шпанская мушка»?

Он показал ей книгу.

— Кажется, читала.

— Как! Вы не знаете?

— Я ее просмотрела.

— Сняли сливки, да? Вы прочли достаточно, чтобы иметь о ней представление?

— Да.

— Вы согласны с той точкой зрения, какая выражена в этом письме в журнал: «С этой книгой врывается как бы свежая струя в затхлую атмосферу Англии, осуждающей все более или менее смелые произведения искусства». Вы с этим согласны?

— Да. Я ненавижу ханжество.

— «Это, несомненно, Литература». Написано с большой буквы. Как ваше мнение?

— Литература — да. Может быть, не первоклассная.

— Но издать эту книгу следовало?

— Не вижу оснований, почему не следует ее издавать.

— Вам известно, что она издана за границей?

— Да.

— Но ее следовало бы издать в Англии?

— Конечно, это — книга не для всех.

— Пожалуйста, не уклоняйтесь от ответа. Как, по-вашему, этот роман «Шпанская мушка» следовало издать в Англии или нет?.. Я вас не тороплю, мисс Феррар.

Ничего от него не ускользает! А ведь она только на секунду приостановилась, соображая, куда он клонит.

— Да. Я считаю, что искусство должно быть свободно.

— Вы не одобрили бы запрещения этой книги?

— Нет.

— Вы не одобрили бы запрещения любой книги, если бы оно было сделано из моральных соображений?

— Как я могу сказать, не зная книги? Ведь никто не обязан читать все, что пишут.

— И вы считаете, что вашу точку зрения разделяют общественные деятели и рядовые граждане?

— Нет, не считаю.

— Но люди вашего круга с вами согласны?

— Надеюсь, что да.

— Противоположная точка зрения была бы старомодной?

— Да, пожалуй.

— И люди, стоящие на ней,— люди отсталые?

— В области искусства — да.

— А! Я так и думал, что мы доберемся до этого слова. Вы, вероятно, не связываете искусства с жизнью?

— Нет.

— Не думаете, что оно может иметь какое-нибудь влияние на жизнь?

— Не должно иметь.

— Если автор проповедует крайнюю разнузданность,

то не может ли его книга повлиять на читателей, в особенности на молодежь?

— На меня такая книга не повлияла бы, а за других я не ручаюсь.

— Вот это эмансипированность!

— Не понимаю, что вы хотите сказать.

— Ведь то, что вы говорите об отрыве искусства от жизни,— не более, как эффектная болтовня; разве вы этого не сознаете?

— Конечно, нет.

— Ну, скажем по-другому: могут ли люди с общепринятыми взглядами на мораль разделять ваше убеждение, что искусство не влияет на жизнь?

— Могут, если они культурны.

— Культурны! А вы сами верите в общепринятую мораль?

— Не знаю, что вы называете общепринятой моралью.

— Я вам объясню, мисс Феррар. Вот, например, одно из правил общепринятой морали: женщина не должна вступать в связь до брака и по выходе замуж не должна иметь любовников.

— А что вы скажете о мужчинах?

— Сейчас перейдем к мужчинам: мужчины не должны вступать в связь по крайней мере после заключения брака.

— Я бы не назвала это правило общепринятым.

Поддавшись желанию поиронизировать, Марджори Феррар поняла, что допустила ошибку. Судья повернулся к ней, заговорил:

— Я не совсем понял. Значит, вы стоите на той точке зрения, что женщина может вступать в связь и до и после брака?

— Я думаю, милорд, что общепринятая точка зрения такова. Во всяком случае, это практикуется.

— Я вас не спрашиваю, является ли такая точка зрения общепринятой, я спрашиваю, считаете ли вы это нравственным?

— Мне кажется, очень многие считают это вполне допустимым, но только вслух не говорят.

Она заметила, что присяжные задвигались; сэр Александр уронил шляпу; кто-то громко высморкался; лица

Булфри ей не было видно. Она почувствовала, что кровь заливает ей щеки.

— Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос. Вы считаете это допустимым?

— По-моему, это зависит от обстоятельств, от темперамента.

— Для себя вы бы это допустили?

— На такой вопрос я не могу ответить, милорд.

— Не хотите отвечать?

— Нет, я просто не знаю.

И, чувствуя, что едва не ступила на хрупкий лед, она опять увидела лицо Булфри, появившееся из-за носового платка.

— Хорошо. Продолжайте, сэр Джемс!

— Итак, мисс Феррар, тех из нас, кто не допускает такого поведения, вы, по-видимому, считаете лицемерами?

— Ведь это нечестно!

— Честным я еще успею себя показать, мисс Феррар.

— Работаете по плану, так?

— Поверьте, сударыня, лучше вам оставить свои остроты при себе. Вы считаете, что такая книга, как «Шпанская мушка», не может причинить вред?

— Не должна.

— В том случае, если бы мы все были так же культурны в вопросах искусства, как вы...— Издевается, негодяй! — Но ведь мы не столь культурны?

— Нет.

— Значит, такая книга все же может принести вред. Но вас это не беспокоит. Я не собираюсь, милорд, читать выдержки из этой чрезвычайно неприятной книги. Вероятно, в связи с тем, что о ней дурно говорят, цена ее дошла до семи фунтов. Мне кажется, один этот факт может опровергнуть утверждение истицы, что так называемое «искусство» не влияет на жизнь. Не останавливаясь перед расходами, мы приобрели несколько экземпляров, и я попрошу присяжных во время перерыва просмотреть отмеченные места.

— У вас есть для меня экземпляр, сэр Джемс?

— Да, милорд.

— И для мистера Булфри?.. Если еще кто-нибудь

засмеется, я прикажу очистить зал. Продолжайте, сэр Джемс.

— Вы знаете театральное общество «Nec plus ultra», мисс Феррар? Кажется, оно существует для того, чтобы ставить смелые пьесы?

— Пьесы — да; не знаю, что вы называете «смелыми».

— Например, русские пьесы; пьесы драматургов эпохи Реставрации?

— Да.

— И вы в них участвуете?

— Иногда.

— Не помните ли вы пьесы Уичерли «Прямодушный»? Ее ставили седьмого января. Вы играли роль Оливии?

— Да.

— Приятная роль?

— Очень хорошая роль.

— Я сказал «приятная».

— Мне не нравится это слово.

— Оно кажется вам слишком жеманным, мисс Феррар? Это — роль скромной женщины?

— Нет.

— Не кажется ли вам, что это роль чрезвычайно рискованная? Я имею в виду последнюю сцену в темноте.

— Насчет «чрезвычайно» — не знаю.

— Но вы охотно взялись за эту роль и сыграли ее — такие мелочи вас не смущают?

— Не вижу, что тут может смутить. Если б видела, не стала бы играть.

— Вы выступаете не ради денег?

— Нет, для удовольствия.

— Значит, вы можете отказаться от той роли, которая вам не нравится?

— Тогда мне не давали бы никаких ролей.

— Пожалуйста, не уклоняйтесь. Роль Оливии вы исполняли не ради денег, а ради удовольствия. И это удовольствие вы получили?

— Да, пожалуй.

— Боюсь, милорд, что мне придется попросить присяжных просмотреть эту сцену в темноте из пьесы «Прямодушный».

— Вы хотите сказать, сэр Джемс, что женщина, которая выступает в роли безнравственной особы, сама безнравственна,— ведь так можно погубить не одну безупречную репутацию.

— Нет, милорд. Я хочу сказать следующее: эта молодая леди столь заботится о своей репутации, что считает нужным обратиться в суд, потому что в частном письме о ней сказали, что «она не имеет представления о нравственности». И в то же время она читает и одобряет такие книги, как «Шпанская мушка», выступает в таких ролях, как роль Оливии в «Прямодушном», и вращается в кругу людей, которые, в сущности, не понимают слова «мораль» и смотрят на мораль, как мы смотрим на корь. Я хочу сказать, милорд, что заявление в письме ответчицы «она не имеет представления о нравственности» является скорее комплиментом.

— По-вашему, оно и задумано как комплимент?

— Нет, милорд, нет.

— Значит, вы хотите, чтобы присяжные прочли эту сцену. Ну-с, джентльмены, не удастся вам отдохнуть в перерыве. Продолжайте, сэр Джемс.

— Мой друг мистер Булфри подчеркивает тот факт, что вы, мисс Феррар, обручены с богатым и влиятельным членом парламента. Давно ли вы с ним обручены?

— Шесть месяцев.

— У вас, конечно, нет от него секретов?

— Зачем мне отвечать на этот вопрос?

— Зачем ей отвечать на этот вопрос, сэр Джемс?

— Охотно беру его назад, милорд.

Издевается, негодяй! Как будто у кого-нибудь нет секретов.

— Ваша помолвка была оглашена только в январе, не так ли?

— Да.

— Могу я вывести отсюда заключение, что до января вы еще не утвердились в своем решении?

— Пожалуйста.

— Скажите, мисс Феррар, начиная дело, вы заботились не только о своей репутации? Не потому ли вы подали в суд, что нуждались в деньгах?

Снова кровь прилила к ее щекам.

— Нет.

— Но в деньгах вы нуждались?

— Да.

— Очень?

— Не больше, чем обычно.

— Насколько я понимаю, у вас было много долгов и вас торопили с оплатой?

— Да, пожалуй.

— Я рад, что вы это подтвердили, мисс Феррар; иначе мне пришлось бы приводить доказательства. Значит, дело вы начали не для того, чтобы расплатиться с кредиторами?

— Нет.

— В начале января вы узнали, что вам вряд ли удастся получить какую-либо сумму, если дело не дойдет до суда?

— Мне сказали, что миссис Монт взяла назад предложение, сделанное раньше.

— А вы знаете, почему?

— Да, потому что миссис Монт не хотела дать в письменной форме извинение, на котором я настаивала.

— Совершенно верно. Можно ли считать совпадением, что немедленно вслед за этим вы решили выйти замуж за сэра Александра Мак-Гауна?

— Совпадением?

— Я имею в виду оглашение вашей помолвки.

Негодяй!

— Это не имело никакого отношения к судебному процессу.

— В самом деле? Значит, вы, начав процесс, действительно беспокоились, как бы вас не сочли безнравственной?

— Я начала процесс главным образом потому, что меня назвали «змеей».

— Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос.

— Беспокоилась не столько я, сколько мои друзья.

— Но ведь ваши друзья разделяют ваш взгляд на вопросы морали?

— Да, но не мой жених.

— Совершенно верно. Вы сказали, что он вращается не в вашем кругу. Но прочие ваши друзья? Ведь вы же не стыдитесь своих убеждений?

— Нет.

— Так зачем же стыдиться за других?

— Откуда мне знать об их убеждениях?

— Откуда ей знать, сэр Джемс?

— Как угодно, милорд. Ну-с, мисс Феррар, вы, надеюсь, не станете отрекаться от своих взглядов. Разрешите мне изложить вам квинтэссенцию вашего мировоззрения: вы верите, не правда ли, в необходимость полного выявления своего «я», сочли бы своим долгом, не правда ли, нарушить всякую условность— я не говорю закон, но всякую так называемую моральную условность, которая бы вас связывала?

— Я не говорила, что у меня есть мировоззрение.

— Пожалуйста, не увиливайте от ответа.

— Я не привыкла увиливать.

— Приятно это слышать. Вы считаете, что вы одна можете судить о своем поведении?

— Да.

— И не только вы стоите на этой точке зрения?

— Вероятно, нет.

— Такова точка зрения авангарда современного общества, не так ли? Авангарда, в рядах которого вы стоите и гордитесь этим? Вы принадлежите к этому кругу и делаете и думаете, что хотите, лишь бы формально соблюсти закон, так?

— Не всегда поступаешь согласно своим принципам.

— Правильно. Но даже если вы и не всегда поступаете соответственно, все же это принцип ваших друзей — не считаться с чужим мнением и условностями?

— Более или менее.

— И, вращаясь в этом кругу, вы осмеливаетесь утверждать, что слова «она не имеет представления о нравственности» дают вам право требовать компенсации?

Голос ее гневно зазвенел:

— О нравственности у меня есть представление. Быть может, оно не совпадает с вашим, но я, во всяком случае, не лицемерю.

Опять она заметила, как блеснули его глаза, и поняла, что вторично сделала промах.

— Моего представления о нравственности мы не будем касаться, мисс Феррар, а лучше поговорим о вашем. Вы сами сказали, что понятие нравственности зависит от темперамента, обстоятельств, среды?

Она молча кусала губы.

— Будьте добры отвечать.

Она наклонила голову.

— Да.

— Прекрасно! —Он замолчал, перебирая бумаги, и она отступила от перил.

Она вышла из себя и его вывела из себя, теперь одно — не растеряться! И в это мгновение, собираясь с мыслями, она воспринимала все: выражения, жесты, всю атмосферу — болезненное напряжение сотен застывших лиц; заметила единственную женщину среди присяжных; заметила, как судья, устремив взгляд куда-то в конец зала, сломал кончик гусиного пера. А там, пониже, недовольная гримаса мистера Сэтлуайта, огорченное лицо Майкла, маска Флер Монт с красными пятнами на щеках, стиснутые руки Алека, его глаза, устремленные на нее. Даже смешно, как все насторожились! Вот бы стать величиной с «Алису в стране чудес», взять их всех в руки и стасовать, как колоду карт, а то застыли и наслаждаются! Негодяй кончил возиться с бумагами, и она опять подвинулась к перилам.

— Мисс Феррар, милорд задал вам вопрос, на который вы не могли ответить. Я задам вам его в несколько упрощенной форме. Независимо от того, нравственно это или нет,— она увидела, как Майкл поднес руку к губам,— была ли у вас фактически связь с кем-нибудь?

И по тону его голоса, по выражению его лица она поняла, что он знает.

Теперь кругом было пусто — опереться не на что. Десять, двадцать, тридцать секунд — судья, присяжные, эта старая лисица — руку прячет под мантией, не смотрит на нее! Почему она не может бросить негодующее «нет!», которое столько раз репети-

ровала? А если он докажет? Грозил же он доказать, что она в долгах.

— Я вас не тороплю, мисс Феррар. Вы, конечно, знаете, что значит «связь»?

Негодяй! Не успев сказать «нет», она заметила, как Майкл наклонился вперед и прошептал: «Прекратите!». А «выскочка» смотрела на нее испытующе и презрительно, словно хотела сказать: «Послушаем, как она будет лгать!»

И она быстро ответила:

— Я считаю такой вопрос оскорбительным.

— Что вы, мисс Феррар! После того, что вы нам сообщили о ваших убеждениях...

— Ну, так я на него не отвечу.

В зале шепот, шорохи.

— Вы не хотите отвечать?

— Не хочу.

— Благодарю вас, мисс Феррар.

Сколько сарказма в тоне! Негодяй сел.

Марджори Феррар стояла с вызывающим видом, чувствуя, что почва ускользнула у нее из-под ног. Ну, теперь что? Ее адвокат сделал ей знак. Она спустилась с возвышения и прошла мимо противников на свое место рядом с женихом. Какой он красный, неподвижный! Она услышала голос судьи: «Объявляю перерыв, мистер Булфри», видела, как он встал и вышел, как поднялись присяжные. Шепот и шорохи в зале усилились. Зал гудел. Она встала. С ней говорил мистер Сэтлуайт.

VII

СЫТА ПО ГОРЛО

Марджори Феррар последовала за ним в комнату для свидетелей.

— Ну как?

— Очень печально, что вы отказались дать ответ, мисс Феррар. Боюсь, что это роковым образом подействует на мнение присяжных. Если можно пойти сейчас на мировую, советую вам это сделать.

— Мне все равно.

— В таком случае я сейчас же это устрою. Пойду поговорю с сэром Александром и мистером Булфри.

— Как мне отсюда выйти, чтобы никто не видел?

— Спуститесь по этой лестнице. В Линкольнс-Инн-Филдс вы найдете такси. Простите, я пойду.

Он корректно поклонился и вышел.

Марджори Феррар не взяла такси, а пошла пешком. В общем она была довольна, даже если ее последний ответ был роковой ошибкой. Она ни в чем существенном не солгала, не смутилась перед сарказмом Негодяя · даже сумела отплатить ему его же монетой. Но Алек! Ну что ж, он настаивал на судебном процессе — может быть доволен! Купив газету, она зашла в ресторан и прочла описание самое себя, подкрепленное фотографией. Она с аппетитом позавтракала и пошла дальше по Пикадилли. Вошла в Хайд-парк, села под распускающееся дерево и не спеша затянулась папиросой. На Роу почти никого не было. Кой-где на стульях сидели незнакомые люди. Тренерша обучала маленького мальчика верховой езде. Казалось, только голубь да стайка воробьев замечали ее присутствие. В воздухе пахло весной. Некоторое время Марджори наслаждалась мыслью, что никто в мире не знает, где она. Странно, как подумаешь — каждый день миллионы людей, покидая свои дома, конторы, магазины, пропадают, как камни, брошенные в пруд! Что, если исчезнуть совсем и вкусить жизнь инкогнито? Бэрти Кэрфью опять едет в Москву. Не возьмет ли он ее с собой — как секретаря и bonne amie[1]? Бэрти Кэрфью! Ведь она только делала вид, будто он ей надоел! Сейчас она подошла вплотную к мысли о будущем. Алек! Объяснение! И не только объяснение. У него остался список ее долгов; вместо свадебного подарка он хотел заплатить все ее долги. Но если не будет никакой свадьбы? Слава богу, у нее есть небольшая сумма наличными. Вчера выиграл заезд четырехлетка, заботливо взращенный в конюшне ее отца. Она ставила двадцать пять фунтов, и выдача была неплохая. Она встала и побрела дальше, полной грудью вдыхая вкусный ветер, не заботясь о том, что фигура ее

[1] Подругу (*франц.*).

не кажется мальчишеской,— в конце концов это уже не так модно, как было.

При выходе из парка она купила еще газету. Тут был полный отчет под заголовком: «Поход на современные нравы. Показания мисс Марджори Феррар». Смешно было читать эти слова в толпе людей, которые тоже их читали и понятия не имели, кто она такая. Добравшись до Рэн-стрит, она отперла дверь своей квартиры и сейчас же увидела шляпу. Он уже здесь! Она не спеша попудрилась и в студию вошла бледная, словно много пережила.

Мак-Гаун сидел, сжав руками голову. Ей стало жаль его — слишком он сильный, слишком крепкий, слишком живой для такой позы! Он поднял голову.

— Ну что, Алек?

— Скажите мне правду, Марджори! Это пытка!

Она смутно позавидовала глубине его чувства, пусть неразумного после всех ее предупреждений. Но сказала насмешливо:

— Ну, кто же меня знает лучше — вы или я?

Глухо он повторил:

— Правду, Марджори, правду!

Но зачем ей было исповедоваться? Что ему до ее прошлого? У него есть право на ее будущее — и хватит. Старая история: мужчины требуют от женщин больше того, что сами могут им дать. Неравенство полов! Может быть, это имело смысл в прежнее время, когда женщины рожали детей, а мужчины нет; но теперь, когда женщины вполне разбираются в вопросах пола и детей рожают только если хотят, да и то не всегда,— почему мужчины должны пользоваться большей свободой?

И она медленно проговорила:

— Если вы мне расскажете о ваших похождениях, я вам расскажу о своих.

— Ради бога, не смейтесь надо мной. За эти несколько часов я пережил адские муки.

Это было видно по его лицу, и она сочувственно сказала:

— Я говорила, что вы споткнетесь, Алек. Зачем вы

настаивали, чтобы я подала в суд? Вышло по-вашему! А теперь вы недовольны.

— Так это правда?

— Да. И что же?

Он застонал и попятился до самой стены, словно боялся остаться без опоры.

— Кто он?

— О нет! Этого я вам не скажу. А сколько у вас было любовных интриг?

Он будто и не слышал. Ну конечно! Он знал, что она его не любит, а такие вещи важны, только когда любишь! Ну что ж, нужно принять его мучения как дань!

— Со мной вы разделались,— сказала она хмуро, села и закурила папиросу.

Сцена! Как противно! И почему он не уходит? Почему стоит, словно глухонемой? Лучше бы он бесновался.

— Кто он? Тот американец?

Она невольно засмеялась.

— О нет! Бедный мальчик!

— Сколько времени это продолжалось?

— Около года.

— О боже! — Он бросился к двери.

Хоть бы уж открыл ее, хоть бы ушел! Но как можно так сильно чувствовать! Стоит у двери, лицо чуть ли не безумное. Мещанские страсти!

А потом он и правда открыл дверь и ушел.

Она растянулась на диване; не усталость охватила ее, не отчаяние, а скорее безразличие ко всему на свете. Как глупо, как старо! Почему он не свободный, не гибкий, как она, почему не может принять жизнь просто? Страсти, предрассудки, принципы, жалость — старомодно, как тесные платья, которые надевали на нее в детстве. Ну что же — скатертью дорожка! Подумать только—жить под одной крышей, спать в одной постели с человеком до того примитивным, что он способен свихнуться от ревности! С человеком, который принимает жизнь до того всерьез, что сам этого не сознает. Жизнь — папироса: выкуришь ее — и бросишь; или танец — длится, пока не кончилась музыка. Танцуем дальше!.. Да, но теперь нельзя позволить ему платить ее кредиторам, даже если

он захочет. Раньше она могла бы заплатить ему своим телом, а теперь нет. Ах, если бы кто-нибудь умер и оставил ей наследство! И она лежала неподвижно, прислушиваясь к уличному шуму: такси заворачивали за угол, собака лаяла на почтальона, хромой демобилизованный солдат пиликал, по обыкновению, на скрипке. Бедняга ждет от нее шиллинга! Нужно встать и бросить ему. Она подошла к окну, выходившему на улицу, и вдруг отшатнулась. У подъезда стоял Фрэнсис Уилмот. Как, еще одна сцена? Это уж слишком! Вот и звонок! Некогда сказать, что ее «нет дома». Что ж, пусть слетаются на ее прошлое, как пчелы на мед.

— Мистер Фрэнсис Уилмот.

Он стоял в дверях. Почти не изменился, только похудел немного.

— Ну, Фрэнсис,— сказала она,— я думала, что вы «покончили с этой глупой историей».

Фрэнсис Уилмот подошел и, не улыбаясь, взял ее руку.

— Завтра я уезжаю.

Уезжает! Ну, с этим она могла примириться. Сейчас он ей казался самым заурядным молодым человеком, бледным, темноволосым, слабым.

— Я прочел вечерние газеты и подумал, что, быть может, вы хотите меня видеть?

Что он, смеется над ней? Нет, лицо его было серьезно, в голосе не было горечи; и хотя он пристально смотрел на нее — решить, осталось ли у него к ней какое-нибудь чувство, она не могла.

— Вы считаете, что я перед вами в долгу? Я знаю, что нехорошо с вами поступила.

Он посмотрел на нее так, словно она его ударила.

— Ради бога, Фрэнсис, не говорите, что вы пришли из рыцарских побуждений. Это было бы слишком забавно.

— Я не совсем понимаю... Я думал, что, быть может, вы не хотели ответить на этот вопрос о любовной интриге... из-за меня.

Марджори Феррар истерически захохотала.

— Из-за вас! Нет, нет, дорогой мой!

Фрэнсис Уилмот отошел к двери и поклонился.

— Мне не следовало приходить.

Внезапно ее опять потянуло к этому необычному человеку, к его мягкости, его темным глазам.

— Во всяком случае, теперь я опять свободна, Фрэнсис.

Бесконечно тянулись секунды, потом он снова поклонился. Это был отказ.

— Ну, так уходите,— сказала она.— Уходите скорей! Я сыта по горло!

И она повернулась к нему спиной.

Когда она оглянулась, его уже не было, и это удивило ее. Он был новой разновидностью — или старой, как ископаемые! Он не знал элементарных основ жизни, был старомоден à faire rire[1]. И, снова растянувшись на диване, она задумалась. Нет, они ее не запугали. Завтра раут у Бэллы Мэгюсси, чествуют какого-то идиота. Все там будут, и она тоже.

VIII

МАРИОНЕТКИ

Когда Майкл, не спускавший глаз с сэра Джемса Фоскиссона, услышал ее слова: «На этот вопрос я не отвечу», он резко обернулся. Было точь-в-точь, как если бы она ответила: «Да». Судья смотрел на нее, все на нее смотрели. Неужели Булфри не придет ей на помощь! Нет! Он молча кивнул, предлагая ей вернуться на свое место. Майкл привстал, когда она проходила мимо. Ему было жаль Мак-Гауна. Все вокруг него встали, а бедняга сидел неподвижно, красный как индюк.

Флер! Майкл взглянул на нее: слегка раскрасневшаяся, она сидела с опущенными глазами, сжав на коленях руки в перчатках. Быть может, ее обидел его тихий возглас: «Прекратите!» или его полупоклон? Как было не посочувствовать «Гордости гедонистов» в такую минуту!

---

[1] До смешного *(франц.)*.

Зал пустел. Нарядная публика — вот ее мать, и тетка, и кузина, и старик Форсайт — разговаривает с Фоскиссоном. Ага, кончил; повернулся.

— Мы можем идти.

Они прошли за ним по коридору, спустились по лестнице и вышли на свежий воздух.

— У нас есть время перекусить,— сказал Сомс,— зайдем сюда.

Они вошли в ресторан.

— Три бифштекса, да поскорее! — распорядился Сомс и добавил, глядя на солонку:— Она себя погубила. Продолжать они не будут. Я сказал Фоскиссону, что он может пойти на мировую; обе стороны уплачивают судебные издержки. Это больше того, что они заслуживают.

— Он не должен был задавать этот вопрос, сэр.

Флер встрепенулась.

— Ну знаешь, Майкл...

— Ведь мы же условились, милая, что этого пункта он касаться не будет. Почему Булфри ей не помог, сэр?

— Он рад был поскорее ее усадить. Еще секунда — и судья сам задал бы ей тот же вопрос. Слава богу, полное фиаско!

— Значит, мы выиграли? — спросила Флер.

— Не сомневаюсь,— ответил Сомс.

— А я не уверен,— пробормотал Майкл.

— Говорю вам, все кончено; Булфри с радостью пойдет на мировую.

— Я не то хотел сказать, сэр.

— А что ты хотел сказать, Майкл? — язвительно спросила Флер.

— Думаю, что нам этого не простят, вот и все.

— Чего не простят?

— Ну, может быть, я ошибаюсь. Соусу хотите, сэр?

— Вустерский? Давайте. Это единственное место в Лондоне, где подают рассыпчатый картофель. Официант, три рюмки портвейна. Поскорей!

Через четверть часа они вернулись в суд.

— Подождите здесь, в вестибюле,— сказал Сомс.— Я пройду наверх и узнаю.

В этом гулком зале, где человек казался таким ничтожным пигмеем, Флер и Майкл сначала стояли молча. Потом он заговорил:

— Конечно, она не могла знать, что Фоскиссон не стал бы останавливаться на этом пункте. Но она должна была ждать такого вопроса. Соврала бы им в лицо— и дело с концом! Мне стало ее жаль.

— Ты, Майкл, готов пожалеть блоху, которая тебя укусила. Но почему нам этого не простят?

— Видишь ли, положение ее почти трагическое, а в обществе с этим считаются. И не забудь об ее помолвке!

— Ну, помолвка будет разорвана.

— Совершенно верно! И симпатии общества будут на ее стороне. А если не будет разорвана, так на его. Во всяком случае, не на нашей. И, знаешь ли, ведь она, в сущности, защищала то, во что мы все теперь верим.

— Не говори за других.

— Но мы же говорим, что все свободны?

— Да, но разве мы делаем то, что говорим?

— Нет,— сказал Майкл.

В эту минуту вернулся Сомс.

— Ну что, сэр?

— Как я и предполагал, Булфри пошел на мировую. Это моральная победа.

— О, неужели моральная, сэр?

— Но издержки большие,— сказал Сомс, глядя на Флер.— Твоя мать очень недовольна — у нее нет чувства меры. Ловко Фоскиссон вывел из себя эту женщину.

— Он и сам вышел из себя. По-моему, это говорит в его пользу.

— Ну,— сказал Сомс,— все кончено. Автомобиль забрала твоя мать. Поедем в такси.

Они ехали на Саут-сквер по тем же улицам, что утром, и так же молчали.

Немного позже, направляясь в палату, Майкл читал назидательные заголовки на рекламах газетных объединений.

«Великосветский процесс о диффамации».

«Внучка маркиза и адвокат».

«Сенсационные показания».

«Современные нравы!»

«Все кончено», так ли? А огласка? По мнению Майкла, все только начиналось. Нравственность! Что это такое, у кого она есть и что с ней делают? Как он сам ответил бы на эти вопросы? Кто может в наше время на них ответить? Не он, не Флер! Они оказались на стороне инквизиции, и какое теперь их положение? Ложное, даже гнусное! Он вошел в палату. Но при всем желании он не мог сосредоточиться на качестве продуктов питания и снова вышел. Почему-то его потянуло к отцу, и он быстро зашагал на Уайтхолл. Заглянул в «Клуб шутников», в «Аэроплан» и, наконец, в «Партенеум». В одной из тихих комнат клуба сэр Лоренс читал жизнеописание лорда Пальмерстона. Он оторвался от книги и посмотрел на сына.

— А, Майкл! Обижают они старого Пэма. Без затей был человек, работал как негр. Но здесь разговаривать неудобно,— он указал на одного из членов клуба, который, казалось, еще бодрствовал.— Не хочешь ли пройтись, а то как бы с ним удара не было. Книги здесь для отвода глаз, на самом деле это дортуар.

Они отправились в Грин-парк, и дорóгой Майкл рассказал о событиях этого утра.

— Фоскиссон? — повторил сэр Лоренс.—Я его помню; славный был мальчишка, когда я кончал школу. Правота по долгу службы плохо влияет на характер: адвокаты, священники, полисмены — все от этого страдают. Судьи, епископы, инспекторы полиции — те лучше, они страдали так долго, что уже привыкли к этому.

— Зал был битком набит,— мрачно сказал Майкл,— и газеты стараются.

— Ну, конечно.— И сэр Лоренс указал на водоем.— Эти птицы напоминают мне Китай,— сказал он.— Кстати, я вчера видел в «Аэроплане» твоего друга Дезерта. Он стал интереснее с тех пор, как променял поэзию на Восток. Всем нужно менять профессии. Я-то уж стар, но, откажись я вовремя от положения баронета, из меня вышел бы недурной акробат.

— А нам, членам палаты, что бы вы посоветовали?— улыбнулся Майкл.

— Профессию почтальона, мой милый. Совсем не плохо. Известное положение в обществе, большие сумки, собаки лают, никакой инициативы и разговоры на каждом пороге. Кстати, ты виделся с Дезертом?

— Я его видел.

Сэр Лоренс сощурился.

— Роковое не повторяется,— сказал он.

Майкл покраснел; он не думал, что его отец так наблюдателен. Сэр Лоренс помахал тростью.

— Твой Боддик уговорил кур нестись,— сказал он.— Поставляет нам отличные яйца.

Майкл оценил его такт. Но этот неожиданный, мимолетный намек на старый семейный кризис пробудил в нем опасение, которое долго сонной змеей пряталось в нем,— опасение, что назревает новый кризис, что он уже близко.

— Зайдите выпить чаю, сэр! У Кита сегодня утром болел животик. Как раскупается ваша последняя книга? Дэнби хорошо ее рекламирует?

— Нет,— сказал сэр Лоренс,— он молодец! Сделал все, чтобы ее зарезать.

— Я рад, что с ним покончил,— сказал Майкл.— Не дадите ли вы совет, сэр, как нам держать себя теперь, когда процесс кончился?

Сэр Лоренс смотрел на птицу с длинным красным клювом.

— Победителю следует быть осторожным,— сказал он наконец.— Моральные победы нередко вредят тем, кто их одерживает.

— Мне тоже так кажется, сэр. Уверяю вас, я к этой победе не стремился. Мой тесть говорит, что дело дошло до суда главным образом из-за моей драки с Мак-Гауном.

Сэр Лоренс залился беззвучным смехом.

— Пошлина на предметы роскоши. От нее не ускользнешь. Нет, я к вам не пойду, Майкл,— у вас, наверно, сидит «Старый Форсайт». Твоя мать знает прекрасное лекарство от боли в животике, когда-то ты только им и жил. Я протелефонирую из дому. До свидания!

Майкл посмотрел вслед его тонкой, проворной фигуре. Наверно, и у него есть свои заботы, но как он умеет их скрывать! Славный «Старый Барт»! И Майкл повернул к дому.

Сомс уже уходил.

— Она возбуждена,— сообщил он Майклу.—Это реакция. Дайте ей на ночь порошок Зейдлица. И будьте осторожны: я бы на вашем месте не стал говорить о политике.

Майкл вошел в гостиную. Флер стояла у открытого окна.

— А, вот и ты!—сказала она.—Кит выздоровел. Поведи меня сегодня вечером в кафе «Рояль», Майкл, а потом в театр, если идет что-нибудь забавное. Мне надоело быть серьезной. Да, знаешь, Фрэнсис Уилмот зайдет сегодня попрощаться. Я получила записку: он пишет, что совсем здоров.

Майкл встал рядом с ней у окна; почему-то пахло травой. Ветер тянул с юго-востока, и, косо падая поверх домов, луч солнца золотил землю, почки, ветви. Пел дрозд; за углом шарманщик играл «Риголетто». Плечом он чувствовал ее плечо, такое мягкое, губами нашел ее щеку, такую теплую, шелковистую...

Когда после обеда в кафе «Рояль» Фрэнсис Уилмот распрощался с ними, Флер сказала Майклу:

— Бедный Фрэнсис, как он изменился! Ему можно дать тридцать лет. Я рада, что он едет домой, к своим неграм. А что это за вечнозеленые дубы? Ну, идем мы куда-нибудь?

Майкл накинул ей на плечи мех.

— Посмотрим «Нетерпится»; говорят, публика хохочет до упаду.

Когда они вышли из театра, было тепло. По небу плыли красные и зеленые огни реклам: «Шины Шомбера — Быстрота и Безопасность».— «Молокин — Мечта Молодых Матерей». Прошли Трафальгар-сквер и залитую луной Уайтхолл.

— Ночь какая-то ненастоящая,— сказала Флер.— Марионетки!

Майкл обнял ее.

— Оставь! Вдруг тебя увидит кто-нибудь из членов парламента!

— Он мне позавидует. Какая ты красивая и настоящая!

— Нет. Марионетки не реальны.

— И не нужно.

— Реальное ты найдешь в Бетнел-Грин.

Майкл опустил руку.

— Вот нелепая мысль!

— У меня есть интуиция, Майкл.

— Разве я не могу восхищаться хорошей женщиной и любить тебя?

— Я никогда не буду «хорошей»: это мне не свойственно. Сквер сегодня красивый. Ну, открывай дверь кукольного дома!

В холле было темно. Майкл снял с нее пальто и опустился на колени. Он почувствовал, как ее пальцы коснулись его волос — реальные пальцы; и вся она была реальной, только душа ее от него ускользала. Душа?

— Марионетки!—прозвучал ее голос, ласкающий и насмешливый.— Пора спать!

IX

РАУТ У МИССИС МЭГЮССИ

Рауты бывают светские, политические, благотворительные и такие, какие устраивала миссис Мэгюсси. Англо-американка, баснословно богатая, безупречно вдовствующая, с широкими взглядами, она воплощала собой идеал хозяйки салона. Люди могли безнаказанно умирать, жениться, появляться на свет, лишь бы она рано или поздно могла свести их в своем доме. Если она приглашала какого-нибудь врача, то с тем, чтобы свести его с другим врачом; если шла в церковь, то с тем, чтобы заполучить каноника Форанта и свести его у себя за завтраком с преподобным Кимблом. На ее пригласительных билетах значилось «чествуем»; она никогда не приписывала «меня». Эгоизм был ей чужд. Изредка она устраи-

вала настоящий раут, потому что изредка ей попадалась персона, с которой стоило свести всех — от поэтов до прелатов. Она была искренне убеждена, что каждому приятно почествовать известного человека; и это глубоко правильное убеждение обеспечивало ей успех. Оба ее мужа умерли, успев почествовать в своей жизни великое множество людей. Оба были известны и впервые чествовали друг друга в ее доме; третьего заводить она не собиралась: светское общество поредело, а кроме того, она была слишком занята.

Упоминание о Бэлле Мэгюсси порой вызывало улыбки, но как было обойтись без человека, выполняющего функцию цемента? Если б не она, где было епископам заводить дружбу с танцовщицами или министрам черпать жизненные силы у драматургов? Только в ее салоне люди, раскапывающие древние цивилизации Белуджистана, могли встретить людей, пытающихся сравнять с землей новую цивилизацию Лондона. Только там светила двора сталкивались со звездами эстрады. Только там могло случиться, что русская балерина сидела за ужином рядом с доктором медицины сэром Уолтером Пэдл, удостоенным ученых степеней всех университетов мира; даже чемпион по крикету мог лелеять надежду пожать там руку великому экономисту-индусу, сэру Банерджи Бат Бабор. Короче говоря, дом миссис Мэгюсси был из тех, куда стремятся попасть все. И ее длинное лицо сморщилось от долгого служения великому делу. «Свести иль не свести?» — для нее этот вопрос был решен раз и навсегда.

На ее первом рауте в 1925 году «чествуемым» был великий итальянский скрипач Луиджи Спорца, который только что закончил свое изумительное кругосветное турне. На это турне он потратил времени вдвое меньше, чем кто-либо из его предшественников-музыкантов, а концертов дал вдвое больше. Такая поразительная выносливость была отмечена газетами всех стран; писали о том, как он загубил пять скрипок, как ему предложили стать президентом одной из южноамериканских республик, как он зафрахтовал целый пароход, чтобы поспеть на концерт в Северной Америке, как упал в обморок в Москве, сыграв концерты Бетховена и Брамса, чаконну Баха и семнадцать вещей на бис. После этого года на-

пряженных усилий он стал знаменитостью. В сущности, как художник он был известен немногим, но как атлета его знали все.

Майкл и Флер, поднявшись по лестнице, увидели джентльмена могучего сложения; гости по очереди пожимали ему руку и отходили, морщась от боли.

— Только Италия может породить таких людей,— сказал Майкл на ухо Флер.— Постарайся проскользнуть мимо. Он раздавит тебе руку.

Но Флер смело двинулась вперед.

«Не из таких»,— подумал Майкл. Кто-кто, а его жена не упустит случая пожать руку знаменитости, пусть даже мозолистую. Ее оживленное лицо не дрогнуло, когда рука атлета сжала ее пальцы, а глаза — глаза усталого минотавра — с интересом оглядели ее стройную фигуру.

«Ну и бык»,— подумал Майкл, высвободив свою руку и следуя за Флер по сияющему паркету. После тягостных вчерашних переживаний и вечернего кутежа он больше не заговаривал о своих опасениях; он даже не знал, поехала ли Флер на этот раут с целью проверить свою позицию или просто потому, что любила бывать на людях. И сколько людей! Как будто в громадной гостиной с колоннами собрались все, кого Майкл знал и кого не знал,— члены парламента, поэты, музыканты, своей усмешкой словно говорившие: «Ну, я бы написал лучше» или: «Как можно исполнять такие вещи!», пэры, врачи, балерины, живописцы, лейбористские лидеры, спортсмены, адвокаты, критики, светские женщины и «деятельницы». Он видел, как впиваются во всю эту толпу зоркие глаза Флер под белыми веками, которые он целовал сегодня ночью. Он завидовал ей: жить в Лондоне и не интересоваться людьми — то же, что жить у моря и не купаться. Он знал, что вот сейчас она решает, с кем из знакомых поговорить, кого из незнакомых удостоить вниманием. «Вот ужас будет, если ее высмеют»,— подумал он, и как только у нее завязался с кем-то разговор, он отступил к колонне. За его спиной раздался негромкий голос:

— Здравствуйте, юный Монт!

Мистер Блайт, прислонившись к той же колонне, пугливо выглядывал из зарослей своей бороды.

— Давайте держаться вместе,— сказал он,— очень уж тут людно.

— Вы были вчера в суде? — спросил Майкл.

— Нет, из газет узнал. Вам повезло.

— Меньше, чем ей.

— Гм! — сказал мистер Блайт.— Кстати, «Ивнинг Сан» опять сделала против нас выпад. Они сравнивают нас с котенком, который играет своим хвостом. Пора вам выпускать второй заряд, Монт.

— Я думал поговорить по земельному вопросу.

— Отлично! Правительство скупает пшеницу и контролирует цены. Механизация земледелия. Отнюдь не раздувать аппарата.

— Блайт,— неожиданно сказал Майкл,— где вы родились?

— В Линкольншире.

— Значит, вы англичанин?

— Чистокровный,— ответил мистер Блайт.

— Я тоже; и старик Фоггарт, я посмотрел его родословную. Это хорошо, потому что нас, несомненно, будут обвинять в недостатке патриотизма.

— Уже обвиняют,— сказал мистер Блайт.— «Люди, которые дурно отзываются о своей родине... Птицы, пачкающие свое гнездо... Не успокоятся, пока не очернят Англию в глазах всего мира... Паникеры... Пессимисты...» Надеюсь, вы не обращаете внимания на всю эту болтовню?

— К сожалению, обращаю,— сказал Майкл.— Меня это задевает. Вопиющая несправедливость! Мне невыносима мысль, что Англия может попасть в беду.

Мистер Блайт вытаращил глаза.

— Она не попадет в беду, если мы сумеем ей помочь.

— Будь я уверен в себе,— сказал Майкл,— а то мне все хочется сжаться и спрятаться в собственный зуб.

— Поставьте коронку. Вам, Монт, нахальства не хватает. Кстати, о нахальстве: вот идет ваша вчерашняя противница — вам бы у нее поучиться.

Майкл увидел Марджори Феррар, которая только что обменялась рукопожатием со знаменитым итальянским

янцем На ней было очень открытое платье цвета морской воды; она высоко держала свою золотисто-рыжую голову. В нескольких шагах от Флер она остановилась и осмотрелась по сторонам. Видимо, она заняла эту позицию умышленно, как бы бросая вызов.

— Я пойду к Флер.

— И я с вами,— сказал мистер Блайт, и Майкл посмотрел на него с благодарностью.

И тут наступила интересная минута для всякого, кто не был так заинтересован, как Майкл. Длинный, пронырливый нос Общества дрогнул, потянул воздух и, как хобот дикого слона, почуявшего человека, стал извиваться туда и сюда, жадно ловя запах сенсации. Губы улыбались, тянулись к ушам; глаза перебегали с одной женщины на другую; лбы сосредоточенно хмурились, словно мыслительные аппараты под стрижеными, надушенными черепами затруднялись в выборе. Марджори Феррар стояла спокойная, улыбающаяся, а Флер разговаривала и вертела в руках цветок. Так, без объявления войны, начался бой, хотя враги делали вид, что не замечают друг друга. Правда, между ними стоял мистер Блайт: высокий и плотный, он служил хорошим заслоном. Но Майкл все видел и ждал, стиснув зубы. Нос не спеша изучал аромат; аппарат выбирал. Волны застыли— ни прилива, ни отлива. А потом медленно и неуклонно, как отлив, волны отхлынули от Флер и заплескались вокруг ее соперницы. Майкл болтал, мистер Блайт таращил глаза, Флер улыбалась, играла цветком. А там Марджори Феррар стояла, как королева среди придворных. Было ли то восхищение, жалость или сочувствие? Или порицание Майклу и Флер? Или просто «Гордость гедонистов» всегда была более эффектна? Майкл видел, как бледнела Флер, как нервно теребила она цветок. А он не смел ее увести, она усмотрела бы в этом капитуляцию. Но лица, обращенные к ним, говорили яснее слов. Сэр Джемс Фоскиссон перестарался: своей праведностью он бросил тень на своих же клиентов. «Победа за откровенной грешницей, а не за теми, кто тащит ее на суд!» «И правильно! — подумал Майкл.— Почему этот субъект не послушался моего совета — заплатили бы, и дело с концом!»

И в эту минуту он заметил, что около знаменитого итальянца стоит, разглядывая свои пальцы, высокий молодой человек с зачесанными назад волосами. Бэрти Кэрфью! За его спиной, дожидаясь очереди «почествовать»,— не кто иной, как сам Мак-Гаун. Право, шутки богов зашли слишком далеко. Высоко подняв голову, потирая изувеченные пальцы, Бэрти Кэрфью прошел мимо них к своей бывшей возлюбленной. Она поздоровалась с ним нарочито небрежно. Но пронырливый нос не дремал — вот и Мак-Гаун! Как он изменился — мрачный, посеревший, злой! Вот кто мог потягаться с великим итальянцем. А тот тоже смешался с толпой придворных.

Напряженное молчание сразу прервалось, придворные, парами, кучками, отступили, и Мак-Гаун остался вдвоем со своей невестой. Майкл повернулся к Флер.

— Едем.

В такси они оба молчали. На поле битвы Майкл болтал до изнеможения и теперь нуждался в передышке. Но он нашел ее руку; она не ответила на его пожатие. Козырь, который он пускал в ход в трудные минуты,— одиннадцатый баронет — последние три месяца что-то не помогал; Флер, по-видимому, не нравилось, когда Майкл прибегал к этому средству. Огорченный, недоумевающий, он прошел за ней в столовую. Какая она была красивая в этом зеленовато-сером платье, очень простом и гладком, с широким воланом. Она присела к узкому обеденному столу; он стал напротив, мучительно подыскивая убедительные слова. Его самого такой щелчок оставлял глубоко равнодушным, но она!..

Вдруг она сказала:

— И тебе все равно?

— Мне лично — конечно.

— Ну да, у тебя остается твой фоггартизм и Бетнел Грин.

— Если ты огорчена, Флер, то мне совсем не все равно.

— *Если* я огорчена!

— Очень?

— К чему говорить, чтобы ты окончательно убедился, что я — выскочка?

— Никогда я этого не думал.

— Майкл!

— Что ты, в сущности, подразумеваешь под этим словом?

— Ты прекрасно знаешь.

— Я знаю, что ты любишь быть окруженной людьми, хочешь, чтобы они о тебе хорошо думали. Это не значит быть выскочкой.

— Да, ты очень добр, но тебе это не нравится.

— Я восхищаюсь тобой.

— Нет, ты хочешь меня, а восхищаешься ты Норой Кэрфью.

— Норой Кэрфью! Мне нет до нее дела; по мне, пусть она хоть завтра же умрет.

Он почувствовал, что она ему верит.

— Ну, если не ею, то ее идеалами, тем, что мне чуждо.

— Я восхищаюсь тобой,— горячо сказал Майкл,— восхищаюсь твоим умом, твоим чутьем, мужеством; и твоим отношением к Киту и к твоему отцу; и тем, как ты ко мне терпима.

— Нет, я тобой восхищаюсь больше, чем ты мной. Но, видишь ли, я не способна на самопожертвование.

— А Кит?

— Я люблю себя, вот и все.

Он потянулся через стол, взял ее руку.

— Больное воображение, родная.

— Ничего больного. Я вижу все слишком ясно.

Она откинула голову, ее круглая шея, белевшая под лампой, судорожно вздрагивала.

— Майкл, поедем в кругосветное путешествие!

— А как же Кит?

— Он еще слишком мал. Мама за ним присмотрит.

Если она идет на это, значит, все обдумано!

— Но твой отец?

— Право же, он совсем не стар, и у него остается Кит.

— Ну что ж! Парламентская сессия кончается в августе...

— Нет, едем сейчас.

— Подождем, осталось только пять месяцев. Мы еще успеем пространствовать.

Флер посмотрела ему в глаза.

— Я знала, что своим фоггартизмом ты дорожишь больше, чем мной.

— Будь же благоразумна, Флер!

— Пять месяцев выносить эту пытку? — она прижала руки к груди.— Я уже полгода страдаю. Должно быть, ты не понимаешь, что у меня больше нет сил?

— Но, Флер, все это так...

— Да, это такая мелочь — потерпеть полное фиаско, не правда ли?

— Но, дитя мое...

— О, если ты не понимаешь...

— Я понимаю. Сегодня я был взбешен. Но самое разумное — показать им, что это тебя нимало не задевает. Не следует обращаться в бегство, Флер.

— Не то! — холодно сказала Флер.— Я не хочу вторично добиваться того же приза. Отлично, я останусь, и пусть надо мной смеются.

Майкл встал.

— Я знаю, что ты не придаешь моей работе ни малейшего значения, но ты не права, и все равно я уже начал. О, не смотри на меня так, Флер! Это ужасно!

— Пожалуй, я могу поехать одна. Это будет даже интереснее.

— Ерунда! Конечно, одна ты не поедешь. Сейчас тебе все представляется в мрачном свете. Завтра настроение изменится.

— Завтра, завтра! Нет, Майкл, процесс омертвения начался, и ты можешь назначить день моих похорон.

Майкл всплеснул руками. Это не были пустые слова. Не следовало забывать, какое значение она придавала своей роли светской леди, как старалась пополнять свою коллекцию. Карточный домик рухнул. Какая жестокость! Но поможет ли ей кругосветное путешествие? Да! Инстинкт ее не обманывал. Он сам ездил вокруг света и знал, что ничто так не способствует переоценке ценностей, ничто так не помогает забыть и заставить забыть о себе. Липпингхолл, «Шелтер», какой-нибудь приморский курорт на пять месяцев, до конца сессии,— это все не то. Как-то ей нужно опять обрести уверенность в своих силах. Но может ли он уехать до окончания сес-

сии? Фоггартизм, это чахлое растение, лишившись единственного своего садовника, погибнет на корню, если только есть у него корень! Как раз сейчас вокруг него началось движение — то один депутат заинтересуется, то другой. Проявляется и частная инициатива. А время идет — Большой Бэн торопит: безработица растет, торговля свертывается, назревает протест рабочих, кое-кто теряет терпение! И как посмотрит Блайт на такое дезертирство?

— Подожди неделю,— пробормотал он.— Вопрос серьезный. Мне нужно подумать.

X

НОВАЯ СТРАНИЦА

Когда Мак-Гаун подошел, у Марджори Феррар мелькнула мысль: «Знает ли он о Бэрти?» Окрыленная своей победой над «этой выскочкой», взволнованная встречей с бывшим любовником, она не вполне владела собой. В соседней комнате, где никого не было, она посмотрела ему в лицо.

— Ну, Алек, все по-старому. Мое прошлое так же темно, как было вчера. Мне очень жаль, что я его от вас скрывала. В сущности, я вам несколько раз говорила, но вы не хотели понять.

— Потому что это было свыше моих сил. Расскажите мне все, Марджори!

— Хочется посмаковать?

— Расскажите мне все, и я на вас женюсь.

Она покачала головой.

— Женитесь? О нет! Больше я себе не изменю. Это была нелепая помолвка. Я никогда не любила вас, Алек.

— Значит, вы любили этого... вы все еще...

— Алек, довольно!

Он схватился за голову и пошатнулся, и ей стало не на шутку жаль его.

— Право же, мне ужасно неприятно. Вы должны забыть меня, вот и все.

Она хотела уйти, но его страдальческий вид растрогал ее. Ей только сейчас стало ясно, до чего он опустошен. И она быстро проговорила:

— Замуж за вас я не выйду, но мне бы хотелось с вами рассчитаться, если я могу...

Он посмотрел на нее.

Ее всю передернуло от этого взгляда. Она пожала плечами и вышла. Люди прошлого века! Она сама виновата: не нужно было выходить за пределы очарованного круга, где никто не принимает жизнь всерьез.

Она прошла по сверкающему паркету под взглядами многих глаз, ловко миновала хозяйку дома и через несколько минут уже сидела в такси.

Она не могла заснуть. Даже если газеты не оповестят о разрыве помолвки, все равно — на нее обрушится лавина счетов. Пять тысяч фунтов! Она встала и просмотрела запись своих долгов. Дубликат находился у Алека. Быть может, он все-таки захочет уплатить? Ведь он сам все испортил, зачем он настоял на суде! Но тут ей вспомнились его глаза. Думать нечего! Она поежилась и снова забралась в постель. Может быть, завтра утром ее осенит какая-нибудь гениальная мысль. Но все гениальные мысли пришли ночью и не давали спать. Москва с Бэрти Кэрфью? Сцена? Америка и кино? Наконец она заснула и утром проснулась бледная и усталая. Вместе с другими письмами ей подали записку от маркиза Шропшира.

«Милая Марджори.

Если тебе нечего делать, загляни ко мне сегодня утром.

Шропшир».

Что бы это могло быть? Она посмотрела на себя в зеркало и решила, что нужно хоть немного подкраситься. В одиннадцать часов она была у маркиза. Ее провели в рабочий кабинет. Дед стоял без пиджака и рассматривал что-то в лупу.

— Садись, Марджори,— сказал он,— через минуту я буду свободен.

Сесть было негде, разве что на пол, и Марджори Феррар предпочла стоять.

— Я так и думал,— сказал маркиз.— Итальянцы ошиблись.

Он отложил лупу, пригладил седые волосы и взлохмаченную бородку. Потом двумя пальцами подкрутил кверху бровь и почесал за ухом.

— Ошиблись; никакой реакции нет.

Он повернулся к внучке и сощурился.

— Ты здесь еще не была. Садись на окно.

Она уселась спиной к свету на широкий подоконник, под которым скрывалась электрическая батарея.

— Итак, ты довела дело до суда, Марджори?

— Да, пришлось.

— А зачем?

Он стоял, слегка склонив голову набок, щеки у него были розовые, а взгляд очень зоркий. Она подумала: «Ну что ж... Я его внучка. Рискну».

— Простая честность, если хотите знать.

Маркиз выпятил губы, вникая в смысл ее слов.

— Я читал твои показания, если ты это имеешь в виду,— сказал он.

— Нет. Я хотела уяснить себе свое положение.

— И уяснила?

— О да.

— Ты все еще намерена выйти замуж?

Умный старик!

— Нет.

— Кто порвал? Он или ты?

— Он говорит, что женится на мне, если я ему все расскажу. Но я предпочитаю не рассказывать.

Маркиз сделал два шага, поставил ногу на ящик и принял свою любимую позу. Его красный шелковый галстук развевался, не стесненный булавкой; суконные брюки были сине-зеленые, рубашка зелено-синяя. Необычайно красочная фигура.

— А много есть о чем рассказать?

— Порядочно.

— Что ж, Марджори, ты помнишь, что я тебе говорил?

— Да, дедушка, но я не совсем согласна. Я лично отнюдь не хочу быть символом.

— Ну, значит, ты исключение; но от исключений-то весь вред и происходит.

— Если б еще люди допускали, что есть кто-то лучше их. Но сейчас так не бывает.

— Это, положим, неверно,— перебил маркиз.— А каково у тебя на душе?

Она улыбнулась.

— Подумать о своих грехах не вредно, дедушка.

— Новый вид развлечения, а? Итак, ты с ним порвала?

— Ну да.

— У тебя есть долги?

— Есть.

— Сколько?

Марджори Феррар колебалась. Убавить цифру или не стоит?

— Говори правду, Марджори.

— Ну, около пяти тысяч.

Старый пэр вытянул губы и меланхолически свистнул.

— Большая часть, конечно, связана с моей помолвкой.

— Я слышал, что на днях твой отец выиграл на скачках?

Старик все знает!

— Да, но, кажется, он уже все спустил.

— Очень возможно,— сказал маркиз.— Что же ты думаешь предпринять?

Подавив желание задать ему тот же вопрос, она сказала:

— Я подумывала о том, чтобы пойти на сцену.

— Пожалуй, тебе это подходит. Играть ты умеешь?

— Я не Дузе.

— Дузе?—Маркиз покачал головой.—Ристори—вот это игра! Дузе! Конечно, она была очень талантлива, но всегда одна и та же. Значит, выходить за него ты не хочешь? — Он пристально на нее посмотрел.— Пожалуй, ты права. У тебя записано, сколько ты кому должна?

Марджори Феррар стала рыться в сумочке.

— Вот список.

Она заметила, как он сморщил нос, но что́ ему

не понравилось — запах духов или сумма,— она не знала.

— Твоя бабка,— сказал он,— тратила на свои платья одну пятую того, что ты тратишь. Теперь вы ходите полуголые, а стоит это дорого.

— Чем меньше материи, дедушка, тем лучше должен быть покрой.

— Ты отослала ему его подарки?

— Уже упакованы.

— Отошли все, ничего не оставляй,— сказал маркиз.

— Конечно.

— Чтобы выручить тебя, мне придется продать Гэйнсборо,— сказал он вдруг.

— Ох, нет!

Прекрасная картина кисти Гэйнсборо — портрет бабки маркиза, когда та была ребенком! Марджори Феррар протянула руку за списком. Не выпуская его, старик снял ногу с ящика, посмотрел на нее блестящими, проницательными старыми глазами.

— Я бы хотел знать, Марджори, можно ли заключить с тобой договор. Ты умеешь держать слово?

Она почувствовала, что краснеет.

— Думаю, что да. Зависит от того, какое я должна дать обещание. Но, право же, дедушка, я не хочу, чтобы вы продавали Гэйнсборо.

— К несчастью,— сказал маркиз,— у меня больше ничего нет. Должно быть, я сам виноват, что у меня такие расточительные дети. Других такая напасть миновала.

Она удержалась от улыбки.

— Времена сейчас трудные,— продолжал маркиз.— Имение стоит денег, шахты стоят денег, этот дом стоит денег. А где взять деньги? У меня вот есть одно изобретение, на котором можно бы разбогатеть, но никто им не интересуется.

Бедный дедушка, в его-то годы! Она вздохнула.

— Я не хотела надоедать вам, дедушка, я как-нибудь выпутаюсь.

Старый пэр прошелся по комнате. Марджори Феррар заметила, что на ногах у него красные домашние туфли без каблуков.

— Вернемся к нашей теме, Марджори. Если ты смот-

ришь на жизнь как на веселое времяпрепровождение, как ты можешь что-нибудь обещать?

— Что я должна обещать, дедушка?

Маленький, слегка сгорбленный, он подошел и остановился перед ней.

— Волосы у тебя рыжие, и, пожалуй, из тебя выйдет толк. Ты действительно думаешь, что сумеешь зарабатывать деньги?

— Думаю, что сумею.

— Если я заплачу твоим кредиторам, можешь ли ты дать мне слово, что впредь всегда будешь платить наличными? Только не говори «да» с тем, чтобы сейчас же пойти и заказать себе кучу новых тряпок. Я требую от тебя слова леди, если ты понимаешь, что это такое.

Она встала.

— Вы, конечно, имеете право так говорить. Но я не хочу, чтобы вы продавали Гэйнсборо.

— Это тебя не касается. Быть может, я где-нибудь наскребу денег. Можешь ты это обещать?

— Да, обещаю.

— И сдержишь слово?

— Сдержу. Что еще, дедушка?

— Я бы тебя попросил больше не бросать тень на наше имя, но, пожалуй, это значило бы переводить часы назад. Дух времени против меня.

Она отвернулась к окну. Дух времени! Все это очень хорошо, но о чем он говорит? Бросать тень? Да нет же, она прославила родовое имя — вытащила его из затхлого сундука, повесила у всех на виду. Люди рот раскрывают, когда читают о ней. А раскрывают они рот, когда читают о дедушке? Но этого ему не понять. И она смиренно сказала:

— Я постараюсь. Мне хочется уехать в Америку.

Глаза старика блеснули.

— И ввести новую моду — брать в мужья американцев? Кажется, этого еще не делали. Выбери такого, который интересуется электричеством, и привези его сюда. У нас найдется дело для американца. Ну-с, этот список я у себя оставлю. Вот еще что, Марджори: мне восемьдесят лет, а тебе сколько, двадцать пять? Не будь такой стремительной, а то к пятидесяти годам тебе все наску-

чит; а люди, которым все наскучило, безнадежно скучны. Прощай!

Он протянул ей руку.

Свободна! Она глубоко вздохнула и, схватив его руку, поднесла к губам. Ой, он смотрит на свою руку. Неужели она запачкала ее губной помадой? И она выбежала из комнаты. Славный старик! Как мило, что он взял этот список! Сейчас она пойдет к Бэрти Кэрфью, и вместе они начнут новую страницу! Как он смотрел на нее вчера вечером!

XI

ЗА БОРТ

Майкл не пытался ни убеждать, ни спорить: вопрос был слишком серьезен. Может быть, мысли о Ките заставят Флер изменить решение или ее удержат какие-нибудь другие препятствия — хотя бы мысль об отце. Но ясно было, что рана, нанесенная ей, глубока. Флер отказалась от всех обязанностей, налагаемых светской жизнью,— в течение этой тяжелой недели она нигде не бывала и никого не приглашала. Она не дулась, но стала молчалива, апатична. И часто она очень серьезно посматривала на Майкла, и иногда во взгляде ее было что-то похожее на озлобление, словно она заранее знала, что он ей откажет.

Ему не с кем было посоветоваться: ведь всякому, кто не был рядом с Флер в течение всей этой томительной истории, ее настроение показалось бы непонятным, даже смешным. Он не мог ее выдать; не мог даже пойти к Блайту, пока не решится на что-нибудь. Ход его мыслей еще осложняло всегдашнее сомнение —так ли уж он нужен фоггартизму. Вот если бы возгордиться! Он даже не обольщал себя мыслью, что категорический отказ произведет на Флер впечатление; она считала, что его работа нужна, чтобы выдвинуть его в обществе, но никакой пользы стране не приносит. В вопросах политики она была по-обывательски цинична: реагировала только на то, что угрожало собственности или Киту. Майкл понимал весь комизм дилеммы: будущее

Англии — или настоящее молодой женщины, получившей щелчок в светской гостиной! Но в конце концов только сэр Джемс Фоггарт и Блайт связывали фоггартизм с будущим Англии, а теперь, если он отправится в кругосветное путешествие, и эти двое утратят свою веру.

Неделя кончилась. Утром, так ни на что и не решившись, Майкл перешел реку по Вестминстерскому мосту и побрел по улицам Сэрри-Сайд. Он не знал этих мест, идти было интересно. Вспомнил, что тут жили когда-то Бикеты; Бикеты, которым не везло здесь, не повезло, как видно, и в Австралии. Нет конца этим гнусным улицам! Вот откуда выходят все Бикеты. Захватить их побольше, пораньше, захватить, пока они еще не стали Бикетами, еще годятся для работы на земле; дать им случай заработать, дать им воздух, солнце — дать им возможность проявить себя! Безобразные дома, безобразные лавки, безобразные трактиры! Нет, не годится. Нечего впутывать в дело красоту. В палате на красоту не реагируют. Там реагируют только на вполне понятные эмоции—«англосаксонская раса», «патриотизм», «империя», «моральная выдержка» — не отступать от штампов! Он постоял перед зданием школы, послушал монотонное гудение урока. Англичан с их мужеством, терпением, чувством юмора загнать в эти гнусные улицы!

Внезапно его потянуло за город. Мотоцикл! С тех пор как его избрали в парламент, он ни разу не пользовался этой машиной, грозившей растрясти все его достоинство. Но сейчас он решил извлечь мотоцикл и прокатиться: быть может, от тряски у него созреет решение!

Он вернулся домой и не застал Флер. Завтрак не был заказан. Майкл поел ветчины и в два часа отправился в путь.

С грохотом проскочил он Чизик, Слау, Мейденхед; переехал через реку и запыхтел к Рэдингу. У Кэвершема опять переехал мост и покатил на Пэнгборн. На береговой дорожке он прислонил мотоцикл к кустам и сел покурить. День был безветренный. Между стволами тополей виднелась серая гладь реки; на ивах уже появились сережки. Он сорвал ветку и прочистил ею трубку. Тряска

пошла ему на пользу: мозг его стал работать. Война! Тогда он не знал колебаний; впрочем, тогда он не знал Флер. А теперь, решая этот вопрос: «ехать — не ехать», Майкл, казалось, провидел свою будущую семейную жизнь. Решение, которое он примет, повлияет, может быть, на следующие пятьдесят лет жизни. Взяться за плуг и по первому же требованию отступиться! Можно пахать в сумерках, криво; но лучше слабый свет, чем полный мрак, лучше кривая борозда, чем никакой. Он не знает пути лучше фоггартизма, он должен за него держаться! Будущее Англии! Где-то неподалеку захихикал дрозд. Вот именно! Но, как говорит Блайт, нужно привыкать к насмешкам. Конечно, если Флер хочет, чтобы он остался в парламенте,— а она хочет этого, она поймет, что он не должен отступать от намеченной программы, как бы это ни забавляло дроздов. Она не захочет, чтобы он стал безличным флюгером. Ведь как-никак она его жена, с его карьерой связана и ее собственная.

Он смотрел на дым от своей трубки, на серые, нависшие облака, на белых коров за рекой, на рыболова. Он крутил сорванную ветку, любовался желтовато-серыми бархатными сережками. Ему стало наконец спокойнее, но было очень грустно. Что сделать для Флер? На этой реке — так близко отсюда — он ухаживал за ней. А теперь вот на какой риф наткнулись. Что ж, ей решать, затонет их лодка или нет. И вдруг ему захотелось поговорить со «Старым Форсайтом»...

Когда послышалось фырканье мотоцикла, Сомс как раз собирался повесить картину Фреда Уокера, которую он купил в магазине возле конторы «Сэтлуайт и Старк», тем отметив конец треволнений, связанных с процессом, и удовлетворив свою тоску по английской школе. Фред Уокер! Конечно, он устарел; сколько школ возникло после него и Мэйсона. Но они, как старые скрипки, сохраняют тон; они редки и всегда будут в цене. Сняв со стены Курбэ, раннего и еще незрелого, Сомс стоял, без пиджака, держа в руке моток проволоки, когда вошел Майкл.

— Откуда вы появились? — удивился он.

— Я проезжал мимо, сэр, на моем старом мотоцикле. Вижу, вы сдержали слово насчет английской школы.

Сомс прикрепил проволоку к картине.

— Я не успокоюсь,— сказал он,— пока не приобрету Крома-старшего — лучшего из английских пейзажистов.

— Кажется, это большая редкость, сэр?

— Вот потому-то он мне и нужен.

Закручивая проволоку, Сомс не заметил улыбки Майкла, словно говорившей: «Потому-то вы и считаете его лучшим». Искоса поглядывая на него, Сомс вспомнил, как он появился здесь летом, в воскресенье, после того как в первый раз увидел Флер в галерее на Корк-стрит. Неужели с тех пор прошло только четыре года? Молодой человек оказался лучше, чем можно было ожидать; и сильно возмужал, остепенился; в общем, если сделать скидку на его воспитание и войну, симпатичный молодой человек. И вдруг он заметил, что Майкл тоже за ним следит. Должно быть, ему что-нибудь нужно — зря бы не приехал! Он старался вспомнить случай, чтобы кто-нибудь пришел к нему без дела,— и не вспомнил. Ну что ж, это естественно!

— Может быть, вам нужна какая-нибудь картина, чтобы повесить рядом с вашим Фрагонаром? Вон там в углу висит Шарден.

— Нет, нет, сэр. Вы и так были слишком щедры!

Щедр! Как можно быть щедрым к единственной дочери?

— Как Флер?

— Я хотел поговорить с вами о ней. Она себе места не находит.

Сомс посмотрел в окно. Весна запаздывает!

— Странно, раз процесс выигран.

— Вот в том-то и беда, сэр.

Сомс зорко посмотрел ему в лицо.

— Я вас не совсем понимаю.

— Нас сторонятся.

— Почему? Ведь вы выиграли дело?

— Да, но, видите ли, люди не прощают морального превосходства.

— Что это значит? Кто?..

Моральное превосходство — он сам его не выносил!

— Мы заражены добродетельным духом Фоскиссона. Я этого опасался. Флер болезненно реагирует на насмешки.

— Насмешки? Кто смеет?..

— Хорошо было нападать на современную мораль перед судьей и присяжными, но в обществе, где каждый гордится тем, что у него нет предрассудков, это почитается смешным.

— В обществе!

— Да, сэр. Но ведь живем-то мы в обществе. Мне все равно, к насмешкам я привык с тех пор, как начал проводить фоггартизм, но Флер совсем измучилась. И не удивительно — ведь общество для нее любимая игра.

— Это слабость с ее стороны,— сказал Сомс. Но он не на шутку встревожился. Сначала ее назвали «выскочкой», а теперь еще это!

— Тут этот немец повесился в Липпингхолле,— продолжал Майкл,— и мой фоггартизм, и эта стычка с Феррар — в общем несладко. Вся эта неделя после суда была скверная. Флер настолько выбита из колеи, что хочет ехать со мной в кругосветное путешествие.

Если бы в эту минуту за окном над голубятней взорвалась бомба, Сомс не был бы так ошеломлен. Кругосветное путешествие!

Майкл продолжал:

— И она права. Действительно, для нее это наилучший исход, но я не имею возможности бросить работу до окончания сессии. Дело начато, и я должен довести его до конца. Я только сегодня окончательно решился. Я бы чувствовал себя дезертиром, и в конечном счете ни один из нас не извлек бы из этого пользы. Но Флер еще не знает.

Голубятня встала на место — Сомс понял, что Майкл не увезет ее бог знает на сколько времени.

— Кругосветное путешествие! — повторил он.— Почему не Альпы?

— Мне кажется,— продолжал Майкл тоном врача, ставящего диагноз,— ей нужно что-то из ряда вон вы-

ходящее. В двадцать три года объехать весь свет! А то она чувствует себя отщепенкой.

— Но как же она бросит малыша?

— Да, вот показатель, в каком она сейчас состоянии. Эх, если бы я мог поехать!

Сомс широко раскрыл глаза. Неужели же молодой человек рассчитывает на его помощь? Ехать вокруг света! Безумная затея!

— Я должен ее повидать,— сказал он.— Оставьте мотоцикл в гараже; мы поедем в автомобиле. Я буду готов через двадцать минут. Идите вниз, там пьют чай.

Оставшись наедине с Фредом Уокером — картину он все еще не повесил,— Сомс окинул взглядом свои сокровища, и сердце у него заныло. Давно они ему так не нравились. Флер коллекционировала людей, а теперь у нее отняли ее коллекцию. Бедняжка! Конечно, занятие было нелепое — разве люди могут дать удовлетворение? Не отвезти ли ей Шардена? Хороший Шарден! Думетриус обставил его на цене, но не слишком. А Шарден долговечен — он еще обставит на нем Думетриуса. Но если это доставит ей удовольствие! Он снял картину, взял ее под мышку и пошел вниз.

В автомобиле они говорили только о характере одиннадцатого баронета да о прискорбной склонности полиции не разрешать быстрой езды по новой дороге, проложенной с целью ускорить движение.

На Саут-сквер приехали к шести часам. Флер еще не вернулась. Оба уселись и стали ждать. Дэнди спустился вниз в поисках незнакомых ног, но, не найдя таковых, тотчас же удалился. В доме было очень тихо. Майкл то и дело посматривал на часы.

— Как вы думаете, куда она пошла? — спросил наконец Сомс.

— Понятия не имею, сэр! Вот за что не люблю Лондон — люди в нем пропадают, как иголки.

Он зашагал по комнате. Сомс уже хотел было сказать: «Сядьте!» — как вдруг Майкл, подойдя к окну, воскликнул: «Вот она!» — и бросился к двери.

Сомс остался на месте. Шардена он прислонил к креслу. Как долго они там разговаривают! Минуты прохо-

дили, а их все не было. Наконец вошел Майкл. Вид у него был очень серьезный.

— Она у себя наверху, сэр. Боюсь, что это ее ужасно расстроило. Может быть, вы пойдете к ней?

Сомс взял своего Шардена.

— Куда идти? Кажется, первая дверь налево?

Он медленно поднялся по лестнице, тихонько постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел.

Флер, закрыв лицо руками, сидела у бюро. Лампа бросала яркий блик на ее волосы, которым теперь снова разрешалось расти на затылке. Казалось, она не слышала, как он вошел. Сомс не привык видеть людей и показывать себя в такие интимные минуты, и теперь он не знал, что делать. Какое он имеет право заставать ее врасплох? Быть может, выйти и постучать еще раз? Но он был слишком встревожен. И, подойдя к ней, он коснулся пальцем ее плеча и сказал:

— Устала, дитя мое?

Она оглянулась — лицо было странное, чужое. И Сомс произнес фразу, которую она так часто слышала в детстве:

— Посмотри, что я тебе принес!

Он поднял Шардена. Она мельком взглянула на картину, и это обидело Сомса. Ведь Шарден стоит несколько сот фунтов! Очень бледная, она скрестила руки на груди, словно запираясь на ключ. Он узнал этот симптом. Душевный кризис! Раньше Сомс смотрел на такие кризисы как на нечто экстравагантное, как на неуместный приступ аппендицита.

— Майкл говорит,— начал он,— что ты хочешь отправиться с ним в кругосветное путешествие.

— Но он не может. Значит, конец делу.

Если бы она сказала: «Да, а почему он не хочет?», Сомс принял бы сторону Майкла, но сейчас в нем проснулся дух противоречия. В самом деле, почему она не может получить то, что хочет? Он поставил своего Шардена на пол и сделал несколько шагов по мягкому ковру.

— Послушай,— сказал он, останавливаясь,— где ты это ощущаешь?

Флер засмеялась:

— В висках, в глазах, в ушах, в сердце.

— Как они смеют смотреть на тебя свысока? — проворчал Сомс и опять зашагал по ковру.

Как будто все эти теперешние нахалы, которых он волей-неволей встречал иногда у нее в доме, окружили его и скалят зубы, поднимают брови. Больше всего ему сейчас хотелось поставить их на место — жалкие людишки!

— Н-не знаю, могу ли я с тобой поехать,— сказал он и осекся.

О чем он говорит? Кто просил его ехать с ней? Она широко раскрыла глаза.

— Конечно, нет, папа.

— Конечно? Ну, это мы еще посмотрим!

— Со временем я привыкну к насмешкам.

— Незачем тебе привыкать,— проворчал Сомс.— Мне кажется, очень многие совершают кругосветное путешествие.

Флер порозовела.

— Да, но не ты, дорогой мой; ты будешь смертельно скучать. Я тебе очень благодарна, но, конечно, я этого не допущу. В твои-то годы!

— В мои годы? — сказал Сомс.— Я не так уж стар.

— Нет, папа, буду страдать молча, вот и все.

Сомс не ответил и опять прошелся по ковру. Страдать молча — еще чего!

— Я не допущу,— прорвался он.— Если люди не могут вести себя прилично, я им покажу.

Теперь она стояла раскрасневшаяся, приоткрыв рот, глубоко дыша. Такой она пришла к нему когда-то показаться перед первым выездом в свет.

— Поедем,— сказал он ворчливо.— Не спорь. Я решил.

Ее руки обвились вокруг его шеи; что-то мокрое прижалось к его носу. Какая нелепость!..

В тот вечер, отстегивая подтяжки, Сомс размышлял. Да неужели он отправляется в кругосветное путешествие? Абсурд! А Майкл был ошеломлен. Он присоединится к ним в августе, где бы они в то время ни находились. О господи! Быть может, в Китае? Фантастиче-

ская история! А Флер ластится, как котенок. Забавная песенка, слышанная им в детстве от священника, звучала у него в ушах:

Я вижу Иерусалим и Мадагаскар,
И Северную Америку и Южную...

Да. Вот оно как! Слава богу, все дела у него в порядке. Капиталы Тимоти и Уинифрид обеспечены. Но как они тут без него будут жить, сказать трудно. Что касается Аннет — вряд ли она будет скучать. Смущала его скорее долгая разлука со всем привычным пейзажем. Но, вероятно, утесы Дувра останутся на своем месте, и река по-прежнему будет течь мимо его лугов, когда он вернется,— если только вернется! В дороге можно подцепить что угодно — там и микробы, и насекомые, и змеи. Как уберечь от них Флер? А сколько диковинок ему придется обозревать! Уж можете быть уверены — Флер ничего не пропустит! Бродить с компанией туристов и разевать рот — нет, этого он не вынесет! Но ничего не поделаешь! Гм! Утешительно, что в августе к ним присоединится Майкл. А все-таки приятно, что все это время он будет с ней вдвоем. Впрочем, она захочет со всеми знакомиться. Ему придется быть любезным с каждым встречным. Заглянуть в Египет, потом в Индию, морем в Китай и Японию, а домой — через эту огромную, нескладную Америку. Страна господа бога — так, кажется, они ее называют. Еще хорошо, что о России Флер и не заикнулась, там, говорят, все пошло прахом. Коммунизм! Кто знает, что случится за это время в Англии! Сомсу казалось, что и Англия пойдет прахом, если он уедет. Ну что ж, ведь он уже сказал Флер, что едет с ней. А она расплакалась! Подумаешь!

Он открыл окно и, запахнувшись в теплый халат, который хранился здесь на случай его приездов, высунулся наружу. Словно видел он не Вестминстер-сквер, а свою реку и тополя, освещенные луной,— всю ту мирную красоту, которую он никогда не умел выразить словами, тот зеленый покой, который впитывал тридцать лет, но так и не пустил дальше подсознания. Не будет там привычных запахов, вздохов реки при ветре, плеска воды у запруды, звезд. Звезды, положим, есть и там, но

не английские звезды. А трава? Травы там, наверно, нет. И фруктовые деревья не успеют зацвести до их отъезда. Ну, да что плакать над пролитым молоком! А кстати о молоке — у этого парня на ферме, уж конечно, коровы перестанут доиться, глуповат он! Нужно предупредить Аннет. Женщины не желают понять, что корова не станет бесконечно давать молоко, если за ней не ухаживать. Вот будь у него такой надежный человек в «Шелтере», как старый Грэдмен в Сити! Да! У старого Грэдмена глаза на лоб вылезут, когда он узнает! Вот она, старая Англия, только вряд ли она долговечна. Странно будет вернуться и узнать, что старый Грэдмен умер. Раз — два — три — одиннадцать! Эт-ти часы! Сколько раз они не давали ему спать. А все-таки хорошие часы. Он уедет, а Майкл будет заседать и слушать, как они бьют. Есть ли смысл в идеях, которые заставляют его заседать, или это одни разговоры? Как бы то ни было — он прав, нельзя бросать начатое дело. Но пять месяцев разлуки с молодой женой — какой риск! «Скоро молодость пройдет» [1]. Старик Шекспир знал людей! Ну, риск или не риск, а вопрос решен. Флер не глупа, у Майкла сердце доброе. И у Флер доброе сердце — кто посмеет сказать, что нет? Ей тяжело будет расстаться с малышом. Сейчас она этого не сознает. И у Сомса шевельнулась надежда: может быть, она в конце концов откажется от своей затеи. Он и хотел этого и боялся. Странно! Привычки, уют, коллекция — все это он бросает за борт. Нелепо! И однако...

XII

ENVOI[2]

Пять месяцев не видеть Флер!

Странное предложение Сомса действительно ошеломило Майкла. Но в конце концов сейчас они с Флер переживали кризис, особенно серьезный потому, что он был вызван повседневной жизнью. Быть может, во вре-

---

[1] Конец песенки шута из «Двенадцатой ночи» Шекспира.

[2] Концовка баллады (*франц.*).

мя путешествия кругозор Флер расширится; быть может, она поймет, что мир — это не те пять тысяч передовых людей, из коих в лицо она знает человек пятьсот. Ведь она сама настояла на том, чтобы он вошел в парламент, и если его не выставят оттуда как неудачника, они вместе пойдут по гребню, с которого открывается широкий вид. В течение двух недель, предшествовавших отъезду, он страдал и улыбался. Он был благодарен ей за то, что она, по выражению ее отца, «ластится, как котенок». С начала осени она нервничала из-за этого проклятого процесса, и такая реакция казалась вполне естественной. Во всяком случае, она сочувствовала ему и не скупилась на поцелуи, а для Майкла это было великим утешением. Несколько раз он замечал, что она со слезами на глазах смотрит на одиннадцатого баронета; как-то утром он проснулся и увидел, что лицо ее заплакано. По его мнению, эти симптомы указывали на то, что она намерена вернуться. Но бывали минуты, когда все мысли о будущем путались, как в бреду. Нелепо! Ведь она едет с отцом— этим воплощением осмотрительности и заботливости! Кто бы мог подумать, что «Старый Форсайт» способен сняться с места? Он тоже расставался с женой, но никак этого не проявлял. Впрочем, о чувствах «Старого Форсайта» никто ничего не мог сказать; сейчас все его внимание было сосредоточено на дочери, а говорил он главным образом о билетах и насекомых. Для себя и для Флер он купил по спасательной куртке. Майкл имел с ним только один серьезный разговор.

— Пожалуйста,— сказал Сомс,— присмотрите за моей женой, последите, чтобы она не испортила коров. У нее будет жить ее мать, но женщины такие чудные. С ребенком она справится отлично — вот увидите. Как у вас с деньгами?

— Хватит за глаза, сэр.

— Ну, если потребуется на дело, зайдите в Сити, к старому Грэдмену, вы его помните?

— Да, и боюсь, что он тоже меня помнит.

— Ничего, он верный старик.— И Майкл услышал вздох.— И еще: заглядывайте изредка на Грин-стрит. Моей сестре будет не по себе, когда я уеду. Время от времени я буду посылать сведения о Флер, ведь теперь

изобретено это радио, а Флер будет беспокоиться о малыше. Хинином я запасся. Флер сказала, что не страдает морской болезнью. Говорят, от нее лучше всего помогает шампанское. Между прочим, конечно, вам виднее, но я бы на вашем месте не слишком напирал на фоггартизм там, в парламенте; они не любят, чтобы им надоедали. Встретимся мы с вами в Ванкувере, в конце августа. К тому времени ей надоест путешествовать. Сейчас она мечтает о Египте и Японии, но не знаю. Наверно, все время будем в дороге.

— Есть у вас парусиновые костюмы, сэр? Они вам понадобятся на Красном море; и я бы взял шлем.

— Шлем я купил,— ответил Сомс.— Тяжелая, громоздкая штука.

Он посмотрел на Майкла и неожиданно добавил:

— Я буду за ней следить, а вы, надеюсь, сами за собой последите.

Майкл его понял.

— Да, сэр. Я вам очень благодарен. Я думаю, для вас такое путешествие — подвиг.

— Нужно надеяться, что ей оно пойдет на пользу, а малыш не будет по ней скучать.

— Постараюсь, чтобы он не скучал.

Сомс, сидевший перед «Белой обезьяной», казалось, погрузился в транс; потом встрепенулся и сказал:

— Война нарушила равновесие. Должно быть, люди и теперь во что-нибудь верят, но я не знаю, что это такое.

Майкл заинтересовался.

— А можно вас спросить, сэр, во что вы сами верите?

— Верю в то, во что отцы наши верили. А теперь люди слишком многого ждут от жизни; им неинтересно просто жить.

«Неинтересно просто жить!» Эти слова показались Майклу знаменательными. Не вскрывали ли они сущность всех современных исканий?

Последняя ночь, последний поцелуй и тягостная поездка в автомобиле Сомса в порт. Майкл один их провожал. Хмурая пристань, серая река; возня с багажом, давка на катере. Мучительная процедура! Мучительная даже для Флер, как показалось Майклу. Последние бесконечные минуты на пароходе. Сомс, изучающий новую

обстановку. Дурацкая улыбка, сводящая скулы; плоские шутки. И этот момент, когда Флер прижалась к нему и крепко его поцеловала.

— Прощай, Майкл! Мы расстаемся ненадолго.

— Прощай, дорогая! Береги себя. Я буду сообщать тебе все новости. Не беспокойся о Ките.

Зубы его стиснуты; у нее— он это видел — на глазах слезы.

И еще раз:

— Прощай!

— Прощай!

Опять на катере, серая полоса воды ширится, ширится между ним и бортом парохода, и высоко над поручнями лица, лица... Лицо Флер под светло-коричневой шляпой; она машет рукой. А левее «Старый Форсайт», один,— отошел в сторонку, чтобы не мешать им проститься,— длиннолицый, седоусый, неподвижный, нахохлился, одинокий, как птица, залетевшая в неведомые края и с тоской озирающаяся на покинутый берег. Они делались все меньше и меньше, расплылись, исчезли.

Возвращаясь в Вестминстер, Майкл курил одну папиросу за другой и снова перечитывал все ту же фразу в газете:

«Ограбление в Хайгете, грабитель скрылся».

Он отправился прямо в палату общин. В течение нескольких часов он сидел, слушая прения по какому-то биллю о просвещении и изредка понимая два-три слова. Какие у него шансы добиться чего-нибудь здесь, в этой палате, где люди по-прежнему мирно беседуют и спорят, словно Англия осталась Англией 1906 года, и где о нем, Майкле, сложилось такое мнение: «Симпатичный, но сумасбродный молодой человек!» Национальное единство, национальный подъем — как бы не так, кому это нужно! Ломиться в дверь, которую все считают нужным открыть, но в которую не пролезть никому. А между ним и оратором все ширилась серая полоса воды; лицо под светло-коричневой шляпой сливалось с лицом депутата от Уошбэзона; между двух лейбористов вдруг возникло лицо «Старого Форсайта» над поручнями; и все лица сливались в сплошной туман над серой рекой, где носились чайки.

При выходе он увидел лицо более реальное — МакГаун! Ну и свирепо! Впрочем, неверно. Никому эта история не дала ничего хорошего. Multum ex parvo, parvum ex multo! [1] Вот в чем комедия наших дней.

Он решил зайти домой взглянуть на Кита и послать Флер радиотелеграмму. По дороге он увидел четырех музыкантов, с остервенением игравших на разных инструментах. Все здоровые, крепкие, все обтрепанные. «О черт! — подумал Майкл.— Этого я помню—он был в моей роте, во Франции!» Он подождал, пока тот перестал раздувать щеки. Ну конечно! И хороший был малый. Впрочем, все они были хорошими малыми, прямо чудеса творили! А теперь вот что с ними стало. И он чуть было их не покинул! У каждого свое лекарство, какое лучше— неизвестно, но держаться своего нужно. И если будущее темно и судьба скалит зубы — ну что ж, пусть ее скалит!

Как пусто в доме! Завтра Кит с собакой уедет в «Шелтер», и станет совсем пусто. Майкл бродил по комнатам и старался представить себе Флер. Нет, это слишком мучительно! Кабинет показался ему более приемлемым, и он решил там обосноваться.

Он направился в детскую и тихонько приоткрыл дверь. Белизна, кретон; Дэнди лежит на боку; горит электрический камин. По стенам развешаны гравюры — их выбирали осмотрительно, памятуя о том моменте, когда одиннадцатый баронет обратит на них внимание; гравюры все смешные, без нравоучений. Высокая блестящая решетка перед камином, на окнах веселые ситцевые занавески — хорошая комната!

Няня в синем платье стояла спиной к двери и не видела Майкла. А за столом на высоком стульчике сидел одиннадцатый баронет. Хмурясь из-под темных каштановых волос, он сжимал ручонкой серебряную ложку и размахивал ею над стоящей перед ним чашкой.

Майкл услышал голос няни:

— Теперь, когда мама уехала, ты должен быть маленьким мужчиной, Кит, и научиться есть ложкой.

---

[1] Многое из малого — малое из многого! *(лат.)*

Затем Майкл увидел, как его отпрыск с размаху опустил ложку в чашку и расплескал молоко.

— Совсем не так нужно делать!

Одиннадцатый баронет повторил тот же номер и, весело улыбаясь, ждал похвалы.

— Шалун!

— А! — пискнул одиннадцатый баронет, щедро расплескивая молоко.

— Ах ты, баловник!

«...Англия, моя Англия!», как сказал поэт»,— подумал Майкл.

1926 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ

БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА

Перевод Р. Райт

Часть первая

I. Прогулка 7
II. Дома 12
III. Музыка 23
IV. Обед 29
V. Ева 35
VI. «Старый Форсайт» и «Старый Монт» 39
VII. «Старый Монт» и «Старый Форсайт» 46
VIII. Бикет 55
IX. Смятение 64
X. Конец спортсмена 75
XI. Рискованное предприятие 83
XII. Цифры и факты 88
XIII. Плен 97

Часть вторая

I. Марка падает 102
II. Викторина 114
III. Майкл гуляет и разговаривает 124
IV. Тело Флер 134
V. Душа Флер 143
VI. Майклу достается 148

VII. Нагая натура 157
VIII. Сомс берется за дело 163
IX. Слежка 171
X. Лицо 179
XI. Шапка набекрень 182
XII. На Восток 188

Часть третья

I. Праздник 192
II. Служебные дела 199
III. «Отдых дриады» 207
IV. Отдых Бикета 211
V. Майкл дает советы 216
VI. Квиты 223
VII. Беседы с Элдерсоном 226
VIII. Сбежал 232
IX. Сомсу решительно все равно 241
X. Но осторожность — благое дело 245
XI. С маленькой буквы 253
XII. Испытание 257
XIII. Сомс прижат к стене 267
XIV. Пытка 276
XV. Покой 280

Интерлюдия

ИДИЛЛИЯ. *Перевод М. Лорие* 287

СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА
Перевод А. Кривцовой

Часть первая

I. Иностранец 305
II. Перемена 310
III. Майкл «производит разведку» 319
IV. Только разговоры 325
V. Пасынки 331
VI. Сомс начеку 338
VII. Звуки в ночи 343

VIII. Вокруг да около 347
IX. Куры и кошки 356
X. Фрэнсис Уилмот меняет фронт 361
XI. Сомс посещает редакцию 365
XII. Майкл размышляет 372
XIII. Дело затевается 377
XIV. Дальнейшие размышления 386

Часть вторая

I. Майкл произносит речь 395
II. Последствия 401
III. Марджори Феррар у себя дома 411
IV. Fons et Origo 415
V. Дело развертывается 422
VI. Майкл едет в Бетнел-Грин 429
VII. Контрасты 436
VIII. В поисках улик 445
IX. Volte face 455
X. Фотографические снимки 459
XI. Тени 471
XII. ...сгущаются 475

Часть третья

I. «Зрелища» 483
II. «Не намерен допустить» 490
III. Сомс едет домой 494
IV. Вопросы и ответы 500
V. Знаменательный день 505
VI. Показания 513
VII. Сыта по горло 525
VIII. Марионетки 530
IX. Раут у миссис Мэгюсси 536
X. Новая страница 544
XI. За борт 550
XII. Envoi 559

Джон ГОЛСУОРСИ
Собрание сочинений в 16 томах.
Том III.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
А. Васина.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 25/I 1962 г. Тираж 375 000 экз.
Изд. № 2320. Зак. 3045. Форм. бум: 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 8,88. Печ. л. 29,11+4 вкл. (0,41 печ. л.).
Уч.-изд. л. 30,27. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда».
Москва, А-47, улица «Правды», 24.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 115158484